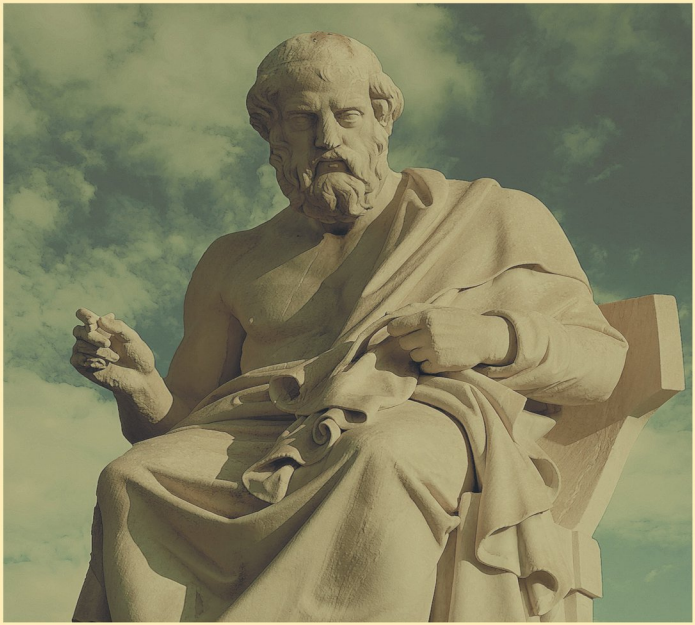

ПЛАТОН

ЗАКОНЫ

Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Законы
Платон

Аннотация
Платон. Законы
Софист
Политик
Законы
  Книга I
  Книга II
  Книга III
  Книга IV
  Книга V
  Книга VI
  Книга VII
  Книга VIII
  Книга IX
  Книга X
  Книга XI
  Книга XII
Послезаконие

Аннотация

Ученик Сократа, учитель Аристотеля, человек, с которого философия началась как система – Платон Афинский оставил нам не просто тексты, а инструмент для понимания государства и души.

Платон Афинский – древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. Именно с Платона философия формируется как система знания.

Что такое законы и почему их нужно выполнять?

Зачем они нужны и на каких философских учениях должны быть основаны?

Кому, по мнению Платона, предстоит воплотить эти законы и стать идеальным правителем?

И каков он, идеальный правитель?

Устами своих героев на эти и другие вопросы отвечает Платон в диалогах «Софист», «Политик», «Законы» и «Послезаконие».

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Платон
Законы

Перевод с древнегреческого
С. Ананьина, В. Карпова, А. Егунова

© ООО «Издательство АСТ», 2026

Софист

Феодор, Сократ, Чужеземец из Элеи, Теэтет

Феодор. Согласно с вчерашним договором, Сократ, мы и сами пришли, как и следовало, да вот и некоего чужеземца из Элей родом с собою ведем, друга последователей Парменида и Зенона, истинного философа.

Сократ. Уж не ведешь ли ты, Феодор, сам того не зная, не чужеземца, но некоего бога, по слову Гомера который рассказывает, что боги, а особенно бог покровитель чужеземцев, бывают вожатыми у тех, кто имеет правую совесть, чтобы наблюдать как своеволие, так и законные действия людей? Так вот, может быть, это и за тобою следует кто-то из всемогущих богов, некий бог-обличитель, чтобы наблюдать и обличать нас, людей, неискусных в речах.

Феодор. Не таков нравом, Сократ, этот чужеземец, он скромнее тех, кто занимается спорами, и представляется мне вовсе не богом, но скорее человеком божественным: ведь так я называю всех философов.

Сократ. Прекрасно, мой друг. На самом деле,

по-видимому, различать этот род немногим, так сказать, легче, чем род богов, ибо люди эти «обходят города», причем другим, по невежеству, кем только они ни кажутся: не мнимые, но истинные философы, свысока взирающие на жизнь людей, они одним представляются ничтожными, другим — исполненными достоинства; при этом их воображают то политиками, то софистами, а есть и такие, которые мнят их чуть ли не вовсе сумасшедшими. Поэтому я охотно порасспросил бы у нашего гостя, если это ему угодно, кем считали и как называли этих людей обитатели его мест.

Феодор. Кого же именно?

Сократ. Софиста, политика, философа.

Феодор. В чем же более всего состоит твое недоумение и как ты замыслил о том расспросить?

Сократ. Вот в чем: считали ли те все это чем-то одним, двумя или же, различая, согласно трем названиям, три рода, они к каждому из этих названий относили и отдельный род?

Феодор. По моему мнению, он не откажет рассмотреть это; не так ли, чужеземец?

Чужеземец. Это так: вам, Феодор, нет отказа, да и сказать-то не трудно, что они признают три рода, однако дать каждому из них ясное определение, что именно он такое, дело немалое и

нелегкое.

Феодор. Воистину, Сократ, по счастливой случайности ты как раз затронул вопросы, близкие тому, о чем мы расспрашивали его, прежде чем сюда прийти. А он и тогда отвечал нам то же, что теперь тебе: он говорит, что об этих-то вещах наслушался достаточно и твердо их помнит.

Сократ. Так, чужеземец, не откажи нам в первом одолжении, о котором мы тебя просим. Скажи-ка нам вот что: как ты привык — сам в длинной речи исследовать то, что желаешь кому-нибудь показать, или путем вопросов, как это, например, делал в своих великолепных рассуждениях Парменид, чему я был свидетель, когда был молодым, а тот уже преклонным старцем?

Чужеземец. С тем, Сократ, кто беседует мирно, не раздражаясь, легче рассуждать, спрашивая его, в противном же случае лучше делать это самому.

Сократ. Так ты можешь выбрать себе в собеседники из присутствующих кого пожелаешь: все будут внимать тебе спокойно. Но если ты послушаешься моего совета, то выберешь кого-нибудь из молодых, например вот этого Теэтета или же кого-то из остальных, если кто тебе по душе.

Чужеземец. Стыд берет меня, Сократ, находясь

теперь с вами впервые, вести беседу не постепенно, слово за словом, но произнося длинную, пространную, непрерывную речь, обращаясь к самому себе или же к другому, словно делая то напоказ. Ведь в действительности то, о чем зашла теперь речь, не так просто, как, может быть, понадеется кто-то, судя по вопросу, но нуждается в длинном рассуждении. С другой стороны, не угодить в этом тебе и другим, особенно же после того, что ты сказал, кажется мне неучтивым и грубым. Я вполне одобряю, чтобы собеседником моим был именно Теэтет, как потому, что и сам я с ним уже раньше вел разговор, так и оттого, что ты меня теперь к этому побуждаешь.

Теэтет. Сделай же так, чужеземец, и, как сказал Сократ, ты угодишь всем.

Чужеземец. Кажется, об этом не приходится более говорить. Что ж, после всего этого моя речь, по-видимому, должна быть обращена к тебе. Если же для тебя из-за обширности исследования что-то окажется обременительным, вини в том не меня, но вот этих твоих друзей.

Теэтет. Я с своей стороны думаю, что в таком случае я не сдамся; а случись что-либо подобное, то мы возьмем в помощники вот этого Сократа, Сократова тезку, моего сверстника и сотоварища

по гимнастическим упражнениям, которому вообще привычно трудиться вместе со мной.

[Первоначальные частичные определения софиста]

Чужеземец. Ты хорошо говоришь, но об этом уж ты сам с собой поразмыслишь во время исследования, вместе же со мною тебе надо сейчас начать исследование, как мне кажется, прежде всего с софиста, рассматривая и давая объяснение, что он такое. Ведь пока мы с тобою относительно него согласны в одном только имени, а то, что мы называем этим именем, быть может, каждый из нас про себя понимает по-своему, меж тем как всегда и во всем должно скорее с помощью объяснения соглашаться относительно самой вещи, чем соглашаться об одном только имени без объяснения. Однако постигнуть род того, что мы намерены исследовать, а именно что такое софист, не очень-то легкое дело. С другой стороны, если что-нибудь важное должно разрабатывать как следует, то здесь все в древности были согласны, что надо упражняться на менее важном и более легком прежде, чем на самом важном. Итак, Теэтет, я советую это и нам, раз мы признали, что род софиста тяжело уловить: сначала на чем-либо

другом, более легком, поупражняться в способе его исследования, если только ты не можешь указать какой-нибудь иной, более удобный путь.

Теэтет. Нет, не могу.

Чужеземец. Итак, не желаешь ли ты, чтобы мы, обращаясь к чему-либо незначительному, попытались сделать это образцом для более важного?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Так что же предложить нам — хорошо известное, а вместе с тем и маловажное, но допускающее объяснение ничуть не меньше, чем что-либо важное? Например, рыбак, удящий рыбу, не есть ли он нечто всем известное и заслуживающее не очень-то большого внимания?

Теэтет. Это так.

Чужеземец. Однако я надеюсь, что он укажет нам путь исследования и объяснение, небесполезное для того, чего мы желаем.

Теэтет. Это было бы хорошо.

Чужеземец. Давай же начнем с него следующим образом. Скажи мне: предположим ли мы, что он знаток своего дела, или же скажем, что он в нем неискусен, но обладает другой способностью?

Теэтет. Уж меньше всего можно признать, что он неискусен.

Чужеземец. Но ведь все искусства распадаются на два вида.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Земледелие и всевозможный уход за всяким смертным телом, далее — все то, что относится к составному и сделанному, то есть к тому, что мы называем утварью, а затем подражательные искусства — все это с полным правом можно бы назвать одним именем.

Теэтет. Как это и каким?

Чужеземец. В отношении всего, чего прежде не существовало, но что кем-либо потом вызывается к жизни, мы говорим: о том, кто это делает, «он творит», а о том, что сделано — «его творят».

Теэтет. Верно.

Чужеземец. Но ведь то, что мы сейчас рассмотрели, относится по своим свойствам именно сюда.

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Итак, будем называть все это, выражаясь кратко, творческим искусством.

Теэтет. Пусть будет так.

Чужеземец. С другой стороны — целый ряд наук и знаний, а также искусства дельца, борца и охотника, так как все они ничего не творят, но занимаются тем, что отчасти словами и действи-

ями подчиняют своей власти то, что есть и что возникает, отчасти не позволяют этого делать другим. Наиболее подходящим было бы назвать все эти части в совокупности неким искусством приобретения.

Теэтет. Да, это было бы подходящим.

Чужеземец. Когда, таким образом, все искусства распадаются на приобретающие и творческие, то к каким, Теэтет, мы причислим искусство удить рыбу?

Теэтет. Разумеется, к приобретающим.

Чужеземец. Но разве не два есть вида приобретающего искусства? Одно из них — искусство обмена по обоюдному соглашению посредством даров, найма и продажи, а другое — искусство подчинения себе всего делом или словом: не будет ли этот последний вид искусством подчинять?

Теэтет. Так, по крайней мере, явствует из сказанного.

Чужеземец. Что же? Искусство подчинять — не разделить ли его на две части?

Теэтет. Как?

Чужеземец. Причислив все явное в нем к искусству борьбы, а все тайное — к искусству охоты.

Теэтет. Согласен.

Чужеземец. Но конечно, было бы неразумным

не разделить искусство охоты на две части.

Теэтет. Скажи, как?

Чужеземец. Различая в нем, с одной стороны, охоту за одушевленным родом [вещей], а с другой — за неодушевленным.

Теэтет. Как же иначе? Если только существуют те и другие.

Чужеземец. Ну как же не существуют? Охоту за неодушевленными [вещами], не имеющую названия, за исключением некоторых частей водолазного искусства и немногих других подобных, мы должны оставить в стороне, а охоту за одушевленными существами назвать охотою за животными.

Теэтет. Пусть будет так.

Чужеземец. Но не справедливо ли указать два вида охоты за животными и один из них — за животными на суше, распадающийся на много видов и названий, наименовать охотой за обитающими на суше, а все виды охоты за плавающими животными — охотою за обитателями текучей среды?

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Но ведь мы видим, что один разряд плавающих имеет крылья, а другой живет в воде?

Теэтет. Как же не видеть?

Чужеземец. Вся охота за родом крылатых у нас называется птицеловством.

Теэтет. Конечно, называется так.

Чужеземец. А охота за живущими в воде почти вся называется рыболовством.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Что же? Эту охоту в свою очередь не разделить ли мне на две главные части?

Теэтет. На какие?

Чужеземец. Одна производит ловлю прямо с места сетями, а другая посредством удара.

Теэтет. Как называешь ты их и в чем различаешь одну от другой?

Чужеземец. Одну — так как все то, что имеет целью задержать что-либо, заграждает этому выход, как бы его окружая, уместно назвать заграждением…

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. А садки, сети, невода, тенета и тому подобное можно ли назвать иначе как заграждениями?

Теэтет. Никак.

Чужеземец. Стало быть, эту часть ловли назовем заградительной или еще как-нибудь в этом роде.

Теэтет. Да.

Чужеземец. А вид ловли, отличный от первого, который производится с помощью ударов крюками и трезубцами, надо назвать одним общим именем ударной охоты. Или кто-нибудь, Теэтет, назовет это лучше?

Теэтет. Не станем заботиться об имени. Ведь и это вполне удовлетворяет.

Чужеземец. Но та часть ударной охоты, которая происходит ночью при свете огня, у самих охотников получила, думаю я, название огневой.

Теэтет. Совершенно верно.

Чужеземец. Вся же дневная часть, с крюками и трезубцами, называется крючковой.

Теэтет. Да, это называется так.

Чужеземец. Одна часть этой крючковой охоты, когда удар направлен сверху вниз, потому что при ней главным образом идут в ход трезубцы, носит, думаю я, название охоты с трезубцами.

Теэтет. Так, по крайней мере, называют ее некоторые.

Чужеземец. Но остается еще один, так сказать, единственный вид.

Теэтет. Какой?

Чужеземец. Такой, когда ударяют крюком в направлении, противоположном первому, причем

не в любое место, куда попало, как это бывает при охоте с трезубцами, но каждый раз в голову и рот рыбы, которую ловят; затем она извлекается снизу вверх с помощью удилищ из прутьев и тростника. Каким именем, Теэтет, скажем мы, надо это назвать?

Теэтет. Я полагаю, что теперь найдено именно то, что мы недавно поставили своей задачей исследовать.

Чужеземец. Теперь, значит, мы с тобой не только согласились о названии рыболовного искусства, но и получили достаточное объяснение самой сути дела. Оказалось, что половину всех вообще искусств составляет искусство приобретающее; половину приобретающего искусство покорять; половину искусства покорять — охота; половину охоты — охота за животными; половину охоты за животными — охота за живущими в текучей среде; нижний отдел охоты в текучей среде — все вообще рыболовство; половину рыболовства составляет ударная охота; половину ударной охоты — крючковая; половина же этой последней — лов, при котором добыча извлекается после удара снизу вверх, есть искомое нами ужение, получившее название в соответствии с самим делом.

Теэтет. Во всяком случае, это достаточно выяснено.

Чужеземец. Ну так не попытаться ли нам по этому образцу найти и что такое софист?

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Но ведь первым вопросом было: должно ли считать удильщика-рыболова человеком обыкновенным, или же он знаток своего дела?

Теэтет. Да, таков был первый вопрос.

Чужеземец. А теперь, Теэтет, сочтем ли мы нашего софиста человеком обыкновенным или же во всех отношениях истинным знатоком?

Теэтет. Обыкновенным — ни в коем случае. Я ведь понимаю, что ты считаешь: тот, кто носит это имя, должен, во всяком случае, таким и быть.

Чужеземец. Выходит, нам следует признать его знатоком своего дела.

Теэтет. Но каким бы это?

Чужеземец. Или, ради богов, мы не знаем, что один из этих мужей сродни другому?

Теэтет. Кто кому?

Чужеземец. Рыболов-удильщик — софисту.

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. Оба они представляются мне в некотором роде охотниками.

Теэтет. Но какой охотой занимается другой? Про одного ведь мы говорили.

Чужеземец. Мы только что разделили всю охоту надвое, отделив ее водную часть от сухопутной.

Теэтет. Да.

Чужеземец. И мы рассмотрели всю ту ее часть, которая касается плавающих, сухопутную же оставили без подразделения, сказав, что она многовидна.

Теэтет. Совершенно верно.

Чужеземец. Таким образом, до сих пор софист и удильщик-рыболов вместе занимаются приобретающим искусством.

Теэтет. Это, по крайней мере, правдоподобно.

Чужеземец. Но они расходятся, начиная с охоты за живыми существами: один идет к морю, рекам и озерам, чтобы охотиться за обитающими в них животными.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. А другой — к земле и неким другим потокам, к изобильным лугам богатства и юности, покорять обитающие там существа.

Теэтет. Что ты имеешь в виду?

Чужеземец. В сухопутной охоте бывают две главные части.

Теэтет. Какие?

Чужеземец. Одна — охота за ручными, другая — за дикими животными.

Теэтет. Разве существует охота за ручными животными?

Чужеземец. Если только человек ручное животное. Считай, впрочем, как тебе угодно: либо что вообще не существует ручных животных, либо что есть какое-то другое ручное животное, а человек — животное дикое; или, может быть, ты скажешь, что человек — ручное животное, но не признаешь никакой охоты за людьми? Что из всего этого тебе понравится, это ты нам и определи.

Теэтет. Но я думаю, чужеземец, что мы ручные животные, и утверждаю, что существует охота за людьми.

Чужеземец. Так разделим же и охоту за ручными животными надвое.

Теэтет. На каком основании?

Чужеземец. Да определив разбой, увод в рабство, тиранию и военное искусство — все в целом как одно, а именно как охоту насильственную.

Теэтет. Прекрасно.

Чужеземец. С другой стороны, судейское искусство, искусство говорить всенародно и искусство обхождения, также все в целом, определим как

некое искусство убеждать.

Теэтет. Верно.

Чужеземец. Назовем же два рода искусства убеждать.

Теэтет. Какие?

Чужеземец. Один — искусство убеждать в частной беседе, а другой, всенародно.

Теэтет. Конечно, бывает тот и другой вид.

Чужеземец. Но в свою очередь частная охота не бывает ли, с одной стороны, требующей вознаграждения, а с другой — приносящей дары?

Теэтет. Не понимаю.

Чужеземец. Видно, ты еще не обратил внимания на охоту влюбленных.

Теэтет. В каком отношении?

Чужеземец. В том, что за кем влюбленные охотятся, тем они делают подарки.

Теэтет. Ты говоришь сущую правду.

Чужеземец. Ну, так пусть этот вид будет называться любовным искусством.

Теэтет. Уж конечно.

Чужеземец. А тот вид получения вознаграждения, при котором вступают в общение с кем-либо для того, чтобы ему угодить, и при этом всегда приманкою делают удовольствие, а в награду добиваются единственно лишь пропитания для

себя в виде лести, все мы, думаю я, могли бы назвать своего рода искусством услаждающим.

Теэтет. Да и как не назвать?

Чужеземец. А когда объявляют, что вступают в общение с другим ради добродетели, но в награду требуют деньги, не справедливо ли назвать этот род получения наград другим именем?

Теэтет. Конечно!

Чужеземец. Каким же? Попытайся сказать.

Теэтет. Да это ясно: мне кажется, что мы дошли до софиста. Назвав этот род так, я дал ему, думаю, надлежащее имя.

Чужеземец. Согласно, Теэтет, с теперешним нашим объяснением, выходит, что охота, принадлежащая к искусствам приобретения, подчинения, охоты, охоты на животных, сухопутной охоты, охоты за людьми, за отдельными лицами, к искусству продавать за деньги, к мнимому воспитанию — иными словами, охота за богатыми и славными юношами должна быть названа софистикою.

Теэтет. Совершенно верно.

Чужеземец. Посмотрим еще и вот с какой стороны: ведь то, что мы теперь исследуем, принадлежит не к маловажному искусству, но к искусству весьма разностороннему, так что оно

и в прежних наших утверждениях казалось не тем родом, за который мы его теперь признаем, но иным.

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. Приобретающее искусство у нас было двоякого вида: одна часть заключала в себе охоту, другая — обмен.

Теэтет. Да, было так.

Чужеземец. Назовем же далее два вида обмена: один — дарственный, другой — торговый.

Теэтет. Назовем это так.

Чужеземец. Но мы и торговлю разделим надвое.

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. Различая, с одной стороны, торговлю тех, кто продает собственные изделия, а с другой — меновую торговлю, в которой обмениваются чужие изделия.

Теэтет. Ну конечно.

Чужеземец. Что же? Меновая торговля внутри города, которая составляет почти половину всей меновой торговли, не называется ли мелочной?

Теэтет. Да.

Чужеземец. А обмен между городами посредством купли и продажи не есть ли торговля крупная?

Теэтет. Почему же нет?

Чужеземец. Но разве мы не обратили внимания, что одна часть крупной торговли продает и обменивает на деньги то, чем питается и в чем имеет нужду тело, а другая — то, чем питается и в чем имеет нужду душа?

Теэтет. Что ты имеешь в виду?

Чужеземец. Того вида торговли, который касается души, мы, быть может, не знаем, но о другом-то имеем понятие.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Мы скажем затем, что все музыкальное искусство, которое все время перевозится из города в город, покупается там и тут, а также живопись, фокусничество и многие другие нужные для души вещи, ввозимые и продаваемые частью для забавы, а частью для серьезных занятий, в отношении того, кто их ввозит и ими торгует, могут не меньше, чем торговля пищей и питьем, вполне оправдать имя купца.

Теэтет. Ты говоришь совершенно верно.

Чужеземец. Так не назовешь ли ты тем же именем и того, кто скупает знания и, переезжая из города в город, обменивает их, на деньги?

Теэтет. Несомненно, так.

Чужеземец. А в этой торговле духовными то-

варами не должно ли по всей справедливости назвать одну часть ее искусством показа, а другую, правда не менее забавную, чем первая, но представляющую собой не что иное, как торговлю знаниями, не следует ли назвать каким-нибудь именем, сродным самому делу?

Теэтет. Несомненно, следует.

Чужеземец. Так ту часть этой торговли знаниями, которая имеет дело с познанием всех прочих искусств, должно назвать одним именем, а ту, которая имеет дело с добродетелью, другим.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Название «торговля искусствами»., конечно, подошло бы к той, которая имеет дело со всем остальным, а для другой, имеющей дело с добродетелью, ты сам потрудись сказать имя.

Теэтет. Да какое же другое имя можно назвать, не делая ошибки, помимо. того, что исследуемое нами теперь — это софистический род?

Чужеземец. Никакого другого назвать нельзя. Давай же возьмем в совокупности все это и скажем, что, во-вторых, софистика оказалась искусством приобретать, менять, продавать, торговать вообще, торговать духовными товарами, а именно рассуждениями и знаниями, касающимися добродетели.

Теэтет. Именно так.

Чужеземец. В-третьих, я думаю, что, если кто-нибудь поселится в городе и станет отчасти покупать, а отчасти сам изготовлять и продавать знания об этих самых вещах и поставит себе целью добывать себе этим средства к жизни, ты не назовешь его каким-либо иным именем, помимо того, о котором только что было сказано.

Теэтет. Почему бы и не назвать так?

Чужеземец. Стало быть, и тот род приобретающего искусства, который занимается меной и продажей чужих или собственных изделий, в обоих случаях, Коль скоро оно занимается продажей познаний о таких вещах, ты, очевидно, всегда будешь называть софистическим.

Теэтет. Несомненно. Ведь надо быть последовательным в рассуждении.

Чужеземец. Посмотрим еще, не походит ли исследуемый нами теперь род на что-либо подобное.

Теэтет. На что именно?

Чужеземец. Частью приобретающего искусства у нас была борьба.

Теэтет. Конечно, была.

Чужеземец. Так не будет лишним разделить ее на две части.

Теэтет. Скажи, на какие?

Чужеземец. Допустим, что одна из них — состязание, а другая сражение.

Теэтет. Так.

Чужеземец. Допустим также, что той части сражения, где выступает тело против тела, довольно уместно и подобает дать какое-нибудь название… ну, например, применение силы.

Теэтет. Да.

Чужеземец. А той, где слова выступают против слов, какое другое, Теэтет, можно дать имя, как не спор?

Теэтет. Никакого.

Чужеземец. Но ту часть [борьбы], которая имеет дело со спорами, надо считать двоякой.

Теэтет. Как?

Чужеземец. Поскольку она происходит всенародно и длинные речи выступают против длинных речей, и притом по вопросам о справедливости и несправедливости, это — судебное прение.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Напротив, ту, которая относится к частным беседам и распадается на вопросы и ответы, имеем ли мы обыкновение называть иначе, чем искусством прекословия?

Теэтет. Нет, вовсе не имеем.

Чужеземец. А вся та часть искусства прекословия, которая заключается в препирательстве по поводу обыденных дел и проявляется в этом просто и безыскусственно, хотя и должна считаться отдельным видом — таким признало ее наше рассуждение, однако не получила наименования от тех, кто жил прежде, да и от нас теперь недостойна его получить.

Теэтет. Это правда. Ведь она распадается на слишком малые и разнообразные части.

Чужеземец. Но ту, в которой есть искусство и состоит она в препирательстве о справедливом и несправедливом и обо всем остальном, не привыкли ли мы называть искусством словопрения?

Теэтет. Как же нет?

Чужеземец. Но одна часть искусства словопрения истребляет деньги, а другая — наживает их.

Теэтет. Совершенно верно.

Чужеземец. Так попытаемся же сказать имя, каким должно называть каждую.

Теэтет. Да, это нужно.

Чужеземец. Я полагаю, что та часть этого искусства, которая ради удовольствия подобного времяпрепровождения заставляет пренебрегать

домашними делами и способ выражения которой вызывает у большинства слушателей неудовольствие, называется — то мое мнение — не иначе как болтовней.

Теэтет. Конечно, она называется как-нибудь так.

Чужеземец. А противоположную этой часть, наживающую деньги от частных споров, попытайся теперь назвать ты.

Теэтет. Да что ж другое и на этот раз можно сказать, не делая ошибки, кроме того, что опять, в четвертый раз, появляется тот же самый удивительный, преследуемый нами софист?

Чужеземец. Так, стало быть, как показало исследование, и на этот раз софист, видно, есть не что иное, как род [людей], наживающих деньги при помощи искусств словопрения, прекословия, спора, сражения, борьбы и приобретения.

Теэтет. Совершенно верно.

Чужеземец. Видишь, как справедливо говорят, что зверь этот пестр и что, по пословице, его нельзя поймать одной рукой.

Теэтет. Значит, надо обеими.

Чужеземец. Конечно, надо, и по возможности следует делать так, чтобы преследование его велось неотступно. Например, вот так. Скажи

мне: называем ли мы как-то некоторые занятия рабов?

Теэтет. И даже многие. Но о каких именно из этих названий ты спрашиваешь?

Чужеземец. Например, о таких: мы говорим «процеживать», «просеивать», «провеивать», «отделять».

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. И сверх того еще «чесать», «прясть». «ткать»; существует и множество других подобные названий, относящихся, как мы знаем, к искусствам Не правда ли?

Теэтет. Что же ты спрашиваешь и желаешь разъяснить по поводу этих примеров?

Чужеземец. Все искусства вообще, о которые, было сказано, думаю я, называются разделяющими.

Теэтет. Да.

Чужеземец. По моему мнению, так как все это сводится к одному искусству, то надо бы удостоить его и одним именем.

Теэтет. Каким же?

Чужеземец. Это — искусство различать.

Теэтет. Пусть будет так.

Чужеземец. Посмотри-ка: не могли ли бы мы каким-нибудь образом в свою очередь усмотреть

два его вида?

Теэтет. Слишком же скорого ты требуешь от меня соображения.

Чужеземец. Но ведь в упомянутых искусствах различения одно может отличать худшее от лучшего, другое — подобное от подобного же.

Теэтет. Теперь, когда это сказано, мне так кажется.

Чужеземец. Для одного из этих различений я не знаю ходячего имени, а для другого, которое лучшее оставляет, а худшее устраняет, знаю.

Теэтет. Скажи, какое?

Чужеземец. Всякое подобное различение, думаю я, у всех носит название некоего очищения.

Теэтет. Да, это так называется.

Чужеземец. Но не заметит ли каждый, что очистительный вид искусства в свою очередь двоякий?

Теэтет. Да, на досуге, быть может, и заметит. Я же пока не вижу.

Чужеземец. И однако, многие виды очищений, касающиеся тел, следует обозначить одним именем.

Теэтет. Какие и каким?

Чужеземец. Прежде всего, очищения у живых существ всего того, что находится у них внут-

ри тел и что правильно выделяется, очищаясь благодаря гимнастике и врачеванию; затем, очищения всего внешнего, о чем и говорить неловко, совершающиеся при помощи банного искусства; наконец, очищения неодушевленных тел, о которых до мелочей заботится валяльное и все вообще искусство украшения, получившее множество имен, кажущихся смешными.

Теэтет. И даже очень.

Чужеземец. Без сомнения, так, Теэтет. Однако методу нашего исследования искусство омывать губкой подлежит не меньше, но и не больше, чем искусство приготовлять лекарства, хотя бы одно из них приносило нам очищением малую пользу, а другое — великую. Ведь этот метод, пытаясь с целью приобретения знания уразуметь сродное и несродное во всех искусствах, ценит ради этого все их одинаково, и, поскольку они подобны между собой, не считает одни смешнее других; он вовсе не находит, что тот, кто объясняет охоту на примере предводительства войсками, почтеннее того, кто поясняет ее на примере ловли вшей, хотя в большинстве случаев считает первого напыщеннее. Да вот и теперь ты спросил, каким именем нам назвать все те способности, удел которых очищать как неодушевленное, так и оду-

шевленное тело, и для этого метода совершенно безразлично, какое выражение покажется самым благопристойным, лишь бы оно, оставив в стороне очищения души, объединило собою то, что очищает все остальное. Ведь теперь он пытается отделить очищение мысли от остальных очищений, если только мы понимаем, чего он желает.

Теэтет. Я понял и соглашаюсь, что существует два вида очищения, из которых один касается души и отличен от того, который касается тела.

Чужеземец. Превосходно. Выслушай от меня и следующее: сделай попытку опять разделить то, о чем мы говорим, надвое.

Теэтет. Я попытаюсь делить с тобою вместе, куда бы ты меня ни направил.

Чужеземец. Не считаем ли мы, что порочность души — это нечто отличное от ее добродетели?

Теэтет. Как же нет?

Чужеземец. Но ведь очищение состояло в том, чтобы выбрасывать все негодное и оставлять иное.

Теэтет. Да, конечно.

Чужеземец. Так стало быть, если мы найдем какой-либо способ устранения зла из души, то назвав его очищением, мы выразимся удачно.

Теэтет. И даже очень.

Чужеземец. Должно, однако, назвать два вида зла, относящегося к душе.

Теэтет. Какие?

Чужеземец. Один — проявляющийся как болезнь в теле, другой — как безобразие.

Теэтет. Не понял.

Чужеземец. Быть может, ты не считаешь болезнь и разлад одним и тем же?

Теэтет. И на это не знаю, что мне отвечать.

Чужеземец. Разве разлад это не раздор, возникающий вследствие какой-либо порчи — среди того, что сродно по своей природе?

Теэтет. Да.

Чужеземец. А безобразие — разве это не род несоразмерности, неприглядный во всех отношениях?

Теэтет. Да, именно это.

Чужеземец. Что же? Не замечаем ли мы, что в душе людей негодных мнения находятся в раздоре с желаниями, воля — с удовольствиями, рассудок со страданиями и все это — между собой?

Теэтет. Весьма даже.

Чужеземец. Но ведь все это по необходимости родственно друг другу.

Теэтет. Как же нет?

Чужеземец. Стало быть, называя разлад и болезнь души пороком, мы выразимся правильно.

Теэтет. Конечно, вполне правильно.

Чужеземец. Что же? Обо всех тех вещах, которые, находясь в движении и имея перед собою какую-то цель, к достижению которой и стремятся, при каждом порыве минуют ее и ошибаются, скажем ли мы, что это случается с ними вследствие соразмерности вещи и цели или, наоборот, вследствие несоразмерности?

Теэтет. Ясно, что вследствие несоразмерности.

Чужеземец. Но ведь мы знаем, что всякая душа заблуждается во всем не по доброй воле.

Теэтет. Бесспорно.

Чужеземец. Заблуждение же есть не что иное, как отклонение мысли, когда душа стремится к истине, но проносится мимо понимания.

Теэтет. Несомненно.

Чужеземец. Стало быть, заблуждающуюся душу должно считать безобразною и несоразмерною.

Теэтет. По-видимому.

Чужеземец. Итак, в ней есть, видно, эти два рода зла. Один, который многие называют пороком, это, как весьма очевидно, ее болезнь.

Теэтет. Да.

Чужеземец. А другой называют заблуждением, но соглашаться с тем, что это — зло, свойственное только душе, не желают.

Теэтет. Конечно, должно согласиться с тем, в чем я, когда ты это недавно сказал, усомнился, а именно что есть два рода зла в душе и что трусость, своеволие и несправедливость, все вместе, надо считать гнездящейся в нас болезнью, а состояния частого и разнообразного заблуждения — безобразием.

Чужеземец. Не существует ли против этих двух состояний, по крайней мере для тела, неких двух искусств?

Теэтет. Каких это?

Чужеземец. Против безобразия — гимнастика, против болезни врачевание?

Теэтет. Это ясно.

Чужеземец. Так не существует ли и против высокомерия, несправедливости и трусости из всех искусств по природе своей самое подходящее — карательное — правосудие?

Теэтет. Вероятно, по крайней мере если говорить согласно с людским мнением.

Чужеземец. Что же? А против всякого вообще заблуждения можно ли правильнее назвать другое какое-либо искусство, кроме искусства

обучать?

Теэтет. Нет, нельзя.

Чужеземец. Ну хорошо. Должно ли, однако, утверждать, что в искусстве обучать существует один род, или надо говорить, что их больше и что в этом случае самые важные в нем — два каких-то рода? Рассмотри.

Теэтет. Рассматриваю.

Чужеземец. И мне кажется, что мы скорее всего могли бы найти их вот как.

Теэтет. Как?

Чужеземец. А рассмотрев, не допускает ли заблуждение внутри себя некоего разделения? Ведь будучи двояким, оно, очевидно, принуждает и искусство обучения иметь две части, по одной для каждого из своих родов.

Теэтет. Что же? Ясно ли тебе то, чти мы теперь исследуем?

Чужеземец. Мне, во всяком случае, кажется, что я вижу обособленным некий великий и тягостный вид заблуждения, равный по значению всем остальным частям заблуждения.

Теэтет. Какой именно?

Чужеземец. Тот, когда, не зная чего-нибудь, люди считают себя знающими это. Отсюда, по-видимому, у всех возникает все то, что составляет

наши ошибки в мышлении.

Теэтет. Правда.

Чужеземец. Так именно этому одному виду заблуждения и присваивается, по моему мнению, имя невежества.

Теэтет. Уж конечно.

Чужеземец. Какое же, стало быть, надо дать имя той части искусства обучения, которая от него избавляет?

Теэтет. Я так думаю, чужеземец, что все другое называется ремесленным обучением, а эта часть, по крайней мере здесь, у нас, именуется воспитанием.

Чужеземец. Да и у всех почти эллинов, Теэтет, она именуется так. Но нам надо еще рассмотреть, не есть ли она уже неделимое целое, или же она допускает какое-либо достойное названия подразделение.

Теэтет. Конечно, это надо рассмотреть.

Чужеземец. Так мне представляется, что и эта часть некоторым образом расчленяется.

Теэтет. В каком отношении?

Чужеземец. В искусстве обучения с помощью речей один путь кажется более шероховатым, другой — более гладким.

Теэтет. Что же сказать нам о каждом из них?

Чужеземец. Один путь стародавний, путь наших отцов, которым они главным образом пользовались, да многие пользуются еще и теперь в применении к сыновьям, когда те в чем-нибудь провинятся, причем их то бранят, то более кротко увещевают. Всю эту часть правильнее всего можно назвать вразумлением.

Теэтет. Это так.

Чужеземец. Что же касается другого, то здесь некоторые, видно, по размышлении, пришли к выводу, что всякое неведение бывает невольным и если кто считает себя мудрым, он никогда не пожелает обучаться чему-либо из того, в чем считает себя сильным, способ же воспитывать путем вразумления при затрате большого труда приводит к малым достижениям.

Теэтет. Они правильно полагают.

Чужеземец. Поэтому-то за устранение подобного [само]мнения они берутся другим способом.

Теэтет. Каким же именно?

Чужеземец. Они расспрашивают кого-либо о том, относительно чего тот мнит, будто говорит дельно, хотя в действительности говорит пустое. Затем, так как он и ему подобные бросаются из стороны в сторону, они легко выясняют их мнения и, сводя их в своих рассуждениях воедино,

сопоставляют между собой, сопоставляя же, показывают, что эти мнения противоречат друг другу касательно одних и тех же вещей, в одном и том же отношении, одним и тем же образом. Те же, видя это, сами на себя негодуют, а к другим становятся мягче и таким способом освобождаются от высокомерного и упорного самомнения, и из всех освобождений об этом освобождении слушать всего приятнее, да и для того, кто его испытывает, оно бывает самым надежным. Ведь те, кто их очищает, дитя мое, полагают, подобно тому как это признали врачи, что тело может наслаждаться предлагаемой ему пищей не раньше, чем будет из него устранено все то, что этому служит помехой; то же самое они думают и относительно души. Они считают, что душа получит пользу от предлагаемых знаний не раньше, чем обличитель, заставив обличаемого устыдиться и устранив мешающие знаниям мнения, сделает обличаемого чистым и таким, что он будет считать себя знающим лишь то, что знает, но не более.

Теэтет. Во всяком случае это состояние — наилучшее и разумнейшее.

Чужеземец. Вследствие всего этого, Теэтет, о таком обличении мы должны говорить как о величайшем и главнейшем из очищений и,

с другой стороны, человека, не подвергшегося этому испытанию, если бы даже он был Великим царем, поскольку он не очищен в самом главном, должны считать невоспитанным и безобразным в том отношении, в каком следовало бы быть самым чистым и прекрасным тому, кто желает стать действительно счастливым.

Теэтет. Безусловно, так.

Чужеземец. Что же? Тех, кто занимается этим искусством, как нам назвать? Я ведь боюсь назвать их софистами.

Теэтет. Почему же?

Чужеземец. Как бы не приписать им слишком ценный дар.

Теэтет. Но ведь то, что теперь сказано, походит на нечто подобное.

Чужеземец. Да ведь и волк походит на собаку, самое дикое существо на самое кроткое. Но человеку осмотрительному надо больше всего соблюдать осторожность в отношении подобия, так как это самый скользкий род. Впрочем, пусть будет так: ведь если определения четки даже в отношении мелочей, то никакого спора из-за них не возникает.

Теэтет. Да, вероятно, не возникает.

Чужеземец. Так пусть же частью искусства

различать будет искусство очищать, от искусства очищать пусть будет отделена часть, касающаяся души, от этой части — искусство обучать, от искусства обучать — искусство воспитывать, а обличение пустого суемудрия, представляющее собою часть искусства воспитания, пусть называется теперь в нашем рассуждении не иначе как благородною по своему роду софистикою

Теэтет. Пусть называется. Однако я, поскольку обнаружилось столь многое, недоумеваю, кем же, наконец, если говорить правильно и с уверенностью, следует признать на самом деле софиста.

Чужеземец. Твое недоумение естественно. Но и тот, софист, надо думать, теперь уже сильно недоумевает, куда ему, наконец, ускользнуть от нашего рассуждения. Ведь справедлива пословица, что не легко от всего увернуться. Поэтому теперь надо посильнее на него налечь.

Теэтет. Ты говоришь прекрасно.

Чужеземец. Давай-ка сначала, остановившись, как бы переведем дух и, отдыхая, поразмыслим сами с собою: вот ведь сколь многовидным оказался у нас софист. Мне кажется, прежде всего мы обнаружили, что он — платный охотник за молодыми и богатыми людьми.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Во-вторых, что он крупный торговец знаниями, относящимися к душе.

Теэтет. Именно.

Чужеземец. В-третьих, не оказался ли он мелочным торговцем тем же самым товаром?

Теэтет. Да; и в-четвертых, он был у нас торговцем своими собственными знаниями.

Чужеземец. Ты правильно вспомнил. Пятое же попытаюсь припомнить я. Захватив искусство словопрений, он стал борцом в словесных состязаниях.

Теэтет. Так и было.

Чужеземец. Шестое спорно; при всем том мы, уступив софисту, приняли, что он очищает от мнений, препятствующих знаниям души.

Теэтет. Совершенно верно.

Чужеземец. Замечаешь ли ты, что когда у кого-то имеется много знаний, а именуют его только по одному виду искусства, то об этом человеке возникает неверное представление. И ясно, что, если кто имеет нечеткое представление о каком-либо искусстве, он не может себе вообразить, на что направлены все знания в этом искусстве, почему он и называет того, кто ими обладает, многими именами вместо одного.

Теэтет. Кажется, большею частью это происхо-

дит приблизительно так.

Чужеземец. Пусть же мы не испытаем по лености ничего подобного при исследовании, но примем, прежде всего, одно из сказанного о софисте; это одно, как мне кажется, более всего его отличает.

Теэтет. Что же это за одно?

Чужеземец. Мы где-то признали его искусником в прекословии.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Что же? Не признали ли мы, что он учит этому самому и других?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Посмотрим-ка, в спорах о чем обещают подобные люди сделать других искусными? Пусть наше исследование идет сначала примерно так. Ну-ка, делают ли они других людей способными спорить о божественных делах, скрытых от большинства?

Теэтет. О них действительно так говорят.

Чужеземец. А относительно земных, небесных и тому подобных очевидных явлений?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. И конечно, мы знаем, что, когда в частных беседах зайдет речь о возникновении и бытии, они и сами оказываются искусными в

возражениях, и других делают такими же способными в этом, как они сами?

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. А что касается законов и всего, относящегося к государству, берутся ли они сделать других искусными спорщиками?

Теэтет. Да ведь никто с ними, можно сказать, и не стал бы беседовать, если б они не брались.

Чужеземец. Однако все то, что по поводу всех искусств, а также и каждого из них в отдельности должен возражать сам мастер, обнародовано для каждого желающего этому научиться в письменном виде.

Теэтет. Ты, кажется, имеешь в виду Протагоровы сочинения о борьбе и иных искусствах?

Чужеземец. И многие другие, мой друг. Однако не представляется ли искусство прекословить какой-то способностью, годною для любых словопрений — о чем угодно?

Теэтет. Кажется, это искусство почти ничего не оставляет без внимания.

Чужеземец. Но, ради богов, мой мальчик, признаешь ли ты все это возможным? Ведь вы, молодые, пожалуй, бываете тут проницательнее, мы же слабее.

Теэтет. О чем это и к чему ты все это говоришь?

Я даже не понимаю этого твоего вопроса.

Чужеземец. А о том, будто бы возможно, чтобы кто-нибудь из людей все знал.

Теэтет. Поистине счастливым был бы, чужеземец, наш род.

Чужеземец. Каким же образом кто-то, не зная сам, мог бы здраво возражать знающему?

Теэтет. Это никоим образом невозможно.

Чужеземец. Ну так в чем же состояло бы чудо силы софистики?

Теэтет. В применении к чему?

Чужеземец. Каким образом софисты были бы в состоянии внушить молодым людям мнение, будто они во всем наимудрейшие? Ясно ведь, что, если бы софисты не возражали правильно, или не казалось бы, что они правильно возражают, или даже если бы и создавалось такое впечатление, но они представлялись бы разумными лишь в силу этих возражений, то, говоря твоими же словами, едва ли кто-нибудь пожелал бы у них учиться, платя им деньги.

Теэтет. Разумеется, едва ли.

Чужеземец. А на самом деле ведь желают?

Теэтет. И даже очень.

Чужеземец. Я думаю, они кажутся сведущими в том, что они возражают.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Но, утверждаем мы, ведь они делают это по отношению ко всему?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Поэтому-то они и кажутся ученикам мудрыми во всем.

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Не будучи в то же время таковыми. Ведь это оказалось невозможным.

Теэтет. Как может это быть возможным?

Чужеземец. Значит, софист оказался у нас обладателем какого-то мнимого знания обо всем, а не истинного.

Теэтет. Безусловно, и сказанное о них теперь кажется вполне правильным.

Чужеземец. Возьмем же какой-нибудь более ясный пример.

Теэтет. Какой?

Чужеземец. Вот какой… а ты постарайся ответить мне, как следует подумав.

Теэтет. Так что же это?

Чужеземец. Например, если бы кто-нибудь стал утверждать, что ни говорить, ни возражать не умеет, но с помощью одного лишь искусства может создавать все вещи без исключения…

Теэтет. Как ты разумеешь это «все»?

Чужеземец. Ты уже сейчас не понимаешь, из чего исходит сказанное. Тебе кажется непонятным это «все».

Теэтет. Конечно нет.

Чужеземец. Я считаю, однако, что и я и ты принадлежим ко «всему», помимо же нас все остальные животные и растения.

Теэтет. Как ты говоришь?

Чужеземец. Я имею в виду, если кто-нибудь стал бы утверждать, что сотворит и меня, и тебя, и все растения…

Теэтет. О каком творении ты, однако, упоминаешь? Ведь не о земледельце же будешь ты говорить, поскольку того человека ты называешь творцом также и животных.

Чужеземец. Да, и сверх того моря, земли, неба и богов, а также всего прочего, вместе взятого; быстро творя, он каждую из этих вещей продает за весьма милые деньги.

Теэтет. Это какая-то шутка.

Чужеземец. Ну а разве не шуткой надо считать, когда кто-нибудь говорит, будто все знает и будто мог бы за недорогую плату в короткий срок и другого этому научить?

Теэтет. Безусловно, шуткой.

Чужеземец. Знаешь ли ты какой-либо более

искусный или более приятный вид шутки, чем подражание?

Теэтет. Нет. Ты назвал всеобъемлющий и весьма разнообразный вид, соединив все в одном.

Чужеземец. Таким образом, о том, кто выдает себя за способного творить все с помощью одного лишь искусства, мы знаем, что он, создавая посредством живописи всевозможные подражания и одноименные с существующими вещами предметы, сможет обмануть неразумных молодых людей, показывая им издали нарисованное и внушая, будто бы он вполне способен на деле исполнить все, что они ни пожелают.

Теэтет. Да, это так.

Чужеземец. Что же теперь? Не считать ли нам, что и по отношению к речам существует какое-то подобное искусство, с помощью которого можно обольщать молодых людей и тех, кто стоит вдали от истинной сущности вещей, речами, действующими на слух, показывая словесные призраки всего существующего? Так и достигается то, что произносимое принимают за истину, а говорящего — за мудрейшего из всех и во всем.

Теэтет. Да почему и не быть какому-либо подобному искусству?

Чужеземец. Не бывает ли, дорогой Теэтет, необ-

ходимым для многих из слушателей, когда по прошествии достаточного времени и достижении зрелого возраста они приходят в столкновение с действительностью и становятся вынужденными под ее воздействием ясно постигнуть существующее, изменить приобретенные раньше мнения, так что великое оказывается малым, легкое трудным и все ложные представления, образованные при помощи речей, всячески опровергаются действительными делами?

Теэтет. Конечно, насколько я в своем юном возрасте могу судить. Но думаю, что и я еще из числа стоящих поодаль [от истины].

Чужеземец. Поэтому-то все мы здесь постараемся, да и теперь стараемся, подвести тебя к ней как можно ближе прежде, чем ты испытаешь такие воздействия. О софисте же ты скажи мне следующее: ясно ли уже, что, будучи подражателем действительности, он — словно какой-то чародей, или мы еще пребываем в сомнении, уж не обладает ли он и в самом деле знанием обо всем том, о чем он в состоянии спорить?

Теэтет. Да каким же образом, чужеземец? Ведь из сказанного уже теперь почти ясно, что он принадлежит к людям, занятым забавой.

Чужеземец. Оттого-то его и надо считать ка-

ким-то чародеем и подражателем.

Теэтет. Как же не считать?

Чужеземец. Ну, теперь наша задача — не выпустить зверя, мы его почти уже захватили в своего рода сеть — орудие нашего рассуждения, так что он больше не убежит и от этого.

Теэтет. От чего же?

Чужеземец. От того, что он — из рода фокусников.

Теэтет. Это также и мое о нем мнение.

Чужеземец. Нами решено уже как можно скорее расчленить изобразительное искусство и, если софист, когда мы вторгнемся в область этого искусства, останется с нами лицом к лицу, схватить его по царскому слову, передавая же его царю, объявить о добыче. Если же софист как-либо скроется в отдельных частях искусства подражания, то решено преследовать его, все время продолжая расчленять принявшую его часть, до тех пор пока он не будет пойман. Вообще, ни этому роду, ни другому какому никогда не придется хвалиться, что он смог убежать от тех, кто владеет методом преследовать как по частям, так и в целом.

Теэтет. Ты хорошо говоришь, так и должно поступить.

Чужеземец. Согласно с прежним характером членения, мне кажется, я усматриваю два вида искусства подражания. Однако, мне кажется, что я еще не в состоянии узнать, в каком же из них двух находится у нас искомая идея.

Теэтет. Но сначала скажи и поясни, о каких двух видах ты говоришь.

Чужеземец. В одном я усматриваю искусство творить образы; оно состоит преимущественно в том, что кто-либо соответственно с длиною, шириною и глубиною образца, придавая затем еще всему подходящую окраску, создает подражательное произведение.

Теэтет. Как же? Не все ли подражатели берутся делать то же самое?

Чужеземец. Во всяком случае, не те, кто лепит или рисует какую-либо из больших вещей. Если бы они желали передать истинную соразмерность прекрасных вещей, то ты знаешь, что верх оказался бы меньших размеров, чем должно, низ же больших, так как первое видимо нами издали, второе вблизи.

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Не воплощают ли поэтому художники в своих произведениях, оставляя в стороне истинное, не действительные соотношения, но

лишь те, которые им кажутся прекрасными?

Теэтет. Безусловно.

Чужеземец. Не будет ли справедливым первое, как правдоподобное, назвать подобием?

Теэтет. Да.

Чужеземец. И относящуюся сюда часть искусства подражания не должно ли, как мы уже сказали раньше, назвать искусством творить образы?

Теэтет. Пусть называется так.

Чужеземец. А как же мы назовем то, что, с одной стороны, кажется подобным прекрасному, хотя при этом и не исходят из прекрасного, а, с другой стороны, если бы иметь возможность рассмотреть это в достаточной степени, можно было бы сказать, что оно даже не сходно с тем, с чем считалось сходным? Не есть ли то, что только кажется сходным, а на самом деле не таково, лишь призрак?

Теэтет. Отчего же нет?

Чужеземец. Не весьма ли обширна эта часть и в живописи, и во всем искусстве подражания?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Не назовем ли мы вполне справедливо искусством творить призрачные подобия то искусство, которое создает не подобия, а при-

зраки?

Теэтет. Конечно, назовем.

Чужеземец. Таким образом, я назвал следующие два вида изобразительного искусства: искусство творить образы и искусство создавать призрачные подобия.

Теэтет. Правильно.

[Диалектика бытия и небытия]

Чужеземец. Того же, однако, о чем я и прежде недоумевал, а именно к какому из обоих искусств должно отнести софиста, я и теперь еще не могу ясно видеть: человек этот поистине удивителен, и его весьма затруднительно наблюдать; ой и в настоящее время очень ловко и хитро укрылся в трудный для исследования вид [искусства].

Теэтет. Кажется, да.

Чужеземец. Но ты сознательно ли соглашаешься с этим, или же тебя, по обыкновению, увлекла к поспешному соглашению некая сила речи?

Теэтет. К чему ты это сказал?

Чужеземец. В действительности, мой друг, мы стоим перед безусловно трудным вопросом. Ведь являться и казаться и вместе с тем не быть, а также говорить что-либо, что не было бы истиной, все это и в прежнее время вызвало много

недоумений, и теперь тоже. В самом деле, каким образом утверждающий, что вполне возможно говорить или думать ложное, высказав это, не впадает в противоречие, постигнуть, дорогой Теэтет, во всех отношениях трудно.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Это смелое утверждение: оно предполагало бы существование небытия; ведь в противном случае и самая ложь была бы невозможна. Великий Парменид, мой мальчик, впервые, когда мы еще были детьми, высказал это и до самого конца не переставал свидетельствовать о том же, постоянно говоря прозою или стихами:

> *Этого нет никогда и нигде, чтоб не-сущее было;*
>
> *Ты от такого пути испытаний сдержи свою мысль.*

Итак, Парменид свидетельствует об этом, и, что важнее всего, само упомянутое утверждение при надлежащем исследовании его раскрыло бы то же. Рассмотрим, следовательно, именно этот вопрос, если ты не возражаешь.

Теэтет. По мне, направляйся куда хочешь, относительно же нашего рассуждения смекни, каким

путем его лучше повести, и следуй этим путем сам, да и меня веди им же.

Чужеземец. Да, так именно и нужно поступать. И вот ответь мне: отважимся ли мы произнести «полное небытие»?

Теэтет. Отчего же нет?

Чужеземец. Если бы, таким образом, кто-либо из слушателей не для спора и шутки, но со всей серьезностью должен был ответить, к чему следует относить это выражение — «небытие», то что мы подумали бы: в применении к чему и в каких случаях говорящий и сам воспользовался бы этим выражением, и указал бы на него тому, кто спрашивает?

Теэтет. Ты ставишь трудный и, можно сказать, именно для меня почти совершенно неразрешимый вопрос.

Чужеземец. Но по крайней мере, ясно хоть то, что небытие не должно быть отнесено к чему-либо из существующего.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. А если, стало быть, не к существующему, то не будет прав тот, кто отнесет небытие к чему-либо.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Но ведь для нас, видимо, ясно, что

само выражение «что-либо» мы относим постоянно к существующему. Брать его одно, само по себе, как бы голым и отрешенным от существующего, невозможно. Не так ли?

Теэтет. Невозможно.

Чужеземец. Подходя таким образом, согласен ли ты, что, если кто говорит о чем-либо, тот необходимо должен говорить об этом как об одном?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Ведь «что-либо», ты скажешь, обозначает одно, «оба» — два и, наконец, «несколько» обозначает множество.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Следовательно, говорящий не о чем-либо, как видно, по необходимости и вовсе ничего не говорит.

Теэтет. Это в высшей степени необходимо.

Чужеземец. Не должно ли поэтому допустить и то, что такой человек пусть и ведет речь, однако ничего не высказывает? Более того, кто пытался бы говорить о небытии, того и говорящим назвать нельзя?

Теэтет. В таком случае наше рассуждение стало бы предельно затруднительным.

Чужеземец. Не говори так решительно. Имеется, дорогой мой, еще одно затруднение, весьма

сильное и существенное. И оно касается самого исходного начала вопроса.

Теэтет. Что ты имеешь в виду? Скажи, не мешкая.

Чужеземец. Соединимо ли с бытием что-либо другое существующее?

Теэтет. Отчего же нет?

Чужеземец. А сочтем ли мы возможным, чтобы к небытию когда-либо присоединилось что-нибудь из существующего?

Теэтет. Как это?

Чужеземец. Всякое число ведь мы относим к области бытия?

Теэтет. Если только вообще что-нибудь следует признать бытием.

Чужеземец. Так нам поэтому не должно и пытаться прилагать к небытию числовое множество или единство.

Теэтет. Разумеется, согласно со смыслом нашего рассуждения, эта попытка была бы неправильна.

Чужеземец. Как же кто-либо смог бы произнести устами или вообще охватить мыслью несуществующие вещи или несуществующую вещь без числа?

Теэтет. Ну скажи, как?

Чужеземец. Когда мы говорим «несуществующие вещи», то не пытаемся ли мы прилагать здесь множественное число?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Если же мы говорим «несуществующая вещь», то, напротив, не единственное ли это число?

Теэтет. Ясно, что так.

Чужеземец. Однако же мы признаем несправедливой и неправильной попытку прилагать бытие к небытию.

Теэтет. Ты говоришь весьма верно.

Чужеземец. Понимаешь ли ты теперь, что небытие само по себе ни произнести правильно невозможно, ни выразить его, ни мыслить и что оно непостижимо, необъяснимо, невыразимо и лишено смысла?

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Значит, я ошибся, когда утверждал недавно, что укажу на величайшее затруднение относительно него? Ведь мы можем указать другое, еще большее.

Теэтет. Какое именно?

Чужеземец. Как же, чудак! Или ты не замечаешь из сказанного, что и того, кто возражает против него, небытие приводит в такое затруд-

нение, что, кто лишь примется его опровергать, бывает вынужден сам себе здесь противоречить?

Теэтет. Как ты говоришь? Скажи яснее.

Чужеземец. А по мне вовсе не стоит это яснее исследовать. Ведь, приняв, что небытие не должно быть причастно ни единому, ни многому, я, несмотря на это, все же назвал его «единым», так как говорю «небытие». Смекаешь ли?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Далее, несколько раньше я утверждал также, что оно невыразимо, необъяснимо и лишено смысла. Ты следишь за мной?

Теэтет. Слежу. Как же иначе?

Чужеземец. Но, пытаясь связать бытие [с небытием], не высказал ли я чего-то противоположного прежнему?

Теэтет. Кажется.

Чужеземец. Далее. Связывая бытие с небытием, не говорил ли я о небытии как о едином?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Ведь, называя небытие лишенным смысла, необъяснимым и невыразимым, я как бы относил все это к чему-то единому.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. А мы утверждаем, что тот, кто пожелал бы правильно выразиться, не должен

определять небытие ни как единое, ни как многое и вообще не должен его как-то именовать. Ведь и через наименование оно было бы обозначено как вид единого.

Теэтет. Без сомнения.

Чужеземец. Так что же сказать тогда обо мне? Ведь пожалуй, я и прежде и теперь могу оказаться разбитым в моих обличениях небытия. Поэтому, как я уже сказал, не будем в моих словах искать правды о небытии, но давай обратимся к твоим.

Теэтет. Что ты говоришь?

Чужеземец. Ну, постарайся напрячь свои силы как можно полнее и крепче — ты ведь еще юноша — и попытайся, не приобщая ни бытия, ни единства, ни множества к небытию, высказать о нем что-либо правильно.

Теэтет. Поистине странно было бы, если бы я захотел попытаться это сделать, видя твою неудачу.

Чужеземец. Ну, если тебе угодно, оставим в покое и тебя и меня. И пока мы не нападем на человека, способного это сделать, до тех пор будем говорить, что софист как нельзя более хитро скрылся в неприступном месте.

Теэтет. Это вполне очевидно.

Чужеземец. Поэтому если мы будем говорить,

что он занимается искусством, творящим лишь призрачное, то, придравшись к этому словоупотреблению, он легко обернет наши слова в противоположную сторону, спросив нас, что же мы вообще подразумеваем под отображением, называя его самого творцом отображений? Поэтому, Теэтет, надо смотреть, что ответить дерзкому на этот вопрос.

Теэтет. Ясно, что мы укажем на отображения в воде и зеркале, затем еще на картины и статуи и на все остальное в этом же роде.

Чужеземец. Очевидно, Теэтет, софиста ты еще и не видел.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Тебе покажется, что он либо жмурится, либо совсем не имеет глаз.

Теэтет. Почему?

Чужеземец. Когда ты дашь ему такой вот ответ, указывая на изображения в зеркалах и на изваяния, он посмеется над твоими объяснениями, так как ты станешь беседовать с ним как со зрячим, а он притворится, будто не знает ни зеркал, ни воды, ни вообще ничего зримого, и спросит тебя только о том, что следует из объяснений.

Теэтет. Но что же?

Чужеземец. Надо сказать, что обще всем этим

вещам, которые ты считаешь правильным обозначить одним названием, хотя назвал их много, и именуешь их все отображением, как будто они есть нечто одно. Итак, говори и защищайся, ни в чем не уступая этому мужу.

Теэтет. Так что же, чужеземец, можем мы сказать об отображении, кроме того, что оно есть подобие истинного, такого же рода иное?

Чужеземец. Считаешь ли ты такого же рода иное истинным, или к чему ты относишь «такого же рода»?

Теэтет. Вовсе неистинным, но лишь ему подобным.

Чужеземец. Не правда ли, истинным ты называешь подлинное бытие?

Теэтет. Так.

Чужеземец. Что же? Неистинное не противоположно ли истинному?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Следовательно, ты подобное не относишь к подлинному бытию, если только называешь его неистинным.

Теэтет. Но ведь вообще-то оно существует.

Чужеземец. Однако не истинно, говоришь ты.

Теэтет. Конечно нет, оно действительно есть только образ.

Чужеземец. Следовательно, то, что мы называем образом, не существуя действительно, все же действительно есть образ?

Теэтет. Кажется, небытие с бытием образовали подобного рода сплетение, очень причудливое.

Чужеземец. Как же не причудливое? Видишь, из-за этого сплетения многоголовый софист принудил нас против воли согласиться, что небытие каким-то образом существует.

Теэтет. Вижу, и очень даже.

Чужеземец. Что же теперь? С помощью какого определения его искусства придем мы в согласие с самими собой?

Теэтет. Почему ты так говоришь и чего ты боишься?

Чужеземец. Когда мы утверждаем, что софист обманывает нас призраком и что искусство его обманчиво, не утверждаем ли мы этим, что наша душа из-за его искусства мнит ложное? Или как мы скажем?

Теэтет. Именно так. Что же другое мы можем сказать?

Чужеземец. Далее, ложное мнение — это мнение, противоположное тому, что существует. Не так ли?

Теэтет. Да, противоположное.

Чужеземец. Ты говоришь, следовательно, что ложное мнение — это мнение о несуществующем?

Теэтет. Безусловно.

Чужеземец. Представляет ли оно собой мнение о том, что несуществующего нет или что вовсе не существующее все-таки есть?

Теэтет. Несуществующее должно, однако, каким то образом быть, если только когда-нибудь кто-то хоть в чем-то малом солжет.

Чужеземец. Что же? Не будет ли он также считать, что безусловно существующее вовсе не существует?

Теэтет. Да.

Чужеземец. И это тоже ложь?

Теэтет. И это.

Чужеземец. Следовательно, положение, что существующее не существует или что несуществующее существует, думаю, будет точно так же считаться ложным.

Теэтет. Да и может ли оно быть иным?

Чужеземец. Вероятно, не может. Но этого софист не признает. И есть ли какой-нибудь способ толкнуть здравомыслящего человека на такую уступку, раз мы признали [в отношении небытия] то, о чем у нас шла речь раньше? Понимаем ли

мы, Теэтет, что говорит софист?

Теэтет. Отчего же и не понять? Он скажет, что, дерзнув заявить, будто есть ложь и в мнениях, и в словах, мы противоречим тому, что недавно высказали. Ведь мы часто вынуждены связывать существующее с несуществующим, хотя недавно установили, что это менее всего возможно.

Чужеземец. Ты правильно вспомнил. Но пора уже принять решение, что же нам делать с софистом? Ты видишь, сколь многочисленны и как легко возникают возражения и затруднения, когда мы разыскиваем его в искусстве обманщиков и шарлатанов.

Теэтет. Да, очень даже вижу.

Чужеземец. Мы разобрали лишь малую часть их, между тем как они, так сказать, бесконечны.

Теэтет. Как видно, схватить софиста невозможно, раз все это так.

Чужеземец. Что же? Отступим теперь из трусости?

Теэтет. Я полагаю, что не следует, если мы мало-мальски в силах его как-то поймать.

Чужеземец. Но ты будешь снисходителен и сообразно с только что сказанным удовольствуешься, если мы как-то мало-помалу выпутаемся из столь трудного рассуждения?

Теэтет. Отчего же мне не быть снисходительным?

Чужеземец. А больше того прошу тебя о следующем.

Теэтет. О чем?

Чужеземец. Чтобы ты не думал, будто я становлюсь в некотором роде отцеубийцей.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Защищаясь, нам необходимо будет подвергнуть испытанию учение нашего отца Парменида и всеми силами доказать, что небытие в каком-либо отношении существует и, напротив, бытие каким-то образом не существует.

Теэтет. Очевидно, нечто подобное нам и придется отстаивать в рассуждении.

Чужеземец. Да, по пословице, это видно и слепому. Ведь пока это не отвергнуто нами или не принято, едва ли кто окажется в состоянии говорить о *лживых* словах и мнениях, будет ли дело идти об отображениях, подражаниях и призраках или же обо всех занимающихся этим искусствах, не противореча по необходимости самому себе и не становясь таким образом смешным.

Теэтет. Весьма справедливо.

Чужеземец. Ради этого-то и придется посягнуть на отцовское учение или же вообще отступиться,

если некий страх помешает нам это сделать.

Теэтет. Ничто не должно нас от этого удержать.

Чужеземец. Теперь я еще и в-третьих буду просить тебя об одной малости.

Теэтет. Ты только скажи.

Чужеземец. Недавно только я говорил, что всегда теряю надежду на опровержение всего этого, вот и теперь случилось то же.

Теэтет. Да, ты говорил.

Чужеземец. Боюсь, чтобы из-за сказанного не показаться тебе безумным, после того как я вдруг с ног встану на голову. Однако ради тебя мы все же возьмемся за опровержение учения [Парменида], если только мы его опровергнем.

Теэтет. Так как в моих глазах ты ничего дурного не сделаешь, если приступишь к опровержению и доказательству, то приступай смело.

Чужеземец. Ну ладно! С чего же прежде всего начать столь дерзновенную речь? Кажется мне, мой мальчик, что нам необходимо направиться по следующему пути.

Теэтет. По какому же?

Чужеземец. Прежде всего рассмотреть то, что представляется нам теперь очевидным, чтобы не сбиться с пути и не прийти легко к взаимному

соглашению так, как будто нам все ясно.

Теэтет. Говори точнее, что ты имеешь в виду.

Чужеземец. Мне кажется, что Парменид, да и всякий другой, кто только когда-либо принимал решение определить, каково существующее количественно и качественно, говорили с нами, не придавая значения своим словам.

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. Каждый из них, представляется мне, рассказывает нам какую-то сказку, будто детям: один, что существующее — тройственно и его части то враждуют друг с другом, то становятся дружными, вступают в браки, рождают детей и питают потомков; другой, называя существующее двойственным — влажным и сухим или теплым и холодным, заставляет жить то и другое вместе и сочетаться браком. Наше элейское племя, начиная с Ксенофана, а то и раньше, говорит в своих речах, будто то, что называется «всем», — едино. Позднее некоторые ионийские и сицилийские Музы сообразили, что всего безопаснее объединить то и другое и заявить, что бытие и множественно и едино и что оно держится враждою и дружбою. «Расходящееся всегда сходится», говорят более строгие из Муз; более же уступчивые всегда допускали, что все бывает

поочередно то единым и любимым Афродитою, то множественным и враждебным с самим собою вследствие какого-то раздора. Правильно ли кто из них обо всем этом говорит или нет — решить трудно, да и дурно было бы укорять столь славных и древних мужей. Но вот что кажется верным…

Теэтет. Что же?

Чужеземец. А то, что они, свысока взглянув на нас, большинство, слишком нами пренебрегли. Нимало не заботясь, следим ли мы за ходом их рассуждений или же нет, каждый из них упорно твердит свое.

Теэтет. Почему ты так говоришь?

Чужеземец. Когда кто-либо из них высказывает положение, что множественное, единое или двойственное есть, возникло или возникает и что, далее, теплое смешивается с холодным, причем предполагаются и некоторые другие разделения и смешения, то, ради богов, Теэтет, понимаешь ли ты всякий раз, что они говорят? Я, когда был помоложе, думал, что понимаю ясно, когда кто-либо говорил о том, что в настоящее время приводит нас в недоумение, именно о небытии. Теперь же ты видишь, в каком мы находимся по отношению к нему затруднении.

Теэтет. Вижу.

Чужеземец. Пожалуй, мы испытываем такое же точно состояние души и по отношению к бытию, хотя утверждаем, что ясно понимаем, когда кто-либо о нем говорит, что же касается небытия, то не понимаем; между тем мы в одинаковом положении по отношению как к тому, так и к другому.

Теэтет. Пожалуй.

Чужеземец. И обо всем прочем, сказанном раньше, нам надо выразиться точно так же.

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. О многом мы, если будет угодно, поговорим и после, величайшее же и изначальное следует рассмотреть первым.

Теэтет. О чем, однако, ты говоришь? Ясно ведь, ты считаешь, что сначала надо тщательно исследовать бытие: чем оказывается оно у тех, кто берется о нем рассуждать?

Чужеземец. Ты, Теэтет, следуешь за мной прямо по пятам. Я говорю, что метод исследования нам надо принять такой, будто те находятся здесь и мы должны расспросить их следующим образом: «Ну-ка, вы все, кто только утверждает, что теплое и холодное или другое что-нибудь двойственное есть все, — что произносите вы о двух [началах бытия], когда говорите, будто

существуют они оба вместе и каждое из них в отдельности? Как нам понимать это ваше бытие? Должны ли мы, по-вашему, допустить нечто третье кроме тех двух и считать все тройственным, а вовсе не двойственным? Ведь если вы назовете одно из двух [начал] бытием, то не сможете сказать, что оба они одинаково существуют, так как в том и другом случае было бы единое [начало], а не двойственное».

Теэтет. Ты говоришь верно.

Чужеземец. «Или вы хотите оба [начала] назвать бытием?»

Теэтет. Может быть.

Чужеземец. «Но, друзья, — скажем мы, — так вы весьма ясно назвали бы двойственное единым».

Теэтет. Ты совершенно прав.

Чужеземец. «Так как мы теперь в затруднении, то скажите нам четко, что вы желаете обозначить, когда произносите „бытие“. Ясно ведь, что вы давно это знаете, мы же думали, что знаем, а теперь вот затрудняемся. Поучите сначала нас этому, чтобы мы не воображали, будто постигаем то, что вы говорите, тогда как дело обстоит совершенно наоборот». Так говоря и добиваясь этого от них, а также от других, которые утверждают, что

все больше одного, неужели мы, мой мальчик, допустим какую-либо ошибку?

Теэтет. Менее всего.

Чужеземец. Как же? Не должно ли у тех, кто считает все единым, выведать по возможности, что называют они бытием?

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Пусть они ответят на следующее: «Вы утверждаете, что существует только единое?» «Конечно, утверждаем», скажут они. Не так ли?

Теэтет. Да.

Чужеземец. «Дальше. Называете ли вы что-нибудь бытием?»

Теэтет. Да.

Чужеземец. «То же ли самое, что вы называете единым, пользуясь для одного и того же двумя именами? Или как?»

Теэтет. Что же они ответят после этого, чужеземец?

Чужеземец. Ясно, Теэтет, что для того, кто выдвигает такое предположение, не очень-то легко ответить как на этот, так и на любой другой вопрос.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Допускать два наименования, когда считают, что не существует ничего, кроме

единого, конечно, смешно.

Теэтет. Как не смешно!

Чужеземец. Да и вообще согласиться с говорящим, что имя есть что-то, не имело бы смысла.

Теэтет. Отчего?

Чужеземец. Кто допускает имя, отличное от вещи, тот говорит, конечно, о двойственном.

Теэтет. Да.

Чужеземец. И действительно, если он принимает имя вещи за то же, что есть она сама, он либо будет вынужден произнести имя ничего, либо если он назовет имя как имя чего-то, то получится только имя имени, а не чего-либо другого.

Теэтет. Так.

Чужеземец. И единое, будучи лишь именем единого, окажется единым лишь по имени.

Теэтет. Это необходимо.

Чужеземец. Что же далее? Отлично ли целое от единого бытия или они признают его тождественным с ним?

Теэтет. Как же они не признают, если и теперь признают?

Чужеземец. Если, таким образом, как говорит и Парменид,

> *Вид его [целого] массе правильной сферы всюду подобен,*

Равен от центра везде он, затем, что нисколько не больше,

Как и не меньше идет туда и сюда по закону,

если бытие именно таково, то оно имеет середину и края, а обладая этим, оно необходимо должно иметь части. Или не так?

Теэтет. Так.

Чужеземец. Ничто, однако, не препятствует, чтобы разделенное на части имело в каждой части свойство единого и чтобы, будучи всем и целым, оно таким образом было единым.

Теэтет. Почему бы и нет?

Чужеземец. Однако ведь невозможно, чтобы само единое обладало этим свойством?

Теэтет. Отчего же?

Чужеземец. Истинно единое, согласно верному определению, должно, конечно, считаться полностью неделимым.

Теэтет. Конечно, должно.

Чужеземец. В противном случае, то есть будучи составленным из многих частей, оно не будет соответствовать определению.

Теэтет. Понимаю.

Чужеземец. Будет ли теперь бытие, обладаю-

щее, таким образом, свойством единого, единым и целым, или нам вовсе не следует принимать бытие за целое?

Теэтет. Ты предложил трудный выбор.

Чужеземец. Ты говоришь сущую правду. Ведь если бытие обладает свойством быть как-то единым, то оно уже не будет тождественно единому и все будет больше единого.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Далее, если бытие есть целое не потому, что получило это свойство от единого, но само по себе, то оказывается, что бытию недостает самого себя.

Теэтет. Истинно так.

Чужеземец. Согласно этому объяснению, бытие, лишаясь самого себя, будет уже небытием.

Теэтет. Так.

Чужеземец. И все снова становится больше единого, если бытие и целое получили каждое свою собственную природу.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Если же целое вообще не существует, то это же самое произойдет и с бытием, и ему предстоит не быть и никогда не стать бытием.

Теэтет. Отчего же?

Чужеземец. Возникшее — всегда целое, так что

ни о бытии, ни о возникновении нельзя говорить как о чем-либо существующем, если в существующем не признавать целого.

Теэтет. Кажется несомненным, что это так.

Чужеземец. И действительно, никакая величина не должна быть нецелым, так как, сколь велико что-нибудь — каким бы великим или малым оно ни было, — столь великим целым оно по необходимости должно быть.

Теэтет. Совершенно верно.

Чужеземец. И тысяча других вещей, каждая в отдельности, будет вызывать бесконечные затруднения у того, кто говорит, будто бытие либо двойственно, либо только едино.

Теэтет. Это обнаруживает то, что и теперь почти уже ясно. Ведь одно влечет за собой другое, неся большую и трудноразрешимую путаницу относительно всего прежде сказанного.

Чужеземец. Мы, однако, не рассмотрели всех тех, кто тщательно исследует бытие и небытие, но довольно и этого. Дальше надо обратить внимание на тех, кто высказывается по-иному, дабы на примере всего увидеть, как ничуть не легче объяснить, что такое бытие, чем сказать, что такое небытие.

Теэтет. Значит, надо идти и против этих.

Чужеземец. У них, кажется, происходит нечто вроде борьбы гигантов из-за спора друг с другом о бытии.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Одни все совлекают с неба и из области невидимого на землю, как бы обнимая руками дубы и скалы. Ухватившись за все подобное, они утверждают, будто существует только то, что допускает прикосновение и осязание, и признают тела и бытие за одно и то же, всех же тех, кто говорит, будто существует нечто бестелесное, они обливают презрением, более ничего не желая слышать.

Теэтет. Ты назвал ужасных людей; ведь со многими из них случалось встречаться и мне.

Чужеземец. Поэтому-то те, кто с ними вступает в спор, предусмотрительно защищаются как бы сверху, откуда-то из невидимого, решительно настаивая на том, что истинное бытие — это некие умопостигаемые и бестелесные идеи; тела же, о которых говорят первые, и то, что они называют истиной, они, разлагая в своих рассуждениях на мелкие части, называют не бытием, а чем-то подвижным, становлением. Относительно этого между обеими сторонами, Теэтет, всегда происходит сильнейшая борьба.

Теэтет. Правильно.

Чужеземец. Значит, нам надо потребовать от обеих сторон порознь объяснения, что они считают бытием.

Теэтет. Как же мы его будем требовать?

Чужеземец. От тех, кто полагает бытие в идеях, легче его получить, так как они более кротки, от тех же, кто насильственно все сводит к телу, труднее, да, может быть, и почти невозможно. Однако, мне кажется, с ними следует поступать так…

Теэтет. Как?

Чужеземец. Всего бы лучше исправить их делом, если бы только это было возможно; если же так не удастся, то мы сделаем это при помощи рассуждения, предположив у них желание отвечать нам более правильно, чем доселе. То, что признано лучшими людьми, сильнее того, что признано худшими. Впрочем, мы заботимся не о них, но ищем лишь истину.

Теэтет. Весьма справедливо.

Чужеземец. Предложи же тем, кто стал лучше, тебе отвечать, и истолковывай то, что ими сказано.

Теэтет. Да будет так.

Чужеземец. Пусть скажут, как они полагают: есть ли вообще какое-либо смертное существо?

Теэтет. Отчего же нет?

Чужеземец. Не признают ли они его одушевленным телом?

Теэтет. Без сомнения.

Чужеземец. И считают душу чем-то существующим?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Дальше. Не говорят ли они, что одна душа — справедливая, другая — несправедливая, та — разумная, а эта — нет?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. И не так ли они считают, что благодаря присутствию справедливости каждая душа становится такой-то, а из-за противоположных качеств — противоположною?

Теэтет. Да, и это они подтверждают.

Чужеземец. Но то, что может присутствовать в чем-либо или отсутствовать, непременно, скажут они, должно быть чем-то.

Теэтет. Они так и говорят.

Чужеземец. Когда же справедливость, разумность и любая другая добродетель, а также их противоположности существуют и существует также душа, в которой все это пребывает, то признают ли они что-либо из этого видимым и осязаемым или же все — невидимым?

Теэтет. Пожалуй, здесь нет ничего видимого.

Чужеземец. Что же? Неужели они утверждают, что вещи подобного рода имеют тело?

Теэтет. Здесь они уже не решают все одинаковым образом, но им кажется, что сама душа обладает телом, в отношении же разумности и каждого из того, о чем ты спросил, они не дерзают согласиться, что это вовсе не существует, и настаивать, что все это — тела.

Чужеземец. Нам ясно, Теэтет, что эти мужи исправились. Ведь те из них, которых породила земля, ни в чем не выказали бы робости, но всячески настаивали бы, что то, чего они не могут схватить руками, вообще есть ничто.

Теэтет. Пожалуй, они так и думают, как ты говоришь.

Чужеземец. Спросим, однако, их снова: если они пожелают что-либо, хоть самое малое, из существующего признать бестелесным, этого будет достаточно. Ведь они должны будут тогда назвать то, что от природы присуще как вещам бестелесным, так и имеющим тело, и глядя на что они тому и другому приписывают бытие. Быть может, они окажутся в затруднении. Однако, если что-либо подобное случится, смотри, захотят ли они признать и согласиться с выдвинутым

нами положением относительно бытия — что оно таково?

Теэтет. Но каково же? Говори, и мы это скоро увидим.

Чужеземец. Я утверждаю теперь, что все, обладающее по своей природе способностью либо воздействовать на что-то другое, либо испытывать хоть малейшее воздействие, пусть от чего-то весьма незначительного и только один раз, все это действительно существует. Я даю такое определение существующего: оно есть не что иное, как способность.

Теэтет. Ввиду того что в настоящее время они не могут сказать ничего лучшего, они принимают это определение.

Чужеземец. Прекрасно. Позже, быть может, и нам и им представится иное. Но для них пусть это останется у нас решенным.

Теэтет. Пусть останется.

Чужеземец. Теперь давай обратимся к другим, к друзьям идей; ты же толкуй нам и их ответы.

Теэтет. Пусть будет так.

Чужеземец. Вы говорите о становлении и бытии, как-то их различая. Не так ли?

Теэтет. Да.

Чужеземец. И говорите, что к становлению мы

приобщаемся телом с помощью ощущения, душою же с помощью размышления приобщаемся к подлинному бытию, о котором вы утверждаете, что оно всегда само себе тождественно, становление же всякий раз иное.

Теэтет. Действительно, мы говорим так.

Чужеземец. Но как нам сказать, о наилучшие из людей, чти в обоих случаях вы называете приобщением? Не то ли, о чем мы упомянули раньше?

Теэтет. Что же?

Чужеземец. Страдание или действие, возникающее вследствие некой силы, рождающейся от взаимной встречи вещей. Быть может, Теэтет, ты и не слышишь их ответа на это, я же, пожалуй, благодаря близости с ними слышу.

Теэтет. Какое же, однако, приводят они объяснение?

Чужеземец. Они не сходятся с нами в том, что недавно было сказано людям земли относительно бытия.

Теэтет. В чем же именно?

Чужеземец. Мы выставили как достаточное определение существующего то, что нечто обладает способностью страдать или действовать, хотя бы даже и в весьма малом.

Теэтет. Да.

Чужеземец. На это, однако, они возражают, что способность страдать или действовать принадлежит становлению, но с бытием, как они утверждают, не связана способность ни того ни другого.

Теэтет. Разве так они говорят?

Чужеземец. Ну а нам надо на это ответить, что мы должны яснее у них узнать, признают ли они, что душа познает, а бытие познается?

Теэтет. Это они действительно говорят.

Чужеземец. Что же? Считаете ли вы, что познавать или быть познаваемым — это действие или страдание или то и другое вместе? Или одно из них — страдание, а другое — действие? Или вообще ни то ни другое не причастно ни одному из двух [состояний]?

Теэтет. Ясно, что ничто из двух ни тому ни другому не причастно, иначе они высказали бы утверждение, противоположное прежнему.

Чужеземец. Понимаю. Если познавать значит как-то действовать, то предмету познания, напротив, необходимо страдать. Таким образом, бытие, согласно этому рассуждению, познаваемое познанием, насколько познается, настолько же находится в движении в силу своего страдания,

которое, как мы говорим, не могло бы возникнуть у пребывающего в покое.

Теэтет. Справедливо.

Чужеземец. И ради Зевса, дадим ли мы себя легко убедить в том, что движение, жизнь, душа и разум не причастны совершенному бытию и что бытие не живет и не мыслит, но возвышенное и чистое, не имея ума, стоит неподвижно в покое?

Теэтет. Мы допустили бы, чужеземец, поистине чудовищное утверждение!

Чужеземец. Но должны ли мы утверждать, что оно обладает умом, жизнью же нет?

Теэтет. Как можно?!

Чужеземец. Но, согласившись в том, что ему присущи и то и другое, станем ли мы утверждать, что они находятся у него в душе?

Теэтет. Но каким иным образом могло бы оно их иметь?

Чужеземец. Так станем ли мы утверждать, что, имея ум, жизнь и душу, бытие совсем неподвижно, хотя и одушевлено?

Теэтет. Мне все это кажется нелепым.

Чужеземец. Потому-то и надо допустить, что движимое и движение существуют.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Итак, Теэтет, выходит, что если су-

ществующее неподвижно, то никто нигде ничего не мог бы осмыслить.

Теэтет. Несомненно, так.

Чужеземец. И однако же, если мы, с другой стороны, признаем все несущимся и движущимся, то этим утверждением мы исключаем тождественное из области существующего.

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. Думаешь ли ты, что без покоя могли бы существовать тождественное, само себе равное и находящееся в одном и том же отношении?

Теэтет. Никогда.

Чужеземец. Что же далее? Понимаешь ли ты, как без всего этого мог бы где бы то ни было существовать или возникнуть ум?

Теэтет. Менее всего.

Чужеземец. И действительно, надо всячески словом бороться с тем, кто, устранив знание, разум и ум, в то же время каким-то образом настойчиво что-либо утверждает.

Теэтет. Несомненно, так.

Чужеземец. Таким образом, философу, который все это очень высоко ценит, как кажется, необходимо вследствие этого не соглашаться с признающими одну или много идей, будто все

пребывает в покое, и совершенно не слушать тех, кто, напротив, приписывает бытию всяческое движение, но надо, подражая мечте детей, чтобы все неподвижное двигалось, признать бытие и все и движущимся и покоящимся.

Теэтет. Весьма справедливо.

Чужеземец. Что же, однако? Не достаточно ли уже, как представляется, мы охватили в своем рассуждении бытие?

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Вот тебе и на, Теэтет! А я бы сказал, что именно теперь мы и познаем всю трудность исследования бытия.

Теэтет. Как это? Что ты сказал?

Чужеземец. Не замечаешь ли ты, мой милый, что мы сейчас оказались в совершенном неведении относительно бытия, а между тем нам кажется, будто мы о нем что-то говорим.

Теэтет. Мне кажется, да. Однако я совсем не понимаю, как мы могли незаметно оказаться в таком положении.

Чужеземец. Но посмотри внимательнее: если мы теперь со всем этим соглашаемся, как бы нам по праву не предложили тех же вопросов, с которыми мы сами обращались к тем, кто признает, будто все есть теплое и холодное.

Теэтет. Какие же это вопросы? Напомни мне.

Чужеземец. Охотно. И я попытаюсь это сделать, расспрашивая тебя, как тогда тех, чтобы нам вместе продвинуться вперед.

Теэтет. Это правильно.

Чужеземец. Ну, хорошо. Не считаешь ли ты движение и покой полностью противоположными друг другу?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. И несомненно, ты полагаешь, что оба они и каждое из них в отдельности одинаково существуют?

Теэтет. Конечно, я так говорю.

Чужеземец. Не думаешь ли ты, что оба и каждое из них движутся, раз ты признаешь, что они существуют?

Теэтет. Никоим образом.

Чужеземец. Значит, говоря, что оба они существуют, ты этим обозначаешь, что они пребывают в покое?

Теэтет. Каким же образом?

Чужеземец. Допуская в душе рядом с теми двумя нечто третье, а именно бытие, которым как бы охватываются и движение и покой, не считаешь ли ты, окидывая одним взглядом их приобщение к бытию, что оба они существуют?

Теэтет. Кажется, мы действительно предугадываем что-то третье, а именно бытие, раз мы утверждаем, что движение и покой существуют.

Чужеземец. Таким образом, не движение и покой, вместе взятые, составляют бытие, но оно есть нечто отличное от них.

Теэтет. Кажется, так.

Чужеземец. Следовательно, бытие по своей природе и не стоит и не движется.

Теэтет. По-видимому.

Чужеземец. Куда же еще должен направить свою мысль тот, кто хочет наверняка добиться какой-то ясности относительно бытия?

Теэтет. Куда же?

Чужеземец. Я думаю, что с легкостью — никуда: ведь если что-либо не движется, как может оно не пребывать в покое? И напротив, как может не двигаться то, что вовсе не находится в покое? Бытие же у нас теперь оказалось вне того и другого. Разве это возможно?

Теэтет. Менее всего возможно.

Чужеземец. При этом по справедливости надо вспомнить о следующем…

Теэтет. О чем?

Чужеземец. А о том, что мы, когда нас спросили, к чему следует относить имя «небытие»,

полностью стали в тупик. Ты помнишь?

Теэтет. Как не помнить?

Чужеземец. Неужели же по отношению к бытию мы находимся теперь в меньшем затруднении?

Теэтет. Мне по крайней мере, чужеземец, если можно так сказать, кажется, что в еще большем.

Чужеземец. Пусть это, однако, остается здесь под сомнением. Так как и бытие и небытие одинаково связаны с нашим недоумением, то можно теперь надеяться, что насколько одно из двух окажется более или менее ясным, и другое явится в том же виде. И если мы не в силах познать ни одного из них в отдельности, то будем по крайней мере самым надлежащим образом насколько это возможно — продолжать наше исследование об обоих вместе.

Теэтет. Прекрасно.

Чужеземец. Давай объясним, каким образом мы всякий раз называем одно и то же многими именами?

Теэтет. О чем ты? Приведи пример.

Чужеземец. Говоря об одном человеке, мы относим к нему много различных наименований, приписывая ему и цвет, и очертания, и величину, и пороки, и добродетели, и всем этим, а также

тысячью других вещей говорим, что он не только человек, но также и добрый и так далее, до бесконечности; таким же образом мы поступаем и с остальными вещами: полагая каждую из них единой, мы в то же время считаем ее множественной и называем многими именами.

Теэтет. Ты говоришь правду.

Чужеземец. Этим-то, думаю я, мы уготовили пир и юношам и недоучившимся старикам: ведь у всякого прямо под руками оказывается возражение, что невозможно-де многому быть единым, а единому — многим, и всем им действительно доставляет удовольствие не допускать, чтобы человек назывался добрым, но говорить, что доброе — добро, а человек — лишь человек. Тебе, Теэтет, я думаю, часто приходится сталкиваться с людьми, иногда даже уже пожилыми, ревностно занимающимися такими вещами: по своему скудоумию они всему этому Дивятся и считают, будто открыли здесь нечто сверхмудрое.

Теэтет. Конечно, приходилось.

Чужеземец. Чтобы, таким образом, наша речь была обращена ко всем, кто когда-либо хоть как-то рассуждал о бытии, пусть и этим, и всем остальным, с кем мы раньше беседовали, будут предложены вопросы о том, что должно быть

выяснено.

Теэтет. Какие же вопросы?

Чужеземец. Ставим ли мы в связь бытие с движением и покоем или нет, а также что-либо другое с чем бы то ни было другим, или, поскольку они несмешиваемы и неспособны приобщаться друг к другу, мы их за таковые и принимаем в своих рассуждениях? Или же мы все, как способное взаимодействовать, сведем к одному и тому же? Или же одно сведем, а другое нет? Как мы скажем, Теэтет, что они из всего этого предпочтут?

Теэтет. На это я ничего не могу за них возразить.

Чужеземец. Отчего бы тебе, отвечая на каждый вопрос в отдельности, не рассмотреть все, что из этого следует?

Теэтет. Ты говоришь дело.

Чужеземец. Во-первых, если хочешь, допустим, что они говорят, будто ничто не обладает никакой способностью общения с чем бы то ни было. Стало быть, движение и покой никак не будут причастны бытию?

Теэтет. Конечно, нет.

Чужеземец. Что же? Не приобщаясь к бытию, будет ли из них что-либо существовать?

Теэтет. Не будет.

Чужеземец. Быстро, как видно, все рухнуло из-за этого признания и у тех, кто все приводит в движение, и у тех, кто заставляет все, как единое, покоиться, и также у тех, кто связывает существующее с идеями и считает его всегда самому себе тождественным. Ведь все они присоединяют сюда бытие, говоря: одни — что [все] действительно движется, другие же — что оно действительно существует как неподвижное.

Теэтет. Именно так.

Чужеземец. В самом деле, и те, которые все то соединяют, то расчленяют, безразлично, соединяют ли они это в одно или разлагают это одно на бесконечное либо же конечное число начал и уже их соединяют воедино, все равно, полагают ли они, что это бывает попеременно или постоянно, в любом случае их слова ничего не значат, если не существует никакого смешения.

Теэтет. Верно.

Чужеземец. Далее, самыми смешными участниками рассуждения оказались бы те, кто вовсе не допускает, чтобы что-либо, приобщаясь к свойству другого, называлось другим.

Теэтет. Как это?

Чужеземец. Принужденные в отношении ко всему употреблять выражения «быть», «отдель-

но», «иное», «само по себе» и тысячи других, воздержаться от которых и не привносить их в свои речи они бессильны, они и не нуждаются в других обличителях, но постоянно бродят вокруг, таща за собою, как принято говорить, своего домашнего врага и будущего противника, подающего голос изнутри, подобно достойному удивления Евриклу.

Теэтет. То, что ты говоришь, вполне правдоподобно и истинно.

Чужеземец. А что, если мы у всего признаем способность к взаимодействию?

Теэтет. Это и я в состоянии опровергнуть.

Чужеземец. Каким образом?

Теэтет. А так, что само движение совершенно остановилось бы, а с другой стороны, сам покой бы задвигался, если бы они пришли в соприкосновение друг с другом.

Чужеземец. Однако высшая необходимость препятствует тому, чтобы движение покоилось, а покой двигался.

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Значит, остается лишь третье.

Теэтет. Да.

Чужеземец. И действительно, необходимо что-либо одно из всего этого: либо чтобы все было

склонно к смешению, либо ничто, либо одно склонно, а другое нет.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Первые два [предположения] были найдены невозможными.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Следовательно, каждый, кто только желает верно ответить, допустит оставшееся из трех.

Теэтет. Именно так.

Чужеземец. Когда же одно склонно к смешению, а другое нет, то должно произойти то же самое, что и с буквами: одни из них не сочетаются друг с другом, другие же сочетаются.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Гласные преимущественно перед другими проходят через все, словно связующая нить, так что без какой-либо из них невозможно сочетать остальные буквы одну с другой.

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Всякому ли известно, какие [буквы] с какими способны сочетаться, или тому, кто намерен это делать должным образом, требуется искусство?

Теэтет. Нужно искусство.

Чужеземец. Какое?

Теэтет. Грамматика.

Чужеземец. Дальше. Не так ли обстоит дело с высокими и низкими звуками? Не есть ли владеющий искусством понимать, какие звуки сочетаются и какие нет, музыкант, а не сведущий в этом — немузыкант?

Теэтет. Так.

Чужеземец. И по отношению к другим искусствам и неискусности мы найдем подобное же.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Что же? Так как мы согласны в том, что и роды [вещей] находятся друг с другом в подобном же сочетании, то не с помощью ли некоего знания должен отыскивать путь в своих рассуждениях тот, кто намерен правильно указать, какие роды с какими сочетаются и какие друг друга не принимают, а также, во всех ли случаях есть связь между ними, так чтобы они были способны смешиваться, и, наоборот, при разделении — всюду ли существуют разные причины разделения?

Теэтет. Так же не нужно знания и едва ли не самого важного?

Чужеземец. Но как, Теэтет, назовем мы теперь это знание? Или, ради Зевса, не напали ли мы незаметно для себя на науку людей свободных

и не кажется ли, что, ища софиста, мы отыскали раньше философа?

Теэтет. Что ты хочешь сказать?

Чужеземец. Различать все по родам, не принимать один и тот же вид за иной и иной за тот же самый — неужели мы не скажем, что это [предмет] диалектического знания?

Теэтет. Да, скажем.

Чужеземец. Кто, таким образом, в состоянии выполнить это, тот сумеет в достаточной степени различить одну идею, повсюду пронизывающую многое, где каждое отделено от другого; далее, он различит, как многие отличные друг от друга идеи охватываются извне одною и, наоборот, одна идея связана в одном месте совокупностью многих, наконец, как многие идеи совершенно отделены друг от друга. Все это называется уметь различать по родам, насколько каждое может взаимодействовать [с другим] и насколько нет.

Теэтет. Истинно так.

Чужеземец. Ты, думаю я, диалектику никому другому не припишешь, кроме как искренне и справедливо философствующему?

Теэтет. Как может кто-либо приписать ее другому?

Чужеземец. Философа мы, без сомнения, най-

дем и теперь и позже в подобной области, если поищем; однако и его трудно ясно распознать, хотя трудность в отношении софиста иного рода, чем эта.

Теэтет. Почему?

Чужеземец. Один, убегающий во тьму небытия, куда он направляется по привычке, трудноузнаваем из-за темноты места. Не так ли?

Теэтет. По-видимому.

Чужеземец. Философа же, который постоянно обращается разумом к идее бытия, напротив, нелегко различить из-за ослепительного блеска этой области: духовные очи большинства не в силах выдержать созерцания божественного.

Теэтет. Видно, это верно в той же степени, что и то.

Чужеземец. Таким образом, что касается философа, то мы его вскоре рассмотрим яснее, если будем чувствовать к тому охоту; но очевидно также, что нельзя оставлять и софиста, не рассмотрев его в достаточной степени.

Теэтет. Ты прекрасно сказал.

Чужеземец. Таким образом, мы согласились, что одни роды склонны взаимодействовать, другие же нет и что некоторые — лишь с немногими [видами], другие — со многими, третьи

же, наконец, во всех случаях беспрепятственно взаимодействуют со всеми; теперь мы должны идти дальше в нашей беседе, так, чтобы нам коснуться не всех видов, дабы из-за множества их не прийти в смущение, но избрать лишь те, которые считаются главнейшими, и прежде всего рассмотреть, каков каждый из них, а затем, как обстоит дело с их способностью взаимодействия. И тогда, если мы и не сможем со всей ясностью постичь бытие и небытие, то, по крайней мере, не окажемся, насколько это допускает способ теперешнего исследования, несостоятельными в их объяснении, если только, говоря о небытии, что это действительно небытие, нам удастся уйти отсюда невредимыми.

Теэтет. Конечно, надо так сделать.

Чужеземец. Самые главные роды, которые мы теперь обследуем, это само бытие, покой и движение.

Теэтет. Да, это самые главные.

Чужеземец. И о двух из них мы говорим, что они друг с другом несовместимы.

Теэтет. Несомненно.

Чужеземец. Напротив, бытие совместимо с тем и с другим. Ведь оба они существуют.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Следовательно, всего их три.

Теэтет. Бесспорно.

Чужеземец. Каждый из них есть иное по отношению к остальным двум и тождественное по отношению к себе самому.

Теэтет. Так.

Чужеземец. Чем же, однако, мы теперь считаем тождественное и иное? Может быть, это какие-то два рода, отличные от тех трех, но по необходимости всегда с ними смешивающиеся? В этом случае исследование должно вестись относительно пяти существующих родов, а не трех, или же, сами того не замечая, мы называем тождественным и иным что-то одно из тех [трех]?

Теэтет. Может быть.

Чужеземец. Но движение и покой не есть, верно, ни иное, ни тождественное?

Теэтет. Как так?

Чужеземец. То, что мы высказали бы сразу и о движении и о покое, не может быть ни одним из них.

Теэтет. Почему же?

Чужеземец. Движение тогда остановится, а покой, напротив, будет двигаться; ведь одно из этих двух, какое бы оно ни было, вступая в область обоих, заставит иное снова превратиться

в противоположное своей собственной природе, поскольку оно причастно противоположному.

Теэтет. Именно так.

Чужеземец. Ведь теперь оба они причастны и тождественному и иному.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Поэтому мы не должны говорить ни о движении, что оно тождественное или иное, ни о покое.

Теэтет. Конечно, не должны.

Чужеземец. Но не следует ли нам мыслить бытие и тождественное как нечто одно?

Теэтет. Возможно.

Чужеземец. Но если бытие и тождественное не означают ничего различного, то, говоря о движении и покое, что оба они существуют, мы назовем, таким образом, и то и другое, как существующее, тождественным.

Теэтет. Но это невозможно.

Чужеземец. Значит, невозможно, чтобы бытие и тождественное были одним.

Теэтет. Похоже на это.

Чужеземец. В таком случае, не допустим ли мы рядом с тремя видами четвертый: тождественное?

Теэтет. Да, конечно.

Чужеземец. Дальше. Не следует ли нам считать иное пятым [видом]? Или должно его и бытие мыслить как два названия для одного рода?

Теэтет. Возможно.

Чужеземец. Впрочем, думаю, ты согласишься, что из существующего одно считается [существующим] само по себе, другое же лишь относительно другого.

Теэтет. Отчего же не согласиться?

Чужеземец. Иное же всегда [существует лишь] по отношению к иному. Не так ли?

Теэтет. Так.

Чужеземец. Не совсем, если бытие и иное не вполне различаются. Если бы, однако, иное было причастно обоим видам как бытие, то одно из иного было бы иным совсем не относительно иного. Теперь же у нас попросту получилось, что то, что есть иное, есть по необходимости иное в отношении иного.

Теэтет. Ты говоришь так, как это и обстоит на самом деле.

Чужеземец. Следовательно, пятой среди тех видов, которые мы выбрали, надо считать природу иного.

Теэтет. Да.

Чужеземец. И мы скажем, что эта природа

проходит через все остальные виды, ибо каждое одно есть иное по отношению к другому не в силу своей собственной природы, но вследствие причастности идее иного.

Теэтет. Именно так.

Чужеземец. Об этих пяти [видах], перебирая их поодиночке, мы выразились бы так…

Теэтет. Как именно?

Чужеземец. Во-первых, движение есть совсем иное, чем покой. Или как мы скажем?

Теэтет. Так.

Чужеземец. Таким образом, оно — не покой.

Теэтет. Никоим образом.

Чужеземец. Существует же оно вследствие причастности бытию?

Теэтет. Да.

Чужеземец. И опять-таки движение есть иное. чем тождественное.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Значит, оно — нетождественное.

Теэтет. Конечно, нет.

Чужеземец. Однако оно было тождественным вследствие того, что все причастно тождественному.

Теэтет. Да, и очень.

Чужеземец. Надо согласиться, что движение

есть и тождественное и нетождественное, и не огорчаться. Ведь, когда мы назвали его тождественным и нетождественным, мы выразились неодинаково: Коль скоро мы называем его тождественным, мы говорим так из-за его причастности тождественному в отношении к нему самому; если же, напротив, мы называем его нетождественным, то это происходит вследствие его взаимодействия с иным, благодаря чему, отделившись от тождественного, движение стало не этим, но иным, так что оно снова справедливо считается нетождественным.

Теэтет. Несомненно, так.

Чужеземец. Поэтому, если бы каким-то образом само движение приобщалось к покою, не было бы ничего странного в том, чтобы назвать его неподвижным.

Теэтет. Вполне справедливо, если мы согласимся, что одни роды склонны смешиваться, другие же нет.

Чужеземец. К доказательству этого положения мы пришли еще раньше теперешних доказательств, когда утверждали, что так оно по природе и есть.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Скажем, однако, снова: движение

отлично от иного, равно как оно есть другое по отношению к тождественному и покою?

Теэтет. Безусловно.

Чужеземец. Стало быть, согласно настоящему объяснению, оно каким-то образом есть и иное и не иное.

Теэтет. Правда.

Чужеземец. Что же дальше? Будем ли мы утверждать, что движение иное по отношению к трем [видам], а о четвертом не скажем этого, признав в то же время, что всех видов, о которых и в пределах которых мы желаем вести исследование, пять?

Теэтет. Как же? Ведь невозможно согласиться на меньшее число, чем то, что вышло теперь.

Чужеземец. Итак, мы смело должны защищать положение, что движение есть иное по отношению к бытию?

Теэтет. Да, как можно смелее.

Чужеземец. Не ясно ли, однако, что движение на самом деле есть и небытие, и бытие, так как оно причастно бытию?

Теэтет. Весьма ясно.

Чужеземец. Небытие, таким образом, необходимо имеется как в движении, так и во всех родах. Ведь распространяющаяся на все природа

иного, делая все иным по отношению к бытию, превращает это в небытие, и, следовательно, мы по праву можем назвать все без исключения небытием и в то же время, так как оно причастно бытию, назвать это существующим.

Теэтет. Похоже на то.

Чужеземец. В каждом виде поэтому есть много бытия и в то же время бесконечное количество небытия.

Теэтет. Кажется.

Чужеземец. Таким образом, надо сказать, что и само бытие есть иное по отношению к прочим [видам].

Теэтет. Это необходимо.

Чужеземец. И следовательно, во всех тех случаях, где есть другое, у нас не будет бытия. Раз оно не есть другое, оно будет единым; тем же, другим, бесконечным по числу, оно, напротив, не будет.

Теэтет. Похоже, что так.

Чужеземец. Не следует огорчаться этим, раз роды по своей природе взаимодействуют. Если же кто с этим не согласен, пусть тот опровергнет сначала наши предыдущие рассуждения, а затем также и последующие.

Теэтет. Ты сказал весьма справедливо.

Чужеземец. Посмотрим-ка вот что.

Теэтет. Что именно?

Чужеземец. Когда мы говорим о небытии, мы разумеем, как видно, не что-то противоположное бытию, но лишь иное.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Ведь если мы, например, называем что-либо небольшим, кажется ли тебе, что этим выражением мы скорее обозначаем малое, чем равное?

Теэтет. А как же.

Чужеземец. Следовательно, если бы утверждалось, что отрицание означает противоположное, мы бы с этим не согласились или согласились бы лишь настолько, чтобы «не» и «нет» означали нечто другое по отношению к рядом стоящим словам, либо, еще лучше, вещам, к которым относятся высказанные вслед за отрицанием слова.

Теэтет. Несомненно, так.

Чужеземец. Подумаем-ка, если и тебе угодно, о следующем.

Теэтет. О чем же?

Чужеземец. Природа иного кажется мне раздробленной на части подобно знанию.

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. И знание едино, но всякая часть его, относящаяся к чему-либо, обособлена и имеет

какое-нибудь присущее ей имя. Поэтому-то и говорится о многих искусствах и знаниях.

Теэтет. Конечно, так.

Чужеземец. Поэтому и части природы иного, которая едина, испытывают то же самое.

Теэтет. Может быть. Но каким, скажем мы, образом?

Чужеземец. Не противоположна ли какая-либо часть иного прекрасному?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Сочтем ли мы ее безымянной или имеющей какое-то имя?

Теэтет. Имеющей имя; ведь то, что мы каждый раз называем некрасивым, есть иное не для чего-либо другого, а лишь для природы прекрасного.

Чужеземец. Ну хорошо, скажи мне теперь следующее.

Теэтет. Что же?

Чужеземец. Не выходит ли, что некрасивое есть нечто отделенное от какого-то рода существующего и снова противопоставленное чему-либо из существующего?

Теэтет. Так.

Чужеземец. Оказывается, некрасивое есть противопоставление бытия бытию.

Теэтет. Весьма справедливо.

Чужеземец. Что же? Не принадлежит ли у нас, согласно этому рассуждению, красивое в большей степени к существующему, некрасивое же в меньшей?

Теэтет. Никоим образом.

Чужеземец. Следовательно, надо признать, что и небольшое и самое большое одинаково существуют.

Теэтет. Одинаково.

Чужеземец. Не должно ли и несправедливое полагать тождественным справедливому в том отношении, что одно из них существует нисколько не меньше другого?

Теэтет. Отчего же нет?

Чужеземец. Таким же образом будем говорить и о прочем, коль скоро природа иного оказалась принадлежащей к существующему. Если же иное существует, то не в меньшей степени нужно полагать существующими и его части.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Поэтому, как кажется, противопоставление природы части иного бытию есть, если позволено так сказать, нисколько не меньшее бытие, чем само бытие, причем оно не обозначает противоположного бытию, но лишь указывает на иное по отношению к нему.

Теэтет. Совершенно ясно.

Чужеземец. Как же нам его назвать?

Теэтет. Очевидно, это то самое небытие, которое мы исследовали из-за софиста.

Чужеземец. Может быть, как ты сказал, оно с точки зрения бытия не уступает ничему другому и должно смело теперь говорить, что небытие, бесспорно, имеет свою собственную природу, и подобно тому, как большое было большим, прекрасное — прекрасным, небольшое — небольшим и некрасивое некрасивым, так и небытие, будучи одним среди многих существующих видов, точно таким же образом было и есть небытие? Или по отношению к нему, Теэтет, мы питаем еще какое-либо сомнение?

Теэтет. Никакого.

Чужеземец. А знаешь ли, мы ведь совсем не послушались Парменида в том, что касалось его запрета.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Стремясь в исследовании вперед, мы доказали ему больше того, что он дозволил рассматривать.

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. А так, ведь он где-то сказал:

Этого нет никогда и нигде, чтоб не-су-

щее было;

Ты от такого пути испытаний сдержи свою мысль.

Теэтет. Конечно, он так сказал.

Чужеземец. А мы не только доказали, что есть несуществующее, но и выяснили, к какому виду относится небытие. Ведь, указывая на существование природы иного и на то, что она распределена по всему существующему, находящемуся во взаимосвязи, мы отважились сказать, что каждая часть природы иного, противопоставленная бытию, и есть действительно то самое небытие.

Теэтет. И кажется мне, чужеземец, мы сказали это в высшей степени правильно.

Чужеземец. Пусть же никто не говорит о нас, будто мы, представляя небытие противоположностью бытия, осмеливаемся утверждать, что оно существует. Ведь о том, что противоположно бытию, мы давно уже оставили мысль решить, существует ли оно или нет, обладает ли смыслом или совсем бессмысленно. Относительно же того, о чем мы теперь говорили, будто небытие существует, пусть нас либо кто-нибудь в этом разубедит, доказав, что мы говорим не дело, ли-

бо, пока он не в состоянии этого сделать, пусть говорит то же, что утверждаем и мы, а именно что роды между собой перемешиваются и что в то время, как бытие и иное пронизывают все и друг друга, само иное, как причастное бытию, существует благодаря этой причастности, хотя оно и не то, чему причастно, а иное; вследствие же того, что оно есть иное по отношению к бытию, оно — совершенно ясно — необходимо должно быть небытием. С другой стороны, бытие, как причастное иному, будет иным для остальных родов и, будучи иным для них всех, оно не будет ни каждым из них в отдельности, ни всеми ими, вместе взятыми, помимо него самого, так что снова в тысячах тысяч случаев бытие, бесспорно, не существует; и все остальное, каждое в отдельности и все в совокупности, многими способами существует, многими же — нет.

Теэтет. Это верно.

Чужеземец. Если, однако, кто-либо не верит этим противоречиям, то ему надо произвести исследование самому и привести нечто лучшее, чем сказанное теперь. Если же он, словно измыслив что-либо трудное, находит удовольствие в том, чтобы растягивать рассуждение то в ту, то в другую сторону, то он занялся бы делом, не сто-

ящим большого прилежания, как подтверждает наша беседа. Ведь изобрести это и не хитро, и не трудно, а вот то — и трудно, и в такой же мере прекрасно.

Теэтет. Что именно?

Чужеземец. А то, что было сказано раньше: допустив все это как возможное, быть в состоянии следовать за тем, что говорится, отвечая на каждое возражение в том случае, если кто-либо станет утверждать, будто иное каким-то образом есть тождественное или тождественное есть иное в том смысле и отношении, в каких, будет он утверждать, это каждому из них подобает. Но объявлять тождественное каким-то образом иным, а иное тождественным, большое малым или подобное неподобным и находить удовольствие в том, чтобы в рассуждениях постоянно высказывать противоречия, это не истинное опровержение, здесь чувствуется новичок, который лишь недавно стал заниматься существующим.

Теэтет. Именно так.

[Возможность лжи в речах и мнениях]

Чужеземец. И в самом деле, дорогой мой, пытаться отделять все от всего и вообще-то не годится, и обычно это свойственно человеку

необразованному и нефилософу.

Теэтет. Почему же?

Чужеземец. Разъединять каждое со всем остальным означает полное уничтожение всех речей, так как речь возникает у нас в результате взаимного переплетения идей.

Теэтет. Правда.

Чужеземец. Обрати поэтому внимание, как была полезна для нас сейчас борьба с такими людьми и как хорошо, что мы заставили их допустить смешение одного с другим.

Теэтет. В каком отношении?

Чужеземец. А в том, что речь для нас — это один из родов существующего: лишившись ее, мы, что особенно важно, лишались бы философии. Нам теперь же надо прийти к соглашению о том, что такое речь. Если бы она была у нас отнята или ее бы совсем не существовало, мы ничего не могли бы высказать. А ведь мы бы лишились ее, если бы признали, что нет никакого смешения между чем бы то ни было.

Теэтет. Это справедливо. Но я не понимаю, для чего надо согласиться относительно речи.

Чужеземец. Быть может, ты скорее бы понял, следуя вот каким путем.

Теэтет. Каким?

Чужеземец. Небытие явилось у нас как один из родов, рассеянный по всему существующему.

Теэтет. Так.

Чужеземец. Поэтому надо теперь рассмотреть, смешивается ли оно с мнением и речью.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Если оно с ними не смешивается, все по необходимости должно быть истинным, если же смешивается, мнение становится ложным и речь тоже, так как мнить или высказывать несуществующее — это и есть заблуждение, возникающее в мышлении и речах.

Теэтет. Так.

Чужеземец. А если есть заблуждение, то существует и обман.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Но если существует обман, тогда все необходимо должно быть полно отображений, образов и призраков.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. О софисте мы сказали, что, хотя он и скрылся в этой области, сам он, однако, полностью отрицал существование *лжи*: мол, о небытии никто не мыслит и не говорит и оно никак не причастно бытию.

Теэтет. Да, так и было.

Чужеземец. Теперь же небытие оказалось причастным бытию, так что он, пожалуй, не станет здесь спорить. Но он легко может сказать, что одни из идей причастны небытию, другие — нет и что речь и мнение как раз относятся к непричастным. Поэтому софист снова может спорить, что вовсе нет искусства, творящего отображения и призраки, в области которого, как мы утверждаем, он пребывает, раз мнение и речь не взаимодействуют с небытием. Заблуждения вовсе не существует, раз не существует такого взаимодействия. Поэтому прежде всего надлежит точно исследовать, что такое речь, мнение и представление, дабы, когда они для нас станут ясными, мы увидели и их взаимодействие с небытием; видя это последнее, мы сможем доказать, что заблуждение существует, доказавши же это, мы свяжем с ним софиста, если, конечно, он в нем виновен, или, оставив его на свободе, станем искать его в ином роде.

Теэтет. Вполне справедливо, чужеземец, было вначале сказано о софисте, что род этот неуловим. У него, как кажется, полно прикрытий, и, когда он какое-нибудь из них выставит, то приходится его преодолевать, прежде чем удастся добраться до самого софиста. Едва мы теперь одолели одно

прикрытие — что, мол, небытия нет, как уже другое пущено в ход, и теперь надо доказать, что существует заблуждение и в речах и в мнениях, а вслед за этим, быть может, возникнет еще одно, а после еще и другое, и, кажется, никогда им не будет конца.

Чужеземец. Не надо, Теэтет, терять мужества тому, кто может хоть понемножку пробираться вперед. Кто падает духом в таких случаях, что будет он делать в других, когда либо ни в чем не преуспеет, либо будет отброшен назад? Такой, по словам пословицы, едва ли когда возьмет город. Теперь, мой дорогой, когда с тем, о чем ты говоришь, покончено. нами должна быть взята самая высокая стена; остальное будет легче и менее значительно.

Теэтет. Ты прекрасно сказал.

Чужеземец. Прежде всего, как уже сказано возьмем-ка речь и мнение, дабы дать себе ясный отчет: соприкасается ли с ними небытие или и то и другое безусловно истинны и ни одно из них никогда не бывает заблуждением.

Теэтет. Правильно.

Чужеземец. Давай, как мы говорили об идеях и буквах, рассмотрим таким же образом и слова, так как примерно таким путем раскрывается то,

что мы теперь ищем.

Теэтет. На что же надо обратить внимание в словах?

Чужеземец. А вот на что: все ли они сочетаются друг с другом или ни одно из них? Или некоторые склонны к этому, другие же нет?

Теэтет. Ясно, что одни склонны, а другие нет.

Чужеземец. Быть может, ты думаешь так: те, что, будучи произнесены одно за другим, что-то выражают, между собой сочетаются, те же, последовательность которых ничего не обозначает, не сочетаются.

Теэтет. Как? Что ты сказал?

Чужеземец. То, что, как я думал, ты принял и в чем со мной согласился. У нас ведь есть двоякий род выражения бытия с помощью голоса.

Теэтэт. Как?

Чужеземец. Один называется именем, другой — глаголом.

Теэтет. Расскажи о каждом из них.

Чужеземец. Обозначение действий мы называем глаголом.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Обозначение с помощью голоса, относящееся к тому, что производит действие, мы называем именем.

Теэтет. Именно так.

Чужеземец. Но из одних имен, последовательно произнесенных, никогда не образуется речь, так же и из глаголов, произнесенных без имен.

Теэтет. Этого я не понял.

Чужеземец. Очевидно, недавно согласившись со мною, ты имел в виду что-то другое; ведь я хотел только сказать, что эти слова, высказанные в таком порядке, не представляют собою речь.

Теэтет. Как?

Чужеземец. Возьми, например, [глаголы] «идет», «бежит», «спит» и все прочие слова, обозначающие действие: если бы кто-нибудь произнес их по порядку, то этим он вовсе не составил бы речи.

Теэтет. Да и как он мог бы составить?

Чужеземец. Таким же образом, если произносится «лев», «олень», «лошадь» и любые другие слова, обозначающие все, что производит действие, то и из их последовательности не возникает речь. Высказанное никак не выражает ни действия, ни его отсутствия, ни сущности существующего, ни сущности несуществующего, пока кто-либо не соединит глаголов с именами. Тогда все налажено, и первое же сочетание [имени с глаголом] становится тотчас же речью — в своем

роде первою и самою маленькою из речей.

Теэтет. Как ты это понимаешь?

Чужеземец. Когда кто-либо произносит «человек учится», то не скажешь ли ты, что это — самая маленькая и простая речь?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Ведь в этом случае он сообщает о существующем или происходящем, или происшедшем, или будущем и не только произносит наименования, но и достигает, чего-то, сплетая глаголы с именами. Поэтому-то мы сказали о нем, что он ведет речь, а не просто называет, и такому сочетанию дали имя речи.

Теэтет. Верно.

Чужеземец. Подобно тому как некоторые вещи совмещаются одна с другой, другие же нет, так же и обозначения с помощью голоса: одни не сочетаются, другие же, взаимно сочетаясь, образуют речь.

Теэтет. Несомненно, так.

Чужеземец. Теперь еще вот какая малость.

Теэтет. Какая же?

Чужеземец. Речь, когда она есть, необходимо должна быть речью о чем-либо: ведь речь ни о чем невозможна.

Теэтет. Так.

Чужеземец. Не должна ли она иметь и какое-то качество?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Обратим-ка теперь внимание на нас самих.

Теэтет. Действительно, это следует сделать.

Чужеземец. Я тебе произнесу речь, соединив предмет с действием через посредство имени и глагола; ты же скажи мне, о чем будет речь.

Теэтет. Так и будет, по мере возможности.

Чужеземец. «Теэтет сидит». Эта речь, конечно, не длинная?

Теэтет. Нет, напротив, в меру.

Чужеземец. Твое дело теперь сказать, о ком она и к кому относится.

Теэтет. Очевидно, что обо мне и ко мне.

Чужеземец. А как вот эта?

Теэтет. Какая?

Чужеземец. «Теэтет, с которым я теперь беседую, летит».

Теэтет. И относительно этой речи едва ли кто скажет иначе: она обо мне и касается меня.

Чужеземец. Мы утверждаем, что всякая речь необходимо должна быть какого-то качества.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Какого же качества должно теперь

считать каждую из этих двух?

Теэтет. Одну истинной, другую ложной.

Чужеземец. Из них истинная высказывает о тебе существующее, как оно есть.

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Ложная же — нечто другое, чем существующее.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Она говорит поэтому о несуществующем, как о существующем.

Теэтет. Похоже, что так.

Чужеземец. По крайней мере, о существующем, отличном от существующего, которое должно быть высказано о тебе. Ведь мы утверждали, что в отношении к каждому многое существует, а многое и нет.

Теэтет. Именно так.

Чужеземец. Вторая речь, которую я о тебе произнес, прежде всего в силу нашего определения, что такое речь, необходимо должна быть одною из самых коротких.

Теэтет. Мы ведь недавно в этом согласились.

Чужеземец. Затем, речью о чем-либо.

Теэтет. Так.

Чужеземец. Если она не о тебе, то и ни о ком другом.

Теэтет. Как это?

Чужеземец. Ведь, не относясь ни к чему, она и вообще не была бы речью. Мы доказали, что невозможно, чтобы речью была ни к чему не относящаяся речь.

Теэтет. Вполне справедливо.

Чужеземец. Если, таким образом, о тебе говорится иное как тождественное, несуществующее — как существующее, то совершенно очевидно, что подобное сочетание, возникающее из глаголов и имен, оказывается поистине и на самом деле ложною речью.

Теэтет. Весьма верно.

Чужеземец. Как же теперь? Не ясно ли уже, что мышление, мнение, представление, как истинные, так и ложные, все возникают у нас в душе?

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. Ты это легче увидишь, если сначала узнаешь, что они такое и чем отличаются друг от друга.

Теэтет. Говори, говори.

Чужеземец. Не есть ли мысль и речь одно и то же, за исключением лишь того, что происходящая внутри души беззвучная беседа ее с самой собой и называется у нас мышлением?

Теэтет. Вполне так.

Чужеземец. Поток же звуков, идущий из души через уста, назван речью.

Теэтет. Правда.

Чужеземец. И мы знаем, что в речах содержится следующее…

Теэтет. Что же?

Чужеземец. Утверждение и отрицание.

Теэтет. Да, знаем.

Чужеземец. Если это происходит в душе мысленно, молчаливо, то есть ли у тебя другое какое-либо название для этого, кроме мнения?

Теэтет. Да каким же образом?

Чужеземец. Что же, когда подобное состояние возникает у кого-либо не само по себе, но благодаря ощущению, можно ли правильно назвать его иначе, нежели представлением?

Теэтет. Нельзя.

Чужеземец. Таким образом, если речь бывает истинной и ложной и среди этого мышление явилось нам как беседа души с самою собой, мнение же — как завершение мышления, а то, что мы выражаем словом «представляется», как смешение ощущения и мнения, то необходимо, чтобы и из всего этого как родственного речи кое-что также иногда было ложным.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Замечаешь ли ты теперь, что ложное мнение и речь найдены нами раньше, чем мы предполагали, опасаясь, как бы, исследуя все это, не приняться за дело совершенно невыполнимое?

Теэтет. Замечаю.

Чужеземец. Не будем же падать духом и во всем остальном. Ввиду того что все это теперь стало нам ясным, вспомним о прежних делениях на виды.

Теэтет. О каких?

Чужеземец. Мы различали два вида изобразительного искусства: один творящий образы, другой — призраки.

Теэтет. Да.

Чужеземец. И мы сказали, что недоумеваем, к какому из них двух отнести софиста.

Теэтет. Так это и было.

Чужеземец. И пока мы так недоумевали, раз лился еще больший мрак, как только возникло рассуждение, ставящее все под сомнение, будто нет ни образов, ни отображений, ни призраков и потому никак, никогда и нигде не возникает ничего ложного.

Теэтет. Ты говоришь верно.

Чужеземец. Теперь, когда обнаружилось, что

существует ложная речь и ложное мнение, освободилось место для подражаний существующему, а уж из этого возникает искусство обмана.

Теэтет. Пожалуй.

Чужеземец. И действительно, что софист принадлежит к одному из этих двух (искусств), мы уже признали раньше.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Попробуем-ка, снова разделяя надвое находящийся перед нами род, каждый раз держаться в пути правой части, имея в виду то, что относится к софисту, пока мы, пройдя мимо всего общего [между ним и другими видами] и оставив ему его собственную природу, не выставим ее напоказ прежде всего нам самим, а потом и тем, кто от природы близок такому методу исследования.

Теэтет. Правильно.

Чужеземец. Не с того ли мы начали, что различили искусства творческое и приобретающее?

Теэтет. Да.

Чужеземец. И не явился ли нам софист в области охоты, состязания, торговли и некоторых других видов приобретающего искусства?

Теэтет. Конечно, так.

Чужеземец. Теперь же, когда его захватило

подражательное искусство, ясно, что сперва надо расчленить творческое искусство надвое. Ведь подражание есть какое-то творчество; мы, однако, говорим об отображениях, а не о самих вещах. Не так ли?

Теэтет. Несомненно, так.

Чужеземец. Пусть, следовательно, будут прежде всего две части творческого искусства.

Теэтет. Какие?

Чужеземец. Одна — божественная, другая — человеческая.

Теэтет. Я пока не понял.

Чужеземец. Творческое искусство, говорили мы, если вспомнить сказанное вначале — есть всякая способность, которая является причиной возникновения того, чего раньше не было.

Теэтет. Да, мы это помним.

Чужеземец. Станем ли мы утверждать относительно всех живых существ и растений, которые произрастают на земле из семян и корней, а также относительно неодушевленных тел, пребывающих в земле в текучем и нетекучем виде, станем ли мы утверждать, говорю я, что все это, ранее не существовавшее, возникает затем благодаря созидательной деятельности кого-либо иного — не бога? Или же будем говорить, руководствуясь

убеждением и словами большинства…

Теэтет. Какими?

Чужеземец. Что все это природа порождает в силу какой-то самопроизвольной причины, производящей без участия разума. Или, может быть, мы признаем, что причина эта одарена разумом и божественным знанием, исходящим от бога?

Теэтет. Я, быть может, по молодости часто меняю одно мнение на другое. Однако теперь, глядя на тебя и понимая, что ты считаешь, что все это произошло от бога, я и сам так думаю.

Чужеземец. Прекрасно, Теэтет! И если бы мы полагали, что в будущем ты окажешься в числе мыслящих иначе, то постарались бы теперь с помощью непреложно убедительной речи заставить тебя с нами согласиться. Но так как я знаю твою природу, знаю, что и без наших слов она сама собою обратится к тому, к чему, как ты утверждаешь, ее ныне влечет, то я оставляю это: ведь мы напрасно потеряли бы время. Лучше я выставлю положение, что то, что приписывают природе, творится божественным искусством, то же, что создается людьми, человеческим и, согласно этому положению, существует два рода творчества: один — человеческий, другой — божественный.

Теэтет. Верно.

Чужеземец. Расчлени-ка, однако, каждый из них двух снова надвое.

Теэтет. Как?

Чужеземец. Подобно тому как ты все творческое искусство делил в ширину, раздели его теперь, напротив, в длину.

Теэтет. Пусть будет разделено.

Чужеземец. Таким образом, в целом возникают четыре части: две, относящиеся к нам, человеческие, и две к богам — божественные.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Теперь они снова разделены, уже иначе: одна часть в каждом отделе собственно творческая, обе же остальные могут быть лучше всего названы изобразительными. И в силу этого творческое искусство снова делится на две части.

Теэтет. Скажи, как теперь образуется каждая из них?

Чужеземец. Мы знаем, что и мы, и другие живые существа, и то, из чего произошло все природное, — огонь, вода и им родственное — суть произведения бога, каждое из которых им создано. Или как?

Теэтет. Так.

Чужеземец. Каждое из них сопровождают отображения, а вовсе не сами вещи, тоже произведенные божественным искусством.

Теэтет. Какие?

Чужеземец. А [образы] во сне и все те [образы], которые днем называются естественными призраками: тени, когда с огнем смешивается тьма, затем двойные отображения, когда собственный свет [предмета] и чужой сливаются воедино на блестящих и гладких предметах и порождают отображение, которое производит ощущение, противоречащее прежней привычной видимости.

Теэтет. Следовательно, здесь два произведения божественного творчества: сама вещь и образ, ее сопровождающий.

Чужеземец. Но что же с нашим искусством? Не скажем ли мы, что оно с помощью строительского мастерства воздвигает дом, а с помощью живописи нечто другое, создаваемое подобно человеческому сну для бодрствующих?

Теэтет. Конечно, так.

Чужеземец. Так же обстоит и с остальным: соответственно двум частям двояки и произведения нашего творчества: с одной стороны, говорим мы, имеется сам предмет, а с другой

— его изображение.

Теэтет. Теперь я понял значительно лучше и допускаю два вида творческого искусства, расчлененных в свою очередь надвое: согласно одному делению, это человеческое и божественное искусства, согласно же другому, произведения каждого из них состоят, с одной стороны, из самих предметов, а с другой — из некоторых подобий последних.

Чужеземец. Вспомним-ка теперь, что один [вид] изобразительного искусства должен быть творящим образы, а другой — призраки, если ложь действительно есть ложь и представляет собой нечто принадлежащее по своей природе к существующему.

Теэтет. Да, так было.

Чужеземец. Не явилась ли она именно таковой? И в силу этого не будем ли мы, отбросив сомнения, считать ее теперь двух видов?

Теэтет. Да, будем.

Чужеземец. Разделим-ка искусство, творящее призраки, снова надвое.

Теэтет. Как?

Чужеземец. Одно — это то, которое выполняется посредством орудий, в другом тот, кто творит призраки, сам делает себя орудием этого.

Теэтет. Что ты имеешь в виду?

Чужеземец. Я подразумеваю, когда кто-либо своим телом старается явить сходство с твоим обликом или своим голосом — сходство с твоим, то этот [вид] призрачного искусства обычно называется подражанием.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Называя этот [вид] подражающим, выделим его. Все остальное оставим без внимания, так как мы устали, и предоставим другому свести это воедино и дать этому какое-то подобающее название.

Теэтет. Пусть одно будет выделено, а то переда дано другому.

Чужеземец. Однако, Теэтет, и первое надо считать двояким. Реши, почему?

Теэтет. Говори ты.

Чужеземец. Из лиц подражающих одни делают это, зная, чему они подражают, другие же — не зная. А какое различие признаем мы более важным, чем различие между знанием и незнанием?

Теэтет. Никакое.

Чужеземец. Подражание, недавно указанное, было, таким образом, подражанием знающих. Ведь только тот, кто знает твой облик и тебя, мог

бы подражать всему этому.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. А что же с обликом справедливости и вообще всей в целом добродетели? Не примутся ли многие, не зная ее, но имея о ней какое-то мнение. усердно стараться, чтобы проявилось то, что они принимают за живущую в них добродетель, и не станут ли, насколько возможно, на деле и на словах ей подражать?

Теэтет. И очень даже многие.

Чужеземец. Но не потерпят ли они все неудачу в этом стремлении казаться справедливыми, не будучи вовсе такими? Или как раз напротив?

Теэтет. Как раз напротив.

Чужеземец. Такого подражателя — незнающего, думаю я, надо считать отличным от того — от знающего.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Откуда же, однако, возьмет кто-либо подобающее название для каждого из них? Ведь очевидно, что это трудно и разделение родов на виды в старину представлялось праздным и неразумным, устаревшим занятием, так что никто никогда и не брался делить. Поэтому и нужда в именах была не очень настоятельной. При всем том, если выразиться более смело, мы во имя

различия подражание, соединенное с мнением, назовем основанным на мнении, подражание же, соединенное со знанием, научным.

Теэтет. Пусть будет так.

Чужеземец. Теперь надо воспользоваться одним из этих названий. Ведь софист принадлежит не к знающим, а к подражающим.

Теэтет. Да, конечно.

Чужеземец. Рассмотрим-ка подражателя, основывающегося на мнении, как рассматривают изделие из железа, прочно ли оно или содержит в себе какую-то трещину.

Теэтет. Рассмотрим.

Чужеземец. А ведь у него она есть, и очень даже большая. Один из подражателей простоват и думает, будто знает то, что мнит, а облик другого из-за его многословия возбуждает подозрение и опасение, что он не знает того, относительно чего принимает перед другими вид знатока.

Теэтет. Конечно, есть подражатели обоих родов, о которых ты упомянул.

Чужеземец. Поэтому, не сочтем ли мы одного простодушным, а другого лицемерным подражателем?

Теэтет. Это подходит.

Чужеземец. Сочтем ли мы род этого последнего

единым или двояким?

Теэтет. Смотри ты сам.

Чужеземец. Смотрю, и мне представляются каких-то два рода: один, я вижу, способен лицемерить всенародно, в длинных речах, произносимых перед толпою, другой же в частной беседе с помощью коротких высказываний заставляет собеседника противоречить самому себе.

Теэтет. Ты совершенно прав.

Чужеземец. Кем же сочтем мы словообильного? Мужем ли государственным или народным витией?

Теэтет. Народным витией.

Чужеземец. Как же мы назовем другого? Мудрецом или софистом?

Теэтет. Мудрецом его невозможно назвать: ведь мы признали его незнающим. Будучи подражателем мудреца, он, конечно, получит производное от него имя, и я почти уже понял, что он действительно должен называться во всех отношениях подлинным софистом.

[Итог: определение софиста]

Чужеземец. Не свяжем ли мы, однако, как и раньше его имя воедино, сплетая нить в обратном порядке — от конца к началу.

Теэтет. Конечно, сделаем так.

Чужеземец. Этим именем обозначается основанное на мнении лицемерное подражание искусству, запутывающему другого в противоречиях, подражание, принадлежащее к части изобразительного искусства, творящей призраки и с помощью речей выделяющей в творчестве не божественную, а человеческую часть фокусничества: кто сочтет истинного софиста происходящим из этой плоти и крови, тот, кажется, выразится вполне справедливо.

Теэтет. Сущая правда.

Политик

Лица разговаривающие: Сократ, Феодор, Иностранец и Сократ-младший

Сократ. Я очень благодарен тебе, Феодор, что ты познакомил меня с Теэтетом и Иностранцем.

Феодор. А может быть, скоро будешь обязан мне и втрое большею благодарностью, когда они отделают тебе политика и философа.

Сократ. Пускай. Но скажем ли, любезный Феодор, что так мы слышали это от тебя, человека весьма сильного в счислении и геометрии?

Феодор. Что такое, Сократ?

Сократ. Ты приписал каждому из этих мужей равную цену: а они по достоинству отличаются друг от друга более, нежели сколько выходит по пропорции вашего искусства.

Феодор. Ну, хорошо, Сократ, — клянусь нашим богом Аммоном! Ты и справедливо, и очень злопамятно обличил меня в ошибке против исчисления. Но когда-нибудь я отомщу тебе. А ты, Иностранец, отнюдь не поскучай доставить нам удовольствие, но избери первым, по порядку, или политика, или философа, и, избравши, исследуй.

Иностранец. Да, Феодор, это нужно сделать; потому что мы уж решились один раз не оставлять предмета, пока не рассмотрим его до конца. Но что же делать мне с этим Теэтетом?

Феодор. Как что?

Иностранец. Дать ли ему отдохнуть, и взять этого Сократа, его товарища? Или как ты советуешь?

Феодор. Возьми другого, как сказал. Они, люди молодые, ведь легче перенесут всякий труд, пользуясь отдыхом.

Сократ. И в самом деле, Иностранец; они оба должны быть в каком-то родстве со мною. Один, по вашим словам, будто походит на меня чертами лица, а другой соименен мне, и эта соименность, по-видимому, сближает нас. А своих родственников мы должны стараться узнать поближе, посредством разговора. Посему с Теэтетом я сам вмешивался вчера в разговор, а сегодня слушал его ответы; с Сократом же — ни того, ни другого. Между тем надобно испытать и его. Впрочем, мне будет он отвечать после, а теперь пусть отвечает тебе.

Иностранец. Так и будет. Сократ! слышишь ли Сократа?

Сократ-младший. Да.

Иностранец. А согласен ли на то, что́ он говорит?

Сократ-младший. И очень.

Иностранец. Но если не представляется препятствий с твоей стороны, то с моей должно быть их, вероятно, еще менее. Так вот, после софиста, мне кажется, необходимо рассматривать политика. Скажи же, надобно ли и его отнести к числу людей знающих, или как?

Сократ-младший. Надобно.

Иностранец. Следовательно, знания мы должны разделить, подобно тому, как поступили при рассматривании первого?

Сократ-младший. Нужно бы.

Иностранец. Однако раздел здесь представляется мне, Сократ, уже не в том роде.

Сократ-младший. В каком же?

Иностранец. В ином.

Сократ-младший. Может быть.

Иностранец. Но как же напасть на стезю политическую? А ведь надобно найти ее и, отличивши от других, запечатлеть одной идеей, равно как и другие ветви означить одним же особым родом, и таким образом расположить свою душу к представлению всех знаний под двумя видами.

Сократ-младший. Это уже, думаю, твое дело,

Иностранец, а не мое.

Иностранец. Нет, Сократ; оно должно быть и твоим, если нужно нам ясное о нем понятие.

Сократ-младший. Ты хорошо говоришь.

Иностранец. Не правда ли, что арифметика и другие сродные с нею искусства чужды дел, но доставляют одно знание?

Сократ-младший. Так.

Иностранец. Напротив, искусства, относящиеся к постройке и вообще ко всякому рукоделью, обладают знанием, как бы заключенным, по природе, в самых делах, и так производят зависящие от них вещи, которых прежде не было.

Сократ-младший. Не что́.

Иностранец. Так вот каким образом раздели все знания: одно назови *практическим* (πρακτικὴ), а другое — только *гностическим* (γνοστικὴ).

Сократ-младший. Пожалуй, пусть будут эти два вида одного знания вообще.

Иностранец. Но и политика, и царя, и господина, и даже домоправителя, — все это назовем ли как одно, или насчитаем столько самых искусств, сколько сказали имен? А лучше, пойдем так.

Сократ-младший. Как?

Иностранец. Во́т как. Если бы какой-нибудь частный врач был в состоянии подавать советы

врачу общественному; то не необходимо ли было бы назвать и его тем самым именем искусства, какое носит другой, принимающий его советы?

Сократ-младший. Да.

Иностранец. Что ж? А когда кто, будучи частным человеком, имеет способность увещевать царя страны, то не скажем ли, что он обладает тем знанием, которым надлежало бы обладать правителю?

Сократ-младший. Скажем.

Иностранец. Но ведь это царское искусство истинного царя?

Сократ-младший. Да.

Иностранец. И кто приобрел его, — правитель это, или простой гражданин, — тот, по сему самому искусству, без сомнения, справедливо будет назван мужем царственным?

Сократ-младший. Справедливо.

Иностранец. Конечно, то же должно сказать о домоправителе и господине?

Сократ-младший. Не иное.

Иностранец. Но что? Устройство большего дома и порядок небольшого города представляют ли какое-нибудь различие, в отношении управления?

Сократ-младший. Никакого.

Иностранец. Следовательно, настоящий предмет исследования ясен: знание, то есть, в отношении ко всему этому — одно. Царским ли угодно кому называть его, или политическим, или домоправительным, — спорить нисколько не будем.

Сократ-младший. Зачем же!

Иностранец. Впрочем ясно и то, что каждый царь, для удержания власти, найдет весьма мало силы в своих руках и во всем теле, в сравнении с разумением и крепостью своей души.

Сократ-младший. Очевидно.

Иностранец. Итак, хочешь ли, скажем, что царю гораздо более свойственно искусство познавательное, нежели рукодельное и вообще производительное?

Сократ-младший. Как же.

Иностранец. А политическое искусство и политика, царское искусство и царственного мужа — все это соединим ли в одно?

Сократ-младший. Очевидно.

Иностранец. Теперь не пойти ли нам далее, и не разделить ли искусства познавательного?

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Смотри же внимательнее, не заметишь ли в нем какого-нибудь отростка?

Сократ-младший. Говори, какого.

Иностранец. Да вот, например: у нас, кажется, было искусство счисления.

Сократ-младший. Да.

Иностранец. И оно ведь, думаю, относится вполне к искусствам познавательным.

Сократ-младший. Ка́к же не относится.

Иностранец. Но искусству счисления, познающему различие чисел, припишем ли какое-нибудь другое дело, кроме того, что оно судит о познанном?

Сократ-младший. Какое же более?

Иностранец. Да ведь и каждый архитектор сам не работает, а только управляет рабочими.

Сократ-младший. Да.

Иностранец. То есть, он привносит знание, а не рукоделье.

Сократ-младший. Так.

Иностранец. Следовательно, ему по справедливости можно приписать участие в искусстве познавательном.

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Только, произнесши суждение, он не должен, думаю, этим кончить и отстать, как делает счетчик; напротив, обязан еще раздавать приказания каждому рабочему, кому какие нуж-

ны, пока они не будут исполнены.

Сократ-младший. Правда.

Иностранец. Итак, хотя все такие искусства суть познавательные, как и те, которые относятся к числительному; однако ж оба эти рода не различаются ли один от другого *суждением* и *распорядительностью?*

Сократ-младший. Кажется.

Иностранец. Но если во всяком искусстве познавательном мы согласимся различать сторону распорядительную и сторону судительную, то не можем ли сказать, что наше деление сообразно с предметом?

Сократ-младший. По крайней мере, я так думаю.

Иностранец. А когда люди делают что-нибудь сообща, то им ведь приятно быть в согласии.

Сократ-младший. Как не приятно!

Иностранец. Вот и мы доныне сходились; оставим же в покое мнения других.

Сократ-младший. Пожалуй.

Иностранец. Хорошо; но которое из этих искусств надобно приписать мужу царственному: судительное ли, как бы какому созерцателю, или лучше — распорядительное, как властелину?

Сократ-младший. Последнее, конечно, лучше.

Иностранец. Но посмотрим: искусство распорядительное опять не делится ли каким-нибудь образом? Мне представляется, что как искусство перекупщиков отличается от искусства оптовых продавцов, так и род царский отличен от рода глашатаев.

Сократ-младший. Как это?

Иностранец. Перекупщики ведь те, которые, взяв чужие, прежде проданные им товары, продают их в другой раз.

Сократ-младший. Без сомнения.

Иностранец. Но и звание глашатаев, приняв распоряжения чужого ума, передает их опять другим.

Сократ-младший. Весьма справедливо.

Иностранец. Так что ж? Искусство царское смешаем ли в одно с искусством истолковывать, приказывать, прорицать, обнародовать, и со многими другими, им сродными, которые все имеют предметом распорядительность? Или, хочешь, мы тому, что теперь сравнивали, подберем и имя, — тем более, что род самораспорядителей почти безыменен, — и таким образом установим деление, то есть, род царей отнесем к искусству *самораспорядительному*, а все прочие оставим без внимания, — пусть, кому угодно, придумают

для них другое имя? Ведь наше исследование имеет в виду правителя, а не то, что́ противоположно ему.

Сократ-младший. Без сомнения.

Иностранец. Но когда тот род надлежащим образом отличен от этих, когда свойственное ему отделено от чуждого; то не необходимо ли опять разделить его, если увидим, что он дает место какому-нибудь новому делению?

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. И кажется, уже видим. Следуй же за мною и помогай делить.

Сократ-младший. Как?

Иностранец. Представляя себе всех правителей, занятых распоряжениями, не заметим ли мы, что они распоряжаются для произведения чего-нибудь?

Сократ-младший. Ка́к не для чего-нибудь!

Иностранец. А все производимое вовсе не трудно разделить на два вида.

Сократ-младший. Каким образом?

Иностранец. Из всех произведений, одни, вероятно, не одушевленные, а другие — одушевленные.

Сократ-младший. Да.

Иностранец. Ну, вот та́к именно и разделим

распорядительную сторону познавательного искусства, если хотим делить ее.

Сократ-младший. Как, то есть?

Иностранец. Одни распоряжения относятся к произведению вещей *не одушевленных,* а другие — *одушевленных.* Таким образом все и разделится на два вида.

Сократ-младший. В самом деле.

Иностранец. Один из них оставим, а другой возьмем и, взявши, разделим весь надвое.

Сократ-младший. Но который из них, говоришь, взять?

Иностранец. Непременно тот, который распоряжается существами живыми; ибо не дело царского знания, конечно, распоряжаться предметами не одушевленными, как домостроительному. Будучи гораздо благороднее, оно всегда простирает свою власть на существа живые и на то, что до них относится.

Сократ-младший. Правда.

Иностранец. А на произведение и питание существ живых можно смотреть или как на однокормку (μονοτροφία), или как на попечение общее — о целых стадах.

Сократ-младший. Правда.

Иностранец. Но мы не найдем примера, чтобы

политик занимался *однокормкою*, будто волопас или конюх: он скорее походит на того, кто промышляет о табуне и стаде.

Сократ-младший. Теперь твои слова для меня понятны.

Иностранец. А совместного питания многих живых существ не назвать ли нам *стадопитанием*, или *общепитанием?*

Сократ-младший. В речи может иметь место то и другое слово.

Иностранец. Прекрасно, Сократ! Если ты не будешь слишком заботиться о словах, то под старость разбогатеешь мыслями. Поступим же так, как теперь советуешь. Но не представишь ли себе, что иной искусство стадопитательное сочтет двойным, — и того, чего ныне мы ищем в двух частях, тогда заставит нас искать в половине?

Сократ-младший. Поспешу представить. И мне кажется, что иное питание свойственно людям, а иное опять — животным.

Иностранец. Ты разделил, в самом деле, очень поспешно и храбро; но остережемся, сколько можно, чтоб этого-то с нами в другой раз уже не случилось.

Сократ-младший. А что такое?

Иностранец. Малую часть, одну, при выделе-

нии, не должно противополагать большим и многим, без вида: часть пусть вместе имеет и вид. Весьма бы хорошо, без сомнения, вдруг выделить искомое из всего другого, если бы это могло быть сделано правильно, — как и ты сейчас поспешил словом, думая установить деление и видя, что речь клонилась к людям. Но нет, друг мой, дробить не безопасно; гораздо безопаснее идти серединой и резать пополам; так-то скорее попадешь на идеи. От этого в подобных исследованиях все зависит.

Сократ-младший. Как это разумеешь ты, Иностранец?

Иностранец. Снисходя к твоим способностям, Сократ, попытаюсь говорить еще вразумительнее. Из того, что изложено, конечно, нельзя вполне объяснить настоящий предмет; для сообщения ему ясности, должно постараться подвинуть дело немного вперед.

Сократ-младший. Скажи же, какую сейчас допустили мы ошибку в своем делении?

Иностранец. Точно такую, как если бы кто, пожелав разделить род человеческий надвое, разделил его подобно многим здешним делителям, которые, отособив эллинский народ от всех других, и всем другим, не смотря на их бесчис-

ленность, несмешанность и разноязычие, дав одно название — варваров, думают, что в этом единстве названия состоит и единство рода. Или еще: если бы кто, вознамерившись разделить какое-нибудь число на два вида, взял бы из него мириаду и представлял ее как один вид, а остальное, означив особым именем, опять по причине сего самого имени, считал бы отличным от первого родом. Гораздо лучше, думаю, и сообразнее с делением на виды и надвое — делить число на чет и нечет, а человеческий род — на мужеский и женский пол. Отделяют же лидян, фригийцев, или другой народ от всех прочих скорее тогда, когда не умеют в каждом из отделов найти вместе и род и часть.

Сократ-младший. Весьма правильно. Но вот что, Иностранец: каким образом яснее распознать, что род и часть — не одно и то же, а различны между собою?

Иностранец. О лучший из мужей! Ты спрашиваешь, Сократ, не безделицу. Но мы и теперь уже уклонились от своего предмета дальше, чем нужно, а ты заставляешь меня уклониться от него еще более. Нет, пора возвратиться, к чему нужно. На твой вопрос, как на готовый след, нападем мы в другой раз, на досуге. Только смотри, отнюдь не

думай, будто об этом ты слышал от меня, как о чем-нибудь ясно различенном.

Сократ-младший. О чем?

Иностранец. О том, что вид и часть различны между собою.

Сократ-младший. А что?

Иностранец. Если что-нибудь есть вид, то это непременно есть и часть того самого предмета, в отношении к которому называется видом; напротив, часть еще нет никакой необходимости разуметь как вид. Лучше это приписывай мне, Сократ, чем то.

Сократ-младший. Так и будет.

Иностранец. Затем скажи-ка мне, откуда мы уклонились и пришли к настоящим мыслям. Конечно, оттуда, думаю, что на вопрос: как надобно разделить стадопитание? — ты слишком поспешно отвечал, что есть два рода живых существ: род человеческий и род всех прочих животных.

Сократ-младший. Правда.

Иностранец. А мне тогда и показалось, что, отделивши часть, ты думаешь, будто все остальное образует один род, поскольку, то есть, все остальное заключаешь под одним именем, — называешь животным.

Сократ-младший. И это было так.

Иностранец. Но что́, храбрейший Сократ, если, на случай, найдется другое животное разумное, каким представляется род журавлей, или иное подобное, и будет раздавать имена, подражая тебе? Что́, если, например, журавли, величая самих себя, как один род, противоположный прочим животным, всё вместе, не исключая и людей, соберут в одно, и это одно назовут, может быть, не более, как зверями? — Поостережемся же от всего такого.

Сократ-младший. Каким образом?

Иностранец. Не будем делить весь род живых существ, чтобы не впасть во что-нибудь подобное.

Сократ-младший. В самом деле, не надобно.

Иностранец. Ведь и тогда именно в этом состояла наша ошибка.

Сократ-младший. Как это?

Иностранец. Распорядительная сторона познавательного искусства была у нас родом питания живых существ, и притом в стадах. Не так ли?

Сократ-младший. Так.

Иностранец. И тем уже наперед разделились все животные на ручных и диких; ибо что, по природе, может быть укрощаемо, называется кротким, а что не может, — диким.

Сократ-младший. Хорошо.

Иностранец. Ловимое же нами знание-то содержалось и содержится в животных кротких, и, конечно, надобно искать его у стадовых.

Сократ-младший. Да.

Иностранец. Итак, не будем делить их, как тогда, смотря на всех вместе и спеша скорее перейти к политике; ибо это заставило нас теперь потерпеть, что́ терпят по пословице.

Сократ-младший. Что такое?

Иностранец. Хотя бы мы делили и хорошо, но поспешив, исполняем дело медленнее.

Сократ-младший. Да и хорошо, что заставило, Иностранец.

Иностранец. Пусть будет так. Попытаемся же опять сначала разделить общепитательное знание. Ведь, может быть, и то, чего хочешь ты, объяснится для тебя лучше из самого доведенного до конца исследования. Говори мне.

Сократ-младший. Что же говорить?

Иностранец. Вот что. Часто, должно быть, слыхал ты от кого-нибудь, — ибо знаю, что самому-то тебе не случалось бывать, — о нильских рыбных садках, и тех, что́ на царских озерах; а на ручьях, может быть, ты сам видел их.

Сократ-младший. Конечно, и эти видел, и о тех

слыхал от многих.

Иностранец. И что есть пастбища гусей и журавлей, хоть и не бродил по полям Фессалии, конечно, знаешь по слуху и веришь тому.

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. А о всем этом я спросил ввиду того, что животные стадовые питаются либо в воде, либо ходя по местам сухим.

Сократ-младший. Конечно, так.

Иностранец. Стало быть, не кажется ли и тебе, что общепитательное знание надобно разделить так: из частей его, поставить одну на одной, другую на другой стороне, и ту назвать искусством питания в воде, а эту — питания на суше.

Сократ-младший. Мне кажется.

Иностранец. Что же касается царского дела, то нет нужды исследывать, к которой стороне относится это искусство; потому что это всякому ясно.

Сократ-младший. Как не ясно!

Иностранец. Но питающую на суше-то часть стадопитания всякий разделил бы.

Сократ-младший. Как?

Иностранец. Ограничивая ее летанием и пешеходством.

Сократ-младший. Весьма справедливо.

Иностранец. Что же? Нужно ли раскрывать, что дело политическое в объеме пешеходства? Или ты не думаешь, что и самый глупый, как говорится, будет такого мнения?

Сократ-младший. Я думаю.

Иностранец. Но насчет знания пешепитательного, как недавно насчет числа, надо признать, что оно делится надвое.

Сократ-младший. Явно.

Иностранец. Впрочем, к той части, на которую направлено у нас исследование, по-видимому, открыты два пути: один — кратчайший, отделяющий меньшую часть от большей; другой, согласно тому, как мы говорили прежде, — что делить надобно особенно пополам, — держится больше этого правила; за то он и длиннее. Теперь в нашей воле идти тем, которым захотим.

Сократ-младший. Что ж? а обоими нельзя?

Иностранец. По крайней мере, зараз, почтеннейший; а преемственно-то, ведь очевидно, можно.

Сократ-младший. Итак, я избираю оба, — преемственно.

Иностранец. Это легко; так как осталось пути немного: в начале же и в средине хода это требование нас, конечно, затруднило бы. Так теперь,

если нам так кажется, пойдем сперва путем длиннейшим; потому что, пока еще свежи силы, мы легче его одолеем. Смотри же, вот деление.

Сократ-младший. Говори.

Иностранец. Пешие, из числа кротких, — все, сколько есть стадовых, — разделены у нас, по природе, надвое.

Сократ-младший. Каким образом?

Иностранец. Так, что одна их порода — с рогами, а другая не имеет рогов.

Сократ-младший. Видимо.

Иностранец. Таким образом, разделив знание пешепитательное, объясняй каждую его часть путем определений; потому что, если захочешь называть их, это представит тебе лишние затруднения.

Сократ-младший. Каким же образом должно выражаться?

Иностранец. Вот каким: когда знание пешепитательное разделено надвое, один отдел его приложится к части стада, носящей рога, а другой — к части безрогой.

Сократ-младший. Пусть будет по сказанному; ибо это выражено достаточно ясно.

Иностранец. Что до царя, он тут у нас, очевидно, будет пасти стадо безрогое.

Сократ-младший. Как не очевидно!

Иностранец. Разделяя опять это стадо, постараемся приписать ему, что́ свойственно.

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Не хочешь ли различить в нем раздвоенное и так называемое цельное копыто (μώνυξ), либо общеродный и своеродный приплод? Вероятно, понимаешь?

Сократ-младший. Что такое?

Иностранец. То, что лошади и ослы, по природе, могут рождаться друг от друга.

Сократ-младший. Да.

Иностранец. А прочие-то, в ручном стаде кротких животных, не смешивают своих родов одного с другим.

Сократ-младший. Как смешивать!

Иностранец. Что же? политик печется ли, думаешь, об общеродной или своеродной природе?

Сократ-младший. Явно, что о несмешанной.

Иностранец. Но и эту, подобно прежним, надобно нам, как видно, разделить надвое.

Сократ-младший. Да, надобно.

Иностранец. Однако ж животные-то, сколько есть кротких и стадовых, кроме двух родов, уже все разобраны; — потому что род собак не следует причислять к животным стадовым.

Сократ-младший. Конечно, не следует. Но как же делить нам эти два?

Иностранец. Так, как и пристало делить Теэтету и тебе, коли оба вы занимаетесь геометриею.

Сократ-младший. А именно?

Иностранец. По диаметру, то есть, и опять по диаметру диаметра.

Сократ-младший. Что ты разумеешь?

Иностранец. Природа, какую получил наш человеческий род, имеет иные разве по отношению к ходьбе свойства, чем диаметр, по свойству — двухфутовый (или двуногий, δίπους)?

Сократ-младший. Не иные.

Иностранец. Между тем природа-то прочего рода есть опять, по свойству, диаметр от нашего свойства, если она снабжена дважды двумя футами (или ногами, δυοῖν ποδοῖν).

Сократ-младший. Как не быть! И вот я почти понимаю, что хочешь ты сказать.

Иностранец. А затем не видим ли мы, Сократ, что при этом делении случилось опять с нами что-то, что́ может показаться смешным?

Сократ-младший. Что такое?

Иностранец. Человеческий наш род получил одинаковый жребий и пущен наряду с родом, из всех существ превосходнейшим и в то же время

самым легким.

Сократ-младший. Замечаю, и нахожу это очень странным.

Иностранец. Что же? Не естественно ли, чтобы самое медленное пришло последним?

Сократ-младший. Да, это-то конечно.

Иностранец. А того разве не приведем на мысль, что еще более смешным окажется царь, бегущий вместе со стадом и в беге сотовариществующий с таким храбрецом, который превосходно приучен к жизни без затруднений?

Сократ-младший. Без сомнения.

Иностранец. Теперь ведь, Сократ, становится еще яснее то, что сказано было недавно, при исследовании софиста.

Сократ-младший. Что именно?

Иностранец. Что, при такой методе речи, бывает не больше заботы о высоком, чем о низком, и маловажное не презирается ввиду великого: эта метода всегда сама по себе стремится к истиннейшему.

Сократ-младший. Вероятно.

Иностранец. После этого, чтобы ты не предварил меня вопросом о кратчайшем пути, какой тогда предстоял нам, для определения царя, не пойти ли вперед тебя мне самому?

Сократ-младший. И непременно.

Иностранец. Вот и говорю, что тогда же следовало в сухопутном роде отличить вид двуногий от четвероногого, и, усматривая, что вид человеческий получил равный жребий с одним видом пернатым, двуногое стадо снова разделить на простое и снабженное крыльями; а когда оно было бы разделено, и уже открылось искусство пасти людей, надлежало найти политика и царя и, поставив его, как бы возничего, вверить ему бразды города; потому что ему и свойственно такое знание.

Сократ-младший. Хорошо; своим рассуждением ты как бы заплатил мне долг, и выполнил это с придачею отступления, как бы роста.

Иностранец. Пускай; взойдем же к началу речи и, взяв ее всю до конца, свяжем свое рассуждение об имени искусства политического.

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. С самого начала в познавательном искусстве мы нашли часть распорядительную, в которой, путем сравнения, отличена сторона самораспорядительная; потом отделен опять не малый из родов самораспорядительности, под именем животнопитания, а в животнопитании обособлен вид питания стадового, в котором за-

тем взято питание сухопутное, в сухопутном же питании особенно отличено искусство ухода за природою безрогою; далее, — не малая часть этой природы необходимо слагается из трех видов, которые кто захотел бы соединить под одним именем, назвал бы знанием питать несмешанную породу; после сего остается еще один отдел этого знания, — питание людей, как часть в роде, пасущем двуногих; а это самое и есть искомое, то есть, искусство царское, называемое также политическим.

Сократ-младший. Совершенно так.

Иностранец. Но только правда ли это, Сократ, что оно так у нас и сделано, как ты сейчас сказал?

Сократ-младший. А именно?

Иностранец. Будто совершенно достаточно раскрыт предмет? Или того-то самого преимущественно и недостает в нашем исследовании, что хотя на словах кое-как и выходит, да слово-то не со всею полнотой оправдывается делом?

Сократ-младший. Как ты сказал?

Иностранец. То самое, что́ понимаю, я постараюсь представить для нас обоих еще яснее.

Сократ-младший. Пожалуй, говори.

Иностранец. Не правда ли, что в числе многих

представившихся нам сейчас питательных искусств, одно было политическое, — попечение об одном как будто бы стаде?

Сократ-младший. Да.

Иностранец. Но это-то искусство определено было не как питание лошадей или иных животных, а как знание общего питания людей.

Сократ-младший. Так.

Иностранец. Рассмотрим же различие между всеми питателями и царями.

Сократ-младший. Какое различие?

Иностранец. Пусть кто-нибудь со стороны, носящий имя иного искусства, скажет и будет показывать вид, что он вообще есть питатель стада.

Сократ-младший. Ка́к ты говоришь?

Иностранец. Например, все купцы, земледельцы и хлебники, — да и кроме этих, гимнастики и класс врачей, — знаешь ли, все они непременно стали бы оспаривать имя у питателей человечества, которых мы назвали политиками, — в той мысли, что сами заботятся о человеческой пище, и не только для людей стадовых, но и для самих правителей их?

Сократ-младший. Ужели же правильно говорили бы они?

Иностранец. Может быть. И мы рассмотрим это. А то́ знаем, что у волопаса никто не будет оспаривать ничего такого, но всякий согласится, что волопас — сам питатель стада, сам врач, сам как бы сват, и единственный знаток родовспомогательного искусства в случае приплода и рождения телят. Даже игрою и музыкою, — насколько восприимчивы к этому его животные, — никто другой не укротит их так хорошо и не успокоит обаятельно, как он, наилучшим образом, применительно к стаду, выполняя свою музыку, посредством ли инструментов, или просто голосом. То же надобно сказать и о прочих пастухах. Не так ли?

Сократ-младший. Очень правильно.

Иностранец. Как же покажется правильным и безупречным наше слово о царе, когда мы полагаем его пастырем и питателем человеческого стада, избрав лишь одного — из тысячи спорящих за это имя людей?

Сократ-младший. Никак.

Иностранец. Стало быть, не справедливо ли мы немного прежде опасались, подозревая, что хотя и вывели на словах некоторый общий образ царя, но все-таки не изобразим с точностью политика, пока не устраним от него людей, его

окружающих и вместе с ним приписывающих себе дело питания, и, отделив от этих последних, не поставим его на вид чисто одного?

Сократ-младший. Конечно, весьма справедливо.

Иностранец. Так это, Сократ, следует нам сделать, если не хотим, чтобы конец посрамил наше исследование.

Сократ-младший. Но этого-то никак не должно допускать.

Иностранец. Значит, надобно нам выступить из иного начала и идти каким-нибудь другим путем.

Сократ-младший. Каким же?

Иностранец. Примешав чуть не игру: надобно воспользоваться немалою частью одной большой басни, и потом, как делали мы и прежде, отнимая последовательно одну часть от другой, идти до конца к искомому. Не нужно ли?

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Обрати же хорошенько внимание на мою басню, подобно детям; ты ведь в самом деле не далеко ушел от лет детства.

Сократ-младший. Говори, пожалуй.

Иностранец. Пересказывали и еще будут пересказывать о многом из времен древних, и между

прочим о чуде, совершившемся по случаю ссоры Атрея с Фиестом. Ведь ты, вероятно, слыхал и припоминаешь, что́, по рассказам, тогда происходило.

Сократ-младший. Может быть, ты разумеешь чудо золотой агницы.

Иностранец. Совсем не то, а перемену, происшедшую в восхождении и захождении солнца и других звезд, — такого рода, что где оно теперь восходит, в том самом месте тогда заходило, а восходило в противоположном. Это изменение его в нынешний вид Бог совершил в то время в свидетельство Атрею.

Сократ-младший. Да, рассказывают и об этом.

Иностранец. От многих слыхали мы также и о царствовании-то, которое водворил Кронос.

Сократ-младший. Даже от весьма многих.

Иностранец. Что же? — что прежние люди вырастали из земли, а не то, что рождались друг от друга?

Сократ-младший. И это — одно из преданий древности.

Иностранец. И все такие вещи вытекают из одного свойства; да и кроме этих, тысячи других, которые еще чудеснее. Но многие из них с течением времени забылись, а другие раздробились

и рассказываются отдельными одна от другой частями. О свойстве же, которое послужило причиною всему, никто не говорил; так теперь надобно сказать, потому что сказанное пригодится для изображения царя.

Сократ-младший. Прекрасно; говори же, ничего не пропуская.

Иностранец. Слушай, пожалуй. Весь этот мир, в своем движении, то ведется и круговращается самим Богом, то, как скоро круг потребного ему времени исполнится, Бог оставляет его, — и тогда он вращается уже по собственному побуждению — в противную сторону, так как есть существо живое и в самом начале от своего строителя получил разумность; а это — двигаться обратно — прирождено ему необходимо, вот почему.

Сократ-младший. Почему же?

Иностранец. Находиться всегда в неизменном состоянии и быть тожественным свойственно одним из всех божественнейшим предметам; а природа тела не этого порядка. То, что́ мы назвали небом и космосом, получило от создателя много свойств блаженных: но космос приобщился также и тела. Отсюда, он не может оставаться всегда чуждым перемены, хотя по мере силы совершает одно движение, в том же месте и тем

же образом; поэтому принял он круговращение, как наименьшее уклонение от свойственного ему движения. Но всегда вращать самому себя почти ни для кого невозможно, кроме как для вождя всех движущихся вещей. А вождю двигаться то так, то вдруг напротив — не свойственно. По всему такому, о космосе нельзя сказать ни того, что он всегда вращает сам себя, ни того опять, что, совершая двойные и взаимно противные обороты, он всегда весь вращается Богом, ни того, наконец, что вращают его какие-то два бога с взаимно противным образом мыслей; но, как сказано, остается одно: то водится он иною, божественною причиною, причем снова получает жизнь и принимает восстановленное создателем бессмертие, то, оставленный, идет сам собою, и, получив вовремя отпуск, бывает таков, что совершает многие мириады обратных круговращений, — ибо, как нечто великое и в высшей степени равновесное, движется шагом самым медленным.

Сократ-младший. Все тобою раскрытое представляется, в самом деле, очень вероятным.

Иностранец. Сообразив это, из сказанного теперь выведем свойство, которое, мы сказали, есть причина всего чудесного. Оно должно заключать-

ся именно в этом.

Сократ-младший. В чем же?

Иностранец. Что движение всего совершается то в том же направлении, как нынешнее круговращение, то в противном.

Сократ-младший. Как же.

Иностранец. Эту перемену, из всех бывающих на небе поворотов, надобно почитать поворотом величайшим и совершеннейшим.

Сократ-младший. В самом деле, вероятно.

Иностранец. Так надобно полагать, что большие перемены происходят тогда и с нами, живущими внутри неба.

Сократ-младший. И это вероятно.

Иностранец. А большие, многочисленные и различные перемены, когда стекаются они в животных, разве не знаем, с какой тягостью переносятся ими?

Сократ-младший. Как не знать?

Иностранец. Ведь тогда неизбежно находит величайшая гибель как на прочих живых существ, так и на человеческий род, который в этом случае не далеко отстает от них. Ему приходится испытывать множество и иных дивных и новых бедствий, но особенно это, — величайшее, — которое наступает в связи с превращением

вселенной, в то время, как совершается поворот, противный нынешнему.

Сократ-младший. Какое?

Иностранец. Возраст, в каком находилось каждое животное, сперва у всех останавливался, и все, сколько ни было смертного, переставало идти к старости, а поворачивало опять в противную сторону, как бы возрастая по направлению к юности и младенчеству. И вот у стариков седые волосы чернели; у людей, обросташих бородою, щеки опять сглаживались и возвращали каждого в пережитый возраст молодости; организмы же, цветущие юностью, с каждым днем и ночью сглаживаясь и уменьшаясь в росте, опять получали природу новорожденного дитяти, и уподоблялись ему как по душе, так и по телу; но с этой уже поры, чрезвычайно высохши, совершенно исчезали. Даже и мертвое тело, кто умирал в то время насильственною смертью, испытывало те же самые действия, — быстро меркло в глазах и в течение немногих дней уничтожалось.

Сократ-младший. Но рождение тогда было же какое-нибудь, Иностранец? Так каким же образом рождались друг от друга?

Иностранец. Явно, Сократ, что в тогдашней природе один от другого не рождался, но было

некогда, по преданию, племя земнородное, и оно-то в то время снова возвращалось из земли; о нем рассказали первые наши предки, жившие сряду за концом прежнего кругооборота, и родившиеся в начале нынешнего. Они-то были для нас провозвестниками тех сказаний, которым ныне многие несправедливо не верят. Надо, думаю, принять в соображение и следующее. Ведь если старики переходят в природу детей, то из состояния умерших и лежащих в земле естественно людям снова восстановляться и, начиная жизнь, следовать за поворотом, — вращаться в противную сторону рождения; — и на этом-то основании необходимо, возрастая земнородными, они получают от того и свое имя и оправдание, если Бог не присудил кого к иному жребию.

Сократ-младший. Без сомнения, это-то следует из прежнего. Но жизнь, какая, говоришь, была в царствование Кроноса, относилась к тем ли поворотам или к этим? Ведь явно, что при каждом из этих поворотов происходила перемена в звездах и солнце.

Иностранец. Ты хорошо следовал за речью. Но что спросил относительно того состояния, когда у людей все рождалось само собою, то это состояние установлено не нынешним вращением, а зависе-

ло от прежнего; ибо тогда впервые дело кругового движения начал промышляющий о целом Бог, а части космоса разделены были между начальственными богами, точно таким же образом, как теперь они начальствуют по местам. Гении, как бы божественные пастыри, разделили между собою даже животных по их родам и стадам, и каждый из них являлся достаточным во всех отношениях для каждого стада, которое пас; так что не было тогда в этих ни дикости, ни взаимного пожирания, не было вовсе места ни войне, ни возмущению. Но о всем, что следовало из такого распорядка, можно бы говорить без конца. Предание же о самородных средствах жизни у людей рассказывается следующим образом. Бог пас их сам под своим правлением, — как теперь люди, другое ближайшее к божеству животное, пасут прочие роды животных, худшие. Но когда Он пас, — не было ни правительства, ни попечения о приобретении жен и детей; так как все входили в новую жизнь из земли, не помня о прежнем состоянии. Все подобное было им чуждо; но плодов древесных и многих других было у них в изобилии, и выращаемы были они не земледелием, — земля сама собой давала их. Нагие, не имея логовищ, те люди по большей части паслись под

открытым небом, потому что годовые времена сменялись для них безболезненно; а мягкую постель находили они на траве, выраставшей с изобилием из земли. Ты слушаешь теперь, Сократ, рассказ о жизни при Кроносе; а ту, которую называют жизнью при Зевсе, то есть нынешнюю, узнал собственным опытом. Так можешь ли и хочешь ли судить, которая счастливее?

Сократ-младший. Нет.

Иностранец. Разве желаешь, чтобы я как-нибудь рассудил для тебя об этом?

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Если питомцы Кроноса, имея у себя так много досуга и способности сноситься словесно не только с людьми, но и со зверями, пользовались всем этим для философии; если, беседуя со зверями и друг с другом, допрашивали они всякую природу, не узнала ли она, с помощью некоей особой своей способности, что-нибудь отличное от других, на пользу мудрости: то легко судить, что тогдашние счастьем бесконечно превосходили нынешних. Если даже, насытившись обильной пищей и питьем, передавали они друг другу и зверям такие сказания, какие и доныне приписываются им, то и тут опять, — по крайней мере, таково мое мнение, — очень не трудно су-

дить о них. Впрочем оставим это, пока не явится какой-нибудь вестник, который достаточно нам объяснит, имели ли тогдашние люди жажду к познаниям и к употреблению слова; но для чего мы подняли этот миф, о том должны сказать, чтобы потом идти вперед. Когда окончилось время всех этих явлений и надлежало произойти перемене, когда то есть весь земной род уже погиб, ибо все порождения каждой души, сколько которой предписано было произвести их, возвращены и упали в землю семенами: тогда-то наконец кормчий вселенной, как бы оставив рукоять кормила, отошел в свою кругозорницу, а космос стали снова вращать судьба и врожденное ему вожделение. Тогда и местные боги, соучастники в управлении гению величайшему, узнав уже, что́ произошло, прервали свое попечение о частях космоса. Космос же, в обратном своем повороте, увлекаясь взаимно противным стремлением начала и конца и чрез то сильно сотрясаясь в самом себе, произвел новое разрушение различного рода животных. Но по прошествии затем достаточного времени, волнение, смятение и трус в нем прекратились, настала тишина, — и он, настроенный к обычному бегу, пошел в свой путь, имея сам владычество и попечение как

о себе, так и о всем, что находилось в его недре, и по возможности вспоминая наставление своего художника и отца. Вначале соблюдал он это наставление строже, а к концу все коснее; и причиною этого в нем была телообразность смешения, воспитанная некогда прежнею его природою, так как он, прежде чем достиг до нынешнего благоустройства, заключал в себе много беспорядочного. От своего строителя получил он все прекрасное; а от прежнего своего состояния, сколько ни было в небе худого и несправедливого, это все и сам занял он, и сообщает животным. Питая в себе животных в союзе с правителем, он рождает в них малое зло, но великое добро; отделившись же от него, в ближайшее-то время по оставлении им правления, еще совершает все прекрасно; но с течением времени, когда является в нем больше забвения, овладевает им состояние древней беспорядочности, так что наконец он отцветает и, с немногим добром приводя в смесь много противных свойств, подпадает опасности разрушиться и сам и разрушить заключающееся в нем. И посему-то тогда уже устроивший его Бог, видя, что он в затруднении, и заботясь, ка́к бы ему, волнуемому тревогами, не разложиться и не погрузиться в беспредельное место неподобных

стихий, опять садится у его кормила и, вращая болевшее и разложившееся в прежнем его периоде, самостоятельном, чрез то устрояет и исправляет его, делает бессмертным и не стареющим. И этим все заканчивается. Но, чтобы показать природу царя, этого вполне достаточно для тех, кто свое рассуждение приводит в связь с прежде сказанным. Ибо когда космос начал вращаться снова по пути нынешнего рождения, прервался опять порядок возрастов и стал как бы заново обратным тогдашнему. Животные, по своей малости, едва не исчезавшие, стали расти; а телá, вновь рожденные из земли в возрасте старческом, — опять умирали и возвращались в землю. По подражанию и последованию свойствам целого изменилось и все другое; подражание необходимо простиралось за всем другим и на чревоношение, на рождение и на питание. Ведь нельзя было все еще родиться животному в земле чрез совместное возрастание других; но как космосу повелено быть властителем собственного течения, так и части космоса от подобной же власти получили внушение, сколько возможно, таким же образом и выращивать, и рождать, и питать. Так вот к чему направлялась вся наша речь, к тому мы теперь и пришли. Вести иссле-

дование о других зверях, из чего превратился каждый и по каким причинам, было бы много и долго; а о людях оно короче и гораздо ближе к делу. Когда стяжавший и пасущий нас гений прекратил свое попечение, многие по природе жестокие звери одичали, люди же между тем сделались слабыми и, оставшись без охранения, были расхищаемы зверями; притом в первые времена у людей еще не имелось и искусств и вообще средств для существования, так как самородной пищи они уже не находили, а производить ее пока не умели, потому что прежде не побуждались к тому никакою нуждою. По всему этому находились они в большом затруднении. Оттого-то, по древним преданиям, и ниспосланы нам вместе с должным наставлением те божие дары: огонь от Прометея, искусства от Гефеста и его сотрудницы, а семена и растения от других. И все, чем устроена человеческая жизнь, возникло из этого; ибо когда боги, как сейчас сказано, перестали печься о людях, тогда людям надлежало управляться самим собою и заботиться о самих себе, подобно целому космосу, которому, подражая и последуя, мы вот все время, сегодня так, завтра иначе, но блюдем жизнь и нарождаемся. Здесь пусть будет конец мифу. Воспользуемся им, чтобы видеть,

сколько погрешали мы, высказывая в прежнем рассуждении свое мнение о муже царственном и политическом.

Сократ-младший. Какая же, говоришь, и велика́ ли допущенная нами погрешность?

Иностранец. С одной стороны, она мало заметна, а с другой — очень важна и гораздо больше и шире, чем была тогда.

Сократ-младший. Как?

Иностранец. Так что на вопрос о царе и политике нынешнего круговращения и рождения мы ответили, сказав о пастыре человеческого стада из противного периода, и притом о боге, вместо смертного: в этом-то весьма много погрешили. Но что объявили его правителем всего города, а каким образом он правитель, не рассмотрели, — в этом случае сказали, конечно, верно, только не вполне и неясно высказались, а потому и ошибка здесь легче, чем там.

Сократ-младший. Правда.

Иностранец. Стало быть, надо, как видно, надеяться, что, определив средства управления городом, мы чрез это вполне опишем и политика.

Сократ-младший. Хорошо.

Иностранец. И вот для того-то взяли мы миф:

не только для доказательства, что, касательно стадопитания, все оспаривают это дело у лица теперь искомого, но и чтобы яснейшим образом видеть то лицо, которому одному, по примеру пастухов и волопасов, имеющему попечение о человеческой пище, принадлежит право на то название.

Сократ-младший. Правильно.

Иностранец. Я даже полагаю, Сократ, что этот образ божественного пастыря — дело слишком великое, чтобы приравнивать его и к царю; а теперешние здешние политики по своей природе гораздо больше похожи на подвластных и еще ближе к ним становятся по образованию и воспитанию.

Сократ-младший. Непременно.

Иностранец. Однако ж нам оттого не менее и не более обязательно рассмотреть, эта ли будет их природа, или та.

Сократ-младший. Как не обязательно.

Иностранец. Возвратимся же опять к прежнему. Сказали мы, что есть над животными искусство самораспорядительное, — пекущееся притом не о частном, а об общем, — и тогда же вдруг назвали это стадопитанием. Помнишь ли?

Сократ-младший. Да.

Иностранец. Так вот в нем мы как-то ошиблись: не взяли в этом понятии и не назвали политика; он тайно ушел у нас из имени.

Сократ-младший. Как?

Иностранец. Питать всякие стада, вероятно, свойственно всем другим пастухам, но политику не свойственно. Между тем мы приложили и к нему это имя, тогда как надлежало прилагать ко всем нечто общее.

Сократ-младший. Ты правду говоришь, — если бы только нашлось что-нибудь такое.

Иностранец. Разве *уход* не составлял бы нечто общее им всем, не отличая от него питания или какой-нибудь другой деятельности? Кто наименовал бы это искусством стадоустроительным, или ухаживательным, или попечительным, — как общим относительно всех, — тот мог бы вместе с другими покрыть им и политика; — ведь рассуждение наше показывало, что это надобно сделать.

Сократ-младший. Правильно; но какое же после сего могло бы быть опять деление?

Иностранец. Такое же, какое сделали мы и прежде, отделив стадопитание, свойственное животным пешим и бесперым, несмешанным и безрогим; только сделав эти самые деления, за-

хватили бы мы своим словом также и искусство стадоустроительное, какое и теперь есть, и было в царствование Кроноса.

Сократ-младший. Очевидно; но спрашиваю опять, что же потом?

Иностранец. Явно, что когда положено таким образом имя искусства стадоустроительного, — никто, вероятно, не станет возражать нам, что такого попечения вовсе нет, как прежде могли бы справедливо доказывать, что у нас нет никакого искусства, достойного называться этим именем питательного, а если бы такое и было, то оно шло бы ко многим, и шло скорее, чем к кому-нибудь из царей.

Сократ-младший. Правильно.

Иностранец. Но на попечение о всем человеческом общении и на управление всеми людьми не имеет прав никакое другое искусство — больше и прежде искусства царского.

Сократ-младший. Ты правильно говоришь.

Иностранец. Между тем замечаем ли мы, Сократ, что к самому концу все же вышла у нас опять ошибка?

Сократ-младший. Какая?

Иностранец. Именно, хотя мы и очень верно рассудили, что есть некоторое питательное ис-

кусство двуногого стада, однако ж нам все-таки не следовало тотчас же называть его царским и политическим, как бы завершенное.

Сократ-младший. Почему же?

Иностранец. Сперва нужно было, как мы говорили, переформовать самое имя, приведя его значение больше к попечению, чем к питанию, а потом рассечь его, — так как оно могло бы ведь дать еще немалые отсеки.

Сократ-младший. Какие?

Иностранец. Мы, конечно, могли бы божественного пастыря и человеческого попечителя взять особо.

Сократ-младший. Правильно.

Иностранец. Потом взятое особо искусство попечительное необходимо было опять-таки рассечь на два.

Сократ-младший. На какие?

Иностранец. На насильственное и свободное.

Сократ-младший. Ну что же?

Иностранец. А мы, погрешая прежде и тут глупее обыкновенного, сложили в одно царя и тирана, которые весьма не похожи друг на друга, сложили и самих и образы правления, свойственные каждому из них.

Сократ-младший. Справедливо.

Иностранец. Так теперь-то, снова поправляясь, мы, как сказано, человеческое попечительное искусство не разделим ли на два, — на насильственное и свободное?

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. И насильственное-то назвав тираническим, а свободное стадоустроение свободных двуногих животных — политическим, человека, имеющего это искусство и попечение, не объявим ли истинным царем и политиком?

Сократ-младший. Итак, Иностранец, изъяснение политика теперь доведено у нас, должно быть, до совершенства.

Иностранец. Хорошо было бы, Сократ; однако ж так должно казаться не тебе одному, но и мне вместе с тобою. Между тем, по моему-то мнению, царь у нас как будто еще не имеет совершенного образа. Напротив, как иногда статуйщики, торопясь и без расчета времени прибавляя к своему делу еще многое и великое, чего не требуется, опаздывают; так и мы, чтобы не только скоро, но и разительнее выставить погрешность прежнего деления в той мысли, что к царю идут важные примеры, подняли страшное бремя мифа и вынуждены были воспользоваться большею, чем нужно, его частью. Чрез это мы сделали длиннее

изыскание, а конца мифу не положили: слово у нас, точно будто животное на картине, приняло, по-видимому, довольно внешнего очертания, а ясности, как бы от красок и смешения цветов, еще не получило. Между тем речью и словом гораздо приличнее, чем живописью и иным вообще рукодельем, изображать всякое животное, лишь бы уметь следовать за ними; а другим (не умеющим) нужны искусства рукодельные.

Сократ-младший. Это правильно; покажи же, что́ и где у нас еще недостаточно сказано.

Иностранец. Трудно, почтеннейший, достаточно выяснять что-нибудь более важное, не употребляя примеров; ибо каждый из нас, должно быть, узнавши все, будто во сне, на самом деле, будто потом наяву, ничего не знает.

Сократ-младший. Как ты это сказал?

Иностранец. Странно как-то в настоящем случае я поднял речь о том, что случается с нами относительно знания.

Сократ-младший. Что ж такое?

Иностранец. Самый мой пример, почтеннейший, потребовал у меня опять примера.

Сократ-младший. Так что же? Говори; ради меня-то не стесняйся.

Иностранец. Надобно говорить, если и ты готов

следовать. Ведь мы знаем на детях, когда они только что начинают знакомиться с грамотой.

Сократ-младший. Что такое?

Иностранец. Что они достаточно распознают каждую из букв в слогах кратчайших и легчайших, и бывают способны отвечать о них правильно.

Сократ-младший. Как же иначе!

Иностранец. Но, касательно тех же самых букв, недоумевая в других слогах, ошибаются и мнением и словом.

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Так не легче ли и не лучше ли всего на то, чего они еще не знают, наводить их следующим образом?

Сократ-младший. Как?

Иностранец. Наводить сперва на все то, в чем то же самое поняли они правильно; наведши же, поставлять пред тем, чего еще не знают, чтобы чрез сравнение того и другого показать находящееся в обоих сочетаниях то же подобие и ту же природу, пока правильно понимаемое не укажется приложенным ко всему, что́ неизвестно; потом указанное, получив таким образом значение примеров, сделает то, что каждая из всех букв во всех слогах будет называться либо отличною,

как от прочих отличная, либо тожественною, как тожественная и всегда себе равная.

Сократ-младший. Без сомнения.

Иностранец. Не поняли ли мы теперь достаточно, что пример-то происходит тогда, когда то же самое, находясь в другом отдельном, понимается правильно и, в приложении к тому и другому, как обоим вместе, производит одно истинное мнение?

Сократ-младший. Видимо.

Иностранец. Так удивимся ли мы, если наша душа, по природе, испытывая то же самое относительно стихий всего, иногда в известных сочетаниях узнает твердо истину насчет каждой стихии, а при других сочетаниях насчет всех стихий колеблется, — одни из них кое-как, из их соединений, понимает правильно, а когда они перенесены в длинные и не легкие слоги вещей, того же самого опять не знает?

Сократ-младший. Удивительного-то тут нет ничего.

Иностранец. Каким же образом, друг мой, мог бы кто-нибудь, выходя из ложного мнения, достигнуть хотя малой части истины и приобресть разумение?

Сократ-младший. Почти никаким.

Иностранец. Если же дело таково, то я и ты нисколько, конечно, не погрешим, взявшись сперва узнать природу целого примера по частям — в другом малом примере, с тем чтобы потом к виду царя, который очень велик, перенести вид каких-нибудь меньших (взятых для примера) вещей, и решиться, опять посредством примера, искусственно изучить уход за делами города, — дабы сновидение сменилось у нас явью.

Сократ-младший. Совершенно правильно.

Иностранец. Так надобно взяться снова за прежнее рассуждение, чтобы, поскольку весьма многие у царского рода оспаривают попечение о городах, устранить всех таких и оставить только царя. А для этого, говорили мы, нужен нам какой-нибудь пример.

Сократ-младший. И очень.

Иностранец. Какой же именно пример, представляющий ту же политическую деятельность, только самый малый, предложил бы нам кто-нибудь, чтобы можно было удовлетворительно найти искомое? Хочешь ли, ради Зевса, Сократ, — за неимением какого-либо готового, — выберем по крайней мере искусство ткацкое? Да и это, если угодно, не все? Может быть, довольно будет тканья из шерсти: пожалуй, и эта отличенная на-

ми часть ткацкого искусства засвидетельствует нам то, чего хотим.

Сократ-младший. Да, почему не так!

Иностранец. Отчего же бы нам, как прежде делили мы каждый предмет, отсекая части от частей, не сделать того же и теперь с ткацким искусством, и, по силам, с возможною краткостью, скоро пробежав все, опять прийти к тому, что́ полезно для нас в настоящем случае?

Сократ-младший. Как ты говоришь?

Иностранец. Самое рассмотрение дела будет тебе моим ответом.

Сократ-младший. Прекрасно сказано.

Иностранец. Всё, что мы производим и приобретаем, либо помогает нам в делании чего-нибудь, либо охраняет нас от какого-нибудь страдания. Из предметов охранительных, одни — лекарства, как божественные, так и человеческие, другие — орудия защиты; из орудий защиты, одни — военные вооружения, другие — ограды; из оград, одни закрывают нас, другие оберегают от холода и зноя; из оберегалищ, одни — кровли, другие — материи; из материй, одни — ковры, другие — покровы; из покровов, одни — цельные, другие — составные; из составных, одни — сшитые, другие — держащиеся без швов; между не сшитыми,

одни делаются из нитей земных растений, другие — из волос; между волосяными, одни склеены водою и землею, другие сотканы сами по себе. Так не этим ли предохранительным вещам и покровам, сделанным из того, что соткано само по себе, дали мы имя платья? А искусство, пекущееся особенно о платьях, — подобно тому, как тогда — пекущееся о городе назвали политикою, — не назвать ли нам теперь, таким же образом, по самому его делу, платьестроением? Не скажем ли притом, что и искусство ткацкое, поскольку в деле постройки платьев оно составляло самую большую часть, ничем, кроме имени, не отличается от этого платьестроения, подобно тому, как и там искусство царское не отличалось тогда от политического?

Сократ-младший. Весьма правильно.

Иностранец. Рассудим же после сего, что так называемое искусство построять платья кто-нибудь мог бы уже признать определенным достаточно, не сообразив, что от многих других, сродных, оно было отделяемо, а от близких к нему по работе еще не отличено.

Сократ-младший. От каких, говоришь, сродных?

Иностранец. Ты, кажется, не следовал за тем,

что говорилось: поэтому надобно, как видно, идти опять назад, начав с конца. Ведь если разумеешь ты сродство, — мы сейчас от нашего искусства отсекли производство ковров, отделяя надеваемое и подстилаемое.

Сократ-младший. Понимаю.

Иностранец. Устранили даже всякую работу изо льна, веревок и всего, что справедливо назвали нитями растений; удалили также битье шерсти и всякое соединение вещей посредством вязанья и шитья, которого большая часть есть искусство сапожническое.

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Отделили мы и уход за цельными покровами, — искусство кожевническое, — потом кровельное и все, применяемые к домостроительству, ко всякому плотничеству и другим искусствам, удерживающим течение жидкостей; отделили также искусства оград, доставляющие изделия против воровства и насильственных действий, занимающиеся приготовлением охранительных средств и укреплением дверей, и служащие частями искусства скреплять гвоздями; отсекли, наконец, и искусство вооружения, — отдел великой и разнообразной силы отражать врагов; а в самом начале тотчас отделили все

магическое искусство лекарств, и оставили, как нам казалось, искомое, — что́ охраняет от стужи, приготовляет защиту из шерсти и получило имя искусства ткацкого.

Сократ-младший. Выходит, так.

Иностранец. Но сказанное нами, дитя мое, еще не исчерпывает дела. Ведь приступающий к приготовлению платьев вначале делает, очевидно, противное тканью.

Сократ-младший. Как?

Иностранец. Тканье есть отчасти какое-то сплетение.

Сократ-младший. Да.

Иностранец. А отчасти есть разложение того, что было составлено и сплетено.

Сократ-младший. Какое же разложение?

Иностранец. Дело искусства чесального. Или чесальное искусство мы осмелимся назвать ткацким и чесальщика — ткачем?

Сократ-младший. Отнюдь нет.

Иностранец. Да если бы кто назвал ткачеством даже искусство делать основу и уток, и то дал бы этому делу странное и ложное имя.

Сократ-младший. Как не ложное!

Иностранец. Что же? Положим ли, что и все вообще искусство валяльное и портняжное ни-

сколько не относятся к попечению о платье и уходу за ним, или и эти искусства назовем ткацкими?

Сократ-младший. Отнюдь нет.

Иностранец. Но ведь все они вместе будут оспаривать уход-то и производство платьев у искусства ткацкого, уступая ему наибольшую часть, но многое уделяя и себе самим.

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Да кроме этих, и искусства, приготовляющие орудия, посредством которых производятся ткацкие работы, должно думать, вообразят себе, что они тоже вспомогательные причины всякого ткачества.

Сократ-младший. Весьма правильно.

Иностранец. Так наше слово о ткацком искусстве, в той части, которую мы отличили, не достаточно ли будет определенно, если положим, что из всех попечений о шерстяном платье оно есть самое прекрасное и великое? Или мы скажем хотя нечто верное, но все-таки не ясное и не законченное, пока от искусства ткацкого не отделим и этих всех искусств?

Сократ-младший. Правильно.

Иностранец. Итак, после сего, не сделать ли то, что́ говорим, чтобы наша речь шла в порядке?

Сократ-младший. Ка́к не сделать.

Иностранец. И вот различим сперва два искусства по отношению ко всему, что делается.

Сократ-младший. Какие?

Иностранец. Одно — в значении вспомогательной причины рождения, другое — в значении самой причины.

Сократ-младший. Как?

Иностранец. Все искусства, которые самого дела не производят, а только приготовляют орудия для искусств производящих, так что, если бы не было этих орудий, никогда не совершалось бы то, что́ совершать предназначено каждому искусству, — все эти искусства мы почитаем вспомогательными причинами, а те, которые производят самое дело, — (прямо) причинами.

Сократ-младший. Должно быть, так.

Иностранец. Значит, после сего, все искусства, приготовляющие веретена, челноки и всякие другие орудия, посредством которых принимают они участие в производстве одежд, мы назовем вспомогательными причинами, а имеющие уход за самыми одеждами и построяющие их, — (прямо) причинами?

Сократ-младший. Весьма правильно.

Иностранец. Но из причин, искусства про-

мывания, исправления и всякого в том же роде попечения, при широком объеме искусства украшательного, весьма прилично принимать за часть его, — все вместе под именем искусства валяльного.

Сократ-младший. Хорошо.

Иностранец. Да и искусства чесальное, прядильное и все, относящиеся к самому производству платья, как бы части к целому, образуют также одно некоторое искусство, называющееся у всех искусством шерстопрядильным.

Сократ-младший. Как же иначе!

Иностранец. Но искусство шерстопрядильное имеет два отдела, и каждый из них есть вместе часть двух искусств.

Сократ-младший. Как?

Иностранец. Искусство чесальное и половина ткацкого, — поскольку там разделяется то, что́ одно с другим сложено, — все это, чтоб определить одним именем, относится к искусству шерстопрядильному; а на все распространялись у нас два больших некоторых искусства — соединения и разделения.

Сократ-младший. Да.

Иностранец. К искусству разделения относятся искусство чесальное и все сейчас названное;

ибо деление на шерсти и на основе, — действуя иным образом посредством утока, и иным — посредством рук, — получило приведенные сейчас названия.

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Теперь возьмем опять, вместе с искусством шерстопрядильным, заключающуюся в нем часть соединительную; а то, что́ было разделительного, на этом все и оставим, рассекая искусство шерстопрядильное надвое — на отдел разделяющий и соединяющий.

Сократ-младший. Пускай будет разделено.

Иностранец. Но часть соединительную, в связи с шерстопрядильною, Сократ, надобно тебе снова разделить, если хотим достаточно определить названное прежде искусство ткацкое.

Сократ-младший. Пусть и должно.

Иностранец. Конечно, должно; и мы одно в ней назовем сучением, а другое — переплетанием.

Сократ-младший. Так ли я понимаю? Говоря о сучении, ты, кажется, разумеешь делание основы.

Иностранец. Не только это, но и делание утока. Скажем ли, что производство его совершается как-нибудь без сучения?

Сократ-младший. Отнюдь нет.

Иностранец. Различай же каждое и из этих; потому что это различие, может быть, тебе пригодится.

Сократ-младший. Каким образом?

Иностранец. Следующим. Из произведений искусства чесального, нечто удлиненное и получившее широту мы называем пластом шерсти.

Сократ-младший. *Да.*

Иностранец. А свитое из этого веретеном и сделавшееся твердою пряжею назови ты основою; искусство же, занимающееся приготовлением долгих нитей, — искусством делать основу.

Сократ-младший. Правильно.

Иностранец. Но все опять, что принимает пряжу слабую и, будучи ввито в основу, представляет для вычесывания ворса соответственную мягкость, — все это напряденное мы назовем утоком, назначенное же к тому искусство — искусством прясть уток.

Сократ-младший. Очень правильно.

Иностранец. И вот та-то часть искусства ткацкого, которую мы отличили, кажется, ясна уже для всякого: ибо, когда то, что в искусстве шерстопрядильном является частью соединяющею, отделывает сеть утока и основы в форме прямой ткани, все это сплетенное мы назовем шерстяным

платьем, а занятое этим искусство — искусством ткацким.

Сократ-младший. Очень правильно.

Иностранец. Пускай. Так почему же не сказали мы тотчас, что ткацкое искусство есть сплетение утока и основы, но все ходили вокруг, делая множество напрасных определений?

Сократ-младший. Но мне казалось, иностранец, что из сказанного ничто напрасно не сказано.

Иностранец. Да и не удивительно: но, пожалуй, могло бы показаться, друг мой. Так против такого соблазна, если бы он являлся и много раз после, — тут нет ничего удивительного, — выслушай некоторые соображения, которые удобно могут быть отнесены ко всем подобным случаям.

Сократ-младший. Говори только.

Иностранец. Рассмотрим же, во-первых, всякое излишество и недостаток, чтобы основательно хвалить и порицать каждый раз либо длинные некстати, либо обратные тому рассуждения о таких предметах.

Сократ-младший. Да, следует.

Иностранец. Так вот если бы об этом самом повели мы свою речь, то повели бы, думаю, не без основания.

Сократ-младший. О чем?

Иностранец. О длинноте и краткости, о всяком излишестве и недостатке. Ведь есть, действительно, искусство измерения, в отношении ко всему этому.

Сократ-младший. *Да.*

Иностранец. Различим же в нем две части; так как это нужно для той цели, которой мы теперь заняты.

Сократ-младший. Но говори, что́ тут различать.

Иностранец. Следующее: во-первых, взаимное общение великости и малости; во-вторых, необходимую сущность явления.

Сократ-младший. Как ты говоришь?

Иностранец. Не кажется ли тебе естественным, что большее надобно называть бо́льшим не чего другого, как меньшего, и меньшее — меньшим бо́льшего, а не иного чего?

Сократ-младший. По мне, так.

Иностранец. Что же? превышающее природу меры или превышаемое мерою, — в словах ли то, или делах, — не назовем ли мы тоже действительно бытным, — в чем особенно отличаются между нами добрые и злые?

Сократ-младший. Видимо.

Иностранец. Стало быть, нам надобно положить двоякую сущность великого и малого и двоякое деление их; затем, рассматривать их не как говорили сейчас — только одно по отношению к другому, но скорее, как теперь же сказано, полагать одну сущность в отношении взаимном, а другую — в отношении к мере. Хотим ли мы знать, для чего это?

Сократ-младший. Почему не хотеть?

Иностранец. Кто природу бóльшего будет относить не к чему иному, а только к меньшему, у того она никогда не получит своей меры. Не правда ли?

Сократ-младший. Так.

Иностранец. Но этим способом не разрушим ли мы самых искусств и всех дел их, не упраздним ли даже искомой теперь политики и искусства, называемого ткацким? Ведь все они остерегаются того, чтó больше и меньше меры, — остерегаются не как не существующего, а как вещи, затрудняющей дело, и таким образом, сохраняя меру, совершают все доброе и прекрасное.

Сократ-младший. Как же.

Иностранец. Если же упраздним мы политику, — не будет ли после того безуспешен у нас и поиск царского знания?

Сократ-младший. И очень.

Иностранец. Стало быть, подобно тому, как в Софисте нашли мы, что есть то, чего нет, поскольку к этому идти принудило нас рассуждение: не придется ли нам и теперь, поневоле, вывести заключение, что большее и меньшее измеримы — не только одно другим, но и самым явлением меры? Потому что ведь невозможно же, чтоб был кто бесспорно политиком, или каким-нибудь иным знатоком дел, пока в этом не установится согласия.

Сократ-младший. Посему и теперь особенно нужно сделать это.

Иностранец. А это дело еще больше, Сократ, чем то; хотя и то, мы помним, как было длинно. Впрочем, относительно их весьма справедливо будет такое предположение.

Сократ-младший. Какое?

Иностранец. То, что для точного представления дела со временем понадобится ныне сказанное. А что оно достаточно и хорошо для настоящей цели, это, кажется, прекрасно подтвердит нам то положение, если примем равно, что все искусства существуют, и что большее и меньшее измеряются не только взаимно, но и явлением меры: ибо если есть это, то есть и то́, а когда есть то́, есть и

это, но не будь которого-либо из них, — не будет ни того, ни другого.

Сократ-младший. Это, конечно, правильно; но что же потом?

Иностранец. Явно, что мы разделим искусство измерения, согласно сказанному, на две части: к одной его части отнесем все искусства, измеряющие числа, долготы, высоты, широты, плотности — тем, что́ противно им; а к другой — все, занятые отношением к мере, приличию, благовременности, долгу и ко всему, что составляет средину между крайностями.

Сократ-младший. Ты указал на два действительно великие отдела, которые притом много отличаются один от другого.

Иностранец. То самое, что́ многие люди высокоумные, Сократ, иногда повторяют точно какое замысловатое выражение, — будто, то есть, искусство мерительное входит всюду, — сказано теперь, выходит, и нами; ибо в области искусств все каким-нибудь образом подчинено измерению. Но они, по непривычке распознавать виды посредством деления, приводят эти столь различные вещи к тожеству, почитая подобными, и погрешают обратно тому, разлагая не по частям другие (которые тожественны). Между тем

надлежало бы, когда во многих вещах замечена уже общность, не отступать, пока не узнаешь в ней всяких разниц, сколько бы ни находилось их в видах, и потом опять, когда во множестве вещей увидишь многоразличные несходства, не считать себя неспособным и не оставлять дела со стыдом, пока всего сродного не заключишь в одном подобии и не соединишь сущностью какого-нибудь рода. Но довольно будет сказанного как об этом, так и о недостаточествующем и излишнем; условимся только, что относительно их оказалось два рода искусства мерительного, и постараемся запомнить, чтó это за роды.

Сократ-младший. Будем помнить.

Иностранец. После этого возьмемся за другое рассуждение о том же самом предмете, который рассматриваем, и вообще о ведении подобных исследований.

Сократ-младший. За какое?

Иностранец. Пусть бы кто спросил нас насчет собеседования тех, которые учатся грамоте: чтó мы скажем, когда одному из них предложен вопрос о числе букв в известном имени? имеется ли тогда особенно в виду сделать его грамотнее относительно этого одного вопроса, или относительно всякого другого?

Сократ-младший. Явно, что относительно всякого.

Иностранец. Что же теперь? настоящий наш вопрос о политике для того ли предлагается, чтобы мы сделались диалектичнее больше в этом отношении, или во всяком?

Сократ-младший. И это явно, что во всяком.

Иностранец. Ведь и в самом деле, никто, в ком есть сколько-нибудь ума, не захотел бы получить понятие, например, о ткацком искусстве для этого самого понятия. Но вот что, думаю, не известно очень многим: для вещей удобопознаваемых существуют некоторые чувственные подобия, которые не трудно найти, когда кто человеку, требующему отчета относительно чего-нибудь, хочет дать его легко, без хлопот и рассуждений. Величайшим же и досточтимейшим предметам нет ни одного соответственного образа, который бы способен был живо выразить их, и по указании на который, желающий удовлетворить душе вопрошателя применительно к какому-нибудь чувству, удовлетворил бы ей вполне. Поэтому надо упражнением достигать возможности в каждом дать и принять отчет (силою рассуждения); потому что предметы бестелесные, — самые прекрасные и величайшие, — ясно указываются

одним рассуждением, и не чем другим, а о них-то все теперь и говорится. Упражнение же, в отношении всего, гораздо удобнее на меньшем, чем на большем.

Сократ-младший. Прекрасно сказано.

Иностранец. Вспомним же причину, по которой все это сказали мы о настоящем предмете.

Сократ-младший. Какую причину?

Иностранец. Да особенно ту скуку, ради которой показалась нам так тяжелою продолжительная речь о ткацком искусстве, о перевороте во вселенной, и в Софисте — о сущности не существующего. Понимаем, что тут мы были очень длинны, и во всем этом обвиняли самих себя, боясь, не наговорили ли ненужного, и притом так пространно. Посему, чтобы опять не испытать нам чего подобного, представляй, что прежнее было сказано ради всего этого.

Сократ-младший. Так и будет; говори только, что́ следует.

Иностранец. Вот и говорю, что, помня теперь сказанное, я и ты должны, конечно, все, о чем говорим, каждый раз порицать или хвалить за краткость и долготу, причем о продолжностях судить не по взаимному их отношению, а по той части искусства мерительного, о которой надоб-

но памятовать, — сказали мы тогда, — в мере приличного.

Сократ-младший. Правильно.

Иностранец. Впрочем, и не все поэтому. Когда дело рассчитано на удовольствие, — нам нет нужды в длиннотах, разве мимоходом. Когда же идет речь о решении предложенной задачи, вопрос, как легче и скорее найти его, рассудок велит поставлять на втором, а не на первом плане. Напротив, гораздо больше и прежде всего надобно ценить самую методу, дающую возможность делить предмет на виды, и если рассуждение, сколь бы продолжительно ни было оно, делает слушателя изобретательнее, — нужно раскрывать его старательно, не досадуя на его продолжительность; то же опять и в случае его краткости. Кроме сего, и то еще: кто порицает такие собеседования за длинноту рассуждений и не одобряет околичностей, в которых они вращаются; тому не должно так скоро и легко дозволять отделываться одним только порицанием, будто рассуждение длинно, но надобно думать, что ему следует еще указать, как могло бы рассуждение, если бы было короче, сделать собеседников диалектичнее и в открытии оснований вещи находчивее; о порицаниях же и похвалах по

отношению к чему-нибудь иному не заботиться, даже подавать вид, будто и не слышишь подобных речей. Но об этом довольно, если и тебе так кажется. Обратимся опять к политику-то, и применим к нему пример уже объясненного выше ткацкого искусства.

Сократ-младший. Ты хорошо сказал; сделаем, что говоришь.

Иностранец. От многих-то пасущих также искусств, особенно же от всех занятий, касающихся стад, царь отделен; теперь остаются, говорим, те искусства, которые действуют и помогают действовать в самом городе, и которые, прежде всего, надобно отделить одни от других.

Сократ-младший. Правильно.

Иностранец. А знаешь ли, что трудно рассечь их надвое? — И причина этого, если пойдем вперед, будет, думаю, не меньше ясна.

Сократ-младший. Стало быть, так и надобно делать.

Иностранец. Разнимем же их почленно, будто жертву, если не можем разделить надвое; потому что рассекать особенно нужно всегда на ближайшее число.

Сократ-младший. Как же поступим теперь?

Иностранец. Как прежде. Сколько ни было

искусств, доставлявших орудия для искусства ткацкого, — все их отнесли мы тогда к причинам вспомогательным.

Сократ-младший. Да.

Иностранец. То же самое надобно нам делать и теперь, — теперь еще больше, чем тогда. Ибо малое ли, великое ли орудие приготовляется каким-нибудь искусством, — все эти искусства следует относить к причинам вспомогательным, так как без них не было бы ни города, ни политики, хотя мы никак не припишем им создание искусства царского.

Сократ-младший. Конечно, не припишем.

Иностранец. Впрочем, отделяя этот род от других, мы беремся за дело трудное. Ведь кто говорит, что нечто из существующего есть (лишь) орудие чего-нибудь одного, тот говорит, кажется, что-то правдоподобное; однако ж этот род принадлежностей в городе мы назовем иным.

Сократ-младший. Какой?

Иностранец. Так как он не имеет того свойства, поставляется же в произведении не причиною его, как орудие, а ради хранения того, что произведено.

Сократ-младший. Какой же это?

Иностранец. Это — род многообразный, состав-

ленный из начал сухого и влажного, огнистого и огню не причастного, называемый у нас одним именем сосуда, — род весьма обширный, и к искомому-то знанию нисколько, думаю, не подходящий.

Сократ-младший. Как подходить!

Иностранец. Третий же, отличный от этих, род принадлежностей, наблюдаемый очень часто, находится и на суше и на воде, и в вечном движении и неподвижен, и дорог и малоценен; однако ж у него — одно имя, потому что весь он — для некоторого сидения, — всегда служит седалищем чему-нибудь.

Сократ-младший. Каким седалищем?

Иностранец. Мы называем его вообще повозкой, — делом вовсе не политики, а гораздо скорее — искусства плотнического, гончарного и кузнечного.

Сократ-младший. Понимаю.

Иностранец. Что же четвертый? Надобно ли назвать его отличным от тех, тогда как в нем содержится весьма многое из того, о чем сказано было прежде, — например всякое платье, многое из оружия, стены, все земляные и каменные покровы, и тысячи других вещей? Так как все это делается для защиты, то вполне правильно

было бы в целом назвать такой род защитою, и гораздо скорее почитать ее, в бóльшей части, делом искусства домостроительного и ткацкого, чем политического.

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. А к пятому роду не захотим ли мы отнести то, чтó относится к украшению и живописи и чтó, пользуясь живописью и музыкою, проявляется в подражаниях, направляемых только к нашему удовольствию и по справедливости выражаемых одним именем?

Сократ-младший. Каким?

Иностранец. Это имя, — вероятно, забава.

Сократ-младший. Как же.

Иностранец. Так всем таким вещам будет приличествовать одно сказанное имя; потому что ни одна из них не производится ради чего-либо серьезного, но все делаются для шутки.

Сократ-младший. И это почти понимаю.

Иностранец. А того, чтó всем этим искусствам доставляет материю, из которой и в которой они, сколько их теперь ни пересчитано, вырабатывают свои произведения, — того разнообразного вида, порожденного многими другими искусствами, не призна́ем ли мы шестым родом?

Сократ-младший. О каком виде говоришь ты?

Иностранец. Разумею золото, серебро и все, чем занимается металлургия; также то, что рубка деревьев и всякое стрижение доставляют мастерствам плотника и корзинщика; далее, искусства снимать кору с растений и кожи с тел одушевленных, и другие, сколько ни есть подобных, приготовляющие пробки, кору, ремни, — все они доставляют возможность производить из родов несложных виды сложные. Все это мы назовем одним именем первородного стяжания человеческого, как нечто не сложное, и производимое отнюдь не царским искусством.

Сократ-младший. Хорошо.

Иностранец. Приобретение же пищи и все, что, примешиваясь к телу, получает некоторую способность своими частями поддерживать части тела, надобно назвать родом седьмым, и соединять с ним, взятым всецело, имя нашего питателя, если только не найдем, чтобы приложить к нему, какого-нибудь другого, лучшего имени. И подчиняя весь этот род земледелию, охоте, гимнастике, медицине и кухне, мы будем правее, чем относя его к политике.

Сократ-младший. Как не правее!

Иностранец. Итак, почти все приобретаемое, кроме животных домашних, содержится, думаю,

в этих семи родах. Но смотри, — ведь всего справедливее было бы вот какое расположение их: сперва вид первородный, потом орудие, сосуд, повозка, защита, забава, пища. Мы оставляем иное, не важное, что́ могли бы, но забыли приурочить к этим родам: например, идею монеты, печатей и всякого начертания; потому что вещи эти сами в себе не содержат особого, соответственной величины рода, но позволяют привлечь себя, хотя и не без натяжки, одна к украшению, другая к орудию. Что же касается до приобретения домашних животных, то все они, кроме рабов, объемлются, по-видимому, искусством стадопитания, которое выделили мы прежде.

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Так теперь остается еще род рабов и всех слуг, между которыми, догадываюсь, откроются и люди, оспаривающие у царя самое плетенье, как тогда оспаривали его у ткачей мастера прядения, чесания и всего другого, о чем мы говорили. Все же другие, названные вспомогательными причинами, вместе с упомянутыми теперь делами их, устранены и отделены от царской и политической деятельности.

Сократ-младший. Выходит, так.

Иностранец. Давай же рассмотрим осталь-

ных, и, чтобы видеть их лучше, подойдем к ним ближе.

Сократ-младший. Да, надобно.

Иностранец. Самые великие-то слуги, если смотреть отсюда, имеют, как мы находим, занятия и свойства, противные тем, какие за ними предполагались.

Сократ-младший. Какие слуги?

Иностранец. Купленные и приобретенные этим способом: их мы бесспорно можем назвать рабами, менее всего усвояющими себе царское искусство.

Сократ-младший. Как не менее!

Иностранец. Что же? Люди свободные, которые произвольно становятся в рабочее сословие, наряду с только что упомянутыми, передавая друг другу плоды земледелия и искусств и уравнивая их, люди, то сидящие на площадях, то по морю и суше переезжающие из города в город и обменивающие не только другие вещи, но и монету на монету, — те люди, которых мы называем менялами, торговцами, владельцами судов, барышниками, — будут ли отстаивать что-нибудь для себя в политическом искусстве?

Сократ-младший. Разве, может быть, искусство торговли-то.

Иностранец. Однако ж мы найдем, что те-то, которых видим на жаловании и которые совершенно готовы служить всем по найму, не будут присвоять себе царского искусства.

Сократ-младший. Как присвоять!

Иностранец. А что сказать о служащих нам всегда в этом?

Сократ-младший. В чем, и о ком говоришь ты?

Иностранец. Об услугах, которыми часто бывают заняты сословие глашатаев и люди мудрые в делах письменных, также о многих других, которые весьма способны выполнять для властей иные люди, — что скажем об этих?

Сократ-младший. Что они, как и ты сказал теперь, слуги, а не правители городов.

Иностранец. Однако ж, думаю, ведь я сказал не во сне, что таким каким-то путем выйдут на свет люди, особенно притязающие на искусство политическое; хотя, конечно, весьма странным может показаться намерение искать их в классе служебном.

Сократ-младший. Совершенно так.

Иностранец. Но приступим еще ближе к тем, которые пока не испытаны. И у людей, занимающихся провещанием, есть часть какого-то знания служебного: потому что они признаются у

людей истолкователями воли богов, при которых служат.

Сократ-младший. Да.

Иностранец. Да и род жрецов опять, как обыкновенно говорят, умеет приносимые от нас дары делать посредством жертв благоугодными богам, а у них посредством молитв испрашивать нам стяжание благ. Но то и другое, вероятно, есть часть искусства служебного.

Сократ-младший. Очевидно.

Иностранец. Так вот мы, по-видимому, напали уже на какую-то стезю, ведущую туда, куда идем; потому что сан жрецов и провещателей, по великости своего служения, исполнен высоких о себе помыслов и принимает знаки благоговения. В Египте царь даже и не мог царствовать без сана жреческого; если же и удалось бы кому из другого сословия сперва силою взойти на престол, — все-таки ему потом необходимо было вступить в это самое сословие. Можно находить по многим местам и у эллинов, что величайшие в своем роде жертвоприношения повелевается совершать высшим властям. То самое, о чем говорю, не меньше заметно и у вас; ибо и здесь получившему жребий царя дается право заведовать важнейшими и особенно дорогими народу

из древних жертвоприношений.

Сократ-младший. Да и очень.

Иностранец. Стало быть, этих-то избранных по жребию царей и вместе жрецов надобно рассмотреть нам, равно как слуг их и некоторую другую многочисленную толпу, которая сейчас только представилась глазам нашим, после того как выделили мы прежних.

Сократ-младший. О какой еще толпе говоришь ты?

Иностранец. Об очень странной.

Сократ-младший. А именно?

Иностранец. На первый взгляд, она представляется родом каким-то всеобразным: многие из мужей походят на львов, кентавров и других подобных; весьма многие — на сатиров и на зверей слабых, но лукавых; но они быстро меняются между собою своим видом и силой. И теперь только, Сократ, я, кажется, понял этих людей.

Сократ-младший. Говори, говори; ты, кажется, видишь в самом деле что-то странное.

Иностранец. Да. Ведь странное-то всем представляется странным от незнания; я вот и сам теперь почувствовал это: при первом взгляде на сонм, занимающийся делами города, тотчас впал в недоумение.

Сократ-младший. На какой сонм?

Иностранец. На величайшего чародея из всех софистов, и чародея, в своем искусстве чрезвычайно опытного. Как ни трудно отделить его от дел существенно политических и царских, но, если хотим ясно видеть искомое, отделить надобно.

Сократ-младший. Этого-то терпеть, конечно, нельзя.

Иностранец. Да, то же и по моему мнению. Скажи же мне вот что.

Сократ-младший. Что такое?

Иностранец. Одно из политических правлений не есть ли у нас монархия?

Сократ-младший. Да.

Иностранец. А после монархии можно назвать, думаю, владычество немногих.

Сократ-младший. Как же.

Иностранец. Третий же вид правления не есть ли власть в руках множества, носящая имя демократии?

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. А эти три правления не становятся ли каким-нибудь образом пятью, когда два из них принимают иные названия?

Сократ-младший. Какие названия?

Иностранец. Ввиду того, что в правлениях имеют теперь место насилие и свободное произволение, бедность и богатство, закон и беззаконие, каждое из двух правлений хотя и называют монархией, но так как монархия представляет два вида, то подразделяют ее и означают двумя именами: тиранией и царствованием.

Сократ-младший. Как же.

Иностранец. А всякий раз, когда город управляется немногими, то это называют аристократией и олигархией

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Но имени демократии, — насильственно ли, или согласно со свободным произволением управляет толпа людьми достаточными, строго ли при этом соблюдает она законы, или нет, — вовсе никто не имеет обычая изменять.

Сократ-младший. Правда.

Иностранец. Что же? положим ли, что которое-нибудь из этих правлений определяется правильно, если ставится под такие ограничения, — если, например, ограничивается одним, немногими, или многими, богатством или бедностью, насилием или свободным произволением, тем, что составилось на основании хартий или

независимо от законов?

Сократ-младший. Да чему же бы и мешать?

Иностранец. Смотри-ка яснее, обращая внимание вот на что.

Сократ-младший. На что?

Иностранец. Относительно того, что сказано прежде, будем ли мы устойчивы, или станем разногласить?

Сократ-младший. На что ты указываешь?

Иностранец. Царская власть, сказали мы, думаю, есть некоторое знание.

Сократ-младший. Да.

Иностранец. И не одно из знаний вообще, но мы выделили из прочих только ведь некоторое судительное и распорядительное.

Сократ-младший. Да.

Иностранец. И из распорядительного одно отнесли к бездушным вещам, а другое — к животным. И путем такого-то деления пришли мы наконец сюда, не забывая о знании; но в чем оно состоит, того до сих пор с точностью определить не могли.

Сократ-младший. Ты правильно говоришь.

Иностранец. Так не приходит ли нам на мысль это, — что за ограничение в этом случае надобно принимать не немногих или многих, не сво-

бодность или несвободность, не бедность или богатство, а некоторое знание, если только мы хотим следовать прежнему?

Сократ-младший. Этого-то невозможно не принять.

Иностранец. Стало быть, нам теперь необходимо рассмотреть это так: в котором из упомянутых правлений свойственно находиться знанию властвования над людьми, — дела для достижения едва ли не самого трудного и важного? Ведь надобно различить его, чтобы видно было, кого из людей отделить от мудрого царя, ибо иные хотя и выдают себя за политиков и убеждают в том многих, но сами вовсе не политики.

Сократ-младший. Так надобно сделать это, как предуказало нам наше рассуждение.

Иностранец. Кажется ли тебе, что это знание может приобрести толпа-то городская?

Сократ-младший. Как можно?

Иностранец. Но в городе из тысячи душ в состоянии ли достаточно овладеть им по крайней мере сто или хотя пятьдесят?

Сократ-младший. Да так-то оно было бы самое легкое из всех искусств. Но мы знаем, что из тысячи человек не найдется против прочих эллинов столько и игроков в кости; не говоря уже о царях.

Человека с царским-то знанием, — начальствует он, или нет, — мы ведь тем не менее, по вышесказанному, должны называть царственным.

Иностранец. Ты кстати вспомнил. Вследствие этого, правильного управления, — если только бывает правильное, — надобно, я полагаю, искать у одного или двух, — во всяком случае, у немногих.

Сократ-младший. Как же.

Иностранец. И об этих-то, — охотно ли, или невольно граждане управляются ими, на основании ли хартий правят они, или без хартий, богатство ли сопровождает их, или бедность, — об этих надобно думать, как сейчас и согласились, что они управляют в силу известного искусства. Врачей установили же мы, — по нашему ли желанию, или против нашей воли пользуют они нас, режут ли, прижигают, либо возбуждают боль каким-нибудь иным образом, по хартиям ли пользуют, или без хартий, наслаждаясь богатством, или терпя бедность, — и мы тем не менее признаем же их врачами, как скоро они, руководствуясь искусством, очищают или иначе ослабляют больных, либо утучняют их, — лишь бы, заботясь о пользе тел и делая их лучшими из худших, все такие врачеватели спасали врачуе-

мых. Так, мне кажется, а не иначе мы положим, что это единственно правильное определение искусства врачебного и всякого иного управления.

Сократ-младший. Без сомнения.

Иностранец. Так и между правительствами, как видно, необходимо будет правильным особенно то правительство, в котором найдутся правители, поистине, а не по-видимому только знающие; а там — пусть они управляют по законам или без законов, по желанию граждан или против желания, среди богатства или бедности, — для правильного определения, ни одного из этих обстоятельств брать в расчет никак не следует.

Сократ-младший. Хорошо.

Иностранец. Пусть они очищают город к лучшему чрез убиение или изгнание кого-нибудь, пусть уменьшают в нем население, выводя из него, будто пчелиный рой, колонии, либо увеличивают общество, вводя в него откуда-нибудь других жителей и делая их гражданами: лишь бы только, руководствуясь в этом случае знанием и правдою, спасали его и, по возможности, делали лучшим из худшего. Тогда только, и по этим чертам, надобно нам правительство признавать правильным. Если же правильными называются

и какие-нибудь иные, надо считать их не подлинными и не действительными, а подражаниями первого, и когда признаются они благозаконными, подражание бывает в хорошем, а как скоро нет, — в худом.

Сократ-младший. О прочем, иностранец, говорил ты, кажется, дельно; а сказанное о том, что должно управлять даже без законов, слышать тяжело.

Иностранец. Ты немного предупредил меня этим вопросом, Сократ, потому что я сам хотел было спросить тебя, принимаешь ли ты все, или иное из сказанного не нравится тебе. Но теперь уже явно, что нам желательно рассмотреть, насколько правы лица, управляющие без законов.

Сократ-младший. Как не явно!

Иностранец. Хотя некоторым образом верно, что законодательство есть дело искусства царского, но лучше всего, когда не законы имеют силу, а царственное лицо, мудро пользующееся властью. Знаешь ли, почему это?

Сократ-младший. Почему же, говоришь?

Иностранец. Потому что никогда закон не может с точностью и вполне обнять превосходнейшее и справедливейшее, чтобы предписывать всем наилучшее. Ведь несходства между людьми

и делами, и то, что ничто человеческое ни на минуту, просто сказать, не остается в покое ни в чем, — не позволяют никакому искусству проявиться в форме простой для всех людей и на все времена. Вероятно, согласимся в этом?

Сократ-младший. Как же.

Иностранец. А закон-то, видим, стремится почти к тому самому, чего требует какой-нибудь упрямый и необразованный человек, не позволяющий никому ни делать что-либо вопреки его приказанию, ни спрашивать, хотя бы даже представилось кому, сравнительно с его приказанием, что-нибудь лучшее.

Сократ-младший. Правда: закон с каждым из нас поступает точно так, как ты сейчас говорил.

Иностранец. Стало быть, тому, что́ всегда бывает простым, не невозможно ли благоденствовать при том, что́ никогда не просто?

Сократ-младший. Должно быть.

Иностранец. Так для чего же необходимо законодательствовать, если закон не вполне правилен? Надо поискать причину этого.

Сократ-младший. Как же.

Иностранец. Не в обычае ли и у вас, как в других городах, такие упражнения, в которых многие люди для состязания подвизаются либо на бегах,

либо в чем другом?

Сократ-младший. Да и очень многие.

Иностранец. Давай же припомним опять предписания, которые дают учащие этому искусству в силу подобной власти.

Сократ-младший. Что же?

Иностранец. Они считают невозможным, предписывая подходящее каждому телу, входить в подробности применительно ко всякому лицу, но думают, что предписания полезных средств для тела надобно делать в более общей форме, распространяя их на многих лиц и многие случаи.

Сократ-младший. Хорошо.

Иностранец. Потому-то, назначая теперь многим вместе равные подвиги, они частью возбуждают их к бегу, к борьбе, ко всем телесным трудам, частью же сдерживают их усилия, в одно и то же время.

Сократ-младший. Так.

Иностранец. Подобно этому, надобно думать, и законодатель, желая распоряжаться стадами на началах справедливости и взаимных их отношений, не в состоянии бывает правилами для многих предписать точно подходящее каждому порознь.

Сократ-младший. По всей вероятности.

Иностранец. Но даст закон многим таки, думаю, и на многое, придав ему таким образом по отношению к каждому более широкий объем, — все равно, изложит ли его письменно или сообщит законность неписьменным отечественным обычаям.

Сократ-младший. Правильно.

Иностранец. Конечно, правильно. Кто, в самом деле, мог бы когда-нибудь, Сократ, постоянно, всю жизнь сидя подле известного человека, предписывать ему до точности подходящее? А если бы из числа людей получивших истинно царское знание, иной и способен был к этому, — едва ли бы, думаю, захотел связать самого себя, излагая письменно эти так называемые законы.

Сократ-младший. Из того, что сейчас говорено, Иностранец, — следует.

Иностранец. А еще больше — из того, любезнейший, что́ будем говорить.

Сократ-младший. Из чего же именно?

Иностранец. Вот из чего. Скажем ли мы самим-то себе, что врач, или какой гимнастик, намереваясь уехать и оставаться вдали от своих пользуемых долгое, по его предположению, время, из опасения, что занимающиеся гимнастикою или больные не будут помнить его предписаний,

захочет написать им памятную записку? или как?

Сократ-младший. Так.

Иностранец. Что же? если бы, сверх чаяния, проездил он меньше времени и возвратился, — ужели не осмелился бы предложить иное, вопреки той записке, когда уже для больных наступили другие, лучшие обстоятельства, вследствие ли перемены ветра, или других неожиданных перемен воздушных, случившихся как-то против обыкновенного? Ужели твердо стоял бы он в той мысли, что ни самому узаконившему не должно выступать из прежде узаконенного, ни больному — осмеливаться делать иное, вопреки тому, что́ написано, как будто бы написанное было целительно и здорово, а отличное от того порождало болезнь и было противно искусству? Или, когда бы все такое случилось в знании-то и истинном искусстве, взятом вообще, — подобные законоположения непременно возбудили бы громкий смех?

Сократ-младший. Без сомнения.

Иностранец. Поэтому, пусть бы тот, кто писал о правом и не правом, о прекрасном и постыдном, о добром и злом, или неписьменно давал законы стадам человеческим, какие пасутся в городах

по законам писавших, — пусть бы этот писатель искусный, или другой подобный ему, вернулся к нам: — можно ли ему было бы предписывать иное, вопреки тому? Или и это запрещение, поистине, показалось бы не менее смешным, чем то?

Сократ-младший. Как же.

Иностранец. На этот случай знаешь ли поговорку, повторяемую народом?

Сократ-младший. Теперь-то не представляю.

Иностранец. А между тем ее сто́ит привести. Говорят, что кому известны законы, сравнительно с прежними лучшие, тот должен дать их своему городу, убедивши каждого, — не иначе.

Сократ-младший. Так что же? Разве не правильно?

Иностранец. Может быть. Но кто, не убеждая, насильно навязывает лучшее, — отвечай, какое имя этому насилию? Впрочем, нет еще; сначала насчет прежнего.

Сократ-младший. О чем ты говоришь?

Иностранец. Когда кто, не убедив врачуемого, однако строго держась искусства, принудил бы ребенка, какого-нибудь мужчину, или и женщину, делать лучшее, вопреки написанному, — какое будет имя этому насилию? Не скорее ли — всякое, чем так называемая погрешность

против искусства, соединенная с вредом? И насилуемый в этом отношении не правильно ли скажет скорее все, чем то, будто чрез насилие врачей потерпел он нечто вредное и противное искусству?

Сократ-младший. Ты говоришь весьма справедливо.

Иностранец. А что называется у нас погрешностью против искусства политического? Не постыдное ли, злое и несправедливое?

Сократ-младший. Да, без сомнения.

Иностранец. Так насилуемые делать не то, что написано и усвоено отечеством, а другое, что справедливее, лучше и прекраснее прежнего, пусть бы стали порицать опять подобное насилие: ведь порицание их, чтобы не быть ему крайне смешным, должно каждый раз скорее выражать все, чем то, будто насилуемые от насилующих потерпели постыдное, несправедливое и злое.

Сократ-младший. Ты говоришь весьма справедливо.

Иностранец. Но вынужденное насилием не будет ли, пожалуй, справедливо, если насилующий богат, и несправедливо, когда он беден? Или так, что если кто, убедивши или не убедивши, в

богатстве или бедности, по хартиям или против хартий, но делает полезное, — эта-то польза и должна тут служить самым верным мерилом правильного распоряжения городом, по которому муж доблестный и мудрый будет устраивать дела подвластных? Как кормчий бережет своих спутников, постоянно соблюдая пользу корабля и матросов, и не излагая письменно законов, но поставляя закон в искусстве: так не этим ли самым способом, и люди, сильные в сказанном роде управления, делают государство правильным, поставляя силу искусства выше законов? И во всех делах мудрых правителей нет погрешности, пока они соблюдают одно великое правило: всегда разумно и искусно уделять гражданам города самое справедливое, — пока они сохраняют уменье поддерживать их и из худших, по возможности, сделать лучшими.

Сократ-младший. Против того-то, что́ теперь говорено, сказать ничего нельзя.

Иностранец. Да нельзя противоречить и этому.

Сократ-младший. Что хочешь сказать?

Иностранец. То, что никогда невозможно толпе каких бы то ни было лиц получить такое знание и разумно распоряжаться городом: этого прав-

ления, единственно правильного, можно искать между немногими, в малом, в одном; а прочие правления, как недавно сказано, надобно почитать подражаниями, из которых одни подражают тому истинному для цели прекрасной, а другие — для цели постыдной.

Сократ-младший. Что ты это сказал? Ведь я не совсем понял твою мысль о подражаниях.

Иностранец. А между тем не худо было бы, если бы кто, тронув этот вопрос, тут его и оставил, и своим исследованием не обнаруживал случающейся ныне в отношении к нему погрешности.

Сократ-младший. Какой погрешности?

Иностранец. Что-то подобное все же мы должны исследовать, и не очень привычное нам и не легкое для усмотрения. Впрочем, постараемся схватить это. Ну-ка, — знаешь ли ты, что, как скоро у нас правильно одно это правление, о котором мы говорили, прочие должны сохраняться, только пользуясь его постановлениями и делая то, что́ нами теперь одобрено, хотя это и не самое справедливое?

Сократ-младший. Что такое?

Иностранец. То, чтобы никто не смел ничего делать против принятых в городе законов; а кто осмелился бы, пусть подвергается смерти и всем

крайним взысканиям. И это весьма правильно и прекрасно, как второе, когда кто устранил бы первое, о котором сейчас говорили. Но определим, каким образом произошло то, что мы назвали вторым. Следует ли?

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Возвратимся опять к о́бразам, которым всегда необходимо уподоблять царственных правителей.

Сократ-младший. К каким образам?

Иностранец. К отважному кормчему и к врачу, «стоящему больше многих других». Будем присматриваться к ним, представляя в них самих некоторую форму искомого.

Сократ-младший. Какую форму?

Иностранец. Ту, которую относительно их имели бы в мысли все мы, представляя, что терпим от них ужасные вещи. Ведь тот и другой, кого из нас захотят спасти, равномерно спасают, а кому захотят нанести вред, наносят, — режут нас, жгут и предписывают делать на них издержки, как бы в виде дани, из которой на больного употребляют или мало, или ничего, прочим же пользуются сами со своими слугами, — даже, наконец, приняв в награду деньги или от родственников, или от каких врагов больного, убивают его. Корм-

чие же совершают тысячи других подобных вещей: по какой-нибудь козни, во время отвала, оставляют людей беззащитными на берегу; в случае несчастья на море, бросают их в воду, и причиняют плавателям множество другого зла. Размысливши об этом, пусть бы мы постановили такое решение: не дозволять больше ни тому ни другому искусству управлять самодержавно ни рабами, ни свободными, но соединиться в собрание самим, либо всему народу, либо одним богатым; и пусть дозволено будет как людям не сведущим, так и мастерам других дел подаватьмнения о плавании и болезнях, как надобно нам пользоваться лекарствами и врачебными пособиями для больных, также самими судами и орудиями употребления судов, что́ делать в случае опасностей для плавания со стороны ветров и моря и при встрече с морскими разбойниками, или когда́ надобно военным кораблям вступить в морское сражение с другими такими же. И что в этом отношении покажется народу, — будет ли то по совету врачей и кормчих, или людей не знающих дела, — все то занесем на треугольные таблицы и столбцы, а иное освятим как неписанный отечественный обычай, и пусть уже после того всегда так плавают, и всегда таким образом

ухаживают за больными.

Сократ-младший. Ты наговорил очень странных вещей.

Иностранец. Пусть исправно каждый год избираются в собрании правители — либо из богатых, либо из всего народа, смотря по тому, на кого падет жребий. И поставленные правители будут пользоваться властью, управляя, по букве закона, рулями кораблей и врачуя больных.

Сократ-младший. Это еще нелепее.

Иностранец. Рассмотри и следующее за этим. Когда так-то каждому из правителей минет год, нужно будет, чтобы на судейскую трибуну взошли мужи, избранные по жребию или из богатых, или из всего народа, и, призвав к себе тех правителей, потребовали от них отчета; причем желающий может обвинять кого-нибудь из них, что в течение года он правил кораблями не по писанным законам и не по древним обычаям предков. То же самое и касательно лиц, которые пользовали больных. И кто из них будет осужден, относительно тех определят, что́ должны они потерпеть, или какой внести штраф.

Сократ-младший. Но ведь кто добровольно принимает управление под такими условиями, тот, что ни пришлось бы ему потерпеть или вне-

сти, будет наказан весьма справедливо.

Иностранец. Да еще понадобится установить закон насчет всего такого: кто, изучая искусство кормчего и корабельщика, либо медицину и верные способы врачевания в случае ветров, жара и холода, объявил бы себя противником писанных правил и стал бы в этом отношении умничать, того на первый раз называть не врачом или кормчим, но верхоглядом, болтуном и софистом; а затем на него, как на человека, который развращает других — младших, располагая их не по законам заниматься искусством кормчего и врача, а управлять кораблями и больными самостоятельно, желающий, если имеет право, может сделать донос, позвать его к суду; и если бы оказалось, что он убеждает или юношей, или стариков поступать вопреки законам и писанным правилам, то подвергнуть его крайнему наказанию. Ведь ничто не должно быть мудрее законов; да и никому нельзя не знать как врачебного дела и того, что́ относится к здоровью, так и искусства, свойственного кормчему или корабельщику, потому что писанные законы и принятые в отечестве обычаи может изучать всякий желающий. Если бы теперь то самое, что́ мы говорим, случилось и с этими знаниями,

Сократ, и с искусством военачальническим, и со всяким охотничьим, и с живописным, и со всеми родами искусства подражательного, и с искусством домостроительным, и со счетным, и с земледельческим, и со всяким садовничьим; если бы, таким же образом, мы видели, что по писанным правилам ведется и кормление лошадей, и пасение всяких вообще стад, и дело провещателей, и всякий вид искусства служебного, и игра в кости, и вся арифметика, — как простая, так и прилагаемая к поверхностям, к измерению глубины, к твердым телам, — если бы все это делалось по писанным правилам, а не по искусству, что́ вышло бы отсюда?

Сократ-младший. Явно, что все искусства у нас совершенно погибли бы и, так как этот закон противится исследованию, никогда снова не восстали бы; поэтому жизнь, трудная и теперь, в то время стала бы вовсе невыносимою.

Иностранец. А что скажешь об этом? Если бы мы решили, что все упомянутое должно совершаться по предписаниям, и над этими предписаниями поставили человека, избранного нами или назначенного по жребию, а этот, нисколько не заботясь о предписаниях, либо из корысти, либо по какому-нибудь личному бла-

горасположению решился бы против писанных правил делать другое, ничего в этом не смысля; то не произойдет ли отсюда зло еще большее прежнего?

Сократ-младший. Весьма справедливо.

Иностранец. Ведь я думаю, что, когда постановлены законы на основании долговременного опыта, и когда какие-нибудь советники касательно их всякий раз искренно подавали свое мнение и убеждали народ принять их, — осмеливающийся действовать против этих законов, чрез свою деятельность увеличивая преступление преступлением, извратил бы всю практику еще больше, чем те писанные правила.

Сократ-младший. Как не извратить!

Иностранец. Так поэтому для людей, постановляющих какие-нибудь законы и писанные правила, должно быть вторым делом — никак и никогда не позволять делать что бы то ни было противное им ни одному лицу, ни целому народу.

Сократ-младший. Правильно.

Иностранец. Эти правила не суть ли подражания истине вещей, начертанные по мере сил людьми знающими?

Сократ-младший. Ка́к не подражания.

Иностранец. А мы, если помним, сказали, что знающий-то, истинный тот политик, будет совершать многое по искусству, не стесняясь в своих действиях предписаниями, когда лучшим представится ему иное, противное тому, что он написал и приказал кому-нибудь отсутствующему.

Сократ-младший. Да, сказали.

Иностранец. Поэтому один какой бы то ни было человек, или любое общество, которым даны известные законы, решившись вопреки им делать что-либо иное, лучшее, не так же ли по мере своих сил поступят, как тот истинный политик?

Сократ-младший. Конечно, так же.

Иностранец. И если делающие это будут невежды, то, решившись подражать истинному, они станут подражать вовсе худо; напротив, когда искусники, — это будет уже не подражание, а самая истина.

Сократ-младший. Непременно.

Иностранец. Однако ж прежде-то мы согласились, что никакое множество не в состоянии овладеть никаким искусством.

Сократ-младший. Конечно, согласились.

Иностранец. Стало быть, если есть какое-нибудь искусство царское, то ни множество богатых,

ни весь народ не могли бы усвоить себе знание политическое.

Сократ-младший. Как усвоить!

Иностранец. Значит, такие-то, как видно, государства, если хотят по возможности хорошо подражать тому истинному правлению одного, руководствующегося искусством, правителя, никогда не должны, как скоро постановлены у них законы, поступать вопреки писанным правилам и отечественным обычаям.

Сократ-младший. Ты прекрасно сказал.

Иностранец. Так вот, когда подражают ему богатые, такое государство мы называем аристократическим, а когда они же не уважают законов, — олигархическим.

Сократ-младший. Должно быть.

Иностранец. Напротив, когда кто, следуя закону и подражая знатоку, управляет один, мы называем его царем, и не различаем именами монарха со знанием и монарха с мнением, основанным на законах.

Сократ-младший. Должно быть.

Иностранец. Так что, если кто управляет один, будучи сам истинным знатоком, ему имя-то непременно будет дано то же — царь, и никакое другое; причем пять имен, которыми означаются

теперь государства, сливаются в одно.

Сократ-младший. Походит.

Иностранец. Но что́, когда кто, управляя один, поступает и не по законам, и не по обычаям, а присвоит себе, подобно знатоку, право делать что сочтет нужным наилучшее, против написанных правил, причем только какая-нибудь страсть или заблуждение будут управлять его подражанием? Всякого такого не следует ли тогда назвать тираном?

Сократ-младший. Почему не назвать!

Иностранец. Так-то у нас явились, говорим, и тиран, и царь, и олигархия, и аристократия, и демократия; потому что людям не нравится иметь одного того монарха: они не верят, чтобы нашелся когда-нибудь человек, достойный такой власти, чтобы он хотел и мог, управляя добродетельно и со знанием, верно уделять всем справедливое и святое, а напротив, боятся, что он всякому из нас, кому захочет, будет причинять вред, наносить смерть, делать зло. А если бы действительно-то представился такой, о каком мы говорим, — это была бы, поистине, единственно правильная форма правления, под которою все любили бы жить и жили бы счастливо.

Сократ-младший. Как же иначе!

Иностранец. А так как теперь-то, говорим, не родится в городах такого царя, какой рождается в пчелиных ульях, — чтобы один он тотчас отличался от всех и душой и телом: то вот и надобно, как видно, сходиться да писать законы, придерживаясь следов самого истинного правления.

Сократ-младший. Должно быть.

Иностранец. Так будем ли мы удивляться, Сократ, что под такими формами правления много случается и много будет случаться зол, когда таково у них основание, — когда дела совершаются по писанным законам и обычаям, без знания? Обратный образ правления, всем располагающий произвольно, очевидно, погубил бы все, таким образом совершаемое. Не более ли нужно удивляться тому, какое город крепкое существо по природе? Ведь нынешние-то города терпят такое зло в течение нескончаемого времени, — однако ж некоторые из них тверды и не разрушаются. Но много, конечно, и таких, которые, подобно кораблям, погрузившимся в волны, либо погибают, либо погибли, либо еще погибнут от неспособности своих кормчих и корабельщиков, так как эти люди, в делах величайших будучи величайшими невеждами и ничего не смысля в управлении государством, думают однако ж, что это знание,

между всеми другими, они усвоили себе особенно ясно и всесторонне.

Сократ-младший. Весьма справедливо.

Иностранец. Которая же из этих неправильных форм правления менее трудна для жизни, — хотя все они трудны, — и которая самая тяжелая? Не должны ли мы сколько-нибудь войти в этот предмет, — хотя по отношению к настоящей-то нашей задаче это вопрос и побочный? Но ведь в целом-то мы все и делаем, может быть, ради этого.

Сократ-младший. Должны; как не должны!

Иностранец. Так заметь, что из трех форм правления одна и та же бывает особенно трудна и вместе очень легка.

Сократ-младший. Как ты говоришь?

Иностранец. Не иначе, как так, что монархия, говорю, власть немногих и власть многих, — вот те три формы правления, которые мы положили с самого начала нашего, теперь расплывшегося, рассуждения.

Сократ-младший. Да, было так.

Иностранец. Так если рассечем каждую порознь надвое, мы сделаем шесть, — отделив от них еще правильную — седьмую.

Сократ-младший. Как?

Иностранец. К монархии принадлежат, ска-

зали мы, власть царская и тираническая, к правлению немногих — носящая доброе имя аристократия и олигархия; правление многих, наконец, положили мы тогда просто под именем демократии, но теперь надобно нам признать и ее двоякою.

Сократ-младший. Как же? и каким образом разделить ее?

Иностранец. Точно так же, как и другие, — хотя она и не получила еще двух наименований; но управление по законам и противозаконное бывает и в ней, как в прочих.

Сократ-младший. Конечно, бывает.

Иностранец. Тогда-то, когда мы искали формы правильной, это деление было бесполезно, что́ и было у нас показано; но теперь, как скоро мы выделили ее, а прочие признали необходимыми, каждая из них должна уже делиться надвое, по признаку законности и беззаконности.

Сократ-младший. Выходит, если уж высказано это положение.

Иностранец. Итак, монархия, скрепленная добрыми писанными правилами, которые мы означаем именем законов, есть из всех шести форм наилучшая; а когда нет в ней закона, она тяжела и жить под нею всего труднее.

Сократ-младший. Должно быть.

Иностранец. Потом, правление-то немногих, так как немногое есть средина между одним и многим, мы почитали средним между обоими; правление же многих, опять, по всему слабым и, сравнительно с прочими, неспособным делать ни большего добра, ни большего зла: потому что власти в нем в малой мере разделены между многими. Поэтому из всех этих форм правления, когда они следуют закону, оно будет самое худое; а если все те беззаконны, — оно окажется наилучшим. И когда во всех господствует необузданность, под формою демократическою жизнь имеет преимущества; а как скоро те благоустроены, под этою жить сто́ит всего менее, но гораздо лучше перед всеми жить под первою, не говоря о седьмой; ибо эту-то нужно отличать от всех форм правления, как мы отличаем Бога от человека.

Сократ-младший. Явно, что так бывает и случается, и надобно поступать ка́к ты говоришь.

Иностранец. Надобно также отличать и партизанов всех этих форм правления, кроме знатока; потому что они собственно не политики, а мятежники, представители величайших призраков, да и сами из того же рода, и, как величайшие подражатели и шарлатаны, оказываются вели-

чайшими софистами из софистов.

Сократ-младший. Кажется, это определение пущено в так называемых политиков очень метко.

Иностранец. Пускай. Это у нас — точно будто драма: мы видим на сцене, как было теперь сказано, какой-то хоровод кентавров и сатиров, который надлежит устранить от искусства политического; и вот наконец он кое-как устранен.

Сократ-младший. Очевидно.

Иностранец. Но остается еще другой, досадительнее этого, потому что он более родствен царскому роду и труднее различается. По-видимому, мы походим в этом положении на людей, очищающих золото.

Сократ-младший. Как?

Иностранец. Ведь и эти мастера сперва отделяют, вероятно, землю, камни и многое другое; затем остаются примеси, сродные с золотом, ценные и выделяемые только огнем, каковы медь и серебро, а иногда и адамант: эти вещества едва выделяются чрез плавление, по указанию пробного камня; и это только позволяет нам увидеть золото так называемое чистое, само в себе.

Сократ-младший. Да, говорят, что это так бывает.

Иностранец. Вот таким же, кажется, образом приходилось теперь и нам отделять от политического знания все то, что было при нем постороннего, чуждого и ему не дружественного; но затем остается еще ценное и сродное. Сюда относятся как будто искусства: военачальническое, судебное и, насколько оно входит в общение с царским, ораторство; так как, склоняя к справедливому, оно тоже руководит делами города. Кто это все каким-нибудь образом удобнее отделит, тот обнаружит искомого нами царя в его чистом виде, одного, самого по себе.

Сократ-младший. Явно, что надобно попытаться сделать это как-нибудь.

Иностранец. Но если все дело за попыткой, он обнаружится. Возьмемся же открыть его посредством музыки. Скажи мне.

Сократ-младший. Что такое?

Иностранец. Есть у нас некоторая наука музыки, и вообще изучение знаний, основанных на ловкости рук?

Сократ-младший. Есть.

Иностранец. Что же? Должны ли мы которое-нибудь из них изучать, или нет, — знать об этом самом, скажем ли, есть опять некоторая относительно их наука, — или как?

Сократ-младший. Так; скажем, наука.

Иностранец. Стало быть, согласимся, что она отлична от тех?

Сократ-младший. Да.

Иностранец. А таковы ли они, что никоторая не должна управлять одна другою, или те должны управлять этою, или эта, как правительница, обязана наблюдать за всеми теми?

Сократ-младший. Эта за теми.

Иностранец. Ты, стало быть, полагаешь, что начальствовать у нас должна та наука, которая показывает, надобно ли учиться, или нет, — над той наукой, которая наставляет и учит?

Сократ-младший. И очень.

Иностранец. И наука о том, следует убеждать, или нет, — над наукою, убеждать могущею?

Сократ-младший. Как не должна!

Иностранец. Пускай. Которой же науке припишем мы способность убеждать толпу и народ простою речью, а не учением?

Сократ-младший. Явно, думаю, что это надобно приписать риторике.

Иностранец. А то, убеждением, или каким насилием надобно выполнять что-нибудь в отношении к кому-либо, или вовсе удерживаться от дела, — это опять к которой отнесем науке?

Сократ-младший. К той, которая управляет искусством убеждать и говорить.

Иностранец. А это, думаю, не иная какая, как сама политика.

Сократ-младший. Ты прекрасно сказал.

Иностранец. Итак, выходит, риторика скоро отделилась от искусства политического, как особый, служащий ему вид.

Сократ-младший. Да.

Иностранец. А что надобно думать о такой способности?

Сократ-младший. О какой?

Иностранец. Как надобно вести войну со всеми, с кем предполагаем воевать? — безыскусственною ли назовем ее, или искусственною?

Сократ-младший. Да как представлять ее безыскусственною, когда ее создает военачальническое и все воинское искусство?

Иностранец. А науку, могущую и умеющую посоветовать, воевать ли с кем, или кончить дружбою, — отличною ли от этой признаем мы, или примем с нею за одну и ту же?

Сократ-младший. Следуя прежнему, необходимо признать отличною.

Иностранец. Стало быть, эту не объявим ли правительницею той, если подобным образом

будем следовать прежнему-то?

Сократ-младший. Полагаю.

Иностранец. Какую же науку и решились бы мы объявить господствующею над столь сильным и великим искусством всего воинского дела, как не науку истинно царскую?

Сократ-младший. Никакой другой.

Иностранец. И следовательно, политического-то искусства мы не призна́ем, в качестве служебного, наукою военачальников.

Сократ-младший. Не следует.

Иностранец. А ну-ка, посмотрим и на способность правильно судящих судей.

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Большее ли что́ может она делать, как разбирать взаимные обязательства, и, приняв все постановленные законодателем-царем правила, на их основании судить, что́ справедливо определено, что́ несправедливо; собственную же свою добродетель выражает тем, что ни дарами, ни страхом, ни жалостью, никакими враждебными или дружественными побуждениями не преклоняется к тому, чтобы разбирать взаимные обвинения сторон спорящих вопреки постановлению законодателя?

Сократ-младший. Нет; дело этой способности

— почти только то, что́ ты сказал.

Иностранец. Стало быть, мы находим, что и власть судей не есть власть царская; это — только страж законов и слуга царского искусства.

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Так приходится, ввиду всех сказанных знаний, заметить, что политическим-то не оказалось ни одно из них. Ведь искусство истинно царское должно не само производить, а управлять теми, которые могут производить: так как оно знает, когда благовременно и неблаговременно начинать и двигать важнейшие дела в городах; а прочие искусства обязаны только исполнять предписания.

Сократ-младший. Правильно.

Иностранец. Поэтому, рассмотренные нами доселе искусства, не начальствуя ни над собою, ни одно над другим, но каждое занимаясь собственным своим делом, по особенности своих дел, справедливо получили и особые имена.

Сократ-младший. Вероятно, так.

Иностранец. А то искусство, которое управляет всеми этими, которое заботится о законах и о всем в городе и все связывает вернейшим образом, если действия его означим общим именем, мы по всей справедливости назовем, как видно,

политическим.

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Итак, теперь, когда все роды этого искусства в городе стали для нас явны, не рассмотреть ли нам его по образцу искусства ткацкого?

Сократ-младший. Очень хорошо.

Иностранец. Мы должны, как видно, сказать именно о царственном плетении: что́ такое оно, каким образом плетет и какую дает нам ткань.

Сократ-младший. Явно.

Иностранец. Но мы поставлены в необходимость объяснить дело, кажется, очень трудное.

Сократ-младший. Однако ж надо-таки объяснить непременно.

Иностранец. Что часть добродетели некоторым образом отлична от вида добродетели, — эту мысль охотники до споров признают очень шаткою, в сравнении с мнением толпы.

Сократ-младший. Не понимаю.

Иностранец. Но если выражусь так: мужество, думаю, ты почитаешь у нас частью добродетели?

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Однако ж рассудительность-то отлична от мужества, хотя тоже есть часть ее, наравне с той.

Сократ-младший. Да.

Иностранец. Так вот на их счет мы осмелимся выставить некоторое удивительное положение.

Сократ-младший. Какое?

Иностранец. Что во многих случаях они становятся каким-то образом решительно враждебны и противны одна другой.

Сократ-младший. Как ты говоришь?

Иностранец. Мнение далеко не обычное. Ведь говорят скорее, что все части-то добродетели дружны одна с другою.

Сократ-младший. Да.

Иностранец. Рассмотрим же, приложив побольше внимания, так ли это безусловно, или между ними скорее есть нечто, что со сродным ему враждует.

Сократ-младший. Да; говори же, как надобно рассматривать.

Иностранец. Во всех вещах должно исследовать то, что называем мы хорошим, хотя делим на два взаимно противных вида.

Сократ-младший. Говори еще яснее.

Иностранец. Живости и быстроты, в телах ли то, или в душах, или в движении голоса, в самих ли этих предметах, или в образах, которые создают, подражая им, музыка и живопись, — какого-нибудь из этих качеств бывал ли ты когда

хвалителем, либо сам, либо слушая, как в твоем присутствии хвалили их другие?

Сократ-младший. Почему же нет.

Иностранец. А помнишь ли, каким образом делают это в отношении к каждому из тех качеств?

Сократ-младший. Нет.

Иностранец. Так буду ли я в состоянии объяснить тебе на словах, ка́к я думаю об этом?

Сократ-младший. Почему не быть?

Иностранец. Ты полагаешь, видно, что оно так легко. Будем же рассматривать это в противоположных родах. Ведь при многих действиях, и очень часто, когда мы восхищаемся скоростью, силою и живостью в движениях мысли и тела, равно как и голоса, мы каждый раз выражаем тому свою похвалу употреблением одного названия — «мужество».

Сократ-младший. Как?

Иностранец. Мы говорим же: живо и мужественно, скоро и мужественно; таким же образом и сильно. И прилагая то общее имя, о котором говорю, ко всем этим качествам, мы прямо хвалим их.

Сократ-младший. Да.

Иностранец. Что же? и вид бытия спокойного не часто ли опять хвалили мы во многих дей-

ствиях?

Сократ-младший. И очень.

Иностранец. А не противное ли говорим, когда произносим о них такое мнение?

Сократ-младший. Как?

Иностранец. Ведь мы, любуясь чем-либо, называем всегда тихим и рассудительным то, что́ совершается в душе, медленным и нежным — то, что в действиях, затем мягким и глубоким, что обнаруживается в голосе, и о всяком ритмическом движении, о всяком пении, говорим, что оно удачно в своей умеренности. Всему этому мы придаем имя не мужества, а сдержанности.

Сократ-младший. Весьма справедливо.

Иностранец. И когда опять оба эти качества представляются нам не ко времени, мы, напротив, порицаем то и другое, отмечая их вновь противными именами.

Сократ-младший. Как?

Иностранец. То, что происходит живее, скорее и жестче, чем требуют обстоятельства, мы называем оскорбительным и неистовым, а что медленнее и нежнее, — слабым и вялым; и большею частью эти свойства, — рассудительность и мужество, — точно две противоположности, удел которых — выражать борьбу враждебных

идей, — мы находим несмешанными в соответствующих им действиях, а между теми, которые носят их в душах, если будем изучать их, увидим разлад.

Сократ-младший. В чем, говоришь, разлад?

Иностранец. Да во всем том, о чем теперь говорили, и, пожалуй, во многом другом. Ведь, по взаимному сродству одно хваля, как свое собственное, а другое порицая, как противоречущее чужое, они, думаю, касательно многих вещей становятся во враждебное между собою отношение.

Сократ-младший. Должно быть.

Иностранец. Так само-то по себе разногласие этих видов есть некоторое ребячество; но в делах наиболее важных оно становится бедствием самым гибельным для городов.

Сократ-младший. О каких делах говоришь ты?

Иностранец. О целой, конечно, обстановке жизни. Люди, отличающиеся особенно сдержанностью, всегда готовы жить тихо, одни, сами по себе, занимаясь своим делом. И дома так обращаются они со всеми, и в такие же отношения поставляют себя к городам внешним, располагаясь как бы то ни было к миру. В силу этого-то предрасположения, далеко не оправдываемого обстоятельствами, — поступая так, как им хо-

чется, — они незаметно теряют воинственный дух, да к тому же располагают и своих юношей; оттого эти люди всегда находятся под влиянием стороны нападающей, так что в немногие годы и они, и дети их, и весь город из свободных, сами того не замечая, часто делаются рабами.

Сократ-младший. Ты сказал о тяжком и страшном состоянии.

Иностранец. Чтó же те, которые больше склонны к мужеству? Не к войне ли какой-нибудь всегда возбуждают они свои города и, увлекаясь более сильною, чем нужно, страстью к такой жизни, не ставят ли их во враждебное отношение ко многим другим могущественным обществам, и чрез то либо вовсе губят, либо повергают в рабство и подданство врагам отечественную свою землю?

Сократ-младший. И это бывает.

Иностранец. Как же тут не сказать, что оба названные рода всегда питают один к другому чувства сильнейшей ненависти и вражды?

Сократ-младший. Никак нельзя не сказать.

Иностранец. Так не нашли ли мы теперь, чего искали вначале, — что две не малые части добродетели взаимно враждебны по природе, и к тому же склоняют тех, в ком они имеются?

Сократ-младший. Должно быть.

Иностранец. Примем опять и это.

Сократ-младший. Что?

Иностранец. Разве какое-нибудь из составительных знаний, производя то или другое, даже самое маловажное, из своих дел, составляет его намеренно из худых и хороших частей? Или, напротив, всякое знание, что́ худо, то́, по возможности, откидывает, а годное и хорошее берет, и из этих частей, подобны они или не подобны, приводя все их в одно, созидает одну как бы силу и идею.

Сократ-младший. Как же.

Иностранец. Стало быть, и истинная по природе политика никогда не будет у нас добровольно составлять какой-нибудь город из добрых и злых людей, но, явно, сначала станет испытывать их на пустом, а после испытания передаст тем, которые могут воспитывать их и подготовлять для этой цели, — причем будет наставлять и руководить сама, как последовательно руководит чесальщиками и приготовителями других работ, нужных для тканья, искусство ткацкое, повелевая каждому из них совершать такие дела, какие для своей ткани почитает пригодными.

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Так вот то же самое, представляется мне, и искусство царское: сохраняя право надзора, оно не позволяет всем, назначенным по закону, образователям и воспитателям вести дело так, чтобы кто-нибудь своею работою не успел развить характер, соответствующий той смеси, но предписывает воспитывать именно только такие. А кто не может разделять с другими нрава мужественного, рассудительного и всего, что относится к добродетели, но силою дурной природы вовлекается в нечестие, в пороки и неправды, того оно извергает, обрекая смерти, изгнанию и величайшему бесчестию.

Сократ-младший. Говорят именно так.

Иностранец. Тех же опять, которые погрязают в невежестве и крайнем унижении, оно присоединяет к роду рабскому.

Сократ-младший. Весьма правильно.

Иностранец. Но прочих, которых природы, под влиянием воспитания, способны к действиям благородным и к взаимному сближению, какое требуется по искусству, — то есть: и людей, настроенных особенно к мужеству, которых, ввиду твердого их характера, оно почитает основовидными, и тех, что склонны к умеренности и представляют, по этому сравнению, мягкую и

нежную пряжу утока, — тех и других, при противоположных их стремлениях, оно старается связать и сплесть таким образом.

Сократ-младший. Каким же?

Иностранец. Во-первых, вечно пребывающую часть их, их души, соединяет, по сродству, связью божественною, а после той божественной, и животную соединяет опять узами человеческими.

Сократ-младший. Как это сказал ты еще?

Иностранец. Я утверждаю, что прочно утвердившееся истинное мнение о прекрасном, справедливом, добром и о противном этому, когда является в душах, становится в демонической природе божественным.

Сократ-младший. Да так это и должно быть.

Иностранец. А разве мы не знаем, что политику и доброму законодателю только одному открыта возможность, при помощи музы царского искусства, внушать это самое людям, получающим правильное воспитание, о которых мы теперь говорили?

Сократ-младший. И очень естественно.

Иностранец. А кто бессилен делать это, Сократ, того мы никогда не назовем искомыми теперь именами.

Сократ-младший. Весьма правильно.

Иностранец. Что же? Душа мужественная, приняв в себя такую истину, не смягчится ли, и не захочет ли скорее всего приобщиться тому, что справедливо; — а не приняв ее, не склоняется ли больше к природе животной?

Сократ-младший. Как не склоняется!

Иностранец. Что же? природа сдержанная, приняв эти мнения, не становится ли истинно рассудительною и разумною, по крайней мере в гражданских отношениях, а не вошедши в общение с тем, о чем говорим, не несет ли, по всей справедливости, унизительного упрека в ограниченности?

Сократ-младший. Конечно.

Иностранец. Но не скажем ли, что это сплетение или соединение никогда не будет прочным ни у злых со злыми, ни у добрых со злыми, и что никакое знание серьезно и с пользою не приложимо к таким людям?

Сократ-младший. Как же.

Иностранец. Твердый же союз прирождается посредством законов только нравам, благородным с самого начала и воспитанным согласно своей природе: для них-то предназначается это врачевство искусства и та, как мы сказали, божественная связь, которою соединяются части

добродетели, по природе не подобные и стремящиеся к противоположным крайностям.

Сократ-младший. Совершенная правда.

Иностранец. Что же касается прочих, собственно человеческих связей, то их, когда уже есть эта божественная, понять вовсе не трудно, а поняв-ши, и осуществить.

Сократ-младший. Как же, — и какие это связи?

Иностранец. Союзы брачные и через общение детей, также союзы, вытекающие из частных замужств и браков; ибо многие входят в подобные союзы неправильно, по отношению к рождению детей.

Сократ-младший. Почему же?

Иностранец. Стремление достигнуть этим путем богатства и силы сто́ит ли даже того, чтобы серьезно порицать его?

Сократ-младший. Нет.

Иностранец. Уж справедливее — говорить о тех, что хлопочут насчет характера, — если они поступают не так, как следует.

Сократ-младший. Вероятно.

Иностранец. А они поступают без всякого здравого основания, когда преследуют одни удобства настоящей минуты и, любя поэтому себе подоб-

ных, а не подобных отвергая, так много дают воли чувству нерасположения.

Сократ-младший. Как так?

Иностранец. Люди сдержанные, вероятно, ищут своего же нрава и как сами берут жен, по возможности, в таких домах, так и своих невест выдают замуж опять в такие же. То же делает и род людей мужественных, — гонится за собственною природой. Между тем оба рода должны бы делать совершенно противное этому.

Сократ-младший. Как и почему?

Иностранец. Потому что, если мужество, во многих сряду поколениях, не смешивается с природою рассудительною, оно сначала обыкновенно крепнет силою, но наконец перерождается в совершенное бешенство.

Сократ-младший. Естественно.

Иностранец. А душа, слишком полная стыда-то и лишенная мужественной отваги, перешедши такою чрез многие поколения, становится непомерно вялою и наконец совершенно извращается.

Сократ-младший. И это естественно должно случиться.

Иностранец. Связать эти узы, как я говорил, нет ничего трудного, — при том условии, если

оба рода имеют одно мнение о прекрасном и добром. Ведь в этом-то одном и состоит вся задача царственного ткачества, — не допускать никак, чтобы характер рассудительный отдалялся от мужественных, — но, сплетая их вместе одинаковыми мнениями, и почестями, и бесчестием, и славою, и взаимною выдачею ручательств, и выводя из них таким образом мягкую и так называемую плотную ткань, вверять в городе правительственные места всегда им сообща.

Сократ-младший. Как?

Иностранец. Если где случится надобность в одном правителе, — избирать такого начальника, который имел бы оба те качества; а где во многих, — смешивать частями тех и других. Ведь нраву правителей рассудительных, очень осторожному, правосудному и бережливому, недостает резкости, некоторого рода отваги, быстрой и готовой на дело.

Сократ-младший. И это, кажется, так.

Иностранец. А мужественные-то опять уступают тем в справедливости и предусмотрительности; за то отличаются преимущественно в действии. И не может в частной и общественной жизни городов все идти хорошо, если не будет этих родов — обоих.

Сократ-младший. Как же иначе.

Иностранец. Так вот что называем мы завершением ткани, в деле политики: правильным сплетением соединить нравы людей мужественных и рассудительных, причем царское искусство, связывая их жизнь единомыслием и дружбою в нечто общее, производит великолепнейшую и превосходнейшую из всех тканей, — ткань, которою обвивает по городам, содержит в связи и всех других, рабов и свободных, и, не упуская из виду ничего, что делает город, насколько это возможно, счастливым, правит в нем и распоряжается.

Сократ-младший. Прекрасно, Иностранец, изобразил ты нам царственного мужа и политика.

Законы

Книга I

Афинянин, Клиний, Мегилл

Афинянин. Бог или кто из людей, чужеземцы, был виновником вашего законодательства?

Клиний. Бог, чужеземец, бог, говоря по правде. У нас это Зевс, у лакедемонян же, откуда родом Мегилл, я полагаю, назовут Аполлона. Не так ли?

Мегилл. Да.

Афинянин. Неужели ты утверждаешь, согласно Гомеру, что Минос каждые девять лет отправлялся для бесед к своему отцу и, сообразно его откровениям, устанавливал законы для ваших государств?

Клиний. У нас в самом деле рассказывают это, а также и то, что брат Миноса Радамант — конечно, вам знакомо это имя — был в высшей степени справедлив. О нем мы, критяне, сказали бы, что он по нраву заслужил эту похвалу своим тогдашним правосудием.

Афинянин. Прекрасная слава, вполне подобающая сыну Зевса. Так как вы оба, ты и Мегилл, воспитаны в покоящихся на законах нравах, я надеюсь, что мы не без удовольствия совершим

наш путь, беседуя о нынешнем государственном устройстве и о законах. Во всяком случае дорога из Кноса к гроту и святилищу Зевса, как мы слышали, для этого подходит: по пути, верно, встречаются тенистые места под высокими деревьями, где можно будет отдохнуть от этого зноя. В наши лета нам следует часто делать передышки в подобных местах и так полегоньку совершить весь путь, ободряя друг друга речами.

Клиний. К тому же, чужеземец, когда мы немного пройдем вперед, нам встретятся в рощах удивительно высокие и красивые кипарисы, а также и луга, где мы сможем передохнуть и побеседовать.

Афинянин. Ты прав.

Клиний. Да, но, когда мы их увидим, мы еще не так о них отзовемся. Однако отправимся, в добрый час!

Афинянин. Да будет так! Скажи мне, с какой целью закон установил у вас совместные трапезы, гимнасии и ваш способ вооружения?

Клиний. Я думаю, чужеземец, всякий легко поймет наши установления. Ведь вы видите природу местности всего Крита: это не равнина, как Фессалия. Поэтому-то фессалийцы больше пользуются конями, мы же передвигаемся пеш-

ком. Неровность местности более подходящая для упражнения в беге; из-за нее и оружие по необходимости должно быть легким, чтобы не обременять при беге, для этого по своей легкости кажутся подходящими лук и стрелы. Все это у нас приспособлено к войне, и законодатель, по-моему, установил все, принимая в соображение именно войну; так он ввел сисситии, имея в виду, мне кажется, что на время походов сами обстоятельства вынуждают всех иметь общий стол — ради собственной своей безопасности. Он заметил, я думаю, неразумие большинства людей, не понимающих, что у всех в течение жизни идет непрерывная война со всеми государствами. Если же на войне, во имя безопасности, следует иметь общий стол и надо, чтобы стражами были какие-то начальники и их подчиненные, люди организованные, то именно так надо поступать и в мирное время. Ибо то, что большинство людей называет миром, есть только имя, на деле же от природы существует вечная непримиримая война между всеми государствами. Став на эту точку зрения, ты, пожалуй, найдешь, что критский законодатель установил все наши общественные и частные учреждения ради войны; он заповедал охранять законы именно согласно с этим, так

как никакое достояние, никакое занятие, вообще ничто не принесет никому пользы, если не будет победы на войне: ибо все блага побежденных достаются победителю.

Афинянин. Мне кажется, чужеземец, ты прекрасно подготовлен, чтобы постичь критские законы. Но разъясни мне еще вот что: из данного тобой определения благоустроенного государства вытекает, насколько я могу судить, что его надо устроять так, чтобы оно побеждало на войне остальные государства. Не так ли?

Клиний. Конечно. Я думаю, и Мегилл того же мнения.

Мегилл. Как же иначе, мой друг, мог бы ответить любой лакедемонянин?

Афинянин. Но это положение, верное для взаимоотношений государств, не может ли оказаться иным, когда речь пойдет об отношениях поселков?

Клиний. Никоим образом.

Афинянин. Значит, оно одинаково верно в обоих случаях?

Клиний. Да.

Афинянин. Что же? Оно одинаково в приложении к отношениям и между двумя домами одного поселка, и между двумя людьми?

Клиний. Одинаково.

Афинянин. Должен ли думать каждый человек, что он сам себе враг, или не должен? Что сказать на это?

Клиний. Афинский чужеземец, — я не хотел бы назвать тебя «аттическим», так как, мне кажется, ты скорее достоин быть назван по имени богини, — ты сделал яснее нашу беседу, правильно вернув ее к началу. Так тебе легче будет обнаружить правильность нашего нынешнего утверждения, что все находятся в войне со всеми как в общественной, так и в частной жизни и каждый — с самим собой.

Афинянин. Что ты разумеешь, удивительный ты человек?

Клиний. И здесь тоже, чужеземец, победа над самим собой есть первая и наилучшая из побед. Быть же побежденным самим собой всего постыднее и хуже. Это и показывает, что в каждом из нас происходит война с самим собой.

Афинянин. Давайте снова изменим течение нашей беседы. Так как каждый из нас либо сильнее самого себя, либо слабее, то станем ли мы утверждать то же самое по отношению к домам, поселкам, государствам или нет?

Клиний. Ты говоришь, что одни из них сильнее

самих себя, другие — слабее?

Афинянин. Да.

Клиний. Ты правильно поставил вопрос, ибо это целиком и полностью приложимо и к государствам. О том государстве, где лучшие побеждают большинство худших, правильно было бы сказать, что оно одерживает победу над самим собой и в высшей степени справедливо заслуживает хвалы за эту победу; в противном же случае происходит противоположное.

Афинянин. Однако оставим в стороне вопрос, может ли худшее оказаться сильнее лучшего (ведь это требует более длинного рассуждения). Теперь я понимаю твои слова: если связанные родством несправедливые граждане одного государства сойдутся в большом количестве с целью насильно поработить не столь многочисленных справедливых граждан и если они одержат над теми верх, то правильно можно было бы сказать, что подобное государство ниже самого себя и что вместе с тем оно и порочно. Наоборот, где несправедливые терпят поражение, там государство сильнее и лучше.

Клиний. Сказанное тобой, чужеземец, весьма необычно. Тем не менее совершенно необходимо это принять.

Афинянин. Конечно. Обсудим и следующее: может родиться много братьев, сыновей от одних и тех же отца и матери; однако не будет ничего удивительного, если большинство из них окажется несправедливыми и лишь меньшинство — справедливыми.

Клиний. Конечно, нет.

Афинянин. Ни мне, ни вам не подобало бы гоняться за словами, утверждая, что всякий дом и всякая семья, где дурные люди одерживают верх, должна считаться побежденной самой собой, в противном же случае — победившей. Ведь не ради благообразия или безобразия слов ведем мы это рассуждение сообразно с пониманием большинства людей, но рассуждаем о том, что́ в законах правильно по природе и что́ ошибочно.

Клиний. Ты сказал, чужеземец, сущую правду.

Мегилл. Прекрасно. Я также присоединяюсь к только что сказанному.

Афинянин. Рассмотрим же еще вот что: не может ли оказаться кто-либо судьей над упомянутыми нами братьями?

Клиний. Конечно, может.

Афинянин. Какой же судья будет лучше: тот ли, екоторый погубит дурных из них и постановит, чтобы хорошие властвовали над собой

сами, или тот, кто достойных заставит властвовать, худших же, оставив им жизнь, добровольно повиноваться? Представим себе еще третьего, состязающегося в умении, судью, который был бы таким, что, взяв подобную терзаемую раздорами семью, никого бы не погубил, но примирил бы их, установив на будущее время такие законы их взаимоотношений, чтобы они были друзьями.

Клиний. Подобный судья и законодатель был бы несравненно лучше.

Афинянин. Между тем он, давая им законы, имел бы в виду не войну, а как раз противоположное.

Клиний. Это правда.

Афинянин. А устроитель государства? Станет ли он устроять жизнь, обращая больше внимания на внешнюю войну, чем на внутреннюю, называемую междоусобием? Последнее случается время от времени в государствах, хотя всякий очень хотел бы, чтобы междоусобий вовсе не было в его государстве, или, раз уж они возникли, то чтобы они как можно скорее прекратились.

Клиний. Очевидно, устроитель государства будет иметь в виду именно междоусобия.

Афинянин. Что предпочитает всякий: то ли чтобы в случае междоусобия мир был достиг-

нут путем гибели одних и победы других, или же чтобы дружба и мир возникли вследствие примирения и чтобы все внимание было, таким образом, неизбежно обращено на внешних врагов?

Клиний. Всякому хотелось бы, чтобы с его государством случилось последнее.

Афинянин. Не так ли и законодателю?

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Не правда ли, всякий стал бы устанавливать законы ради наилучшей цели?

Клиний. Без сомнения.

Афинянин. А ведь самое лучшее — это не война, не междоусобия: не дай бог, если в них возникнет нужда; мир же — это всеобщее дружелюбие. И победа государства над самим собой относится, конечно, не к области наилучшего, но к области необходимого. Это все равно как если бы кто стал считать наилучшим такое состояние тела, когда оно страждет и ему достается в удел врачебное очищение, и не обратил бы внимания на состояние тела, когда оно в этом совсем не нуждается. Точно так же не может стать настоящим государственным человеком тот, кто, имея в виду благополучие всего государства и частных лиц, будет прежде всего и только обращать внимание

на внешние войны. Не окажется он и хорошим законодателем, разве только станет устанавливать законы, касающиеся войны, ради мира, а не законы, касающиеся мира, ради военных действий.

Клиний. Кажется, чужеземец, это рассуждение правильно. Однако я удивляюсь, что наши, а также лакедемонские законоположения, столь тщательные, установлены вовсе не ради этого.

Афинянин. Возможно. Но теперь не время нам их сурово оспаривать. Нам до́лжно спокойно задавать им вопросы, так как и мы, и они относимся к этому с величайшей серьезностью. Следите, прошу вас, за моим рассуждением. Возьмем сперва Тиртея, афинянина родом, но приобретшего лакедемонское гражданство. Ведь среди всех он с особенным рвением относится к войне, говоря:

Ни во что не считал бы и не помянул бы я мужа, даже если бы он был самым богатым из людей и обладал многими благами (здесь поэт перечисляет чуть ли не все блага), если только он не будет всегда отличаться в военном деле. Эти стихи, конечно, слышал и ты, Клиний, Мегилл же, я думаю, прямо-таки ими пресыщен.

Мегилл. Конечно.

Клиний. Да и к нам они перекочевали из Лакедемона.

Афинянин. Давайте же теперь все сообща спросим этого поэта примерно так: «О Тиртей, божественнейший из поэтов! Ты кажешься нам мудрым и благим за то, что ты отлично прославил отличившихся на войне. Мы — я, Мегилл и этот вот житель Кноса Клиний — вполне, по-видимому, с тобой в этом согласны. Но нам хочется точно узнать, говорим ли мы о тех же самых лицах, что и ты, или нет. Итак, скажи нам: не правда ли, ты так же, как мы, ясно различаешь два вида войны? Или ты смотришь иначе?» На это, я думаю, даже тот, кто гораздо ниже Тиртея, ответит правду, т. е. что есть два вида войны: первый вид, который мы все называем междоусобием, как мы только что сказали, самый тягостный; второй же, как все мы, думаю я, считаем, это война в случае раздора с внешними иноплеменными врагами; этот вид гораздо безобиднее первого.

Клиний. Без сомнения.

Афинянин. «Скажи-ка, каких людей и какой вид войны ты разумел, столь превознося, прославляя одних и порицая других? По-видимому, ты думал о внешней евойне. По крайней мере ты сказал в своих стихах, что не выносишь тех, кто не отваживается

…взирать на кровавое дело

И не стремится с врагом в бой рукопашный вступать.

Разве мы не вправе после этого утверждать, что и ты, Тиртей, видимо, всего более прославляешь тех, кто отличился во внешней войне с иноземцами?» Пожалуй, он признается в этом и согласится с нами.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Такие люди прекрасны, но гораздо лучше, добавим мы, те, кто отличился во втором, величайшем виде войны. В свидетельство мы можем привести поэта Феогнида, гражданина сицилийских Мегар, который говорит:

Злата ценнее, о Кирн, серебра бесконечно дороже

Тот, кто верным пребыл в междоусобной войне.

Мы утверждаем, что подобный человек во время более тяжкой войны несравненно лучше первого, чуть ли не настолько, насколько справедливость, рассудительность и разумность, соединенные с мужеством, лучше отдельно взятого мужества. Ибо во время междоусобий никак нельзя остаться верным и здравомыслящим, не обладая всей добродетелью в совокупности.

Между тем многие из наемников — бóльшая их часть, за редчайшими исключениями, люди смелые, но несправедливые, наглые и чуть ли не самые неразумные из всех — готовы бодро идти сражаться и даже умереть в той войне, о которой говорит Тиртей.

Но какова теперь цель этого нашего рассуждения и что мы этим хотим разъяснить? Очевидно, что и здешний, критский законодатель, поставленный Зевсом, как и любой другой хоть на что-то годный, устанавливал законы, более всего имея в виду высшую добродетель. Эта высшая добродетель и заключается, по словам Феогнида, в сохранении верности среди опасностей, ее можно назвать совершенной справедливостью. А та добродетель, которую всего более прославляет Тиртей, хотя и прекрасна, да, кстати, и приукрашена поэтом, однако самое правильное было бы поставить ее, в смысле силы и ценности, лишь на четвертое место.

Клиний. Чужеземец, неужели мы поместим нашего устроителя среди законодателей второго сорта?

Афинянин. Не его, дорогой мой, но нас самих, если мы полагаем, будто Ликург и Минос установили все лакедемонские и здешние законы, имея

в виду преимущественно войну.

Клиний. Но что же мы должны утверждать?

Афинянин. По-моему, истинно и справедливо утверждать, беседуя о божественном государстве, что устроитель, устанавливая в нем законы, имел в виду не одну часть добродетели, притом самую ничтожную, но всю добродетель в целом; сообразно с ее видами он и исследовал законы, а не так, как это делают нынешние законодатели, исследующие произвольно установленные виды. Ведь теперь каждый исследует и устанавливает то, в чем у него в данное время нужда: один — законы о наследовании и дочерях-наследницах, другой — об оскорблениях действием, третий — что-либо иное подобное, и так до бесконечности. Мы же утверждаем, что правильный путь исследования законов есть тот, на который вступили мы. Я весьма восхищен твоей попыткой истолкования законов (ибо правильно начать именно с добродетели и утверждать, что ради нее-то и установил устроитель свои законы). Что же касается твоих слов, будто он законодательствовал, сообразуясь лишь с частью добродетели, и притом с самой малой, это показалось мне неверным, и потому-то я и предпринял все дальнейшее рассуждение. Хочешь, я скажу тебе, как мне было бы желательно,

чтобы ты рассуждал, а я слушал?

Клиний. Конечно, чужеземец.

Афинянин. Надо было бы сказать так: «Критские законы, чужеземец, недаром особенно славятся среди эллинов. Они правильны, так как делают счастливыми тех, кто ими пользуется, предоставляя им все блага. Есть два рода благ: одни — человеческие, другие — божественные. Человеческие зависят от божественных. И если какое-либо государство получает бóльшие блага, оно одновременно приобретает и меньшие, в противном же случае лишается и тех и других. Меньшие блага — это те, во главе которых стоит здоровье, затем идет красота, на третьем месте — сила в беге и в остальных телесных движениях, на четвертом — богатство, но не слепое, а зоркое, спутник разумности. Первое же и главенствующее из божественных благ — это разумение; второе — сопутствующее разуму здравое состояние души; из их смешения с мужеством возникает третье благо — справедливость; четвертое благо — мужество. Все эти блага по своей природе стоят впереди тех, и законодателю следует ставить их в таком же порядке. Затем ему надлежит убедить сограждан, что все остальные предписания имеют в виду именно это, то есть земные блага

обращены на божественные, а все божественные блага направлены к руководящему разуму. Законодателю следует позаботиться о браках, соединяющих людей, затем — о рождении детей и воспитании как мужчин, так и женщин — от ранних лет и до зрелых — вплоть до старости. Он должен заботиться о том, чтобы почет, как и лишение его, были справедливыми, наблюдать людей во всех их взаимоотношениях, интересоваться их скорбями и удовольствиями, а также всевозможными вожделениями и страстями, своевременно выражая им порицание и похвалу посредством самих законов. И что касается гнева и страха, то есть душевных потрясений, которые происходят вследствие несчастья или вследствие освобождения от них при счастье, а также всех состояний, которые бывают с людьми во время болезней, войны, бедности и при противоположных обстоятельствах, — в отношении всего этого законодателю следует и поучать граждан, и определять, что́ хорошо и что́ дурно в каждом отдельном случае. Потом законодателю необходимо оберегать достояние граждан и их расходы и знать, в каком они положении; следить за всеми добровольными и недобровольными сообществами и их расторжениями и знать, насколько

при этом выполняются взятые на себя взаимные обязательства. Законодатель должен наблюдать, где осуществляется справедливость, а где нет; он должен установить почести тем, кто послушен законам, а на ослушников налагать положенную кару, и так до тех пор, пока не рассмотрит до конца все государственное сустройство вплоть до того, каким образом до́лжно в каждом отдельном случае погребать мертвых и какие уделять им почести. Обозрев все это, законодатель поставит надо всем этим стражей, из которых одни будут руководствоваться разумением, другие — истинным мнением, так чтобы разум, связующий все это, явил рассудительность и справедливость вопреки богатству и честолюбию». Мне, чужеземцы, раньше да и по сей день желательно было, чтобы вы именно так разобрали, каким образом все это содержится в так называемых законах Зевса и Пифийского Аполлона, установленных Миносом и Ликургом, и каким путем все это получает известную стройность: для человека, сведущего в законах благодаря ли искусству или какому-то навыку, это вполне очевидно, нам же, всем остальным, далеко не ясно.

Клиний. Как же до́лжно излагать дальнейшее, чужеземец?

Афинянин. Мне думается, нам надо начать все сызнова, как мы и делали, и прежде всего разобрать обычаи, касающиеся мужества. Затем, если хотите, мы перейдем к другому виду добродетели, а потом — к третьему. Способ, которым мы станем разбирать первый вид добродетели, возьмем за образец и с его помощью попытаемся истолковать остальные ее виды, доставляя себе этим в пути утешение. Под конец же, если богу угодно, мы покажем, как все то, что мы теперь разобрали, относится к добродетели в целом.

Мегилл. Прекрасно сказано; прежде всего попытайся привлечь к суду Клиния, этого нашего хвалителя Зевса.

Афинянин. Попробую, а также тебя и себя самого. Ведь наше рассуждение общее. Итак, скажите, утверждаем ли мы, что совместные трапезы и гимнасии законодатель изобрел для войны?

Мегилл. Да.

Афинянин. Что же еще третье и четвертое? Ведь для обозначения частей добродетели — впрочем, их можно называть и иначе, лишь бы ясен был смысл — нам, пожалуй, понадобится подобное перечисление.

Мегилл. Я, да и любой лакедемонянин сказал бы, что третьей была изобретена охота.

Афинянин. Попытаемся, если только сможем, указать четвертое и пятое.

Мегилл. Я попытался бы поставить на четвертом месте выносливость в перенесении боли; это у нас часто случается в драках и при кражах, сопровождающихся всякий раз побоями. Кроме того, подобную выносливость чудесно воспитывает и так называемая криптия, с нею связано хождение зимой босиком, спанье без постелей, обслуживание самого себя без помощи слуг, скитание ночью и днем по всей стране. Представляется случай проявить чрезвычайную выносливость и на наших гимнопедиях, где приходится преодолевать силу зноя, да и очень многое другое, что перечислять было бы, пожалуй, бесконечно долго.

Афинянин. Ты говоришь хорошо, лакедемонский гость! Но скажи мне, что будем мы считать мужеством? Лишь борьбу со страхом и страданием или же и с тоской, с удовольствиями, с ужасными, обольстительными соблазнами, которые делают мягкими, точно воск, души даже и тех людей, что считают себя неприступными?

Мегилл. Я думаю, что борьбу со всем этим.

Афинянин. Припомним же предшествующие рассуждения. Клиний утверждал, что и госу-

дарство, и отдельный человек могут быть ниже самих себя. Не так ли, кносский гость?

Клиний. Разумеется, так.

Афинянин. Теперь, кого мы назовем дурным: того ели, кто побежден страданиями, или скорее того, кто побежден удовольствиями?

Клиний. Мне кажется, последнего. Ведь все мы признаём, что тот, над кем властвуют удовольствия, оказывается ниже самого себя, и притом несравненно более постыдным образом, чем тот, кем владеет страдание.

Афинянин. Неужели же законодатели Зевса и Аполлона Пифийского своими законами требовали увечного мужества, способного сопротивляться лишь слева, а справа, по отношению к тонким обольщениям, бессильного? Или они требовали и того и другого?

Клиний. И того и другого, по-моему.

Афинянин. Не показать ли нам теперь, какие обычаи в обоих ваших государствах хотя и позволяют не избегать удовольствий, как не избегнешь и страдания, однако умеряют их, принуждая и убеждая при помощи наград властвовать над ними? Где именно в законах содержатся те же постановления об удовольствиях, что и об огорчениях? Пусть будет указано, что́ делает у вас одних

и тех же людей одинаково мужественными как по отношению к боли, так и по отношению к удовольствиям и заставляет их побеждать то, что следует побеждать, ничуть не подчиняясь самым близким и грозным врагам.

Мегилл. Пожалуй, чужеземец, мне не удастся указать на значительные и ясные законы, касающиеся удовольствий, как я это мог сделать при наличии многих законов, противопоставленных скорби. Но, быть может, я смогу указать на кое-какие мелкие узаконения.

Клиний. Точно так же и я вряд ли смогу указать на что-либо подобное в критских законах.

Афинянин. В этом нет ничего удивительного, лучшие из чужеземцев! Однако не станем раздражаться, но отнесемся мягко друг к другу, если кто из нас, желая отыскать истину и высшее благо, подвергнет порицанию что-либо в законах родины.

Клиний. Ты прав, афинский гость! Надо тебя послушаться.

Афинянин. К тому же это не подошло бы и к нашим летам, Клиний.

Клиний. Конечно, нет.

Афинянин. Надо было бы особо исследовать, правильно ли порицают государственный строй

Лакедемона и Крита или же нет. А то, что говорит об этом большинство, я сам смог бы высказать, и, пожалуй, в большей мере, чем вы. Ведь у вас — хотя вообще-то ваши законы составлены надлежащим образом — в особенности превосходен один закон, запрещающий молодым людям исследовать, что́ в законах хорошо и что́ нет, и повелевающий всем единогласно и вполне единодушно соглашаться с тем, что в законах все хорошо, ибо они установлены богами; иные же утверждения вовсе не следует допускать. Если у вас что-либо подобное придет в голову человеку старому, он может высказать свое мнение должностному лицу или человеку своих лет, но только не в присутствии юноши.

Клиний. Ты совершенно прав, чужеземец; мне кажется, ты, словно прорицатель, хорошо разгадал тогдашнее намерение законодателя — хотя ты и не был там и верно его выразил.

Афинянин. Не правда ли, мы ничуть не погрешим против этого правила, если между собой, уединясь, станем рассуждать именно об этом? Ведь законодатель позволил это людям нашего возраста, да и к тому же здесь нет молодых людей.

Клиний. Это правда. Поэтому смело укажи на

слабые стороны наших законов. Ведь нет ничего бесчестного в познании плохого; наоборот, случается, что это служит к исцелению, если принимается благосклонно и без зависти.

Афинянин. Прекрасно. Однако я не стану порицать ваши законы, прежде чем по мере сил не рассмотрю их основательно. Я только выскажу свои недоумения. Ведь из всех эллинов у вас одних да еще, насколько нам известно, у варваров законодатель постановил воздерживаться от величайших удовольствий и забав и не отведывать их. Относительно же страданий и страха он полагал именно так, как мы только что разобрали: если человеку, сс малолетства полностью их избегавшему, придется столкнуться с неизбежными трудами, страхами и страданиями, он будет обращен в бегство и порабощен людьми, во всем этом искушенными. Я полагаю, то же самое мог думать этот законодатель и об удовольствиях. Он должен был сказать самому себе так: «Если граждане с малолетства будут у нас несведущи в самых больших удовольствиях, не станут упражняться в их преодолении так, чтобы сладостное стремление к удовольствиям не могло побудить их к совершению позорных поступков, то с ними случится то же самое, что и с теми, кто уступает

страху. Иным, но еще более постыдным образом подчинятся они тем, кто умеет господствовать над удовольствиями и приобрел потребные для этого навыки, несмотря на то что иной раз это люди попросту скверные. Душа граждан станет в чем-то рабской и лишь отчасти свободной, они вообще не будут достойны называться свободными и мужественными людьми».

Итак, смотрите, одобряете ли вы до известной степени что-либо из только что сказанного?

Клиний. Твои мысли казались нам убедительными, пока ты их излагал. Однако сразу поверить тебе в столь важных вопросах было бы достойно скорее неразумного юноши.

Афинянин. Клиний и лакедемонский гость! Если мы продолжим наш разбор в том порядке, какой мы предложили раньше, то есть если после мужества станем говорить о рассудительности, то какую разницу заметим мы между этими государствами и теми, что управляются кое-как? Ведь мы только что заметили разницу между ними в деле войны.

Мегилл. Это не так-то просто. Пожалуй, сисситии и гимнасии прекрасно изобретены для обеих этих добродетелей.

Афинянин. По-видимому, чужеземцы, трудно

в вопросах государственного устроения установить и на деле, и на словах что-либо бесспорное. Кажется, это подобно тому, как для одного человеческого тела невозможно установить один какой-либо образ жизни, который не оказался бы отчасти для него вредным, отчасти полезным, хотя он один и тот же. Точно так же гимнасии и сисситии во многом приносят пользу государствам еще и поныне; однако в смысле междоусобий они вредны. Это явствует из поступков милетской, беотийской и фурийской молодежи. К тому же, вероятно, эти учреждения извратили существующий не только у людей, но даже и у животных древний и сообразный с природой закон, касающийся любовных наслаждений. И в этом можно винить прежде всего ваши государства, а также и те из остальных государств, где более всего привились гимнасии. Как бы ни смотреть на подобные вещи, шутливо ли или серьезно, приходится заметить, что наслаждение от соединения мужской природы с женской, влекущего за собой рождение, уделено нам от природы, соединение же мужчины с мужчиной и женщины с женщиной — противоестественно и возникло как дерзкая попытка людей, разнузданных в удовольствиях. Мы все порицаем критян за то, что они выдумали

миф о Ганимеде. Так как они были убеждены, что их законы происходят от Зевса, они и сочинили о нем этот миф, чтобы вслед за богом срывать цветы и этого наслаждения. Однако распростимся с мифом. Когда люди исследуют законы, почти все рассмотрение вращается вокруг удовольствий и страданий как в государственной жизни, так и в частной. Природа предоставила течь этим двум потокам. Когда из них черпают как надо, когда надо и сколько надо, то счастливы одинаково и государство, и частные лица, и всякое живое существо, но когда это делают невежественно, да к тому же и не вовремя, тогда людям выпадает на долю иная жизнь.

Мегилл. Чужеземец! Хоть сказанное тобой в каком-то отношении прекрасно, мы не в силах найти слова для достойного ответа. Мне все-таки кажется правильным, что лакедемонский законодатель повелевает избегать удовольствий. Что же касается кносских законов, то пусть придет им на помощь Клиний, если ему угодно. Мне кажется, спартанские постановления относительно удовольствий — лучшие в мире. Ибо наш закон вообще изгоняет из пределов страны то, под влиянием чего люди более всего подпадают сильнейшим удовольствиям, бесчинствам

и всяческому безрассудству. Ни в селениях, ни в городах, о которых пекутся спартиаты, ты не увидишь нигде пиршеств и того, что после них неудержимо влечет к удовольствиям всякого рода, и каждый, кто встретит пьяного гуляку, сейчас же налагает на него величайшее наказание, которое уж не снимут под предлогом Дионисийских празднеств. А у вас видел я как-то повозки с такими гуляками, да и в Таранте у наших поселенцев видел я во время Дионисий весь город пьяным. У нас же ничего подобного не бывает.

Афинянин. Все это и тому подобное, лакедемонский гость, достойно похвалы, если только сопровождается известным самообладанием; где же царит распущенность, там это тем более нелепо. Впрочем, любой афинянин мог бы легко задеть тебя, указав на распущенность ваших женщин. Как в Таранте, так и у нас, и у вас все это может быть разрешено, мне кажется, одним словом: это не плохо, а правильно. Удивленному же чужеземцу, видящему необычное для себя зрелище, всякий может ответить: «Не удивляйся, чужеземец! Таков у нас закон. У вас, быть может, есть закон иной, но о том же самом». Дорогие друзья, речь идет у нас теперь не о прочих людях, но о добродетели и недостатках самих законода-

телей. Поэтому разберемся подробнее в вопросе об опьянении. Ведь это обычай немаловажный и требует для своего распознания недюжинного законодателя. Я не говорю о том, надо ли вообще пить вино или нет, но только об опьянении: надо ли относиться к этому, как скифы, персы, карфагеняне, кельты, иберы, фракийцы — все это племена воинственные, — или же так, как вы? Как ты говоришь, вы от этого обычая воздерживаетесь полностью, скифы же и фракийцы употребляют вообще несмешанное вино — как сами, так и их жены; они льют его на свои одежды и считают этот обычай благим и счастливым. Персы весьма привержены этому обычаю, да и вообще они склонны к роскоши, которую вы отвергаете, однако все это у них более упорядочено, чем у остальных.

Мегилл. Бесценный мой, мы обращаем в бегство всех их, лишь только берем оружие в руки.

Афинянин. Дорогой мой, не говори так! Ведь сплошь и рядом причины бегства и преследования остаются, да и будут оставаться невыясненными. Поэтому не стоит ссылаться на победу или поражение в битвах, точно они служат ясным, а не сомнительным показателем обычаев хороших и плохих. Ведь бóльшие государства побеждают

в сражениях и порабощают меньшие, как, например, сиракузцы локров (несмотря на то что последние слывут за обладающих наилучшими в тех местах законами), афиняне — кеосцев; можно было бы найти тысячи таких примеров. Поэтому отложим в сторону победы и поражения и попытаемся говорить о каждом обычае самом по себе, чтобы убедиться, что одно прекрасно, другое же плохо. Однако прежде всего выслушайте несколько слов, как, по моему мнению, надо рассматривать, что хорошо, а что нет в этих обычаях.

Мегилл. Что ты разумеешь?

Афинянин. Мне кажется, все, кто готов сразу, лишь только услышат упоминание о каком-либо обычае, порицать его или хвалить, поступают совершенно не так, как надо. Это все равно как если бы кто, лишь только при нем похвалят пшеничный хлеб, стал бы тотчас же ругать хлеб, не допытываясь ни о производимом им действии, ни об его употреблении, а также не зная, каким образом, кому, с какой иной пищей и в каком состоянии надо его употреблять. Так же точно, кажется мне, поступаем мы теперь в наших рассуждениях. Услышав одно лишь упоминание об опьянении, одни тотчас стали его порицать,»

другие — хвалить; все это совершенно неуместно. Каждый из нас пытался это делать при помощи свидетелей и хвалителей. Одни из нас, опираясь на большинство, полагали, что высказывают господствующее мнение; другие основывались на том, что мы видим, как побеждают в сражениях те, кто не употребляет вина. Однако в свою очередь и это у нас осталось невыясненным, — если мы и каждое из остальных узаконений будем разбирать таким образом, то, по-моему, это будет неразумно. Я хочу говорить о том же самом, то есть об опьянении, но иным образом — тем, который мне кажется надлежащим, если только я смогу выяснить для нас правильный способ исследования всех подобных вопросов. К тому же по этому поводу сотни и тысячи племен находятся в разногласии с вашими двумя государствами и могли бы, пожалуй, словесно с вами сразиться.

Мегилл. Конечно, если есть какой-либо правильный путь для рассмотрения подобных вопросов, не надо медлить с их обсуждением.

Афинянин. Давайте рассмотрим это следующим образом: если бы кто стал хвалить разведение коз и само это животное как прекрасное приобретение, а другой, увидев, что козы пасутся на обработанной земле без пастуха и причиняют

там вред, стал бы их ругать и порицать так же всякое другое живое существо, не имеющее над собой начальника или имеющее его, но плохого, то, скажи, признали бы мы порицание подобного человека хоть сколько-нибудь здравым?

Мегилл. Конечно, нет.

Афинянин. Можем ли мы считать начальника корабля пригодным, если он только обладает знанием морского дела, но еще неизвестно, подвержен ли он морской болезни или нет? Что скажешь на это?

Мегилл. Никоим образом нельзя считать его пригодным, если он обладает кроме своего искусства еще и той слабостью, о которой ты говоришь.

Афинянин. А начальник войска? Способен ли он начальствовать, если обладает знанием военного дела, но в то же время труслив и при опасностях, опьяненный страхом, страдает головокружением?

Мегилл. Как можно!

Афинянин. Но если бы он и не обладал искусством и был бы к тому же трусом?

Мегилл. Ты говоришь о совершенно негодном человеке, начальнике не над мужчинами, а над какими-то бабами.

Афинянин. Что же, если кто хвалит или порицает какое-либо сообщество, которое по своей природе должно иметь начальника, чтобы быть полезным, и он никогда не видел правильного руководства и отношений в этом сообществе, но всегда наблюдал его либо в состоянии безначалия, либо с дурными начальниками, признаем ли мы дельными похвалу или порицание со стороны подобных наблюдателей этих сообществ?

Мегилл. Как можно! Ведь они никогда не видели ни одного из этих сообществ в правильном действии и не были к ним близки.

Афинянин. Так имей это в виду! Не признаём ли мы совместно пирующих и самые эти пиршества одним из видов многочисленных этих сообществ?

Мегилл. Вполне признаём.

Афинянин. Но разве кто видел когда-нибудь правильный порядок этих пиршеств? Вам-то легко ответить, что никогда и никто. Вам они чужды, у вас они не узаконены. Но я часто бывал на многих пиршествах да и, к слову сказать, много о них расспрашивал; и даже я никогда не видел и не слышал, чтобы какой-либо пир, весь целиком, прошел как следует, — разве только лишь в малой и незначительной своей части;

в большинстве же случаев все совершается, так сказать, превратно.

Клиний. Что ты этим хочешь сказать, чужеземец? Выразись яснее! Ведь мы, как ты говоришь, даже если нам случится быть на пиру, вряд ли сможем, ввиду нашей неопытности, сразу распознать, что́ происходит там надлежащим образом, а что́ — нет.

Афинянин. Естественно. Но попробуй понять это с помощью моих указаний. Ты понимаешь, что на всяких собраниях, во всяких обществах, каковы бы ни были их занятия, должен быть надлежащий начальник?

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Мы сейчас сказали, что начальник над воинами должен быть мужествен.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Ведь мужественный человек меньше труса подвержен смятению под влиянием страха.

Клиний. И это так.

Афинянин. Если было бы какое-то средство поставить во главе войска полководца, совершенно не подверженного страху и смятению, неужто мы не постарались бы изо всех сил сделать это?

Клиний. Постарались бы, и очень.

Афинянин. Теперь же у нас речь не о начальнике войска, место которого на войне, при враждебных столкновениях, но о начальнике дружелюбия и мирных взаимоотношений, наступающих между друзьями.

Клиний. Верно.

Афинянин. Подобного рода общение, особенно если ему сопутствует опьянение, не происходит без шума. Не так ли?

Клиний. Разумеется, и еще какого!

Афинянин. Стало быть, и здесь прежде всего должен быть начальник?

Клиний. Еще бы! Больше, чем где бы то ни было!

Афинянин. Не должно ли, если это возможно, поставить таким начальником человека, не склонного к шуму?

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. И очевидно, он должен разумно относиться к подобным собраниям. Ведь ему надо не только быть на страже присущей им дружбы, а еще и заботиться об ее укреплении через это общение.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Не правда ли, надо ставить начальником над нетрезвыми человека трезвого,

мудрого, а не наоборот. Ведь если над нетрезвыми будет поставлен пьяный, юный, неразумный начальник, он лишь благодаря очень счастливой случайности не наделает страшных бед.

Клиний. Да, то был бы поистине счастливый случай.

Афинянин. Если бы такого рода общения происходили в государствах по мере сил правильно, а кто-то стал бы порицать самый этот обычай, то, быть может, его порицание было бы обоснованно. Если же этот обычай ругают за полнейшее его извращение, то отсюда явствует, что не сознают, во-первых, свойственной ему неправильности, а во-вторых, того, что все оказывается скверным, если происходит подобным образом, то есть без трезвого хозяина и распорядителя. Разве ты не замечаешь, что пьяный кормчий и вообще всякий нетрезвый начальник — чем бы он ни распоряжался — опрокидывает вверх дном корабли, колесницы, войско — все, чем он управляет.

Клиний. Ты молвил истинную правду, гость. Скажи нам еще, что хорошего принесет нам законное и правильное свершение пиров? Как мы сейчас сказали, если войско находится под правильным руководством, то, кто за таким военачальником следует, одерживает победу, а

это немалое благо. Точно так же и в остальных случаях. Ну, а правильно поставленные пиршества — какие преимущества дадут они частным лицам или государствам?

Афинянин. А какие преимущества принесет, могли бы мы спросить, государству один правильно воспитанный мальчик или хорошо поставленный хор? На это мы ответили бы: от одного-то государство получило бы малую пользу. Но если вы спрашиваете вообще, какая выгода государству от воспитания тех, кто воспитан, то нетрудно ответить, что хорошо воспитанные дети легко станут хорошими людьми и, став такими, и все остальное будут делать прекрасно, в том числе и побеждать в битвах врагов. Воспитание ведет и к победе, победа же иной раз — к невоспитанности. Ведь многие, обнаглев из-за одержанных на войне побед, под влиянием этой наглости преисполнены множеством пороков. Воспитание никогда не оказывалось Кадмовым, победы же часто для людей бывают и будут такими.

Клиний. Как нам кажется, друг мой, ты утверждаешь, будто совместный досуг за чашей вина имеет большое значение в воспитании, если при этом все совершается правильно.

Афинянин. Конечно.

Клиний. А сможешь ли ты затем доказать истинность своего утверждения?

Афинянин. Доказать, чужеземец, что поистине дело обстоит именно так, мог бы, ввиду частых сомнений, один только бог. Но я охотно укажу, почему, как мне кажется, следует это утверждать. К тому же ведь мы приступили сейчас к рассуждению о законах и государственном устройстве.

Клиний. Именно твое мнение по вопросам, вызывающим ныне так много сомнений, мы и хотели бы знать.

Афинянин. Нам надлежит поступить так. Вы постарайтесь усвоить, а я попробую так или иначе разъяснить свою мысль. Сперва выслушайте вот что: все эллины считают, что наше государство словоохотливо и многословно, что же касается Лакедемона, то он немногословен, а на Крите развивают скорее многомыслие, чем многословие. Я боюсь, как бы вы не подумали, что о предмете незначительном — об опьянении — я говорю много, распространяясь в длиннейших рассуждениях о столь малозначительной вещи. Однако в рассуждении было бы невозможно с достаточной ясностью охватить вопрос о сообразном с природой исправлении пиршеств, если не

принять во внимание правильных основ мусического искусства. Равным образом и мусическое искусство нельзя понять без всего в совокупности воспитания. А все это требует длиннейших рассуждений. Решите же, как нам поступить: не оставить ли пока этот вопрос и не перейти ли к рассмотрению какого-либо другого закона?

Мегилл. Чужеземец-афинянин! Ты, может быть, не знаешь, что мой домашний очаг связан узами гостеприимства с вашим государством. Пожалуй, у всех нас, кто в детстве слышит о том, что он гость такого-то государства, с ранних лет появляется чувство расположения к нему — своей второй после родного города родине. По крайней мере я испытываю это. Ведь с детства, сесли я слышал, как лакедемоняне за что-либо порицали или хвалили афинян, говоря: «Вот какое скверное (или прекрасное) но отношению к нам деяние совершило, Мегилл, это ваше государство», я постоянно спорил, защищая вас, с теми, кто вас порицал. Я всегда был расположен к афинянам, мне и посейчас приятны звуки вашего говора; мне кажется вполне правильным утверждение многих, что хорошие афиняне особенно хороши. Ибо только их добродетель возникает без принуждения, сама собой; божество уделяет им ее,

так что в ней поистине нет ничего искусственного. Поэтому не бойся препятствий с моей стороны; выскажи все, что тебе дорого.

Клиний. Точно так же, чужеземец, прими и выслушай мое слово, а затем смело говори что хочешь. Быть может, ты слышал здесь, на Крите, об Эпимениде, этом божественном муже. Он был наш сородич. За десять лет до персидских войн прибыл он в Афины и принес там, согласно повелению бога, предписанные богом жертвы. Как раз в то время афиняне опасались персидского нашествия. Он им предсказал, что персы придут не раньше чем через десять лет, а когда придут, будут отражены, вовсе не осуществив своих надежд и потерпев бедствий больше, чем причинив их. С тех пор наши предки заключили с вами союз гостеприимства; отсюда и вытекает мое к вам расположение, а также и моих родителей.

Афинянин. Вы, как я вижу, готовы меня слушать. С моей же стороны есть желание говорить, но исполнить его не так-то легко, однако попробуем. Прежде всего сообразно с ходом нашего рассуждения определим, что такое воспитание и каковы его свойства. Ведь мы согласились, что впредь в нашем рассуждении надо идти именно этим путем, пока он не приведет нас к богу вина.

Клиний. Конечно, поступим так, если тебе это нравится.

Афинянин. Я буду разъяснять, что́ надо разуметь под воспитанием, а вы смотрите, согласны ли вы со мной.

Клиний. Говори же!

Афинянин. Я говорю и утверждаю, что человек, желающий стать достойным в каком бы то ни было деле, должен с ранних лет упражняться, то забавляясь, то всерьез, во всем, что к этому относится. Например, кто хочет стать хорошим земледельцем или домостроителем, должен еще в играх либо обрабатывать землю, либо возводить какие-то детские сооружения. Их воспитатель должен каждому из них дать небольшие орудия — подобия настоящих. Точно так же пусть он сообщит им начатки необходимых знаний, например строителя пусть научит измерять и пользоваться правилом, воина — ездить верхом и так далее, все это путем игры. Пусть он пытается при помощи этих игр направить вкусы и склонности детей к тому занятию, в котором они должны впоследствии достичь совершенства. Самым важным в обучении мы признаём надлежащее воспитание, вносящее в душу играющего ребенка любовь к тому, в чем он, выросши, должен стать знатоком

и достичь совершенства. Смотрите же, одобряете ли вы все до сих пор высказанное?

Клиний. Вполне.

Афинянин. Не оставим также без определения того, что мы разумеем под воспитанием. Ведь теперь, порицая или хваля воспитание отдельных лиц, мы называем одних из нас воспитанными, а других — нет, причем иной раз прилагаем это обозначение и к людям, вся воспитанность которых заключается в умении вести мелкую или морскую торговлю и в других подобных сноровках. В нашем рассуждении мы, очевидно, подразумеваем под воспитанием не это, а то, что с детства ведет к добродетели, заставляя человека страстно желать и стремиться стать совершенным гражданином, умеющим согласно справедливости подчиняться или же властвовать. Только это, кажется мне, можно признать воспитанием согласно данному в нашей беседе определению. Воспитание же, имеющее своим предметом и целью деньги, могущество или какое-нибудь иное искусство, лишенное разума и справедливости, низко и неблагородно, да и вовсе недостойно носить это имя. Мы не станем спорить сами с собой о названиях. Пусть лишь останется в силе наше нынешнее рассуждение, в

котором мы согласились, что люди, получившие правильное воспитание, становятся, пожалуй, хорошими, и нельзя недооценивать воспитанность, ибо она — самое прекрасное из того, что имеют лучшие люди. Если же воспитание отклонится от своего пути, но его можно выправить, всякий по мере сил должен это делать в течение всей своей жизни.

Клиний. Это верно. Мы согласны с твоими словами.

Афинянин. Еще раньше мы согласились, что те, кто может властвовать над собой, хороши, а кто нет, дурны.

Клиний. Ты вполне прав.

Афинянин. Давайте повторим яснее, что́ мы тогда сказали. Позвольте мне с помощью уподобления разъяснить вам это по мере сил.

Клиний. Пожалуйста.

Афинянин. Не признаём ли мы, что каждый из нас — это единое целое?

Клиний. Да.

Афинянин. Но каждый имеет в себе двух противоположных и неразумных советчиков: удовольствие и страдание.

Клиний. Так оно и есть.

Афинянин. К ним присоединяются еще мнения

относительно будущего, общее имя которым «надежда». В частности, ожидание скорби называется страхом, ожидание удовольствия — отвагой. Над всем этим стоит разум, решающий, что из них лучше, что хуже; он-то, став общим установлением государства, получает название закона.

Клиний. Хоть я и с трудом за тобой поспеваю, все же считай, что я следую за тобой, и продолжай.

Мегилл. И со мной то же самое.

Афинянин. Об этом мы станем размышлять так: представим себе, что мы, живые существа, — это чудесные куклы богов, сделанные ими либо для забавы, либо с какой-то серьезной целью, ведь это нам неизвестно; но мы знаем, что внутренние наши состояния, о которых мы говорили, точно шнурки или нити, тянут и влекут нас каждое в свою сторону и, так как они противоположны, увлекают нас к противоположным действиям, что и служит разграничением добродетели и порока. Согласно нашему рассуждению, каждый должен постоянно следовать только одному из влечений, ни в чем от него не отклоняясь и оказывая противодействие остальным нитям, а это и есть златое и священное руководство разума, называемое общим законом государства.

Остальные нити — железные и грубые; только эта нить нежна, хотя она и златая, те же подобны разнообразным видам. Следует постоянно помогать прекраснейшему руководству закона. Ибо разум, будучи прекрасен, кроток и чужд насилия, нуждается в помощниках при своем руководстве, так, чтобы в нас золотой род побеждал остальные роды. Этот миф о том, что мы куклы, способствовал бы сохранению добродетели; как-то яснее стало бы значение выражения «быть сильнее или слабее самого себя». Что же касается государства и частного человека, то этот последний принял бы за истину слово о руководящих нитях и счел бы нужным жить сообразно ему; государство же, приняв это слово от богов или же от познавшего все это человека, сделает его законом как для своих внутренних отношений, так и при сношениях с остальными государствами. Таким образом, порок и добродетель будут у нас яснее разграничены. Когда это станет нагляднее, то и воспитание и остальные обычаи станут, пожалуй, яснее, в том числе и вопрос о том, стоит ли проводить время, предаваясь вину. Раньше показалось, что по поводу столь незначительного предмета сказано было слишком много слов; теперь же может оказаться, что вопрос этот не

так уж недостоин этих длинных рассуждений.

Клиний. Прекрасно сказано. Приведем наше рассуждение к достойному концу.

Афинянин. Итак, скажи: если мы предоставим подобной кукле опьяняться, в какое состояние мы ее приведем?

Клиний. Что ты имеешь в виду, спрашивая так?

Афинянин. Ничего, кроме следующего: что случится, если одно соединится с другим? Попытаюсь еще яснее выразить свою мысль. Я спрашиваю следующее: не делает ли питье вина более сильными удовольствия, страдания, гнев, любовь?

Клиний. И даже очень.

Афинянин. А наши ощущения, память, мнения, мысли? Становятся ли они точно так же сильнее, или же человек, предаваясь чрезмерному пьянству, совершенно лишается их?

Клиний. Совершенно лишается.

Афинянин. Не правда ли, такой человек возвращается к состоянию души, какое ему было свойственно в младенчестве?

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. И тогда он всего менее может собой владеть.

Клиний. Да, всего менее.

Афинянин. Но разве это будет не никчемнейший человек?

Клиний. Без сомнения.

Афинянин. Так что, видимо, не одни только старики снова впадают в детство, но также и люди пьяные?

Клиний. Ты верно заметил, гость.

Афинянин. Есть ли доказательство, убеждающее нас, что надо отведать этого обычая, а не избегать его изо всех сил?

Клиний. Видимо, есть. По крайней мере ты утверждаешь это и даже был готов доказать.

Афинянин. Ты верно напомнил. Я готов и сейчас это сделать, ведь вы оба выразили живое желание меня слушать.

Клиний. Как же нам не желать? Если уж не ради чего иного, так ради удивительного и странного утверждения, будто человеку следует добровольно впадать в самое мерзкое состояние.

Афинянин. Ты разумеешь состояние души, не так ли?

Клиний. Да.

Афинянин. Ну а тело, мой друг? Удивимся ли мы, если кто по доброй воле опускается до негодности, худобы, срама, бессилия?

Клиний. Как не удивляться!

Афинянин. Так что же? Станем ли мы думать, будто те, кто обращается к врачам, не знают, что прием лекарств уже вскоре сделает их тело надолго таким, что они согласились бы лучше умереть, если бы им предстояло до конца своих дней пребывать в подобном состоянии? И разве нам неизвестно, что те, кто занимается тяжелыми гимнастическими упражнениями, становятся сперва точно больными.

Клиний. Мы все это знаем.

Афинянин. А также и то, что они добровольно идут на это ради последующей пользы?

Клиний. Конечно.

Афинянин. Но разве не надо и об остальных обычаях мыслить таким же образом?

Клиний. Да, надо.

Афинянин. В том числе и относительно того времяпрепровождения, когда люди предаются вину, если мы только правильно рассмотрели приведенные примеры.

Клиний. Без сомнений.

Афинянин. Итак, если окажется, что вино по своей пользе ничуть не хуже телесных упражнений, то у него будет перед ними еще и то преимущество, что они вначале сопряжены с

болью, оно же нет.

Клиний. В этом-то ты прав, но я был бы удивлен, если бы мы смогли усмотреть в нем какую-то пользу.

Афинянин. Вот это мы теперь и должны попытаться разъяснить. Скажи мне, можем ли мы мыслить два чуть ли не противоположных вида страха?

Клиний. Какие именно?

Афинянин. Следующие: мы боимся зол, ожидаемых нами.

Клиний. Да.

Афинянин. И боимся мы нередко чужого мнения — как бы нас не сочли за дурных людей, если мы совершаем или говорим что-либо нехорошее. Этот вид страха мы — да думаю, что и все, — называем стыдом.

Клиний. Без сомнения.

Афинянин. Вот о каких двух видах страха я говорил. Из них второй противоположен боли и остальным страхам; равным образом он противоположен и большинству величайших удовольствий.

Клиний. Ты совершенно прав.

Афинянин. Неужели же законодатель, да и всякий мало-мальски полезный человек не станет

благоговейнейшим образом чтить этот страх? И, назвав его совестливостью, не обозначит ли он противоположную ей отвагу как бесстыдство, которое он сочтет величайшим злом для всех как в частной, так и в общественной жизни?

Клиний. Ты прав.

Афинянин. Не правда ли, ничто — если только мы станем сравнивать каждое в отдельности — не доставляет нам столько великих преимуществ, в том числе победы и спасения на войне, как именно этот вид страха. Ведь есть две причины победы: отвага перед неприятелем и страх злого стыда перед друзьями.

Клиний. Это так.

Афинянин. Следовательно, каждый из нас должен стать и бесстрашным, и вместе с тем подверженным страху. Мы уже разобрали, почему это так.

Клиний. Да, вполне.

Афинянин. Желая сделать каждого человека бесстрашным, мы достигнем этого, согласно с законом, тем, что поставим его лицом к лицу со множеством разных страхов.

Клиний. Очевидно.

Афинянин. Ну а если мы хотим вселить в кого-либо справедливый страх? Разве не столкнем

мы его с бесстыдством для того, чтобы он наловчился побеждать свои удовольствия? А кто хочет достичь совершенства в мужестве, не должен ли бороться с присущей ему трусостью и не должен ли ее победить? Ведь тот, кто не упражнялся и неопытен в подобной борьбе — все равно, кто бы он ни был, — не станет по отношению к добродетели и наполовину тем, кем он должен бы стать. Кто же может стать вполне рассудительным, — тот ли, кто борется со множеством удовольствий и вожделений, увлекающих к бесстыдным, несправедливым поступкам, и побеждает их разумом, действием и искусством как во время развлечений, так и в серьезных делах, или же тот, кто вовсе не подвержен всему этому?

Клиний. Последнее маловероятно.

Афинянин. Так что же? Дал ли некий бог людям зелье, возбуждающее в них страх, и, чем больше кто станет его пить, тем несчастнее станет он себя считать с каждым глотком? Он будет страшиться и настоящего, и всего будущего, так что даже самый мужественный человек в конце концов будет охвачен ужасом; когда же он выспится и отрезвится, он снова станет самим собой.

Клиний. О каком напитке, принятом у людей, можем мы это утверждать, чужеземец?

Афинянин. Ни о каком. Но если бы такое средство откуда-нибудь взялось, разве не было бы оно полезно законодателю для испытания мужества? Мы могли бы в таком случае сказать ему, например, следующее: «Скажи, законодатель, дающий закон критянам или кому-то другому, не хотел бы ты прежде всего иметь средство испытывать граждан — их мужество и трусость?»

Клиний. Ясно: всякий скажет, что хотел бы.

Афинянин. «Далее. Хочешь ли ты испытать это средство осторожно и без больших опасностей или же наоборот?»

Клиний. И тут любой согласится, что лучше осторожно.

Афинянин. «Не воспользуешься ли ты этим напитком, чтобы, возбудив страх, наблюдать, кто каким оказался в таком состоянии, принудить человека стать бесстрашным, прибегая к увещаниям, внушениям и поощрениям и покрывая бесчестьем того, кто тебя не послушается и не станет во всем таким, как ты приказал? Не отпустишь ли ты без наказания того, кто хорошо и мужественно упражнялся, а тому, кто делал это плохо, не назначишь ли наказание? Или ты совсем не станешь пользоваться таким напитком, хотя нет никаких поводов его порицать?»

Клиний. Как же ему не пользоваться, чужеземец, этим напитком?

Афинянин. Это было бы, друг мой, легчайшим испытанием в сравнении с нынешними упражнениями в гимнастике. Его можно всегда применить к отдельным лицам, к немногим и вообще к какому угодно числу людей. Если кто-либо из стыдливости считал бы, что не до́лжно показываться, пока не усовершенствуешься, и стал бы наедине упражняться в борьбе со страхом, пользуясь вместо тысячи других средств только этим напитком, он поступил бы правильно. Кто верит самому себе, что он и природой, и своими заботами хорошо подготовлен, тот ничуть не побоится упражняться на виду, вместе со многими сотрапезниками. Он поступит правильно, потому что преодолеет и победит силу неизбежного действия напитка; ни в чем важном он не будет поколеблен непристойностью и вследствие своей добродетели ни в чем не изменится. Но пусть он остерегается излишеств в питье, боясь той победы, какую одерживает этот напиток над всеми людьми.

Клиний. Да, чужеземец, поступающий так высказал бы свою рассудительность.

Афинянин. Скажем же снова законодателю

вот что: «Да, о законодатель, ни бог не дал людям такого зелья для возбуждения страха, ни сами мы не изобрели его, — ибо здесь нет речи о магах на пиру. Но напиток, возбуждающий бесстрашие, чрезмерную отвагу, к тому же несвоевременную, недóлжную, существует ли он? Или как мы скажем?»

Клиний. Существует, скажет он, имея в виду вино.

Афинянин. «Не есть ли этот напиток полная противоположность первому? Сперва он делает человека, который его пьет, снисходительным к самому себе; и чем больше он его отведывает, тем большими исполняется надеждами на благо и на свою мнимую силу. В конце же концов он преисполняется словесной несдержанностью, точно он мудр, своеволием и совершенным бесстрашием, так что, не задумываясь, говорит и делает все, что угодно. С этим, я думаю, согласится всякий».

Клиний. Конечно.

Афинянин. Вспомним еще следующее. Мы сказали, что в наших душах дóлжно воспитывать два чувства: первое — чувство чрезмерной отваги, второе, наоборот, — чрезмерного страха.

Клиний. Если не ошибаемся, это то, что ты назвал совестливостью.

Афинянин. Вы прекрасно помните. Так как мужество и бесстрашие до́лжно развивать среди страха, то спрашивается, не следует ли воспитывать противоположные качества среди того, что противоположно страху?

Клиний. Очевидно.

Афинянин. Итак, по-видимому, в тех состояниях, испытывая которые мы по своей природе становимся смелыми и отважными, и надо упражняться, как можно менее преисполняясь бесстыдством и дерзостью и боясь совершить, испытать или сказать что-либо постыдное.

Клиний. Похоже, что так.

Афинянин. Вот все, что делает нас такими: гнев, страсть, наглость, невежество, корыстолюбие, трусость. Кроме того, еще: богатство, красота, сила и все пьянящее наслаждением и делающее нас безрассудными. Можем ли мы назвать какое-нибудь другое удовольствие, кроме испытания вином и развлечениями, более приспособленное к тому, чтобы сперва только взять пробу, дешевую и безвредную, всех этих состояний, а уж затем в них упражняться? Конечно, при этом необходимы некоторые предосторожности.

Обсудим же, как лучше испытать сварливую и вялую душу, из которой рождаются тысячи

несправедливостей: путем ли личных с ней общений, причем нам будет грозить опасность, или же путем наблюдений на празднестве Дионисий? Чтобы испытать душу человека, побеждаемого любовными наслаждениями, вверим ли мы ему собственных дочерей, сыновей и жен, подвергая опасности самые дорогие для нас существа, только для рассмотрения склада его души? Приводя тысячи подобных примеров, можно было бы говорить бесконечно в пользу того, насколько лучше это безвредное распознавание во время забав. Мы полагаем, ни критяне, ни другой кто не могут сомневаться, что это весьма удобный способ испытать друг друга. К тому же он превосходит остальные способы испытаний своей дешевизной, безопасностью и быстротой.

Клиний. Это верно.

Афинянин. Распознавание же природы и свойств душ было бы одним из самых полезных средств для того искусства, которое о них печется. А мы, я полагаю, признаём, что это относится к искусству государственного правления. Не так ли?

Клиний. Несомненно.

Книга II

Афинянин. После этого надо, конечно, рассмотреть следующий вопрос: приносит ли правильно поставленное употребление вина на пиршествах только одно это благо, то есть возможность распознать природные качества человека, или же есть еще одно великое преимущество, достойное всяческого усердия? Как мы скажем? Да, есть и еще одно преимущество; так, по-видимому, следует из нашего рассуждения. Но в чем оно состоит — вот что нам нужно рассмотреть со вниманием, чтобы не запутаться в этом вопросе.

Клиний. Итак, говори!

Афинянин. Я хочу вспомнить то, что ранее мы назвали правильным воспитанием. Ибо я догадываюсь, что упомянутое нами преимущество существует благодаря этому правильно поставленному обычаю.

Клиний. Ты говоришь о чем-то очень важном.

Афинянин. Я утверждаю, что первые детские ощущения — это удовольствие и страдание, и благодаря им сперва и проявляются в душе добродетель и порок. Что же касается разумения и прочных истинных мнений, то счастлив тот, в

ком они проявляются хотя бы в старости. Ведь кто обладает ими и всеми зависящими от них благами, тот — совершенный человек. Я называю воспитанием добродетель, проявляющуюся первоначально в детях. Если удовольствие, чувство дружбы, скорбь и ненависть возникнут надлежащим образом в душах людей, еще неспособных отнестись к ним разумно, то впоследствии, получив эту способность, они станут согласовывать с разумом эти правильно полученные ими навыки. Эта-то согласованность и есть вся добродетель в совокупности. Ту же часть добродетели, которая касается удовольствия и страдания, которая надлежащим образом приучает ненавидеть от начала до конца то, что следует ненавидеть, и любить то, что следует любить, — эту часть можно выделить в рассуждении и не без основания, по-моему, назвать ее воспитанием.

Клиний. Думается, ты прав, чужеземец, в своих прежних и нынешних замечаниях относительно воспитания.

Афинянин. Прекрасно! Итак, верно направленные удовольствия и страдания составляют воспитание; однако в жизни людской они во многом ослабляются и извращаются. Поэтому боги из сострадания к человеческому роду, рожденному

для трудов, установили взамен передышки от этих трудов божественные празднества, даровали Муз, Аполлона, их предводителя, и Диониса как участников этих празднеств, чтобы можно было исправлять недостатки воспитания на празднествах с помощью богов. Итак, повторяю, надо рассмотреть, истинно ли и согласно ли с природой наше нынешнее утверждение. Мы утверждали, что любое юное существо не может, так сказать, сохранять спокойствия ни в теле, ни в голосе, но всегда стремится двигаться еи издавать звуки, так что молодые люди то прыгают и скачут, находя удовольствие, например, в плясках и играх, то кричат на все голоса. У остальных живых существ нет ощущения нестройности или стройности в движениях, носящей название гармонии и ритма. Те же самые боги, о которых мы сказали, что они дарованы нам как участники наших хороводов, дали нам чувство гармонии и ритма, сопряженное с удовольствием. При помощи этого чувства они движут нами и предводительствуют нашими хороводами, когда мы объединяемся в песнях и плясках. Хороводы (χοροΰς) были названы так из-за внутреннего сродства их со словом «радость» (χαράς).

Не согласимся ли мы прежде всего с этим и не

установим ли, что первоначальное воспитание совершается через Аполлона и Муз? Как вам думается?

Клиний. Да, так.

Афинянин. Следовательно, мы скажем, что тот, кто не упражнялся в хороводах, человек невоспитанный, а кто достаточно в них упражнялся, тот воспитан.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Искусство хоровода в целом состоит из песен и плясок.

Клиний. Несомненно.

Афинянин. Поэтому хорошо воспитанный человек должен уметь прекрасно петь и плясать.

Клиний. Очевидно.

Афинянин. Посмотрим же, что означают эти только что сказанные слова.

Клиний. Какие?

Афинянин. Он прекрасно поет, сказали мы, и прекрасно пляшет. Не добавим ли мы, что это лишь стогда будет прекрасно, если он поет и пляшет что-то прекрасное?

Клиний. Добавим.

Афинянин. А также и другое условие: он должен считать прекрасным то, что действительно прекрасно, и безобразным то, что действительно

безобразно, и эти свои убеждения применять на деле. Не будет ли такой человек лучше воспитан в смысле мусического искусства и искусства хороводов, чем тот, кто не радуется прекрасному и не питает ненависти к дурному, хотя и умеет иной раз удачно служить телодвижениями и голосом тому, что он признает прекрасным? Верно, все-таки лучше тот, кто не слишком исправен в голосе и телодвижениях, но правильно следует удовольствиям и скорби и таким путем приветствует прекрасное и отвергает дурное?

Клиний. Между ними, чужеземец, большая разница в воспитании.

Афинянин. Не правда ли, если бы мы все трое узнали, что именно прекрасно в пении и пляске, мы надлежащим образом отличили бы человека воспитанного от невоспитанного. Если же мы не будем этого знать, то вряд ли сможем определить, что и как способствует сохранению воспитания. Не так ли?

Клиний. Конечно, так.

Афинянин. И вот после этого нам, точно собакам-ищейкам, надо разыскать, что́ прекрасно в телодвижениях, пляске, напеве и песне. Если же это от нас ускользнет, все наше рассуждение о правильном воспитании, эллинском или варвар-

ском, будет впустую.

Клиний. Да.

Афинянин. Хорошо! Какие же телодвижения и напевы надо признать прекрасными? Скажи-ка: при одних и тех же, равно тяжелых, обстоятельствах схожими ли окажутся телодвижения и речи души мужественной и души трусливой?

Клиний. Как можно! Даже оттенок у них будет разный.

Афинянин. Отлично, друг мой! Ведь и в мусическом искусстве есть телодвижения и напевы. Но так как предметом этого искусства служат гармония и ритм, то оно может быть только ритмичным и гармоничным; поэтому совершенно неверно уподобление, которое делают учителя хоров, когда говорят о красочности напевов или телодвижений. Что же касается телодвижений и напевов человека трусливого или мужественного, то справедливо можно признать, что у мужественных они прекрасны, у трусливых — безобразны. Но чтобы не возникло у нас по этому поводу чрезмерного многословия, давайте просто признаем, что все телодвижения и напевы, выражающие душевную и телесную добродетель — ее самое или какое-либо ее подобие, — прекрасны, а все те, что выражают порок, безобразны.

Клиний. Твое предложение правильно; именно так пусть и будет теперь постановлено нами.

Афинянин. Вот еще что: с одинаковой ли радостью мы все участвуем во всех хороводных плясках или же вовсе нет?

Клиний. С совершенно неодинаковой.

Афинянин. Что же, скажем мы, вводит нас в заблуждение? Разве не одно и то же прекрасно для всех нас или же хотя на деле это так, но кажется нам, что не одно и то же? Никто не скажет, будто хороводы, выражающие порок, прекраснее хороводов, выражающих добродетель, и будто сам он радуется скверным телодвижениям, а остальные радуются какой-либо противоположной этому Музе. Впрочем, большинство утверждает, что степень получаемого душой удовольствия и служит признаком правильности мусического искусства. Однако такое утверждение неприемлемо и совсем нечестиво. Вот что, по-видимому, вводит нас в заблуждение…

Клиний. Что именно?

Афинянин. Ввиду того что все относящееся к искусству — это воспроизведение поведения людей, их разнообразных поступков и обычаев при всяких обстоятельствах, так что путем подражания воспроизводятся все черты этого поведения,

то естественно, что им радуются, их хвалят и признают прекрасными, конечно, те люди, с природой или с привычками которых — либо с тем и другим вместе — согласуются как хороводные слова и напевы, так и сами хороводы. Те же, природе, нравам или привычкам которых эти пляски противоречат, не могут ни радоваться им, ни их хвалить, но признают их безобразными. Наконец, у тех, кто имеет хорошие природные свойства, но обычаи, им противоположные, или же, наоборот, обычаи правильные, а природные свойства негодные, похвалы, высказываемые вслух, противоречат испытываемому удовольствию. Так, они говорят, что иные хороводы дурны, хотя и доставляют удовольствие. Они стыдятся подобных телодвижений, стыдятся подобных песен перед людьми, которых они признают разумными, боясь, как бы не подумали, что они признают это прекрасным и потому так усердны; про себя же они всему этому радуются.

Клиний. Ты совершенно прав.

Афинянин. Не приносит ли это некоторого вреда тому, кто радуется безобразным телодвижениям и песням? Напротив, не получают ли некоторой пользы те, кто находит удовольствие в противоположном?

Клиний. Вероятно.

Афинянин. Только ли вероятно или же необходимо должно случиться с таким человеком то же самое, что бывает с теми, кто постоянно общается с испорченными и злыми людьми? Он не отталкивает их, а, наоборот, радуется им, они ему приятны; если же он их порицает, то только в шутку, точно его собственная никчемность лишь сон. В этом случае радующийся неизбежно уподобляется тем, кому он радуется, хотя он и стыдится их хвалить. Разве можно назвать большее благо или зло, возникновение которого неизбежно?

Клиний. Мне кажется, нельзя.

Афинянин. Но там, где законы прекрасны или будут такими впоследствии, можно ли предположить, что всем людям, одаренным творческим даром, будет дана возможность в области музического воспитания и игр учить тому, что по своему ритму, напеву, словам нравится самому поэту? Допустимо ли, чтобы мальчики и юноши, дети послушных закону граждан, подвергались случайному влиянию хороводов в деле добродетели и порока?

Клиний. Как можно! Это лишено разумного основания.

Афинянин. Однако в настоящее время именно это разрешается во всех государствах, кроме Египта.

Клиний. Какие же законы относительно этого существуют в Египте?

Афинянин. Даже слышать о них удивительно! Искони, видно, было признано египтянами то положение, которое мы сейчас высказали: в государствах у молодых людей должно войти в привычку занятие прекрасными телодвижениями и прекрасными песнями. Установив, что́ прекрасно, египтяне объявили об этом на священных празднествах и никому — ни живописцам, ни другому кому-то, кто создает всевозможные изображения, ни вообще тем, кто занят мусическими искусствами, — не дозволено было вводить новшества и измышлять что-либо иное, не отечественное. Не допускается это и теперь. Так что если ты обратишь внимание, то найдешь, что произведения живописи или ваяния, сделанные там десять тысяч лет назад (и это не для красного словца — десять тысяч лет, а действительно так), ничем не прекраснее и не безобразнее нынешних творений, потому что и те и другие исполнены при помощи одного и того же искусства.

Клиний. Это удивительно!

Афинянин. Да, в высшей степени мудрый закон для государства. В другом ты сможешь найти там и кое-что неудачное. Но это постановление относительно мусического искусства верно. Заслуживает внимания, что оказалось возможным и в таком деле установить, путем твердых законов, бодрящие песни, по своей природе ведущие к надлежащему. Это должно было быть делом бога или какого-либо божественного человека. Недаром египтяне утверждают, что песни эти, сохраняющиеся в течение столь долгого времени, — творение Исиды. Как я уже сказал, если бы кто смог так или иначе схватить то, что в произведениях искусства есть надлежащего, ему надо было бы смело установить это как правило и закон. Ведь стремление к удовольствию или страданию, выражающееся в мусическом искусстве в поисках нового, не настолько, пожалуй, сильно, чтобы сгубить древние священные хороводы под предлогом, будто они устарели. По крайней мере в Египте это вовсе не могло случиться, совсем напротив.

Клиний. Из нынешних твоих слов ясно, что это действительно так.

Афинянин. Отважимся же сказать, что применение мусического искусства и игр, сопряженных

с плясками, правильно в том случае, если мы радуемся, когда поступаем хорошо, и, наоборот, когда радуемся, это значит, что мы хорошо поступаем. Не правда ли?'

Клиний. Да, конечно.

Афинянин. И в то время, когда мы радуемся, мы не можем сохранять спокойствие?

Клиний. Это так.

Афинянин. Наша молодежь и сама по себе готова водить хороводы, мы же, старшие, считаем более приличным коротать время, глядя на них, радуясь их праздничным играм. Мы тоскуем по былой нашей ловкости, покинувшей нас теперь, и охотно устраиваем состязания для тех, кто всего более может пробудить в нас воспоминание о нашей молодости.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Станем ли мы считать сущим вздором высказываемое в наше время большинством мнение об участниках празднеств, гласящее, что надо считать самым мудрым и признать победителем того, кто всего более развеселит нас и заставит радоваться? На празднествах мы предаемся играм; поэтому будто бы до́лжно всего более почитать тех, кто сильнее развеселит большинство людей. Такой человек, как я только

что сказал, должен будто бы получить победный приз. Разве неверно это мнение, разве неправильно было бы поступать именно так?

Клиний. Возможно, и правильно.

Афинянин. Но, дорогой мой, не станем поспешно судить о столь важном деле. Разберемся в нем и по частям обсудим его таким образом: если бы вдруг кто-нибудь попросту установил какое-либо состязание, не определив, будет ли оно гимнастическим, конным или мусическим; если бы он собрал всех находящихся в государстве, установил награды и сказал перед началом, что всякий желающий может выступить на этом состязании и цель этого состязания заключается только в том, чтобы доставить удовольствие, так что тот, кто всего более усладит зрителей (хоть и неясно, каким именно образом), этим-то и одержит победу и будет признан самым приятным участником состязания, — к чему привело бы подобное предисловие?

Клиний. О чем ты говоришь?

Афинянин. Возможно, что один выступит с рапсодией, как Гомер, другой — с песнями под кифару, третий — с какой-либо трагедией, четвертый — с комедией, и нет ничего удивительного, если кто выступит с кукольным театром и ста-

нет считать, что у него всего более данных для победы. И вот, если явятся такие состязающиеся и тысячи других им подобных, можем ли мы сказать, кому достанется по праву победа?

Клиний. Странный вопрос! Кто может тебе на него ответить со знанием дела, прежде чем он выслушает сам каждого из состязающихся?

Афинянин. А хотите, я отвечу на этот странный вопрос?

Клиний. Как?

Афинянин. Если бы судили малыши, они высказались бы в пользу кукольника. Не так ли?

Клиний. Да.

Афинянин. Если бы судили подростки, то в пользу комедии; в пользу трагедии — образованные женщины, молодые люди и, пожалуй, чуть ли не большинство зрителей.

Клиний. Весьма возможно.

Афинянин. Мы же, старики, скорее всего присудили бы победу рапсоду, хорошо прочитавшему «Илиаду» или «Одиссею» или что-либо из Гесиода; ведь нам он доставит всего более удовольствия. Вот после этого и является вопрос: кто же на самом деле победитель? Правда ведь?

Клиний. Да.

Афинянин. Очевидно, мы с вами неизбежно

скажем, что на самом деле победил тот, кто признан людьми нашего возраста. Ведь наш образ мыслей кажется наилучшим из всех, встречающихся ныне повсюду в различных государствах.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Соответственно я соглашаюсь и с большинством, по крайней мере в том, что мерило мусического искусства — удовольствие. Однако прекраснейшей я признаю ту Музу, что доставляет наслаждение не первым встречным, но людям наилучшим, получившим достаточно хорошее воспитание, в особенности же ту Музу, которая доставляет его человеку, выделяющемуся своей добродетелью и воспитанием. Мы потому утверждаем необходимость добродетели для тех, кто судит об этих вопросах, что им нужно быть причастными ко всей остальной разумности, особенно к мужеству. Ибо истинный судья не должен судить под влиянием театральных зрителей, не должен быть ошеломлен шумом толпы и своей собственной невоспитанностью. Человек сведущий не должен из-за недостатка мужества, из-за трусости легкомысленно произносить ложное суждение теми же устами, которыми призывал он богов пред началом суда. Ведь судья восседает в театре не как ученик зрителей, но, по спра-

ведливости, как их учитель, чтобы оказывать противодействие тем, кто доставляет зрителям неподобающее и ненадлежащее удовольствие. Именно таков был старинный эллинский закон. Он не был таким, как нынешние сицилийские и италийские законы, предоставляющие решение толпе зрителей, так что победителем является тот, за кого всего больше было поднято рук. Этот закон погубил и самих поэтов, ибо они в своем творчестве стали приноравливаться к дурному вкусу своих судей, так что зрители воспитывают сами себя. Он извратил и удовольствие, доставляемое театром, ибо следовало, чтобы зрители усовершенствовали свой вкус, постоянно слыша о нравах лучших, чем у них самих. Теперь же дело обстоит как раз наоборот. Однако что мы имеем в виду при наших нынешних рассуждениях? Посмотрите, не это ли?..

Клиний. Что?

Афинянин. Мне кажется, наше рассуждение в третий или четвертый раз приходит к одному и тому же: воспитание есть привлечение и приведение детей к такому образу мыслей, который признан законом правильным и в действительной правильности которого убедились к тому же на опыте люди самые почтенные и престарелые.

И вот, чтобы душа ребенка не приучалась радоваться и скорбеть вопреки закону и людям, ему послушным, и чтобы ребенок следовал в своих радостях и скорбях тому же самому, что и старик, и появились песни (ωδαί). Мы их так называем; на самом же деле это заклинания (ἐπωδαί), зачаровывающие душу; они имеют серьезную цель — достичь гармонии, о которой мы говорили. А так как души молодых людей не могут выносить серьезного, то их и надо было назвать забавой, песнями и исполнять их только в качестве таковых, ведь людям больным и слабым телом ухаживающие за ними стараются подносить полезную пищу в сладких блюдах или напитках, а вредные средства — в несладких, чтобы больные правильно приучались любить первые и ненавидеть вторые. Точно так же хороший законодатель будет убеждать поэта прекрасными речами и поощрениями; в случае же неповиновения он уже станет принуждать его творить надлежащим образом и изображать в ритмах телодвижения, а в гармониях — песни людей рассудительных, мужественных и во всех отношениях хороших.

Клиний. Клянусь Зевсом, чужеземец, неужели ты думаешь, будто так поступают теперь в остальных государствах? Я по крайней мере, на-

сколько мог заметить, не вижу, чтобы то, что ты говоришь, соблюдалось где-либо, кроме как у нас и у лакедемонян. Наоборот, постоянно возникают новшества и в плясках, и во всем прочем мусическом искусстве. Эти изменения происходят не по закону, а под влиянием каких-то беспорядочных удовольствий, которые далеко не таковы, как в Египте, и следуют совсем не тем обычаям, какие, по твоим словам, приняты там.

Афинянин. Совершенно верно, Клиний. Если же тебе показалось, будто я сказал, что уже теперь осуществлено то, о чем ты говоришь, то, видно, — и это неудивительно — я допустил неясность в выражении моей мысли, и потому она была так понята. Я высказал только свои пожелания об осуществлении в мусическом искусстве известных вещей, а тебе, вероятно, показалось, будто я говорю о том, что уже существует. Осуждать то, что неисправимо и уже погрязло в пороке, вовсе не сладко, однако иногда это неизбежно. Если и ты согласен с этим, то скажи: у вас и у лакедемонян эти обычаи соблюдаются лучше, чем у прочих эллинов?

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Если бы они соблюдались и у остальных, то не признали бы мы такое положе-

ние вещей лучшим, чем нынешнее?

Клиний. Было бы несравненно лучше, если бы осуществилось это твое пожелание и эти обычаи соблюдались не только у нас и у лакедемонян.

Афинянин. Давайте же сделаем общее заключение. Не сводятся ли правила всего вашего воспитания и мусического искусства к следующему: вы принуждаете поэтов говорить, что хороший человек, будучи рассудительным и справедливым, счастлив и блажен, все равно велик ли он и силен или же мал и слаб и богат ли он или нет. Если он богаче Кинира и Мидаса, но несправедлив, то он несчастлив и жизнь его докучна. «Ни во что не считал бы, — говорит наш поэт (и, видно, он прав), — и не помянул бы я мужа», который не имеет и не осуществляет на деле всех так называемых благ, руководствуясь справедливостью. Хотя бы «и устремлялся» такой человек «в бой рукопашный вступить», однако, будучи несправедливым, он не осмелится «взирать на кровавое дело» и не будет в беге «быстрей, чем фракийский Борей». Такому человеку никогда и ничего из этих благ не достанется. Впрочем, то, что большинство называет благом, называется так неверно. Ведь говорят обычно, будто самое лучшее — это здоровье, во-вторых,

красота, в-третьих, богатство; называют и тысячи других благ, например острое зрение и слух и вообще хорошее состояние органов чувств. Сюда же относят возможность исполнять все свои желания в случае обладания тиранической властью. Наконец, верхом всякого блаженства, при обладании всем этим, считается возможность стать поскорее бессмертным. Мы же с вами утверждаем, что для людей справедливых и благочестивых все это действительно наилучшие достояния, но для несправедливых все это, начиная со здоровья, наихудшее зло. Да и зрение, слух, чувства, вообще вся жизнь — величайшее зло для такого человека, хотя бы он обладал вечным бессмертием и приобрел все так называемые блага, кроме справедливости и всей добродетели в целом. Меньшее зло, если такой человек проживет возможно более короткое время. Я думаю, вы убедите и принудите ваших поэтов выражать все сказанное мною: подобрав соответствующие ритмы и гармонию, они именно таким образом должны воспитывать вашу молодежь. Не так ли? Смотрите, я определенно утверждаю: то, что́ называют злом, есть благо для людей несправедливых, а для справедливых — зло. Благо же для людей благих на самом деле благо, для злых

— зло. Поэтому я и задаю вопрос: согласны ли вы со мной или нет?

Клиний. Мне кажется, кое в чем — да, но в ином — нет.

Афинянин. Неужели же я не убедил вас, что человек, обладающий здоровьем, богатством, наконец, тиранической властью (прибавлю еще для вас: у него выдающаяся сила, мужество и вместе с тем бессмертие, с ним не случается ни одного из так называемых бедствий, кроме только того, что он исполнен несправедливости и наглости), — что человек, живущий таким образом, вовсе не счастлив, а, напротив, жалок?

Клиний. Ты совершенно прав.

Афинянин. Прекрасно. О чем же нам говорить после этого? Разве вам не кажется, что жизнь человека несправедливого и наглого неизбежно позорна, будь он и мужествен, и силен, и красив, и богат, и делай в течение всей своей жизни все, что он хочет? С тем, что она позорна, вы, пожалуй, все-таки согласитесь?

Клиний. Конечно.

Афинянин. Что же? И с тем, что она плоха?

Клиний. С этим не в такой степени.

Афинянин. Почему? А с тем, что она неприятна и вредна для него самого?

Клиний. Но как можно с этим согласиться?!

Афинянин. По-видимому, лишь в том случае, если какой-либо бог дарует нам, друзья, согласие; ведь теперь-то у нас порядочная разноголосица. Мне же, друг Клиний, все это кажется более необходимым и очевидным, чем то, что Крит — остров. Будь я законодатель, я попытался бы принудить поэтов и вообще всех в государстве высказываться именно так; чуть ли не самое большое наказание назначил бы я тому, кто стал бы в стране выражать мнение, будто существуют какие-то люди, жизнь которых приятна, хотя они и дурны, и будто полезным и выгодным является одно, а справедливым — другое. Я стал бы убеждать моих граждан выражать и много других мнений, по-видимому противоположных взглядам нынешних критян и лакедемонян, да и отличающихся от взглядов прочих людей. Скажите-ка вы, лучшие из людей, ради Зевса и Аполлона, не спросить ли нам самих этих богов, давших вам законы: не есть ли жизнь в высшей степени справедливая вместе с тем и в высшей степени приятная или же есть два рода жизни: один — в высшей степени приятный, другой — в высшей степени справедливый? Если боги ответят, что есть два рода, мы, пожалуй, спросили бы (надо

только правильно ставить вопросы): кого следует называть более счастливыми — тех ли, кто ведет самую справедливую жизнь, или тех, кто ведет самую приятную? Если бы боги ответили, что последних, слова их прозвучали бы странно. Но не хочу говорить таких вещей о богах; скорее скажу это о наших отцах и законодателях. Пусть поставленный раньше вопрос относится к отцу и к законодателю. Предположим, он ответит, что человек, ведущий самую приятную жизнь, всего более счастлив. Я по крайней мере после этого спросил бы его: «Отец мой, разве ты не хотел бы, чтобы я жил возможно более счастливо? Между тем ты непрестанно внушал мне, что надо вести жизнь по возможности более справедливую». Кто изложил бы так свои правила — все равно, законодатель он или отец, — тот оказался бы, думаю я, в странном и затруднительном положении с точки зрения согласованности своих слов. Если же, напротив, он объявил бы, что наиболее справедливая жизнь и есть самая счастливая, то, думаю, всякий внимающий его словам стал бы исследовать, что именно прекрасное и благое оказывается в человеке сильнее удовольствия и одобряется в качестве такового законом. Что, лишенное удовольствия, может явиться для чело-

века справедливого благом? Скажи-ка, неужели слава и хвала со стороны людей и богов, хотя они и есть нечто благое и прекрасное, все же неприятны, а бесславие — наоборот? Конечно, нет, дорогой наш законодатель, скажем мы. Неужели неприятно никого не обижать и не быть никем обиженным, хотя это-то и есть нечто благое и прекрасное, и неужели же противное приятно, несмотря на то что оно позорно и дурно?

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Итак, учение, не отделяющее приятное от справедливого, благого и прекрасного, имеет по крайней мере то преимущество, что убеждает каждого человека желать благочестивой и справедливой жизни. Если же законодатель станет утверждать, что это не так, то слова его будут в высшей степени позорны и противоречивы. Ведь никто не дал бы себя убедить добровольно исполнять то, что не влечет за собой больше радости, чем страдания. То, на что смотрят издалека, причиняет, так сказать, головокружение всем, а особенно детям. Законодатель же, по-моему, разогнав эту дымку, должен создать у других ясное мнение. Он должен убеждать с помощью всяких навыков, похвал и рассуждений, что справедливость и несправедливость — точно свет и

тень на картине: несправедливость противоположна справедливости, и, когда смотришь на нее с ее собственной точки зрения, несправедливой и дурной, она кажется приятной, а справедливость — в высшей степени неприятной; если же смотреть с точки зрения справедливости, то все выходит как раз наоборот.

Клиний. Это очевидно.

Афинянин. Какую из этих двух точек зрения признаем мы более значительной в смысле истинности суждения? Точку ли зрения худшей души или же лучшей?

Клиний. Необходимо признать, что лучшей.

Афинянин. Значит, необходимо признать и то, что несправедливая жизнь не только более позорна и скверна, но и поистине более неприятна, чем жизнь справедливая и благочестивая.

Клиний. По крайней мере, мой друг, так вытекает из нашего рассуждения.

Афинянин. Но если бы даже это было не так — а возможность этого показало наше нынешнее рассуждение, — то законодатель, хоть сколько-нибудь полезный, дерзнул бы, как и в иных случаях, употребить ложь по отношению к молодым людям ради их же блага. А разве смог бы он найти ложь более полезную, чем эта, для того

чтобы заставить добровольно, а не по принуждению поступать во всем справедливо?

Клиний. Истина прекрасна, чужеземец, и пребывает незыблемой, но убедить в ней, видимо, нелегко.

Афинянин. Допустим. Однако оказалось легким делом заставить поверить сказке про сидонца, хотя она столь невероятна, да и тысяче других.

Клиний. Какой сказке?

Афинянин. О том, как из посеянных зубов родились вооруженные люди. Для законодателя это великий пример, что можно убедить души молодых людей в чем угодно. Поэтому ни о чем другом он так не должен заботиться, как о том, чтобы разыскать все то, уверенность в чем доставит государству величайшее благо. Законодатель должен найти всевозможные средства, чтобы узнать, каким образом можно заставить всех живущих совместно людей постоянно, всю свою жизнь выражать как можно более одинаковые взгляды относительна этих предметов как в песнях, так и в сказаниях и рассуждениях. Если вы придерживаетесь иного мнения, чем я, то ничто не препятствует подвергнуть обсуждению спорный вопрос.

Клиний. Мне кажется, ни один из нас не может

спорить с этими положениями.

Афинянин. Следовательно, мое дело говорить о дальнейшем. Я утверждаю, что все три существующих хоровода должны петь песни, очаровывающие молодые, еще нежные души детей. В этих песнях надо высказывать все то прекрасное, что мы изложили и еще, пожалуй, изложим. Но главным пусть будет следующее: наилучшая жизнь признается богами наиприятнейшей. Высказывая это, мы выразим сущую правду и вместе с тем скорее убедим тех, кого надо, чем если бы мы выражали этот взгляд как-то иначе.

Клиний. Надо согласиться с твоими словами.

Афинянин. Итак, вполне правильно было бы первым выступить детскому хороводу Муз, чтобы со всевозможным рвением перед всем государством открыто воспевать все нами сказанное. Второй хоровод будет состоять из людей, еще не достигших тридцати лет. Он будет призывать Пеана в свидетели истинности своих слов, моля его быть милостивым к молодым и помочь убедить их. В третьем хороводе будут петь люди от тридцати лет до шестидесяти. А кто старше этого возраста, кто уже не в силах петь, те пусть будут сказителями мифов об этих же нравственных правилах, основанных на божественном

откровении.

Клиний. О каком это третьем хороводе говоришь ты, чужеземец? Мы как-то не слишком ясно представляем себе, что ты хочешь этим сказать.

Афинянин. А между тем чуть ли не ради него и было изложено почти все предшествующее.

Клиний. Мы все еще не понимаем. Попытайся объясниться.

Афинянин. Как вы помните, мы сказали в начале нашего рассуждения, что природа всех молодых существ пламенна и потому не в состоянии сохранять спокойствия ни в теле, ни в голосе, а непрерывно и беспорядочно издает звуки и скачет. Кроме человека, ни одно из остальных живых существ не обладает чувством порядка в телодвижениях и звуках. Порядок в движении носит название ритма, порядок в звуках, являющийся при смешении высоких и низких тонов, носит имя гармонии. То и другое вместе называется искусством хора. Затем мы сказали, что боги из сострадания дали нам в участники и предводители наших хороводов Аполлона и Муз; третьим же мы назвали, насколько помнится, Диониса.

Клиний. Конечно, мы помним это.

Афинянин. О хоре Аполлона и Муз уже было сказано. Теперь необходимо поговорить об остав-

шемся, третьем хоре — хоре Диониса.

Клиний. Как? Расскажи об этом. Ведь тому, кто впервые слышит о дионисическом хоре старцев, это кажется очень странным. Неужели этот хор действительно будет состоять из людей, которым уже за тридцать, из тех, кому пятьдесят лет, вплоть до шестидесяти?

Афинянин. Ты говоришь сущую правду. Действительно, это надо обосновать, чтобы показать, как это согласуется со здравым рассудком.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Не правда ли, по крайней мере относительно предшествующего-то мы согласны?

Клиний. Относительно чего именно?

Афинянин. Что каждый человек, взрослый или ребенок, свободный или раб, мужчина или женщина, — словом, все целиком государство должно беспрестанно петь для самого себя очаровывающие песни, в которых будет выражено все то, что мы разобрали. Они должны и так и этак постоянно видоизменять и разнообразить песни, чтобы поющие испытывали удовольствие и какую-то ненасытную страсть к песнопениям.

Клиний. Можно ли не согласиться, что это должно быть именно так?

Афинянин. При каких же условиях лучшая

часть государства, внушающая наибольшее доверие ввиду своего возраста да и разумности, воспевая самое прекрасное, принесет всего больше блага? Неужели мы по неразумию пропустим самое замечательное из наипрекраснейших и наиполезнейших песен?

Клиний. Из твоих слов вытекает, что пропустить это совершенно невозможно.

Афинянин. Но как можно подобающим образом это осуществить? Посмотрите, не так ли?..

Клиний. Как?

Афинянин. Всякий человек, достигший преклонных лет, полон робости по отношению к песням. Он уже не испытывает удовольствия, исполняя их; если же в том возникает нужда, то он стыдится тем больше, чем он старше и рассудительнее. Не правда ли?

Клиний. Правда.

Афинянин. Поэтому еще больше стал бы он стыдиться, если бы ему пришлось петь в театре, выступая перед пестрой толпой людей. Если бы слабые старики были принуждены петь натощак, как это делают натренированные хоры, состязающиеся из-за победы, они делали бы это совершенно без удовольствия, напротив, со стыдом и неохотой.

Клиний. Да, это неизбежно.

Афинянин. Как же можем мы их уговорить петь охотно? Не правда ли, мы установим закон, чтобы дети до восемнадцати лет совершенно не вкушали вина; мы растолкуем, что не надо ни в теле, ни в душе к огню добавлять огонь, прежде чем человек не достигнет того возраста, когда можно приняться за труд. Должно остерегаться неистовства, свойственного молодым людям. Более старшим, 30-летним, можно уже вкушать вино, но умеренно, ибо молодой человек должен совершенно воздерживаться от пьянства и обильного употребления вина. Достигшие сорока лет могут пировать на сисситиях, призывая как остальных богов, так в особенности и Диониса на священные празднества и развлечения стариков. Ведь Дионис даровал людям вино как лекарство от угрюмой старости, и мы снова молодеем и забываем наше скверное настроение, жесткий наш нрав смягчается, точно железо, положенное в огонь, и потому делается более гибким. Итак, прежде всего разве не с большой охотой пожелает всякий, испытывающий подобное состояние, петь и, как мы не раз уже говорили, зачаровывать окружающих? При этом он будет испытывать меньший стыд, находясь среди скромного числа

слушателей, а не перед целой толпой, среди близких, а не среди чужих.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Так что этот способ заставить стариков участвовать у нас в пении не так-то уж несообразен.

Клиний. Совсем нет.

Афинянин. Но что будут петь эти люди? Какова будет их Муза? Впрочем, ясно, что это будет нечто приличествующее им самим.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Но что подобает божественным людям? Не хороводные ли песни?

Клиний. По крайней мере мы, чужеземец, да и лакедемоняне также вряд ли сможем исполнять какие-либо иные песни, чем те, которым мы научились в хороводах и которые мы привыкли петь.

Афинянин. Это естественно. В самом деле, ведь вы не владеете лучшими песнопениями, ведь ваше государство — это военный лагерь, а не мирное городское жительство, и ваши юноши — точно жеребята, пасущиеся в общих стадах. Никто из вас не держит при себе своего сына, не извлекает его, сильно одичавшего и раздраженного, из среды пасущихся вместе с ним, не

приставляет к нему особого конюха, не воспитывает его, чистя скребницей и укрощая. Никто не предоставляет молодому человеку всего требуемого для воспитания, чтобы он стал не только хорошим воином, но мог бы управлять государством и городами. А ведь такой человек, как мы вначале сказали, будет лучшим воином, нежели воины Тиртея, ибо он повсюду — и в частном обиходе, и в государственном — станет всегда почитать мужество четвертым, а не первым достоянием добродетели.

Клиний. Я не знаю, чужеземец, за что ты снова порицаешь наших законодателей.

Афинянин. Дорогой мой, если я и делаю это, то совершенно ненамеренно. Впрочем, если хотите, давайте двигаться тем путем, которым нас ведет рассуждение. Если бы у нас была Муза более прекрасная, чем Муза хороводов и общественных театров, мы попытались бы предоставить ее тем, кто, по нашим словам, стыдится этой Музы и разыскивает ту, что всех прекраснее, чтобы с нею общаться.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Не правда ли, со всем тем, с чем связана какая-нибудь приятность, дело обстоит так, что самое важное — это либо именно сама

приятность, либо какая-то правильность, либо, наконец, польза. Для примера укажу на ту приятность, которая связана с едой, питьем и всем вообще питанием и которую мы, пожалуй, назовем удовольствием. Что же касается правильности и пользы, то признаваемое нами в каждом отдельном случае за здоровое и есть в этих случаях самое правильное.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Точно так же и в учении присутствует связанное с приятностью удовольствие, а истина довершает правильность, пользу, благо и красоту.

Клиний. Да, это так.

Афинянин. Ну а изобразительные искусства? Если созданные ими произведения, схожие с подлинником, доставляют вдобавок и удовольствие, то не следует ли с полным правом и это признать приятностью?

Клиний. Да.

Афинянин. Однако правильность в этих искусствах обусловлена прежде всего не удовольствием, но, говоря в целом, равенством воспроизведения и подлинника в отношении величины и качества.

Клиний. Верно.

Афинянин. Следовательно, удовольствие служит правильным мерилом только в таких вещах, которые хотя и не несут с собой пользы, истины и подобия, однако, с другой стороны, не доставляют и никакого вреда, ено творятся исключительно ради того, что в других случаях является лишь сопутствующим, то есть ради приятности, которую великолепно можно назвать удовольствием, если с ней не связаны вышеупомянутые свойства.

Клиний. Ты говоришь лишь о безвредном удовольствии?

Афинянин. Да, и называю это забавой тогда, когда оно не приносит ни вреда, ни пользы чему-нибудь действительно существенному.

Клиний. Ты сказал сущую правду.

Афинянин. На основании только что сказанного уже нельзя утверждать, будто мерило подражания — это удовольствие или неистинное мнение. То же самое относится и ко всякому равенству. Ведь равное является равным и соразмерное соразмерным не потому, что так нравится или по вкусу кому-либо, но мерилом здесь выступает по преимуществу не что иное, как истина.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Не признаем ли мы всякое мусическое искусство изобразительным и подража-

тельным?

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Значит, совершенно нельзя согласиться с тем, что мерило мусического искусства — удовольствие. Если где и существует такое мусическое искусство, то всего менее стоит его искать, точно это нечто важное. Надо исследовать лишь тот род мусического искусства, который, воспроизводя прекрасное, обладает с ним сходством.

Клиний. Ты вполне прав.

Афинянин. Поэтому люди, ищущие самую прекрасную песнь, должны разыскивать, как кажется, не ту Музу, что приятна, но ту, которая правильна. А правильность подражания заключается, как мы сказали, в соблюдении величины и качества подлинника.

Клиний. Это так.

Афинянин. Что касается мусического искусства, то ведь всякий согласится, что все относящиеся к нему создания — это подражания и воспроизведения. Неужели с этим не согласятся все поэты, слушатели и актеры?

Клиний. Без сомнения, согласятся.

Афинянин. Конечно, о каждом отдельном произведении надо, чтобы не впасть в ошибку,

знать, что́ оно собой представляет. Кто не знает его сущности, направленности и чему оно действительно подражает, тот едва ли распознает правильность или ошибочность его замысла.

Клиний. Да, едва ли.

Афинянин. Но человек, не знающий, что́ правильно, будет ли в состоянии распознать, что хорошо и что дурно? Впрочем, я выражаюсь недостаточно ясно; быть может, так будет яснее…

Клиний. Как?

Афинянин. У нас есть тысячи воспроизведений, предназначенных для глаз.

Клиний. Да.

Афинянин. Далее. Если бы кто-нибудь при этом не знал, что́ именно служит предметом того или иного воспроизведения, разве мог бы он судить о правильности выполнения? Я разумею вот что: разве сможет он распознать, соблюдены ли при воспроизведении пропорции тела, а также, соответственно, его отдельных частей, столько ли их, сколько в действительности, соблюден ли надлежащий порядок в их взаимном расположении, их окраска и облик, или же все это находится в беспорядке? Неужели можно думать, что все это распознает тот, кто совершенно не знаком с существом, служившим предметом подражания?

Клиний. Нет, это невозможно.

Афинянин. Но если бы мы знали, что нарисован или изваян человек, если бы художник уловил все его части и равным образом окраску и облик, то неизбежно тот, кто знает подлинник, будет готов судить, прекрасно ли это произведение, или же в нем есть какие-то недостатки с точки зрения красоты.

Клиний. Да, чужеземец, потому что все мы, так сказать, знакомы с красотой живых существ.

Афинянин. Ты совершенно прав. Значит, тот, кто хочет здраво судить о каждом изображении живописного, мусического или какого иного искусства, должен обладать следующими тремя вещами: прежде всего знанием, что́ именно изображено, затем — правильно ли это изображено и, в-третьих, хорошо ли любое изображение исполнено в словах, напевах и ритмах.

Клиний. По-видимому, так.

Афинянин. Однако не станем унывать при обсуждении трудных вопросов, связанных с мусическим искусством. Ведь именно потому, что мусическое искусство прославлено несравненно больше остальных видов изображения, здесь-то более, чем во всех них, необходима особая осторожность. Кто здесь ошибется, тот нанесет

себе огромный вред, ибо он станет благоволить к дурным нравам; заметить же свою ошибку в высшей степени трудно, ибо поэты гораздо худшие творцы, чем сами Музы. Ведь Музы никогда не ошиблись бы настолько, чтобы словам мужчин придавать женскую окраску и напев и чтобы, с другой стороны, соединять размер и напев благородных людей с ритмами рабов и людей неблагородных и, начав с благородных ритмов и тонов, вдруг присоединить к ним напев или слово противоположного рода. Никогда Музы не смешали бы вместе голоса зверей, людей, звуки орудий и всяческий шум с целью воспроизвести что-либо единое. А люди-поэты страшно спутывают и неразумно смешивают все это, так что непременно должны вызвать смех людей, по выражению Орфея, получивших в удел «возраст услад»; эти-то ведь видят, что все здесь спутано. Подобного рода поэты отделяют сверх того размер и ритм от напева, перекладывая в стихи непоэтичную речь, а с другой стороны, они употребляют напев и ритм без слов, пользуясь отдельно взятой игрой на кифаре или на флейте. В таких случаях, когда ритм и гармония лишены слов, бывает очень трудно распознать их замысел и к какому из достойных внимания родов отно-

сится это подражание. Необходимо, впрочем, заметить, что, насколько подобного рода искусство пригодно для скорой, без запинки ходьбы и для изображения звериного крика, настолько же оно, пользующееся игрой на флейте и на кифаре независимо от пляски и пения, исполнено немалой грубости. Без того и другого игра на флейте и на кифаре становится чем-то в высшей степени безвкусным и достойным лишь фокусника.

Вот что я хотел сказать по этому поводу. Впрочем, наше внимание направлено не на то, чего не должны делать наши граждане, уже достигшие тридцати лет и переступившие за пятьдесят, но на то, что́ они должны исполнять. Из сказанного раньше, мне кажется, вытекает следующее: те из пятидесятилетних граждан, которым подобает петь, должны быть лучше образованы в хорической Музе, ибо им необходимо иметь тонкий вкус и сведения относительно ритмов и гармоний; иначе как мог бы кто-нибудь распознать правильность напевов, — подходит ли в известном случае дорический лад или нет, правильный ли или нет употребил поэт ритм?

Клиний. Ясно, что иначе никак нельзя.

Афинянин. Так что смешна толпа в своем мнении, будто она достаточно распознает, что́

гармонично и ритмично и что нет, — по крайней мере таковы те из них, которые по принуждению научились подпевать и маршировать в такт. Они не понимают, что делают это, не зная ничего о пении и ритме в отдельности. А ведь правилен тот напев, который связан с тем, что к нему подходит, и наоборот.

Клиний. Это безусловно необходимо.

Афинянин. Так что же? Тот, кто даже не знает, с чем связана песня, сможет ли, как мы сказали, распознать, насколько она правильна?

Клиний. Это невозможно.

Афинянин. Итак, думается, теперь мы открыли, что нынешним нашим певцам, которых мы приглашаем и стараемся каким-либо образом заставить петь добровольно, необходимо достигнуть такой степени обученности, чтобы каждый из них мог следовать за поступью ритма и за напевом струн. Наблюдая гармонии и ритмы, они могли бы таким образом выбирать подобающее, подходящее для пения людям их возраста и характера и петь именно это. При таком пении они и сами тотчас насладятся невинной усладой и станут руководить более молодыми людьми, возбуждая в них должную любовь к добрым нравам. Достигнув такой степени обученности, они

получат более утонченное образование, нежели то, которое получает большинство и даже сами поэты. Ведь поэту нет никакой надобности знать, прекрасно ли его подражание или нет, что составляет третье требование; но ему почти необходимо знать правила гармонии и ритма. Те же, кому предстоит избрать самое прекрасное и то, что к нему приближается, должны иметь в виду все эти три требования, ибо иначе они не смогут, зачаровывая, увлекать молодежь к добродетели.

Мы показали по мере сил то положение, которое выставили в начале нашей беседы, а именно что можно отлично защитить дионисийский хор. Посмотрим, удалось ли нам это. Подобное собрание по необходимости постоянно становится тем более шумным, чем больше пьют. Уже вначале мы предположили такую необходимость в случаях, о которых идет речь.

Клиний. Да, это необходимо.

Афинянин. Во время такого собрания всякий чувствует себя в приподнятом настроении; он весел, преисполнен словесной несдержанности, не слушает окружающих, воображает, что он в силах управлять самим собой и остальными людьми.

Клиний. Да и как же иначе?

Афинянин. Разве мы не сказали, что в этом случае души пьющих людей охватываются огнем и, точно раскаленное железо, становятся мягче, моложе, а вследствие этого и податливее в руках того, кто может и умеет воспитывать их и лепить, словно души молодых людей? Таким лепщиком является то же самое лицо, что и раньше: это — хороший законодатель. Он должен установить такие законы, касающиеся пиров, чтобы человек, окрыленный надеждами, ставший дерзким и позабывший стыд более чем до́лжно, — до того, что он не желает соблюдать порядка и выжидать своей очереди говорить или молчать, пить или петь, — был вынужден поступать противоположным образом. Они должны внушить ему справедливый страх, самое прекрасное средство против вселившейся в него совсем не прекрасной отваги — божественный страх, который мы зовем совестливостью и стыдом.

Клиний. Да, это так.

Афинянин. Стражами, содействующими этим законам, должны быть люди спокойные и трезвые; именно они должны быть начальниками над нетрезвыми. Без них воевать с опьянением страшнее, чем воевать с врагами, не имея невозмутимых военачальников. Кто не может

заставить себя повиноваться этим законам и переступившим за шестьдесят лет руководителям дионисийских обрядов, того пусть постигнет равный или даже больший стыд, чем человека, не повинующегося военачальникам Ареса.

Клиний. Правильно.

Афинянин. Не правда ли, если бы опьянение и забавы были таковы, то пирующие получали бы от них пользу и расходились с них не врагами, как ныне, но еще большими друзьями, чем были прежде. Если бы трезвые руководили нетрезвыми, все взаимное общение на пирах совершалось бы согласно законам.

Клиний. Верно, если бы все было так, как ты сейчас сказал.

Афинянин. Не станем же безусловно порицать дар Диониса и говорить, будто он плох или недостоин быть принят в государство. Можно было бы сказать даже больше, однако я не решаюсь указывать большинству на величайшее благо, даруемое вином, ведь эти люди так превратно воспринимают и разумеют слова.

Клиний. О каком благе ты говоришь?

Афинянин. Как-то незаметно распространился взгляд и молва, будто у этого бога мачеха его, Гера, похитила душевное разумение, будто бы по-

этому он из мести ввел вакхические празднества и всякие неистовые пляски и с этой-то целью и даровал вино. Я предоставляю это говорить тем, кто считает, что можно без опасения высказывать о богах подобные вещи. По крайней мере, насколько я знаю, ни одно живое существо не рождается на свет, обладая всем тем умом, какой подобает ему иметь в зрелых летах. Пока это живое существо не приобрело еще свойственной ему разумности, оно неистовствует и кричит что-то несвязное, а как встанет на ноги, начинает без толку скакать. Припомним же наше утверждение, что в этом-то и кроется начало муси-ческого и гимнастического искусств.

Клиний. Как этого не помнить!

Афинянин. Не правда ли, мы утверждаем, что это начало дало нам, людям, чувство ритма и гармонии и что из богов виновниками этого стали Аполлон, Музы и Дионис.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Остальные люди, видимо, считают, что вино дано людям в наказание, чтобы мы впадали в неистовство. Мы же теперь, наоборот, утверждаем, что вино дано как лекарство для того, чтобы душа приобретала совестливость, а тело — здоровье и силу.

Клиний. Ты верно напомнил, чужеземец, наше утверждение.

Афинянин. Одну половину вопросов о хороводных плясках мы разобрали. Разобрать ли нам другую половину, чтобы выяснить, что мы думаем, или же оставить так?

Клиний. О чем ты говоришь и как ты разделяешь хороводные пляски надвое?

Афинянин. По-нашему, все в целом искусство плясок и составляет совокупное воспитание. Одну его часть составляет то, что относится к звуку, то есть гармонии и ритмы.

Клиний. Да.

Афинянин. Другая же часть касается телодвижений, которые имеют нечто общее с движением звука: это ритм. Но они имеют свой собственный образ, поскольку движение звуков — это мелодия.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Действие звуков, воспитывающее и ведущее душу к добродетели, мы, уж не знаю, каким именно образом, назвали мусическим искусством.

Клиний. И правильно назвали.

Афинянин. Если же телодвижения, которые мы обозначили как пляску забавляющихся лю-

дей, ведут к усовершенствованию тела, то такое искусное руководство им мы назвали бы гимнастическим искусством.

Клиний. Правильно.

Афинянин. Я и сейчас повторяю, что теперь мы уже достаточно разобрали вопрос о мусическом искусстве, составляющем почти половину искусства хоров. Что же, будем ли мы говорить о другой ее половине? Как нам поступить?

Клиний. Мусическое искусство нами разобрано, гимнастическое же еще нет. Между тем, дорогой мой, ведь ты ведешь беседу с критянами и спартанцами; что же, думаешь ты, каждый из нас ответит тебе на подобный вопрос?

Афинянин. Я сказал бы, что этим своим вопросом ты, пожалуй, даешь мне ясный ответ. Но я понимаю, что твой вопрос — это не только ответ, но и поручение разобрать гимнастическое искусство.

Клиний. Ты прекрасно заметил; так и поступи.

Афинянин. Приходится. Впрочем, говорить о вопросе, знакомом вам обоим, не слишком трудно. Ведь вы гораздо более опытны в этом искусстве, чем в мусическом.

Клиний. Пожалуй, ты прав.

Афинянин. Не правда ли, начало и этого развле-

чения кроется в природной склонности каждого живого существа к скачущим движениям? Человек же, получив, как мы сказали, чувство ритма, создал и породил пляску. Ритм пробуждает и вызывает в памяти напев. Их взаимное соединение породило хороводы как развлечение.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Одну часть, именно мусическую, мы уже разобрали. Попытаемся в дальнейшем разобрать другую часть, то есть гимнастическую.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Однако, если вам угодно, сперва завершим обсуждение вопроса об опьянении как о средстве.

Клиний. Что ты разумеешь?

Афинянин. Если какое-нибудь государство стало бы, согласно порядку, установленному законами, серьезно пользоваться упомянутым раньше обычаем, употребляя его как упражнение в рассудительности, если на том же основании оно не воздержалось бы и от остальных удовольствий, применяя их как средство для их же обуздания, то пользоваться всем этим такое государство должно было бы именно вышеуказанным образом. Если же оно смотрит на них только как на забаву и позволяет всякому желающему пить в любое

время, с кем угодно и в соединении с любыми другими обычаями, то я не подал бы своего голоса за то, что государство и отдельный человек должны именно так использовать опьянение. Но еще более, чем за критский и лакедемонский обычай, подал бы я свой голос за карфагенский закон: во время похода никто из воинов не должен вкушать вина, но до́лжно в течение всего этого времени пить на совместных трапезах одну только воду; в пределах государства ни рабыня, ни раб никогда не должны вкушать вина; ни правители в течение того года, когда они отправляют свою должность; ни кормчие, ни судьи, стоящие у своего дела, совершенно не должны вкушать вина; ни один из тех, кто собирается участвовать в каком-либо совещании, достойном внимания; совершенно нельзя пить никому днем — разве что для телесных упражнений или по причине болезни; ни мужчине, ни женщине нельзя пить и ночью, когда замышляется зачатие ребенка. Можно было бы перечислить еще целый ряд случаев, при которых люди, имеющие разум и правильный закон, не должны пить вина; так что по этому правилу ни одно сгосударство не будет нуждаться в большом числе виноградников. Все остальные виды земледелия и весь вообще образ

жизни были бы упорядочены, виноделие же велось бы в самых скромных размерах. Этим-то, чужеземцы, если вы согласны, хотел бы я увенчать нашу беседу о вине.

Клиний. Отлично. Мы согласны.

Книга III

Афинянин. Все это так. Но что же, скажем мы, послужило началом государственного устройства? Не будет ли всего легче и лучше рассмотреть это вот с какой точки зрения…

Клиний. С какой?

Афинянин. С той же, с какой до́лжно в каждом отдельном случае рассматривать постепенное уклонение государства то в сторону добродетели, то порока.

Клиний. Что же именно ты разумеешь?

Афинянин. Я разумею безграничную протяженность времени и протекших в нем перемен.

Клиний. Как, как?

Афинянин. Скажи, сможешь ли ты определить, сколько времени прошло с тех пор, как существуют государства и объединенные в государства люди?

Клиний. Это совсем нелегко.

Афинянин. Не была ли эта продолжительность огромной и неизмеримой?

Клиний. И даже очень.

Афинянин. Не правда ли, тысячи государств возникали в этот промежуток времени одно за

другим и соответственно не меньшее количество их погибало. К тому же они повсюду проходили через самые различные формы государственного устройства, то становясь бóльшими из меньших, то меньшими из бóльших или худшими из лучших и лучшими из худших.

Клиний. Это неизбежно.

Афинянин. Не сможем ли мы вскрыть причину этих перемен? Быть может, тогда мы скорее получим указание относительно возникновения государственного устройства и происходящих в нем перемен.

Клиний. Отлично, надо постараться сделать это. Ты разъясни свои мысли по этому поводу, а мы последуем за тобой.

Афинянин. Считаем ли мы, что древние сказания содержат в известной мере истину?

Клиний. Какие именно?

Афинянин. Относительно частой гибели людей от потопов, болезней и многого другого; оставалась лишь незначительная часть человеческого рода.

Клиний. Все это любому покажется весьма вероятным.

Афинянин. Представим же себе один из множества случаев, именно гибель от потопа.

Клиний. И что мы должны об этом думать?

Афинянин. Что избежавшими тогда гибели оказались чуть ли не исключительно горные пастухи — слабые искры угасшего человеческого рода, сохранившиеся на вершинах.

Клиний. Очевидно.

Афинянин. Такие люди неизбежно будут несведущими в остальных искусствах, так же как и в городских взаимных уловках, направленных на удовлетворение своекорыстия и честолюбия, и в прочих кознях, измышляемых друг против друга людьми.

Клиний. Это естественно.

Афинянин. Допустим, что государства, расположенные на равнинах или у моря, совершенно погибли в то время.

Клиний. Допустим.

Афинянин. Следовательно, мы должны предположить, что пропали и все орудия, а также погибло и все относящееся к искусству государственного правления или к иной какой-либо мудрости, которой с усилием удалось к тому времени достичь. Но, дорогой друг, если бы в течение всего времени все было устроено так, как теперь, как могло быть открыто что-либо новое?

Клиний. Новое было скрыто от тогдашних лю-

дей на многие тысячелетия. Лишь тысяча или две тысячи лет прошло с тех пор, как Дедалу открылось одно, Орфею — другое, Паламеду — третье, Марсию и Олимпу — все то, что относится к мусическому искусству, Амфиону — все о лире, и многое-многое остальное — другим. Все это возникло, так сказать, недавно, чуть ли не вчера.

Афинянин. Великолепно, Клиний! Но ты пропустил друга, жившего действительно вчера.

Клиний. Ты разумеешь Эпименида?

Афинянин. Да, его. Ибо у вас, мой друг, он всех опередил в изобретательности; как вы утверждаете, он выполнил на деле то, о чем на словах некогда вещал Гесиод.

Клиний. Да, мы утверждаем это.

Афинянин. Итак, когда случилось это опустошение, дела у людей складывались так: кругом была необозримая страшная пустыня, огромная масса земли; все животные погибли, лишь кое-где случайно уцелели стада рогатого скота да племя коз. Эти стада и доставляли вначале пастухам скудные средства к жизни.

Клиний. Несомненно.

Афинянин. Можем ли мы считать, что тогда сохранилось хотя бы, так сказать, воспоминание о государстве, государственном устройстве и за-

конодательстве, о чем у нас теперь и идет речь?

Клиний. Никоим образом.

Афинянин. Однако подобного рода условия повели к возникновению всего нынешнего: государств, государственных устройств, искусств, законов; возникла великая испорченность, но и великая добродетель.

Клиний. То есть как?

Афинянин. Друг мой, ведь тогдашние люди были незнакомы со многими благами, доставляемыми городами, а также и со многим таким, что этим благам противоположно. Можно ли считать этих людей совершенными в добродетели или в пороке?

Клиний. Прекрасно сказано! Мы улавливаем твою мысль.

Афинянин. Итак, с течением времени и с умножением человеческого рода все пришло в нынешнее состояние.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Но не сразу, а, как это и естественно, мало-помалу, в течение очень долгого времени.

Клиний. Так это и должно быть.

Афинянин. Думаю, что слишком еще был свеж в памяти недавний страх, чтобы люди решились спуститься с возвышенности на равнину.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Ввиду своей малочисленности они с удовольствием взирали друг на друга в те времена, а так как с исчезновением искусств пропали, если так можно сказать, чуть ли не все средства сноситься друг с другом по суше или по морю, то людям не очень-то было возможно встречаться друг с другом. Железо, медь и все руды слились воедино и скрылись под землей, так что стало очень трудно их извлекать; поэтому редко удавалось тогдашним людям срубить дерево. Если где на горах и находилось уцелевшее орудие, то оно из-за частого употребления скоро изнашивалось, нового же взять было негде, пока снова не возродилось среди людей искусство добычи металла.

Клиний. Каким же образом это произошло?

Афинянин. Как ты думаешь, через сколько поколений это произошло?

Клиний. Ясно, что поколений прошло очень много.

Афинянин. Значит, столько же времени или даже долее не существовали тогда и те искусства, для которых нужно железо, медь и тому подобное.

Клиний. Разумеется.

Афинянин. И вот в те времена по многим

причинам совершенно исчезли междоусобия и войны.

Клиний. Каким образом?

Афинянин. Прежде всего тогдашние люди любили друг друга и вследствие малочисленности относились друг к другу доброжелательно; пищу им также не приходилось оспаривать друг у друга, ибо не было недостатка в пастбищах — разве что кое у кого вначале, — а этим-то они в то время и жили по большей части. Не могло у них быть и недостатка в молоке и мясе; кроме того, они охотой добывали себе изрядную пищу. В изобилии имели они одежду, постель, жилища и утварь, как обожженную, так и простую; ибо ни одно из искусств, связанных с лепкой и плетением, не нуждается в железе. Оба этих искусства бог даровал людям, чтобы человеческий род, когда ощутит недостаток в железе, все же мог продолжаться и преумножаться. Благодаря этому не было и особенно бедных, так что бедность не принуждала людей к вражде. С другой стороны, они не могли также стать богатыми, ведь в те времена у них не было ни золота, ни серебра. Самые благородные нравы, пожалуй, возникают в таком общежитии, где рядом не обитают богатство и бедность. Ведь там не будет места ни наглости, ни

несправедливости, ни ревности, ни зависти. По этой причине и благодаря так называемому простодушию люди обладали тогда достоинством: по простоте душевной они считали истинным все то и повиновались всему тому, что слышали о прекрасном и безобразном. Ибо никто из них не обладал той хитростью, которая в наши дни заставляет во всем подозревать ложь; они считали истиной все рассказываемое о богах и людях и сообразно этому жили. Потому-то они и были вполне такими, как мы их сейчас изобразили.

Клиний. Я согласен с тобой, да и Мегилл тоже.

Афинянин. Итак, мы признаём, что много поколений прожило подобным образом. По сравнению с людьми, жившими до потопа, и нынешними они были менее сведущи и опытны в различных искусствах, в том числе и в военном, которое применяют теперь на суше и на море и даже внутри своего государства, причем называют это справедливостью или междоусобием; при еэтом и на словах и на деле изобретаются всякие средства, чтобы причинить друг другу зло и несправедливость. А те люди были более цельными и мужественными, а вместе с тем и более рассудительными и вообще более справедливыми. Причину этого мы уже разобрали.

Клиний. Ты прав.

Афинянин. Пусть сказанное нами со всеми вытекающими отсюда следствиями будет иметь одну цель: мы должны понять, была ли нужда в законах у тогдашних людей и кто был их законодателем.

Клиний. Отлично сказано.

Афинянин. Не правда ли, те люди не нуждались в законодателях? Да этого обычно и не бывает в такие времена, ведь в тот отрезок круговращения у них еще не было письменности, но жили они, следуя обычаям и так называемым дедовским законам.

Клиний. Вполне естественно.

Афинянин. Однако и это есть уже некий вид государственного устройства.

Клиний. Какой же?

Афинянин. Мне кажется, все называют тогдашнее государственное устройство династией. Оно и до сих пор встречается во многих местах как у эллинов, так и у варваров. Гомер рассказывает, что именно так было в месте пребывания киклопов, говоря:

> *Нет между ними ни сходбищ народных,*
> *ни общих советов;*

В темных пещерах они иль на горных вершинах высоких

Вольно живут; над женой и детьми безотчетно там каждый

Властвует, зная себя одного, о других не заботясь.

Клиний. Прелестный, видно, это у вас поэт; кое-какие и другие отрывки, очень изящные, изучали мы из него, правда немногочисленные, потому что мы, критяне, не очень-то пользуемся чужеземными поэмами.

Мегилл. А мы ими пользуемся, и нам кажется, Гомер превосходит других поэтов подобного рода, хотя он повсюду описывает не лакедемонскую, а скорее какую-то ионийскую жизнь. Сейчас же он прекрасно подтвердил твои слова, изображая, согласно преданию, первоначальный быт киклопов диким.

Афинянин. Да, он это подтверждает, и мы можем взять его в свидетели, что такие государственные устройства некогда существовали.

Клиний. Отлично.

Афинянин. Вследствие нужды, вызванной опустошением, люди разделились по родам с определенным местопребыванием для каждого,

причем господствовал старейший, так как он получил эту власть от отца и матери; за ним следовали остальные, составляя, точно птицы, одну стаю, и они находились под управлением законов наших дедов и наиболее справедливой из всех царской власти.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Постепенно все большее количество людей сходятся вместе, составляя бóльшие по размеру сообщества. Прежде всего они обращаются к земледелию на склонах гор, сооружая каменные ограды наподобие стен для защиты от зверей и образуя одно общее большое жилище.

Клиний. Очень вероятно, что все это было именно так.

Афинянин. А это разве не будет вероятным…

Клиний. Что именно?

Афинянин. Что эти большие жилища увеличивались за счет первых, небольших. Каждое из меньших сообществ делилось на роды во главе со старейшиной и имело свои собственные обычаи, возникшие под влиянием раздельного жительства. Благодаря различным родоначальникам и воспитателям они приучались к различным воззрениям на богов и на самих себя. От более порядочных воспитателей они перенимали

бóльшую упорядоченность, от мужественных — бóльшую мужественность и точно таким же образом запечатлевали в своих детях и внуках усвоенные ими взгляды. Словом, они вошли в большее сообщество, имея каждый свои законы.

Клиний. Не иначе.

Афинянин. Неизбежно каждому нравились больше свои законы, чужие же — меньше.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Так, по-видимому, мы незаметно подошли к началу законодательства.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Вслед за этим сошедшиеся неизбежно должны были сообща избрать некоторых лиц из своей среды, чтобы те рассмотрели все узаконения, выбрали из них те, которые им больше понравятся, и, ясно их изложив, представили бы на общий совет предводителей и вожаков, игравших роль царей народов. Сами они должны были получить наименование законодателей, назначить должностных лиц, а государственный строй изменить, введя вместо династий аристократический образ правления или какой-либо род царской власти.

Клиний. Это было бы последовательно.

Афинянин. Я хочу указать теперь еще и на

третью форму государственного устройства, в которой сливаются все виды и состояния государственных правлений и вместе с тем государств.

Клиний. Какая это форма?

Афинянин. Та, на которую вслед за второй указывает и Гомер, так описывая ее возникновение:

Он основал Дарданию, когда Илион знаменитый Не был еще на равнине в то время построен, и люди Жили тогда на предгорьях богатой потоками Иды, — говорит он где-то. Эти стихи, так же как и те, где говорится о киклопах, он изрек согласно богу и природе. Ибо поэты — это божественное и вдохновенно поющее племя; нередко под воздействием Харит и Муз они касаются и истинных происшествий.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Проследим же дальше это подвернувшееся нам предание; быть может, оно даст некоторые указания и для нашей цели. Не правда ли, это стоит сделать?

Клиний. И даже очень.

Афинянин. Так вот, говорим мы, обитателями возвышенностей был основан Илион среди обширной прекрасной равнины, на невысоком холме, омываемом многими реками, стекающими с высот Иды.

Клиний. Говорят, что так.

Афинянин. Не правда ли, можно предполагать, что это произошло спустя много времени после потопа?

Клиний. Конечно, спустя много времени.

Афинянин. Потому что люди должны были полностью забыть о только что упомянутом опустошении, если, доверившись каким-то не очень высоким холмам, они решились основать город, несмотря на угрозу многих стекающих с высот рек.

Клиний. Ясно, что должно было пройти много времени после несчастья.

Афинянин. Я думаю, тогда было заселено уже много других городов ввиду увеличения числа людей.

Клиний. Разумеется.

Афинянин. Они-то и выступили в поход против Илиона, возможно даже и но морю, так как все уже безбоязненно им пользовались.

Клиний. По-видимому.

Афинянин. Но разрушили Трою ахейцы после десятилетнего пребывания возле нее.

Клиний. Это так.

Афинянин. В течение этого десятилетнего промежутка, пока шла осада Илиона, на родине

каждого из осаждающих многое случилось из-за смут, затеянных молодыми, которые неблагосклонно и не по-справедливому приняли воинов, возвращавшихся в свои города и дома, так что произошло немало смертей, убийств и изгнаний. Но тогдашние изгнанники снова возвратились, переменив свое имя: вместо ахейцев они стали называться дорийцами, так как их собрал тогда Дорией. Ну а обо всем том, что было после этого, вы, лакедемоняне, и сами рассказываете в своих преданиях.

Мгилл. Как же иначе?

Афинянин. Точно по внушению бога, мы возвращаемся опять к тому же, с чего начали наше собеседование о законах, хотя и отклонились в сторону, остановившись на мусическом искусстве и опьянении. Теперь наше рассуждение дает нам случай снова взяться за нашу тему. Ибо мы пришли опять к лакедемонским учреждениям, правильность которых вы утверждаете, и к критским, родственным с ними в смысле законов. Вот какое преимущество дало нам то, что рассуждение наше отклонилось в сторону, когда мы рассматривали некоторые государственные устройства и учреждения: мы последовательно рассмотрели три государства, учреждение

которых отстояло друг от друга, по-нашему, на огромный промежуток времени. Данное же государство или, если угодно, племя представляется нам уже четвертым, некогда учрежденным и поныне сохраняющим свои установления. Не сможем ли мы, Мегилл и Клиний, из всего этого заключить, что́ учреждено хорошо, а что́ нет? Какие законы хранят сохраняющееся и губят гибнущее? Какие изменения сделают государство счастливым? Об этом нам вновь нужно говорить как бы сначала, если только у нас нет возражений против того, что было сказано раньше.

Мегилл. Если бы, чужеземец, некий бог обещал нам, что при вторичной попытке рассмотреть законодательство нам придется услышать рассуждения не хуже и не слабее только что высказанных, я лично пустился бы и в дальний путь, и этот нынешний день показался бы мне коротким, хотя теперь как раз стоит пора, когда бог поворачивает от лета к зиме.

Афинянин. Видно, надо рассмотреть и этот вопрос.

Мегилл. Без сомнения.

Афинянин. Перенесемся же мысленно в те времена, когда Лакедемон, Аргос, Мессена и прилегающие области очутились во власти ваших,

Мегилл, предков; они решили после этого, как говорит предание, разделить вооруженный народ на три части и учредить три государства: Аргос, Мессену и Лакедемон.

Мегилл. Совершенно верно.

Афинянин. Темен стал царем Аргоса, Кресфонт — Мессены, царями же в Лакедемоне — Прокл и Еврисфен.

Мегилл. Да, так.

Афинянин. И все их современники поклялись оказывать им помощь, если кто захочет упразднить их царскую власть.

Мегилл. Да.

Афинянин. Царская же, клянусь Зевсом, и вообще всякая власть разрушается разве не самими ее носителями? Или мы позабыли уже то, что установили попутно немного раньше?

Мегилл. Как могли мы забыть?

Афинянин. Теперь мы будем настаивать на этом с еще большей определенностью. Похоже, что встретившиеся нам обстоятельства привели нас к такому же точно заключению, так что мы будем исследовать не какие-то пустяки, но действительно бывшее и содержащее истину. Речь идет о следующем. В трех государствах установилась царская власть, и каждое из правительств

клятвенно обещало своим городам соблюдать установленные общие законы относительно управления и подчинения: одна сторона клялась не усиливать власти с течением времени при ее переходе от поколения к поколению; другая сторона клялась, если указанные условия будут соблюдены правителями, самим не низвергать никогда царской власти и другим не способствовать в их попытках подобного рода. Цари обещались помогать царям и народам, терпящим обиды, а народы — народам и царям. Не так ли?

Мегилл. Да, так.

Афинянин. Цари ли дали такие законы или кто другой, но это было величайшим установлением для сохранения государственного строя этих трех государств.

Мегилл. Какое именно?

Афинянин. То, что два государства всегда помогали друг другу против третьего в случае его неповиновения установленным законам.

Мегилл. Это ясно.

Афинянин. Однако большинство требует от законодателей, чтобы они устанавливали такие законы, которые были бы добровольно приняты большей частью народа. Это вроде того, как если бы требовали от учителей гимнастики и врачей

только приятного упражнения и врачевания для поручаемого их попечению тела.

Мегилл. Совершенно верно.

Афинянин. Но нередко приходится довольствоваться и тем, что тело делают здоровым и крепким без особой боли.

Мегилл. Конечно.

Афинянин. Вот еще какое обстоятельство значительно облегчило тогдашним людям установление законов…

Мегилл. Какое?

Афинянин. Эти законодатели, устраивая для людей имущественное равенство, не имели дела с величайшим препятствием, которое встречается во многих других получающих законы государствах. Ведь, принимая во внимание, что невозможно установить достаточное равенство без передела земли и отмены долговых обязательств, законодатель пытается поколебать что-либо из этого, и тогда все восстают против него, утверждая, что нельзя колебать непоколебимое, и проклинают того, кто предлагает передел земли и отмену долгов, так что положение такого человека становится крайне затруднительным. У дорийцев же и здесь дело обстоит прекрасно и безупречно: земля поделена без споров и нет

больших и давних долгов.

Мегилл. Это правда.

Афинянин. Почему же, мои дорогие, эти установления и законодательство имели у них такой дурной исход?

Мегилл. Как? Что именно ты порицаешь?

Афинянин. То, что из создавшихся трех больших сообществ два вскоре извратили свой строй и свои законы и лишь третье сохранило их, именно ваше государство.

Мегилл. Ты задал нелегкий вопрос.

Афинянин. Однако нам теперь надо рассмотреть его и исследовать, чтобы беспечально пройти весь путь, забавляясь разумной старческой забавой, касающейся законов, ведь мы так решили в начале пути.

Мегилл. Что ж! Сделаем так, как ты говоришь.

Афинянин. К какому же рассмотрению законов и лиц, их упорядочивших, могли бы мы обратиться скорее, чем к этому? И какие более славные и великие государства и установления могли бы мы исследовать?

Мегилл. Нелегко назвать другие взамен этих.

Афинянин. Почти наверняка тогдашние законодатели считали такое устройство, при котором оказывается взаимная помощь, пригодным не

только для Пелопоннеса, но и для всех эллинов в случае, если кто из варваров станет их притеснять, — например когда население Илиона, доверившись ассирийскому могуществу, значительному во времена Нина, неосмотрительно вызвало Троянскую войну. А ведь сохранившееся тогда еще величие этой державы было немалым; подобно тому как мы теперь опасаемся Великого царя, так тогдашние люди боялись создания этого союза. Вторичное же взятие Трои вызвало немало нареканий на греков, ибо она составляла часть ассирийской державы. Учитывая все это, прекрасно, видимо, было придумано и упорядочено единое устройство того войска под властью братьев-царей, сыновей Геракла, которое было поделено между тремя государствами, гораздо лучше, чем устройство ополчения, пришедшего под Трою. Во-первых, Гераклиды считались лучшими правителями, нежели Пелопиды; затем и войско это считалось превосходящим по добродетели то, что пришло под Трою, ибо, победив троянцев, ахейцы в свою очередь были превзойдены дорийцами. Не правда ли, все было устроено тогдашними законодателями именно так и с такой целью?

Мегилл. Конечно.

Афинянин. Итак, естественно было им считать, что такое положение сохранится незыблемым на долгое время, так как они разделили выпавшие на их долю немалые труды и опасности, а находились они под властью единого рода братьев-царей, да к тому же и вопросили много разных прорицателей, в том числе и Дельфийского Аполлона.

Мегилл. И это было естественно.

Афинянин. Но все это ожидаемое величие, видно, быстро тогда рассеялось, за исключением, как мы теперь указали, небольшой части вашей области, которая никогда не прекращает войны против остальных двух частей, даже и в наши дни. Между тем возникший тогда единый и согласованный образ мыслей создал бы мощь, непобедимую на войне.

Мегилл. Не иначе.

Афинянин. Как же, каким путем все это погибло? Разве не стоит рассмотреть, какая судьба погубила столь совершенный союз?

Мегилл. Если этим пренебречь, то, рассматривая что-либо другое, с трудом можно было бы понять, как законы и государственный строй сохраняют величие прекрасных деяний или, наоборот, совсем его губят.

Афинянин. Значит, как кажется, мы счастливо напали на предмет, достойный рассмотрения.

Мегилл. Несомненно.

Афинянин. Не правда ли, дорогой мой, видя возникновение чего-то прекрасного, пригодного для создания удивительных вещей, все люди так же, как мы сейчас, забывают о том, хорошо ли сумеет кто-либо этим воспользоваться и как? Вот и мы теперь, пожалуй, рассуждали об этом неверно и несообразно с природой, так же как и все при таком подходе относительно любых других вещей.

Мегилл. Скажи, в чем дело? И к чему относится это твое замечание?

Афинянин. Друг мой, сейчас я сам себе смешон. Когда я обратил внимание на то войско, о котором у нас идет речь, оно показалось мне превосходным и чудесным эллинским достоянием, — если бы, повторяю, им тогда умело воспользовались.

Мегилл. Но ведь ты говорил обо всем хорошо и разумно, и мы хвалили тебя.

Афинянин. Может быть. По крайней мере я думаю, что при виде чего-то великого, имеющего большую силу и мощь, у всякого тотчас же создается впечатление, что если бы обладатель этой великой силы умел ею пользоваться, то,

совершая много чудесных дел, он непременно бы благоденствовал.

Мегилл. Разве это не верно? Каков же твой взгляд?

Афинянин. Посмотри, на что обращает внимание тот, кто правильно высказывает похвалу этого рода. Но сначала поговорим о том, о чем у нас шла теперь речь: если бы тогдашние устроители сумели надлежащим образом поставить войско, то как бы они этим воспользовались? Если бы они непоколебимо установили войско так, чтобы самим быть свободными, властвовать над кем угодно и вообще среди всех людей, эллинов и варваров, совершать то, что было бы предметом вожделения и для них самих, и для их потомков, то они сохранили бы войско на вечные времена. Разве это не заслужило бы им похвалы?

Мегилл. И даже очень.

Афинянин. Так же точно при виде большого богатства и особых отличий знати, равно как и других подобных вещей, всякий обратит внимание на это и скажет то же самое, то есть что посредством этого можно достичь исполнения всех или по крайней мере большинства достойных упоминания желаний.

Мегилл. Естественно.

Афинянин. Скажи, нет ли у всех людей одного общего желания, к выяснению которого и стремится наше рассуждение, как само оно о том говорит?

Мегилл. Какое же это желание?

Афинянин. Чтобы все происходящее, а если не все, то хотя бы все человеческое, делалось по приказу нашей души.

Мегилл. Хорошо бы!

Афинянин. Так как все мы всегда желаем этого — и дети, и старики, то, не правда ли, мы неизбежно только об этом и молимся?

Мегилл. Конечно.

Афинянин. Для дорогих нам людей мы в наших молитвах просим того же, чего они просят сами себе.

Мегилл. Да.

Афинянин. Сын дорог отцу: он — ребенок, а тот — взрослый.

Мегилл. Конечно.

Афинянин. Однако многое из того, о чем молит для себя ребенок, отец просит богов отвратить, — чтобы это никогда не исполнилось по молитвам сына.

Мегилл. Ты говоришь о молитвах неразумного юноши.

Афинянин. Когда отец, будучи стариком или очень еще молодым и не имея понятия о том, что́ прекрасно и что́ справедливо, усердно молится, а сам находится в состоянии, подобном тому, которое испытывал Тесей в отношении злополучно погибшего Ипполита, как ты думаешь, станет ли сын, зная это, молиться с ним заодно?

Мегилл. Я понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, ты утверждаешь, что до́лжно желать и стремиться не к тому, чтобы все следовало нашей воле, но скорее, чтобы воля следовала за нашим разумением, так что и государству, и каждому из нас до́лжно молиться и хлопотать о том, чтобы обладать умом.

Афинянин. Да, я помню и хочу напомнить вам, что законодатель, человек государственный, должен устанавливать распорядок законов, имея в виду всегда именно это. Вспомним, о чем мы говорили вначале: вашим требованием было, чтобы хороший законодатель устанавливал все свои узаконения ради войны. По-моему, это значило бы устанавливать законы только ради одной добродетели, между тем как их четыре. До́лжно иметь в виду всю совокупность добродетелей, в особенности же первую, руководящую добродетель, а именно разумность, ум и [верное]

мнение вместе с любовью и желанием, следующими за ними. Так что наше рассуждение снова вернулось к тому же, и я снова повторяю то, что сказал тогда, — в шутку или серьезно, как хотите: я утверждаю, что для того, кто не обладает умом, опасно пользоваться молитвами и если уж ему следует молиться, то скорее о том, что противоположно его желаниям. Однако, если угодно, примите мои слова всерьез. Я ожидаю, что вы, следуя за рассуждением, изложенным несколько раньше, найдете теперь, что причина гибели царей и всех их замыслов не трусость и отсутствие военных знаний у правителей и тех, кому надлежит подчиняться, но всевозможная порочность другого рода, в особенности же неведение величайших человеческих дел. Что тогда это произошло именно так, да и теперь кое-где случается и в последующее время будет происходить не иначе, я, если хотите, попробую показать по порядку и по мере сил разъяснить это вам как моим друзьям.

Клиний. Чужеземец, было бы в высшей степени неуместно восхвалять тебя на словах; лучше пусть это покажут наши дела. Мы усердно будем следить за твоим рассуждением, ведь именно таким образом свободнорожденный человек

всего более обнаруживает свое одобрение или порицание.

Мегилл. Превосходно, Клиний. Мы поступим, как ты говоришь.

Клиний. Да будет так, если угодно богу. Только бы ты продолжал.

Афинянин. Итак, следуя дальнейшему ходу нашего рассуждения, мы теперь утверждаем, что ту власть погубило тогда величайшее неведение, так же как оно по своей природе совершает это и ныне. При таком положении дела законодателю надо постараться сколь возможно внедрить в государстве разумность, неразумие же как можно скорее изъять.

Клиний. Очевидно.

Афинянин. Какое же неведение может быть названо по справедливости величайшим? Посмотрите, согласны ли вы с тем, что я говорю. Я полагаю, что следующее…

Клиний. Какое?

Афинянин. Когда кто-нибудь не любит, но ненавидит то, что ему кажется прекрасным и добрым, кажущееся же скверным, несправедливым любит и приветствует. Эту несогласованность страдания и удовольствия с разумным мнением я считаю крайним и величайшим неведени-

ем, так как оно принадлежит большей части души. Часть души, испытывающая скорбь и удовольствие, это все равно что народное большинство в государстве. Когда душа противится знаниям, [правильным] мнениям или разуму, от природы предназначенным править, это я признаю неразумием, так же как и в государстве, когда большинство не повинуется правителям и законам. То же самое происходит и в каждом отдельном человеке, если имеющиеся в душе прекрасные понятия порождают лишь свою прямую противоположность. Все это я счел бы самым порочным, неведением как для государства, так и для каждого отдельного гражданина, исключая разве только ремесленников. Улавливаете ли вы, чужеземцы, смысл моих слов?

Клиний. Мы понимаем, друг мой, и согласны с тем, что ты говоришь.

Афинянин. Так пусть же это будет у нас так постановлено и выражено: невежественным гражданам нельзя поручать ничего относящегося к власти; их до́лжно поносить как невежд, даже если они и горазды рассуждать и наловчились во всевозможных душевных тонкостях и извивах. Людей же противоположного склада должно называть мудрыми, даже если они, как говорят,

ни читать, ни плавать не умеют; как людям разумным, им надо поручать управление. В самом деле, друзья мои, без лада может ли родиться хоть какой-то вид разумности? Это невозможно. Всего справедливее было бы назвать самой большой мудростью прекраснейшую и величайшую гармонию. Ей причастен тот, кто живет сообразно с разумом; а кто ее лишен, тот разрушитель своего дома и никогда не будет спасителем государства, но как невежда вечно все будет делать наоборот. Итак, пусть, согласно только что сказанному, это считается установленным.

Клиний. Да будет так.

Афинянин. Необходимо, чтобы в государствах были правители и подчиненные.

Клиний. Разумеется.

Афинянин. Прекрасно. Но на каких основаниях одни должны править, а другие подчиняться в больших государствах и малых семьях? Одно из таких оснований — отцовская и материнская власть, да и вообще правильно повсюду понимаемая родительская власть над потомством.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Кроме того, благородные должны править неблагородными; и, в-третьих, следовательно, старшие должны править, младшие

подчиняться.

Клиний. Да.

Афинянин. В-четвертых, рабы должны подчиняться, а их господа — править.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. В-пятых, я думаю, должен править сильный, а слабый ему подчиняться.

Клиний. Ты указал на необходимый вид власти.

Афинянин. К тому же это самая распространенная и сообразная с природой власть для всех живых существ, как некогда сказал фиванец Пиндар. Но главнейшим требованием является, по-видимому, шестое, чтобы несведущий следовал за руководством сразумного и был под его властью. Впрочем, о мудрейший Пиндар, по моему мнению, это, пожалуй, и не противоречит природе; я бы сказал, что природе соответствует не насильственная власть закона, но добровольное ему подчинение.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Седьмой вид власти можно назвать счастливым и угодным богам; мы установим его в зависимости от жребия: вынувший жребий должен править, не вынувший — отступиться и подчиняться. Мы признаём это в высшей степени

справедливым.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. «Видишь ли ты, законодатель, — шутя сказали бы мы тому, кто с легким сердцем приступает к установлению законов, — сколько есть обоснований власти, по природе своей противоречивых. Ныне мы открыли некий источник раздоров, о котором ты должен подумать. Прежде всего рассмотри вместе с нами, в чем и как погрешили против сказанного сейчас цари Аргоса и Мессены, погубившие, таким образом, и есамих себя, и великую в ту пору мощь эллинов. Ведь они знали в высшей степени верное изречение Гесиода, что часто половина больше целого: например, когда захватить целое опасно, а половины вполне достаточно, то, думал он, достаточное больше чрезмерного, так как оно лучше его».

Клиний. Совершенно правильно.

Афинянин. Что же, по-нашему, причина гибели в каждом отдельном случае коренилась прежде всего в царях или же в народе?

Клиний. Вероятнее то, что бывает чаще: это болезнь царей, непомерно заносчивых по причине жизни в роскоши.

Афинянин. Итак, очевидно, что прежде всего это постигло тогда царей. Они желали стоять вы-

ше установленных законов и не были согласны друг с другом в том, в чем поклялись и что на словах одобряли. Разногласие же, как мы утверждаем, — это величайшее невежество, хотя и кажется мудростью. Оно-то и погубило все из-за небрежности и дремучей необразованности.

Клиний. По-видимому.

Афинянин. Отлично. Как же мог бы тогдашний законодатель уберечься от возникновения этого зла? Клянусь богами, теперь-то не мудрено это знать и нетрудно высказать; но если бы кто предвидел это тогда, он был бы мудрее нас.

Мегилл. Что ты разумеешь?

Афинянин. Теперь это можно понять, если обратить внимание на то, что произошло у вас, Мегилл, а поняв, нетрудно сказать, что должно было тогда случиться.

Мегилл. Скажи яснее.

Афинянин. Всего яснее будет, пожалуй, сказать вот как…

Мегилл. Как?

Афинянин. Если, забыв меру, слишком малому придают что-либо слишком большое: судам — паруса, телам — пищу, а душам — власть, то все идет вверх дном; исполнившись дерзости, одни впадают в болезни, другие — в несправед-

ливость, это порождение высокомерия. Но к чему мы клоним речь? Вот к чему: смертная душа, друзья мои, не может по своей природе, если она молода и безответственна, вынести величайшей среди людей власти; разум ее преисполняется тяжелейшим недугом неразумия, и она начинает ненавидеть ближайших друзей, а это вскоре губит ее и уничтожает всю ее мощь. Только великие законодатели, познав соразмерное, могут этого остеречься. Теперь весьма легко догадаться, что́ тогда случилось. По-видимому, вот что…

Клиний. Да?

Афинянин. Некий бог, провидящий будущее, заботился о вас. Он сделал более умеренной царскую власть, установив вместо одного двойной царский род. Затем некая человеческая природа, соединившись с какой-то божественной силой, поняла, что вашу власть все еще лихорадит, и соединила рассудительную мощь старости с гордой силой происхождения, установив в важнейших делах равнозначность власти двадцати восьми старейшин и царской власти. Третий же спаситель вашего государства, видя, что его все еще обуревают страсти, как бы узду набросил на него в виде власти эфоров, близкой к выборной власти. Потому-то у вас царская власть, возникнув

из смеси надлежащих частей, была умеренной и, сохранившись сама, оказалась спасительной и для других. Между тем при Темене, Кресфонте и тогдашних законодателях, кто бы они ни были, даже и удел Аристодема не был бы сохранен, ибо они были недостаточно опытными в законодательстве: иначе они не сочли бы возможным с помощью клятв укрощать молодую душу, получившую такую власть, что из нее легко могла возникнуть тирания. Но бог указал, какой и раньше и теперь должна быть постоянно пребывающая власть. Как я сказал раньше, ничего мудреного нет, если мы теперь это знаем, ведь нетрудно судить на примере прошлого. Но если бы тогда кто-нибудь мог это предвидеть и был в состоянии сделать власть более умеренной и единой вместо тройственной, он спас бы все прекрасное, что тогда было придумано, и никогда не двинулось бы ни персидское, ни какое иное войско против Эллады и не отнеслось бы к нам презрительно, как к малодостойным людям.

Клиний. Ты верно говоришь.

Афинянин. Постыдно защищались от них эллины, Клиний. Не потому постыдно, что тогда не было одержано прекрасных побед в сухопутных и морских сражениях, но, полагаю, вот почему: во-

первых, из трех существовавших тогда государств лишь одно сражалось за Элладу, остальные же два настолько низко пали, что одно из них даже препятствовало Лакедемону защищаться, ведя по мере сил с ним войну, другое же, а именно Аргос, первенствовавшее при тогдашнем разделе, не повиновалось призыву идти против варваров и не пошло. Много можно было бы привести примеров из тогдашней войны, которые вовсе не свидетельствуют в пользу Эллады. Было бы даже неверно утверждать, что Эллада себя защитила. Если бы афиняне и лакедемоняне, следуя общему замыслу, не отвратили надвигавшегося рабства, то почти смешались бы между собой все эллинские племена, а также варварские с эллинскими и эллинские с варварскими, подобно тому как эллины, находящиеся теперь под властью персов, живут скверно, в рассеянии: их то разъединяют, то объединяют.

Вот в чем, Клиний и Мегилл, можем мы упрекнуть тех давних так называемых государственных людей и законодателей, равно как и нынешних. Вскрывая причины их неудач, мы станем отыскивать, что же надо делать вместо этого. Вот, например, то, что мы сейчас сказали: не надо устанавливать законами могущественные

и несмешанные власти, принимая во внимание, что государство должно быть свободным, разумным и дружественным самому себе; законодатель должен давать законы, имея в виду именно это.

Не станем удивляться тому, что нередко, выдвинув какое-либо положение, мы утверждаем, что его-то и должен иметь в виду законодатель в своем законодательстве, между тем как у нас всякий раз, казалось бы, выдвигаются различные положения; надо принять в расчет следующее: когда мы утверждаем, что до́лжно иметь в виду рассудительность, или разумность, или дружбу, то ведь это не разные точки зрения, но все одна и та же. Поэтому не будем смущаться разнообразием подобных выражений.

Клиний. Попытаемся поступить так, когда вернемся к нашему рассуждению. Поведай нам о дружбе, разумности и свободе, которые, по твоим словам, должны быть целью законодателя.

Афинянин. Слушай же! Есть два как бы материнских вида государственного устройства, от которых, можно сказать по праву, родились остальные. Было бы правильно указать на монархию как на первый из них и на демократию как на второй. Монархия достигла высшего развития у персов, демократия — у нас. Почти все осталь-

ные виды государственного устройства, как я сказал, представляют собой пестрые соединения этих двух. Чтобы существовала свобода и дружба в соединении с разумностью, неизбежно надо быть причастным и к тому и к другому виду. Этого требует наше рассуждение, утверждающее, что государство, не причастное к ним, не может иметь хорошего строя.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Персы более, чем было до́лжно, полюбили монархическое начало, афиняне — свободу; вот почему ни у тех, ни у других нет умеренности. В лакедемонском и критском государственном устройстве больше меры; у афинян и у персов в старину тоже так было, теперь же в меньшей степени. Причины этого мы разобрали. Не так ли?

Клиний. Вполне, если только завершим нашу задачу.

Афинянин. Итак, внимание! Персы при Кире держались середины между рабством и свободой и стали сначала свободными сами, а затем — господами над многими другими. Но, будучи правителями, они уделяли подчиненным долю в свободе и относились к ним как к равным, так что воины были в большой дружбе с военачаль-

никами и охотно шли навстречу опасности. Если кто из них был разумен и мог подать совет, царь не завидовал, но позволял быть откровенным и ценил тех, кто мог быть советчиком; он давал им возможность публично проявлять свою разумность, и потому в ту пору персам все удавалось благодаря свободе, дружбе и обмену мнениями.

Клиний. По-видимому, все было так, как ты говоришь.

Афинянин. Почему же это погибло при Камбисе и снова почти возродилось при Дарий? Хотите, прибегнем в наших рассуждениях к своего рода предвидению?

Клиний. Да, это приведет наше рассмотрение к той цели, которую мы себе поставили.

Афинянин. Итак, я догадываюсь относительно Кира, что в общем он был хорошим полководцем и любил свое государство, но совершенно не воспринял правильного воспитания и не проявил разума как домохозяин.

Клиний. Можем ли мы это утверждать?

Афинянин. Видно, он с юных лет и в продолжение всей своей жизни был в военных походах, воспитание же своих детей поручил женщинам. А те воспитали их в сознании, что они счастливы и блаженны от рождения и ни в чем более не

нуждаются. Женщины никому не позволяли хоть в чем-то противоречить этим детям как вполне счастливым, а также заставляли всех восхвалять их слова и поступки. Вот как они их воспитали.

Клиний. Прекрасное рисуешь ты воспитание!

Афинянин. Это женское воспитание — женщин царского двора, недавно разбогатевших, ибо в отсутствие мужчин — те заняты войной и многими опасными делами — именно эти женщины воспитывали детей.

Клиний. Это понятно.

Афинянин. Отец приобрел для них обширные стада крупного и мелкого скота, толпы рабов и много другого имущества. Но он не знал, что те, кому он собирался передать все это, получают воспитание не на отечественный лад, ведь персы — пастухи, дети суровой страны, потому и воспитание их суровое, умеющее создать сильных и крепких пастухов, способных жить под открытым небом, обходиться без сна и в случае нужды нести военную службу. Между тем Кир просмотрел, что его сыновьям женщинами и евнухами было дано гибельное воспитание — в счастье, как принято говорить, воспитание на индийский лад, из-за чего они стали такими, какими и должны были стать воспитанные без наказаний. После

смерти Кира власть перешла к его сыновьям, развращенным негой и безнаказанностью. Из них сперва один убил другого, не желая терпеть себе равного, а затем и сам, безумствуя от пьянства и невоспитанности, потерял свою власть из-за мидян и известного тогда евнуха, который презирал Камбиса за его глупость.

Клиний. Да, так рассказывают об этом, и, видно, все и было именно так.

Афинянин. Говорят, что власть снова перешла к персам благодаря Дарию и Семи.

Клиний. Так что же?

Афинянин. Рассмотрим это по порядку. Ведь Дарий не был сыном царя и не получил изнеженного воспитания. Встав у власти, которую он получил как один из Семи, он разделил государство на семь частей, от которых ныне осталось лишь одно воспоминание; затем он установил законы, введя некое всеобщее равенство; он обусловил законом Кирову дань, которую тот обещал персам, и дружелюбно общался со всеми персами, привлекая персидский народ деньгами и подарками. Поэтому войска охотно добавили к его землям не меньше, чем оставил Кир. После Дария Ксеркс был снова воспитан на царский, изнеженный лад. «Ах, Дарий, Дарий, — по праву,

пожалуй, можно было бы сказать, — как это ты не понял беды Кира и воспитал Ксеркса в тех же нравах, что Кир Камбиса!» Так как Ксеркс вырос в тех же условиях, что и Камбис, он и претерпел примерно то же самое. Приблизительно с этого времени у персов уже не было на самом деле Великого царя — разве что только по имени. По-моему, причина здесь не в судьбе, но в дурном образе жизни, какой ведут большей частью дети особо богатых людей и тиранов. Под влиянием такого воспитания ни в коем случае нельзя отличиться в добродетели — ни в детстве, ни в зрелом возрасте, ни в старости. На это-то, утверждаем мы, и должен обратить внимание законодатель, а также и мы теперь в нашей беседе. Надо отдать справедливость, лакедемоняне, вашему государству: вы ни частному лицу, ни царю, ни богатому, ни бедному не уделяете особых почестей и не создаете для них особых условий воспитания, кроме тех, которые возвестил вам изначально божественный законодатель от имени некоего божества. Ибо в государстве не должно существовать чрезмерных почестей лишь за то, что такой-то отличается богатством, быстротой, красотой либо силой, если все это не сопровождается какой-либо добродетелью, и даже за добродетель,

если при этом отсутствует рассудительность.

Мегилл. Что ты имеешь в виду, чужеземец?

Афинянин. Мужество не есть ли часть добродетели?

Мегилл. Как же иначе?

Афинянин. Так выслушай же мое слово и сам рассуди: хотел бы ты иметь в своем доме или соседом человека очень мужественного, но нерассудительного и разнузданного?

Мегилл. Боже избави!

Афинянин. Ну а мастера, мудрого в каком-либо искусстве, но несправедливого?

Мегилл. Никоим образом.

Афинянин. Но ведь справедливость не встречается отдельно от рассудительности?

Мегилл. Конечно, нет.

Афинянин. И так же точно не лишен рассудительности описанный нами сейчас мудрый человек, чьи удовольствия и страдания согласуются с верными мнениями и вытекают из них?

Мегилл. Да.

Афинянин. Рассмотрим же еще следующее по поводу государственных почестей — правильно ли они каждый раз воздаются или нет…

Мегилл. Что именно?

Афинянин. Если рассудительность одиноко

пребывает в душе, без всей остальной добродетели, то какой она будет по справедливости — ценной или наоборот?

Мегилл. Не знаю, как и сказать.

Афинянин. Это удачный ответ, ибо, что бы ты ни сказал, все, по-моему, было бы невпопад.

Мегилл. Значит, получилось все к лучшему.

Афинянин. Отлично. Ведь то, добавление чего обусловливает ценность, достойно не слова, но скорее полного молчания.

Мегилл. Мне кажется, ты говоришь именно о рассудительности.

Афинянин. Да. Из остального самым правильным будет выше всего ценить то, что с этим добавлением приносит нам наибольшую пользу, а то, что приносит меньше пользы, ставить на втором месте, и так все по порядку займет подобающее ему место.

Мегилл. Действительно, это так.

Афинянин. Что же? Подобное распределение ценностей не входит разве в задачу законодателя?

Мегилл. Вполне.

Афинянин. Согласен ли ты предоставить ему такое распределение в каждом деле, даже в мелочах? Или, так как и мы — ревнители законов, не

попытаться ли нам со своей стороны произвести троякое различение, выделив самое важное, а затем — стоящее на втором и на третьем месте?

Мегилл. Конечно.

Афинянин. Итак, мы утверждаем, что государство, желающее себя сохранить и по мере человеческих сил быть счастливым, должно по необходимости правильно оценивать честь и бесчестье. Но самое ценное по праву — это блага, относящиеся прежде всего к душе, если в ней есть рассудительность, затем прекрасные качества тела и, в-третьих, так называемые блага, относящиеся к имуществу и достатку. Если какой-нибудь законодатель или какое-то государство выйдут за эти пределы, оценив наиболее высоко достаток или поместив в смысле ценности низшее перед высшим, они совершат дело и негосударственное, и нечестивое. Согласны мы с этим или нет?

Мегилл. Конечно, согласны!

Афинянин. Несколько дольше распространиться об этом заставило нас рассмотрение персидского государственного устройства. Мы видим, что оно с каждым годом становится хуже. Причина же заключается в том, что персы чрезмерно урезали свободу народа и дали более, чем следует,

развернуться деспотическому началу, так что в их государстве погибли дружба и общность. А без них совет правителей, совещаясь, имеет в виду не благо подданных и народа, но лишь свою собственную власть. Если они находят хотя бы малейшую выгоду для себя, они разрушают города, сжигают и опустошают даже дружественные племена, сея повсюду беспощадную ненависть; поэтому-то их все и ненавидят. Когда случается надобность, чтобы народ сражался за них, они не встречают в нем никакой готовности подвергаться вместе с ними опасностям и сражаться за них, так что все их неисчислимые полчища оказываются непригодными для войны. И вот, точно у них недостаток людей, нанимают они наемников и думают найти спасение при помощи чужеземцев. К тому же они поневоле обнаруживают свое неведение, показывая своими поступками, что все считающееся ценным и прекрасным в государстве — всегда пустяк в сравнении с золотом и серебром.

Мегилл. Совершенно верно.

Афинянин. Этим можно заключить наше доказательство, что у персов теперь все устроено неправильно из-за жестокого рабства и деспотизма.

Мегилл. Безусловно.

Афинянин. Теперь после этого нам нужно точно так же разобрать аттическое государственное устройство, чтобы показать, что полная свобода и независимость от всякой власти гораздо хуже умеренного подчинения другим людям. Во времена персидского нашествия на эллинов и чуть ли не на все племена, живущие в Европе, у нас еще существовал древний государственный строй, где правительственные должности основывались на имущественном цензе четырех классов. Владычицей у нас была некая совестливость, благодаря которой мы охотно жили в подчинении тогдашним законам. К тому же величина персидского войска и флота нагнала на нас безысходный страх; мы еще больше подчинялись властям и законам, и благодаря этому среди нас воцарилась большая взаимная дружба. Ибо почти за десять лет до Саламинской битвы прибыло персидское войско во главе с Датисом, которого Дарий послал прямо против афинян и эретрийцев, чтобы их поработить, причем угрожал ему смертью, если он это не выполнит. Датис при помощи многочисленного войска в короткое время совершенно завладел Эретрией, а в наше государство пустил страшную весть, будто ни один эретриец от него

не ушел, так как его солдаты, взявшись за руки, прочесали всю Эретрию. Это известие — верное или нет, — откуда бы оно ни исходило, поразило остальных эллинов, в том числе и афинян. Они разослали во все стороны гонцов, но никто не хотел оказать им помощи, кроме лакедемонян. Помешала ли им тогдашняя их война с Мессеной или что другое — этого мы не знаем, — но они пришли на день позже Марафонской битвы. После этого то и дело приходили известия о больших приготовлениях и бесчисленных угрозах со стороны царя; однако через некоторое время стало известно, что Дарий умер, власть же перешла к его молодому горячему сыну, который вовсе и не думал прекратить наступление. Афиняне полагали, что все это готовится именно против них — из-за Марафонской битвы. Узнав, что уже подкапывают Афон, а через Геллеспонт наводят мост, и услышав о множестве судов, они решили, что им нет спасения ни на суше, ни на море и что никто им не поможет, ведь они помнили, что во время первого нашествия и эретрийских событий им никто не помог и не пожелал рискнуть стать их союзником. То же самое, полагали они, постигнет их и на суше; в то же время и на море было очень трудно спастись, ибо там находилось

более тысячи судов. Оставался один-единственный лишь выход, слабый и почти безнадежный: оглянувшись на предшествовавшие события, они заметили, что сражались и тогда при обстоятельствах, казавшихся очень трудными, однако победили. Опираясь на эту надежду, они обрели прибежище только в самих себе и в богах. Все это и господствовавший тогда страх, возникший под влиянием прежних законов и заставлявший им подчиняться, внушили им взаимную дружбу. В предшествовавших рассуждениях мы нередко называли этот страх совестливостью. Мы утверждаем, что ей должны служить те, кто намерен быть порядочным человеком. Лишь презренные трусы свободны от этого страха. Кого не охватил бы тогда этот ужас, тот не собрался бы с духом и не дал бы отпора, не защитил бы святынь, могил, родины, своих домашних и друзей, не пришел бы им на помощь, но все мы были бы рассеяны поодиночке и разбросаны по миру.

Мегилл. Чужеземец, ты говоришь все правильно и достойно самого себя и своей родины.

Афинянин. Так обстоит дело, Мегилл. Перед тобой можно по праву излагать события того времени, так как ты одной породы с твоими предками. Посмотри же вместе с Клинием, имеет

ли то, о чем мы говорили, какое-то отношение к законодательству. Ибо я распространяюсь об этом не для того, чтобы только говорить, но ради предмета нашего рассуждения. Ведь вы видите, каким-то образом мы, афиняне, оказались в том же положении, что и персы, хотя те ведут народ к всевозможному порабощению, мы же, наоборот, направляем людей к всевозможной свободе. Какой же отсюда вывод? Ведь наши прежние рассуждения в известном смысле были прекрасны.

Мегилл. Хорошо сказано, но попытайся еще лучше разъяснить нам свои слова.

Афинянин. Пусть будет так. Друзья мои, когда были в силе наши древние законы, народ ни над чем не владычествовал, но в некотором смысле добровольно им подчинялся.

Мегилл. О каких законах ты говоришь?

Афинянин. Прежде всего о тогдашних законах относительно мусического искусства, если уж разбирать с самого начала чрезмерный расцвет свободной жизни. Тогда у нас мусическое искусство различалось по его видам и формам. Один вид песнопений составляли молитвы к богам, называемые гимнами; противоположность им составлял другой вид песнопений — их по большей части называют френами; затем шли пэаны

и, наконец, дифирамб, уже своим названием намекающий, как я думаю, на рождение Диониса. Как некий особый вид песнопений дифирамбы называли «номами», а точнее — «кифародическими номами». После того как это и кое-что другое было установлено, не дозволено стало злоупотреблять обращением одного вида песен в другой. Распознать же их суть, а вместе с тем найти их знатока, а найдя, наказать неповинующегося — это не было делом свистков и нестройных криков толпы, как теперь; и не рукоплесканиями воздавали хвалу, но было постановлено, чтобы те, кто занимается воспитанием, выслушивали их в молчании до конца; дети же, их руководители и большинство народа вразумлялись при помощи указующего жезла. При таком порядке большинство граждан охотно повиновалось и не осмеливалось высказывать шумом свое суждение. Впоследствии, с течением времени, зачинщиками невежественных беззаконий стали поэты, одаренные по природе, но не сведущие в том, что́ справедливо и законно в области Муз. В вакхическом исступлении, более должного одержимые наслаждением, смешивали они френы с гимнами, пэаны с дифирамбами, на кифарах подражали флейтам, все перемешивая между

собой; невольно, по неразумию, они извратили мусическое искусство, словно оно не содержало никакой правильности и словно мерилом в нем служит только наслаждение, испытываемое тем, кто получает удовольствие, независимо от того, плох он или хорош. Сочиняя такие творения и излагая подобные учения, они внушили большинству беззаконное отношение к мусическому искусству и дерзкое самомнение, заставлявшее их считать себя достойными судьями. Поэтому-то театры, прежде спокойные, стали оглашаться шумом, точно зрители понимали, что́ прекрасно в музах, а что нет; и вместо господства лучших в театрах воцарилась какая-то непристойная власть зрителей. Если бы при этом здесь возникло только господство благородных людей из народа, еще не было бы чрезмерной беды. Но теперь с мусического искусства началось у нас всеобщее мудрствование и беззаконие, а за этим последовала свобода. Все стали бесстрашными знатоками, бесстрашие же породило бесстыдство. Ибо это дерзость — не страшиться мнения лучшего человека, и, пожалуй, худшее бесстыдство — следствие чересчур далеко зашедшей свободы.

Мегилл. Совершенно верно.

Афинянин. За этой свободой последовало

нежелание подчиняться правителям, затем стали избегать подчинения отцу с матерью, всем старшим и их вразумлениям, а в конце концов появилось стремление не слушаться и законов. Достигнув этого предела, уже не обращают внимания на клятвы, договоры и даже на богов; здесь проявляется так называемая древняя титаническая природа; в своем подражании титанам люди вновь возвращаются к прежнему состоянию и ведут тяжелую жизнь, преисполненную бедствий. Однако ради чего это нами сказано? Мне кажется, наше рассуждение нужно иной раз осаживать, точно коня, иначе нас понесет необузданность речи. Нам надо, по пословице, не ронять с осла нашей поклажи. Вот почему я и задаю вопрос: ради чего это сказано?

Мегилл. Отлично.

Афинянин. Это сказано вот ради чего…

Мегилл. А именно?

Афинянин. Мы утверждали, что законодатель должен иметь в виду троякую цель: чтобы устрояемое государство было свободным, внутренне дружелюбным и обладало разумом. Так было сказано, не правда ли?

Мегилл. Совершенно верно.

Афинянин. Ради этого мы выбрали, с одной сто-

роны, самый деспотический, а с другой — самый свободный государственный строй. Посмотрим же теперь, какой из них более правильный. Если ввести и там и тут некоторую умеренность, в одном из них ограничить власть, а в другом свободу, тогда, как мы видели, в них наступит особое благополучие; если же довести рабство или свободу до крайнего предела, то получится вред и в первом, и во втором случае.

Мегилл. Ты говоришь сущую правду.

Афинянин. Ради этого мы рассмотрели устройство дорийского войска, поселения Дардана на предгорьях, приморские поселения, а также поселения первых людей, оставшихся после потопа; к тому же самому клонились прежние наши рассуждения о мусическом искусстве, об опьянении и все, что было сказано до того. А сказано все это ради рассмотрения вопроса о том, как лучше всего устроить государство и каким образом частному человеку лучше всего прожить свою жизнь. Можем ли мы себе доказать, Мегилл и Клиний, что мы поступили дельно?

Клиний. Мне кажется, чужеземец, у меня есть такое доказательство. Все рассуждения, что мы вели, возникли у нас, видимо, кстати. Ведь мне они сейчас совершенно необходимы, и я удачно

встретил тебя и Мегилла. Не скрою от вас обоих то, что со мной случилось, ибо нашу встречу я считаю счастливым предзнаменованием. Бóльшая часть Крита задумала основать колонию и поручила кносийцам заботу об этом; Кнос же передал это дело мне и девяти другим лицам. Мы уполномочены устанавливать законы — здешние, если некоторые из них нам нравятся, и чужеземные, не обращая никакого внимания на их чуждое происхождение, если они окажутся лучше. Доставим же себе это удовольствие: сделав отбор из того, что было сказано, построим, беседуя, государство, устрояя его как бы с самого начала. Мы будем рассматривать занимающий нас вопрос, а вместе с тем возможно, что и я воспользуюсь этим построением для будущего государства.

Афинянин. Клиний, это совсем не звучит как объявление войны! Если только Мегилл не против, я готов предоставить в твое распоряжение все, что у меня есть: и силы, и разумение.

Клиний. Отлично.

Мегилл. Я также предоставляю все, что у меня есть.

Клиний. Прекрасно сказали вы оба! Однако попробуем сначала словесно устроить наше государство.

Книга IV

Афинянин. Ну а каким же надо представлять себе это будущее государство? Я спрашиваю не о наименовании — нынешнем или будущем, ведь имя оно получит скорее всего от способа своего основания или от места, от реки, от источника либо от богов той местности, где оно будет основано, ведь вновь возникающее государство приобщится к их славе. Задавая свой вопрос, я хотел бы узнать, будет оно приморским или нет.

Клиний. То государство, о котором у нас сейчас шла речь, чужеземец, будет отстоять от моря примерно на восемьдесят стадий.

Афинянин. Что же, будут у него там гавани или оно совершенно будет их лишено?

Клиний. Да, чужеземец, там будут самые прекрасные гавани, какие только бывают.

Афинянин. Ах, что ты говоришь?! А окружающая местность? Производит ли она все необходимое? Или чего-то недостает?

Клиний. Пожалуй, там нет ни в чем недостатка.

Афинянин. Будет ли там по соседству какое-либо государство?

Клиний. Нет, потому-то и основывается поселение. Вследствие давнего выселения, происшедшего здесь, местность эта с незапамятных времен осталась пустынной.

Афинянин. Далее. Какая достанется здесь нам доля равнин, гор и леса?

Клиний. Местность эта по своей природе похожа на всю остальную часть Крита.

Афинянин. Значит, ты назвал бы ее скорее гористой, чем равнинной?

Клиний. Именно так.

Афинянин. Следовательно, это государство может исцелиться и обрести добродетель. Ведь если бы оно было приморским, с прекрасными гаванями и в то же время не производило всего необходимого, но испытывало бы во многом недостаток, то при такой природе ему понадобились бы великий спаситель и божественные законодатели, чтобы воспрепятствовать развитию всевозможных дурных наклонностей. Однако восемьдесят стадий служат некоторым утешением. Правда, оно расположено к морю ближе, чем должно, поскольку, по твоим словам, у него есть прекрасные гавани, однако удовольствуемся хоть этим.

Близость моря хотя и дарует каждый день уста-

ду, но на деле это горчайшее соседство. Море наполняет страну стремлением нажиться с помощью крупной и мелкой торговли, вселяет в души лицемерные и лживые привычки, и граждане становятся недоверчивыми и враждебными как друг по отношению к другу, так и к остальным людям. Утешением в таких случаях служит то, что страна производит все необходимое, а раз эта местность гориста, то, очевидно, она производит немного, но зато все, что нужно. Иначе, обладая большим вывозом, она снова наполнилась бы в обмен на него серебряной и золотой монетой. А для государства, если взять вопрос в целом, нет, так сказать, большего зла, чем это, когда речь идет о приобретении благородных и справедливых нравов: сколько помнится, именно так мы сказали раньше в нашей беседе.

Клиний. Мы помним это и согласны, что и тогда и теперь мы были правы.

Афинянин. Дальше. Как обстоит в нашей местности с корабельным лесом?

Клиний. Там нет ни елей, ни сосен, о которых стоило бы говорить. Кипарисов тоже немного, пихт и платанов мало совсем. А ведь они всякий раз нужны кораблестроителям для внутренних частей судов.

Афинянин. И в этом отношении природа местности неплоха.

Клиний. Как так?

Афинянин. Хорошо, когда государству нелегко подражать своим врагам в дурном.

Клиний. Что из сказанного раньше ты имеешь при этом в виду?

Афинянин. Друг мой. следи за мной, помня о том, что в самом начале было сказано о критских законах: ведь они, как вы оба сказали, имеют в виду только одно — войну; я же, возражая, ответил: прекрасно, если подобные узаконения имеют в виду добродетель, но нельзя согласиться с тем, что они имеют в виду лишь часть добродетели, а не всю добродетель в целом. Так вот, следите теперь за мной и за предстоящим законодательством — установлю ли я хоть один закон, который не имел бы отношения к добродетели или к какой-то ее части. Я полагаю, что лишь тот надлежащим образом устанавливает закон, кто, подобно стрелку, всякий раз метит в одну цель — ту, которая непрестанно влечет за собой нечто прекрасное, и оставляет в стороне все прочее — богатство и тому подобные вещи, если это не сопряжено с добродетелями, о которых мы говорили раньше. Я сказал, что дурное

подражание врагам возникает в том случае, если какой-либо народ живет у моря и его тревожат враги, примером может служить (я говорю это не из злопамятства против вас) Минос, некогда принудивший жителей Аттики платить тяжкую дань. Он располагал большой морской мощью, у них же в стране не было ни военных судов, как теперь, ни корабельного леса, из которого было бы легко построить флот. Поэтому они не смогли, подражая корабельщикам Миноса, сами стать моряками и отразить тогда же врагов. Еще много раз довелось им терять по семь мальчиков, прежде чем стали они из стойких пеших бойцов моряками и приучились делать частые высадки с судов, а затем бегом быстро возвращаться опять на суда; прежде чем возомнили, будто нет ничего постыдного в недостатке стойкой отваги и готовности умереть при натиске врага; прежде чем стали пользоваться весьма сподручными и правдоподобными предлогами при потере оружия и обращении в «почетное», как они выражаются, отступление. Ведь подобные выражения, излюбленные на морской службе, вовсе не достойны бесчисленных похвал, какие им нередко воздают: напротив, никогда не следует прививать дурные привычки, тем более лучшей части граждан. А

что подобные привычки нехороши, можно усвоить и из Гомера. Ведь Одиссей порицает у него Агамемнона, который приказал стащить корабли в море, когда ахейцев стали теснить троянцы. Одиссей обращается к нему с сердитой речью:

> *Ты предлагаешь теперь же, во время войны и сраженья,*
>
> *В море спустить корабли, чтоб еще совершилось полнее*
>
> *Все по желанию тех, кто и так торжествует над нами!*
>
> *Гибель над нами нависнет вернейшая. Кто из ахейцев*
>
> *Выдержит бой, если в море спускать корабли вы начнете?*
>
> *Будут все время они озираться и битву покинут.*
>
> *Вред лишь советы твои принесут, повелитель народа!*

Значит, и Гомер также признавал дурным, когда на море, невдалеке от сражающихся гоплитов, стоят триеры. С такими привычками даже львы научились бы бегать от ланей. Кроме того, в государствах, обязанных своими силами флоту,

почести достаются вовсе не лучшему из воинов: ведь там, где победа зависит от кормчих, пентеконтархов и гребцов, то есть от людей различных и не слишком дельных, вряд ли кто-нибудь сможет надлежащим образом распределить почести. А если государство этого лишено, может ли быть правильным его строй?

Клиний. Пожалуй, это невозможно. Однако, чужеземец, мы, критяне, считаем, что морская битва эллинов варварами при Саламине спасла Элладу.

Афинянин. Да, так считает большинство эллинов и варваров. Но мы — я и вот Мегилл — думаем, мой друг, что спасению Эллады положила начало сухопутная битва при Марафоне, а завершением его была битва при Платеях. Именно эти битвы сделали эллинов лучшими, а те — нет: я имею в виду обе морские битвы — при Саламине и при Артемисии; таким образом, я охватываю все битвы, способствовавшие тогда нашему спасению.

Однако сейчас мы и природу местности, и строй законов обсуждаем с точки зрения наилучшего государственного устройства, ибо мы считаем самым ценным для людей не спасение во имя существования, как это считает большинство, но достижение совершенства и сохранение его

на всем протяжении своей жизни. Впрочем, мне кажется, мы уже об этом сказали раньше.

Клиний. Конечно!

Афинянин. Итак, рассмотрим еще только вот что: является ли тот путь, на который мы вступили, наилучшим для основания государств и для законодательства? Клиний. Да, несомненно, он наилучший.

Афинянин. Далее, скажи, какой народ сделаете вы поселенцами? Сможет ли быть поселенцем всякий желающий с Крита, если в том или ином городе народа станет больше, чем может прокормить земля? Ведь вы не всякого из эллинов к себе принимаете, хотя я и вижу в вашей стране переселенцев из Аргоса, Эгины и других мест Эллады. Скажи же нам, откуда вы навербуете граждан?

Клиний. Со всего Крита, конечно, а из остальных эллинов предпочтение, как мне кажется, будет отдано поселенцам из Пелопоннеса. Ведь, как ты верно заметил, здесь, на Крите, есть выходцы из Аргоса, да и наиболее известное здешнее племя, гортинское, образовано выходцами из пелопонесской Гортины.

Афинянин. Основание государств происходит не так легко, если оно не совершается наподобие отроений пчел; хорошо, когда единое племя высе-

ляется из одной какой-то страны, если она тесна, причем друзья отделяются от друзей, или когда какие-нибудь другие подобные обстоятельства вынуждают этот род выселиться. Бывает, однако, что междоусобия заставляют какую-то малую часть граждан переселиться в другое место, а иногда и все граждане какого-нибудь государства бывают вынуждены бежать, наголову разбитые на войне. В одних из этих случаев легче основать поселение и дать ему законы, в других труднее. Единство племени, языка, законов, общность жертвоприношений и других подобных обычаев способствуют дружбе, однако в этом случае нелегко принимаются чужие законы и иное, чем на родине, государственное устройство. Иногда из-за плохих законов и стремления по привычке держаться тех же обычаев, которые привели племя к гибели, происходят даже восстания; это причиняет немало затруднений основателю поселения и законодателю, вселяет к нему недоверие. С другой стороны, когда разноплеменные поселенцы стекаются воедино, они, быть может, более расположены повиноваться новым законам, но трудно создать среди них единодушие — так, чтобы по пословице, относящейся к лошадям, вся упряжка шла на едином дыхании, это

требует долгого времени. Во всяком случае ничто так не способствует людской добродетели, как законодательство и основание государств.

Клиний. Возможно. Разъясни нам, что ты имеешь в виду, говоря это?

Афинянин. Друг мой, возвращаясь к рассмотрению законодателей, я должен буду, вероятно, указать и на кое-что нехорошее. Но это не беда, лишь было бы кстати. Что же именно мне не нравится? Ведь так, по-видимому, обстоит со всеми человеческими делами,

Клиний. Что ты имеешь в виду?

Афинянин. Я хотел сказать, что никогда никто из людей не дает никаких законов, но все законы даются нам случайностями и разными выпавшими на нашу долю несчастьями. Либо какая-нибудь война насильно перевертывает весь государственный строй и изменяет законы, либо бедствие тяжкой нужды. Да и болезни — если нападет мор — вынуждают делать много нововведений, так что иной раз надолго, на много лет, водворяется безвременье. Усмотрев все это, всякий поспешит сказать, как я, что ни один смертный не дает никаких законов, но все человеческое зависит от судьбы и случая. Это утверждение кажется верным в приложении к

мореплаванию, кораблевождению, медицине, военному делу, однако оно прекрасно применимо и в настоящем случае.

Клиний. Какое именно утверждение?

Афинянин. Что бог управляет всем, а вместе с богом судьба и благовремение правят всеми человеческими делами. Впрочем, не будем так строги: есть и нечто третье, следующее за ними, — искусство. В самом деле: своевременное применение искусства кормчего в случае бури дает, по-моему, большие преимущества. Не так ли?

Клиний. Да, так.

Афинянин. То же самое действительно и для других дел, особенно же для законодательства. Чтобы государство благополучно существовало, оно постоянно нуждается кроме удачного сочетания местных условий еще и в законодателе, придерживающемся истины.

Клиний. Сущая правда.

Афинянин. Итак, тот, кто обладает каким-либо из упомянутых искусств, правильно стал бы молить о таком стечении обстоятельств, при котором испытывалась бы нужда в искусстве?

Клиний. Конечно.

Афинянин. Значит, все упомянутые сейчас люди, если предложить им высказать свое желание,

высказали бы именно это? Не правда ли?

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. И законодатель, думаю я, поступил бы так же?

Клиний. По крайней мере я так считаю.

Афинянин. «Скажи же, законодатель, — обратимся мы к нему, — какое и находящееся в каком состоянии государство надо тебе дать, чтобы, приняв его, ты смог во всем остальном устроить его сам?»

Клиний. Какого ответа, по справедливости, можно на это ждать?

Афинянин. Не ответить ли нам от его имени?

Клиний. Да.

Афинянин. Так вот его ответ: «Дайте мне государство с тираническим строем. Пусть тиран будет молод, памятлив, способен к учению, мужествен и от природы великодушен; пусть, кроме того, душа этого тирана обладает теми свойствами, которые, как мы сказали раньше, сопровождают каждую из частей добродетели. Только тогда от остальных его свойств будет польза».

Клиний. Мне кажется, Мегилл, наш гость говорит о рассудительности как о спутнице добродетели. Не так ли?

Афинянин. Да, Клиний, о рассудительности, и притом в общепринятом смысле слова, а не о той, которую иные торжественно принуждают быть разумением. Нет, рассудительность с самого начала врождена даже животным и детям и сказывается в том, что одни из них могут, а другие не могут воздерживаться от удовольствий. Если эту рассудительность брать отдельно от многого того, что называется благом, то о ней не сто́ит и говорить. Ведь вы понимаете, что я имею в виду?

Клиний. Да, конечно.

Афинянин. Так пусть у нас тиран обладает и этим природным свойством в придачу к прочим, если только государство должно возможно скорее и лучше получить такое устройство, при котором оно станет самым счастливым. Ведь нет и не будет более удачного положения вещей для скорейшего и наилучшего устроения государства.

Клиний. Но как, чужеземец, и на каком основании тот, кто высказывает подобные взгляды, мог бы убедиться в своей правоте?

Афинянин. Легко заметить, Клиний, что, согласно природе, дело обстоит именно так.

Клиний. Что ты разумеешь? Если бы был, говоришь ты, тиран — молодой, рассудительный, способный к учению, памятливый, мужествен-

ный, великодушный…

Афинянин. Прибавь: удачливый, но лишь в том, что во время его владычества появится славный законодатель и некая судьба их сведет воедино. Если это произойдет, то богом будет совершено почти все, что он делает, когда хочет, чтобы какое-нибудь государство особенно преуспело. На втором месте мы поставим появление двух таких правителей, на третьем — трех; словом, трудностей будет тем больше, чем бóльшим будет число правителей, и наоборот.

Клиний. Оказывается, ты утверждаешь, что наилучшее государство может возникнуть из тирании — благодаря выдающемуся законодателю и рассудительному тирану и что подобный переход там всего быстрее и легче; возникновение же наилучшего государства из олигархии стоит у тебя на втором месте, из демократии — на третьем. Так ведь?

Афинянин. Вовсе нет. На первое место я ставлю возникновение государства из тирании, на второе — из царской власти, на третье — из какого-либо вида демократии, на четвертое — из олигархии. В самом деле, из нее труднее всего возникнуть совершенному государству, ибо при ней больше всего властителей. Мы же говорим,

что возникновение наилучшего государства произойдет лишь тогда, когда явится, истинный по природе законодатель и когда мощь его будет действовать сообща с самыми сильными в государстве лицами. А поскольку, чем меньшее число лиц стоит у власти, тем она крепче, как, например, при тирании, то именно в этом случае всего быстрее и легче совершается переход.

Клиний. Но каким образом? Мы все-таки не понимаем.

Афинянин. Между тем об этом было сказано у нас не один раз. Но может быть, вы и не видели государства с тираническим строем?

Клиний. Я не слишком большой охотник до подобного зрелища!

Афинянин. Но ты увидел бы тогда то, о чем у нас сейчас идет речь.

Клиний. А что именно?

Афинянин. Если тиран захочет изменить нравы государства, ему не потребуется особых усилий и слишком долгого времени. Хочет ли он приучить своих граждан к добродетельным обычаям или, наоборот, к порочным, ему стоит только самому вступить на избранный им путь. Собственное его поведение будет служить спредписанием, так как одни поступки будут

вызывать с его стороны похвалу и почет, другие — порицание; ослушника же он будет покрывать бесчестьем за всякий его поступок.

Клиний. Но можем ли мы предположить, что остальные граждане поспешат пойти за тем, у кого есть власть не только убеждать, но и принуждать?

Афинянин. Друзья мои, не давайте никому себя убедить, будто государство может легче и скорее изменить свои законы другим каким-то путем, чем под руководством властителей; нигде этого не случится ни теперь, ни впредь. Однако не в этом немыслимость и сложность осуществления. Трудность здесь иного рода, и она редко, на протяжении веков, бывает устранена; зато уж если удастся ее устранить, государство, где это случилось, пользуется бесчисленными и даже всеми благами.

Клиний. О чем ты говоришь?

Афинянин. Это бывает, когда божественная любовь к рассудительным и справедливым нравам зарождается в лицах, облеченных высшей властью, — потому ли, что они монархи, или потому, что выделяются своим богатством и знатностью, — когда кто-нибудь из них возрождает в себе природные свойства Нестора, превосхо-

дившего всех людей не только силой слова, но еще больше своей рассудительностью. Так было, по преданию, во времена Трои; в наше же время этого вовсе не бывает. Но если подобный человек родился, родится или теперь среди нас существует, то жизнь его блаженна и блаженны люди, внимающие словам, исходящим из рассудительных уст. То же самое можно сказать и о всякой власти вообще: если у человека величайшая власть соединяется с разумением и рассудительностью, возникают наилучший государственный строй и наилучшие законы — иного не дано. Пусть это будет у нас неким священным словом, точно бы возвещенным оракулом; пусть считается доказанным, что хоть и трудно, с одной стороны, стать государству благоустроенным, с другой стороны, если бы случилось то, о чем мы сказали, нет ничего быстрее и легче.

Клиний. Как так?

Афинянин. Давайте мы, старики, попробуем, точно дети, создать на словах законы, подходящие твоему государству.

Клиний. Давайте, немедля.

Афинянин. Призовем бога в помощь устроению нашего государства! Пусть услышит он нас и снизойдет к нам милостиво и благосклонно,

чтобы совместно с нами упорядочить наше государство и его законы!

Клиний. Пусть снизойдет!

Афинянин. Итак, какого рода государственный строй установим мы мысленно в нашем государстве?

Клиний. Разъясни, будь добр, нам свой замысел. Говоришь ли ты о демократии, олигархии, аристократии или о царской власти? Ведь не о тирании же в самом деле станешь ты говорить!

Афинянин. Ну так пусть тот из вас, кто хочет первым ответить на мой вопрос, укажет, какое государственное устройство у него на родине.

Мегилл. Не мне ли как старшему справедливее отвечать первым?

Клиний. Пожалуй.

Мегилл. Чужеземец, размышляя о государственном устройстве Лакедемона, я не могу так вот сразу указать, к какому роду его следует причислить. Оно похоже даже на тиранию, так как власть эфоров в нем удивительно напоминает тираническую. А иной раз мне кажется, что моя родина похожа на самое демократическое из всех государств. В свою очередь было бы во всех отношениях странным не признать в ней аристократию. Впрочем, есть у нас и пожизненная

царская власть, признаваемая как нами самими, так и всеми другими людьми самой старинной. Так что на этот твой внезапный вопрос я, повторяю, не могу дать точного определения государственного строя моей родины.

Клиний. Оказывается, Мегилл, в таком же положении и я, ведь я в большом затруднении, к какому виду можно с уверенностью причислить государственный строй Кноса.

Афинянин. Это потому, дорогие мои друзья, что у вас действительно есть государственное устройство; те же виды, которые мы только что назвали, — это не государства, а попросту сожительства граждан, где одна их часть владычествует, а другая рабски повинуется. Каждое такое сожительство получает наименование по господствующей в нем власти. Если бы и наше государство надо было наименовать таким образом, то до́лжно было бы назвать его по имени бога — истинного владыки разумных людей.

Клиний. Какой же это бог?

Афинянин. Не надо ли снова отчасти воспользоваться мифом, чтобы дать складный и ясный ответ на этот вопрос?

Клиний. Да, надо это сделать.

Афинянин. И даже очень. Говорят, что гораздо

раньше тех государственных образований, которые мы разобрали выше, существовало, при Кроносе, в высшей степени счастливое правление и общество, которому подражает лучшее нынешнее государственное устройство.

Клиний. По-видимому, очень стоит об этом послушать.

Афинянин. По крайней мере мне так кажется, поэтому-то я и обратил на это особое внимание.

Клиний. Ты поступил очень правильно и сделаешь еще лучше, если расскажешь миф до конца — раз уж он нам подходит.

Афинянин. Я должен исполнить ваше желание. До нас дошло предание о блаженной жизни тогдашних людей, о том, как им все в изобилии и само собой доставалось. Причина этому была, говорят, вот какая: Кронос знал, что никакая человеческая природа — мы говорили об этом — не в состоянии неограниченно править человеческими делами без того, чтобы не преисполниться заносчивости и несправедливости; сознавая все это, Кронос поставил тогда царями и правителями наших государств не людей, но даймонов — существ более божественной и лучшей природы. Мы в наше время поступаем так со стадами овец и других домашних животных, ведь мы не

ставим быков начальниками над быками и коз — над козами, но сами, принадлежа к лучшему, чем они, роду, над ними властвуем. Точно так же и бог, будучи человеколюбив, поставил тогда над нами лучший род, род даймонов. Сами они с необычайной легкостью, не затрудняя людей, заботились о них и доставляли им мир, совестливость, благоустроенность и изобилие справедливости, что делало человеческие племена свободными от раздоров и счастливыми. Это сказание, согласное с истиной, утверждает и ныне, что государства, где правит не бог, а смертный, не могут избегнуть зол и трудов. А подразумевается здесь, что мы должны всеми средствами подражать той жизни, которая, как говорят, была при Кроносе; мы должны, насколько позволяет присущая нам доля бессмертия, убежденно следовать этой жизни как в общественных, так и в частных делах — в устроении наших государств и домов, — именуя законом эти определения разума. Если же какой-то отдельный человек, олигархическая власть или демократия, обладая душой, стремящейся к удовлетворению вожделений, требуют этого удовлетворения, в то же время ничего не могут сберечь и одержимы нескончаемым, ненасытным недугом, и при этом все они, поправ законы,

станут управлять государством или каким-либо частным лицом, — тогда, как мы только что сказали, нет средств к спасению. Вот нам и надо, Клиний, рассмотреть это сказание: прислушаемся ли мы к нему или поступим как-то иначе?

Клиний. Необходимо к нему прислушаться.

Афинянин. Ты, конечно, заметил, что иные люди утверждают, будто существует столько же видов законов, сколько есть видов государственного устройства. Сколько видов государственного устройства насчитывает большинство людей, это мы недавно разобрали. Не думай, будто это наше разногласие с мнением большинства незначительно; наоборот, оно очень важно, ибо мы снова разошлись во мнениях относительно того, что надо подразумевать под справедливостью и несправедливостью. Законы, по мнению иных людей, не должны симеть в виду ни войну, ни всю добродетель в целом; люди полагают, что законы должны иметь целью пользу уже установившегося правления, так, чтобы оно оставалось навеки и не было никогда нарушено. Такое определение справедливости они считают наиболее согласным с природой.

Клиний. Какое определение?

Афинянин. Гласящее, что справедливость есть

польза сильнейшего.

Клиний. Скажи яснее.

Афинянин. Вот в чем дело: они утверждают, что те, кто одержал верх в государстве, и устанавливают там всегда законы. Не так ли?

Клиний. Ты прав.

Афинянин. «Не думаете ли вы, — говорят они, — что одержавший победу тиран, народ или другое какое-нибудь правление добровольно установят законы, имеющие в виду что-то иное, кроме их собственной пользы, то есть закрепления за собой власти?»

Клиний. Как может быть иначе?

Афинянин. Значит, тот, кто устанавливает законы, назовет эти законы справедливыми, а нарушившего их станет наказывать как преступника.

Клиний. Это очевидно.

Афинянин. Стало быть, так и всегда обстоит дело со справедливостью.

Клиний. По крайней мере так вытекает из сказанного.

Афинянин. А это и есть одна из тех основ власти.

Клиний. Каких?

Афинянин. Тех, о которых мы упомянули, когда

разбирали, кому надлежит кем править. Выяснилось, что родители должны править детьми, старшие — младшими, благородные — неблагородными. Помнится, было там немало и других утверждений, причем многие из них противоречили другим. В том числе говорилось там и об этом, и мы сказали, что Пиндар, ссылаясь на природу, оправдывает величайшее насилие, так по крайней мере он говорит.

Клиний. Да, именно это было тогда указано.

Афинянин. Смотри же, кому нам следует вручить наше государство. Ведь в некоторых государствах многократно случалось вот что…

Клиний. О чем ты говоришь?

Афинянин. Так как в государствах этих происходила борьба за власть, то победители присваивали исключительно себе все государственные дела — настолько, что побежденным, как самим, так и их потомкам, не давали ни малейшей доли в управлении. Всю жизнь они были настороже друг против друга, ибо боялись, что кто-то восстанет, захватит власть и припомнит им тогда прошлые их злодеяния. А ведь подобное положение вещей, как мы теперь утверждаем, не есть государственное устройство: неправильны те законы, что установлены не ради общего блага

всего государства в целом. Мы признаем, что там, где законы установлены в интересах нескольких человек, речь идет не о государственном устройстве, а только о внутренних распрях и то, что считается там справедливостью, носит вотще это имя. Мы говорим так потому, что ведь в твоем государстве мы будем предоставлять государственные должности не тем, кто богат, силен, велик ростом, знатен или обладает другим каким-либо из подобных качеств, но тем, кто будет всего более послушен установленным законам и этим одержит победу в государстве. Такому человеку, утверждаем мы, надо первому предоставить верховное служение богам; второе по важности служение — тому, кто был вторым, и так далее, распределяя места по тому же признаку. Не ради нового словца назвал я сейчас правителей служителями законов, я действительно убежден, что спасение государства зависит от этого больше, чем от чего-то иного. В противном случае государство гибнет. Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью. Там же, где закон — владыка над правителями, а они — его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государствам боги.

Клиний. Клянусь Зевсом, чужеземец, ты дальновиден, как это и бывает в твоем возрасте!

Афинянин. Когда человек молод, он очень плохо различает подобные вещи, в старости же, наоборот, очень отчетливо.

Клиний. Сущая правда.

Афинянин. Что же дальше? Не предположить ли нам, что наши переселенцы уже пришли и стоят перед нами и дальнейшая наша речь должна быть обращена уже к ним?

Клиний. Конечно.

Афинянин. «Поселенцы, — скажем мы им, — бог, согласно древнему сказанию, держит начало, конец и середину всего сущего. Прямым путем приводит он все в исполнение, вечно вращаясь при этом, согласно природе. За ним всегда следует правосудие, мстящее тем, кто отступает от божественного закона. Кто хочет быть счастлив, должен держаться этого закона и следовать ему смиренно и в строгом порядке. Если же кто, по надменности, кичится богатством, почестями, телесным благообразием или, по молодости и неразумию, распаляет свою душу заносчивостью и начинает считать, что ему не нужен ни правитель, ни руководитель, но он сам годится в руководители другим, то такой будет покинут

богом. Покинутый таким образом, он вместе с другими себе подобными мечется, все вокруг сокрушая. Многим он кажется человеком значительным, но в скором времени ему приходится дать должное удовлетворение правосудию; он до основания губит себя самого, свой дом и государство. Вот как обстоит дело. Как же должен здесь поступать и мыслить разумный человек и от чего он должен воздерживаться?»

Клиний. Во всяком случае вот что ясно: всякий человек должен мыслить себя одним из спутников бога.

Афинянин. «Какой же образ действий любезен и соответствует богу? Только один, согласно одному старинному изречению: подобное любезно подобному, если оно сохраняет меру; несоразмерные же вещи не любезны как друг другу, так и вещам соразмерным. Пусть у нас мерой всех вещей будет главным образом бог, гораздо более, чем какой-либо человек, вопреки утверждению некоторых. Поэтому, кто хочет стать любезным богу, непременно должен, насколько возможно, ему уподобиться. В силу этого, кто из нас рассудителен, тот и любезен богу, ибо подобен ему, а кто нерассудителен, тот ему не подобен и, наоборот, отличен от него и несправедлив. То

же самое положение сохраняется и в остальном. Выведем же отсюда правило, на мой взгляд прекраснейшее и вернейшее из всех: для хорошего человека в высшей степени прекрасно, хорошо и полезно во имя счастливой жизни совершать жертвоприношения богам, общаться с ними путем молитв, приношений и всякого иного служения, ему это особенно подобает. Для человека дурного все по самой природе обстоит наоборот, ибо душа такого человека нечиста, хороший же человек чист, а принимать дары от человека запятнанного не до́лжно ни доброму человеку, ни богу. Поэтому служение богам со стороны людей нечестивых тщетно, со стороны же благочестивых — очень уместно. Вот та цель, в которую мы должны метить. Но что будет нашими стрелами и в каком направлении их надо метать, чтобы вернее всего попасть в эту цель? Благочестивой цели, скажем мы, вернее всего достигнет тот, кто прежде всего вслед за почитанием олимпийских богов и богов — охранителей государства будет уделять подземным богам все четное, вторичное и левое, высшие же почести, противоположные перечисленным, следует уделять тем богам, которые были названы первыми. Вслед за всеми этими богами разумный человек станет почитать

священными обрядами даймонов, а после них и героев. Затем следует священное почитание, согласно с законом, частных святилищ родовых богов и почитание тех родителей, что еще живы, ведь священная наша обязанность — выплатить им самые большие и настоятельные долги — древнейшие из всех наших повинностей; мы должны сознавать, что все, чем мы обладаем и что имеем, принадлежит тем, кто нас родил и вскормил; потому-то и до́лжно по мере сил предоставлять все это к их услугам: во-первых — наше имущество, затем — наше тело, наконец — нашу душу. Только этим можем мы отплатить нашим родителям, когда они состарятся и нужды их увеличатся, за их заботливость, за муки родов и давние страдания, которые они претерпели ради нас в нашем детстве. Всю свою жизнь надо с особым благоговением относиться к своим родителям, выражая его в речах, потому что тяжкой бывает кара за легкомысленные, брошенные мимоходом слова: над всем этим поставлена надзирать Немесида, вестница Правосудия. Когда родители гневаются, следует уступать их гневу, все равно сквозит он в словах или в поступках, ведь надо признать, что, если отец считает себя обиженным сыном, великий гнев его будет

естественным. Когда родители скончаются, то самые скромные похороны — самые лучшие; не следует в пышности превосходить принятое обычаем, но не надо и отклоняться от того, что было установлено в отношении своих родителей нашими предками. Опять-таки до́лжно проявлять ежегодное попечение о покойных, служащее их прославлению. Но высшее почитание заключается в постоянной, неослабной памяти о покойных и в уделении им соответствующей части дарованного нам судьбой имущества. Так поступая и живя сообразно этому, все мы в каждом отдельном случае получим награду от богов и от тех, кто стоит выше нас, и бо́льшую часть нашей жизни проведем в добрых надеждах».

Что же касается того, как должны мы относиться к нашим потомкам, родственникам, друзьям, согражданам, к лицам, связанным с нами священными узами гостеприимства, вообще, как должны мы общаться с людьми, чтобы и собственная наша жизнь стала радостной и красивой, согласно закону, — все это объяснят сами законы. Они будут частью убеждать, частью исправлять с помощью силы и правосудия те характеры, что не повинуются убеждению: законы, руководясь советом богов, сделают наше государство вполне

счастливым и блаженным. Мне кажется, что для законодателя, который придерживается тех же взглядов, что и я, но не может выразить их в форме закона, мной уже дан образец, что и как следует говорить и ему и тем, для кого он устанавливает законы. Поэтому нужно, разобрав по мере сил все остальные вопросы, приступить к самому законодательству. Но какая форма для этого больше всего подходит? Не очень-то легко охватить все то, что сюда относится, как бы в одном общем очерке, однако не сможем ли мы здесь все-таки выставить одно основоположение…

Клиний. Скажи, какое?

Афинянин. Я хотел бы, чтобы граждане покорно следовали добродетели. Очевидно, и законодатель постарается провести это через все свое законодательство.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Сказанное нами принесет, мне кажется, некоторую пользу в том смысле, что, восприняв это, граждане, если только у них не окончательно загрубела душа, станут более кротко и благосклонно внимать увещаниям законодателя. Во всяком случае следует удовольствоваться уже и тем, что мы сделаем слушателя хоть немного более благосклонным и в силу

этого более способным к усвоению. Ведь не слишком-то легко и часто можно встретить людей, усердно стремящихся как можно скорее достичь по возможности более полного совершенства. И большинство людей объявляет Гесиода мудрецом за его слова, что путь к пороку «удобен и прям» и его можно совершить без труда,

> *Но добродетель от нас отделили бессмертные боги*
>
> *Тягостным потом: крута, высока и длинна к ней дорога.*
>
> *Если ж достигнешь вершины, настолько же легким*
>
> *Станет тогда твой путь, насколько был ранее тяжек.*

Клиний. Похоже, что это прекрасно сказано.

Афинянин. Да, в высшей степени. Но я хочу сказать вам, какое впечатление произвело на меня наше прежнее рассуждение.

Клиний. Скажи.

Афинянин. Давайте обратимся к законодателю со следующими словами: «Скажи нам, законодатель, если бы ты знал, как нам надо поступать и говорить, ты, очевидно, и сказал бы нам это?»

Клиний. Непременно.

Афинянин. «Но разве мы не слышали от тебя несколько раньше, что законодатель не должен дозволять поэтам творить то, что им нравится? Ведь поэты не знают, какими своими противозаконными словами принесут они вред государству».

Клиний. Ты прав.

Афинянин. Будут ли несообразны наши слова, если мы от лица поэтов скажем законодателю…

Клиний. Что именно?

Афинянин. Вот что. «Есть одно древнее поверье, законодатель, постоянно рассказываемое нами, поэтами, и принятое всеми остальными людьми: поэт, когда садится на треножник Музы, уже не находится в здравом рассудке, но дает изливаться своему наитию, словно источнику. А так как искусство его — подражание, то он принужден изображать людей, противоположно настроенных, и в силу этого вынужден нередко противоречить самому себе, не ведая, что́ из сказанного истинно, а что́ нет. Но законодателю нельзя высказывать два различных мнения относительно одного и того же предмета, а следует всегда иметь одно и то же. Примени это к только что сказанному тобой о похоронах. Так, хотя существуют три вида похорон — чрезмерно пышные,

наоборот, бедные и, наконец, умеренные, — ты, законодатель, избрал только один вид, соблюдающий средину между двумя крайностями, и его одобрил и предписал. Я же, если бы вывел в своем сочинении чрезвычайно богатую женщину, делающую распоряжения о своем погребении, стал бы хвалить только пышные похороны. Наоборот, если бы я вывел человека скаредного и бедного, то похвалил бы убогое погребение. Если же я выведу человека с умеренным состоянием, да и умеренного характера, то я похвалю и похороны соответствующие. Но тебе нельзя просто говорить: «умеренные похороны», — как ты это сделал сейчас. Твое дело определить, что именно и в каком размере можно назвать умеренным, иначе не думай, что подобное твое слово станет законом».

Клиний. Ты совершенно прав.

Афинянин. Разве тот, кто у нас поставлен над законами, не предпошлет им ничего в этом роде, но сразу объявит: то-то надо делать, а того-то не надо и, пригрозив наказанием, сразу обратится к другому закону, не добавив ни словечка для увещания и убеждения тех, кому он эти законы дает? Впрочем, и врачи нас обычно так лечат — кто во что горазд. Однако припомним оба

способа, чтобы обратиться к законодателю с той же просьбой, с какой обращаются дети к врачу, прося лечить их понежнее. Возьмем пример: ведь бывают врачи, но бывают и их помощники, которых мы тоже называем врачами.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Эти последние, все равно свободные ли они люди или рабы, овладевают своим искусством путем наблюдения, опыта и указаний своих господ, но не в силу природной одаренности, благодаря которой свободные люди научаются сами да еще и обучают своих детей. Принимаешь ли ты это разделение тех, кого мы называем врачами, на два рода?

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. И вот не подметил ли ты, что врачи-рабы, хотя в городах болеют как рабы, так и свободные люди, лечат по большей части рабов, снуя повсюду и принимая их у себя в лечебницах? Никто из подобных врачей не дает своим пациентам-рабам отчета в их болезни да и от них этого не требует, но каждый из них, точно он все доподлинно знает, с самоуверенностью тирана предписывает те средства, что по опыту кажутся ему пригодными, вслед за чем поднимается и удаляется к другому больному рабу. Таким образом,

он немало облегчает господину заботу о своих больных рабах. Врач же из свободных пользует и лечит большей частью людей такого же рода. Он исследует начало и природу их болезней, беседует с больным и его друзьями, так что и сам получает кое-какие сведения о тех, кого лечит; вместе с тем, насколько это в его силах, он наставляет больного и предписывает ему лечение не прежде, чем убедит в его пользе. Такой врач путем убеждения делает своего больного все более и более послушным и уж тогда пытается достичь своей цели, то есть вернуть ему здоровье. Так какой же из этих двух врачей применяет лучший способ лечения (то же можно спросить и об учителях гимнастики)? Кто лучше: тот ли, кто употребляет двоякий способ для достижения своей цели, или тот, кто держится одного способа, к тому же более сурового и худшего из двух возможных?

Клиний. Несравненно лучше тот, кто применяет двоякий способ.

Афинянин. Хочешь, мы рассмотрим, как применяются эти способы — двоякий и однозначный — в законодательстве?

Клиний. Конечно, хочу.

Афинянин. Скажи же, ради богов, какой закон установил бы законодатель первым? Не есте-

ственно ли, что он прежде всего упорядочит рождение детей — эту первооснову государств?

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Основа же для рождения детей во всех государствах — это брачные отношения и союзы.

Клиний. Разумеется.

Афинянин. Следовательно, первыми во всяком государстве будут по праву законы о браке.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Применим же сначала однозначный способ. Получится, пожалуй, следующий закон: всем надлежит жениться начиная с тридцати лет до тридцати пяти; кто этого не сделает, будет присужден к пене и лишению гражданских прав — пеня такая-то, лишение прав такое-то. Это простой закон о браке.

Закон же, основанный на двойном способе, будет следующий: всем надлежит жениться начиная с тридцати лет до тридцати пяти и сознавая при этом, что человеческий род по природе своей причастен бессмертию, всяческое стремление к которому врождено каждому человеку. Именно это заставляет стремиться к славе и к тому, чтобы могила твоя не была безымянной. Ведь род человеческий тесно слит с совокупным временем,

он следует за ним и будет следовать на всем его протяжении. Таким-то образом род человеческий бессмертен, ибо, оставляя по себе детей и внуков, род человеческий благодаря таким порождениям остается вечно тождественным и причастным бессмертию. В высшей степени неблагочестиво добровольно лишать себя этого, а между тем, кто не заботится о том, чтобы иметь жену и детей, тот лишает себя этого умышленно. Повинующийся закону не подвергнется наказанию. Ослушник же, не женившийся до тридцати пяти лет, должен ежегодно в наказание выплачивать такую-то сумму, чтобы ему не казалось, будто холостая жизнь приносит ему облегчение и выгоду. Ему не будет доли в тех почестях, которые всякий раз люди помоложе оказывают в государстве старшим.

Выслушав этот закон наряду с тем, вы можете судить, надо ли, чтобы законы не только угрожали, но и убеждали и вследствие этого стали бы по меньшей мере вдвое большими по объему, или же они должны употреблять только угрозы и быть вполовину короче первых? Мегилл. Следуя лакедемонскому обычаю, чужеземец, всегда до́лжно предпочитать краткость. Но, если бы меня поставили судьей над двумя этими положениями, так что мне предстояло бы решить,

какое из них принять в государстве, я выбрал бы более пространное. То же самое сказал бы я и относительно любого закона, если бы он был составлен по этому образцу, двояким способом. Впрочем, и Клинию должны нравиться только что предложенные законы. Ведь мы держим в мыслях, что именно его государство будет пользоваться этими законами.

Клиний. Ты прекрасно сказал, Мегилл.

Афинянин. Однако дело совсем не в пространности или краткости. Дóлжно ценить, думаю я, не краткое и не подробное изложение, но наилучшее. Из приведенных сейчас законов один лучше другого для применения на деле вовсе не потому, что он вдвое больше; впрочем, здесь вполне уместно только что приведенное сравнение с двумя родами врачей. Видно, ни одному законодателю никогда не приходило на ум, что, издавая законы, можно пользоваться двумя средствами — убеждением и силой, насколько это возможно при невежественности и невоспитанности толпы; обычно законодатели пользуются только вторым средством. В самом деле, издавая свои законы, они не примешивают увещаний и убеждений к необходимости, но употребляют лишь чистое насилие. Я же, друзья мои, вижу, что

к законам надо присоединить еще нечто третье, чего сейчас нигде нет.

Клиний. О чем ты говоришь?

Афинянин. О том, что вытекает по воле некоего бога из наших нынешних рассуждений. Мы начали наш разговор о законах ранним утром, а теперь настал уже полдень, и мы подошли к этому прекрасному месту, где так хорошо отдохнуть; разговор наш все время шел об одних законах; между тем, мне кажется, мы только недавно начали говорить о самих законах, все же предшествовавшее было у нас лишь вступлением. Что я хочу сказать? Да то, что у всяких речей, у всего, что мы сообщаем с помощью голоса, бывает вступление и как бы предварительная разминка, представляющая собой некую искусную подготовку, облегчающую достижение цели. Например, так называемым кифародическим номам, как и номам любой другой музыки, предпосылаются на диво тщательно разработанные вступления. Вступлений же к действительным законам — а таковы, утверждаем мы, только государственные законы — никто никогда не составлял, а если даже и составлял, то не стремился их обнародовать — словно и в природе их нет. Нынешняя же наша беседа, думается мне, обнаруживает, что такие

вступления существуют. В самом деле, только что указанные законы с двойным значением кажутся мне не просто двузначными, но состоящими из двух частей: собственно закона и вступления к нему. Однозначный, несмешанный закон мы назвали тираническим повелением, уподобив его повелениям врачей, названных нами несвободными. То же, что было изложено прежде и вот им было признано увещанием, действительно является таковым и по своему значению равняется вступлениям в речах. Мне ясно, что подобное увещательное рассуждение законодатель приводит ради того, чтобы те, кому он дает законы, благосклонно приняли его предписания (а это и есть закон) и вследствие этой своей благосклонности стали бы восприимчивее. Поэтому-то, по моему разумению, это может быть названо только вступлением, но не смыслом закона. Что же еще хотелось бы мне добавить к этим моим словам? А вот что: законодатель всегда должен предпосылать своим законам вступления, помня хотя бы на основании только что разобранного примера, как велика разница между законами, имеющими вступления и не имеющими их.

Клиний. По моему мнению, человек, знающий толк в подобных вещах, должен давать нам зако-

ны именно так.

Афинянин. Мне кажется, ты верно заметил, Клиний, что у всех законов должны быть вступления и что, приступая к любому законодательству, следует каждому положению предпослать подобающее ему вводное слово. Ибо слово такое имеет большое значение. Очень важен также вопрос, будет ли это ясно запоминаться или нет. Однако мы были бы не правы, если бы постановили, что вступления к так называемым большим законам и к менее значительным должны звучать одинаково. Так ведь не следует поступать ни при пении, ни при произнесении речей. И хотя естественно, чтобы были вступления ко всему, но не всеми ими надо пользоваться. Предоставим же это на усмотрение самого оратора, певца и законодателя.

Клиний. Ты говоришь, по-моему, сущую правду. Однако, чужеземец, не будем больше замедлять течение нашей беседы и обратимся к основному ее предмету. Начнем, если тебе угодно, с того, что ты высказал тогда, еще не думая, что это окажется вступлением. Давайте снова, как говорят в играх, начнем сначала; быть может, во второй раз нам выпадет больше удачи и мы действительно изложим вступление, не уклоняясь в обсуждение

случайных предметов, как это случилось с нами недавно.

Итак, потолкуем о том же сызнова, признав, что законам должно предшествовать вступление. Однако о почитании богов и заботе о родителях довольно того, что было уже сказано. Попытаемся сказать о том, что за этим следует, пока ты не найдешь, что все вступление изложено достаточным образом. А уж после этого перейдем к изложению самих законов.

Афинянин. Итак, мы говорим, что в тогдашнем вступлении достаточно было высказано о богах, о тех, кто идет вслед за богами, и о родителях, живых или уже покойных. Очевидно, ты приглашаешь меня высказать то, что не было пока затронуто, и как бы вывести на свет эти вопросы.

Клиний. Да, конечно.

Афинянин. Итак, после этого слушателям да и самому держащему речь надо обратиться к очень важному и касающемуся всех вопросу о том, в какой степени ревностно — больше или меньше — следует заботиться о своей душе, теле и об имуществе, чтобы по мере сил усовершенствовать свое воспитание. Вот что действительно нам надо вслед за тем подвергнуть рассмотрению.

Клиний. Ты совершенно прав.

Книга V

Афинянин. Да внемлет всякий, кто ныне внимал сказанному о богах и любезных нам прародителях! Из всех достояний человека вслед за богами душа — самое божественное, ибо она ему всего ближе. Все, что принадлежит каждому человеку, двояко: одна его часть — высшая и лучшая — господствует, другая — низшая и худшая — рабски подчиняется. Господствующую свою часть каждый должен предпочитать рабской. Поэтому я прав, требуя, чтобы каждый почитал свою душу, ведь, как я говорю, она занимает второе место после богов-владык и тех, кто за ними следует. А между тем никто из нас, можно сказать, не почитает душу по-настоящему, но только по видимости. Ведь почет — божественное благо, из зол же ничто его не заслуживает. Кто думает возвеличить душу какими-либо речами, дарами, уступками, но ничуть не старается сделать ее из худшей лучшею, тот почитает ее лишь по видимости, но не на самом деле. Всякий человек с раннего детства считает себя в состоянии все познать, думает, что похвалами он возвеличивает свою душу, и потому охот-

но позволяет ей делать все, что угодно. Мы же утверждаем, что, поступая так, человек вредит своей душе, а вовсе не возвеличивает ее. Между тем, согласно нашему утверждению, она должна занимать второе место после богов. Точно так же, когда человек в каждом отдельном случае считает виновником своих проступков и многих громадных зол других людей, а не самого себя и когда он постоянно выгораживает себя, точно он вовсе и не виновен, он лишь по видимости почитает свою душу, на деле же очень далек от этого, ибо он ей вредит. Так же и в том случае человек вовсе не оказывает ей почета, но бесчестит ее, наполняя злом и раскаянием, когда он предается удовольствиям вопреки наказу и одобрению законодателя. И если, наоборот, он не выдержит до конца одобряемых законодателем трудов, страхов, болей и скорбей, но уступит им, то этой уступчивостью он тоже не окажет почета своей душе. Ибо, поступая подобным образом, он ее только бесчестит. Бесчестит он ее и тогда, когда считает жизнь во всех отношениях благом. Ибо если душа считает злом все находящееся в Аиде, то она не может противостоять этой мысли, не может рассудить, пребывая в неведении, не будет ли, наоборот, то, что относится к подземным

богам, для нас величайшим из благ. И если кто предпочитает красоту добродетели, это тоже будет подлинным и совершенным бесчестьем души. Ибо, согласно такому взгляду, тело ложно считается более достойным почета, чем душа. Ведь ничто земнородное недостойно большего почета, чем олимпийское; тот, кто держится иного мнения о душе, не ведает, каким чудесным достоянием он пренебрегает. Точно так же, если кто стремится неблаговидным путем приобрести имущество и обладание таким имуществом для него не тягостно, он всеми этими дарами вовсе не оказывает почета своей душе, при этом он очень ее унижает, ибо за небольшое количество золота продает все, что есть в душе драгоценного и вместе с тем прекрасного. Ведь все золото, что есть на земле и под землею, не сто́ит добродетели. Короче говоря, кто не захочет любыми средствами воздерживаться от всего, что законодатель, указав на это, постановил считать позорным и дурным, и кто, наоборот, не пожелает всеми силами упражняться в том, что законодатель постановил считать хорошим и прекрасным, тот, кто бы он ни был, не ведает, что во всех этих случаях он крайне бесчестно и безобразно обращается с самым божественным — со своей

душой. Ведь никто, можно сказать, не принимает в расчет того, что почитается величайшим наказанием за злодеяние; состоит же это наказание в уподоблении людям, дурным по самой своей сути, и в том, что вследствие этого уподобления человек начинает избегать хороших людей и их слов, отходит от них и прилепляется к дурным людям, ищет их общества. Сроднившись с этими людьми, он по необходимости должен поступать так, как, согласно со своей природой, поступают друг в сотношении друга и говорят друг с другом подобные люди, и ждать от них соответствующего обращения с собой. Впрочем, это даже не правосудие — ибо правосудие и справедливость есть нечто прекрасное, — но возмездие, иными словами, страдание, сопутствующее несправедливости. Постигнет ли человека это возмездие или нет, все равно он несчастен; в последнем случае — потому, что он неисцелим, в первом — потому, что он погибнет, чтобы спаслись многие другие. Говоря в целом, честь наша состоит в том, чтобы следовать лучшему и улучшать худшее, если оно еще может стать совершеннее.

У человека нет ничего, что было бы больше души способно по своей природе избегать зла, разыскивать и находить высшее благо и, на-

шедши его, проводить остальное время жизни сообща с ним. Потому-то душа и поставлена на втором месте в смысле почета, и всякий может сообразить, что наше тело по своей природе занимает в этом отношении лишь третье место.

В свою очередь надо рассмотреть и разные виды почета: какие из них истинны, какие обманчивы. Это задача законодателя. Мне кажется, он разъяснит этот вопрос приблизительно так: не то тело заслуживает почета, которое красиво, сильно, быстро, велико, здорово, хотя многие и держатся такого мнения; равным образом и не то, которое обладает противоположными качествами. Несравненно более надежны и лучше ведут к рассудительности свойства, занимающие средину между этими двумя состояниями. Ибо первое делает души пустыми и дерзкими, второе — низменными и неблагородными. То же самое относится к приобретению имущества и владений — оно расценивается в таком же соотношении. Избыток всего этого порождает неприязнь и раздоры как в государственной, так и в частной жизни, недостаток же — большей частью рабскую подчиненность. Пусть также никто не будет корыстолюбив ради детей — чтобы оставить им возможно больше богатства: это

нехорошо и для них, и для государства. Для молодых людей всего лучше и целесообразнее такое имущественное положение, при котором обеспечивалось бы необходимое и не было бы повода к лести; оно сделало бы их жизнь беспечальной, так как согласовало бы ее с нашей жизнью и уравновешивало бы ее со всем остальным. Не золото надо завещать детям, а побольше совестливости. Мы думаем, будто молодым людям, поступающим бесстыдно, внушим ее своими наказами. Но это достигается не запоздалыми советами и не словесными требованиями во всем сохранять стыдливость. Разумный законодатель скорее посоветует старшим стыдиться младших и всего более остерегаться, как бы кто из молодых людей не увидел и не услышал с их стороны какого-нибудь скверного поступка или слова, ибо юноши неизбежно будут весьма бесстыдными там, где бесстыдны даже старики.

Наилучшее воспитание молодых людей, да и самих себя, заключается не во внушениях, а в явном для всех осуществлении в собственной жизни того, что внушается другому. Кто чтит и уважает членов своей семьи и всех тех, которые вследствие кровного родства чтут одних и тех же богов, тот с полным правом может рассчитывать

на милость семейных богов к его собственному семени — детям. Чтобы приобрести расположение друзей и приятелей в житейском общении с ними, надо оценивать их услуги выше, чем это делают они сами; наоборот, наши одолжения друзьям надо считать меньшими, чем это полагают наши друзья и приятели. По отношению к государству и гражданам наилучшим будет, бесспорно, тот, кто победам на Олимпийских играх и в любых военных или мирных состязаниях предпочтет славу служителя отечественных законов, лучше всех людей осуществившего в своей жизни это служение.

С другой стороны, в высшей степени священными до́лжно считать все обязательства по отношению к гостям-чужеземцам. Ибо почти все, что касается чужеземцев и направленных против них преступлений, подлежит божьему отмщению даже в большей степени, чем проступки против сограждан. Ведь чужеземец, не имеющий друзей и родичей, внушает более жалости и богам, и людям. Тот, кто способен отмстить, тем охотнее вступается за них. В особенности это может сделать имеющийся у каждого гостеприимный демон и бог, ведь они следуют за Зевсом-Гостеприимцем. Вот почему всякий, у

кого есть хоть немного предусмотрительности, должен очень остерегаться, как бы не совершить никакого проступка против чужеземцев, и уж так держаться всю свою жизнь. Из проступков против чужеземцев и земляков величайшими являются всегда те, что совершены против молящих пощады. Ибо тот бог, которого молящий призвал в свидетели данных ему обязательств, становится его главным стражем, и, таким образом, пострадавший никогда не останется неотмщенным.

Мы разобрали почти все об отношениях к родителям, к самому себе, к своему имуществу, государству, друзьям, родичам, чужеземцам и землякам. Вслед за этим надо рассмотреть, какие качества дают человеку возможность наилучшим образом прожить свою жизнь. И уже не закон, а похвала и порицание должны здесь воспитывать людей и делать их кроткими и послушными тем законам, которые будут изданы. Вот об этом нам и придется теперь говорить.

Во главе всех благ как для богов, так и для людей стоит правда. Кто хочет быть счастливым и блаженным, тот с самого начала должен быть ей причастен, чтобы правдиво прожить по возможности долгое время. Такой человек внушает доверие, но его не внушает тот, кому мила доб-

ровольная ложь; кому же мила невольная ложь, тот безрассуден. Однако ни то ни другое не заслуживает зависти. Ведь никому не мил невежда, не заслуживающий доверия; его легко распознают по прошествии некоторого времени, и он сам себе подготовляет в конце жизни тяжкое одиночество старости. Жизнь его потечет сиротливо, все равно, живы ли его друзья и дети или же нет.

Кто не совершает несправедливости — почтенен; но более чем вдвое достоин почета тот, кто и другим не позволяет ее совершать. Ибо первый равноценен одному, второй же — многим, так как он указывает правителям на несправедливость других людей. А кто по мере сил содействует правителям в осуществлении наказаний, тот человек совершенный и великий для государства, о нем следует возвестить как о победителе в добродетели.

Точно такую же похвалу нужно высказать относительно рассудительности, разумности и остальных благ, если обладающий такими благами не только владеет ими, но и может передать их другим. Передающий заслуживает самых высоких почестей; на втором месте стоит тот, кто хоть и не может все это передать, но желал бы уметь это делать. Порицания заслуживает

завистник, не желающий добровольно и дружески поделиться какими-либо благами. Однако не следует бесчестить достояние из-за его обладателя; наоборот, надо изо всех сил постараться это достояние приобрести. Пусть каждый из нас без зависти печется о добродетели. Тот, кто так делает, способствует росту государства, стремясь к добродетели сам и не препятствуя остальным клеветой. Завистник думает выдвинуться, клевеща на других, сам же не слишком стремится к истинной добродетели. Несправедливым порицанием он подрывает дух своих соперников и таким образом не дает государству возможности развивать состязание в добродетели; завистник, насколько это в его силах, уменьшает добрую славу своего государства.

Однако любой должен уметь сочетать яростный дух с величайшей кротостью. Есть только одно средство избежать тяжких, трудноисцелимых и даже вовсе неисцелимых несправедливостей со стороны других людей — это бороться с ними, отражать, побеждать и неуклонно карать их. Никакая душа не может этого совершить без благородной ярости духа. Что же касается тех, кто совершает несправедливые, но исправимые поступки, то прежде всего надо знать, что всякий

несправедливый человек бывает несправедливым не по своей воле. Ибо никто, никогда и нигде не приобретал добровольно ни одного из величайших зол, и всего менее в той области, которая для него всего ценнее. Душа же, как мы сказали, поистине самое ценное для всех. И пусть лучше никто не воспримет добровольно величайшего зла той своей частью, что ему дороже всего, и не проведет всей своей жизни с таким достоянием. Человек несправедливый и обладающий злом заслуживает всяческого сожаления. Но уместно сожалеть лишь о человеке исправимом; надо укрощать поднимающуюся ярость духа и не поступать под влиянием огорчения несдержанно, словно женщина. В отношении же человека, не поддающегося вразумлению, безусловно скверного и злого, надо дать волю своему гневу. Вот почему мы сказали, что хорошему человеку надо в каждом отдельном случае быть и яростным, и кротким.

В душах большинства людей есть врожденное зло, величайшее из всех зол; каждый извиняет его в себе и вовсе не думает его избегать. Зло это заключается вот в чем: говорят, что всякий человек по природе любит самого себя и что таким он и должен быть. Но поистине в каждом отдельном

случае виновником всех проступков человека выступает как раз его чрезмерное себялюбие. Ибо любящий слеп по отношению к любимому, так что плохо может судить, что справедливо, хорошо и прекрасно, и всегда склонен отдавать предпочтение перед истиной тому, что ему присуще. Кто намерен стать выдающимся человеком, тот должен любить не себя и свои качества, а справедливость, осуществляемую им самим либо кем-то другим.

Из этого же заблуждения проистекает и то, что всем свое собственное невежество кажется мудростью. Поэтому-то мы и считаем, что знаем все, тогда как мы не знаем, можно сказать, ничего. Мы не поручаем другим делать то, чего не умеем, пытаемся все делать сами и неизбежно ошибаемся. Вот почему каждый человек должен избегать чрезмерного себялюбия, всегда искать тех, кто лучше его, и не стыдиться ставить их выше себя. Часто даются наказы не столь значительные, как эти, однако не менее полезные, надо припомнить их и о них побеседовать. Ведь как в реке вода постоянно убывает и прибывает, так и припоминание есть прилив уходящей разумности. Так вот, следует удерживаться от излишнего смеха и слез, надо советовать друг другу скрывать любую

чрезмерную радость и страдание и стараться сохранять благообразие. К нашему благополучию приставлен даймон; некоторым поворотам в нашей судьбе даймоны противостоят как чему-то чрезмерно высокому. Хорошие люди всегда должны надеяться, что бог уменьшит трудности, выпадающие на долю каждого, изменит к лучшему теперешнее положение и дарует им на доброе счастье всевозможные блага, противоположные прежним бедам. Каждый должен жить в такой надежде и всегда обо всем этом помнить; надо, не скупясь, явственно напоминать об этом и самому себе, и другим как при серьезных занятиях, так и в играх.

Итак, о том, какой образ жизни нужно вести и каким должен быть каждый из нас, уже приблизительно сказано. Но это вещи скорее божественные, человеческих же мы еще не изложили, а между тем следовало бы. Ведь мы обращаемся к людям, а не к богам. Преимущественно человеческими по природе являются удовольствия, страдания, вожделения. Всякое смертное существо неизбежно подвержено им и в своих устремлениях очень от них зависит. Поэтому до́лжно хвалить наилучшую жизнь не только за то, что она своим обликом может стя-

жать добрую славу, но и за то, что она приведет нас к тому, к чему все мы стремимся, — именно к тому, чтобы в течение всей жизни испытывать больше радости и меньше скорби, если только мы захотим вкусить наилучшей жизни и не удалимся от нее еще в юности.

Весьма легко выяснить, кто правильно вкушает от этой жизни. В чем состоит эта правильность? Это надо обсудить на основе разума и посмотреть, естествен или противоестествен тот или иной образ жизни. Поэтому до́лжно сравнить приятную жизнь с неприятной. Мы желаем удовольствия, а не страданий, уж их-то мы не пожелаем избрать. Промежуточное состояние мы не предпочтем удовольствию, но страдание охотно на него сменим. Нам хотелось бы поменьше страданий в соединении с бо́льшим удовольствием; меньшее же удовольствие, сопряженное с большой скорбью, для нас нежеланно. Если же удовольствие и страдание соединены поровну, нелегко узнать, желанны они для нас или нет.

Во всем этом — как и в состояниях, противоположных тому, чего мы хотим, — количество, величина, сила и равенство далеко не безразличны для осуществления выбора. Все это неизбежно устроено именно так. Значит, мы предпочтем

такую жизнь, в которой в больших количествах и в сильной степени присутствуют и удовольствия, и страдания, но удовольствий больше и они более сильные. Противоположного мы не предпочтем. Так же точно мы не захотим такой жизни, где как то, так и другое незначительно, невелико и протекает спокойно и при этом страдания перевешивают; той же, где дело обстоит как раз наоборот, пожелаем. А где наблюдается равновесие, такую жизнь надо расценивать согласно сказанному выше: мы желаем такого равновесия, когда перевешивает то, что нам мило, а того, что нам противно, присутствует меньше.

Следует заметить, что жизнь любого человека от природы заключена в эти пределы, и надо уяснить, какой именно жизни мы ждем согласно природе. Если же мы станем утверждать, что желаем чего-либо вопреки природе, то наши слова будут следствием лишь неопытности и незнания действительной жизни.

Сколько же есть родов жизни и какие они, в отношении которых нам следует заранее совершать выбор и усматривать в них недобровольное, но желательное и, сделав такую жизнь законом, одновременно избрав милое, приятное, благое и прекрасное, жить наисчастливейшим образом,

насколько это доступно людям? Мы можем указать на следующие виды: рассудительную жизнь, разумную, мужественную, здоровую. Этим четырем видам противоположны четыре других: безрассудная жизнь, разнузданная, трусливая, нездоровая. Кто знаком с рассудительной жизнью, согласится, что она тиха во всех отношениях: страдания ее спокойны, удовольствия также спокойны; она не несет с собой ни расслабляющих вожделений, ни неистовых страстей. Наоборот, разнузданная жизнь полна резкости: страдания ее сильны, сильны и удовольствия; она несет с собой безумные, бешеные вожделения и самые неистовые, какие только могут быть, страсти. В рассудительной жизни удовольствия перевешивают тяготы, в разнузданной — страдания превышают удовольствия как величиной, так и количеством и напряженностью. Поэтому первый род жизни для нас более приятен, а второй по своей природе неизбежно становится более скорбным. Для того, кто хочет приятно жить, становится невозможным по доброй воле жить невоздержанно. Отсюда ясно, что всякий бывает разнузданным против воли; это необходимо, если правильно то, что мы только что установили.

Жизнь всякой людской толпы лишена рас-

судительности либо по невежеству, либо из-за отсутствия самообладания, либо по обеим этим причинам. То же самое надо заметить и о здоровой жизни и нездоровой; в той и в другой есть удовольствия и страдания, но в здоровье удовольствия превышают страдания, а в болезнях наоборот. Мы же не захотим избрать такой род жизни, где перевешивают страдания; тот род жизни, в котором их меньше, мы считаем более приятным. В целом мы можем сказать, что жизнь рассудительная перевешивает разнузданную, разумная — безрассудную, мужественная — трусливую, ибо в первых как удовольствий, так и страданий меньше, они незначительнее и реже. Но в первых перевешивают удовольствия, а во вторых, наоборот, страдания. Так-то мужественная жизнь берет верх над трусливой, разумная — над безрассудной. Поэтому первые виды жизни приятнее вторых, то есть рассудительная, мужественная, разумная и здоровая жизнь приятнее трусливой, безрассудной, разнузданной и нездоровой. Словом, жизнь, причастная добродетели, душевной ли или телесной, приятнее жизни, причастной пороку. С избытком превосходит она ее как во всем прочем, так и в смысле красоты, правильности, добродетели и доброй славы. Сво-

его обладателя она заставляет жить решительно во всех отношениях счастливее, чем живет тот, кто ее лишен.

Этими положениями можно закончить наше вступление к законам. За вступлением необходимо должен следовать сам закон или, вернее, очерк законов государства. В тканях или в плетении нельзя делать утóк и основу из одного и того же материала, ведь основа неизбежно должна отличаться добротностью, обладать силой и известной крепостью; утóк же может быть слабее, и к нему относятся с известным снисхождением. Точно так же надо известным образом отличать будущих правителей в государствах от тех, кто иной раз может получать лишь незначительное воспитание. Есть два вида государственного устройства: один — где над всем стоят правители, другой — где и правителям предписаны законы.

Но предварительно надо обратить внимание вот на что: всякий пастух, волопас, конюх и другие такие же люди не раньше берутся за дело, чем очистят с помощью соответствующего подбора стада, отделив здоровых животных от нездоровых, породистых от непородистых; этих последних конюх отошлет в какие-нибудь другие стада и лишь тогда займется уходом за первыми.

Он понимает, что тщетным и напрасным будет труд, потраченный как на тело, так и на душу, если не произвести такой чистки. В последнем случае природная испорченность и скверное воспитание погубят в его стаде также и ту породу, что обладает здоровым и чистым нравом, а также телом. Впрочем, что касается всех прочих живых существ, то здесь забот меньше; их стоит привести в этом рассуждении лишь для примера. Но люди заслуживают величайшей заботливости. Поэтому законодатель должен изыскивать и объяснять, что́ кому подобает делать для очищения и для всего остального.

Относительно очищений государства дело обстоит так: полных очищений существует немало; одни из них легче, другие более тягостны. Тягостные и наилучшие мог бы установить лишь тот, кто одновременно является и тираном, и законодателем. Законодатель, лишенный тиранической власти, при установлении нового государственного строя и законов должен удовольствоваться самыми мягкими способами очищений. Наилучший способ мучителен совершенно так же, как бывает, когда принимают подобного рода лекарства. При этом способе правосудие влечет за собой справедливое возмездие; возмездие заканчива-

ется смертью или изгнанием. Так обыкновенно отделываются от величайших, к тому же неисцелимых, преступников, чрезвычайно вредных для государства. Более мягкий способ очищения заключается у нас вот в чем: если неимущие люди, следуя за своими вождями, выкажут из-за недостатка воспитания склонность выступить против имущих, это станет болезнью, вкравшейся в государство. Поэтому их надо выслать прочь, делая это, однако, в высшей степени дружелюбно и смягчая их удаление названием «переселение». Так или иначе всякому законодателю надлежит это сделать сразу. Мы-то пока оказываемся еще в более легком положении, ибо в настоящее время мы не должны прибегать к переселению или к какому-либо отбору путем очищения. Но когда много ручьев и потоков вливаются в одно озеро и там сливаются вместе, надо прежде всего следить, чтобы сливающаяся вода была как можно чище, а для этого надо то вычерпывать, то отводить воду, устраивая каналы. Стало быть, и всякое устроение государства сопряжено, как водится, с трудом и опасностью. Впрочем, сейчас мы занимаемся этим лишь словесно, а не на самом деле. Поэтому предположим, что наши граждане уже собраны и что уже произведено разумное их очищение. Мы

не дали плохим людям, пытавшимся сделаться гражданами нашего государства, осуществить свое намерение, ибо мы хорошо распознали их за достаточный промежуток времени путем всяческих испытаний; наоборот, хороших людей мы привлекли, обходясь с ними по мере сил дружелюбно и милостиво.

Пусть не укроется от нас одно счастливое обстоятельство, благоприятствовавшее, как мы указали, также и Гераклидам при их переселении, а именно отсутствие страшного и опасного спора о переделе земли и о снятии долгов. Если в государстве понадобится такое законодательство, нельзя будет так или иначе не поколебать его древних установлений; с другой стороны, попытка поколебать их будет недопустимой. Остается, можно сказать, только одно — молиться, чтобы переход этот осуществился незаметно, мало-помалу и в течение долгого времени. Поколебать существующее положение могли бы люди, в изобилии владеющие землей, если бы они пожелали снисходительно отнестись к многочисленным своим должникам, видя их нужду: если бы они согласились часть долгов простить, часть же своего имущества поделить и если бы они так или иначе держались умеренности, пола-

гая, что бедность заключается не в уменьшении принадлежащего им имущества, а в увеличении ненасытности. Это было бы величайшим началом спасения государства, на этом, как на надежном основании, можно затем воздвигать государственное устройство, подобающее такому положению дел. Напротив, когда этот переход болезнен, дальнейшее положение общества никоим образом не будет благоприятным для государства. Мы считаем, что нам удастся этого избежать или, правильнее сказать, если и не избежать, то все же обрести для этого средство. Это средство заключается в том, чтобы не искать несправедливого обогащения. Нет иного пути, ни широкого, ни узкого, чтобы избегнуть этой беды. Да будет это отныне как бы краеугольным камнем нашего государства.

Так или иначе, надо устроить, чтобы граждане в отношении имущества не имели повода жаловаться друг на друга, ибо нельзя при наличии старинных взаимных жалоб продвигаться вперед в остальном государственном устроении; это ясно всем, у кого есть хоть немного разума. Где, как нам теперь, бог даровал возможность основать новое государство, там не может быть никакой взаимной вражды. Если бы и здесь возникла

вражда друг к другу из-за раздела земли и жилищ, то виной было бы нечеловеческое невежество, соединенное со всяческой испорченностью.

Каким же способом можно произвести такое правильное распределение? Прежде всего следует установить численность населения, иными словами, сколько будет у нас граждан. Затем надо решить, на сколько частей мы поделим всех граждан и как велика будет каждая часть. Обусловив все это, можно приступить к наиболее равномерному распределению земли и жилищ. Какое количество граждан будет достаточным, можно определить не иначе как сообразуясь с количеством земли и с близлежащими государствами. Земли надо столько, чтобы она была в состоянии прокормить это число людей при условии их рассудительности, и не более того. Граждан же нужно столько, чтобы они без особых затруднений могли отражать нападения окрестных жителей и помогать тем соседям, кого обижают. Когда мы увидим и местность, и соседей, мы определим все это и на словах, и на деле. Пока же это лишь общий очерк или набросок; покончив с ним, перейдем к законодательству.

Пусть будущих граждан будет пять тысяч сорок, Это — число подходящее, так земледельцы смогут

отразить врага от своих наделов. На столько же частей будут разделены земля и жилища; человек и участок, полученный им по жребию, составят основу надела. Все указанное число можно прежде всего разделить на две части, затем на три. По своей природе оно делится последовательно и на четыре, и на пять, и на последующие числа вплоть до десяти. Что касается чисел, то всякий законодатель должен отдавать себе отчет в том, какое число и какие свойства числа всего удобнее для любых государств. Мы признаем наиболее удобным то число, которое обладает наибольшим количеством последовательных делителей. Конечно, всякое число имеет свои разнообразные делители; число же пять тысяч сорок имеет целых пятьдесят девять делителей, последовательных же — от единицы до десяти. Это очень удобно и на войне, и в мирное время для всякого рода сделок, союзов, налогов и распределений.

Следующее надо на досуге крепко усвоить тем, кому предписывает это закон, ибо дело обстоит именно так, и потому надо указать на это устроителю государства. Создается ли с самого начала новое государство или переустраивается выродившееся старое, все равно никто из имеющих разум не станет колебать ничего, касающегося

богов и святынь: какие именно, каким богам должны быть воздвигнуты святилища в государстве и именем каких богов или даймонов будут они называться, во свсем этом надо следовать Дельфам, Додоне, Аммону или же убедительным древним сказаниям о бывших знамениях и божественных наитиях. Люди, веря в это, устанавливали жертвоприношения, сопряженные с таинствами, либо местные, либо Тирренские или Кипрские, наконец, заимствованные еще откуда-нибудь. Согласно этим сказаниям освящали божественные речения, статуи, алтари и храмы и отводили каждому из богов священные участки. Из всего этого законодателю нельзя трогать ничего, даже самого малого, но до́лжно каждой части граждан дать особого бога, даймона или героя. При разделе земли надо прежде всего выделить отборный священный участок со всем, что ему подобает; там в установленные сроки должна собираться каждая часть граждан, дабы облегчать общие нужды, выражать друг другу доброжелательство при жертвоприношениях, привыкать к соседям и знакомиться. Для государства нет более великого блага, чем близкое знакомство граждан друг с другом. Где во взаимоотношениях нет света, но царит тьма, там никто не может

правильно достичь заслуженного почета, власти и подобающих прав. В любом государстве каждый человек должен стремиться всегда быть простым, правдивым, нелицемерным по отношению к другим и, будучи таковым, остерегаться обмана с их стороны.

Дальнейший ход рассуждения о законодательстве (точно решительный шаг в игре) сначала, пожалуй, удивит слушателя, так он необычен. Однако когда кто поразмыслит и понаблюдает, то согласится, что мы строим государство лишь второе по сравнению с наилучшим. Вероятно, его не примут, ибо необычно государство, где законодатель не обладает тиранической властью. Всего правильнее было бы сначала изложить наилучший государственный строй, затем второй по достоинству и, наконец, третий, а после изложения предоставить выбор тому, кто стоит во главе общества. Согласно этому замыслу мы и поступим сейчас, указав на государственное устройство первое по достоинству, затем на второе и третье. А выбор мы теперь предоставим Клинию, вообще же в дальнейшем любому желающему, когда бы он этого ни пожелал, дабы он мог избрать по своей склонности то, что подходит для его родины.

Наилучшим является первое государство, его устройство и законы. Здесь все государство тщательнейшим образом соблюдает древнее изречение, гласящее, что у друзей взаправду все общее. Существует ли в наше время где-либо и будет ли когда, чтобы общими были жены, дети, все имущество и чтобы вся собственность, именуемая частной, всеми средствами была повсюду устранена из жизни? Чтобы измышлялись по мере возможности средства так или иначе сделать общим то, что от природы является частным, — глаза, уши, руки, — так, чтобы казалось, будто все сообща видят, слышат и действуют, все восхваляют или порицают одно и то же? По одним и тем же причинам все будут радоваться или огорчаться, а законы по мере сил сплотят в единое целое государство, выше которого в смысле добродетели, правильности и блага никто никогда не сможет установить. Если такое государство устроят где-нибудь боги или сыновья богов и обитают в нем больше чем по одному, то это — обитель радостной жизни. Когда оно есть, нет надобности взирать на другой образец государственного устройства, но достаточно возможно сильнее к нему стремиться. То государство, что мы теперь пытаемся изобразить, также

очень близко к бессмертию, но оно занимает по своему значению второе место. Если будет на то воля бога, мы попытаемся обрисовать и третье по значению государство. Сейчас же мы посмотрим, каково это второе по значению государство и как оно образуется.

Прежде всего пусть граждане разделят землю и жилища; общинного земледелия может и не быть, так как нынешнее поколение по своему воспитанию и образованию не доросло до этого. Однако раздел надо производить, считаясь со следующим: каждый получивший по жребию надел должен считать свой надел общей собственностью всего государства. Более, чем дети о своей матери, должны граждане заботиться о родимой земле, ведь она богиня — владычица смертных созданий. Так же надо мыслить и о местных богах и даймонах. А чтобы все это сохранилось навеки, надо еще заметить, что установленная нами численность очагов должна быть всегда одинаковой, то есть не увеличиваться и не уменьшаться. Прочного положения во всем государстве можно достигнуть так: обладатель надела оставляет в наследство свое жилище всегда лишь одному из своих детей, самому любимому, который и будет его преемником, почитателем богов рода, госу-

дарства и людей, живых или уже окончивших свой век. Что касается остальных детей — если у кого их не один, а несколько, — то девочек пристраивают замуж согласно закону, который будет установлен, мальчиков же отдают в сыновья тем из граждан, у кого нет потомства, руководясь при этом более всего личным расположением. Если же такого расположения нет, а потомство мужского или женского пола многочисленно и в обратном случае, то есть при нехватке детей, всем этим будет ведать правительственное должностное лицо, причем должность эта будет значительнейшей и очень почтенной. Лицо это будет наблюдать, как следует поступить при излишке или недостатке, и изыскивать средство, чтобы общее количество хозяйств всегда равнялось только пяти тысячам сорока. Средств таких много, например воздержание от деторождения для тех, у кого обширное потомство, или, наоборот, попечение и заботы о многочисленном потомстве. Можно достичь нашей цели с помощью почета или бесчестья или если старшие будут обращаться с увещаниями и наставительными речами к молодым. Наконец, если уж будет крайне трудно сохранить число пять тысяч сорок семей ввиду появления чрезмерного количества

граждан (плод взаимной любви, существующей между жителями), то, чтобы выйти из этого затруднения, у нас имеется старинное средство, о чем мы не раз упоминали, — устройство колоний. Это средство носит вполне миролюбивый характер, поэтому оно кажется вполне пригодным. Если же иной раз нахлынет обратная волна, несущая с собой разлив болезней или гибельные войны, и граждане осиротеют, причем их станет гораздо меньше установленного числа, то все же нельзя включать в число граждан всех желающих — тех, что воспитаны ложным образом. Ведь, по пословице, даже бог не может противиться необходимости.

Только что сказанное может быть выражено и в виде такого совета: «Лучшие из людей! Ни на сколько не уклоняйтесь от естественного и общественного почитания этим числом подобия, равенства, тождества и согласованности и не упускайте ни одной возможности для прекрасных и добрых деяний. Поэтому прежде всего сохраняйте на протяжении всей жизни установленную численность; затем сохраняйте величину и размеры вашего имущества. Не бесчестите ваш первоначально соразмерный надел взаимной куплей или продажей, ибо не будет вам в этом

союзником ни законодатель, ни бог, по жребию выделивший его вам».

Здесь впервые устанавливается закон для ослушников, предупреждающий, что лишь при этих условиях желающий может получить надел, но не иначе: во-первых, земля посвящена всем богам; затем при первом, втором и третьем жертвоприношении жрецы и жрицы будут совершать молитвы о том, чтобы того, кто купил или продал полученные по жребию под жилище или поле наделы, постигла за это достойная кара. Записав это на кипарисовых таблицах, пусть поместят их в святилищах, дабы это служило напоминанием на будущее. Кроме того, за исполнением всего этого будет поручено следить самому зоркому из должностных лиц, так, чтобы не укрылись происходящие иной раз нарушения и ослушники наказывались бы законами и богами. Насколько это установление, если ему хорошо следовать, оказывается благом для выполняющих его государств, этого, по старинной пословице, не узнать ни одному дурному человеку, но лишь тот узнает об этом, кто обладает опытом и разумным нравом. Наживе вовсе нет места при подобном устройстве, а отсюда следует, что никто не должен — да, впрочем, и не может — наживаться

неблагородным способом; поскольку это зазорное, так сказать, ремесло извращает благородные нравы, недопустимо даже желать подобного обогащения.

Сюда же относится и следующий закон. Никто из частных лиц не имеет права владеть золотом или серебром. Однако для повседневного обмена должна быть монета, потому что обмен почти неизбежен для ремесленников и всех тех, кому надо выплачивать жалованье, — для наемников, рабов и чужеземных пришельцев. Ради этого надо иметь монету, но она будет ценной лишь внутри страны, для остальных же людей не будет иметь никакого значения. Общей же эллинской монетой государство будет обладать лишь для оплаты военных походов или путешествий в иные государства посольств либо — если это будет нужно государству — всевозможных вестников. Словом, всякий раз, как надо кого-то послать в чужие земли, государству необходимо для этой цели обладать действительной по всей Элладе монетой. Если частному лицу понадобится выехать за пределы родины, оно может это сделать лишь с разрешения властей; по возвращении домой оно должно сдать государству имеющиеся у него чужеземные деньги, получив взамен мест-

ные деньги, согласно расчету. Если обнаружится, что кто-либо присвоил чужеземные деньги, они забираются в пользу казны; знавший же об этом и не сообщивший подвергается вместе с тем, кто ввез эти деньги, порицанию и проклятию, а также и пене в размере не менее количества ввезенных чужеземных денег. При женитьбе или замужестве совершенно не разрешается давать или брать какое-нибудь приданое. Далее, нельзя отдавать денег на хранение тому, кто не внушает доверия. Нельзя также отдавать деньги под проценты, в этом случае позволяется вовсе не возвращать ростовщику ни процентов, ни всего долга.

Судить о высоких качествах этих установлений правильнее всего, обращаясь всякий раз к нашему исходному намерению. Мы утверждаем, что намерения разумного политика вовсе не таковы, какими их рисует себе большинство: оно считает, будто хороший законодатель должен стремиться видеть свое государство великим; будто он дает хорошие законы, думая о том, чтобы государство было как можно богаче, чтобы оно обладало золотыми и серебряными рудниками и владычествовало над большинством государств как на море, так и на суше. Надо было

бы добавить: надлежащий законодатель должен стремиться к тому, чтобы его государство было наилучшим и счастливейшим. Это отчасти исполнимо, отчасти нет. Устроитель пожелал бы исполнимого; желать же неисполнимого было бы тщетно, тут напрасны все попытки. Например, устроитель пожелал бы, чтобы граждане стали добродетельными, а вместе с тем и неизбежно счастливыми; стать же очень богатыми, оставаясь добродетельными, невозможно — по крайней мере богатыми в том смысле, как это понимает большинство. Ведь богатыми называют тех избранных людей, которые приобрели имущество, оцениваемое огромной суммой, хотя бы сам владелец и был дурным человеком. Если это и в самом деле так, то я лично никогда не соглашусь с большинством, будто богатый может стать поистине счастливым, если только он не является хорошим человеком. Но одновременно быть и очень хорошим, и очень богатым невозможно. «Почему же?» — спросит, быть может, кто-то. Потому, ответил бы я, что, если кто приобретает и честным, и бесчестным путем, его барыши вдвое больше, чем у того, кто приобретает одним только честным. Издержки же тех, кто не желает тратиться ни на прекрасное, ни на постыдное,

вдвое меньше издержек прекрасных людей на прекрасные нужды. При таких двойных доходах и половинных расходах одного разве разбогатеет другой, тот, кто поступает прямо наоборот? Из этих двух людей один хорош и другой не плох, если он бережлив, но нередко он вовсе плох и уж во всяком случае не хорош, как мы это сейчас показали. Тот, кто добывает средства и честным, и бесчестным путем, но не расходует их ни первым, ни вторым способом, бывает богат, если он к тому же и бережлив. Вовсе же плохой человек, как правило, расточителен и вследствие этого очень беден. Тот же, кто тратится на прекрасные дела, а приобретает свои средства одним лишь честным путем, вряд ли особо разбогатеет, однако не станет и очень бедным.

Следовательно, наше утверждение, что нет хороших и вместе с тем очень богатых людей, правильно. А кто не хорош, тот и не счастлив.

Наш набросок законов имел целью сделать людей возможно более счастливыми и дружелюбными. Но разве будут граждане дружелюбны там, где между ними много тяжб и много несправедливостей? Нет, только там они будут дружелюбными, где несправедливостей всего меньше и где они незначительны. Поэтому мы

говорим, что в нашем государстве не должно быть ни золота, ни серебра, ни большой наживы путем ремесел и ростовщичества, ни чрезмерно обширного скотоводства, но должны быть только доходы, доставляемые земледелием; да и из них лишь такие, получение которых не вынуждает пренебрегать тем, для чего и нужно имущество. Это — душа и тело; лишенные упражнения и другого воспитания, они не заслуживали бы внимания. Потому-то мы и говорили неоднократно, что имущество заслуживает всего меньше почета. Из трех вещей, о которых заботится каждый человек, забота об имуществе по справедливости занимает лишь третье, то есть последнее, место, забота о теле — среднее, на первом же месте стоит забота о душе. И государственный строй, который мы сейчас разбираем, окажется правильно установленным только в том случае, если почет будет распределен в нем именно так. Если же какой-либо из установленных законов ставит в государстве здоровье выше рассудительности по оказываемому ему почету либо богатство — выше рассудительности и здоровья, то это будет служить признаком, что подобный закон установлен неправильно. Вот почему законодатель должен часто задавать себе вопрос: «К чему, соб-

ственно, я стремлюсь? Достигну ли я своей цели или же потерплю неудачу?» Таким образом он, пожалуй, скорее завершит свое законодательство и избавит других от этих забот; никакого другого способа у него нет.

Итак, мы утверждаем, что получивший надел по жребию должен владеть им на указанных условиях. Было бы прекрасно, если бы каждый член колонии обладал и всем остальным имуществом в равной доле со всеми. Но это невозможно: один явится, обладая бóльшим имуществом, другой — меньшим. Поэтому, а также по многим другим причинам для удобства и равной доли для всех в государстве надо установить неравный имущественный ценз. Стало быть, должности, подати, распределения и подобающий каждому почет устанавливаются не только по личной добродетели или по добродетели предков, не только по силе и красоте тела, но и по имущественному достатку или нужде. Должности и почести распределяются как можно более равномерно, сообразно этому имущественному неравенству, причем нет никаких поводов к раздорам. В зависимости от величины имущества надо установить четыре класса, назвав их: первый, второй, третий, четвертый или как-нибудь иначе. Граждане либо

пребывают в своем классе, либо, разбогатев или обеднев, переходят в подобающий каждому из них класс.

Кроме того, я установил бы как вытекающий из предыдущего и следующий вид закона: ведь мы утверждаем, что в государстве, не причастном величайшей болезни, более правильным названием которой было бы «междоусобие» или «раздор», не должно быть ни тяжкой бедности среди некоторых граждан, ни в свою очередь богатства, ибо бедность и богатство взаимно порождают друг друга. Вот и надо теперь законодателю установить пределы бедности и богатства. Пределом бедности пусть будет стоимость надела, который должен оставаться у каждого; ни один правитель, а равно и ни один другой гражданин, ревнующий о добродетели, не должен тут ни у кого допускать уменьшения. Приняв это за меру, законодатель допускает приобретение имущества, большего по своей стоимости в два, три, четыре раза; если же кто приобретет свыше этого, найдя ли что-нибудь, получив ли от кого-то в подарок или наживши, — словом, если благодаря какому-нибудь подобного рода случаю у него окажется имущество, превышающее меру, он должен отдать избыток государству и его бо-

гам-покровителям. Сделав это, он обретет добрую славу и останется безнаказанным; ослушника же этого закона может выдать всякий желающий, причем ему достанется половина суммы, другая же половина будет отдана в пользу богов; кроме того, виновный должен будет заплатить еще такую же сумму из своего имущества.

Все, чем владеет каждый, не считая надела, будет публично записано теми, кому это предписывает закон, то есть должностными лицами-стражами, так, чтобы все тяжбы, касающиеся имущества, стали бы легкими и вполне ясными.

Затем прежде всего что касается местоположения нашего города, то оно должно быть по возможности серединным в стране. Надо выбрать местность, дающую городу все удобства. Сообразить это и выразить совсем нетрудно. После этого надо разбить страну на двенадцать частей. Прежде всего надо установить святилище Гестии, Зевса и Афины, назвать его акрополем и окружить стеной; начиная отсюда, надо разделить на двенадцать частей и самый город, и всю страну. Эти двенадцать частей должны быть равноценными, поэтому те участки, где почва хороша, будут меньше, а где плоха — больше. Всех наделов устанавливается пять тысяч сорок.

Каждый из них опять-таки делится на два участка: близкий и дальний. Из этих двух половин и составляется каждый надел. Участок, ближайший к городу, надо объединить в один надел с участком, расположенным на окраине; участок, который поодаль от города, — с таким, который не на самом краю, и так далее. При этом разделении на две части надо, как мы сейчас сказали, обращать внимание на плохое или хорошее качество почвы и соответственно увеличивать или уменьшать участки.

Граждан также надо разделить на двенадцать частей. Для этого надо произвести перепись прочего их имущества, а затем поделить все на двенадцать по возможности равноценных частей. Вслед за тем эти двенадцать наделов надо поделить между двенадцатью богами и каждую определенную жребием часть посвятить тому или иному богу, назвав ее его именем. Такая часть будет носить название филы. В свою очередь и город надо разделить на двенадцать частей, точно так же как разделена остальная страна. Каждому гражданину следует отвести два жилища: одно — близ срединной части государства, другое — на окраине.

На этом можно закончить вопрос о поселении.

Но мы должны вообще иметь в виду еще вот что: всему указанному сейчас вряд ли когда-нибудь выпадет удобный случай для осуществления, так, чтобы все случилось по нашему слову. Найдутся ли люди, которые не возмутятся подобным устройством общества и которые в течение всей жизни станут соблюдать установленную умеренность в имуществе и рождении детей, о чем мы упоминали раньше, или люди, которые расстанутся с золотом и всем тем, что будет запрещено законодателем? А что такие запрещения будут, это ясно из всего сказанного раньше. К тому же это срединное положение страны и города, это кругообразное расположение жилищ! Все это точно рассказ о сновидении или лепка государства и граждан из воска!

В известном смысле все сказанное нами не так уж плохо, но надо еще раз обдумать про себя следующее. Ведь законодатель снова обратится к нам с такими словами: «Друзья мои, не думайте, будто от меня укрылась определенная истинность этих возражений. Но я держусь того мнения, что правильнее всего в каждом наброске будущего не опускать ничего из самого прекрасного и истинного; это будет служить образцом, к которому мы должны стремиться. Если там

встретится что-либо неосуществимое, то, конечно, его нужно будет избегать и не стремиться к его выполнению. Но в остальном надо стараться осуществить то, что ближе всего к подобающему и по своей природе более всего ему сродни. Стало быть, надо дать законодателю возможность довести до конца все его намерения. Но затем надо вместе с ним рассмотреть, что из сказанного им полезно, а что слишком резко для законодательства. Ведь даже самый захудалый ремесленник, намереваясь создать что-либо заслуживающее упоминания, должен постоянно сообразовываться с сутью дела».

Теперь нужно внимательно рассмотреть, какой смысл в этом решенном нами разделении на двенадцать частей. Ведь внутри этих двенадцати частей есть много подразделений, а также других, вытекающих из этих последних как их естественное порождение. Так мы дойдем и до числа пять тысяч сорок. Этими подразделениями будут: фратрии, демы, комы и различные военные отряды (τάξεις και αγωγός); кроме того, будут и такие подразделения: монета, меры веса, а также сухих и жидких тел. Закон должен установить соразмерность и взаимную согласованность всего этого.

При этом не надо бояться упрека в мнимой мелочности, когда будет устанавливаться количество обиходной утвари, и не допускать несоразмерности даже здесь. Следуя общему правилу, надо считать числовое распределение и разнообразие числовых отношений полезным для всего, безразлично, касается ли это отвлеченных чисел или же тех, что обозначают длину, глубину, звуки и движение — прямое, вверх и вниз или же круговое. Законодатель должен все это иметь в виду и предписать всем гражданам по мере их сил не уклоняться от этого установления. Ибо для хозяйства, для государства, наконец, для всех искусств ничто так не важно и никакая наука не имеет такой воспитательной силы, как занятие числами. Самое же главное то, что людей, от природы вялых и невосприимчивых, это занятие с помощью божественного искусства пробуждает и делает вопреки их природе восприимчивыми, памятливыми и проницательными. Если еще с помощью других законов и занятий удастся изгнать неблагородную страсть к наживе из душ тех, кто собирается усвоить себе на пользу эту науку, то все это вместе было бы прекрасным и надлежащим воспитательным средством. В противном случае вместо мудрости незаметно

получится, так сказать, лишь плутовство, как это теперь можно наблюдать у египтян, финикиян и у многих других народов. Они стали такими либо из-за других, неблагородных занятий и стяжаний, либо потому, что у них был никчемный законодатель, либо из-за постигшей их тяжкой доли, либо, наконец, потому, что такова сама их природа.

От нас, Мегилл и Клиний, не должно укрыться, что одни местности превосходят другие в смысле рождения лучших или худших людей. И невозможно устанавливать законы вразрез с местными условиями. Ведь в иных местах различные воздушные течения и зной делают людей странными и неудачливыми; с другой стороны, влажность климата и даваемая землей пища не только делает то лучшим, то худшим тело, но все это не меньше может влиять и на душу. На земле превосходнее всех те местности, где чувствуется некое божественное дуновение: местности эти — удел даймонов, милостивых к исконным жителям; где этого нет, там все бывает наоборот. Разумный законодатель, обратив на это внимание, попробует, насколько это в человеческих силах именно так устанавливать законы. Вот это-то и предстоит тебе сделать, Клиний, ибо прежде всего на это надо обратить внимание,

если ты хочешь заселить страну.

Клиний. Твои слова, афинянин, прекрасны. Я так и поступлю.

Книга VI

Афинянин. Однако после всего только что высказанного тебе придется, пожалуй, обратиться к установлению должностей в этом государстве.

Клиний. Да, это так.

Афинянин. К государственному благоустройству относятся две вещи: во-первых, установление должностей и будущих должностных лиц, то есть определение их количества и способа введения их в должность; во-вторых, надо установить, какими законами будет ведать каждая из должностей, и определить количество и качество этих законов. Однако, прежде чем произвести этот отбор, задержимся немного и выскажем приличествующее этому поводу соображение.

Клиний. Какое именно?

Афинянин. Следующее: всякому ясно, что законодательство — это великое дело. Но если хорошо устроенное государство поставит непригодную власть над хорошо установленными законами, то законы эти не принесут никакой пользы и положение создается весьма смешное; более того, это наносит государству величайший ущерб и приводит его к гибели.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Представим себе, мой друг, что именно эта опасность угрожает сейчас твоему государственному строю и государству. Потому, видишь ли, и надо, чтобы лица, законно домогающиеся правительственных должностей, представили достаточное доказательство добродетели как своего рода, так и своей собственной, начиная с детства и вплоть до времени избрания. В свою очередь и будущие избиратели должны быть хорошо воспитаны, в духе законов, чтобы путем порицания или одобрения либо выбрать, либо отвергнуть избираемого — смотря по заслугам каждого. И разве смогут безупречно выбрать должностных лиц люди, лишь недавно собравшиеся вместе, не знающие друг друга да к тому же и лишенные воспитания?

Клиний. Это почти невозможно.

Афинянин. Однако, как говорится, отговорки не очень-то принимаются во внимание на состязаниях. Так вот и нам с тобой надо сейчас так поступить. Ведь ты, по твоим словам, обещал критскому народу, вместе с девятью другими лицами, позаботиться об установлении государственного строя нового поселения. Я же обещал помочь тебе в нынешнем собеседовании. Поэтому

мне не хотелось бы оставить свою речь незавершенной, ведь в таком случае она блуждала бы вокруг да около и показалась бы совершенно бесформенной.

Клиний. Превосходно сказано, чужеземец!

Афинянин. И не только сказано, но по мере сил я и осуществляю это.

Клиний. Давай же поступим так, как мы говорим.

Афинянин. Да будет так, если угодно богу и если мы сможем настолько превозмочь нашу старость.

Клиний. Вероятно, богу это угодно.

Афинянин. Да, видно, и в самом деле это так. Значит, следуя богу, заметим вот что…

Клиний. Что именно?

Афинянин. Что наше нынешнее государство будет устроено мужественно и отважно.

Клиний. В каком смысле? Что ты имеешь сейчас в виду?

Афинянин. Что мы легко и бесстрашно устанавливаем законы для людей неопытных, желая, чтобы они когда-нибудь приняли установленные ныне законы! Однако, Клиний, всякому человеку, пускай и не слишком мудрому, ясно по крайней мере следующее: сначала люди нелегко примут

законы — какие бы они ни были. Но если мы будем стоять на своем до того времени, пока их дети, вкусившие этих законов, не вырастут и достаточно с ними не освоятся и пока они не станут принимать участие в государственных выборах, то, когда осуществится все, о чем мы говорим, — если только каким-то образом это произойдет как следует, — по моему мнению, государству, так воспитанному, обеспечена прочная устойчивость на будущее время.

Клиний. Это не лишено основания.

Афинянин. Итак, посмотрим, не найдем ли мы какого средства, достаточного для этой цели. Я утверждаю, Клиний, что кносийцы, преимущественно перед остальными критянами, должны не только принести очистительные жертвы во имя заселяемой ими страны, но употребить также все старания, чтобы главные государственные должности оказались прочными и наилучшими. Что касается остальных должностей, то здесь дело проще. Однако сперва нам надо со всей тщательностью избрать стражей законов.

Клиний. Но что послужит нам для этого указанием и основанием?

Афинянин. А вот что: я утверждаю, о дети Крита, что кносийцы, вследствие своего старшинства

сравнительно со многими государствами, должны вместе с остальными поселенцами выбрать из них и из своей среды в общей сложности тридцать семь человек, при этом девятнадцать — из числа поселенцев, остальных же — из самого Кноса. Пусть этих последних кносийцы предоставят твоему государству; ты сам также будешь гражданином этой колонии и одним из этих восемнадцати. Кносийцы поступят так либо по личному убеждению, либо уступая умеренному нажиму.

Клиний. Так разве, чужеземец, ты и Мегилл не будете принимать участия в нашем государственном строе?

Афинянин. Афины, Клиний, держатся гордо; да и Спарта горда. Кроме того, они далеки отсюда. А у тебя все обстоит хорошо, да и у остальных поселенцев точно так же, как у тебя. Итак, пусть будет сказано о том, как лучше всего устроить дела при нынешнем положении. С течением времени, когда окрепнет государственный строй, избрание должностных лиц будет производиться примерно следующим образом. В выборах государственных должностных лиц обязаны участвовать все, кто носит оружие, — всадники ли или пехотинцы — и кто принимал участие в

войне, состоя в отрядах соответственно своему возрасту. Выборы происходят в святилище, которое государство наиболее почитает. Каждый должен возложить на жертвенник бога дощечку, написав на ней имя и отчество избираемого, филу и дем, членом которого тот состоит; точно таким же образом он должен приписать и свое собственное имя. Всякий желающий может, если ему покажется, что какая-либо дощечка заполнена несообразно с его намерением, изъять ее и выставить на площади на срок не менее тридцати дней. Выбрав до трехсот дощечек, получивших предпочтение, должностные лица показывают их всем гражданам. Граждане подобным же образом выбирают из этих трехсот того, кого каждый хочет. Во второй раз из них отбирают сто и снова показывают всем. На третий раз пусть голосуют за тех, кто значится в числе этих ста, опять-таки за кого кто хочет, но уже принося клятву над внутренностями жертвенных животных. Тридцать семь человек, получивших наибольшее число голосов, становятся государственными правителями. Но кто, Клиний и Мегилл, будет в нашем государстве руководить выборами должностных лиц и производить докимасию? Мы понимаем, что в государствах, впервые таким об-

разом становящихся единым целым, до выборов должностных лиц должны быть какие-то руководители. И это должны быть не бездельники, но люди самые лучшие. Пословица гласит, что начало — половина всякого дела, и мы всегда воздаем прекрасному началу хвалу. В нашем же случае, как мне кажется, начало — больше, чем половина, и никому не дано достойным образом восхвалить это прекрасное начинание.

Клиний. Ты совершенно прав.

Афинянин. Раз мы это сознаем, мы не можем обойти молчанием этот вопрос, не уяснив самим себе средства, ведущего к его разрешению. На этот счет я могу сказать разве только одно, однако необходимое и полезное при настоящем положении дел.

Клиний. Что же это?

Афинянин. Я утверждаю, что у государства, которое мы собираемся основать, не будет иного отца и матери, кроме того государства, что основывает поселение. Мне хорошо известно, что часто бывают — да и будут впредь — многие различия между колониями и городами-основателями. Но наше государство, словно дитя, даже если будут у него какие-нибудь отличия от родителей, любит их, несмотря на все сложности

нынешнего своего воспитания, да и родители его любят. Оно прибегает к своим родственникам и только в них всегда находит себе необходимых союзников. Вот я и утверждаю, что именно так будет обстоять дело у кносийцев благодаря их заботливости о новом государстве; и это новое государство будет так же относиться к кносийцам. Я повторяю только что сказанное, ибо прекрасное полезно повторить дважды. Кносийцы сообща должны позаботиться обо всем этом, выбрав старейших и по возможности лучших людей из числа колонистов в количестве не менее ста. Из среды самих кносийцев пусть поставят других сто человек. Они должны, утверждаю я, отправиться в новое государство и там позаботиться, чтобы должностные лица были назначены и проверены согласно законам. После этого кносийцы возвратятся в Кнос, новое же государство будет стараться самостоятельно поддерживать себя и преуспевать.

Пусть у нас и теперь, и впредь выбираются указанным способом тридцать семь должностных лиц. Они будут прежде всего стражами законов, затем — хранителями записей, где каждый гражданин укажет, для сведения должностных лиц, количество своего имущества, за исключением

четырех мин для первого класса, трех мин — для второго, двух мин — для третьего и одной мины — для четвертого. Если же окажется, что кто-нибудь приобрел сверх указанного в записи, то излишек изымается в пользу государства. Кроме того, всякий желающий может возбудить против приобретшего судебное дело; оно поведет вовсе не к доброй славе, а, напротив, к позору, если обнаружится, что этот гражданин пренебрег законами из-за корыстолюбия. Всякий желающий, указав в письменном виде на его позорное корыстолюбие, может привлечь его к суду в присутствии самих стражей законов. В случае осуждения он лишается права иметь свою часть в общем имуществе; если в государстве будет производиться какой-нибудь передел, он не получит в нем своей доли, кроме первоначального, полученного по жребию надела; имя виновного в продолжение всей его жизни будет начертано там, где всякий желающий может его прочесть.

Страж законов не должен стоять у власти более двадцати лет; избирать на эту должность можно лишь лиц не моложе пятидесяти. Если будет избран шестидесятилетний, он будет править только десять лет, и так далее из того же расчета, так что переступившие за семьдесят лет пусть

имеют в виду, что в своем возрасте они уже не могут занимать эту должность.

Ограничимся пока этими тремя предписаниями относительно стражей законов. По мере развития законодательства перед этими лицами встанут кроме только что указанных новые задачи, о решении которых им также придется позаботиться.

А теперь перейдем к вопросу об избрании других должностных лиц. Вслед за указанными лицами надлежит произвести выборы стратегов и, так сказать, их помощников в ратном деле: гиппархов, филархов и тех, кто командует пехотными отрядами; этим последним всего более приличествовало бы название таксиархов, как, впрочем, большинство их и называет. Лиц на должность стратегов стражи законов выдвигают из числа граждан. Все причастные военному делу в данный момент и раньше имеют право избирать из числа предложенных лиц. Если окажется, что кто-то может предложить кого-нибудь более достойного, чем тот, кто был предложен стражами, он может, присягнув, взамен его выставить другого. Кто из двух при голосовании, производимом путем поднятия рук, соберет наибольшее число голосов, тот допускается в качестве изби-

раемого. Трое получивших наибольшее число голосов становятся стратегами и попечителями военных дел, однако лишь после того, как и они, подобно стражам законов, подвергнутся докимасии. Избранные стратеги сами выбирают двенадцать таксиархов, по одному для каждой филы. Впрочем, и здесь, как при выборе стратегов, допускается выдвижение других лиц. При этом точно так же происходит голосование путем поднятия рук и принятие окончательного решения. Пока не избраны пританы и совет, стражи законов созывают это собрание в самом священном и подобающем месте, по отдельности разместив гоплитов, всадников, а также всех остальных воинов. За стратегов и гиппархов пусть голосуют путем поднятия рук все граждане; за таксиархов же лишь те, кто носит щит; филархов пусть избирает вся конница. Пусть стратеги сами назначат начальников над легковооруженными, над лучниками или над иного рода войсками. Нам остается еще коснуться вопроса о назначении гиппархов. Их пусть выдвигают те, кто выдвигает также стратегов; избрание и встречное выдвижение на эту должность пусть тоже производится так, как при выборах стратегов, но здесь пусть конница голосует путем поднятия рук на виду

у пехоты. Двое получивших наибольшее число голосов становятся во главе конницы. Если при поднятии рук возникнет неясность, допускается вторичное голосование. Если же и в третий раз будет неясность, пусть дело решают те, кто в каждом отдельном случае руководил голосованием.

Совет пусть состоит из тридцати дюжин членов. Число «триста шестьдесят» допускает удобное деление. Разделив это число на четыре части, по девяносто в каждой, мы постановим, чтобы каждый из четырех классов граждан выбирал девяносто членов совета. Прежде всего все поголовно должны избрать представителей высшего класса; уклонившийся же подвергается установленному наказанию. После голосования следует записать имена избранных. На другой день избирают представителей второго класса таким же образом, как происходило избрание накануне. На третий день все желающие голосуют за представителей третьего класса, однако трем первым классам это вменяется в обязанность, четвертый же класс, как самый низший, остается свободным от наказания, если кто из граждан этого класса не захочет голосовать. На четвертый день все голосуют за представителей четвертого, самого низшего класса; однако, если гражда-

нин четвертого или третьего класса не захочет голосовать, он не подвергается наказанию. Не голосовавшие граждане первого и второго класса должны понести наказание: принадлежащие ко второму классу — наказание втрое больше первоначального, принадлежащие к первому — вчетверо больше. На пятый день должностные лица выносят списки с именами избранных для обозрения всем гражданам. Всякий снова должен голосовать за кого-нибудь из них под страхом повторения первоначального наказания. Когда таким образом от каждого класса окажутся избранными сто восемьдесят человек, половина их устраняется путем жеребьевки, остальные же на этот год становятся членами совета.

Выборы, производимые таким образом, занимают средину между монархическим и демократическим устройством: государственное устройство вообще должно всегда придерживаться средины. Ведь рабы никогда не станут друзьями господ, так же как люди никчемные никогда не станут друзьями людей порядочных, хотя бы они занимали и равные по почету должности. Ибо для неравных равное стало бы неравным, если бы не соблюдалась надлежащая мера. По обеим этим причинам государства наполняются междоусоби-

цами. Истинна древняя пословица, что равенство создает дружбу; это сказано и вполне правильно, и складно. Но какое именно равенство обладает такой силой, не слишком ясно, и это приводит нас в большое смущение. Есть два вида равенства; они хоть и одноименны, но на деле во многом чуть ли не противоположны между собой. Из этих двух видов первому может отвести почетное место всякое государство и всякий законодатель, руководя его распределением с помощью жребия: таково равенство меры, веса, числа. Но любому человеку нелегко усмотреть самое истинное и наилучшее равенство, ибо это — суждение Зевса. Людям его уделяется всегда немного, но, поскольку оно уделено государству или частным лицам, оно создает все блага. Большему оно уделяет больше, меньшему — меньше, каждому даря то, что соразмерно его природе. Особенно большой почет воздает оно всегда людям наиболее добродетельным; противоположное же оно соответственно уделяет тем, кто в добродетели и воспитанности им противоположен.

У нас все относящееся к государственному устройству постоянно совпадает со справедливостью. Мы, Клиний, уже теперь должны стремиться к этому равенству, имея в виду устро-

ить наше растущее теперь государство. Если кто-то когда-нибудь будет устраивать другое государство, то и ему надо будет издавать законы, постоянно имея в виду именно это — справедливость, а не тиранов — одного или немногих — и не народовластие. В этом-то и заключается только что высказанная нами мысль о равенстве, установленном в каждом отдельном случае для неравных согласно природе.

Впрочем, всякому государству, если оно хочет избежать внутренних волнений, необходимо воспользоваться и другим видом равенства, заимствовавшим свое имя от первого. Ведь пристойная снисходительность при своем осуществлении вопреки надлежащей справедливости оказывается нарушением строгого совершенства. Поэтому вследствие недовольства большинства необходимо применять равенство путем жребия, причем бога и благую судьбу надо молить, чтобы они устроили жеребьевку согласно высшей справедливости. Так-то и приходится пользоваться обоими видами равенства, однако тем из них, которым правит случайность, надо пользоваться как можно реже.

Вот как, друзья мои, неизбежно приходится поступать государству, если оно хочет себя со-

хранить. Подобно тому как корабль, плывущий в море, нуждается в постоянном страже и днем и ночью, точно так же и государство держит свой путь среди бурного натиска остальных государств, рискуя подвергнуться всевозможным козням. Поэтому неустанно, с утра до ночи и с ночи до утра, правители должны приходить на смену правителям, а стражи должны сменять стражей. Толпа никогда не сумеет быстро добиться этого. Правда, необходимо допустить, чтобы большинство членов совета значительную часть времени занимались своими делами и приводили в порядок свое хозяйство. Однако каждая двенадцатая их часть поочередно должна быть на страже — соответственно двенадцати месяцам. Они были бы к услугам каждого приходящего из чужих земель или сгражданина самого государства, если он захочет сообщить о чем-то либо, наоборот, узнать что-нибудь из числа тех вещей, о которых одному государству подобает давать ответы другим государствам или же, напротив, получать от них ответы на свои вопросы. В особенности они должны предупреждать всякий раз внутренние волнения в государстве, которые обычно возникают по самым различным поводам; в случае их возник-

новения государство должно как можно скорее позаботиться о том, чтобы они улеглись. Поэтому верховные правители государства должны обладать постоянным правом созывать и распускать собрания, как установленные законами, так и те, необходимость в которых возникает внезапно. Всем этим пусть ведает двенадцатая часть совета, прочие же одиннадцать частей пусть отдыхают остальную часть года. Двенадцатая часть совета постоянно стоит на страже государства вместе с остальными правителями.

Для города этих установлений, пожалуй, достаточно. Каковы же будут попечение обо всей остальной стране и установленный в ней распорядок? Раз весь город разделен на двенадцать частей, то не до́лжно ли и всю страну также разделить на двенадцать частей? Не следует ли поставить каких-либо попечителей над дорогами, жилищами, постройками, гаванями, рынком, источниками, равно как и над священными участками, святилищами и всем тому подобным?

Клиний. Конечно, следует.

Афинянин. Скажем же, что в святилищах должны быть смотрители, жрецы и жрицы. А что касается дорог, построек и поддержания там

порядка — чтобы люди и животные не причиняли вреда в черте города и в предместьях и чтобы в государстве осуществлялось все надлежащее, — надо выбрать три рода должностных лиц: для только что указанного — так называемых астиномов, для наблюдения за рынком — агораномов. Если в некоторых семьях жреческий сан — наследственный и переходит по мужской или женской линии, этого порядка не следует нарушать. Впрочем, во вновь основываемом государстве это, конечно, вряд ли может у кого-нибудь быть, разве что у немногих. Поэтому следует тем, у кого это не установлено, назначить жрецов и жриц, чтобы они отправляли храмовую службу. Их назначение частью должно быть выборным, частью происходить путем жеребьевки. При этом народ и те, кто к нему не принадлежит, дружественно объединяются между собой в каждой части страны и в каждом городе, чтобы достичь сколь возможно большего согласия. Что касается жрецов, то надо самому богу предоставить возможность выбрать тех, кто ему угоден, поручив это с помощью жребия божественной судьбе. Однако всякий раз надо подвергать докимасии того, на кого выпал жребий, проверяя его телесное здоровье и законность рождения, а

самое главное — происходит ли он из почтенной семьи, чист ли он от убийства и не преступили ли он или его отец и мать другие подобные божественные установления. Относительно всего божественного надлежит взять законы из Дельф и пользоваться ими, назначив для этих законов истолкователей. Каждое жреческое звание должно быть годичным, никак не более. Тот, кто хочет, согласно священным законам и как надлежит, отправлять богослужение, должен иметь у нас не менее шестидесяти лет. Такое же законоположение пусть будет и относительно жриц.

Каждые четыре филы пусть трижды избирают четырех истолкователей, всякий раз по одному от каждой филы. Трое получивших наибольшее количество голосов подвергаются докимасии, все девятеро посылаются в Дельфы, чтобы из каждой тройки был избран один. Докимасия эта и положенный истолкователю возраст пусть будут такими же, как у жрецов, но они будут истолкователями пожизненно. А вместо выбывшего пусть доизберут другого те четыре филы, откуда он был.

Из высших классов изберут по три казначея для самых больших святилищ, для меньших — двух, для самых скромных — одного. Они будут ведать

священной казной, священными участками и доходами с них, а также будут полномочны отдавать их в аренду. Избрание и докимасия казначеев пусть происходят так же, как у стратегов. Таков будет порядок относительно святилищ.

Пусть по мере сил ничего не остается без надзора. Надзор и попечение над городом будут осуществляться стратегами, таксиархами, гиппархами, филархами, пританами, а также астиномами и агораномами, когда они будут у нас как следует выбраны и назначены. А вся остальная страна будет охраняться так: вся она будет разделена на двенадцать по возможности равных участков. Каждая фила получает по жребию один участок; ежегодно фила доставляет пять агрономов и фрурархов. Каждый из этих пяти избирает в своей филе двенадцать молодых людей не моложе двадцати пяти лет и не старше тридцати; между ними по жребию распределяются участки страны, каждому на один месяц, чтобы все они на опыте познакомились со всей страной и приобрели знания. Управление и надзор поручаются смотрителям и начальникам на два года. Получив вначале по жребию какой-либо участок, они ежемесячно сменяют его на соседний, по кругу слева направо, под руководством начальников стражи,

справа при этом будет восток. Чтобы возможно большее количество надзирателей ознакомилось со страной не только в течение какого-то одного времени года, но узнало бы кроме страны также все происходящее в любом месте в любое время года по истечении года, на другой год тогдашние руководители снова поведут их, но теперь уже налево, постоянно меняя место, пока не пройдет второй год. На третий год надо избрать пять новых агрономов и фрурархов — попечителей тех двенадцати молодых людей. Во время их пребывания в каждой данной местности попечение их будет состоять приблизительно в следующем: прежде всего страна должна быть как можно сильнее укреплена против врагов. Для этого следует выкопать там, где надо, рвы, насыпать валы, чтобы этими сооружениями заградить по возможности путь тем, кто так или иначе попытается причинить зло стране и ее достоянию. Для этого можно использовать местных вьючных животных и рабов, так что первые будут трудиться, а вторые ими управлять, причем по возможности для этого следует выбирать то время, когда они свободны от домашних работ. В стране все надо сделать непроходимым для врагов, для друзей же возможно более проходимым — и для людей,

и для вьючных животных, и для стад. Надо заботиться о дорогах, чтобы они были как можно более благоустроенными, а также о дождевых водах, чтобы они не вредили стране, но приносили большую пользу, стекая с вершин во впадины горных ущелий. Надо заградить насыпями и рвами истоки, чтобы там скапливались и вбирались дождевые воды, образуя для всех нижележащих полей и местностей источники и ключи, которые даже самые сухие места обильно снабжали бы водой. Родниковые воды — будь то речные или ключевые — надо привести в порядок как можно лучше с помощью насаждений и сооружений; надо соединить их непересыхающими круглый год каналами, чтобы вся окружающая местность стала плодородной. Если поблизости находится роща или же священный участок, то туда следует отвести воду, чтобы украсить святилища богов. Повсюду в таких местах молодые люди должны устраивать себе гимнасии, а старикам — горячие стариковские бани. Для этого надо собирать большое количество высохших и ставших совершенно сухими дров, на пользу людям больным и изнурившим свое тело земледельческим трудом. Последние нашли бы там гораздо лучший прием, чем со стороны не слишком сведущего врача.

Так-то вот и таким образом вместе с приятным развлечением осуществлялись бы польза и порядок в этих местах. Серьезная же сторона дела заключается вот в чем: каждые шестьдесят человек будут охранять свои места не только от врагов, но и от тех, кто называет себя другом. Если кто-либо из соседей или из остальных граждан — свободных или рабов — станет наносить друг другу обиды, то в маловажных случаях пятеро должностных лиц сами рассудят дело потерпевшего; в случае же более важных жалоб, когда речь идет об иске размером до трех мин, дело разбирается с присоединением двенадцати лиц, уже семнадцатью. Ни один судья и ни одно должностное лицо не должны действовать бесконтрольно, за исключением тех, кто, точно цари, выносит окончательное решение. Равным образом и агрономы, если они как-либо оскорбят тех, кто вверен их попечению, если неравномерно распределят задания или попытаются захватить и унести что-либо из земледельческих орудий без согласия на то владельца, а также если они станут брать дары от желающих подольститься или будут несправедливо распределять наказания, они будут как люди нестойкие перед лестью заклеймены позором по всему государству. Что касается остальных

допущенных ими нарушений в отношении к местным жителям, то за нарушения, оцениваемые в одну мину, если агрономы согласны, они смогут подвергнуться суду соседей и деревенских жителей. В случае же если нарушение менее значительно, но агроном не желает добровольно дать ответ, надеясь избегнуть суда ввиду ежемесячного перехода на новое место, либо в случае более весомого нарушения, пострадавший должен обратиться в общий суд. Если он выиграет дело, то с агронома, пытавшегося бежать и не желавшего добровольно подчиниться, в наказание взыскивается пеня в двойном размере.

Правители и агрономы в течение двух лет ведут следующий образ жизни. Прежде всего в каждой местности будут совместные трапезы, в которых все будут сообща столоваться. Кто без распоряжения должностных лиц или без основательной причины не будет в этом участвовать хотя бы только один день или отлучится на ночь и пятеро обнаружат это, они запишут его имя и выставят на площади как имя нерадивого стража. Он подвергнется посрамлению как человек, изменивший в своем деле государству; любой, кто пожелает, сможет невозбранно его побить. Если же кто из самих должностных лиц совершит

нечто подобное, то об этом следует уже позаботиться всем шестидесяти. Если заметивший и узнавший об этом не возбудит дела, он подпадает под те же законы и наказывается более, чем молодые должностные лица: он лишается права занимать все должности, доступные этим лицам. Стражи законов пусть тщательно наблюдают за этим, чтобы ничего такого либо не возникало в самом начале, либо, раз это уже возникло, чтобы за этим следовало достойное наказание.

Каждый человек должен мыслить обо всех без исключения людях так: не может стать достойным похвалы господином тот, кто не был раньше подвластным; поэтому более, чем умением хорошо властвовать, до́лжно хвалиться умением хорошо подчиняться, прежде всего — умением подчиняться законам, что будет означать подчинение богам; затем — умением юношей подчиняться старшим, честно прожившим всю свою жизнь. Далее, ставший агрономом должен в течение двух лет ежедневно отведывать тяжкой и бедственной жизни. В самом деле, после того как двенадцать будут избраны, пусть они соберутся совместно с пятью на совещание, ведь они, точно слуги, уже не будут иметь других слуг и рабов, не будут пользоваться для своих частных

нужд услугами остальных земледельцев и поселян, но только для общественных надобностей. В прочем же пусть сами они обратят внимание друг друга на то, что им предстоит самим себя обслуживать; к тому же им зимой и летом придется во всеоружии обследовать всю свою область как для охраны, так и для постоянной осведомленности о всех местных событиях. Отчетливое знание каждым человеком своей страны — это наука, которая, пожалуй, не хуже всякой иной. Поэтому молодежь должна предаваться псовой или какой-то иной охоте не меньше, чем остальным удовольствиям, сопряженным с возникающей из них для каждого человека пользой. Тех, кто занимается этим (по роду их занятия), мы назовем разведчиками, или агрономами, или каким-либо другим подходящим именем, но всякий намеревающийся надлежащим образом поддерживать свое государство пусть ревностно занимается этим по мере сил.

Затем нам следует поговорить об избрании должностных лиц: астиномов и агораномов. Шестидесяти сельским смотрителям пусть соответствуют трое городских смотрителей, которые разделят на три части двенадцать частей города; городские смотрители будут подражать сельским

в заботе как о городских улицах, так и о больших дорогах, ведущих в город; в заботе о постройках, чтобы все они возводились согласно законам, а равным образом и о воде, чтобы количества ее, посылаемого и передаваемого ими попечению стражей порядка, хватило бы для источников и чтобы она была чистой и служила украшению и пользе города. Кроме того, астиномы, чтобы заботиться об общем благе, должны быть состоятельными и иметь досуг. Поэтому каждый из высших классов пусть выставляет желаемых лиц для выборов в городские смотрители; избрание довершается путем поднятия рук. Когда число лиц, получивших большинство голосов, дойдет до шести, те, кому надлежит, будут выбирать из них троих путем жребия. Их прошлое подвергается проверке, и они правят согласно установленным для них законам. После них надо произвести выборы пяти смотрителей рынков из второго и первого классов. Во всем прочем их выбор производится так же, как городских смотрителей: путем поднятия рук выбирается десять человек, и уже из них путем жеребьевки выделяют пятерых, проверяют их прошлое и наконец объявляют их должностными лицами. Пусть каждый избиратель участвует в каждом

голосовании, производящемся путем поднятия рук. Уклонившийся, лишь только должностные лица будут извещены об этом, подвергнется пене в пятьдесят драхм и, кроме того, прослывет дурным гражданином.

Всякий желающий может посещать народные сходки или собрания. К этому посещению обязываются члены второго и первого классов под угрозой пени в десять драхм за доказанное непосещение. Для граждан третьего и четвертого классов посещение не обязательно; им не угрожает пеня, разве лишь когда должностные лица вследствие какой-либо надобности объявят присутствие всех обязательным.

Агораномы должны охранять на рынке порядок, предписанный законами, заботиться о находящихся на городской рыночной площади святилищах и источниках, чтобы никто ни в чем не терпел обиды; нарушителя же надо наказывать, если он раб или чужеземец, палочными ударами и тюремным заключением, если же станет бесчинствовать местный житель, то агораномы выступают полномочными судьями в тяжбах, не превышающих ста драхм; присуждать обидчика к пене в двойном размере по отношению к этому они могут лишь сообща с

астиномами. Такое же право налагать пени и наказание будет и у астиномов в подначальной им местности; пеню до одной мины они могут налагать сами, в двойном размере — совместно с агораномами.

Затем следует назначить должностных лиц, ведающих мусическим и гимнастическим искусствами, — тех и других по два: одного — для обучения, другого — для состязаний. Под первыми закон понимает попечителей над гимнасиями и училищами, поставленных для наблюдения за порядком, воспитанием, посещаемостью и пребыванием там мальчиков и девочек; под вторыми — судей над участниками гимнастических и мусических состязаний. Эти последние будут опять-таки двоякого рода: одни — судьи в мусическом искусстве, другие — в телесных состязаниях. При состязаниях людей или коней присуждать награду будут одни и те же судьи, но при мусических состязаниях одни будут присуждать награды в одиночном пении и в мимическом искусстве, то есть рапсодам, кифаристам, флейтистам и подобным им мастерам, другие же будут присуждать награды за хоровое пение. Сначала надо выбрать руководителей хоровых игр, то есть хоров мальчиков, мужчин и девушек, их плясок и других

видов искусства, воспитателей их мусической стройности. Для этого достаточно одного руководителя не моложе сорока лет. Для одиночного пения будет также достаточен один руководитель не моложе тридцати лет; он будет допускать к состязаниям и судить состязающихся. Руководителя и устроителя хороводов надо выбирать так: те, кто возымел к этому делу склонность, должны явиться на собрание под угрозой наказания в случае неявки; при этом судьями будут стражи законов. Для остальных это не обязательно, если они не желают. Выдвигать для избрания надо сведущих лиц; равным образом при докимасии, отводе или утверждении будет приниматься во внимание одно лишь это обстоятельство, а именно принадлежит ли избранный по жребию к числу сведущих лиц или нет. Из числа десяти лиц, предварительно избранных путем поднятия рук, по жребию после докимасии избирается на год руководитель хоров. Таким же образом, после такой же процедуры из числа явившихся избирается на тот же год руководитель одиночного пения и сопровождения на флейте, причем его избрание будут подтверждать судьи.

После этого надо из второго и третьего класса избрать распорядителей-судей для гимнастиче-

ских состязаний людей и коней.

Участвовать в выборах обязуются все принадлежащие к первым трем классам, а самый низший класс пусть останется безнаказанным, если не примет участия в выборах. Пусть будет выбранных по жребию только трое, а всех лиц, предварительно избранных путем поднятия рук, — двадцать. Из этих двадцати трое выбираются по жребию, только если они получат в свою пользу голоса лиц, производящих докимасию. Если же тот, на кого пал жребий и о ком надо принять решение, будет при докимасии забракован, на его место надо избрать иных людей тем же самым способом и так же подвергнуть их докимасии.

У нас остается еще одна государственная должность (касающаяся того, о чем речь была выше), состоящая во всевозможном попечении о воспитании мальчиков и девочек. Пусть во главе этого дела стоит, согласно законам, одно должностное лицо, достигшее не менее пятидесяти лет и имеющее законнорожденных детей, лучше всего и сыновей, и дочерей или по крайней мере хоть кого-то из них. Как избиратель, так и избираемый должны понимать, что эта должность гораздо значительнее самых высоких

должностей в государстве. В самом деле, первый отпрыск любого растения, хорошо направленный, получает возможность усовершенствовать качества, свойственные его природе. Это касается не только всех растений и животных, как диких, так и ручных, но и людей. Мы считаем человека существом кротким. Да, если его счастливые природные свойства надлежащим образом развиты воспитанием, он действительно становится кротчайшим и божественнейшим существом. Но если человек воспитан недостаточно или нехорошо, то это — самое дикое существо, какое только рождает земля. Поэтому законодатель не должен допускать, чтобы воспитание детей было чем-то второстепенным и шло как попало. Напротив, это первое, с чего должен начать законодатель. Если он хочет создать должное попечение о детях, ему надо выбрать из числа граждан человека, наилучшего во всех отношениях, и по возможности именно его назначить попечителем о детях. Итак, пусть все должностные лица, кроме членов совета и пританов, собравшись в святилище Аполлона, изберут путем тайного голосования из числа стражей законов того, кто, по мнению избирателей, лучше всего мог бы руководить вопросами воспитания. После докимасии, произ-

веденной всеми избравшими его должностными лицами, кроме стражей законов, получивший наибольшее число голосов отправляет свою должность в течение пяти лет, а на шестой год таким же способом избирают ему преемника.

Если кто-либо из отправлявших общественную должность умрет ранее чем за тридцать дней до истечения срока его полномочий, пусть те, кому надлежит, назначат точно таким же образом другого на эту должность. Если сироты лишатся опекуна, то родственники с отцовской и материнской стороны, проживающие в стране, вплоть до двоюродных братьев, должны в течение десяти дней назначить другого опекуна. Иначе каждый из них будет наказан пеней в одну драхму за каждый день до тех пор, пока они не назначат опекуна.

Всякое государство перестает быть государством, если суды в нем не устроены надлежащим образом. В свою очередь, по нашему мнению, никогда не будет в состоянии осуществлять правосудие безгласный судья, не высказывающий во время разбирательства более того, что говорят тяжущиеся стороны; это бывает только при частном посредничестве. Вот почему при многочисленных судьях трудно осуществлять

правосудие, так же как и при немногих, если они дурны. Нужно всегда уметь понять то, что оспаривается сторонами; полезно предварительно, исподволь и неоднократно, в течение некоторого промежутка времени вести разбирательство, чтобы выяснить спорный вопрос. Для этого тяжущиеся стороны должны обращаться к своим соседям, друзьям, вообще к тем, кто более всего знаком с делом. Если при этом получится суждение неудовлетворительное, до́лжно обратиться к другому суду. Если ни один из этих судов не сумеет разрешить дела, пусть третий вынесет окончательное решение.

Назначение судов известным образом относится к избранию правителей. В самом деле, каждый правитель в определенных случаях выступает как судья; судья же, не будучи правителем, тем не менее становится им — и притом далеко не последним — в тот день, когда своим приговором заканчивает судебное дело. Поэтому причислим и судей к правителям и посмотрим, какие качества им надлежит иметь, что́ им подсудно и сколько должно их быть в каждом отдельном случае.

Самым важным пусть будет тот суд, который назначат для себя тяжущиеся стороны, выбрав его сообща. Кроме того, пусть будут еще два суда:

один для разбора дел между частными лицами, чтобы тот, кто считает себя оскорбленным другим человеком, мог по желанию обратиться к правосудию; другой же суд — для тех случаев, когда, по мнению гражданина, кем-нибудь нарушаются интересы общества и он желает прийти им на помощь.

Надо также сказать о том, кто будет судьями и какими качествами должны они обладать. Первый суд у нас будет общим для всех тех частных лиц, которые в третий раз ведут тяжбу по своему делу. Этот суд будет устроен примерно так: должностные лица всех рангов, избранные на годичный и более срок, перед началом нового года, в месяц, следующий за летним солнцестоянием, накануне этого дня должны собраться в одном святилище, принести клятву богу и выделить как первое приношение из каждой правительственной должности в качестве судьи одно лицо, проявившее себя в этой должности наилучшим образом; можно ожидать, что лицо это самым лучшим и благочестивым образом будет творить правосудие в течение предстоящего года среди граждан.

Избиратели сами производят докимасию среди этих избранных. Если кто из них будет забра-

кован, следует таким же способом взамен него выбрать другого. Прошедшие докимасию творят суд над теми, кто уклоняется от прочих судов. Голосование в этом суде должно производиться открыто. Члены совета и прочие должностные лица, избравшие судей, непременно должны быть слушателями и зрителями в этих судилищах, а также и все другие желающие из граждан. Если кто станет жаловаться на умышленное нарушение правосудия со стороны судьи, обвинение следует направлять к стражам законов. Уличенный в этом должен заплатить пострадавшему половину суммы, в которую оценивается убыток. Если окажется, что виновный заслуживает большего наказания, стражи законов, приговору которых он подлежит, решают, что́ именно сверх этого должен он претерпеть и чем может он возместить ущерб как обществу, так и пострадавшему, обратившемуся в суд.

Обвинения в государственных преступлениях должны сперва передаваться на решение народа. Когда наносят обиду государству, пострадавшими оказываются все граждане; они справедливо негодовали бы, если бы остались непричастными к решению суда. Поэтому-то начало подобного дела и окончательное решение по нему предоставля-

ются народу, но разбирательство и обсуждение производятся тремя высшими должностными лицами по соглашению истца и ответчика. Если эти последние не могут прийти к соглашению, совет сам назначает судей из числа лиц, выбранных обеими сторонами.

Что касается разбора частных дел, то по мере сил все должны принимать и в нем участие. Кто не использует возможность общего отправления правосудия, тот считается вовсе не имеющим отношения к государству. Поэтому необходимо, чтобы и в каждой филе были суды, где судили бы судьи, непреклонные к просьбам и избираемые по жребию. Окончательным же для всех подобных дел будет тот суд, который, как мы сказали, окажется наиболее беспристрастным, насколько это в человеческих силах; суд этот предназначается для окончания тех дел, которые не могли быть разрешены ни судом соседей, ни судом филы.

Вот все, что касается судов. Как мы уже сказали, нелегко разобраться, являются ли судьи государственными должностными лицами или нет. Мы уже отчасти как бы набросали внешний очерк судопроизводства; кое-что, однако, осталось незатронутым. Впрочем, всего правиль-

нее было бы уже под конец законодательства подробно остановиться на вопросе о судебных законоположениях и подразделениях судов. Это-то и ждет нас в конце. Что же касается назначения остальных должностных лиц, то большей частью это уже, пожалуй, осуществлено нами в законодательстве. Однако невозможно полностью, и притом точно, выяснить все до единого вопросы, касающиеся государства и устройства всех его дел, прежде чем наше рассмотрение не придет к концу, охватив все к нему относящееся — как главные, так и второстепенные и средние по значению вещи. В настоящее время можно ограничиться сказанным выше, вплоть до избрания должностных лиц. Теперь же начнется установление законов; нет уже больше нужды для отступлений и разных задержек.

Клиний. Все сказанное тобой, чужеземец, вполне отвечает моим желаниям. Но еще более приятно, что ты покончил с этим и начинаешь говорить о дальнейшем.

Афинянин. Значит, до сих пор нам прекрасно удалось наше разумное старческое развлечение.

Клиний. Сдается, что не развлечение, а прекрасное и серьезное занятие зрелых людей.

Афинянин. Весьма возможно. Если ты согласен

со мной, то обрати внимание на следующее…

Клиний. На что же? И из какой области?

Афинянин. Ты знаешь, что работа художников над своими произведениями не имеет никакого предела; художник так и этак расцвечивает картину, наносит оттенки (так это, кажется, называют ученики живописцев) — словом, он беспрестанно улучшает картину до тех пор, пока она не станет безукоризненно прекрасной и выразительной.

Клиний. Я приблизительно улавливаю то, о чем ты говоришь, хотя совершенно незнаком с этим искусством.

Афинянин. Ты от этого ничего не потерял. Однако воспользуемся этим подвернувшимся нам теперь наблюдением. Дело вот в чем: если кто замыслил написать сколь возможно прекрасную картину, такую, чтобы и в последующее время она не потеряла своих достоинств, но казалась бы еще лучше, он, как ты понимаешь сам, должен оставить по себе преемника (сам-то ведь он смертен), чтобы тот подправлял его картину, если она пострадает от времени, и чтобы он мог с блеском восполнить упущения, оказавшиеся в картине из-за несовершенства искусства ее творца. В противном случае безмерный его труд

долго не просуществует.

Клиний. Верно.

Афинянин. Что же? Разве не таков же и замысел законодателя? Прежде всего законодатель хочет с достаточной по мере сил тщательностью записать законы. С течением времени его набросок проверяется на опыте. Так неужели же, по-твоему, законодатель может быть настолько безрассуден, чтобы не признать неизбежно пропущенным много такого, что нуждается в дальнейшем исправлении? Только таким образом намеченный законодателем государственный строй и порядок может стать не хуже, а лучше.

Клиний. Разумеется. Всякий, естественно, будет желать именно этого.

Афинянин. Если бы кто знал средство, как словесно или на деле обучить другого человека, сколько именно внимания надо обращать на то, каким образом следует охранять и исправлять законы, — неужели он не сообщил бы этого средства, прежде чем окончить свой век?

Клиний. Конечно, сообщил бы.

Афинянин. Поэтому и нам с вами надо сейчас это сделать.

Клиний. Что именно?

Афинянин. Мы намерены дать законы. У нас

выбраны стражи законов. Мы находимся на закате нашей жизни, они, сравнительно с нами, еще молоды. Поэтому, как мы и говорим, нам надо одновременно с законодательством попытаться по мере сил создать из них законодателей и стражей законов.

Клиний. Ну что ж, если это только в наших силах.

Афинянин. По крайней мере надо попытаться ревностно этим заняться.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Так обратимся же к ним с такими словами: «Друзья, вы — спасители законов. Мы сделаем очень много упущений в каждом устанавливаемом нами законе. Это уж неизбежно. Правда, мы по мере сил сделаем как бы общий набросок важных вопросов. Вашей задачей будет дорисовка этого наброска. Поэтому выслушайте, на что вы должны обращать внимание, когда будете это делать: мы с Мегиллом и Клинием уже неоднократно говорили друг другу об этом и признаем правильность наших воззрений. Мы хотим, чтобы вы их разделяли и вместе с тем чтобы вы стали нашими учениками. Обратите же внимание на то, что́, по нашему общему признанию, есть цель законодателя и стража законов. Вот что

мы признали самым главным: человек должен стать хорошим, он должен обладать подобающей ему душевной добродетелью, основанной на тех или иных обычаях или нравах, на том, чем он владеет, и на определенном стремлении, мнении или познании. В человеческом общежитии все — мужчины, женщины, молодые, старые — должны со всевозможным рвением в течение всей своей жизни стремиться к осуществлению указанной нами цели. И пускай никто не предпочтет то, что может этому воспрепятствовать. Наконец, и все государство, если обнаружится неизбежность неурядиц, не пожелает пребывать под рабским игом, не допустит, чтобы у власти встали худшие: граждане скорее предпочтут покинуть свое государство и отправиться в изгнание; они предпочтут претерпеть и другие подобные вещи, пока не изменится тот государственный строй, которому свойственно делать людей худшими. В этом мы уже согласились раньше, а теперь вы, стражи законов, должны подвергнуть одобрению или порицанию наши законы, имея в виду, однако, оба этих воззрения. Порицайте те законы, которые не могут вести к этой цели, а те, что могут, приветствуйте, примите их благосклонно и живите под ними. Что же касается остальных обычаев и

всего того, что ведет к другим так называемым благам, с ними следует распроститься».

Далее, начало законов пусть будет примерно следующим. Начнем с вопросов божественных. Прежде всего, однако, нам надо вспомнить о числе 5040: на сколько удобных частей оно делилось — да и делится — как вообще, так и по филам? Каждая фила составляет, как мы положили, одну двенадцатую часть этого числа и образуется всего правильнее путем умножения числа двадцать один на двадцать. Общее наше число разделяется на двенадцать частей. На столько же делится число, составляющее филу. Следует вдуматься в то, что каждая получающаяся таким образом часть — это священный дар бога: она соответствует месяцам и обращению Вселенной. Вот почему всякое государство считает эти подразделения священными по своей природе. Другие законодатели других государств, быть может, правильнее произвели подразделение и более счастливо освятили его. Впрочем, мы и теперь скажем, что мы в высшей степени верно выбрали раньше это число 5040, ведь у него есть различные делители, начиная от единицы до двенадцати, за исключением числа одиннадцать. Но и здесь очень легко помочь беде: если от пяти тысяч сорока

очагов отнять два, то все придет в порядок. Что это действительно так, легко покажет небольшое доказательство, которое мы дадим на досуге, а сейчас примем на веру разумность этого откровения. Произведем сообразно с ним подразделение и посвятим каждую часть богу или одному из детей богов. Мы воздвигнем им алтари со всей относящейся к ним утварью. Мы учредим жертвенные собрания у этих алтарей дважды в месяц. Первые двенадцать таких собраний будут соответствовать разделению каждой филы, вторые двенадцать — членению самого государства. Эти собрания должны совершаться, во-первых, во имя милости богов и всего божественного, а затем и ради нашей собственной близости, знакомства и, так сказать, всяческого общения.

В самом деле, при брачных отношениях и сочетании надо избегать неосведомленности относительно того, из какой семьи ты берешь себе жену или в какую семью отдаешь свою дочь. Надо очень и очень ценить безошибочность в подобного рода вопросах, — конечно, насколько это возможно. Ради этой важной цели надо учредить хороводные игры юношей и девушек, где у них были бы разумные и подобающие их возрасту поводы видеть друг друга обнаженными — в

пределах, дозволяемых скромной стыдливостью каждого. Попечителями, упорядочивающими все это, будут руководители хороводов, а также законодатели и стражи законов, они будут исправлять допущенные нами упущения. Ведь законодатель неизбежно, как мы сказали, пропускает много мелочей в подобного рода вопросах. Поэтому сведущие лица, с каждым годом приобретающие все больше опыта, постоянно должны делать исправления и ежегодно вносить перемены, пока не окажется, что достигнут предел для этих установлений и обычаев. Десятилетний срок будет достаточен и соразмерен для приобретения опыта в жертвоприношениях и хороводах как в целом, так и в подробностях. При жизни законодателя, установившего все это, изменения производятся сообща с ним. После его смерти каждое должностное лицо само доводит до сведения стражей законов об упущениях в его области, нуждающихся в исправлении. Так продолжается, пока все не достигнет окончательной завершенности. После же этого все устанавливается уже незыблемо и применяется наряду с остальными законами, изначально установленными законодателем. Впредь уже никогда не допускается никакое добровольное нарушение в этих вещах;

если же в будущем возникнет необходимость в изменениях, то всем должностным лицам надо сойтись на совещание и обратиться за советом как ко всему народу, так и к божественным прорицаниям. Если все будут согласны, можно произвести изменение, в противном же случае — никоим образом и никогда: согласно закону, любой протест здесь имеет силу.

После того как человек, достигший двадцатипятилетнего возраста, посмотрит невест и они посмотрят его, пусть он выберет по желанию женщину и уверится, что она подходит для рождения и совместного воспитания детей, и тогда пусть женится — не позднее тридцати пяти лет. Однако сперва пусть он выслушает, как он должен отыскивать подходящее и подобающее. Как говорит Клиний, каждому закону следует действительно предпослать соответственное вступление.

Клиний. Твое напоминание, чужеземец, превосходно и кажется мне вполне подходящим. Ты кстати выбрал момент в нашей беседе.

Афинянин. Отлично. «Дитя, — так скажем мы сыну честных родителей, — тебе надо вступить в брак, который вызвал бы одобрение разумных людей. Они не посоветуют тебе при заключении брака избегать бедных и слишком гнаться за

богатыми. При прочих равных условиях следует предпочесть скромное состояние и тогда заключить брачный союз. Ведь это было бы на пользу и данному государству, и будущим семьям».

В самом деле, с точки зрения добродетели равное и соразмерное бесконечно выше чрезмерного. Человеку, сознающему себя дерзким и вместе с тем склонным быстрее должного приниматься за разные дела, надо усердно стремиться стать свойственником умеренных людей, а кто от природы обладает противоположными качествами, тому надо и в свойственниках искать противоположное. Относительно всякого брака пусть соблюдается одно предписание: каждый человек должен заключать брак, полезный для государства, а не только очень приятный ему самому. От природы так устроено, что всякий человек всегда склоняется к тому, что всего более с ним сходно; отсюда по всему государству возникает несоответствие, как имущественное, так и в отношении нравов. Поэтому в большинстве государств очень часто случаются нежелательные для нас вещи. Однако если бы мы в соответствии со сказанным буквально законом предписали богатому не вступать в брак с богатой, могущественному — с женщиной из могущественной семьи или

если бы мы стали принуждать сочетаться между собой живые характеры и медлительные, мы возбудили бы этим не только смех, но и негодование большинства людей. Ведь нелегко понять, что государство должно быть смешано наподобие напитка в кратере, где бурлит налитое неистовое вино, а другое, трезвое божество его сдерживает, так что получается добрый, смешанный в меру напиток. Что то же самое бывает и при бракосочетании, заметить этого никто, так сказать, не в силах. Поэтому нельзя принуждать к этому законом, а надо попытаться как бы заворожить людей и убедить, что в браке каждый человек должен выше всего ставить взаимное соответствие своих детей, а не стремиться ненасытно к имущественному равенству. Кто при браке всячески обращает внимание лишь на имущественное положение, того мы попытаемся отвратить от этого путем порицания. Однако мы не станем принуждать его с помощью писаного закона.

Ограничимся этими увещаниями относительно браков. Упомянем еще только сказанное выше, а именно: человек должен следовать своей вечнотворящей природе, поэтому он должен оставлять по себе детей и детей своих детей, постоянно доставляя богу служителей вместо себя. Вступая

надлежащим образом в разговор, помимо всего этого можно было бы еще много сказать о браке и о том, как надо его заключать.

Но если кто не будет повиноваться по доброй воле, станет вести себя как чужеземец, непричастный данному государству, и не женится по достижении тридцати пяти лет, он будет ежегодно платить пеню: гражданин, принадлежащий к высшему классу, — сто драхм, ко второму — семьдесят, к третьему — шестьдесят, к четвертому — тридцать. Деньги эти будут посвящены Гере. Не выплачивающий их ежегодно будет принужден заплатить в десятикратном размере. Взыскивать их будет казначей богини; если же он не взыщет, то сам будет должен их выплатить. Это принимается в соображение при его отчетах. Итак, не желающий жениться подвергнется подобной денежной пене; что касается почета, то младшие будут подвергать его всевозможному поруганию. Пусть никто из молодых не слушается его добровольно, если же он попытается принудить кого-либо, то всякий должен прийти на помощь и защитить обижаемого. Кто, будучи свидетелем подобного принуждения, не придет на помощь, тот, по закону, будет назван трусом и дурным гражданином.

О приданом было сказано уже ранее. Повторим снова: людей бедных надо наставить, что взаимное равенство заключается в том, чтобы не брать и не давать вследствие имущественной нужды приданого. Необходимое есть у всех граждан нашего государства; поэтому из-за денег там меньше возникает дерзости у женщин и низкого, неблагородного порабощения ими мужей. Повинующийся совершит тем самым прекрасный поступок, а неповинующийся, давший или получивший приданое на приобретение одежды, если стоимость его больше, чем пятьдесят драхм, должен уплатить в общественную казну одну мину, если он принадлежит к четвертому классу, три полумины — если к третьему, две мины — если ко второму, и вдвое больше последнего, если он принадлежит к высшему классу. А данное или полученное приданое посвящается Гере и Зевсу. Казначеи этих двух божеств взыскивают его таким же образом, как это было сказано о взыскании казначеями Геры постоянной пени с неженатых, иначе казначеи сами выплачивают пеню.

При помолвке полномочным является поручительство прежде всего со стороны отца, затем — деда, наконец, — со стороны единокровных

братьев. Если никого из них нет, то так же точно полномочно поручительство с материнской стороны. Если произойдет какой-нибудь необычный случай, то полномочны всегда ближайшие родственники и опекуны. Что касается предварительных брачных жертвоприношений и других священнодействий, которые подобает совершать во время брака, до него или после, то каждый должен вопросить истолкователей и, выполнив их предписания, считать, что все совершено соответствующим образом.

На брачные пиршества каждая сторона должна приглашать не более пяти друзей или подруг, и таким же должно быть число родственников и домочадцев с обеих сторон. Издержки ни у кого не должны быть бóльшими, чем это позволяет состояние, а именно: для граждан самого богатого класса — одна мина, для второго — пол-мины и так далее, согласно уменьшению имущественного ценза. Тому, кто повинуется закону, все должны выразить одобрение; неповинующегося подвергают наказанию стражи законов как человека, лишенного чувства прекрасного и не воспитанного в законах о свадебных музах. Пить до опьянения не подобает никогда, за исключением празднеств в честь бога — дарителя

вина; к тому же это и небезопасно для человека, серьезно относящегося к браку. Здесь и жениху, и невесте подобает быть очень разумными, ведь это немалая перемена в их жизни. Да и потомство должно произойти от наиболее разумных родителей; между тем ведь почти неизвестно, в какую ночь — или день — будет с помощью бога зачат ребенок. Поэтому зачатие не должно совершаться, когда тело расслаблено от вина. Напротив, ребенок должен зародиться, как это и подобает, крепким, спокойным, в утробе он не должен блуждать. А пьяный человек и сам мечется во все стороны, и увлекает все за собой; он неистовствует и телом, и душой; стало быть, тот, кто пьян, не владеет собой и не годится для произведения потомства. Естественно, что ребенок иной раз рождается ненормальным, не внушающим доверия и неудачным как по характеру, так и телом. Поэтому как в течение целого года, так и в течение всей своей жизни, а всего более тогда, когда наступает время родить, до́лжно остерегаться и не совершать по доброй воле ничего вредного, дерзкого и несправедливого. Ибо все это неизгладимо отпечатлевается в душе и теле ребенка, и дети рождаются плохими во всех отношениях. Особенно надо воздерживаться

от этого в тот день и в ту ночь, когда совершается брак. Ибо божественное начало, заложенное в человеке, спасает все, если каждый подобающим образом его чтит.

Тот, кто вступает в брак, должен считать один из своих домов, входящих в его надел, местом рождения и воспитания детей. Там он женится или выходит замуж, расставшись с отцом и матерью; это — место, где живет и питается он сам и его дети. В самом деле, если в дружеских отношениях присутствует род страстного влечения, он связует и скрепляет различные характеры. А пресыщенность совместной жизнью, в которой не возникает время от времени этого влечения, вызывает взаимное отчуждение. Поэтому, предоставив матери, отцу и родственникам жены их жилища, сами новобрачные должны отправиться как бы в колонию. Однако они навещают своих родителей, и те навещают их. Родив и воспитав детей, они передают им — одни другим — жизнь, словно факел, тем самым постоянно оказывая богам согласное с законом почтение.

Далее, обладание какого рода имуществом является наиболее благоприятным? Относительно большинства предметов это нетрудно сообразить, да и приобрести это нетрудно. Но вопрос о рабах

труден во всех отношениях. Причиной служит то, что мы как-то неправильно говорим о рабах и тем не менее до известной степени правильно. В самом деле, наши выражения относительно рабов то противоречат тому, как мы пользуемся ими, то в свою очередь согласуются с этим.

Мегилл. Что это мы опять говорим? Чужеземец, мы не понимаем, о чем ты спрашиваешь!

Афинянин. Это очень естественно, Мегилл. Чуть ли не всем эллинам лакедемонская илотия доставила бы величайшее затруднение и возбудила бы споры: по мнению одних, это хорошее учреждение, по мнению других — плохое. Меньше споров было бы о рабском положении мариандинов, порабощенных гераклейцами, а также о фессалийском племени пенестов. Если мы обратим внимание на подобные явления, как мы должны будем поступить с рабовладением? Я в своей речи мимоходом коснулся этого; ты, естественно, задал мне вопрос, что́ я тут разумею. А вот что: все мы сказали бы, как известно, что надо обладать лучшими и самыми благожелательно к нам настроенными рабами. Действительно, многие рабы оказались по своим достоинствам лучше братьев и сыновей своих господ, так как спасли и своих господ, и их имущество, и все их

жилище. Именно это, как мы знаем, иной раз рассказывают о рабах.

Мегилл. Действительно.

Афинянин. Однако утверждают и обратное, то есть что душа раба лишена всего здравого и что никогда человек, обладающий разумом, не должен доверять такой породе людей. Это выразил и самый мудрый из наших поэтов, говоря о Зевсе:

> *Тягостный жребий печального рабства избрав человеку,*
>
> *Лучшую разума в нем половину Зевс истребляет.*

Стало быть, люди держатся различных воззрений: одни ни в чем не доверяют породе слуг и делают их души рабскими, воздействуя на них стрекалами и бичами, точно это дикие звери, причем совершают это не по три раза, а многократно. Другие же поступают прямо наоборот.

Мегилл. Конечно.

Клиний. Раз все это так различно, что же делать нам, чужеземец, в нашей стране с рабами — как владеть ими и как наказывать их?

Афинянин. В чем дело, Клиний? Раз человек — существо с нелегким нравом, то, думается мне, ясно, что он ни за что не захочет добровольно под-

вергнуться этому необходимому разграничению — на свободных господ и рабов. Владение рабами тяжко. Это многократно было доказано возникновением частых и ставших обычными восстаний мессенцев. Сколько случается бедствий в государствах, которые обладают большим числом рабов, говорящих на одном языке! Добавим еще разнообразные хищения и ущерб, причиняемый в пределах Италии так называемыми пиратами. Взглянув на все это, иной затруднился бы сказать, как надо поступать во всех этих случаях. Остается только два средства: во-первых, чтобы рабы лучше подчинялись, они не должны быть между собой соотечественниками, а, напротив, должны по возможности больше разниться по языку; во-вторых, надо воспитывать рабов надлежащим образом, и не только ради них самих, но и ради своей собственной чести. Это воспитание заключается в том, чтобы не позволять себе никакой резкости в отношении к рабам и по возможности причинять им еще меньше обид, нежели тем, кто нам равен. Ведь именно в отношениях с теми людьми, которых легко обидеть, и обнаруживается вполне, кто по природе, а не ради видимости чтит справедливость и подлинно ненавидит несправедливость. Итак, кто в своих привычках и

действиях по отношению к рабам окажется незапятнанным нечестием и несправедливостью, тот будет самым достойным сеятелем на ниве добродетели. То же самое будет правильным сказать о господине, о тиране и о любом другом виде господства над более слабыми. Впрочем, до́лжно наказывать рабов по справедливости и не изнеживать их, как свободных людей, увещаниями. Почти каждое обращение к рабу должно быть приказанием. Никоим образом и никогда не надо шутить с рабами — ни с женщинами, ни с мужчинами. Многие весьма безрассудно изнеживают рабов; этим они лишь делают более трудной их подчиненную жизнь, да и себе затрудняют управление ими.

Клиний. Ты прав.

Афинянин. Итак, мы допускаем, что граждане будут снабжены достаточным по мере сил количеством рабов, а качества рабов будут пригодны для помощи в любой работе. Теперь надо описать и жилища граждан.

Клиний. Конечно.

Афинянин. К тому же позаботиться о строительстве жилищ в новом и дотоле не заселенном государстве — это, скажем прямо, естественно. Каким же образом будут устроены стены и все

относящееся к святилищам? Эти законы, Клиний, должны были бы предшествовать законам о браках. Но поскольку наше государство возникает пока лишь словесно, вполне уместно и сейчас об этом поговорить. Когда же государство будет основываться на деле, тогда, если богу угодно, мы осуществим это еще до брачного законодательства и увенчаем этим последним все остальное. А сейчас мы дадим только краткий набросок.

Клиний. Отлично.

Афинянин. Храмы надо построить вокруг всей торговой площади. Да и весь город надо расположить кругами, поднимающимися к возвышенным местам, ради хорошей защищенности и чистоты. Рядом с храмами надо расположить помещения для правителей и судилищ. Там-то как в самых священных местах и будет вершиться правосудие частью постольку, поскольку жалобы касаются благочестия, частью же потому, что рядом находятся храмы соответствующих богов. Здесь будут и, те суды, в которых будут разбираться дела об убийстве и присуждаться наказания за преступления, достойные смертной казни.

Что касается городских стен, Мегилл, то я бы сослался на Спарту, а именно: пусть стены покоятся в земле и пусть их не восстанавливают. И вот по

какой причине: прекрасно сказано о них в слове поэта, что стены скорее должны быть медными и железными, нежели земляными; однако что до нас, то мы справедливо вызвали бы великий смех после того, как ежегодно посылали бы молодых людей для устройства там и сям то рвов, то окопов, в иных же местах — и каких-то сооружений для ограждения от врагов, чтобы не допустить неприятеля преступить границу нашей страны, и вдруг возвели бы вокруг города стену. Прежде всего это совсем не полезно для государств, так как обычно приводит души жителей в расслабленное состояние, ведь стены приглашают граждан укрываться за ними и не давать отпора врагам. Поэтому граждане не спасаются тем, что постоянно, день и ночь, некоторые из них стоят на страже, но, наоборот, почивают, считая себя огражденными стеной и вратами, словно они и на самом деле обрели в этом средство спасения и словно они родились не для трудов: им невдомек, что на самом деле облегчение явилось результатом трудов. Из постыдных же поблажек и малодушия, думаю я, обычно снова возникают труды. Но если уж нужны людям какие-нибудь стены, то надо с самого начала, при строительстве жилищ, так располагать частные дома, чтобы

весь город представлял собой одну сплошную стену; при этом доброй защитой будет служить однородность и сходство всех домов, выходящих на улицу. Приятно было бы видеть город, имеющий облик единого дома; к тому же его, весь в целом, было бы чрезвычайно легко охранять и таким образом сберечь. Заботиться о том, чтобы сохранились постройки, воздвигнутые вначале, следовало бы больше всего самим обитателям. Астиномы также пекутся об этом, принуждают и наказывают нерадивого; они же пекутся и о чистоте всех частей города, а также о том, чтобы ни одно частное лицо не захватывало городской земли для своих построек и рвов. Астиномам надо заботиться и о хорошем стоке дождевых вод, а также обо всем внутри и вне города, что подлежало бы устроению. Стражи законов тоже будут наблюдать за всем этим и по мере надобности устанавливать дополнительные законы относительно всего, что могло быть пропущено законом ввиду трудности.

После того как у нас будут воздвигнуты эти здания, а также и те, что расположены вокруг рыночной площади, и после того как гимнасии, всякого рода училища и театры будут устроены и станут лишь ожидать посетителей или зрителей,

мы продолжим наше законодательство в той части, что идет прямо за браком.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Итак, Клиний, допустим, что браки у нас уже заключены. После этого надо коснуться образа жизни, который будут вести молодые супруги до появления детей в продолжение не менее года. Как дано будет им жить в государстве, столь отличном от большинства государств? Это имеет близкое отношение к тому, о чем мы уже сейчас высказались. Однако договориться здесь не так-то легко, народ примет это еще неохотнее, чем многие прежние законы подобного рода. Во всяком случае, Клиний, следует высказать то, что представляется верным и истинным.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Неверно рассуждает тот, кто замыслил дать государствам законы о жизненных правилах поведения в общественном и всенародном обиходе, но не счел необходимым коснуться частной жизни и предоставил всем и каждому возможность проводить свои дни как угодно; не прав тот, кто не считает, что вообще все должно быть упорядочено, надеясь, что граждане, несмотря на то что частная их жизнь осталась неузаконенной, все-таки пожелают в обществен-

ной и всенародной жизни поступать согласно законам. Для чего я говорю это? Вот для чего: молодые супруги, утверждаем мы, не должны пользоваться преимуществами и будут так же, как и до брака, питаться за общими трапезами. Этот закон вначале возбуждал удивление, когда впервые появился в ваших краях. По-видимому, он был вызван какой-то войной или каким-нибудь другим обстоятельством, влияющим так же, как и война, когда людей мало и они пребывают в большой нужде. Вынужденные воспользоваться сисситиями и их вкусить, они признали, что закон этот очень важен для жизни. Как-то так и установился у вас этот обычай сисситий.

Клиний. Вероятно.

Афинянин. Вот почему я и сказал, что обычай этот некогда возбуждал удивление и рискованно было его предписать. Но в наше время уже не так трудно было бы его узаконить, если кто-нибудь этого пожелает. Зато дальнейшее — что было бы естественно осуществить, хотя сейчас этого нигде нет, — заставляет законодателя, как говорят в шутку, чесать шерсть в огонь и заниматься тысячью других бесполезных вещей подобного рода. Об этом нелегко говорить, а сказавши, нелегко это довести до конца.

Клиний. Что же это такое, чужеземец? Ты хочешь что-то сказать и, по-видимому, сильно колеблешься.

Афинянин. Так слушайте же, чтобы не было у нас много разговоров из ничего. Всевозможные блага в государстве производит то, что причастно порядку и закону. А беспорядок или плохие порядки разрушают бóльшую часть других, хороших порядков. На этом основано и то, о чем у нас сейчас речь. У вас, Клиний и Мегилл, как я сказал, словно по какой-то божественной необходимости, на удивление прекрасно установились сисситий. Однако они предназначены только для мужчин. А для женщин сисситии нигде как следует не узаконены, и этот обычай не появился на свет. Между тем женский пол — это часть нашего человеческого рода; правда, ввиду своей слабости он уродился более скрытным и лукавым. К тому же он беспорядочен, так что попустительство законодателя здесь неправильно. Поэтому, если оставить женщин в стороне, многое от нас ускользнет. Гораздо лучше было бы и для них издать законы, чем то положение, которое существует ныне. Если оставить все касающееся женщин неупорядоченным, то мы просмотрим более половины необходимых законов. Ведь на-

сколько женская природа по своему достоинству хуже нашей, мужской, настолько же она превосходит нас своей многочисленностью — чуть ли не более чем вдвое. Следовательно, для благополучия государства лучше повторно возвращаться к этому вопросу, производить здесь улучшения и все обычаи устанавливать одинаково как для женщин, так и для мужчин. Однако в наше время род людской относится к этому неблагосклонно, так что разумному человеку нельзя даже и упомянуть об этом в иных краях и в тех государствах, где вовсе отсутствуют сисситии как государственное установление. Как же не возбудит смеха чья-нибудь попытка на самом деле заставить женщин на людях, у всех на виду принимать пищу и питье? Ведь нет ничего, к чему женский пол относился бы с бóльшим отвращением, чем к этому. Женщины привыкли жить, укрывшись в тени; если насильно вытащить их на свет, они станут оказывать всяческое сопротивление и победят законодателя. Поэтому-то я и сказал, что в других местах не перенесут без громкого крика даже самого упоминания об этом, — разве что, быть может, здесь. Если решить, что рассуждение наше о государственном строе в целом не является неудачным, ибо цель его разумна, то

мне хотелось бы сказать, что такое постановление будет хорошим и подходящим, если только вы не откажетесь слушать. В противном случае оставим это.

Клиний. Да нет же, чужеземец, оба мы очень хотим послушать.

Афинянин. Ну, так давайте! Но нисколько не удивляйтесь, если вам покажется, что я пытаюсь повести речь издалека. Ведь мы наслаждаемся досугом, и нам нечего торопиться. Поэтому мы можем со всех сторон рассмотреть вопрос о законах.

Клиний. Ты прав.

Афинянин. Итак, вернемся к сказанному раньше. Всякий человек должен хорошо поразмыслить хотя бы над тем, что род людской либо вовсе не имел никакого начала, так что не будет ему и конца, но он был всегда и всячески будет, либо, что со времени его возникновения протекло неизмеримое количество времени.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Итак, мы должны считать, что по всей земле происходили всевозможные образования и разрушения государств, разнообразные по своему порядку или, наоборот, беспорядочности в отношении обычаев, а также потребностей в еде,

питье и жилье; происходили и разные повороты времен, при которых живые существа, естественно, подверглись многочисленным изменениям.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Дальше. Разве мы не поверим, что виноградная лоза когда-то появилась, а раньше ее не было? То же самое можно сказать и об оливковом дереве, о дарах Деметры и Коры; разве мы не поверим, что некий Триптолем был при этом прислужником? И не будем считать, что в то время, когда ничего этого не было, живые существа обратились, как, впрочем, и теперь, к взаимному пожиранию?

Клиний. Почему же так не считать?

Афинянин. Пережитки того, что люди приносили друг друга в жертву, мы и сейчас видим у многих народов. И наоборот, по слухам, в иных местах не осмеливаются вкушать говядины, не приносят богам в жертву живых существ, но лишь лепешки, плоды, увлажненные медом, и тому подобные чистые приношения. Там воздерживаются от мяса, точно нечестиво есть его и осквернять жертвенники богов кровью. Тогдашние люди жили некоей так называемой орфической жизнью; всего неодушевленного они придерживались в пище, а от всего одушевлен-

ного, напротив, воздерживались.

Клиний. О том, что ты говоришь, часто рассказывают; все это достаточно убедительно.

Афинянин. Но, скажут, к чему мы все это сейчас вспомнили?

Клиний. Верное замечание, чужеземец.

Афинянин. Итак, Клиний, если я смогу, я попытаюсь сообщить то, что за этим следует.

Клиний. Пожалуйста, говори.

Афинянин. Я вижу, что у людей все зависит от тройной нужды и вожделения. Когда все это идет правильно, рождается добродетель, когда жа неправильно — происходит противоположное. Прежде всего это вожделение к еде и питью, возникающее с самого дня рождения; всякое живое существо яростно стремится к еде и питью и уже не слушает, если кто советует ему поступать иначе, а не только и делать, что удовлетворять этого рода вожделения и наслаждаться, постоянно устраняя всякого рода страдание. Третья же величайшая наша нужда и самое яростное стремление овладевает нами позднее; оно воспламеняет людей неистовством и сжигает их на огне всевозможных бесчинств. Это — стремление к продолжению рода. Три эти болезни надо направить к высшему благу, отвратив

их от так называемого высшего наслаждения. Надо попытаться сдержать их с помощью трех могущественнейших средств: страха, закона и правдивого слова, пользуясь при этом также музами и богами — покровителями состязаний, дабы погасить рост и наплыв этих страстей.

Итак, после речи о браках поговорим о рождении детей, а после этого — об их вскармливании и воспитании. Может статься, что, продолжая таким путем нашу беседу, мы доведем до конца все законы и дойдем тем самым и до сисситий. Когда мы ближе подойдем к этого рода союзам, нам станет яснее, должны ли они состоять из одних мужчин или также из женщин, — и тогда мы, быть может, скорее увидим, что́ здесь остается спока неузаконенным, и продвинем это вперед. Как было сейчас сказано, мы яснее увидим, какие более подходящие и подобающие законы здесь надо установить.

Клиний. Ты совершенно прав.

Афинянин. Так сохраним же в нашей памяти только что сказанное. Быть может, все это нам когда-нибудь пригодится.

Клиний. Что именно советуешь ты запомнить?

Афинянин. То, что мы определили тремя сло-

вами: мы говорили о пище, затем о питье и, в-третьих, о любовных потрясениях.

Клиний. Мы хорошенько запомним, чужеземец, то, что ты нам советуешь.

Афинянин. Прекрасно. Перейдем же к речи о новобрачных. Мы наставим их, как надо производить детей: если мы их не убедим, мы будем угрожать им соответствующими законами.

Клиний. Каким образом?

Афинянин. Новобрачные должны подумать о том, чтобы дать государству по мере сил самых прекрасных и наилучших детей. Все люди, в какой бы работе они ни участвовали, делают все хорошо и прекрасно, пока они внимательны к своей работе, а также к самим себе. Когда же они невнимательны или не обладают разумом, все происходит наоборот. Пусть же молодой супруг обратит внимание на свою жену и на деторождение. То же самое пусть делает и молодая супруга, в особенности в тот промежуток времени, когда дети у них еще не родились. Блюстительницами тут будут женщины, которых мы изберем; число их может быть бóльшим или меньшим по усмотрению правителей, точно так же и срок их деятельности. Они будут ежедневно собираться к святилищу Илифии приблизительно на треть

дня и здесь сообщать друг другу то, что каждая из них заметила относительно разных мужчин и женщин, производящих детей, а именно: не обращают ли те своих взоров на что-либо иное, а не на то, что было установлено свадебными священными жертвоприношениями. Срок для рождения детей и охраны лиц, их рождающих, пусть будет десятилетний, не более, в том случае, когда течение рождений идет хорошо. Если же в продолжение этого времени у некоторых супругов не будет потомства, то они, для взаимной пользы, расходятся, посоветовавшись сообща с родными и женщинами-надзирательницами. Если же возникнет какое-либо сомнение в том, что́ полезно и подобает обеим сторонам, они должны выбрать из числа стражей законов десятерых и исполнять их предписания и постановления. Женщины-надзирательницы, посещая дома новобрачных, частью увещевают их, частью же прибегают к угрозам для прекращения невежества и нарушений. Если они окажутся тут бессильными, они обращаются к стражам законов, рассказывают им все, а уже те принимают меры. Но если и стражи окажутся в чем-то бессильными, то они объявляют это всенародно, возбуждают судебное дело и клянутся, что такого-то и такого-то они

оказались не в силах исправить.

Если на суде обвиняемый не убедит своих обвинителей, он лишается гражданских прав в таком отношении: он не может посещать свадеб и празднеств в честь рождения ребенка; если он туда явится, всякий желающий может невозбранно наказать его палочными ударами. Те же самые узаконения будут и относительно женщин. Если женщина таким же образом будет обвинена в бесчинстве и если на суде она не оправдается, она не может участвовать в женских шествиях, не может занимать почетных женских должностей и участвовать в посещении свадеб и дней рождения детей. Если супруги произведут по закону детей, а затем муж для этой же цели сойдется с чужою женой, а жена — с чужим мужем, то, если они сойдутся с людьми, по возрасту своему еще предназначенными для рождения детей, они подвергаются тем же наказаниям, что были указаны для тех, кто еще рождает детей. А когда уже минет этот возраст, то рассудительный во всем этом мужчина и рассудительная женщина будут пользоваться доброй славой. В противном случае и почет будет противоположным, вернее, они подвергнутся бесчестью. Если большинство проявляет в этом отношении умеренность, закон

обходит это молчанием, но если совершаются бесчинства, то устанавливаются правила сообразно установленным раньше законам.

Начало жизни каждого — его первый год. Это начало жизни мальчика или девочки надо записать в родовых святилищах. Пусть в каждой фратрии на выбеленной стене рядом с этой записью обозначат имя правителя, по которому именуется год; живых членов фратрии всегда будут записывать близко друг к другу; имена же покинувших жизнь будут стираться.

Срок вступления в брак для девушки будет с восемнадцати до двадцати лет: это — самое позднее; для молодого человека — с тридцати до тридцати пяти лет. Для занятия государственных должностей устанавливается возраст: для женщины — сорок лет, для мужчины — тридцать. Военную службу мужчина должен нести с двадцати до шестидесяти лет, а женщина (если будет решено и их привлекать к ратному делу, установив там дополнительно то, что им подходит и подобает) — лишь после того, как она уже родит детей, и до пятидесяти лет.

Книга VII

Афинянин. После речи о рождении детей мужского и женского пола всего правильнее было бы сказать об их воспитании и образовании. Оставить это неразобранным невозможно; но то, что мы выскажем, будет скорее похожим на некое поучение и увещание, чем на законы. В самом деле, в частной и в семейной жизни каждого человека есть много мелочей, совершающихся не на виду у всех; здесь, под влиянием личного страдания, удовольствия и вожделения, легко возникают явления, противоречащие советам законодателя, почему нравы граждан оказываются разнообразными и непохожими друг на друга, а это — беда для государств. Однако было бы неблаговидно и вместе с тем непристойно давать тут законы и устанавливать наказания, настолько явления эти незначительны, хоть и часты. С другой стороны, если люди привыкнут поступать противозаконно в часто повторяющихся мелочах, то это поведет к гибельной порче самих законов, пусть и установленных в письменной форме. Поэтому, хотя и затруднительно дать здесь законы, тем не менее промолчать невозможно. Однако надо выяснить

мою мысль, выставить ее, точно образчик, на свет, а то ведь сейчас мы, по-видимому, находимся как бы во тьме.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Итак, было правильно сказано, что надлежащее воспитание должно оказаться в силах сделать и тела и души прекраснейшими и наилучшими.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Чтобы тело стало прекраснейшим, нужно, думаю я, просто-напросто взрастить его с малых лет наиболее правильным образом.

Клиний. Безусловно.

Афинянин. Но разве мы не замечаем, что у всякого живого существа ранний рост бывает самым большим и сильным? Это заставило многих утверждать, что величина человеческого тела с пятилетнего возраста не удваивается в продолжение остальных двадцати лет.

Клиний. Правда.

Афинянин. Так что же? Разве мы не знаем, что сильный рост причиняет тысячи телесных недугов, если при этом не сопровождается многими соответствующими телесными нагрузками?

Клиний. Конечно.

Афинянин. Следовательно, тело нуждается в

наибольших телесных нагрузках именно тогда, когда получает наибольшее питание?

Клиний. Чужеземец, неужели мы в самом деле предпишем наибольшие телесные нагрузки детям, только родившимся на свет и самым маленьким?!

Афинянин. Нет, не им, а сначала тем, кто питается в утробе матери.

Клиний. Друг мой, что ты говоришь? Неужели ты разумеешь утробных младенцев?

Афинянин. Да. Нет ничего удивительного, если вы не знаете о телесных упражнениях применительно к младенцам такого возраста. Как бы это ни было странно, я хотел бы все-таки разъяснить вам этот вопрос.

Клиний. Действительно, это очень странно.

Афинянин. Это легче заметить у нас, так как тут более, чем должно, некоторые люди предаются забавам. У нас не только дети, но даже кое-кто и из старших воспитывает домашних птенцов и приучает этих животных к боям друг с другом. Однако люди эти невысоко ставят трудные упражнения в движениях, которые предназначены лишь для того, чтобы обучить птицу сражаться; так вот, кроме упражнений эти люди берут птиц — маленьких в ладони, больших

захватывают руками — и так-то, неся птицу под мышкой, отправляются гулять далеко, на много стадий, во имя здоровья — не своего собственного тела, а этих вот птенчиков. Для человека, способного соображать, отсюда становится ясным хотя бы то, что для всякого тела полезны эти беспрестанные сотрясения и толчки в разных направлениях, — все равно, само ли оно их над собой производит или испытывает их на качелях, на море, либо при верховой езде, либо, наконец, несомое движением любых тел. Благодаря этому пища и питье бывают для нас питательнее, и, стало быть, эти упражнения могут доставить нам здоровье, красоту и другую силу.

Раз все это так, то как же, спросим мы себя, надо нам поступать? Хотите, мы с улыбкой скажем, что устанавливаем следующие законы: беременная женщина должна гулять; младенца надо лепить, словно он сделан из воска, пока он гибок, и пеленать до двухлетнего возраста. Точно так же и кормилиц мы под страхом наказания принудим законом постоянно выносить младенца в поля, или к святилищам, или куда-нибудь к родственникам до тех пор, пока он не сможет стоять на ногах. Но и тогда кормилицам надо остерегаться, как бы малолетние дети не искри-

вили свои члены, когда они сильно опираются на что-то; кормилица и тогда должна еще чуть-чуть потрудиться и носить ребенка, пока он не достигнет трех лет. Она должна по возможности обладать силой и не быть одна при ребенке. Ну а если все эти условия не будут выполняться? Не назначить ли нам наказаний? Или вовсе не стоит этого делать? В самом деле, эта мера вызвала бы в изобилии то, о чем мы только что говорили.

Клиний. А именно?

Афинянин. Мы вызвали бы много смеха; кроме того, женский и рабский нрав кормилицы не дал бы себя убедить.

Клиний. Но в таком случае для чего же мы решили об этом сказать?

Афинянин. Вот для чего: услышав все это, господа и свободные люди в государстве придут, весьма возможно, к здравому сознанию, что тщетно было бы надеяться на прочность законодательства в вопросах общественных, если не предусмотрен надлежащий распорядок в частной жизни. Сообразив это, господа и свободнорожденные люди стали бы пользоваться только что указанными законами и, пользуясь ими, хорошо устроили бы свой дом и государство и были бы счастливы.

Клиний. Твои слова очень правдоподобны.

Афинянин. Поэтому-то мы не оставим этой части законодательства, пока не установим занятий, касающихся души даже младенцев, — так же как мы стали доводить до конца нашу речь о телесных упражнениях.

Клиний. Вполне правильно.

Афинянин. И в том и другом случае, то есть и для тела, и для души младенцев, возьмем за первоначало кормление грудью и движения, совершаемые по возможности в течение всей ночи и дня. Это полезно всем детям, а всего более самым младшим, — так, чтобы они постоянно жили, если это возможно, словно на море. Всячески надо стремиться именно так поступать с новорожденными младенцами. Удостовериться в этом можно и из того, что именно это усвоили на опыте и признали полезным кормилицы младенцев и женщины, совершающие священное врачевание корибантов. В самом деле, когда матери хотят, чтобы заснуло дитя, а ему не спится, они применяют вовсе не покой, а, напротив, движение, все время укачивая дитя на руках. Они прибегают не к молчанию, а к какому-нибудь напеву, словно наигрывая детям на флейте. Подобным же образом врачуют и вакхическое

исступление, применяя вместе с движением пляску и музыку.

Клиний. Но что же, чужеземец, служит здесь главной причиной?

Афинянин. Это не так трудно узнать.

Клиний. Каким образом?

Афинянин. То и другое состояние сводится к страху, страх же возникает вследствие дурного расположения души. Когда к подобным состояниям примешивается внешнее сотрясение, это внешнее движение берет верх над движением внутренним, состоящим в страхе и неистовстве. Одержав верх, оно как бы создает в душе безветрие и успокоение. Тяжкое сердцебиение прекращается, а это во всяком случае желательно. На детей это наводит сон, а тем, кто бодрствует, пляшет и играет на флейте, это дает возможность с помощью богов, которым они приносят благоприятные жертвы, сменить свое неистовство на разумное состояние. Хотя мы сказали об этом лишь вкратце, но и тут есть некое веское основание.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Если все это производит такое действие, то мы должны вдуматься в то, что можно заметить и на себе: всякая душа, которой свой-

ствен с младенчества страх, с течением времени еще больше к нему приучается. И любой скажет, что здесь происходит упражнение не столько в мужестве, сколько в трусости.

Клиний. Да, так.

Афинянин. И наоборот, мы сказали бы, что занятие, с малых лет развивающее мужество, заключается в уменье побеждать нападающие на нас боязнь и страх.

Клиний. Правильно.

Афинянин. Мы скажем также, что упражнения младенцев в движениях окажут у нас сильное влияние на одну из частей душевной добродетели.

Клиний. Конечно.

Афинянин. В самом деле, спокойное душевное настроение — это немалая часть хорошего состояния души, точно так же как тяжелое расположение духа — немалая доля дурного душевного состояния.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Каким же образом можно сразу внушить новорожденному это желательное нам настроение? Надо попытаться выяснить, насколько здесь можно будет достигнуть успеха.

Клиний. Да.

Афинянин. Я приведу господствующее у нас мнение: изнеженность делает характер детей тяжелым, вспыльчивым и очень впечатлительным к мелочам; наоборот, чрезмерно грубое порабощение детей делает их приниженными, неблагородными, ненавидящими людей, так что в конце концов они становятся непригодными для совместной жизни.

Клиний. Каким же образом все государство в целом может растить детей в том возрасте, когда они еще не говорят и не способны вкусить также прочее воспитание?

Афинянин. Примерно так: первый звук всякого новорожденного существа — крик; это не меньше касается и всего человеческого рода, которому кроме крика особенно свойствен плач.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Поэтому кормилицы, желая узнать, чего хочет ребенок, заключают об этом, поднося ему разные вещи. В самом деле, если ребенок замолчит, заметив подносимую вещь, они считают, что хорошо отгадали; если же плач и крик продолжаются, значит, не отгадали. Дети обнаруживают свою любовь или ненависть плачем и криком — знаками далеко не удачными. А между тем время это длится не меньше трех лет; нема-

ловажно, как провести эту часть жизни: худо или получше.

Клиний. Ты прав.

Афинянин. Разве вам не кажется, что ребенок с тяжелым нравом, никогда не бывающий радостным, склонен к плачу и хныканью гораздо больше, чем это нужно хорошему человеку?

Клиний. По-моему, да.

Афинянин. Что же? Если попытаться в течение указанных трех лет применять всякие средства, чтобы наш воспитанник по мере сил возможно меньше подвергался боли, страху и любому страданию, — разве, по-нашему, это не сделает его душу веселой и радостной?

Клиний. Видимо, да; в особенности же, чужеземец, если ему доставлять много удовольствий.

Афинянин. Здесь, дорогой мой, я уже не последую за Клинием, потому что, действуя так, мы сильно испортим ребенка, что весьма часто случается в начале воспитания. Посмотрим, говорю ли я дело.

Клиний. Скажи, что ты разумеешь?

Афинянин. У нас идет сейчас речь о предмете немаловажном. И ты, Мегилл, рассуди нас. Согласно моему утверждению, в правильной жизни и не надо стремиться к наслаждениям, и в свою

очередь не следует совсем избегать страданий. Надо довольствоваться чем-то средним, о чем я сейчас упомянул, обозначив это как радостное; такое расположение духа все мы, согласно некоему священному откровению, метко приписываем и богу. Я утверждаю, что тот из нас, кто намерен стать божественным человеком, должен стремиться к подобному состоянию, так, чтобы ни самому не стремиться к одним только удовольствиям (ибо не миновать ему и страданий), ни всем нам остальным — старикам и юношам, мужчинам и женщинам — не позволять стремиться к тому же, а всего меньше по мере сил новорожденному ребенку. Ведь главные черты характера каждого человека складываются в силу привычки именно в этом возрасте. И я, если бы не показалось только, что я намерен шутить, сказал бы, что все беременные женщины также должны во время беременности особенно заботиться о том, чтобы не испытывать многочисленных неистовых наслаждений, а равно и страданий; желательно, чтобы этот промежуток времени они прожили в радостном, безмятежном и кротком настроении.

Клиний. Тебе, чужеземец, вовсе не надо спрашивать Мегилла, кто из нас обоих более прав.

Я сам уступаю тебе: да, в жизни все должны избегать неумеренных страданий и удовольствий и всегда придерживаться середины. Ты это прекрасно сказал, и я с тобой согласен.

Афинянин. Очень хорошо, Клиний. Но кроме того, давайте обсудим все втроем еще вот что.

Клиний. Что именно?

Афинянин. Все то, что мы сейчас разобрали, относится к неписаным обычаям, как называет их большинство. То, что именуют дедовскими законами, есть не что иное, как совокупность подобных правил. Осенившая нас сейчас мысль о том, что в этих случаях нельзя говорить о законах, хотя, с другой стороны, нельзя также оставить все это невысказанным, прекрасно выражена. Обычаи эти связуют любой государственный строй; они занимают середину между письменно установленными законами и теми, что будут еще установлены. Попросту это как бы дедовские, чрезвычайно древние узаконения. Если хорошо их установить и ввести в жизнь, они будут в высшей степени спасительным покровом для современных им писаных законов. Если же по небрежности переступить при этом границы прекрасного, все рушится; это все равно как если бы удалили внутренние основы возведенного

строителями здания; и так как одно поддерживает другое, то при ниспровержении древних оснований обваливается и все позднейшее великолепное сооружение. Мы, Клиний, должны с этим считаться; поэтому тебе нужно всячески укрепить новое государство, не упуская по возможности ни великого, ни малого из того, что называется законами, обычаями или привычками. Ибо все это связует государство; ни одно из этих начал не может быть прочным без другого. Поэтому не следует удивляться, если законы у нас становятся пространнее из-за наплыва многочисленных узаконений и привычек, которые кажутся на первый взгляд мелочными.

Клиний. Ты говоришь верно; мы будем держаться такого же образа мыслей.

Афинянин. Следовательно, для малолетних воспитанников будет очень полезно, если к ним будут не между прочим, но очень тщательно применять все эти правила вплоть до достижения мальчиком или девочкой трехлетнего возраста. Впрочем, по своему душевному складу трехлетние, четырехлетние, пятилетние и даже шестилетние дети нуждаются в забавах. Но надо избегать изнеженности, надо наказывать детей, однако так, чтобы не задеть их самолюбия; здесь

следует поступать так, как обычно и делают в отношении рабов, о чем мы уже говорили: не надо позволять тем, кто наказывает, оскорблять подвергающегося наказанию, так как это вызовет у него раздражение, но нельзя и баловать отсутствием наказаний. Точно так же надо поступать и с детьми свободнорожденных. У детей этого возраста забавы возникают словно сами собой; когда дети собираются вместе, они придумывают их даже сами. Все дети этого возраста, то есть от трех до шести лет, пусть собираются в святилищах по поселкам, так, чтобы дети всех жителей поселка были там вместе. Кормилицы также должны смотреть, чтобы дети этого возраста были скромными и не распущенными. Над самими же кормилицами и над всей этой детской стайкой будут поставлены двенадцать женщин — по одной на каждую стайку, чтобы следить за ее порядком; их будут ежегодно назначать из числа упомянутых раньше кормилиц стражи законов. Выборы их будут производить главные попечительницы о браках. Среди своих ровесниц они выберут по одной из каждой филы. Назначенная на эту должность будет ежедневно посещать какое-нибудь святилище и всякий раз налагать наказание, если кто провинится; раба

и рабыню, чужеземца и чужеземку она накажет сама с помощью государственных рабов, а гражданина, если он станет противиться наказанию, она поведет на суд астиномов; если же гражданин не противится, она и его наказывает сама. После того как дети достигнут шестилетнего возраста, полы разделяются. Мальчики проводят время с мальчиками, точно так же и девочки с девочками. Но и те и другие должны обратиться к учению. Мальчики поступают к учителям верховой езды, стрельбы из лука, из пращи, метания дротиков. Если девочки согласятся, они также занимаются этим, по крайней мере до тех пор, пока не обучатся; в особенности же следует им научиться употреблению оружия. Здесь никто почти не отдает себе отчета в установившемся положении.

Клиний. В чем именно?

Афинянин. Считают, будто правая и левая рука у нас от природы употребляются для различных действий. Между тем ясно, что ноги и вообще нижние конечности вовсе не различаются в смысле работы. Что же касается рук, то здесь каждый из нас может стать калекой по неразумию кормилиц и матерей. В самом деле: природа почти уравновесила те и другие конечности, и

уже мы сами путем привычки сделали их различными, пользуясь ими ненадлежащим образом. При некоторых действиях разница эта невелика; так, лиру мы держим в левой руке, а плектр — в правой и так далее, здесь это не имеет значения. Однако это может служить нам примером, что было бы почти безумием полагать, будто не следует поступать так же и при других действиях. Доказывается это и обычаем скифов: они не держат лук только в левой руке, а стрелу только в правой, но пользуются и для того и для другого поочередно обеими руками. Весьма много других примеров можно найти в искусстве управлять колесницами и в любом другом мастерстве. Из этих примеров можно понять, что поступают вопреки природе те, кто развивает правую руку в ущерб левой. Как мы сказали, при роговых плектрах и тому подобных орудиях это несущественно. Но это очень важно, когда приходится пользоваться для военных целей железными орудиями, луками, дротиками, вообще оружием. А всего важнее это в тех случаях, когда оружием надо отражать оружие. Здесь огромная разница между человеком, усвоившим это и не усвоившим, между тем, кто в этом упражнялся, и тем, кто не упражнялся. Так, человек, вполне искусный в панкратии в

кулачном бою или в борьбе, бывает в состоянии бить и слева, но если он этим пренебрежет, то станет спотыкаться и волочить ногу, если противник переменит направление и заставит его нападать с другой стороны; то же самое, думаю я, нужно по праву ожидать и при вооруженной борьбе, и во всех остальных случаях. Ведь человек обладает двумя руками, чтобы отражать нападения и нападать на противника самому; поэтому ни одну из них по мере сил нельзя оставлять бездеятельной и нетренированной. И если кто родится подобным Гериону или Бриарею, то он должен быть в состоянии всей сотней своих рук метать сотню стрел.

Обо всем этом должны заботиться должностные лица — женщины и мужчины. Первые станут наблюдать за этим при играх и воспитании, вторые — при обучении, чтобы все юноши и девушки приобрели ловкость ног и рук и по мере сил ничуть не извратили дурными привычками своих природных свойств.

Обучение надо давать, так сказать, двоякое: тело следует обучать гимнастическому искусству, а душу — для развития ее добродетели — мусическому. То, что относится к гимнастическому искусству, в свою очередь подразделяется

на два вида: во первых, это пляска, во-вторых — борьба. Один вид пляски воспроизводит язык Музы, сохраняя величественность и вместе с тем благородство; другой вид служит для придания здоровья, ловкости и красоты членам и частям самого тела с помощью подобающих каждому из них сгибаний и разгибаний, причем из ритмических движений состоит вся пляска, которая непрерывно с ними связана.

Что касается борьбы, то для участия в войне вовсе не полезно и не достойно словесных прикрас то, что из бесчестного честолюбия приняли в этом искусстве Антей и Керкион, а Эпей и Амик — в кулачном бою. В борьбе стоя, когда стараются высвободить [из захвата] затылок, руки, бока и ревностно и стойко трудятся ради благообразной мощи, а также здоровья, это полезно во всех отношениях. Такой борьбой нельзя пренебречь; напротив, ее надо предписать как ученикам, так и учителям, когда мы в нашем законодательстве дойдем до этого места. Учителя пусть благосклонно все это преподают, а ученики с благодарностью воспринимают.

Нельзя оставить в стороне и того, что есть подобающее в хороводных плясовых подражаниях. Таковы здешние вооруженные игры куретов,

а в Лакедемоне — Диоскуров. И у нас Дева-Владычица, возрадовавшись хороводной забаве, не сочла возможным ликовать с пустыми руками, но, украсившись полным вооружением, в нем и исполнила свою пляску. Юношам и девушкам подобало бы всячески этому подражать, чтя милость богини, а также ради военных надобностей и празднеств. Малым детям, пока они еще не идут на войну, надо было бы во время шествий и торжественных процессий в честь всех богов всегда украшаться оружием, усаживаться на коней, в пляске и движении, то быстрее, то медленнее, возносить молитвы богам и детям богов. Состязания и подготовительные упражнения к ним надо устраивать именно ради этого, а не чего-то иного. Эти состязания полезны и в мирное время, и во время войны как для государства, так и в частном быту. Все же остальные труды, забавы и заботы о теле несвойственны свободнорожденным людям, Мегилл и Клиний.

В предшествующей речи я указал, что надо исследовать гимнастическое искусство. Теперь я его почти разобрал. Будем считать это исчерпанным. Но если вы можете предложить нечто лучшее, то сообщите это для общего сведения.

Клиний. Нелегко, чужеземец, отклонить ска-

занное тобой и предложить нечто лучшее для гимнастического искусства и состязаний.

Афинянин. Итак, что касается следующего вопроса о дарах Муз и Аполлона, то мы полагали тогда, будто все уже высказали и остается только вопрос о гимнастике. Но теперь ясно, в чем заключается этот вопрос, а также и то, что́ о нем надо говорить в первую очередь. Так перейдем же сразу к нему.

Клиний. Отлично, перейдем.

Афинянин. Выслушайте меня так, как вы слушали и раньше. Теперь тоже придется с большой осторожностью сказать и выслушать нечто странное и необычное. Поэтому я не без страха скажу свое слово; однако же я соберусь с духом и не отступлю.

Клиний. О чем ты говоришь, чужеземец?

Афинянин. Я утверждаю: ни в одном государстве никто не знает, что характер игр очень сильно влияет на установление законов и определяет, будут ли они прочными или нет. Если дело поставлено так, что одни и те же лица принимают участие в одних и тех же играх, соблюдая при этом одни и те же правила и радуясь одним и тем же забавам, то все это служит незыблемости также серьезных узаконений. Если же

молодые колеблют это единообразие игр, вводят новшества, ищут постоянно перемен и считают приятными разные вещи, если они недовольны всегда своим внешним обликом и убором, не признают раз навсегда установленных правил о том, что́ благообразно и что́ безобразно, но особенно высоко чтят тех людей, которые постоянно вводят какие-то новшества, что-то иное, непривычное во внешний облик, в цвета и в другие подобные вещи, то мы полностью вправе сказать, что для государства нет ничего более гибельного, чем все это. В самом деле, все это незаметно изменяет нравы молодых людей и заставляет их бесчестить старое и почитать только новое. Я снова повторяю: для всех государств нет худшего наказания, чем подобного рода мнения и установки. Выслушайте, насколько, по-моему, велико это зло.

Клиний. Ты говоришь о презрении к старине в государствах?

Афинянин. Да, именно об этом.

Клиний. В таком случае мы будем внимательными и очень сочувствующими слушателями этой твоей речи.

Афинянин. Естественно.

Клиний. Только бы ты продолжал.

Афинянин. Давайте же скажем друг другу, что сейчас нам надо быть особенно внимательными. В самом деле, мы найдем, что перемены во всем, за исключением злых бедствий, — это самое ненадежное дело: это касается и смены всех времен года, и смены ветров, и перемен в укладе телесной жизни, в характере — словом, изменений не в чем-то одном, но решительно во всем, исключая, как я сейчас сказал, лишь злые бедствия. Если взглянуть на тело, можно заметить, как оно привыкает к разной еде, разным напиткам, к трудам. Сперва все это вызывает расстройство, но затем, с течением времени, из этого возникает соответствующая всему этому плоть; тело знакомится, свыкается с этим укладом жизни, любит его, испытывает при нем удовольствие, здоровеет и чувствует себя превосходно. И если такое тело будет вынуждено когда-нибудь снова изменить тот или иной привычный ему уклад, то сначала оно переживает расстройство и с трудом восстанавливается, когда привыкнет к новому виду питания. Надо думать, что то же бывает и с образом мыслей и душевной природой людей. Законы, на которых они были вскормлены, стали по прошествии долгого времени неколебимыми благодаря некой божественной судьбе, так что

никто не помнит да и не слышал, чтобы с законами дело обстояло когда-то иначе, чем теперь. Любая душа благоговейно боится поколебать что-либо из установленных раньше законов. Так вот законодателю и надо придумать какое-то средство, чтобы в его государстве каким-то способом было осуществлено именно это. Что касается меня, то я усматриваю это средство в следующем. Ведь изменения в играх молодых людей все считают, как мы говорили раньше, просто игрой, в высшей степени несерьезной и не влекущей за собой никакого вреда, и потому они не отвращают от этого молодых, но снисходительно сами в этом за ними следуют. Здесь не принимают в расчет вот чего: те дети, которые вводят новшества в свои игры, неизбежно станут взрослыми и при этом иными людьми, чем те дети, что были до них; а раз они станут иными, они будут стремиться и к иной жизни и в этом своем стремлении пожелают иных обычаев и законов. Никто из них не боится, что вслед за этим для государства наступит величайшее бедствие, о котором сейчас идет речь. Правда, иные изменения, касающиеся лишь внешнего облика, произвели бы не столько бед. Но если дело идет об изменении нравов, когда люди нередко

начинают хвалить то, что раньше порицали, и порицать то, что раньше хвалили, то, думаю я, к этому более, нежели к чему-то другому, надо бы отнестись с величайшей осмотрительностью.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Что же? Убеждены ли мы и до сих пор в том, что утверждали раньше, то есть что все относящееся к ритмам и вообще любому мусическому искусству — это подражание человеческим характерам, как лучшим, так и худшим? Так ли обстоит дело или иначе?

Клиний. Именно так и не иначе; по крайней мере таково наше мнение.

Афинянин. Следовательно, мы утверждаем, что надо найти всевозможные средства, чтобы дети не стремились у нас в плясках или в напевах к другим подражаниям и чтобы никто не побудил их к этому соблазном будущих удовольствий.

Клиний. Ты совершенно прав.

Афинянин. Есть ли у кого-нибудь из нас для этого лучший прием, чем у египтян?

Клиний. О каком приеме ты говоришь?

Афинянин. Он заключается в том, чтобы всякую пляску и всякое пение сделать священными. Для этого сначала были установлены празднества, рассчитанные на целый год, причем было

установлено, какие празднества и в какое время надо справлять и в честь каких богов, их детей или даймонов; кроме того, какое песнопение надо возносить при каждом жертвоприношении и какой хороводной пляской следует почтить богов при этой жертве. Сперва были установлены некоторые песни и пляски. Но коль скоро они установились, то все граждане стали сообща совершать жертвоприношение Мойрам и всем остальным богам и во время возлияния освящать каждое песнопение в честь каждого из богов и из остальных высших существ. Если же вопреки этому кто-нибудь пытался вводить другие гимны или хороводные пляски в честь кого-либо из богов, то его удерживали жрецы и жрицы вместе со стражами законов, следуя в этом благочестию и закону. Если же человек этот не подчинялся, то в течение его жизни всякий желающий мог привлечь его к суду за нечестие.

Клиний. Правильно.

Афинянин. В этом месте нашей беседы нам придется испытать то, что свойственно нашим летам.

Клиний. О чем ты говоришь?

Афинянин. Всякий юноша, не говоря уже о стариках, увидев или услыхав что-то редкостное

и необычное, не уступит легко в трудном споре и не примет сразу решение, но остановится, очутившись словно бы на распутье. Один ли он совершает свой путь или с другими людьми, но, раз он не слишком хорошо знает дорогу, он будет спрашивать и самого себя, и других о том, что его затрудняет, и двинется дальше не прежде, чем исследует основательно свой путь и то, куда он ведет. И нам теперь надо поступить точно так же. Раз нам встретилось сейчас странное утверждение о законах, нам надлежит всесторонне его исследовать, а не спешить легкомысленно высказаться по столь важному вопросу, словно мы в силах немедленно решить что-то с полной ясностью, ведь не таковы уже наши годы.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Предоставим же это времени; мы дадим обоснование всему, когда достаточно это рассмотрим. И чтобы не сбить понапрасну порядка законов, которые нам следует теперь завершить, мы доведем до конца их рассмотрение. Очень возможно, если только угодно богу, что, когда наше рассмотрение в целом будет окончено, оно достаточно разъяснит это временное затруднение.

Клиний. Чужеземец, ты говоришь превосходно.

Мы поступим так, как ты сказал.

Афинянин. Вот мы и говорим: пусть будет допущено это странное обстоятельство, что песнопения станут у нас законами. Ведь название это — «номы» — древние, как видно, прилагали к тому, что исполнялось певцом под сопровождение кифары. Очень может быть, что они не так уж были далеки от нашего нынешнего утверждения: кто-то тогда, во сне или наяву, пробудившись от пророческой грезы, предугадал его. Итак, наше решение пусть будет следующим: никто не должен петь либо плясать несообразно со священными общенародными песнями и всеми принятыми у молодежи плясками. Этого надо остерегаться больше, чем нарушений любого другого закона. Кто будет это соблюдать, останется безнаказанным; ослушника же будут наказывать, как мы сказали сейчас, стражи законов, жрецы и жрицы. Пусть же будет так постановлено в этой нашей беседе.

Клиний. Пусть будет постановлено.

Афинянин. Как же установить этот закон, чтобы не возбудить слишком сильных насмешек? Обратим внимание здесь на следующее: самое безопасное — сначала создать эти законы словесно, сделав с них как бы пробный оттиск. Так вот, я

представляю себе один такой оттиск примерно в следующем роде: если, допустим, после совершенного по закону жертвоприношения и сожжения жертвенных животных чей-нибудь сын или брат по собственному почину встанет подле алтаря и жертв и всячески начнет злословить, неужели, спросим мы, это не породит уныния в его отце и в остальных родственниках и не явится дурным предзнаменованием и предвещанием?

Клиний. Конечно.

Афинянин. Между тем это у нас случается, можно сказать, чуть ли не во всех государствах. Когда какое-либо должностное лицо совершает от лица государства какое-то жертвоприношение, то вслед за этим являются туда хоры — не один, а несколько, — становятся неподалеку от алтаря, а иной раз и подле него самого и начинают извергать всяческое злословие по адресу священнодействия, смущая души слушателей своими словами, ритмами и жалобнейшими гармониями; и кто больше всего вызывает слез у тех, кто только что совершил жертвоприношение, тот получает победную награду. Неужели мы не отменим этот обычай? Если когда-то граждане и должны выслушивать подобные вопли, например в несчастливые и нечистые дни, то для этого

следует выступать скорее каким-нибудь иноземным хорам, состоящим из нанятых певцов, подобно тому как на похоронах нанятые люди сопровождают покойника карийскими плачами; нечто подобное подобало бы и упомянутым песнопениям. И погребальным песнопениям подобали бы не венки и не позолоченные уборы, но длинное одеяние. Чтобы возможно скорее покончить с этим, скажу, что все здесь должно быть совсем иным. Нам же самим я снова задам вопрос: угодно ли нам установить сначала этот первый образец для песнопений?

Клиний. В чем именно он состоит?

Афинянин. В благоречии. Пусть род песнопений будет у нас во всех отношениях благоречивым. Нужно ли еще говорить об этом или можно считать это уже установленным?

Клиний. Разумеется, установи это. Ведь закон этот собрал все голоса.

Афинянин. Что же будет вторым законом мусического искусства после благоречия? Не молитвы ли тем богам, которым мы каждый раз приносим жертвы?

Клиний. Да, так.

Афинянин. А третьим законом, думаю я, будет вот какой: поэты должны знать, что молитвы к

богам — это просьбы; и они должны обратить всяческое внимание на то, чтобы под видом добра не попросить нечаянно зла. Смешное бы создалось положение, думаю я, если бы исполнилась такая молитва!

Клиний. Еще бы.

Афинянин. Немного раньше в нашей беседе мы пришли к убеждению, что в государстве не должно быть места серебряным и золотым запасам.

Клиний. Разумеется.

Афинянин. Почему мы привели в нашей речи этот пример? Не потому ли, что не весь род поэтов способен вполне отличить благо от зла? Значит, если какой-то поэт в своем сочинении, в напеве или в словах в этом отношении погрешит, такие молитвы будут неправильны, и это заставит наших граждан в самых серьезных делах молиться не о том, о чем следует. Как мы говорили, не много можно найти погрешностей бóльших, чем эта. Установим же и это правило как один из образцов и законов Музы.

Клиний. Какое именно правило? Скажи нам яснее.

Афинянин. Поэт не должен творить ничего вопреки обычаям государства, вопреки справедливости, красоте и благу. Свои творения он

не должен показывать никому из частных лиц, прежде чем не покажет их назначенным для этого судьям и стражам законов и не получит их одобрения. У нас уже почти имеются лица, назначенные для этого: это выбранные нами законодатели в деле мусического искусства и попечитель о воспитании. Что же? Я повторяю свой вопрос не впервые: установим ли мы это как третий закон, образец и оттиск? Или вы другого мнения?

Клиний. Установим. Как же иначе?

Афинянин. Далее, вполне правильно было бы воспевать гимны богам и хвалебные песни вместе с молитвами и точно так же вслед за богами возносить подобающие молитвы и хвалебные песни даймонам и героям.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. После этого сразу можно установить закон, который не встретит возражений: следовало бы почитать хвалебными песнями тех из почивших граждан, кто телом или душой совершил прекрасные, трудные дела и был послушен законам.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Небезопасно чтить хвалебными песнями и гимнами живых людей, пока они не

пройдут весь свой жизненный путь и не увенчают его прекрасным концом. Все это будет у нас одинаково касаться как мужчин, так и женщин, которые проявят свою добродетель. Песнопения и пляски надо устраивать так: в мусическом искусстве есть много прекрасных древних сочинений старых поэтов, а для тела точно так же есть много плясок. Ничто не мешает выбрать из них то, что подобает и соответствует устрояемому государству. Оценщиками их будут избраны лица не моложе пятидесяти лет. Они произведут выбор из древних сочинений и допустят те, что окажутся подходящими; вовсе неподходящие сочинения они совершенно отринут; сочинения с недостатками они многократно подвергнут исправлению. Для этого они привлекут поэтов и музыкантов, используя их поэтическое дарование; и они не будут считаться с их вкусами и страстями — разве лишь в немногих случаях, — но как можно лучше истолкуют им намерения законодателя, дабы в этом духе были составлены пляски, песнопения и все относящееся к хороводам. То занятие Музами, где строй приходит на смену нестройности, всегда бесконечно лучше, даже если здесь и нет сладостной Музы. А приятность есть общее свойство всех Муз. Человек, который, начиная с

детства и вплоть до разумного, зрелого возраста, сживается с рассудительной и умеренной Музой, услышав враждебную ей Музу, презирает ее и считает неблагородной; кто же воспитался на расхожей, сладостной Музе, тот говорит, что противоположная ей Муза холодна и неприятна. Поэтому, как сейчас было сказано, в смысле приятности или неприятности ни одна из них не превосходит другую. Зато первая чрезвычайно улучшает людей, на ней воспитавшихся, вторая же — ухудшает.

Клиний. Это ты хорошо сказал.

Афинянин. Еще надо было бы определить характер, которым мужские песнопения отличаются от песнопений, свойственных женщинам. Необходимо установить для них подобающие гармонии и ритмы. Нехорошо, если напев идет вразрез с гармонией в ее целом, если нарушается ритм и ничто не соблюдено в напевах как следует. Надо и здесь установить законом определенные формы. И мужчинам и женщинам надо уделить обе эти необходимые формы — [гармонию и ритм], но при этом женщинам надо принять во внимание, что́ именно соответствует природным особенностям женского пола. Вот это-то и надо выяснить. Следует признать, что все величавое

и склоняющее к смелости имеет мужественное обличье, то же, что тяготеет к скромности и благопристойности, более сродни женщинам; поэтому и было бы разумно уделить им это по закону. Примерно таким будет это установление.

Затем надо поговорить относительно обучения этому — как передать все это другим и каким образом, кому и в какое время надо все это делать. Подобно тому как кораблестроитель, делая набросок для начала постройки, намечает форму киля судна, так же точно, кажется мне, поступаю и я, пытаясь очертить образ человека (σχήματα των βίων). При этом я основываюсь на душевном складе каждого; он действительно образует киль жизни. Я, конечно, стараюсь верно учесть, с помощью каких средств и способов мы всего лучше проведем жизнь во время того плавания, каким является наше существование. Правда, человеческие дела не заслуживают особых забот, но все же необходимо о них заботиться, хотя счастья в этом нет. Но раз уж мы очутились в таком положении, было бы, пожалуй, целесообразно выполнить нашу задачу подобающим образом. Впрочем, к чему я все говорю? Кто-нибудь мог бы с полным правом прервать меня этим вопросом.

Клиний. Это верно.

Афинянин. Я утверждаю, что в серьезных делах надо быть серьезным, а в несерьезных — не надо. Божество по своей природе достойно всевозможной блаженной заботы, человек же, как мы говорили раньше, это какая-то выдуманная игрушка бога, и по существу это стало наилучшим его назначением. Этому-то и надо следовать; каждый мужчина и каждая женщина пусть проводят свою жизнь, играя в прекраснейшие игры, хотя это и противоречит тому, что теперь принято.

Клиний. В каком смысле?

Афинянин. Теперь думают, что серьезные заботы должны существовать ради игр. Так, считают, что серьезные вопросы, связанные с войной, надо хорошенько упорядочить ради мира. Но ведь то, что бывает на войне, это по своей природе вовсе не игра и не воспитательное средство, достойное нашего упоминания, и сейчас оно не таково, и впредь не будет таким. А мы-то говорим, будто для нас это самое важное. Каждый должен как можно дольше и лучше провести свою жизнь в мире. Так что же, наконец, правильно? Надо жить играя.

Что ж это за игра? Жертвоприношения, песни, пляски, чтобы уметь снискать к себе милость богов, а врагов отразить и победить в битвах.

Но с помощью каких песен и плясок можно осуществить то и другое? Образцы для этого были указаны и проложены как бы пути, которыми надо идти, если считать, что и поэт был прав, говоря:

> *Многое сам, Телемак, ты своим угадаешь рассудком;*
>
> *Многое демон откроет тебе благосклонный; не против*
>
> *Воли ж бессмертных, я думаю, был ты рожден и воспитан.*

Точно так же должны мыслить и наши питомцы, считая, что отчасти им уже вдоволь дано указаний о жертвоприношениях и хороводных плясках, отчасти же даймон и бог внушат им, в честь кого и в какое время надо их совершать, чтобы, играя, снискать милость богов и прожить согласно свойствам своей природы, ведь люди в большей своей части — куклы и лишь немного причастны истине.

Мегилл. Ты полностью принижаешь наш человеческий род, чужеземец!

Афинянин. Не удивляйся, Мегилл, прости меня! Я взирал на бога и под этим впечатлением сказал сейчас свои слова. Если тебе угодно, будем

считать наш род не презренным, но достойным некоторого попечения.

Далее пойдет речь о постройке гимнасиев и вместе с тем школ в трех местах посредине города. Затем — об устроении, опять-таки в трех местах, но уже вне города, в окрестностях, ипподромов и площадок, хорошо приспособленных для стрельбы из лука и других упражнений в метании. Они будут устроены для обучения и вместе с тем для упражнения молодых людей. Если раньше об этом было сказано недостаточно, пусть теперь это будет не только сказано, но и постановлено законом. Во всех этих школах наемные учителя из числа оседлых чужеземцев будут обучать приходящих учеников всем военным наукам и мусическому искусству; при этом училище будет посещать не только тот, у кого этого желает отец, — у кого же он не хочет, тот, мол, может и отстраниться от воспитания, — но, как говорится, и стар, и млад должны по мере сил непременно его получить, ведь дети больше принадлежат государству, чем своим родителям. Все это мой закон предписал бы одинаково и для женщин, и для мужчин: первые таким же образом должны упражняться. Я ничуть не побоялся бы утверждать то же самое о верховой

езде и о гимнастике; разве это подобает только мужчинам, а женщинам нет? Слыша древние предания, я убеждаюсь в своей правоте, да, к слову сказать, и сейчас, я знаю, есть бесчисленное множество женщин в области Понта — их называют савроматидами, — которым предписано наравне и сообща с мужчинами упражняться не только в верховой езде, но и в стрельбе из лука и в применении другого оружия. Сверх того, у меня есть еще вот какие соображения по этому поводу: я утверждаю, что коль скоро это вообще возможно, то в высшей степени неразумно поступают теперь в наших местах, когда не приучаются к этому изо всех сил единодушно и одинаково как мужчины, так и женщины. Чуть ли не всякое государство становится таким образом половинным, вместо того чтобы быть вдвое бóльшим благодаря единству трудов и цели. Конечно, это странная погрешность со стороны законодателя.

Клиний. Кажется, так. Однако, чужеземец, очень многое из высказанного нами теперь противоречит обычному государственному устройству. Впрочем, ты был весьма дальновиден, сказав, что надо предоставить нашей беседе хорошенько развиться, а затем, когда она разовьется, выбрать из нее то, что будет признано

дельным. Так что мне приходится теперь упрекать самого себя за то, что было мной сказано. Так говори же дальше все, что тебе по сердцу!

Афинянин. Мне, Клиний, по сердцу то, о чем я говорил и раньше. Если мой замысел недостаточно обоснован на деле, пожалуй, найдутся против него возражения. Но сейчас тому, кто совсем не приемлет этот закон, надо поискать что-то другое. Но при этом не будет забыто наше пожелание, чтобы женщины у нас наравне с мужчинами подлежали воспитанию и всему остальному; в самом деле, мы должны здесь мыслить примерно так. И скажи: если женщины непричастны наравне с мужчинами всем сторонам жизни, не правда ли, для них надо установить какой-нибудь иной распорядок?

Клиний. Это необходимо.

Афинянин. Какой же образ жизни из числа указанных нами выше мы сейчас установим для женщин, раз мы теперь предписываем им участие в жизни вместе с мужчинами? Тот ли, что у фракийцев и у многих других племен, использующих женщин в земледелии, скотоводстве, овцеводстве, для домашних услуг, — словом, не делающих никакого различия между женщинами и рабами? Или тот, что у нас и у всех жителей

наших мест? У нас теперь дело обстоит так: все наше, так сказать, [семейное] имущество мы сносим в какое-нибудь одно жилище и вручаем его женщинам; они распоряжаются им, руководят тканьем и пряжей шерсти. Лакедемонские же порядки, Мегилл, занимают, не правда ли, середину между двумя этими крайностями. Девушки должны участвовать в гимнастических упражнениях, а вместе с тем и в занятиях мусическими искусствами. Женщины же, хоть и не трудятся над пряжей шерсти, должны плести жизнь, полную упражнений и вовсе не ничтожную и малоценную; здесь опять-таки они занимают некую середину в попечении о хозяйстве и воспитании детей, но в ратном деле они не участвуют. Поэтому в случае необходимости сражаться за государство и за детей они не умеют применять лук, как это делают амазонки; не искусны они и в других метательных орудиях; они не могут, взявши щит и копье, подражать богине, чтобы гордо противостоять разорению своей родины или хотя бы навести страх на врагов, представ перед ними в воинском строю. Ведя такой образ жизни, они, конечно, не осмелятся подражать савроматидам, ведь женщины савроматов в сравнении с женщинами вообще могут показаться

мужчинами. Итак, если кто хочет, пусть хвалит ваших законодателей. Я же высказал бы свое прежнее мнение: законодатель должен быть последовательным до конца, а не останавливаться на полдороге. Поэтому он не должен допускать, чтобы женщины предавались неге, расточительности и вели бестолковую жизнь, ведь, до конца позаботившись лишь о мужчинах, законодатель тем самым дает государству, пожалуй, половину счастливой жизни вместо двойной.

Мегилл. Как нам поступить, Клиний? Позволить ли этому чужеземцу делать подобный набег на Спарту?

Клиний. Да, придется позволить, раз ему предоставлена полная свобода слова, — пока мы не разберем законы достаточно и всесторонне.

Мегилл. Ты прав.

Афинянин. Таким образом, пожалуй, уже мое дело попытаться выяснить и дальнейшее.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Какой же образ жизни станут вести люди, в должной мере снабженные всем необходимым? Ремесла там поручены чужеземцам; земледелие предоставлено рабам, собирающим с земли жатву достаточную, чтобы люди жили в довольстве; общие трапезы устроены отдельно

для мужчин, а невдалеке — для их домочадцев: детей женского пола и матерей. Должностным лицам мужского и женского пола там предписано каждодневно пристально наблюдать за поведением сотрапезников и затем распускать эти собрания, причем должностное лицо и все остальные совершают возлияние богам, которым посвящены тогдашний день или ночь. После этого все отправляются по домам. Но неужели не осталось ни одного необходимого и вполне приличного дела для людей, соблюдающих такой распорядок? Или каждый из них должен лишь жить, жирея наподобие скота? Нет, утверждаем мы, это и несправедливо, и нехорошо, да и невозможно, чтобы живущего так не постигла должная кара. А состоит она в том, что праздное и беспечно разжиревшее существо становится добычей другого существа, закаленного мужеством и трудами. Если мы будем тщательно, как мы это и делаем, вести наше исследование, то, возможно, этого и не произойдет до тех пор, пока каждый из нас будет иметь собственную жену, детей, жилища и вообще будет обладать частной собственностью. Значит, если осуществится менее совершенный строй, о чем сейчас и идет речь, то при этом, конечно, будет соблюдена

надлежащая мера. Мы утверждаем, что людям, живущим указанным образом, остается на долю очень немаловажное дело; наоборот, оно самое важное из всего, что предписывается справедливым законодательством. В самом деле, даже у тех, кто домогается победы в Пифийских или Олимпийских играх, вовсе нет досуга для прочих житейских дел; вдвое или еще больше недосуг тому, кто проводит свою жизнь в заботах о всяческой добродетели, телесной и душевной, как это и было вполне правильно указано. Поэтому никакие посторонние занятия не должны служить помехой для того, что дает телу подобающую закалку в трудах, душе же — знания и навыки. Кто станет осуществлять именно это и будет стремиться достичь достаточного совершенства души и тела, тому, пожалуй, не хватит для этого всех ночей и дней.

Раз дело обстоит так по самой природе, то для всех свободнорожденных надо установить распорядок на все время дня. Начинаться этот распорядок должен чуть ли не с самого утра и продолжаться без перерыва до следующего утра, иначе говоря, до восхода солнца. Показалось бы некрасивым, если бы законодатель стал говорить обо всех мелочах, частых в домашнем

обиходе вообще, и особенно о ночном бдении, подобающем лицам, которые намерены до конца тщательно охранять государство. Впрочем, все должны считать позорным и недостойным свободного человека, если он предается сну всю ночь напролет и не показывает примера своим домочадцам тем, что всегда пробуждается и встает первым. Назвать ли это законом или обычаем — безразлично. Точно так же если хозяйка дома заставляет служанок будить себя, а не сама будит всех остальных, то раб, рабыня, слуга и — если только это возможно — весь дом целиком должен говорить между собой об этом как о чем-то позорном. Всем надо пробуждаться ночью и заниматься множеством государственных или домашних дел: правителям — в государстве, хозяевам и хозяйкам — в собственных домах. Долгий сон по самой природе не подходит ни нашему телу, ни нашей душе и мешает как телесной, так и душевной деятельности. В самом деле, спящий человек ни на что не годен, он ничуть не лучше мертвого. А кто из нас больше всего заботится о разумности жизни, тот пусть по возможности дольше бодрствует, соблюдая при этом, однако, то, что полезно его здоровью. Если это войдет в привычку, то сон людей будет недолог. Прави-

тели, бодрствующие по ночам в государствах, страшны для дурных людей — как врагов, так и граждан, — но любезны и почтенны для людей справедливых и здравомыслящих; полезны они и самим себе, и всему государству.

Ночь, проведенная подобным образом, кроме всего, что указано раньше, внедрила бы мужество в душу каждого гражданина. Утром, на рассвете, дети должны отправляться к учителям. Без пастуха не могут жить ни овцы, ни другие животные; так и дети не могут обойтись без каких-то руководителей, а рабы — без господ. Но ребенка гораздо труднее взять в руки, чем любое другое живое существо. Ведь чем меньше разум ребенка направлен в надлежащее русло, тем более становится он шаловливым, резвым и вдобавок превосходит дерзостью все остальные существа. Поэтому надо обуздывать его всевозможными средствами, и прежде всего тогда, когда из рук кормилицы и матери он в малолетстве отдается попечению руководителя, а впоследствии и учителям разных наук, подобающих свободнорожденному человеку. Если же ребенок принадлежит к сословию рабов, то любой встречный из свободнорожденных людей пусть наказывает как самого ребенка, так и его

пестуна или учителя, когда кто из них в чем-либо погрешит. Если же такой встречный не наложит справедливого наказания, пусть его, во-первых, постигнет величайший позор, а затем пусть тот из стражей законов, кто был избран на должность попечителя детей, наблюдает за прохожим, о котором идет речь, раз тот не наказал кого нужно, хоть и должен был это сделать, или же наказал, но не так, как следует. Такой страж законов должен быть у нас зорким, он должен очень заботиться о воспитании детей, исправлять их характер и всегда направлять их ко благу согласно законам.

Но каким же образом сам закон воспитает у нас, как до́лжно, самого этого стража законов? Ведь пока мы не сказали ничего достаточно ясного; кое о чем уже шла речь, но о прочем — нет. Между тем закону нельзя по возможности опускать ничего; надо растолковать каждое слово, чтобы закон этот служил предостерегающим и воспитующим примером для остальных. Относительно хоровых песен и плясок уже было сказано, а именно о том, какой характер они должны носить, как их надо выбирать, исправлять и освящать. Но мы еще не сказали, какие именно сочинения письменные, хоть и не стихотворные, станешь ты использовать, наилучший из

попечителей детей, для занятий со своими воспитанниками и каким именно образом будешь ты это делать. Впрочем, относительно ратного дела ты уже знаешь из нашей беседы, что́ должны изучать воспитанники и в чем они должны упражняться. Грамоте же прежде всего, затем игре на кифаре и счету по крайней мере, поскольку они применяются в ратном деле, домоводстве и в государственном управлении, как мы сказали, следует обучаться каждому, а кроме того, получать полезные сведения о божественных круговоротах — звезд, Солнца и Луны, раз всякому государству необходимо иметь установления относительно этого… но о чем, собственно, у нас сейчас идет речь? О распорядке дней в зависимости от месячных обращений Луны и распорядке месяцев в каждом году, чтобы всем временам года, жертвоприношениям и празднествам было уделено то, что каждому из них подобает по самой природе; чтобы это животворило и будоражило государство; чтобы богам воздавался почет, а люди становились бы разумнее в этих делах — все это, друг мой, пока недостаточно изложено для тебя законодателем. Так обрати же внимание на то, о чем будет речь дальше! Мы сказали, что у тебя прежде всего нет достаточных указаний

относительно грамоты. Что же мы ставим в упрек нашему изложению? Вот что: тебе не было указано, должен ли любой, кто намерен стать достойным гражданином, вдаваться в подробности этой науки, или он может к ней даже не прикасаться. То же самое и относительно игры на кифаре. Итак, мы утверждаем теперь, что он должен этому обучаться. Начиная с десятилетнего возраста ребенок должен учиться грамоте в течение примерно трех лет; тринадцатилетний возраст подходит для начала обучения игре на кифаре; это обучение займет еще три года. Но ни отцу ребенка, ни самому ребенку — любит ли он учение или его ненавидит — не разрешается ни увеличивать, ни уменьшать этот срок, преступая тем самым закон. Ослушник пусть будет лишен права на те почести за образованность, о которых мы будем говорить несколько позже. Но чему должны учиться молодые люди в указанный промежуток времени у своих учителей? Это-то вот и надо прежде всего усвоить тебе самому. Над грамотой ребенку следует трудиться до тех пор, пока он не сможет писать и читать. Что же касается беглости или красоты, то на этом не надо настаивать, если природа ребенка не содействует этому в установленный срок. Что же касается

изучения не имеющих музыкального сопровождения записанных поэтических сочинений, частью стихотворных, частью же не имеющих размера, иначе говоря, прозаических, лишенных гармонии и ритма, то некоторыми авторами оставлены нам здесь опасные сочинения. Как используете вы их, лучшие из стражей законов? Или: чем именно предпишет пользоваться законодатель и при каких условиях его предписание будет правильным? Я предвижу, что он будет в большом затруднении.

Клиний. В чем дело, чужеземец? Кажется, ты действительно в затруднении и говоришь сам с собой?

Афинянин. Хорошо, что ты прервал меня, Клиний. Вы ведь вместе со мной участвуете в установлении законов, поэтому перед вами и надобно изложить, что́ мне кажется легкоосуществимым, а что́ нет.

Клиний. Так что же? О чем ты сейчас говоришь и что тебя к этому побудило?

Афинянин. Ну, так и быть, скажу, да ведь совсем нелегко высказывать то, что нередко противоречит тысячеустой молве.

Клиний. Но как же? Разве то, что мы сказали раньше о законах, немного или совсем чуть-чуть

противоречит мнению большинства?

Афинянин. Тут ты совершенно прав. Ты велишь мне, как кажется, следовать тем же самым путем, ставшим ненавистным для многих, но, впрочем, и любезным, может быть, не меньшему числу людей, а если и меньшему, то по крайней мере это не худшие люди; ты побуждаешь меня смело идти вместе с ними, презирая опасности, и не отступать в нашем законодательстве от того пути, что намечен нами в этой беседе.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Итак, я не отступлю. Я говорю, что у нас есть очень много поэтов, пользующихся в своих сочинениях гекзаметром, триметром и другими так называемыми размерами; одни из этих поэтов творят всерьез, другие — чтобы рассмешить. Тысячи людей нередко утверждают, что именно сочинениями всех этих поэтов, выученными целиком наизусть, следует кормить и насыщать получающих должное воспитание молодых людей, чтобы путем чтения они услыхали о многом, знали бы и усвоили многое. Другие выбирают из всех поэтов самое главное, составляют сборники изречений и утверждают, что именно это должен запомнить и выучить наизусть всякий, кто хочет стать у нас достойным и мудрым

благодаря большой опытности и знаниям. Итак, ты велишь мне откровенно высказаться, в чем они правы и в чем — нет?

Клиний. Да, именно так.

Афинянин. Что же мне сказать, чтобы в одном слове ответить на все вопросы? Я думаю, вот что — и всякий тут со мной согласится: каждый из этих поэтов высказал много прекрасного, но много и очень плохого, а раз дело обстоит так, то, утверждаю я, большие знания здесь для детей опасны.

Клиний. Так что же посоветовал бы ты стражу законов?

Афинянин. В каком отношении?

Клиний. На что должен он взирать как на образец? Что он предоставит для изучения всем молодым, а что запретит? Скажи немедля.

Афинянин. Добрый мой Клиний, мне выпала, кажется, в некотором роде удача.

Клиний. Какая же?

Афинянин. Да та, что я не совсем в неведении относительно этого образца. Сейчас, оглядываясь на беседу, которую мы вели с утра и до этого времени, — причем, как мне кажется, не без некоего божественного вдохновения, — я нахожу, что речи наши во многом подобны поэзии.

И быть может, ничего удивительного нет в том, что, взирая на мои речи в целом, я испытываю радостное чувство. В самом деле, из большинства сказанных речей, которые я знаю или слышал в стихах или в прозе, они мне показались самыми сообразными и наиболее подходящими для слуха молодых людей. Поэтому и для стража законов и воспитателя я не нашел бы, думаю, лучшего образца, чем именно этот: пусть учителя обучают детей по моему совету. Если случится, проходя сочинения поэтов, письменную прозу или же просто устные творения, встретить такие же речи, родственные нашим суждениям, то никак нельзя этого упускать, но надо записывать. Прежде всего надо заставить самих учителей усвоить и одобрить это. Не надо пользоваться помощью учителей, которым это не нравится; помощью же тех, кто одобряет и соглашается, надо воспользоваться. Именно им надо вручить молодых людей для обучения и воспитания. На этом я кончу свое слово об учителях грамоты и о самой грамоте.

Клиний. Что же касается нашей задачи, то мне кажется, чужеземец, что мы не свернули с пути, намеченного нашей беседой. Удержимся ли мы до конца на нашем пути, сейчас, пожалуй, трудно решить.

Афинянин. Это, конечно, обнаружится, Клиний, когда, как часто уже говорилось, мы дойдем до конца нашего рассуждения о законах.

Клиний. Верно.

Афинянин. Итак, вслед за учителем грамоты нам надо поговорить о кифаристе?

Клиний. Да.

Афинянин. Припомнив наши прежние рассуждения, мы, думается мне, уделим кифаристам подобающее место в образовании и вместе с тем в любом виде подобного воспитания.

Клиний. О чем ты сейчас говоришь?

Афинянин. Помнится, мы утверждали, что шестидесятилетние певцы, участники дионисиического хора, должны стать очень восприимчивыми к ритму и гармоническим сочетаниям, чтобы в песенных подражаниях отличать хорошие подражания душевным состояниям от плохих. Кто может отличить подобия благого душевного состояния от подобий дурного, тот эти отвергнет, а первые возьмет для своего выступления; он станет петь и зачаровывать души юных людей, побуждая с помощью таких подражаний каждого следовать за собой и стяжанию добродетели.

Клиний. Ты совершенно прав.

Афинянин. Итак, ради этого кифарист и его

воспитанники должны воспользоваться сопровождением лиры — ввиду ясности ее звуков, — подлаживая звучания лиры к звукам напева. Однако разноголосица и разнообразие звучаний лиры, когда струны издают один напев, а поэт сочинил другую мелодию, когда добиваются созвучий и противозвучий сочетанием плотности и разреженности, ускорения и замедления, повышения и понижения и точно так же приспосабливают пестрое разнообразие ритмов к звучаниям лиры, — все это не приносит пользы при обучении детей, раз им надо быстро, в течение всего лишь трех лет, овладеть тем, что есть полезного в музыке. В самом деле: противоположности, вносящие взаимную путаницу, создают лишь трудности для усвоения, молодые же люди должны усваивать все как можно лучше. И предписанные им обязательные науки вовсе не незначительны и их немало, как со временем покажет дальнейший ход рассуждения. Так вот, пусть у нас воспитатель именно так позаботится относительно музыки. Что же касается самих напевов, а также слов, каким должны обучать наставники хоров, то это все у нас уже было разобрано раньше. Мы сказали, что они должны быть священными; напевы и слова должны сообра-

зоваться с определенными празднествами; они должны принести государствам благое удовольствие и в то же время пользу.

Клиний. Это тоже сказано верно.

Афинянин. И даже очень. Пусть же воспримет эти наши слова должностное лицо, выбранное для попечения над музыкой, и пусть его заботы об этом увенчаются полным успехом. Мы же разберем еще кое-что в дополнение к сказанному раньше о пляске и гимнастических упражнениях. Подобно тому как мы разобрали все пропущенное прежде относительно обучения музыке, так же точно поступим мы и с гимнастикой. И мальчики, и девочки должны обучаться пляскам и гимнастическим упражнениям. Не так ли?

Клиний. Да.

Афинянин. Для упражнения было бы более целесообразно, чтобы у мальчиков были учителя пляски, а у девочек — учительницы.

Клиний. Пусть будет так.

Афинянин. Давайте снова призовем попечителя детей, хотя у него и будет очень много работы, ведь он печется как обо всем в деле музыки, так и обо всем в деле гимнастики, так что досуга у него будет мало.

Клиний. Между тем это человек почтенного

возраста. Как же сможет он осуществить свое попечение о столь многом?

Афинянин. Очень просто, мой друг. Закон дал и даст ему право привлекать для этого попечения тех из граждан — мужчин или женщин, — кого он захочет. А он уже будет знать, кого здесь надо привлечь; он не захочет оказаться небрежным, так как разумно посовестится, понимая значение своей должности, да, кроме того, примет в соображение то обстоятельство, что все у нас пойдет как следует, если молодые получили или получают хорошее воспитание. Если же этого нет… впрочем, не стоит заканчивать: мы не станем говорить об этом, считаясь с теми людьми, которые привыкли при возникновении нового государства во всем усматривать предзнаменования.

Итак, мы уже много сказали и об этом, то есть о том, что имеет отношение к пляскам и всевозможным гимнастическим упражнениям. В самом деле, мы считаем, что гимнастические упражнения включают также телесные упражнения в ратных трудах: стрельбу из лука, всякие виды метания, обращение с легким и различным тяжелым оружием, строевой порядок, умение отправиться в любой поход, разбить лагерь, а также все знания по верховой езде. Всему этому должны

обучать общественные учителя, состоящие на жалованье у государства. Их учениками будут граждане — мужчины и мальчики, девочки и женщины, причем девочки должны прилежно обучаться пляскам в полном вооружении и бóю, женщины же приступают к боевому порядку, строю, надеванию и сниманию оружия. Это следует делать если не ради чего-то иного, то ради тех случаев, когда всенародному ополчению приходится, оставив город, выступать в поход за его пределы. В этих случаях они должны уметь хоть настолько владеть оружием, чтобы защитить детей и государство, да и в противоположных случаях (а ведь никак нельзя поручиться, что их не будет), когда неприятель вторгнется извне с огромной мощью — все равно, будут это варвары или эллины, — надо выказать готовность стоять до конца уже за самое государство. При этом великим бедствием для государства будет такое позорное воспитание женщин, что они не пожелают умереть или претерпеть всяческие опасности ради детей, в то время как это делают даже птицы, сражаясь за своих детенышей с любым из самых сильных зверей. Женщины же тотчас устремляются к святилищам, заполняют все храмы, окружают алтари, распространяя о

человеческом роде славу как о самом по своей природе трусливом из всех существ.

Клиний. Клянусь Зевсом, чужеземец, если где это случится, государству не будет славы, не говоря уж о вреде.

Афинянин. Значит, мы установили этот закон в следующих пределах: женщины не должны пренебрегать ратным делом, но все, как граждане, так и гражданки, должны о нем печься.

Клиний. Я по крайней мере с этим согласен.

Афинянин. Далее, мы говорили уже о борьбе. Но мы не коснулись того, что я назвал бы самым важным, правда, нелегко выразить это словами, без показательных телодвижений. Поэтому мы будем судить об этом только тогда, когда слово будет сопровождаться делом и выяснится нечто определенное как относительно остального, о чем шла речь, так и относительно нашего мнения, что такая борьба значительно больше других движений действительно родственна бою. Особенно же станет ясным, что борьбой надо заниматься ради войны, но не следует изучать ратное дело ради борьбы.

Клиний. Это-то очень верно.

Афинянин. Пока ограничимся сказанным о значении борьбы. Что же касается всех прочих

движений тела — большую их часть правильно было бы назвать своего рода пляской, — то здесь надо различать два рода: первый воспроизводит, с возвышенной целью, движения более красивых тел; второй же воспроизводит, с низменной целью, движения тел безобразных. В свою очередь низменный род пляски распадается на два вида, да и серьезный род — тоже на два. Из видов серьезной пляски один воспроизводит движения красивых тел и мужественной души на войне или в тягостных обстоятельствах, а другой — те движения, с которыми рассудительная душа предается благим делам и умеренным удовольствиям. Такую пляску можно, согласно с ее природой, назвать мирной. Воинственную же пляску, противоположную мирной, правильно было бы назвать «пиррихои». Путем уклонении и отступлении, прыжков в высоту и пригибаний она воспроизводит приемы, помогающие избегнуть ударов и стрел; пытается она воспроизводить и движения противоположного рода, пускаемые в ход при наступательных действиях, то есть при стрельбе из лука, при метании дротика и при нанесении различных ударов. Когда подражают движениям хороших тел и душ, правильным будет прямое и напряженное

положение тела с устремлением всех членов тела, как это по большей части бывает, прямо вперед; противоположное же этому положение тела неправильно. В свою очередь при любой мирной пляске надо обращать внимание, правильно ли и не вопреки ли природе берется кто за эту прекрасную пляску и должным ли образом проводит он время в хороводах законопослушных мужей. Стало быть, прежде всего следует отделить сомнительный вид пляски от пляски, не вызывающей никаких сомнений. Какой же будет эта последняя и по какому признаку надо отделить один ее вид от другого? Что касается вакхической пляски и примыкающих к ней других видов, называемых плясками нимф, панов, силенов и сатиров, где, как считается, подражают тем, кто захмелел, причем справляются эти пляски во время обрядов очищения и некоторых других таинств, то нелегко определить, мирный ли весь этот род пляски или воинственный и какова его цель. Мне кажется, всего правильнее будет определить его так: отделив этот род как от воинственной, так и от мирной пляски, мы скажем, что он не имеет отношения к государственной жизни. Поэтому мы и оставим его в покое и перейдем к воинственной и мирной

пляскам, что уже, несомненно, наше дело.

То, что относится к невоинственной Музе, когда люди плясками почитают богов и детей богов, составляет один род пляски, он возникает на основе людских представлений о благополучии. В свою очередь мы снова разделили бы его на два вида: первый свойствен людям, избежавшим трудностей и опасностей и достигшим блага, от него получают бóльшие удовольствия. Второй же вид свойствен людям, сохраняющим и умножающим прежние блага, этот вид несет с собой более спокойные удовольствия, чем первый. В этих условиях каждый человек производит более или менее сильные телодвижения в зависимости от того, испытывает он более или менее сильное удовольствие. Чем более человек умерен и более закален в мужестве, тем меньше движений он производит; если же он труслив и не упражнен в рассудительности, то в его движениях больше изменений и они сильнее. Вообще не всякий может сохранять свое тело в покое, когда он издает звуки — при пении ли или при разговоре. Поэтому-то подражание жестам говорящих и породило все в совокупности искусство пляски. Однако движения у одних из нас бывают складными, у других же совершаются невпопад. Если вду-

маться, то нельзя не одобрить как многих других древних названий, прекрасно данных согласно природе, так и того названия, что было дано пляскам людей благополучных, но умеренных в своих удовольствиях. Как верно и изящно назвал их тот — кто бы он ни был, — который с полным основанием дал всякой такой пляске название «эммелия»! Он установил два вида прекрасных плясок: первый, военный, — «пирриха» и второй, мирный, — «эммелия»; каждому виду он дал подходящее и подобающее ему название.

Законодатель должен на примерах растолковать характер этих плясок. И страж законов должен их придумывать, а придумав, соединять с остальными видами мусического искусства и распределять между всеми праздничными жертвоприношениями, на пользу каждому празднеству. Так он должен их все по порядку освятить, чтобы впредь уже ничего не менять ни в пляске, ни в пении и чтобы одно и то же государство и те же самые граждане проводили время в одних и тех же удовольствиях, оставаясь, сколь возможно, себе подобными и живя хорошо и счастливо.

Итак, мы покончили с разбором того, какими должны быть хороводные пляски людей, пре-

красных телом и благородных душой. Что же касается возбуждения смеха и шуточного подражания в слове, пении и пляске действиям людей, безобразных телом и со скверным образом мыслей, то это еще нужно рассмотреть и объяснить.

В самом деле, без смешного нельзя познать серьезного; и вообще противоположное познается с помощью противоположного, если только человек хочет быть разумным. Зато одновременно осуществлять то и другое невозможно, если опять-таки человек хочет быть хоть немного причастным добродетели. Но именно потому-то и надо ознакомиться со всем этим, чтобы по неведению не сделать и не сказать когда-то совершенно некстати чего-то смешного. Подобные подражания надо предоставить рабам и чужеземным наемникам. Никогда и ни в коем случае не следует заниматься этим серьезно; свободные люди — мужчины ли или женщины — не должны обнаруживать подобных познаний. То, что здесь воспроизводится, постоянно должно казаться новым. Следовательно, вот этот закон и в таком выражении мы и установим относительно смешных забав, называемых всеми нами комедией.

Что же касается творцов трагедий, считающихся серьезными, то, если кто из них, придя,

задаст такой вопрос: «Чужеземцы, приходить ли нам в ваше государство и в вашу страну или нет? Вводить ли нам у вас свои произведения? Или вы приняли иное решение?» — какой ответ мы были бы вправе дать божественным этим людям? Мне кажется, такой. «Достойнейшие из чужеземцев, — сказали бы мы им, — мы и сами — творцы трагедии, наипрекраснейшей, сколь возможно, и наилучшей. Ведь весь наш государственный строй представляет собой подражание самой прекрасной и наилучшей жизни. Мы утверждаем, что это и есть наиболее истинная трагедия. Итак, вы — творцы, мы — тоже творцы. Предмет творчества у нас один и тот же. Поэтому мы с вами соперники и по искусству, и по состязанию в прекраснейшем действе. Один лишь истинный закон может по своей природе завершить наше дело; на него у нас и надежда. Так не ожидайте же, что когда-нибудь мы так легко позволим вам раскинуть у нас на площади шатер и привести сладкоголосых артистов, оглушающих нас звуками своего голоса; будто мы дадим вам витийствовать перед детьми, женщинами и всей чернью и об одних и тех же занятиях говорить не то же самое, что говорим мы, но большей частью даже прямо противоположное. В самом деле, мы

— да и все государство в целом, — пожалуй, совершенно сошли бы с ума, если бы предоставили вам возможность делать то, о чем сейчас идет речь, если бы должностные лица не обсудили предварительно, допустимы ли и пригодны ли ваши творения для публичного исполнения или нет. Поэтому теперь вы, потомки изнеженных Муз, покажите сначала правителям ваши песнопения для сравнения с нашими. Если они окажутся такими же или если ваши окажутся даже лучшими, мы дадим вам хор. В противном случае, друзья мои, мы этого никогда не сможем сделать».

Итак, относительно хоровых плясок и обучения им пусть будут, если вы согласны, установлены законами именно эти обычаи — отдельно для рабов, отдельно для господ.

Клиний. Как же нам с этим не согласиться?!

Афинянин. Итак, для свободных людей остаются еще три предмета обучения: счет и арифметика составляют один предмет; измерение длины, плоскости и глубины — второй; третий касается взаимного движения небесных светил и свойственных их природе круговращений. Трудиться над доскональным изучением всего этого большинству людей не надо, но только лишь некоторым. Кому же именно — об этом у нас

пойдет речь потом, под самый конец: там это будет уместнее. Однако правильно говорится, что позорно, если большинство людей не имеют необходимых сведений в этой области и пребывают в невежестве; вдаваться же здесь в подробные изыскания нелегко, да и вообще невозможно. Но необходимое отбрасывать здесь нельзя. Тот, кто первым пустил в ход поговорку о боге, а именно что бог никогда не борется с необходимостью, имел, надо думать, в виду божественную необходимость. Если же дело идет о человеческих необходимостях — а ведь именно это имеет в виду большинство людей, высказывая такое суждение, — то подобное утверждение будет самым нелепым из всех.

Клиний. Какие же из необходимостей при обучении, чужеземец, будут не человеческими, а божественными?

Афинянин. По-моему, это те, без осуществления, а также усвоения которых решительно никто не стал бы для людей богом, даймоном или героем и не смог бы ревностно печься о людях. Многого недостает человеку, чтобы стать божественным, если он не может распознать, что такое единица, два, три и вообще, что такое четное и нечетное; если он вовсе не смыслит в счете; если

он не в состоянии рассчитать ночь и день; если он ничего не знает об обращении Луны, Солнца и остальных звезд. Поэтому большая глупость думать, будто все это не суть необходимые познания для человека, собирающегося обучиться хоть чему-нибудь из самых прекрасных наук. Прежде всего надо надлежащим образом определить, чему именно из этого, в каком объеме и когда надо обучаться, в какой последовательности — вместе или отдельно от прочего, — словом, каково должно быть сочетание изучаемых предметов. Только после этого можно перейти к остальному, руководствуясь при обучении перечисленными науками. Так утверждает свои природные права необходимость, с которой, как мы говорим, ныне не борется — и никогда не будет бороться — ни один из богов.

Клиний. Кажется, чужеземец, эти твои слова правильны и согласны с природой.

Афинянин. Так обстоит дело, Клиний. Однако трудно устанавливать законы после того, как мы заранее выдвинули все это. Если угодно, мы в другое время подробнее этим займемся.

Клиний. Кажется, чужеземец, ты опасаешься, что мы невежественны в подобных вопросах. Но твои опасения неосновательны. Попытайся

же высказаться, ничего не утаивая по этим причинам.

Афинянин. Да, я опасаюсь и того, о чем ты сейчас говоришь, но еще более боюсь я людей, прикоснувшихся к этим наукам, но прикоснувшихся плохо. Полное невежество вовсе не так страшно и не является самым великим из зол, а вот многоопытность и многознание, дурно направленные, — это гораздо более тяжелое наказание.

Клиний. Ты прав.

Афинянин. Итак, надо сказать, что свободные люди должны обучаться каждой из этих наук в таком объеме, в каком им обучается наряду с грамотой великое множество детей в Египте. Прежде всего там нашли простой способ обучения детей счету; во время обучения пускаются в ход приятные забавы: яблоки или венки делят между бóльшим или меньшим количеством детей, сохраняя при этом одно и то же общее число; устанавливают последовательность выступлений и группировку кулачных бойцов и борцов; определяют по жребию, как это обычно бывает, кому с кем стать в пару. Есть еще и такая игра: складывают в одну кучу сосуды — золотые, бронзовые, серебряные и из других сходных

материалов — столько, чтобы при разделе было целое число, и, как я сказал, в процессе игры происходит необходимое ознакомление с числами. Для учеников это полезно, так как пригодится в строю при передвижениях, перестройках и даже в хозяйстве. Вообще это заставляет человека приносить больше пользы самому себе и делает людей более бдительными. Кроме того, путем измерения длины, ширины и глубины люди освобождаются от некоего присущего всем им от природы смешного и позорного невежества в этой области.

Клиний. О каком невежестве ты говоришь?

Афинянин. Друг мой Клиний, я и сам был удивлен, что так поздно узнал о том состоянии, в котором все мы находимся. Мне показалось, что это свойственно не человеку, но скорее каким-то свиньям. И я устыдился не только за самого себя, но и за всех эллинов.

Клиний. Объясни, чужеземец, что ты этим хочешь сказать.

Афинянин. Хорошо, объясню. Впрочем, это выяснится, если я буду тебе задавать вопросы, а ты будешь отвечать, но только кратко. Ты знаешь, что такое длина?

Клиний. Да.

Афинянин. А ширина?

Клиний. Конечно, знаю.

Афинянин. А также и то, что это составляет два [измерения], третьим же [измерением] будет глубина?

Клиний. Разумеется, так.

Афинянин. Не кажется ли тебе, что все это соизмеримо между собой?

Клиний. Да.

Афинянин. А именно что по самой природе возможно измерять длину длиной, ширину — шириной и точно так же и глубину?

Клиний. Вполне.

Афинянин. А если бы оказалось, что это возможно лишь отчасти, поскольку кое-что несоизмеримо ни полностью, ни чуть-чуть, ты же считаешь все соизмеримым, — в какое положение, по-твоему, ты бы попал?

Клиний. Ясно, что в незавидное.

Афинянин. Так что же? Разве все мы, эллины, не полагаем, что длина и ширина так или иначе соизмеримы с глубиной или что ширина и длина соизмеримы друг с другом?

Клиний. Да, именно так мы полагаем.

Афинянин. И вот если снова окажется, что это никоим образом невозможно, между тем как,

повторяю, все мы, эллины, полагаем, что это возможно, то разве это не достаточная причина, чтобы устыдиться за всех них? Разве не стоит сказать им: «Лучшие из эллинов, это и есть одна из тех вещей, не знать которые, как мы сказали, позорно; впрочем, такое знание, коль скоро оно необходимо, еще не есть что-то особенно прекрасное».

Клиний. Да, это так.

Афинянин. Кроме этого есть и другие родственные этим вещи, в отношении которых у нас возникает опять-таки много заблуждений, сродных первым.

Клиний. Какие же это вещи?

Афинянин. Это причины, по которым, согласно природе, возникает соизмеримость и несоизмеримость. Необходимо иметь их в виду и различать, иначе человек будет совсем никчемным. Надо постоянно указывать на это друг другу. Таким образом люди проводили бы время гораздо приятнее, чем старики при игре в шашки: ведь старикам прилично, состязаясь в этой игре, коротать свое время.

Клиний. Возможно. Итак, по-видимому, игра в шашки не столь далеко отстоит от этих наук?

Афинянин. Поэтому-то, Клиний, я и утверждаю,

что молодые люди должны этому обучаться. В самом деле, это не приносит вреда и нетрудно, обучение, сопряженное с игрой, будет полезно и ничуть не повредит нашему государству. Впрочем, надо выслушать, нет ли каких возражений?

Клиний. Да, надо.

Афинянин. Если обнаружится, что дело обстоит именно так, то ясно, что мы примем это; если же окажется, что это не так, это будет отвергнуто.

Клиний. Ясно. Как же иначе?

Афинянин. Итак, чужеземец, постановим это, так как предмет этот относится к числу тех наук, которые обязательно должны изучаться, чтобы не было пробелов в наших законах. Но только пусть это будет принято в государственное устройство как некий вклад, который может быть вновь изъят из всего государства, если это вовсе не понравится ни нам, учредителям, ни вам, для кого это учреждено.

Клиний. Твой закон справедлив.

Афинянин. После этого рассмотрим, будет ли соответствовать нашим желаниям или не будет, чтобы молодежь изучала упомянутую науку о звездах?

Клиний. Продолжай.

Афинянин. Тут положение очень странное и

совершенно недопустимое.

Клиний. В чем же дело?

Афинянин. Мы говорим, будто не следует заниматься суетными изысканиями и исследованиями относительно верховного божества и всего космоса в целом, а также не надо доискиваться причин, ибо это будто бы нечестиво. Но по-видимому, в действительности дело обстоит как раз наоборот.

Клиний. Что ты разумеешь?

Афинянин. То, что я скажу, покажется, пожалуй, неожиданным и неподходящим для старика. Однако если находишь какую-нибудь науку прекрасной, истинной, полезной для государства и вполне любезной богу, то никак невозможно это не высказать.

Клиний. Естественно. Но найдем ли мы что-либо подобное в науке о звездах?

Афинянин. Друзья мои, ныне, сказал бы я, все мы, эллины, заблуждаемся относительно великих богов — Солнца и Луны.

Клиний. В чем же состоит это заблуждение?

Афинянин. Мы говорим, что они никогда не движутся одним и тем же путем, так же как и некоторые другие звезды, и потому мы их называем блуждающими.

Клиний. Клянусь Зевсом, чужеземец, ты говоришь правильно. Однако я в своей жизни нередко наблюдал, как Утренняя звезда, Вечерняя и некоторые иные никогда не совершают бега по тому же пути, но блуждают повсюду; Солнце же и Луна проделывают то, что нам всем постоянно известно.

Афинянин. Поэтому-то, Мегилл и Клиний, я утверждаю сейчас, что наши граждане и молодые люди должны узнать все это о небесных богах хотя бы в таком объеме, чтобы не поносить их, но всегда славословить при жертвоприношениях и сохранять благочестие в молитвах.

Клиний. Это верно, если только прежде всего возможно узнать то, о чем ты говоришь. Затем, раз мы кое в чем ошибаемся относительно этих богов, обучившись же, перестанем делать ошибки, то и я уступаю тебе в том, что подобную науку надо усвоить по крайней мере в таком объеме. А ты попытайся всячески растолковать нам, что дело действительно обстоит таким образом. Усвоив это, мы за тобой последуем.

Афинянин. Хотя и нелегко понять, о чем я говорю, однако и не так уж трудно. Да и времени это не требует особенно долгого. Вот вам доказательство: немолодым и не так давно узнал я

об этом, однако я мог бы теперь объяснить это вам, и притом за короткое время. А ведь будь это трудно, я никогда не сумел бы объяснить это вам, учитывая мои и ваши преклонные годы.

Клиний. Это верно. Но о какой науке говоришь ты такие странные вещи? Ей должна обучаться молодежь, между тем как нам она неизвестна? Попробуй хоть немного разъяснить это.

Афинянин. Надо попробовать. Друзья мои, это мнение о блуждании Луны, Солнца и остальных звезд неправильно. Дело обстоит как раз наоборот. Каждое из этих светил сохраняет один и тот же путь; оно совершает не много круговых движений, но лишь одно. Это только кажется, что оно движется во многих направлениях. Опять-таки неверно считать самое быстрое из этих светил самым медленным, а самое медленное — самым быстрым. Природа устроила это по-своему, а мы держимся иного мнения... Если бы в Олимпии при конных ристаниях или при состязании людей в длинном пробеге мы держались подобного образа мыслей и считали бы самого быстрого бегуна самым медленным, а самого медленного — самым быстрым, то мы стали бы воздавать побежденному хвалу за победу. Я думаю, было бы неправильно и неприятно для бегунов, если

бы мы стали так раздаривать наши хвалы, а ведь бегуны — только люди. Если же мы и по отношению к богам впадем в такую ошибку, то разве мы не сообразим, что то, что было смешно и неправильно в первом случае, окажется вовсе не смешным теперь, когда речь идет о богах. Богам неприятно, если мы поем им ложную славу.

Клиний. Несомненно, если дело обстоит так.

Афинянин. Следовательно, если мы докажем, что дело обстоит именно так, то все подобные науки надо будет изучать хотя бы в таком объеме. Если же мы этого не докажем, то придется эти науки оставить. Пусть так и будет у нас постановлено.

Клиний. Безусловно.

Афинянин. Итак, надо сказать, что мы покончили с законами по поводу преподавания наук. Об охоте и всех подобных вещах надо судить таким же образом. Обязанность законодателя может оказаться шире, и он не должен, дав законы, считать свою задачу выполненной. Кроме законов есть и нечто иное, занимающее по своей природе среднее место между наставлением и законом. Это иное уже часто вторгалось в нашу беседу: таким, например, был вопрос о воспитании малолетних детей. Мы утверждаем, что

нельзя оставить это невысказанным, но, с другой стороны, считать все, что мы выскажем, установленными законами значило бы преисполниться великого безумия. После того как определенным образом будут намечены законы и весь государственный строй, все же нельзя будет считать совершенной похвалой выдающемуся своей добродетелью гражданину, если о нем скажут, что он лучше всех служит законам и больше всех им повинуется и, следовательно, он — хороший человек. Более совершенным будет такой отзыв: «Вот человек, проводящий всю свою жизнь в повиновении законодателю, все равно, даны ли его предписания в виде законов или же только в виде одобрения и порицания». Это будет самым точным выражением похвалы гражданину. Действительно, законодатель должен не только начертать законы, но и, кроме того, включить в свой набросок мнение о том, что́ прекрасно и что́ нет. А образцового гражданина это должно обязывать ничуть не меньше, чем предписания, за неисполнение которых законы грозят наказанием.

Мы можем сослаться на то, чем мы теперь заняты. Это скорее всего выяснит наше намерение. Охота — это нечто очень разнообразное, но в

наше время все это охватывает одно название. Есть много видов охоты на водяных животных, много видов охоты на птиц, а также очень много видов охоты на сухопутных зверей. Впрочем, охота может быть не только на зверей, но и на людей, как это бывает на войне. Ведь и это заслуживает, если вдуматься, названия охоты. Много есть видов охоты, вызванных любовью: одни из них похвальны, другие — нет. Далее, грабежи, как разбойников, так и одного войска другим, — это тоже виды охоты. Законодателю, издающему законы об охоте, нельзя не выяснить это, но, с другой стороны, невозможно для всего этого установить грозные законы и добавить к ним различные распоряжения и наказания.

Как же поступить в этих случаях? Одному, то есть законодателю, следует выразить свое одобрение или порицание трудам и занятиям молодежи, касающимся охоты; с другой стороны, молодому человеку следует выслушать его указания и повиноваться им, чему не должны препятствовать ни удовольствия, ни трудности; в особенности следует уважать и выполнять то, что одобрено и предписано законодателем, — больше, чем постановления, сопровождаемые угрозами наказания.

После такого предисловия уместно было бы прямо перейти к одобрению или порицанию тех или иных видов охоты. Заслуживает одобрения тот вид охоты, который совершенствует души юношей; порицания же заслуживает противоположный вид. Затем обратимся к молодым людям с таким пожеланием: «О, если бы, друзья, вас никогда не охватывала страстная жажда морской охоты, уженья рыбы, вообще охоты на водных животных, совершается ли это безделье днем или ночью, с помощью верши! И пусть не охватывает вас стремление к ловле людей и морскому разбою, которое сделало бы из вас жестоких и беззаконных охотников! Пусть вам в голову не приходит даже отдаленная мысль заняться воровством в своей стране и в своем государстве. Пусть никого из молодых людей не охватит лукавая страсть к охоте на птиц, совсем не подходящая свободнорожденному человеку. Нашим любителям состязаний остается только охота и ловля наземных животных; однако и здесь недостойна похвалы так называемая ночная охота, во время которой лентяи поочередно спят, а также и та охота, где допускаются передышки и где побеждает не сила трудолюбивого духа, а тенета и силки, с помощью которых побеждают

силу диких животных. Стало быть, остается лишь один наилучший для всех вид охоты — конная и псовая охота на четвероногих животных; в ней люди применяют силу своего тела; те, кто печется о божественном мужестве, одерживают там верх; они несутся вскачь, наносят удары, стреляют из лука и собственными руками ловят добычу».

Слово наше может служить похвалой и порицанием всем этим видам охоты, закон же будет такой: этим в самом деле священным охотникам пусть никто не препятствует заниматься где и как угодно псовой охотой. Ночному же охотнику, полагающемуся на свои тенета и западни, пусть никто никогда и нигде не позволяет охоту. Птицелову пусть не мешают охотиться в бесплодных местах и в горах, но первый встречный пусть прогонит его с обрабатываемых священных земель. Рыбаку дозволяется ловить рыбу везде, за исключением гаваней, священных рек, озер и прудов, лишь бы он не употреблял смеси соков, мутящих воду.

Теперь можно утверждать, что законы об обучении пришли к концу.

Клиний. Прекрасно.

Книга VIII

Афинянин. После этого надо перейти к учреждению и узаконению празднеств с помощью Дельфийских прорицаний; надо определить, какие жертвоприношения и каким богам будут полезнее и лучше для государства, в какое время надо их совершать и в каком количестве. Наше дело также, пожалуй, установить здесь некоторые законы.

Клиний. По крайней мере мы должны установить количество праздников.

Афинянин. Итак, прежде всего определим их количество. Пусть празднеств будет не менее трехсот шестидесяти пяти, чтобы всегда какое-нибудь одно должностное лицо совершало жертвоприношение какому-нибудь богу или даймону за государство, за граждан и за их достояние. Пусть толкователи, жрецы, жрицы и прорицатели соберутся вместе со стражами законов и определят то, что неизбежно пропустит законодатель. Потому-то им и надо знать толк во всем том, что законодателем было пропущено. Закон же гласит так: пусть будет двенадцать празднеств в честь двенадцати богов, имена которых носят

двенадцать фил. Каждому из этих богов пусть совершаются ежемесячные жертвоприношения; пусть устраиваются хороводы и мусические состязания; что же касается гимнастических состязаний, то их надо добавить положенным образом, соответственно всем этим богам и временам года. Надо определить, на какие женские празднества не допускаются мужчины, а на какие допускаются. Кроме того, почитание подземных богов не следует смешивать с почитанием богов, которых следует назвать небесными, и их спутников. Напротив, это надо разграничить, и почитание подземных божеств приурочить к двенадцатому месяцу — месяцу Плутона.

Воины не должны питать отвращения к этому богу; нет, им надо его почитать, ведь это во всех отношениях самый благой бог для человеческого рода. В самом деле, общность души и тела ничуть не лучше их разобщения, я это серьезно готов утверждать. К тому же тем, кто потом внесет здесь должное разграничение, надо поразмыслить о том, что в смысле досуга и необходимых для жизни средств едва ли кто отыщет среди существующих теперь государств другое такое, как наше. Поэтому государство наше, как и любой отдельный в нем человек, должно жить счастли-

во, а те, кто счастливо живет, по необходимости должны прежде всего не обижать друг друга и не подвергаться обидам со стороны других. Первое из двух этих условий не столь уж трудное, но очень трудно обладать такой силой, чтобы не подвергаться обидам. Достичь этого полностью возможно не иначе как став совершенно добродетельным. Точно так же бывает и с государством: у государства, ставшего добродетельным, жизнь бывает мирной, а у государства порочного — мятежной вовне и внутри. И раз дело обстоит таким образом, каждый должен упражняться в войне не на войне, а в мирной жизни. Поэтому разумное государство должно уделять воинским упражнениям в лагерях каждый месяц не меньше одного дня, лучше же — больше, если так решат правители; при этом не надо бояться ни холода, ни жары. Если правители решат устраивать эти упражнения всенародно, то граждане должны выходить на них со своими женами и детьми; в других случаях в упражнениях будет участвовать только часть граждан. С жертвоприношениями надо объединять приятные забавы; надо, чтобы при этом происходили торжественные бои, по возможности наглядно воспроизводящие настоящие. Для каждого отдельного состязания

надо установить победные награды и отличия. Граждане будут восхвалять друг друга или порицать, смотря по тому, каким кто себя выкажет на состязаниях да и вообще в своей жизни. Того, кто будет признан самым лучшим, будут увенчивать, а самого худшего подвергать порицанию. Не всякий поэт будет иметь право воспевать эти подвиги; прежде всего он должен иметь не менее пятидесяти лет от роду и не должен принадлежать к числу тех, кто хотя и обрел в себе поэтический дар, однако никогда не совершил ни одного прекрасного поступка. Пусть поются, хоть и не очень складные, сочинения тех поэтов, что и сами по себе хорошие люди, и пользуются почетом в государстве за мастерство в прекрасных делах. Суждение об этих поэтах должен иметь воспитатель и остальные стражи законов; лишь таким поэтам предоставят они как почетный дар полную свободу для сочинительства, остальных же поэтов лишат этой возможности полностью. Никто не осмелится воспевать презренную Музу, не получившую одобрения стражей законов, даже если он будет петь слаще Орфея или Фамиры. Допускаются лишь сочинения в честь богов, признанные священными, и хвалы либо порицания, составленные добродетельными людьми,

поскольку будет признана их сообразность.

То, что я говорил о воинской службе и о свободе сочинительства, должно одинаково касаться как мужчин, так и женщин. Законодателю надо все это взвесить и рассуждать про себя так: «Прекрасно, государство-то я устроил, но какими должен я воспитать его граждан? Разве не борцами в величайшем сражении, где у них будет много тысяч противников?» «Конечно, так», — правильно было бы на это ответить. «Так что же? Если бы мы воспитывали кулачных бойцов, панкратистов и тому подобных борцов, неужели мы вышли бы на состязание, ни разу перед тем ни с кем не сразившись? Или раз уж мы кулачные бойцы, то мы задолго до состязания в течение многих дней будем учиться сражаться и приложим много трудов, чтобы усвоить все те приемы, что пригодятся нам потом для победы? Научимся подражать им как можно лучше: вместо ремней мы наденем на руки шары, чтобы как можно лучше изучить удары и способы их отражения. Если у нас будет недостаток в товарищах по гимнастике, то мы станем упражняться, заменив противника подвешенным неодушевленным чучелом. Неужели же мы не осмелимся сделать это, убоясь смеха неразумных людей? Наконец, если у нас не будет

живых противников и никаких неодушевленных предметов, если нам придется упражняться в пустыне, разве не посмеем мы это делать наедине, в самом деле борясь уже со своей тенью? Разве нельзя сказать, что так и бывает, когда мы привыкаем к различным движениям рук?»

Клиний. Пожалуй, чужеземец, дело обстоит именно так, как ты сейчас сказал.

Афинянин. Что же? Хуже ли этих борцов будет подготовлено воинство нашего государства? Во всяком случае оно в любое время отважно двинется в самый тяжелый бой, сражаясь за жизнь, за детей, за имущество и за все государство. Поэтому законодатель не убоится того, что подобные упражнения по двое могут показаться кому-то смешными; напротив, он предпишет еще и каждодневные небольшие походы, пусть без оружия, и приспособит к этому хороводы и всю вообще гимнастику. Он предпишет также гимнастические упражнения, более или менее тяжелые, не реже чем раз в месяц. По всей стране граждане должны будут вступать друг с другом в борьбу, борясь за захват каких-нибудь мест, устраивая засады и вообще подражая военным действиям. Они будут метать ядра и пускать стрелы, по возможности подобные настоящим,

пользуясь не совсем безопасными снарядами, чтобы это была не просто безопасная взаимная забава, но присутствовал бы и страх, тогда обнаружится, у кого есть присутствие духа, а у кого нет. Первым оказывается почет, вторые же предаются бесчестью. Таким образом, все государство, пока оно существует, все время должным образом подготовляется к настоящему бою. Если при этом кто-нибудь даже лишится жизни, то, поскольку убийство произошло невольно, руки убийцы считаются чистыми, после того как он по закону совершит очищение. Законодатель держится того мнения, что смерть немногих людей будет восполнена рождением других, притом не худших, чем были погибшие. Если же исключить здесь страх, то нельзя будет найти средство отличать лучших людей от худших, а это будет для государства значительно большей бедой.

Клиний. По крайней мере, чужеземец, мы готовы согласиться, что всякое государство должно установить законом все эти упражнения и превратить занятия ими в обычай.

Афинянин. Неужели же все мы так и не поняли, почему хоровые пляски и все подобные состязания почти совсем не в ходу в теперешних государствах — разве лишь в крайне ничтожных

размерах? Не из-за невежества ли большинства людей и тех, кто устанавливает для них законы?

Клиний. Весьма возможно.

Афинянин. Нет, вовсе нет, дорогой Клиний. Надо сказать, что тут есть две вполне достаточные причины.

Клиний. Какие?

Афинянин. Первая заключается вот в чем: из-за страсти к богатству, поглощающей весь досуг, люди не заботятся ни о чем, кроме своего собственного достатка. Душа всякого гражданина привязана к этому и больше уже ни о чем не заботится, кроме как о каждодневной выгоде. Всякий про себя полон готовности изучить те науки и те занятия, что ведут к этой цели, все же прочее у них подвергается осмеянию. Это и следует признать одной из причин, почему государства не желают серьезно вводить как упомянутые обычаи, так и вообще любой другой достойный обычай. Из ненасытной страсти к золоту и серебру всякий готов прибегнуть к любым уловкам и средствам, достойные ли они или нет, лишь бы разбогатеть. Благочестив ли поступок или нечестен и безусловно позорен, это его не трогает, лишь бы только обрести обильную пищу, питье и, словно зверь, предаваться всевозможному

сладострастию.

Клиний. Верно.

Афинянин. Следовательно, то, о чем я говорю, и есть одна из причин, не дающих государствам развивать хорошие навыки в чем бы то ни было, в том числе и в военном искусстве. Из людей, по природе своей вообще-то порядочных, она создает купцов, корабельщиков, всевозможных прислужников; из храбрецов — разбойников, подкапывателей стен, святотатцев, драчунов и тиранов; иной раз они даже вовсе не плохи, но так уж им не посчастливилось.

Клиний. Как ты говоришь?!

Афинянин. Да как же не назвать их совсем несчастными, если всю свою жизнь они обречены на душевную нищету и ненасытность?

Клиний. Итак, это одна из причин. Что же ты считаешь второй, чужеземец?

Афинянин. Хорошо, что ты мне напомнил.

Клиний. Первая причина, по твоим словам, состоит в постоянной и ненасытной алчности; при этом всякому недосуг да и трудно упражняться как до́лжно в военном деле. Пусть так. Укажи, какая же вторая причина.

Афинянин. Уж не думаешь ли ты, что я в затруднении и потому медлю ее назвать?

Клиний. Нет. Но мне кажется, что, когда речь зашла о ненавистных тебе нравственных свойствах, ты более, чем до́лжно, подверг их бичеванию.

Афинянин. Ваш упрек, чужеземцы, вполне справедлив. Все-таки выслушайте и следующее.

Клиний. Говори, говори.

Афинянин. Я утверждаю — и говорил об этом не раз в предшествующей беседе, — что причиной служит также и государственный строй: демократический, олигархический, тиранический. Впрочем, ни то, ни другое, ни третье не есть даже государственный строй (πολιτεία), все это скорее может быть названо длительной междоусобицей (στασιωτεία), ибо ни одно из этих устройств не принимается добровольно, но держится постоянным насилием и произволом, подавляющим волю подданных. Властитель же, опасаясь своих подданных, добровольно никогда не допустит, чтобы дни стали достойными, богатыми, сильными, мужественными и вообще сведущими в ратном деле. Таковы две главные причины почти всех бед, в особенности же того, о чем мы упоминали. Однако ни той, ни другой причине нет места в том государстве, о котором у нас идет речь и для которого мы устанавливаем законы. У граждан там будет величайший досуг; они не бу-

дут зависеть друг от друга; думаю, что при наших законах они совсем не будут сребролюбивыми. Поэтому только такое государственное устройство из всех существующих ныне, естественное и одновременно разумное, сможет осуществить то воспитание, о котором мы говорили, и те военные забавы, обсуждение которых мы правильно завершили в нашей беседе.

Клиний. Прекрасно.

Афинянин. Вслед за этим разве не надо упомянуть о гимнастических состязаниях? Поскольку некоторые из них пригодны для ратного дела, в них должны быть установлены победные награды; остальные же состязания придется оставить. О каких именно состязаниях идет речь, лучше сказать заранее и подтвердить законом. Прежде всего, что касается состязаний в беге на скорость, разве их не следует допустить?

Клиний. Конечно, следует.

Афинянин. В самом деле, подвижность тела, в частности ног и рук, имеет первостепенное значение в воинском деле. Скорость ног пригодится при бегстве, а также преследовании; при рукопашных схватках требуется крепость и сила рук.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Однако без оружия от всего этого

немного пользы.

Клиний. Еще бы.

Афинянин. Прежде всего у нас глашатай на состязаниях, как это делают и теперь, станет вызывать бегуна на ристалище. Тот выйдет с оружием: для состязающихся без оружия мы не установим наград. Первым выйдет тот, кто примет участие в одинарном пробеге с оружием; вторым — состязающийся в двойном пробеге; третьим — состязающийся в беге на конной дистанции; четвертым — состязающийся в длинном пробеге; пятого же мы сначала выпустим вооруженным на дистанцию в шестьдесят стадий по направлению к святилищу Ареса; следующему же, дав ему имя гоплита и вооружив тяжелее, предложим более ровный путь; еще один стрелок в полном своем уборе пусть состязается в беге на сто стадий по гористой местности в направлении к святилищу Аполлона и Артемиды. Начав это состязание, мы будем ожидать их возвращения и каждому из победивших дадим награду.

Клиний. Прекрасно.

Афинянин. Мы разделим эти состязания на три разряда: первый разряд будет для мальчиков, второй — для юношей, третий — для взрослых мужчин. Юношам мы назначим две трети про-

бега; мальчикам — половину двух третей, и они выступят в состязании как стрелки и гоплиты. Что касается женщин, то для не достигших зрелости девушек мы установим одинарный пробег, двойной пробег на конной дистанции, длинный пробег — все это без оружия. Девушки с тринадцати лет вплоть до замужества, то есть не более как до двадцати лет, но и не менее чем до восемнадцати, будут выходить на эти состязания одетые надлежащим образом.

Пусть таким образом будут устроены состязания в беге мужчин и женщин. Что касается состязаний в силе, то вместо борьбы и других принятых теперь тяжелых упражнений будет введен бой с оружием: один на один, два против двух и так далее — до десяти против десятерых. Что касается приемов и нападения и защиты, ведущих к победе, то точно так же, как для борьбы теми, кто ею ведает, устанавливается, что считать правильным, а что нет, так и для боя с оружием установление правил надо поручить тем, кто в нем отличился. Они установят условия победы и поражения, допустят те или иные приемы нападения и защиты. То же самое относится и к состязаниям женщин до их замужества. Кулачные бои для них следует заменить полными

состязаниями пелтастов с применением стрел, легких щитов, дротиков, пращей или ручного метания камней. Относительно всего этого надо также установить правила. Кто лучше всех будет их соблюдать, тот получит почетные дары и награды.

Вслед за этим надо установить правила конных состязаний. Впрочем, у нас — ведь дело идет о Крите — не будет особой нужды в конях. Поэтому будет неизбежно меньше забот об их разведении и о состязаниях в конном пробеге. У нас совсем не будет людей, разводящих коней для упряжек; следовательно, ни у кого не будет оснований для подобного рода честолюбия. Устраивать такие несообразные с местными условиями состязания было бы совершенно лишено смысла. Все же мы установим, сообразуясь с природой страны, состязания для скаковых коней, молочных жеребят и для тех лошадей, что занимают середину между молочными жеребятами и взрослыми конями. Пусть, согласно закону, между ними устраиваются соревнования и состязания; общее же суждение обо всех пробегах и соревнованиях с оружием будет принадлежать филархам и гиппархам. А невооруженным было бы правильно запретить участие как в гимнасти-

ческих, так и в этих соревнованиях. Критский же конный стрелок может пригодиться, то же самое и метатель дротика. Поэтому, для забавы, пусть между ними также будет соперничество и состязание. Женщин не стоит принуждать законами и предписаниями к участию в таких состязаниях. Впрочем, если кто из девочек или девушек благодаря воспитанию к этому привык и природа их это приемлет и не негодует, можно допустить их участие и не следует за это их порицать.

Все связанное с состязаниями и с гимнастическим воспитанием как во время общественных игр, так и при повседневных занятиях с учителями теперь уже выяснено. Точно так же разобрана до конца и бóльшая часть того, что относится к мусическому искусству. Правила для рапсодов и всего с ними связанного, а также для соревнований праздничных хоров надо установить впоследствии, когда будут приурочены месяцы, дни и годы к различным богам и их спутникам. Именно тогда и выяснится, дóлжно ли эти состязания устраивать каждые три года или один раз в пять лет, мы будем следовать в этом указаниям, данным нам богами. Надо думать, что тогда будут установлены устроителями состязаний, воспитателем молодежи и стражами законов

также разные мусические состязания. Для этого указанные лица соберутся все вместе и сами станут законодателями; они установят, в какое время, какие и в каком составе надо устраивать состязания всевозможных хоров — песенных и плясовых. А какими должны быть в каждом отдельном состязании слова, песни и гармонии, смешанные с ритмами и плясками, это не раз уже было сказано первым законодателем. Того же самого должны придерживаться и все последующие законодатели, чтобы уделять каждому жертвоприношению в надлежащее время подобающие состязания и таким образом установить для государства надлежащие празднества. Нетрудно понять, каким образом все подобные вещи могут быть упорядочены законом; кроме того, различные перестановки не принесут здесь ни особой выгоды, ни вреда государству.

Однако в важных вещах убедить чрезвычайно трудно. Всего более это подходит богу, если бы только было возможно от него самого получить предписания. В наше время для этого, видно, нужен очень отважный человек, который особо бы чтил откровенность и не скрыл бы своего мнения относительно высшего блага для государства и граждан, который установил бы среди людей с

порочной душой должные правила поведения, соответствующие всему государственному порядку. Ему пришлось бы восстать против самых сильных страстей; ни один человек не пришел бы ему на помощь; в полном одиночестве он следовал бы одним лишь доводам разума.

Клиний. О чем это опять зашла у нас речь, чужеземец? Мы что-то не понимаем.

Афинянин. Это естественно. Впрочем, попытаюсь понятнее вам это разъяснить. Когда я в своем рассуждении подошел к вопросу о воспитании, я увидел юношей и девушек в дружественном общении. И вот, как это и понятно, у меня возник страх при мысли о том, как может использовать каждый из них такое государственное устройство. Ведь в нашем государстве юноши и девушки будут отлично вскормлены, свободны от нудного и унизительного труда, который лучше всего усмиряет дерзость; единственной их заботой в жизни будут жертвоприношения, празднества и хороводы. Каким же образом в таком государстве уберечься им от страстей, ввергающих в крайности многих людей? Между тем доводы разума велят воздерживаться от этих страстей, причем доводы эти силятся стать законом. И ничего удивительного, если прежде установлен-

ные обычаи одержат верх над большей частью страстей. В самом деле, невозможность сильного обогащения послужит немалым подспорьем для рассудительности. С этой же целью были даны соответствующие законы для всего воспитания в целом; тому же служит надзор правителей, обязанных не спускать с молодежи глаз и постоянно оберегать ее. Итак, все это умеряет естественные страсти людей. Но вот из-за влечения мальчиков к девочкам, женщин к мужчинам и мужчин к женщинам проистекают несметные беды как для отдельных людей, так и для государств. Как же от этого уберечься? Какое придумать снадобье в каждом из этих случаев, чтобы избегнуть подобной опасности? Да, Клиний, это во всех отношениях трудно. В самом деле: во многих других вещах весь целиком Крит и Лакедемон оказали нам довольно большую помощь, дав нам законы, отличные от большинства обычаев. А вот что касается любовных влечений — ведь мы тут одни и это можно сказать, — Крит и Лакедемон полностью с нами расходятся. Поэтому верным, пожалуй, было бы слово того человека, который одобрил бы, следуя в этом природе, закон, бывший до Лая. Человек этот рек бы: мужчины не должны сходиться с юношами, как с женщинами,

для любовных утех, это правильно; и он подтвердил бы свои слова указанием на животных, у которых самцы не касаются самцов, так как это противоречит природе. Но это совсем не подходит вашим двум государствам. В то же время ваши обычаи не согласуются с тем, что, по нашим словам, обязательно должен соблюдать законодатель. В самом деле, мы постоянно смотрим, какие из установленных нами законов ведут к добродетели, а какие — нет. Допустим, мы установили бы сейчас все эти вещи законом как прекрасные и совсем не позорные; чем бы способствовало, однако, все это добродетели? Уж не тем ли, что осуществление всего этого вселит в душу человека, покорно давшего склонить себя на подобное дело, дух мужества, а в душу того, кто склонит на это другого, некий род рассудительности? Нет, этому никто никогда не поверит. Скорее совсем наоборот: всякий станет осуждать мягкотелость человека, который уступает удовольствиям и не в состоянии им сопротивляться. И разве любой не подвергнет порицанию того человека, который решается на подражание образу женщины? Кто же из людей решится все это возвести в закон? Решительно никто, по крайней мере из тех, кто помышляет об истинном законе. Но как нам убе-

диться в истинности нашего взгляда? Кто хочет здесь правильно мыслить, тому необходимо рассмотреть природу дружбы, вожделения и вместе с тем того, что называют любовным влечением. В самом деле, трудность и неясность здесь создает то, что одним общим названием охвачены все эти [виды], хотя на самом деле их два, и уж из этих двух возникает особый вид, третий.

Клиний. Как это?

Афинянин. Иногда мы говорим так: подобное дружественно подобному по своим качествам, равное дружественно равному. С другой стороны, и недостаточное мы называем дружественным избыточному, хотя по своей природе оно ему противоположно; когда же то и другое становится очень сильным, мы называем это любовью.

Клиний. Верно.

Афинянин. Итак, дружба, основанная на противоположностях, страшна, дика и редко приводит к общности нас, людей. Дружба же, основанная на сходстве, кротка и едина всю жизнь. В дружбе, возникшей из смешения этих двух видов, прежде всего нелегко распознать, к чему стремится человек, испытывающий этот третий вид влечения. Далее, положение такого человека затруднительно, так как два вида [чувства] влекут его

в противоположные стороны: одно побуждает его коснуться цветущей юности, другое ему это запрещает. Ведь кто вожделеет тела и алчет цветущей юности, словно созревшего плода, тот стремится ею насытиться; он вовсе не ценит душевных свойств своего возлюбленного. А у кого вожделение к телу является чем-то побочным, тот скорее созерцает, чем вожделеет, так как душой страстно стремится к душе другого и считает бесспорной дерзостью удовлетворять свое тело телом любимого. Он стыдливо чтит рассудительность, мужество, великодушие и разумность, и единственное его желание — это всегда хранить чистоту вместе с таким же чистым своим возлюбленным. Таков этот третий вид влечения, смешанный из тех двух; в качестве третьего вида мы его и разобрали. Но раз есть столько видов влечения, неужто надо их все запретить законом и от них отказаться? Нет, ясно, что мы желали бы, чтобы в государстве нашем бытовал тот вид влечения, который сопряжен с добродетелью и заставляет юношу стремиться к достижению высшего совершенства. А остальные два вида влечения мы запретили бы, если только это возможно. Каково твое мнение, дорогой Мегилл?

Мегилл. Ты, чужеземец, прекрасно все это

выразил.

Афинянин. Очевидно, мой друг, я достиг своей цели — добиться с тобой согласия. Мне не стоит доискиваться, в каком смысле установлен у вас закон относительно всего этого; мне только нужно было добиться твоего согласия с моим рассуждением. А потом я попытаюсь убедить в этом и Клиния, зачаровывая его словами. Пусть же так и будет с вашей легкой руки. Обратимся снова к общему разбору законов.

Мегилл. Ты совершенно прав.

Афинянин. Что касается установления этого закона при нынешних обстоятельствах, то у меня есть один прием, отчасти легкий, хотя, с другой стороны, он и очень труден.

Мегилл. Что ты имеешь в виду?

Афинянин. Мы знаем, что и в наше время большинство людей, пусть даже незаконопослушных, с большой тщательностью воздерживаются от общения с красивыми, причем вовсе не против воли, но добровольно.

Мегилл. Что ты говоришь?!

Афинянин. Да вот если у кого окажутся красивые брат или сестра, а также сын или дочь. Здесь, собственно, неписаный закон отлично удерживает от тайных и явных связей, а также от всяких

иных поползновений. У большинства людей в этих случаях нет даже вожделения к подобного рода связям.

Мегилл. Это правда.

Афинянин. Значит, простое слово гасит подобные удовольствия?

Мегилл. Какое такое слово?

Афинянин. Слово, гласящее, что подобные отношения нечестивы, богопротивны и что они позорнее всего позорного. А причина здесь та, что никто не высказывает иного мнения; каждый из нас с самого дня рождения всегда и повсюду слышит подобное мнение как в комедиях, так и в трагедиях, где это повторяется со всей серьезностью, когда перед нами выводят Фиестов, Эдипов или же Макареев: Макарей тайно вступил в связь со своей сестрой, а потом, когда это обнаружили, наложил на себя руки, чтобы искупить свое преступление.

Мегилл. Ты прав, указывая на какую-то странную силу молвы, раз никто никогда не пробует даже вздохнуть вопреки обычаю.

Афинянин. Значит, мы правильно сказали сейчас, что законодателю легко распознать тот способ, с помощью которого можно подавить какую-то страсть из числа тех, что особенно по-

рабощают людей, надо только сделать всеобщую молву священной для всех — для рабов, для свободных, для женщин, детей и вообще для всего государства; так законодатель сделает свой закон неколебимым.

Мегилл. Совершенно верно. Надо бы, однако. иметь возможность всем людям вселить желание выражать подобные мнения…

Афинянин. Твое возражение очень метко. Вот именно об этом-то я и говорил, когда заметил, что у меня есть искусный способ для установления закона о том, чтобы соитие, предназначенное для деторождения, происходило лишь сообразно природе. От мужского пола надо воздерживаться и не губить умышленно человеческий род; не надо также ронять семя на скалы и камни. где оно никогда не пустит корней и не получит естественного развития. Надо воздерживаться и от всех тех женщин, на чьей пашне ты не хотел бы, чтобы произрастал твой посев. Этот закон, если он всегда будет действовать и возобладает в той степени, как теперь возобладал закон против сношений с родителями, а также если он справедливо возобладает в отношении всех остальных видов подобных сношений, принесет с собой тысячи благ. Прежде всего он согласен

с природой; затем он заставит воздержаться от любовных борений, неистовств, от всякого рода прелюбодеяний, от чрезмерного пристрастия к питью и еде; мужей он сделает близкими друзьями их жен. И какое было бы еще множество благ, если бы человек овладел этим законом! Впрочем, возможно, какой-нибудь молодой и крепкий мужчина, отягченный обилием семени, услышав об установлении такого закона, встанет перед нами и, оглашая все своим криком, начнет поносить нас за то, что мы, мол, установили нелепые и невыполнимые узаконения. Так вот, имея в виду именно это, я и сказал, что прием, которым я располагаю, с одной стороны, самый легкий из всех, с другой же стороны, чрезвычайно трудный в том смысле, чтобы закон этот, будучи установлен, оставался в силе. В самом деле, очень легко сообразить, что этот закон осуществим, а также каким образом это сделать. Мы утверждаем, что достаточно объявить его священным, чтобы он поработил любую душу и вообще заставил человека с ужасом повиноваться установлениям. Но в настоящее время дело дошло до того, что осуществить это считается невозможным; правда, точно так же не поверили бы в осуществимость обычая, касающегося сисситий, и в то, что все

государство в целом все время своего существования станет придерживаться такого обычая. Но опровержением здесь служит то, что у вас есть такие сисситии; впрочем, даже в ваших государствах пока считают, что природа женщин не позволяет распространить этот обычай также на них. Именно из-за такого сильного недоверия я и сказал, что невероятно трудно, чтобы обычай этот получил законную силу.

Мегилл. И в этом ты прав.

Афинянин. Хотите, я приведу вам одно сказание, не лишенное правдоподобия, с целью пояснить, что все это не превышает человеческих сил и вполне может быть осуществлено?

Клиний. Конечно, хотим.

Афинянин. Какой человек скорее воздержится от любовных утех и согласится умеренно пользоваться ими в установленных законом пределах — тот ли, чье тело в хорошем состоянии и всесторонне развито, или тот, чье тело в плохом состоянии?

Клиний. Гораздо скорее тот, чье тело хорошо развито.

Афинянин. Не правда ли, мы знаем понаслышке, что тарентинец Икк ради Олимпийских игр и других состязаний ни разу не касался ни жен-

щин, ни мальчиков в то время, когда усердно готовился к состязаниям? Причиной здесь было его честолюбие, преданность своему искусству, а также и то, что наряду с рассудительностью он обладал и душевным мужеством. То же самое рассказывают о Крисоне, Астиле, Диопомпе и об очень многих других, хотя души их были воспитаны куда хуже, чем у наших с тобой, Клиний, граждан, а тело их гораздо больше было преисполнено жизненных сил.

Клиний. Да, это правда: то, что древние рассказывают об этих атлетах, действительно было ими совершено.

Афинянин. Что же? Они отважились воздерживаться от того, что большинство называет блаженством, ради победы в борьбе, в беге и других таких состязаниях; так неужели же наши дети не совладают с собой ради гораздо лучшей победы? Чарующую красоту этой победы мы, естественно, станем изображать им с самого детства в мифах, изречениях и песнях.

Клиний. Какая же это победа?

Афинянин. Победа над удовольствиями, которая сделает блаженной их жизнь; уступка же удовольствиям повлечет за собой жизнь совершенно иную. Да, кроме того, неужели же для того,

чтобы совладать с собой, как совладали те, кто был хуже, чем наши граждане, не будет иметь значения страх перед тем, что отсутствие такого самообладания вовсе не благочестиво?

Клиний. Конечно, и это будет иметь значение.

Афинянин. Я утверждаю, что хоть мы остановились на том месте законов, которое затруднило нас из-за испорченности большинства людей, все же наш этот закон должен действовать, выражая ту мысль, что гражданам нашим не подобает быть хуже птиц и многих других животных, рожденных в больших стадах, которые вплоть до поры деторождения ведут безбрачную, целомудренную и чистую жизнь. Когда же они достигают должного возраста, самцы и самки по склонности соединяются между собою попарно и все остальное время ведут благочестивую и справедливую жизнь, оставаясь верными своему первоначальному выбору. Наши граждане должны быть лучше животных. Однако, если их развратят остальные эллины и большинство варваров, у которых они увидят так называемую беспутную Афродиту и услышат о ее великой силе, тогда стражам законов придется стать законодателями и придумать для них другой закон.

Клиний. Какой же закон ты им посоветуешь

установить, если будет нарушен тот, который мы сейчас учредили?

Афинянин. Ясно, Клиний, что этот второй закон будет непосредственно примыкать к первому.

Клиний. Но в чем он будет состоять?

Афинянин. Он с помощью труда будет по возможности умерять развитие удовольствий, сдерживая их наплыв и рост и давая потребностям тела противоположное направление. Это может удаться, если не будут любовные утехи бесстыдными. Если люди из стыдливости будут редко им предаваться, это ослабит власть бесстыдства благодаря редкому обращению к любовным утехам. Тайное занятие ими пусть будет узаконено для наших граждан как нечто прекрасное; пусть будет признано именно это обычаем и неписаным законом. Напротив, пусть считается позорной явность таких отношений, однако не сами эти отношения как таковые. Позорное или прекрасное в этих делах намечается, таким образом, в нашем законе лишь как нечто вторичное, так как и сами эти отношения с точки зрения их правильности считаются нами вторичными. Все развращенные по своей природе люди — мы их называем побежденными собственной слабостью — составляют один род; остальные

три рода граждан окружают их со всех сторон и принуждают не преступать законов.

Клиний. Какие это три рода граждан?

Афинянин. Те, кто благочестив, далее — те, кто честолюбив, и, наконец, те, кто страстно вожделеет не к телу, но к прекрасным свойствам души. Правда, все эти наши слова остаются пока лишь благим пожеланием вроде тех, что выражаются в сказках; однако насколько лучше было бы, если бы это осуществилось во всех государствах. Если будет на то воля бога, мы, весьма возможно, принудим соблюдать в любви одно из двух: либо пусть гражданин не смеет касаться никого из благородных и свободнорожденных людей, кроме своей законной жены; пусть он не расточает своего семени в незаконных, не освященных религией связях с наложницами, а также в противоестественных и бесплодных связях с мужчинами. Или же мы совершенно исключим связи с мужчинами, а что касается связей с женщинами, то если кто помимо жены, вступившей в его дом с ведома богов, путем священного брака, станет жить с другими женщинами, купленными или приобретенными иным каким-либо способом, причем это явно обнаружится перед всеми мужами и женами, то

мы как законодатели, думается мне, правильно сделаем, лишив его всех почетных гражданских отличий как человека, действительно чуждого нашему государству. Итак, пусть будет установлен этот закон относительно любовных утех и всего относящегося к разным видам любви — все равно, будет ли это считаться одним законом или двумя. Закон этот определяет, какие поступки при взаимоотношениях, возникающих под влиянием таких вожделений, правильны, а какие неправильны.

Мегилл. Я весьма охотно принял бы этот твой закон, чужеземец. Что касается Клиния, то пусть он сам выскажет свое мнение.

Клиний. Я это сделаю, Мегилл, когда улучу подходящее время. А сейчас предоставим нашему гостю излагать дальше свои законы.

Мегилл. Хорошо.

Афинянин. Так вот, теперь нам надо перейти к устройству совместных трапез. Если, как мы считаем, в иных краях их и трудно установить, то на Крите всякий считает, что должны быть именно общие трапезы. Но как их устроить? Так ли, как они существуют здесь, или так, как в Лакедемоне? Или же наряду с двумя этими видами сисситий есть еще и третий вид, лучший, чем

эти? Мне кажется, нетрудно придумать и третий вид, однако это не принесет никаких преимуществ. Ведь удачны и те устройства, которые существуют теперь.

С сисситиями связан вопрос о добывании съестных припасов. Каким образом это будет устроено? Во всех остальных государствах съестные припасы бывают различны и добываются отовсюду, так что источников там вдвое больше, чем у наших граждан. Ведь большинству эллинов пищу доставляют и суша, и море, у нас же — только суша. Для законодателя это легче: законы станут больше чем наполовину короче; вдобавок они больше будут подходить свободнорожденным людям. В самом деле, законодатель нашего государства может распроститься с большей частью законов о морской крупной и мелкой торговле, о гостиницах, таможнях, о рудниках, о кредите и о сложных процентах, а также с бесчисленным множеством других тому подобных установлений. Он будет устанавливать законы лишь для земледельцев, пастухов, пчеловодов, для их хранилищ и для надзирателей за [сельскохозяйственными] орудиями. Ведь мы уже установили самые важные законы — о браках, рождении детей и их взращивании, а кроме того, законы о воспитании и

об учреждении государственных должностей. Теперь законодателю необходимо обратиться к вопросам о пище и о тех, кто ее добывает.

Начнем с законов, носящих название земледельческих. Первый закон, закон Зевса — охранителя рубежей, будет гласить так: пусть никто не нарушает земельных границ своего ближайшего соседа, будь то гражданин или чужеземец, если чей-то участок лежит на окраине, так что граничит с его землей. Пусть каждый считает, что это поистине будет нарушением того, что нельзя нарушать. Пусть каждый скорее попробует сдвинуть огромную скалу, чем межевой столб или даже маленький камень, заклятый перед лицом богов и размежевывающий вражду и дружбу. Для гражданина свидетелем здесь будет Зевс Единоплеменный, для чужеземца — Зевс Гостеприимный, которые могут наслать яростнейшую вражду. И тот, кто будет повиноваться этому закону, не изведает от него зла, тот же, кто им пренебрежет, понесет двойную ответственность: первую и главную — перед богами, вторую — перед законом. Вот почему пусть никто не нарушит добровольно границ соседей; если же кто это сделает, всякий желающий может донести об этом землевладельцам, а те привлекают его к суду.

Если кто окажется виновным в том, что тайно и насильственным путем стал делить заново землю, то суд определяет, какое наказание должен понести или какую пеню должен выплатить проигравший дело. Бывает, что соседи причиняют друг другу много мелочного вреда, и это, часто повторяясь, порождает тягостное чувство вражды, так что соседство становится невыносимым и горьким. Поэтому каждый сосед должен всячески остерегаться, чтобы не подать соседу повода к вражде как вообще, так в особенности при запашке чужой земли. Причинить вред вовсе не трудно — это может всякий, а вот оказать помощь доступно не каждому. Кто запашет землю своего соседа, то есть преступит межу, тот должен возместить причиненный вред и, кроме того, заплатить пострадавшему в двойном размере, дабы и самому исцелиться от бесстыдства и неблагородных наклонностей. В этих и во всех им подобных случаях разбирать, судить и назначать пеню будут агрономы; в случае больших нарушений, как было ранее сказано, — все должностные лица данного округа, составляющего двенадцатую часть всей страны; в случае меньших нарушений — местные начальники стражи. Если же кто захватит чужие пастбища, то судить и назначать

возмещение за убытки будут те же лица, после того как убедятся воочию в нанесенном ущербе. Если кто присвоит чужие рои пчел, зная, чем их приманить, и, когда рой сядет поблизости, его огребет, он возместит убыток. Если кто станет выжигать свой лес, не думая о соседском, пусть он будет наказан по усмотрению должностных лиц. Если же кто станет делать посадки, не сохранив определенного промежутка между своей и соседней землей, то он подвергнется наказанию, как это уже было указано многими законодателями: надо здесь использовать и их законы.

Нельзя требовать, чтобы верховный устроитель государства установил законы для всех мелочей — такие законы по плечу и любому законодателю. Прекрасен древний закон о воде, установленный для земледельцев, и не стоит давать иного направления нашей беседе: нет, пусть тот, кто хочет провести воду на свою землю, отводит ее из общественных водохранилищ, но пусть ни в коем случае не берет воды из источников, несомненно принадлежащих частному лицу; отводить воду он может в любом направлении, за исключением мест, занятых домами, святилищами и гробницами; при этом не нужно портить окрестной земли, а надо ограничиться местом для

водопровода. Если в иных местностях природные свойства земли таковы, что она лишена воды, а потому сильно впитывает дождевую влагу и там не остается источников питьевой воды, то надо рыть водоемы на своем собственном участке вплоть до глинистого слоя земли; если же и на такой глубине нигде не будет воды, надо брать воду у соседей — столько, сколько необходимо для каждого члена семьи. Если же у соседей самих едва хватает воды, то порядок ее доставки устанавливается агрономами: кто должен ежедневно ходить за водой и таким образом пользоваться ею вместе с соседями. Если кто из живущих под горой загородит сток дождевых вод и причинит этим вред обработанной земле расположенного выше или рядом участка соседа либо, наоборот, живущий на горе станет как попало отводить воду, так что нанесет вред нижнему своему соседу, то, если они не захотят договориться друг с другом, пусть всякий желающий призовет астинома (если дело происходит в городе) или агронома (если в деревне), чтобы установить, как здесь должен поступить каждый. Кто не станет соблюдать установленного порядка, тот будет обвинен в завистливости и несговорчивости; если он окажется виноватым, то должен будет возместить

пострадавшему ущерб в двойном размере за то, что не захотел послушаться должностных лиц.

Что касается участия всех граждан в осеннем сборе плодов, то здесь надо соблюдать следующее. Богиня милостиво дарует нам два вида даяний: во-первых, виноград — недолговечную дионисическую забаву, а во-вторых, виноград, по своим природным свойствам заготовляемый впрок. Пусть будет установлен такой закон об урожае: кто вкусит сельских плодов, винограда ли или смокв, до наступления времени сбора (а это совпадает с восходом Арктура), все равно, на своей ли земле или чужой, тот должен заплатить штраф в пользу Диониса: пятьдесят драхм в случае, если он сорвал плоды на своей земле, и одну мину, если он сделал это на земле у соседей; если же он сорвет плоды у кого-то другого, он должен заплатить две трети мины. Кто захочет собрать плоды виноградной лозы, называемой теперь благородной, или благородной смоковницы, тот может пользоваться ими сколько и когда угодно, если это его собственность; если же это чужое и владелец не дал позволения, то человек этот немедленно будет подвергаться наказанию по закону, запрещающему трогать то, что положено не тобой. Если раб без разрешения владельца

земли прикоснется к таким вещам, он будет наказан палочными ударами соответственно числу виноградин в грозди и числу смокв. Метек может пользоваться, если ему угодно, плодами благородной лозы, но за плату. Если же прибывший чужеземец пожелает, проезжая дорогами, отведать плодов, пусть пользуется, если ему угодно, благородной лозой бесплатно — он сам и один из его спутников, это будет законом гостеприимства. Что касается так называемой полевой лозы и других подобных плодов, то наш закон запрещает их рвать даже и чужеземцу. Если же чужеземец или его раб, не зная закона, коснутся запретного, то раба наказывают ударами, а свободнорожденного чужеземца отпускают, но делают ему выговор и поучают тому, что можно касаться лишь всех других видов лозы, непригодных для заготовки изюмного вина, и лишь тех смокв, что не годятся для сушки. Пусть не считается позорным тайком срывать груши, яблоки, гранаты и другие такие плоды, однако пойманный на этом подвергнется побоям, если он моложе тридцати лет. Впрочем, не надо наносить ему ран. Кроме этих побоев свободнорожденный человек не подвергнется никакому суду. Чужеземцу дозволяется пользоваться этими плодами таким же образом, как

виноградом. Если же гражданин старше тридцати лет сорвет эти плоды, чтобы тут же их съесть, но ничего не унесет с собой, то он может это сделать на равных правах с чужеземцем. Ослушник же этого закона рискует быть исключенным из соревнования в добродетели, если об этом напомнят судьям, когда оудут присуждаться награды.

Вода имеет наибольшее значение для садоводства, но она легко портится. Дело в том, что землю, солнце и ветры, которые вместе с водой влияют на то, что произрастает из почвы, нелегко испортить; их нельзя отравить, отвести в сторону, украсть, а с водой все это можно сделать, такова ее природа. Поэтому здесь должен прийти на помощь закон. Так вот, пусть будет действовать следующий закон о воде: если кто умышленно испортит чужую воду, ключевую ли или дождевую, которая была собрана, отравит ее, отведет в сторону с помощью подкопа или украдет, то пострадавший должен обратиться за правосудием к астиномам, оценив нанесенный ему убыток. Кто будет уличен в том, что портит воду какой-то отравой, тот кроме возмещения убытка должен будет очистить водоем или источник воды. В каждом отдельном случае истолкователи законов будут указывать, как именно надо произвести

эту очистку.

Что касается сбора плодов, то всякому желающему дозволяется собирать их по всей местности, лишь бы только он не причинял этим никому никакого ущерба и не извлекал тройной выгоды из ущерба, который потерпит сосед. Должностные лица должны разбираться в этом, а также во всем том, чем гражданин сознательно — тайно или явно — наносит вред другому против его воли — ему самому или его имуществу. Обо всем этом надо доводить до сведения должностных лиц, которые и назначают кару, если убыток не превышает трех мин. В случае серьезных обвинений дело поступает в общий суд, который и определяет наказание для обидчика.

Если окажется, что кто-либо из должностных лиц назначил несправедливую пеню, пострадавший взыскивает с него судом вдвое бóльшую сумму. Каждый желающий может подать в общий суд жалобу на неправильные действия должностных лиц.

Есть еще тысячи мелких узаконений, на основании которых надо назначать наказания, учинять тяжбы, вызывать в суд, приводить свидетелей для истца — сдвух ли или столько, сколько их нужно, — и так далее в том же роде.

Нельзя оставить все это без законов. Но престарелому законодателю не стоит этого делать. Пусть установят здесь законы более молодые люди, подражая до мелочей установленным ранее важным законам. Необходимость таких мелких законов они узнают на опыте, пока не будет решено, что все устроено так, как надо. Тогда они незыблемо установят эти законы и будут жить, умеренно ими пользуясь.

С ремесленниками надо поступить так: прежде всего пусть никто из местных жителей, а также их рабов не занимается ремеслами. Дело в том, что гражданину достаточно владеть тем искусством, которое одновременно нуждается в упражнении и во многих познаниях, это — умение поддерживать и соблюдать общегосударственное благоустройство. Гражданин не может этим заниматься так, между прочим. Усердно же предаваться двум занятиям или двум искусствам не способен, пожалуй, по своей природе ни один человек, так же как никто не может и сам упражняться в чем-то как надо, и одновременно руководить упражнениями других. Вот это-то и должно осуществиться в государстве. Ни один кузнец не должен одновременно заниматься и плотничьим делом; в свою оче-

редь и плотник не должен заботиться о чужом для него кузнечном деле больше, чем о своем собственном ремесле, под тем предлогом, что, управляя многочисленными работающими на него рабами, он, естественно, должен иметь большее попечение об их занятиях, поскольку доход от их кузнечного дела превышает доход от его собственного ремесла. Нет, в государстве каждый должен владеть только одним ремеслом, которое и доставляет ему средства к жизни. Астиномы должны усердно следить за соблюдением этого закона. И если кто из местных жителей больше склоняется к какому-то ремеслу, чем к заботам о добродетели, астиномы должны его удержать, угрожая бесчестьем, пока он не исправится и не последует своей дорогой. Если кто из чужеземцев станет заниматься двумя ремеслами, то его под страхом тюрьмы, денежной пени и высылки из государства принуждают быть одним человеком, а не многими сразу. Что касается оплаты заказов и их выкупа, когда кто-нибудь несправедливо обойдется с мастером или сам будет им обижен, то астиномы разбирают эти дела, если они не превышают пятидесяти драхм. Сверх этой суммы решение выносит, согласно закону, общий суд.

Никто в государстве не должен платить ни-

какой пошлины ни на ввозимые товары, ни за те, что вывозятся. Не допускается ввоз ладана и других чужеземных курений, употребляемых при богослужении, и ввоз пурпура и окрашенных тканей, которых не производит страна, а также всего того, что нужно для ремесел, работающих на чужеземных товарах, раз в этом нет ровно никакой необходимости. Точно так же не разрешается вывоз таких предметов, наличие которых необходимо в стране. Во всем этом должны разбираться стражи законов; они же будут всем этим ведать — первые двенадцать по возрасту, за исключением пяти старших. Что касается оружия и всех других военных орудий, то, если для этого понадобится ввоз чужеземных изделий, дерева, металла, предметов, годных для скрепления, или животных, гиппархи и стратеги распоряжаются ввозом или вывозом всего того, что производит или в чем нуждается государство. Стражи законов и в этом случае установят подходящие и удовлетворительные законы. Но здесь, как и во всем остальном, по всей нашей земле, во всем государстве не будет места мелкой торговле с целью наживы.

Что касается пищи и распределения доставляемых страной припасов, то правильным здесь

было бы, конечно, осуществить порядок, близко напоминающий критский закон. Все эти припасы должны быть всеми разделены на двенадцать частей и соответственно должны потребляться. А каждая двенадцатая часть — например, пшеницы, ячменя и всего того, что созреет, а также всех тех животных, которые у каждого идут на продажу, — будет, согласно расчету, разделена еще на три части: первая часть назначается для свободнорожденных людей, вторая — для их рабов, третья — для ремесленников и вообще чужеземцев, как для тех переселенцев, что поселились у нас из нужды в пропитании, так и для тех, что всякий раз приезжают к нам по государственным или частным делам. Только эту третью часть, выделенную из необходимых припасов, придется пустить в продажу; из остальных же двух частей нет никакой необходимости что бы то ни было продавать. Но как всего правильнее произвести подобное разделение? Прежде всего ясно, что части эти в одном отношении будут между собой равны, а в другом неравны.

Клиний. Что ты имеешь в виду?

Афинянин. Неизбежно, что одни из припасов уродятся лучше, другие хуже.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Раз это так и раз всех частей три, то часть, предназначенная для господ, ничем не должна быть обильнее остальных двух частей, предназначенных для рабов, а равным образом и для чужеземцев. Надо произвести разделение так, чтобы все части были вполне равны и в отношении качества. Каждый из граждан получает две части и производит распределение припасов между рабами и свободнорожденными людьми, количество и качество распределяемого он определяет по своему желанию. Излишек надо распределить соответственно по числу живых существ, пищу которым доставляет земля.

Гражданам надо отвести отдельные жилища. Тут был бы пригоден такой порядок: должно быть двенадцать поселков, по одному в середине каждой филы, составляющей двенадцатую часть страны. В каждом селении надо прежде всего выделить площадь для святилища богов и для их спутников-даймонов. Это будут либо местные боги магнетов, либо иные древние боги, память о которых хранят сохранившиеся строения; их-то и будут почитать граждане так же, как чтили их в старину. Повсюду надо воздвигнуть святилища Гестии, Зевса, Афины и того бога, что для каждой двенадцатой части страны является главным.

Вокруг этих святилищ надо прежде всего на самом возвышенном месте воздвигнуть здание, которое будет самым надежным приютом для стражей порядка. Ремесленников надо разделить на тринадцать частей и распределить их по всей стране; одну же, тринадцатую, их часть надо поселить в городе, разделив и ее соответственно двенадцати частям всего государства. Все остальные ремесленники поселятся в окрестностях, за пределами города, так что в каждом поселке вместе с земледельцами будет жить полезное для них сословие мастеров. За всеми ними будут надзирать начальники агрономов. Они будут смотреть, сколько и какого рода мастеров требует каждая местность и какое место их жительства причинит земледельцам меньше всего неприятностей и больше всего доставит им пользы. За мастерами, живущими в городе, будут смотреть во всех этих случаях правители-астиномы.

За рыночной площадью должны иметь надзор агораномы. Помимо заботы о том, чтобы никто не осквернял святилищ, расположенных на площади, этот надзор будет состоять в охране необходимого достояния людей; кроме того, они должны быть на страже рассудительности и противодействовать наглости, а также наказывать

тех, кто нуждается в наказании. Что касается товаров, то агораномы должны смотреть, чтобы вся продажа городскими жителями своих товаров чужеземцам происходила согласно закону. А закон таков: первого числа каждого месяца те из чужеземцев или рабов, кто получил поручение от горожан, доставляют на рынок часть товаров, предназначенную для продажи чужеземцам, то есть прежде всего двенадцатую часть всего количества хлеба. В этот первый рыночный день чужеземец должен закупить для себя на весь месяц хлеб и всю остальную пищу. Десятого числа каждого месяца производится в достаточных размерах продажа и покупка жидких товаров на целый месяц, двадцать третьего числа — продажа животных. Каждый продает или покупает, что ему нужно; земледельцы продают утварь и различные вещи — шкуры, любую одежду, ткани, войлок и все подобное, чужеземцам же приходится приобретать все это путем покупки. Пусть никто не торгует этим в розницу, так же как и ячменной или пшеничной крупой. Пусть никто не продает ничего из других припасов ни горожанам, ни их рабам; если же кто продает, пусть никто у него не покупает. Чужеземец может продавать на рынке вино и хлеб чужеземцам,

ремесленникам и их рабам; это то, что большинство называет торговлей в розницу. Мясники пусть торгуют в розницу разделанными на части тушами; пусть они продают их чужеземцам, ремесленникам и их слугам. Так же точно чужеземец может каждодневно себе покупать, если ему угодно, разного топлива у тех лиц, которым в данной местности поручена эта продажа; затем он сам может продать топливо другим чужеземцам в любое время и сколько угодно. Продажу разных других вещей и утвари в размерах, необходимых каждому, можно производить на общем рынке в любом месте, которое стражи законов и агораномы вместе с астиномами обозначат как подходящее, установив предельную цену товарам. В этих пределах и будут обмениваться монеты на вещи и вещи на монеты; продавец и покупатель не будут откладывать обмена на будущее. А кто откладывает обмен, тот, очевидно, доверяет другому и надеется получить свое; если же он не получит того, что до́лжно, пусть не ропщет: правосудие не распространяется на подобного рода взаимный обмен.

Если товар будет куплен или продан в большем количестве или по более высокой цене, чем установлено законом, который определил и уступку,

и прибыль и запретил выходить за эти пределы, то излишек записывается у стражей законов, а недостача зачеркивается. То же самое касается и записи имущества переселенцев.

Желающий переселиться может это сделать лишь на определенных условиях. Чужеземец, который хочет и может поселиться, получит жилище, если он владеет ремеслом, и останется в стране не более как на двадцать лет, считая со времени записи. Никакой пошлины за право переселения с него не возьмут; от него требуется лишь рассудительность. За право торговли с него также не взыщут пошлин. Но зато по истечении срока он должен взять свое имущество и удалиться. Если же в течение этих лет ему удастся обратить на себя внимание своими добрыми делами для государства; если он верит, что может убедить совет и народное собрание и что просьба его об отсрочке выселения будет уважена, даже если он испросит позволения пожизненно остаться в стране, — то пусть он выступит перед советом и народным собранием и, коль скоро он убедит государство, пусть исполнится то, в чем он его убедил. А у детей метеков, если они знают ремесла и достигли пятнадцати лет, срок переселения исчисляется с пятнадцатилетнего

возраста. Затем, по прошествии двадцати лет, они должны удалиться, куда им угодно. Если же они захотят остаться, то должны точно так же убедить государство. До удаления из государства надо вычеркнуть ту запись их имущества, которую ранее произвели должностные лица.

Книга IX

Афинянин. Естественный распорядок законов приводит нас, далее, к вопросу о судебной ответственности, сопутствующей всем вышеуказанным деяниям. За какие именно деяния до́лжно нести ответственность перед судом, отчасти уже было сказано, поскольку это касается земледелия и смежных с ним областей, но еще ничего не было сказано относительно величайших проступков. Поэтому в дальнейшем следует последовательно разобраться именно в этих проступках, отдельно обсудить каждый из них, чтобы прийти к выводу, какое наказание здесь следует назначать и каким судьям это будет подсудно.

Клиний. Верно.

Афинянин. Впрочем, даже как-то позорно то, что мы собираемся теперь делать, то есть устанавливать подобные законы в таком государстве, которое, по нашему признанию, будет устроено хорошо и вообще получит правильное направление в смысле добродетельных навыков его граждан. И вдруг мы предполагаем, что в подобном государстве появится человек, причастный таким величайшим проступкам, которые во всех

остальных государствах являются следствием испорченности. Приходится, таким образом, законодательствовать, предвосхищая события: угрожать — на тот случай, если подобный человек встретится. Устанавливать законы для предотвращения подобных проступков и наказания за них, коль скоро они совершены, в предположении, что такие люди непременно встретятся, — вот в этом-то, повторяю, и есть что-то позорное. Мы ведь не то что древние законодатели. Те были, как теперь рассказывают, и сами божественного происхождения, да и законы свои они давали детям богов, героям, то есть существам также божественным. Нет, мы — люди и даем теперь законы семени людей; поэтому мы вправе бояться, что у нас встретятся граждане с природой неподатливой, точно рог, так что их ничем не проймешь. Как те семена, что не поддаются огню, так и они неподатливы законам, даже столь сильным. Эти люди побуждают меня сказать о непривлекательном законе относительно святотатства — на случай, если кто отважится на такое дело. Впрочем, не хотелось бы даже думать, что получивший правильное воспитание гражданин может когда-либо остро заболеть этой болезнью, зато много попыток

подобного рода можно ожидать со стороны принадлежащих гражданам слуг, чужеземцев и их рабов. Из-за них в особенности — впрочем, и вообще-то остерегаясь человеческой слабости, — я назову закон о святотатстве и о всех подобных преступлениях, поскольку они трудноисцелимы или даже вовсе не исцелимы.

Согласно вышеустановленному правилу, и здесь надо предпослать вступление, однако по возможности краткое. Вот что можно сказать в увещание, когда беседуешь с человеком, которого злая страсть к святотатству одолевает днем и не дает покоя ночью: «Странный ты человек, это не человеческое и не божественное зло побуждает тебя идти теперь на святотатство; нет, это какое-то жало, внедрившееся в людей из-за старых, не искупленных очищением проступков; оно-то губит и терзает тебя; его надо всеми силами остерегаться. Узнай, в чем состоит такая осторожность. Когда тебе придет в голову подобного рода мысль, прибегни для ее отвращения к жертве Зевсу. Прибегни как умоляющий к святыням богов, отвращающих несчастья. Прибегни к общению с людьми, признаваемыми у вас хорошими. То слушай их речи, то пробуй сам говорить о том, что всякий человек должен почитать прекрасное и

справедливое. Без оглядки беги общества дурных людей. Если от исполнения всего этого уймется твоя болезнь, тем лучше; если же нет, считай, что для тебя лучше смерть, и простись с жизнью!»

Вот как гласит наше вступление, данное для людей, замышляющих всякие нечестивые и пагубные для государства деяния. Тому, кто повинуется, закон ничего не скажет; ослушнику же вслед за вступлением он громко глаголет: «Кто будет уличен в святотатстве, тому, если это раб или чужеземец, отметят лицо и руки клеймом его злополучия, подвергнут его стольким ударам, сколько решат судьи, и в нагом виде выгонят за пределы страны». Возможно, что такое наказание исправит и образумит его. Дело в том, что по закону ни одно наказание не имеет в виду причинить зло. Нет, наказание производит одно из двух действий: оно делает наказываемого либо лучшим, либо менее испорченным. Но если будет обнаружено, что подобный поступок совершен каким-нибудь гражданином, который нанес великое, несказанное оскорбление богам, своим родителям или государству, то судье придется считать его неисцелимым: он знает, какое воспитание получил этот гражданин, как он был взращен с детства, а между тем он не удер-

жался от величайшего зла. Наказание такому человеку — смерть, и это еще наименьшее из зол. Для остальных граждан полезным примером станет бесславие преступника и то, что его труп будет выброшен за пределы страны. Его детям и его роду, если они не будут походить нравом на своего отца, — честь и слава; все будут говорить, что они хорошо и мужественно перешли от зла к добру. Имущество кого-либо из таких преступников государству не подобает конфисковывать, раз наделы в нем всегда должны оставаться одними и теми же и одинаковыми. Зато его надо наказывать денежной пеней, когда окажется, что проступок можно искупить деньгами; эту пеню взимают из того имущества, которое окажется излишним сравнительно с наделом, однако размер денежной пени не должен превышать этого излишка. Для этой цели стражи законов должны тщательно просматривать записи и всякий раз сообщать точные данные судьям, чтобы никто никогда не оказался лишенным надела из-за недостатка денег. Если кто-нибудь будет признан заслуживающим большей пени, причем его друзья не захотят за него поручиться и в складчину внести за него деньги, чтобы его освободить, то его наказывают долговременным тюремным

заключением и вдобавок какими-нибудь явными поношениями.

Вообще никто никогда не должен оставаться безнаказанным за какой бы то ни было проступок, даже если совершивший его бежал за пределы государства. Наказанием должны быть смерть, тюремное заключение, палочные удары, унизительные места для сидения и стояния или стояние возле святилищ на окраине страны; либо наказанием должна быть денежная пеня, как мы сказали ранее. Судьями, назначающими смертную казнь, пусть будут стражи законов и особый суд, выбранный из наиболее отличившихся в прошлом году должностных лиц. Последующим законодателям надлежит иметь попечение о таких вопросах, как подача жалобы, вызов в суд и тому подобное, — вообще о том, как все это должно совершаться. Нашей же задачей будет установить закон относительно подачи голосов. Голосование пусть будет открытое. Еще до начала его судьи должны занять места прямо против истца и обвиняемого, возможно более соответственно своему возрасту. Все граждане, у которых есть досуг, пусть отнесутся с сугубым вниманием к такому суду. Сперва слово предоставляется истцу, затем обвиняемому. После

их речей старейший из судей начинает допрос, обращая особое внимание на их показания, а затем и все остальные судьи последовательно должны разобрать, что́ им желательно так или иначе узнать из показаний или умолчаний обеих тяжущихся сторон. У кого из судей нет такого желания, тот передает дальнейшее ведение допроса другому. Запись показаний, которые окажутся идущими к делу, следует запечатать, скрепив ее печатью всех судей, и доложить на жертвенник Гестии. На другой день судьи снова собираются вместе и точно так же, путем расспросов, разбирают дело и скрепляют своей печатью запись показаний. Так поступают трижды; затем, когда собрано достаточно доказательств и показаний свидетелей, каждый судья подает свой священный голос, обязуясь перед Гостией судить по мере сил справедливо и верно. Подобным образом и заканчиваются такие судебные дела.

После преступлений против богов идут преступления, касающиеся ниспровержения существующего государственного строя. Кто стремится сделать законы рабами людей и заставляет государство подчиняться партиям, того, раз он при этом прибегает к насилию, возбуждая противозаконное восстание, надо считать самым

отъявленным врагом всего государства в целом, А кто, хотя и не имеет ничего общего ни с кем из подобных людей, при отправлении главнейших государственных должностей не обратил внимания на такие явления или, хотя и обратил, из трусости не встал на защиту отечества, — такого гражданина следует числить на втором месте в смысле испорченности.

Всякий человек, если он хоть на что-то годен, должен оповещать правителей о заговорах, имеющих целью насильственное и вместе с тем противозаконное изменение государственного строя, и должен привлекать заговорщика к суду. Судьями пусть будут для них те же лица, что и для святотатцев. Весь ход судебного дела будет тоже такой, как и в первом случае. Большинством голосов присуждают виновного к смертной казни. Посрамление и наказание отца не распространяется ни на кого из детей, исключение составляют те дети, чей отец и дед, и отец деда — все подряд были присуждены к смерти. Государство подвергает таких лиц высылке обратно на их родину, в исконное их государство, причем они сохраняют свою собственность, за исключением обработанного ими надела. Но если у гражданина не один сын, а несколько, причем всем им исполнилось

уже десять лет, то по жребию из них выбирают десять человек, в пользу которых высказался отец или дед со стороны отца либо матери; имена вынувших жребий сообщаются в Дельфы. Кого изберет бог, тот вступает в дом в качестве наследника с лучшей надеждой на счастье, чем была у тех, кто оставил дом.

Клиний. Отлично.

Афинянин. В-третьих, тот же закон будет касаться судей, которым придется судить по таким делам, и способа судопроизводства в тех случаях, когда кого-нибудь привлекут к суду по обвинению в измене. Также и относительно пребывания в стране потомков преступника и их выезда на родину будет установлен один закон, одинаковый для всех трех видов преступлений: для измены, святотатств и насильного ниспровержения законов страны.

Для вора, уворует ли он что-нибудь большое или какую-нибудь мелочь, будет опять-таки установлен один закон и одно судебное взыскание, одинаковое для всех воров. Прежде всего вору придется в двойном размере возместить стоимость украденного, раз он будет уличен в воровстве и его имущество сверх надела позволит ему выплатить такую пеню; в противном случае

он будет подвергнут тюремному заключению, пока не уплатит деньги или не примирится со своим обвинителем. Если кто будет уличен в краже публично, он может освободиться из тюрьмы, лишь получив прощение со стороны государства или уплатив двойную стоимость украденного.

Клиний. Хорошо ли мы говорим, чужеземец, что для вора вовсе не надо делать различий, украдет ли он что-нибудь большое или же мелочь и будет ли это кража жертвоприношений или священных предметов и так далее? Все эти виды кражи совсем небезразличны, а раз так, то, следовательно, и законодателю надо установить совершенно различные наказания.

Афинянин. Очень хорошо, Клиний, что ты как бы разбудил меня и не дал слишком далеко занестись. Ты напомнил мне то, о чем и раньше у меня возникала мысль: все относящееся к законодательству ни в коей мере и никогда не было еще правильно разработано до конца, по крайней мере в затронутом теперь случае. Но опять-таки, что тут сказать? Неплохо было бы сравнить всех нынешних людей, для которых устанавливаются законы, с рабами, которых лечат также рабы. Надо твердо усвоить следующее: если бы какой-нибудь врач из числа тех, что врачуют по опыту, а

не на основе знаний, застал свободнорожденного врача в беседе со своим, тоже свободнорожденным, больным, причем этот врач в речах своих приближался бы к философии, затрагивая самый источник болезни и, следовательно, обсуждая природу тел вообще, то врач-раб тотчас же бы расхохотался и обратился бы к другому врачу с такими словами, какие всегда бывают в подобных случаях на языке у большинства таких вот врачей: «Ах ты, чудак, — сказал бы он, — да ты не лечишь больного, а чуть ли не обучаешь его, словно ему надо не выздороветь, а стать врачом!»

Клиний. Разве он не был бы прав, говоря это?

Афинянин. Быть может, если бы при этом он думал, что тот, кто разбирает вопрос о законах так, как разбираем сейчас мы, обучает граждан, а не только дает им законы. Не кажется ли тебе уместным такой его взгляд?

Клиний. Пожалуй.

Афинянин. Мы находимся в настоящее время в благоприятном положении.

Клиний. Почему?

Афинянин. Потому что у нас нет никакой необходимости давать законы; нет, мы сами занимаемся рассмотрением всего, что касается государственного строя, и пытаемся распознать,

каким образом может быть осуществлено то, что всего лучше и что всего более необходимо. Вот и сейчас мы можем, конечно, если хотим, рассмотреть то, что является наилучшим; или опять-таки, если хотим, мы можем рассмотреть, что является самым необходимым в законах. Выберем же одно из двух.

Клиний. Смешной выбор нам предстоит, чужеземец. Вот уж когда мы уподобились бы тем законодателям, которых настоятельная необходимость заставляет законодательствовать немедленно, так как завтра уже нельзя будет этого сделать. А ведь мы, слава богу, можем, словно каменщики или те, что начинают какое-нибудь иное строительство, собрать груду строительного материала и выбрать оттуда все, что подходит для будущей постройки; выбор этот мы можем произвести на досуге. Итак, допустим, что мы сейчас не те люди, которых необходимость заставляет строить дом, а те, кто на досуге то сравнивает один материал с другим, то пробует эти материалы составлять вместе. Стало быть, мы вправе сказать, что часть законов уже установлена, другие же поставлены рядом для сравнения.

Афинянин. Итак, Клиний, предпочтем естественный общий обзор законов. Обратим, ради

богов, внимание вот на что относительно законодателей…

Клиний. На что же?

Афинянин. В государствах есть много писаний и записанных произведений, сочиненных разными людьми; в том числе есть писания и сочинения законодателей.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Неужели мы станем обращать внимание только на писания остальных лиц — поэтов, писавших в стихах, или сочинителей, изложивших для памяти свои взгляды на жизнь, а на сочинения законодателей не обратим внимания? Или, напротив, всего более на них?

Клиний. Без сомнения.

Афинянин. Не должен ли из всех писателей только законодатель изложить свои взгляды на прекрасное, благое и справедливое? Не должен ли он объяснить смысл этих вещей и то, как их надо применять тем, кто намеревается быть счастливым?

Клиний. Разумеется.

Афинянин. Разве более позорно Гомеру, Тиртею и прочим поэтам плохо изложить в своих сочинениях взгляды на жизнь и на ее устроение, чем Ликургу, Солону и вообще тем, кто, став

законодателем, написал сочинения? Или правильнее, чтобы из всех сочинений, имеющихся в государствах, сочинения, написанные о законах, чаще развертывались читателем, так как они гораздо прекраснее и лучше? И чтобы сочинения остальных писателей были согласованы с этими или в случае расхождений считались бы достойными осмеяния? Не таково ли наше убеждение относительно того, как в государствах должна происходить запись законов? Эти записи должны походить на людей разумных и любвеобильных, подобных отцу и матери. Неужели надо считать дело оконченным, если на стенах будут начертаны законы, подобные тирану и деспоту, полные угроз?

Так вот, давайте мы с вами разберем теперь нашу попытку высказывать именно такие убеждения относительно законов. По силам ли это нам или нет, все равно таково наше ревностное желание. Если, идя этим путем, мы должны будем кое в чем пострадать, — что ж, пострадаем, ведь это было бы благом, и, если будет на то воля бога, это именно так и осуществится.

Клиний. Прекрасные слова. Мы поступим так, как ты говоришь.

Афинянин. Следовательно, как мы и попы-

тались, сначала надо тщательно рассмотреть вопрос о святотатцах, всякого рода воровстве и всех других преступлениях. Не надо беспокоиться, если в ходе законодательного труда мы одно уже сумели установить, другое же пока только подвергаем рассмотрению. Ведь мы еще не законодатели; мы только ими становимся и, возможно, скоро станем. Итак, давайте, если вы согласны приступить к рассмотрению, рассмотрим то, о чем я говорил, и именно так, как я сказал.

Клиний. Разумеется, мы согласны.

Афинянин. Относительно всего прекрасного и справедливого попробуем распознать следующее: в чем мы здесь сейчас между собой согласны, а в чем мы не согласны даже с самими собой; ведь мы высказали бы живейшее желание хоть этим, уж если не чем другим, отличить себя от толпы. Затем опять-таки посмотрим, в чем здесь согласна или не согласна сама с собой толпа.

Клиний. Какие же ты заметил у нас разногласия?

Афинянин. Попробую разъяснить. Относительно справедливости вообще, справедливых людей, поступков и деяний мы все как-то согласны, что все это прекрасно. Стало быть, если утверждать,

что все справедливые люди, даже с безобразным телом, прекрасны именно этими своими справедливейшими нравственными качествами, то, пожалуй, в этих словах не окажется ничего несообразного.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Возможно. Теперь, раз все причастное справедливости прекрасно, посмотрим, относятся ли у нас ко всему этому и претерпевания почти наравне с действиями.

Клиний. И что же?

Афинянин. Ведь всякое справедливое действие, пожалуй, лишь постольку причастно справедливому, поскольку оно причастно прекрасному.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Следовательно, и претерпевание, причастное справедливому, становится в силу этого прекрасным? Если мы согласимся с этим, то в нашем рассуждении не будет противоречия.

Клиний. Верно.

Афинянин. Если же мы решим, что претерпевание справедливо, но безобразно, то получится противоречие между справедливым и прекрасным, коль скоро мы соглашаемся, что в данном случае справедливое является самым безобразным.

Клиний. Как, как ты говоришь?

Афинянин. Очень легко сообразить. Дело в том, что установленные нами немного раньше законы могли бы показаться идущими совершенно вразрез со всем нынешним рассуждением.

Клиний. С каким именно?

Афинянин. Мы установили, что святотатец справедливо должен умереть; то же самое и враг хорошо установленных законов. Собираясь установить великое множество таких узаконений, мы приостановились, ведя, что в таком случае будет бесконечно много очень больших претерпеваний, которые, правда, наиболее справедливы из всех претерпеваний, но зато и наиболее безобразны из них. Не будет ли казаться нам справедливое и прекрасное то одним и тем же, то совершенно противоположным?

Клиний. Чего доброго, случится и так.

Афинянин. Вот почему большинство и выражает такие небрежные и несогласованные мнения о прекрасном и справедливом.

Клиний. По-видимому, так, чужеземец.

Афинянин. Значит, Клиний, давайте снова посмотрим, как обстоит у нас дело в смысле согласованности мнений на этот счет.

Клиний. В смысле согласованности чего с чем?

Афинянин. В предшествующей беседе, думается мне, я с полной определенностью высказался об этом; если же это было не так, позвольте мне сказать сейчас…

Клиний. Что именно?

Афинянин. Вот что: все дурные люди бывают дурными во всем лишь против воли. А раз это так, то отсюда необходимо вытекает и дальнейшее следствие.

Клиний. Какое?

Афинянин. Человек несправедливый дурен, но дурной человек бывает таким против воли. Совершать против воли что-либо добровольное не имеет смысла. Итак, тому, кто установил, что несправедливость совершается против воли, человек, совершающий несправедливость, должен казаться совершающим это невольно. С этим я также должен согласиться; дело в том, что и я утверждаю: все совершают несправедливости лишь против воли. Если же кто из соперничества или честолюбия станет утверждать, что люди бывают несправедливы против воли, но все-таки многие добровольно совершают несправедливости, то я соглашусь с первым утверждением, но не со вторым. Однако в чем состоит лад моих слов? Не зададите ли вы мне, Клиний и Мегилл,

следующий вопрос: «Если дело обстоит так, чужеземец, то каков будет твой совет относительно законодательства для государства магнетов? Стоит ли здесь законодательствовать или нет?» «Конечно, стоит», — отвечу я. «Следовательно, ты разграничишь добровольные и невольные несправедливые поступки, и мы установим бóльшие наказания за добровольные погрешности и несправедливости, а за недобровольные — меньшие? Или же за все мы назначим равные наказания, раз уже вовсе нет добровольных несправедливостей?»

Клиний. Конечно, ты прав, чужеземец; но как же нам применить то, что теперь сказано?

Афинянин. Прекрасный вопрос. Мы это применим прежде всего вот как…

Клиний. Да?

Афинянин. Вспомним, что раньше мы прекрасно сказали: относительно справедливости у нас царит полнейшая сумятица и неразбериха. Исходя из этого, снова зададим сами себе вопрос: «Разве мы не выбрались из этого затруднительного положения и не разграничили, чем разнятся между собой добровольные и невольные поступки? Ведь во всех государствах всеми когда-либо бывшими законодателями признано существова-

ние двух видов несправедливых поступков: одни — добровольные, другие — невольные. Неужели же так это и будет установлено законом и мы ограничимся лишь тем. что выскажем сейчас известное положение, словно это изречение бога, на вовсе не обоснуем его правильность, а прямо-таки возведем в закон?» Нет, это невозможно; необходимо, прежде чем давать законы, разъяснить эти два вида проступков и их различие, чтобы всякий, когда будет назначать наказание за проступок, относящийся к первому или второму виду, мог руководиться установленным положением и был бы в состоянии так или иначе судить о том, подходит ли данное установление или нет.

Клиний. Мне кажется, ты прав, чужеземец. И вот нам предстоит одно из двух: либо отказаться от утверждения, что все несправедливые поступки совершаются против воли, либо же сначала определенно выяснить правильность нашего утверждения.

Афинянин. Из этих двух возможностей первая — отказаться от утверждения того, что считаешь истинным, — для меня совсем неприемлема. В самом деле, это было бы и противозаконно, и нечестиво. Надо попробовать каким-то образом

разъяснить, можно ли по какому-либо иному признаку разделить эти проступки на два вида, если уж отказаться от различения их по тому, что одни из них добровольны, а другие совершаются против воли.

Клиний. Мы, чужеземец, совершенно не можем мыслить об этом как-то иначе.

Афинянин. Пусть так и будет. Ну вот хотя бы при взаимном общении и знакомствах — граждане тогда, конечно, немало причиняют друг другу вреда, причем и здесь в изобилии встречается добровольное и невольное.

Клиний. Разумеется.

Афинянин. Так вот, пусть не считают при рассмотрении любого вреда, нанесенного несправедливостью, что здесь бывает два вида несправедливых поступков: во-первых — умышленные, во-вторых — неумышленные. Дело в том, что вред, причиняемый невольно, встречается не реже и вредит не меньше всякого рода добровольно наносимого вреда. Посмотрите, имеют ли мои слова какое-нибудь отношение к заданию, которое я себе поставил, или же вовсе не имеют? Дело вот в чем: я, Клиний и Мегилл, утверждаю, что, когда один человек, совсем того не желая, невольно причиняет вред другому, он совершает

несправедливый поступок, однако совершает его невольно. Поэтому, законодательствуя, я установлю законом, что поступок этот есть невольная несправедливость. Но я вовсе не стану относить этот вид причинения вреда к несправедливости вообще, все равно, в каких бы размерах и кому бы ни был он нанесен. Если мое мнение победит, то мы часто будем утверждать, что несправедливый поступок совершен и тем. кто является виновником какой-нибудь оказанной неправильно услуги. Дело, пожалуй, друзья мои, вот в чем: не потому приходится попросту считать одно справедливым, а другое несправедливым, что человек дал кому-нибудь что-то свое или, наоборот, отнял у кого-нибудь что-то: нет, законодателю надо смотреть, каковы были по отношению к справедливости намерения и образ действий человека, когда он оказал кому-нибудь услугу или нанес какой-нибудь вред. Надо обращать внимание на две различные стороны: на несправедливость и на вред. С помощью законов надо, насколько возможно, возместить нанесенный вред, спасая то, что гибнет, поднимая то, что по чьей-то вине упало, и леча то, что умирает или ранено. Коль скоро проступок искуплен возмездием, надо попытаться с помощью законов из каждого случая

раздоров и вреда сделать повод для установления между виновником и пострадавшим дружеских отношений.

Клиний. До сих пор все прекрасно.

Афинянин. В свою очередь что касается несправедливого нанесения вреда из-за корысти, когда кто-то, причиняя другому несправедливость, обогащается, то, поскольку здесь зло исцелимо, его надо исцелить, считая это душевной болезнью. Надо признать, что, по-нашему, исцеление от несправедливости клонится вот в какую сторону…

Клиний. В какую?

Афинянин. Всякого совершившего большой или малый несправедливый поступок закон наставит и принудит либо никогда более не отваживаться на повторение подобных поступков по доброй воле, либо совершать это в значительно меньшей степени; кроме того, надо возместить нанесенный вред. Делом или словом, удовольствием или страданием, почетом или бесчестьем, пенями или дарами — словом, вообще каким бы то ни было образом заставить человека возненавидеть несправедливость и полюбить или но крайней мере не питать ненависти к природе справедливости — это и есть задача наилучших

законов. Если законодатель заметит, что человек тут неисцелим, то какое наказание определит он ему по закону? Законодатель сознает, что для самих этих людей лучше прекратить свое существование, расставшись с жизнью; тем самым они принесли бы двойную пользу всем остальным людям: они послужили бы для других примером того, что не следует поступать несправедливо, а к тому же избавили бы государство от присутствия дурных людей. Таким образом, законодатель вынужден назначить в наказание таким людям именно смерть, а не что-то иное.

Клиний. Кажется, ты очень удачно все это выразил, однако мы с удовольствием послушали бы это еще в более ясном изложении, а именно мы хотим знать разницу между несправедливостью и вредом и в каком виде сюда включается добровольное и невольное.

Афинянин. Попытаюсь в своей речи исполнить ваше желание. Дело вот в чем. Ясно, что вы в своих беседах держитесь такого взгляда на душу: в самой душе по природе есть либо какое-то состояние, либо какая-то ее часть — яростный дух; это сварливое, неодолимое свойство внедрилось в душу и своей неразумной силой многое переворачивает вверх дном.

Клиний. Да, это так.

Афинянин. А удовольствие мы не отождествляем с яростным духом. Оно владычествует, говорили мы, благодаря силе, противоположной этому духу. С помощью убеждения, соединенного с насилием и обманом, оно осуществляет все, чего только не пожелает.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Не будет ошибкой в качестве третьей причины проступков указать на невежество. Со стороны законодателя было бы лучше разделить это невежество на два вида: простое невежество, которое можно считать причиной легких проступков, и двойное, когда невежда одержим не только неведением, но и мнимой мудростью, — точно он вполне сведущ в том, что ему вовсе неведомо. Если сюда присоединяется сила и мощь, то это можно считать причиной крупнейших и грубейших проступков; если же сюда присоединяется слабость, то возникают детские и старческие заблуждения. Законодатель должен признавать это проступками, но в этом случае законы относятся к виновным очень мягко и снисходительно.

Клиний. То, что ты говоришь, естественно.

Афинянин. Пожалуй, мы все признаем, что

одни из нас сильнее удовольствий и ярости, а другие — слабее. Вот как обстоит дело.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Но неслыханно, чтобы одни из нас были сильнее невежества, а другие — слабее.

Клиний. Сущая правда.

Афинянин. Все эти три свойства — [яростный дух, склонность к удовольствиям и невежество] — заставляют нас искать удовлетворения их желаний и нередко влекут нас в противоположные стороны.

Клиний. Да, это часто бывает.

Афинянин. Так вот, теперь я могу ясно и прямо определить, как я понимаю различие между справедливостью и несправедливостью. Тиранническое господство в душе ярости, страха, удовольствия, страдания, зависти и страстей я считаю несправедливостью вообще, все равно, наносит ли это кому-нибудь вред или нет. Напротив, господство в душе представления о высшем благе, каких бы воззрений ни держалось государство или частные лица на возможность его достижения, делает всякого человека порядочным. Хотя бы он и совершил какой-нибудь ложный шаг, все равно надо считать вполне справедливым поступок, совершенный подобным

образом, и все, что происходит под руководством такого начала, является наилучшим для всей человеческой жизни. Многие относят такое нанесение вреда к невольной несправедливости. Мы сейчас не станем спорить из-за названий, зато в первую очередь как можно лучше запомним выяснившееся сейчас наличие трех видов проступков. Итак, страдание, которое мы обозначили как ярость и страх, составляет у нас один их вид.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Второй вид проступков проистекает из-за удовольствий и, с другой стороны, из-за страстей; третий вид связан со стремлением к осуществлению надежд и правильного мнения о наивысшем благе. Разделив этот третий вид снова на три части, мы получим пять видов проступков, как это сейчас получается. Для этих пяти видов надо установить два различных рода законов.

Клиний. Какие именно?

Афинянин. Один — для явно насильственных действий, другой — для поступков, совершаемых втайне, среди мрака, путем обмана. Впрочем, бывают поступки, где налицо и то и другое. В этом случае законы должны были бы быть наиболее суровыми, если только они соблюдают правиль-

ное соотношение.

Клиний. Естественно.

Афинянин. Возвратимся далее снова к тому, что было нашим исходным пунктом, и будем продолжать установление законов. Помнится, мы установили законы относительно святотатцев, изменников и тех, кто извращает законы с целью ниспровержения существующего государственного строя. Человек может, пожалуй, совершить подобный поступок под влиянием безумия, болезней или глубокой старости, все это ничем не отличается от детского состояния. Если о преступлении поставлены будут в известность судьи, избираемые в каждом отдельном случае, причем об этом заявит либо сам преступник, либо его защитник, и если будет признано, что человек преступил законы, находясь в одном из указанных состояний, то он должен будет попросту возместить тот вред, который он кому-то нанес, а от всей прочей судебной волокиты он будет избавлен. Исключение составляет тот случай, когда убийца не очистил своих рук от убийства; в этом случае он должен удалиться в другую страну, в другое место и там провести целый год в отлучке. Если он вернется до истечения определенного законом срока и ступит где бы то ни было на род-

ную землю, то стражи законов должны посадить его в государственную тюрьму, причем он может быть выпущен из нее по истечении двух лет.

Раз мы уже начали говорить об убийстве, попробуем установить до конца законы относительно всех его видов. Прежде всего поговорим об убийствах насильственных и невольных. Если кто на состязании или на государственных играх невольно убьет человека, с которым находится в дружеских отношениях, — все равно, последует ли смерть сразу или потом из-за нанесенных ударов, — или если кто убьет точно так же на войне либо при воинских упражнениях, когда военные действия воспроизводятся либо с применением оружия, либо без него, — то человек должен очиститься согласно полученному на этот случай из Дельф закону, а затем он считается уже чистым. Это касается и всех врачей, если против их воли умрет больной; в этом случае, согласно закону, врач считается чистым. Если же кто убьет кого-нибудь хоть и невольно, но собственноручно, силой своего тела или оружием, стрелой или тем, что даст ему что-нибудь выпить и съесть, а также тем, что прибегнет к огню или холоду или лишит человека дыхания, — словом, собственной силой или с помощью иных тел, — все равно он счи-

тается человеком, убившим собственноручно. Наказание ему будет следующее: если он убьет раба, приняв его за своего, он должен возместить хозяину умершего раба причиненный вред и убыток, иначе ему придется в наказание в двойном размере оплатить стоимость умершего. Определение стоимости дадут судьи. Очищений в этом случае будет больше, и они многочисленнее, чем для убивших на играх. Решить этот вопрос правомочны избранные богом истолкователи. Если же кто убьет своего раба, то по совершении очищений ему, согласно закону, убийство не ставится в вину. Кто невольно убьет свободнорожденного человека, пусть прибегнет к тем же очищениям, что и человек, убивший раба. Однако пусть он отнесется при этом с почтением к одному старинному поверью из числа самых древних: рассказывают, что насильственно умерщвленный человек, проведший свою жизнь с тем образом мыслей, какой свойствен свободнорожденному человеку, гневается на убийцу за свою раннюю смерть и, будучи полон страха и ужаса из-за испытанного насилия, наводит страх на убийцу, если видит, что тот продолжает жить в местах, привычных для покойного. Полный тревоги сам, покойник изо всех сил тревожит убийцу

и вносит тревогу во все его дела, причем союзником ему в этом служит память. Поэтому убийца должен уступить своей жертве и удалиться из всех родных для покойного мест его отечества на целый год. Если покойный был чужеземец, в течение того же срока убийца не должен посещать его страну. Кто добровольно повинуется этому закону, того ближайший родственник покойного, бывший свидетелем всего происшедшего, должен простить и вообще с ним примириться. Если же ослушник, который еще не очистился от убийства, посмеет отправиться в святилища и приносить жертвы да вдобавок не пожелает выдержать указанного срока отлучки, ближайший родственник покойного должен преследовать его по суду за убийство. В случае обвинительного приговора все меры наказаний удвояются. Если же этот ближайший родственник не возбудит судебного преследования за происшедшее, то всякий желающий может возбудить против него дело как против человека, на которого перешла скверна и обратилось мучение пострадавшего; в этом случае пусть он по закону покинет свое отечество на пять лет.

Если чужеземец невольно убьет чужеземца из числа проживающих в государстве, его может

преследовать по суду всякий желающий на основании тех же самых законов. Если это метек, пусть он удалится на один год; если же он просто чужеземец, то в случае убийства чужеземца, метека или же горожанина он должен помимо очищения на всю жизнь покинуть страну, где действуют эти законы. Если вопреки законам он возвратится, пусть законодатели накажут его смертью, а имущество, какое у него есть, пусть передадут ближайшему родственнику пострадавшего. Коль скоро он возвратится против своей воли, например если морской бурей будет выброшен на берег этой страны, он может раскинуть палатку, однако лишь на краю берега, так, чтобы вода касалась его ног; здесь он должен подстерегать случай для отплытия. Если же кто насильно поведет его в глубь страны, пусть его освободят первые встречные должностные лица и отправят целым и невредимым обратно в прибрежную полосу.

Если кто собственноручно убьет свободнорожденного, причем это будет сделано в ярости, здесь надо различать два случая, а именно: совершен ли поступок в состоянии ярости, так, что человеку причиняют смерть ударами или чем-то другим подобным внезапно и непреднамеренно, под

влиянием мгновенного порыва, а затем тотчас же возникает раскаяние в совершенном поступке. Точно так же под влиянием ярости действуют и в том случае, когда замышляют отомстить за нанесенную раньше словами или бесчестными делами обиду и потом с намерением убить действительно убивают обидчика; в этом случае не возникает раскаяния в совершенном поступке. Стало быть, по-видимому, надо различать два вида убийства, и чуть ли не оба этих вида совершаются под влиянием ярости; всего справедливее было бы сказать, что они занимают середину между умышленными и неумышленными преступлениями. Впрочем, нет, эти виды убийства имеют сходство — одно с умышленным, другое с неумышленным действиями. Ведь тот, кто подавляет ярость, не действует сразу, но намеренно откладывает свое мщение на будущее; действия такого человека подобны умышленным. Напротив, человек, необузданный в гневе, сразу ему подпадающий и не отдающий себе отчета в своих намерениях, подобен действующему невольно, хотя и он действует не вполне так, здесь только внешнее сходство с невольным поступком. Вот почему трудно разграничить те случаи убийств, когда они совершены под влиянием ярости, с

точки зрения того, какие из этих убийств должен закон признать умышленными, а какие — неумышленными. Всего лучше и согласнее с истиной было бы судить о них по признаку сходства и различать оба вида преступлений с точки зрения их преднамеренности или же непреднамеренности, а затем назначать по закону для тех, кто в гневе совершил преднамеренное убийство, наказание более тяжелое, а для тех, кто совершил это непреднамеренно и внезапно, — более легкое. В самом деле, за большее зло естественно назначить большее наказание, а за меньшее — меньшее. Так должны поступить и мы в наших законах.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Снова вернувшись к нашему предмету, скажем следующее: если кто собственноручно убьет свободнорожденного человека и совершит это непреднамеренно, в состоянии гнева, то виновный должен подвергнуться всем тем же наказаниям, что и тот, кто убил без ярости, а именно ему придется на два года отправиться в изгнание в виде кары за свою запальчивость. Если же кто совершит убийство, пусть в состоянии ярости, но преднамеренно, он подвергнется всем тем наказаниям, что указаны в первом случае,

но вместо двух лет изгнания ему назначается три года, то есть более продолжительный срок за более сильную степень ярости. Что же касается обратного возвращения этих лиц, то здесь пусть соблюдается следующее: вполне точные законы дать тут трудно; бывают случаи, когда из этих двух видов убийства тот вид, который признан законом более тяжким, на самом деле оказывается более легким, и, наоборот, тот вид, который признан законом более легким, на деле оказывается более тяжелым, причем во всех обстоятельствах, связанных с убийством, один человек действует более жестоко, другой — более мягко. Впрочем, большей частью все происходит так, как мы сейчас говорим. Во всем этом должны разбираться стражи законов. После того как истекут сроки изгнания для каждого из этих двух видов преступников, пусть они пошлют двенадцать судей к границам страны, с тем чтобы за это время они еще точнее рассмотрели деяния изгнанников и вынесли решение относительно их совестливости и обратного их допущения в государство. Изгнанники со своей стороны должны будут подчиняться решениям этих должностных лиц. Если же по своем возвращении кто-нибудь из бывших в изгнании, поддавшись гневу, снова

совершит тот же самый проступок, то ему назначается изгнание без права возвращения; если же он все-таки возвратится, то его надо подвергнуть тому же, чему подвергается чужеземец в случае возвращения после высылки.

Кто убьет своего собственного раба, пусть подвергнется очищениям; кто же в состоянии ярости убьет чужого раба, пусть вдвойне возместит убытки его владельцу. Всякий убийца, не подчинившийся закону, не подвергшийся очищению, осквернивший своим присутствием рыночную площадь, игрища и все остальные святыни, может быть привлечен к суду любым желающим, равным образом может быть привлечен и родственник покойного, допускающий, чтобы убийца все это делал: его можно принудить по суду уплатить в двойном размере пеню, а также вдвойне подвергнуть прочим мерам взыскания. Полученная пеня поступает по закону в пользу того, кто подал дело в суд. Если раб в состоянии ярости убьет своего господина, то близкие покойного могут сделать с убийцей все, что им угодно, но никоим образом не должны оставить раба в живых — в этом случае они будут чисты от вины. Если же какой-нибудь раб убьет свободнорожденного человека в состоянии ярости, то

господа этого раба пусть передадут его близким покойного, те же обязаны умертвить убийцу каким им угодно способом. Бывает, — правда, редко, — что отец или мать в ярости причиняют ударами или другим каким-то насильственным образом смерть своему сыну или дочери; тогда они должны прибегнуть к тем же самым очищениям, что и все прочие, и отправиться в изгнание на три года. По возвращении убившая должна расстаться с мужем, а убивший — с женой; впредь они не должны вместе производить детей, не могут быть членами семьи, которую они лишили потомка или брата, и не должны принимать участия в почитании общих святынь. Нечестивый ослушник, который не считается с этим, может быть любым желающим привлечен к суду по обвинению в нечестии. Если муж в гневе убьет свою законную жену либо жена совершит такой же точно проступок в отношении мужа, то они должны прибегнуть к указанным очищениям и пробыть в изгнании три года. По возвращении человек, совершивший подобное преступление, не должен принимать участия в священных обрядах вместе со своими детьми и не может иметь с ними общего стола. Ослушник же, будь то отец или сын, опять-таки может быть привлечен к су-

ду по обвинению в нечестии любым желающим. Если брат в ярости убьет брата или сестру или также сестра — брата или сестру, очищения и сроки изгнания будут те же самые, что назначены для родителей и их детей; они также не могут быть членами той семьи, в которой у братьев отняли брата, а у родителей — сына, и не могут принимать вместе с ними участия в священных обрядах. К ослушнику можно правильно и по справедливости применить упомянутый закон о нечестии. Если кто будет настолько несдержан и запальчив по отношению к своим родителям, что в припадке неистового гнева осмелится убить одного из них, убийца, если покойный до своей кончины добровольно простил ему, должен прибегнуть лишь к тем очищениям, что предписаны для невольных убийц; совершив и все остальное, что предписано делать тем, он будет считаться чистым от вины. Но если покойный не простил, тогда человек, совершивший что-либо подобное, подсуден многим законам, ведь он будет судим по самому тяжкому обвинению в оскорблении действием, а равным образом в нечестии и святотатстве, коль скоро он посягнул на жизнь своего родителя. Значит, весьма справедливо было бы подвергнуть отцеубийцу и матереубийцу,

совершившего убийство по причине ярости, многократной смертной казни, если бы только было возможно одному и тому же человеку умереть много раз. Ибо закон запрещает человеку защищаться, даже если родители угрожают ему смертью, и ни один закон не позволяет детям убить отца или мать, произведших их на свет. Поэтому закон предпишет человеку сдержаться и вынести все, лишь бы не совершить такого поступка. Раз это так, то к какой же иной ответственности привлечет закон человека, убившего отца или мать? Нет, пусть будет установлено, что для того, кто в ярости убил отца или мать, наказанием будет смерть. Если же брат убьет брата во время стычки при междоусобице или при обстоятельствах, подобных этим, причем он будет лишь обороняться от зачинщика схватки, то он считается чистым от вины так же, как если бы он убил неприятеля. То же самое, если при подобных обстоятельствах гражданин убьет гражданина или чужеземец чужеземца. Если гражданин, обороняясь, убьет чужеземца или чужеземец — гражданина, то, согласно тому же правилу, он считается невиновным. То же самое, если раб убьет раба. Напротив, если раб, хотя бы и обороняясь, убьет свободнорожденного, он

подпадает под действие тех же законов, что и отцеубийца. То, что сказано относительно прощения отцом своего убийцы, одинаково касается и всех этих случаев. Если человек по доброй воле простит своего убийцу как совершившего это дело невольно, пусть преступник прибегнет к очищениям и по закону выселится на один год из страны.

Относительно убийств насильственных или непреднамеренных, а также происходящих под влиянием ярости достаточно сказано. Затем нам надо поговорить о случаях намеренного убийства или убийства, происходящего под влиянием крайней необузданности, а также о злом умысле, возникающем из-за приверженности человека к удовольствиям и из-за страстей и зависти.

Клиний. Ты прав.

Афинянин. И в этом случае мы сначала по мере сил укажем, сколько здесь может быть видов. Самое великое зло — это господство страсти, когда душа дичает от вожделений. Всего более это проявляется в том, к чему у большинства имеется самое глубокое и сильное вожделение, то есть в силе, которая вследствие дурных природных свойств и воспитания порождает тысячи побуждений к ненасытному и беспредельному

стяжанию имущества либо денег. Причиной же невоспитанности служит распространенное среди эллинов и варваров мнение, превратно восхваляющее богатство. Признавая богатство первым из благ — между тем как на самом деле оно стоит лишь на третьем месте, — они портят и самих себя, и свое потомство. Насколько лучше и прекраснее было бы, если бы во всех государствах господствовал истинный взгляд на богатство: оно существует ради тела, тело же существует ради души. Раз имеются блага, ради которых и существует богатство, значит, его надо поставить на третье место — после телесных и душевных качеств. Положение это учит, что человек, желающий быть счастливым, должен не стремиться к обогащению, но быть богатым, сохраняя справедливость и рассудительность. В этом случае в государствах не было бы убийств, которые требуют для своего искупления других убийств. А теперь, как мы и заметили вначале, есть одно, и притом величайшее, зло, требующее величайшего наказания за намеренно совершенное убийство. На втором месте стоит честолюбие, порождающее в одержимой им душе зависть, которая с трудом уживается прежде всего со своим владельцем, а затем и с лучшими людьми в

государстве. На третьем месте стоят низменные и неправедные страхи, которые вызывают много убийств, когда человек хочет, чтобы никто, кроме него, не знал о совершении им — теперь или в прошлом — тех или иных поступков, вот он и устраняет путем умерщвления всех тех, кто мог бы о них донести.

Пусть все это послужит вступлением к такого рода законам. Вдобавок можно напомнить учение, которому многие люди очень верят, когда слышат его из уст тех, кто во имя него ревностно занимается священными таинствами. Учение это утверждает, что за все подобного рода поступки человека ожидает расплата в Аиде, а когда он снова вернется на Землю, ему придется расплатиться согласно природному правосудию, то есть испытать участь пострадавшего от него лица, в своей тогдашней жизни он подобным же образом будет убит другим человеком. Кто повинуется и уже на основании самого вступления всячески страшится этого правосудия, тому совсем не нужно, чтобы и закон это провозглашал. Но для ослушника пусть будет дан следующий закон, и притом в письменном виде.

Кто с заранее обдуманным намерением и противозаконно собственной рукой убьет кого-

либо из своих соплеменников, тот прежде всего лишается покровительства законов, не смеет осквернять своим присутствием ни святилищ, ни рыночной площади, ни гаваней, ни иных общих мест собраний; при этом все равно, запретил ли кто преступнику туда вход или нет, ведь сам закон запрещает ему это и будет выражать такой запрет всегда в защиту всего государства. Кто из родичей покойного, включая двоюродных родственников по мужской или по женской линии, не возбудит судебного преследования против преступника и не потребует прекращения всякого общения с ним, на того прежде всего обращается скверна и вражда богов, как об этом предупреждает слово закона. Во-вторых, всякий желающий отомстить за покойного может привлечь к суду преступника. Человек, желающий отомстить, пусть выполнит все, что касается тщательного совершения очистительных омовений и прочих обычаев, предписанных богом. Далее, пусть сделает предупреждение, а затем уже он может заставить преступника подвергнуться законному правосудию. Законодателю легко показать, что все это должно сопровождаться некими молитвами и жертвоприношениями определенным богам, которые пекутся о том, чтобы в государ-

ствах не совершалось убийств. Стражи законов совместно с толкователями, прорицателями и божеством установят, каким образом надо учинять подобные дела, и издадут законы о том, каким богам это подвластно и какой способ ведения таких судебных дел всего вернее соответствует божественному праву. Судьи здесь будут те же, которые, как было сказано, правомочны в суде над святотатцами.

В случае признания виновности преступник наказывается смертью; его не следует хоронить в стране пострадавшего, так как кроме нечестия преступник выказал еще и бесстыдство. Кто не пожелает подвергнуться суду и с помощью бегства от него уклонится, пусть навсегда остается в изгнании. Если же преступник снова где-нибудь вступит в страну убитого, то первый встречный, будь то член семьи умершего или же кто-нибудь из остальных граждан, может его невозбранно убить либо, связав, передать для казни правителям, являющимся судьями в таких делах. Истец пусть вместе с тем требует, чтобы лицо, которому он предъявляет иск, представило поручителей. Ответчик же пусть представит тех поручителей, которых данные судьи признают достойными, иначе говоря, трех верных поручителей, которые

поручатся, что обвиняемый явится в суд. Того, кто не желает или не может представить поручителей, власти задерживают, берут под стражу и предоставляют решению суда. Если кто убил не собственноручно, а лишь замышлял кого-нибудь умертвить и, став из-за этого своего желания и замысла виновником смерти этого человека, продолжает жить в государстве, не очистившись от убийства, то разбор дела и в этом случае происходит так же, за исключением поручительства. Виновному дозволяется быть погребенным у себя на родине, все же остальное здесь происходит точно так же, как там. Это одинаково касается отношений как между чужеземцами, так и между гражданами и чужеземцами; касается это и отношений между рабами, как в случае убийства собственной рукой, так и в случае намерения убить. Исключением здесь является лишь поручительство; поручители, как уже было сказано, требуются только тем, кто собственноручно совершил убийство. Тот, кто обвиняет кого-либо в таком убийстве, должен одновременно требовать и поручительства. Если раб намеренно убьет свободнорожденного человека, собственноручно ли или замыслив это убийство, и будет признан виновным, пусть государственный палач отведет

его к надгробному памятнику умершего, так, чтобы он мог видеть могилу, и здесь подвергнет его стольким ударам бича, сколько предпишет обвинитель; если раб не умрет во время бичевания, его предают смерти. Если же кто убьет раба, не совершившего ничего дурного, из опасения, как бы он не донес о позорных и злых делах этого человека или по какой-нибудь другой подобной причине, то убийца раба подвергнется такому же наказанию, как за убийство гражданина.

Бывают случаи, при которых очень страшно и нелегко издавать законы, между тем как не издать их невозможно. Таковы случаи намеренного и во всех отношениях несправедливого убийства, собственноручного или подстроенного, которое случается между родственниками. В большинстве случаев это бывает в плохо устроенных и диких государствах, но отдельные случаи такого рода могут встретиться и там, где их меньше всего ожидаешь. Поэтому надо повторить то, что мы недавно сказали, чтобы тот, кто нас слушает, по этой причине лучше добровольно воздержался от тех убийств, которые во всех отношениях самые нечестивые. Ведь древние жрецы ясно рекли слово или сказание — как бы это ни называть — о том, что за пролитие крови родичей мстит

блюстительница Правда; пользуясь только что названным законом, она предписывает, чтобы человек сам неизбежно подвергся тому, что он совершил. Если кто убил когда-нибудь своего отца, то настанет час и ему придется со стороны своих детей подвергнуться такому же насилию. Если же он убил свою мать, то ему неизбежно суждено вновь родиться уже в виде женщины, а впоследствии лишиться жизни от собственного же чада. Ибо нет иного способа очиститься от пролитой родной крови; кровавое пятно нельзя смыть до тех пор, пока душа виновного не искупит своего преступления тем же самым образом: подобное подобным, убийство — смертью от руки убийцы — и не успокоит тем самым гневный дух родни. Поэтому каждому следует воздерживаться от таких преступлений из страха перед божественным возмездием. Если же иных людей все-таки постигнет эта несчастная судьба и они намеренно и добровольно осмелятся разлучить с телом душу своего отца, матери, брата или ребенка, то на этот случай смертным законодателем издается следующее установление. После предупреждения об иске люди эти объявляются вне закона; поручительство они должны представить таким же образом, как в упомянутых раньше

случаях. И если человек будет уличен в подобном преступлении, то есть если он действительно убил кого-нибудь из своих родичей, его предают смертной казни служители судей и должностные лица, а тело его обнаженным должно быть выброшено за пределы государства, на отведенный для этого перекресток. Затем все должностные лица от лица всего государства пусть принесут каждый по камню и бросят его в голову трупа, чтобы таким образом очистить все государство. После этого труп выносят к крайним пределам страны и здесь выбрасывают, причем по закону он лишается погребения.

Чему же в таком случае должен подвергнуться человек, убивший то, что всего ближе и, как говорится, всего дороже? Я говорю о самоубийцах, которые насильно лишают себя того, что им суждено судьбой, хотя их к этому не приговаривало государство, не вынудила неотвратимым страданием несчастная случайность или выпавший на их долю тягостный стыд, делающий невозможной жизнь, сами над собой творят они этот неправедный суд из-за своей слабости и отсутствия мужества. Что касается очищения и погребения такого человека, то обычаи эти ведомы богу. Поэтому ближайшие родственники

должны обратиться к толкователям и вместе с тем к законам, касающимся этих дел, и поступить согласно их предписаниям. Погребать самоубийц надо прежде всего в одиночестве, а не вместе с другими людьми. Далее, столь бесславных людей надо хоронить на пустырях, не имеющих имени, на границах двенадцати частей государства, не отмечая при этом места их погребения ни надгробными плитами, ни надписями.

Если подъяремная скотина или иное какое-нибудь животное убьет человека (исключение здесь составляют те случаи, когда это постигает атлета, выступающего на общегосударственном состязании), то родственники должны выступить судебным порядком против убийцы; дело разбирают агрономы, выбранные в любом числе каким-нибудь родственником. Уличенное животное убивают и выбрасывают за пределы страны. Если же неодушевленный предмет лишит человека души, за исключением молнии и тому подобных перунов божеств, иными словами, если предмет своим падением убьет человека или человек сам на него упадет, пусть родственник выберет в судьи для этого дела своего самого близкого соседа и перед ним очистит себя и всю свою родню; виновный же предмет надо выбро-

сить вон, как это было указано для животных.

Если, с другой стороны, обнаружена чья-нибудь смерть, но неясно, кто убийца, и даже после тщательных розысков не смогут его найти, то вступают в силу те же самые предупреждения, что и в остальных случаях. Совершившего объявляют виновным в убийстве, решение суда провозглашается на рыночной площади: «Убивший такого-то осужден за убийство и не имеет доступа в святилища и вообще в страну, где жил пострадавший; если он появится и будет опознан, он будет предан смертной казни и без погребения выброшен вон за пределы страны пострадавшего». Пусть у нас действует один такой главный закон об убийстве.

Вот как до сих пор обстоит дело с такими вещами. Что же касается того, при каких условиях убийство какого-нибудь человека не ставится в вину убившему, то здесь пусть будет постановлено следующее: если кто ночью убьет вора, захватив его при попытке ограбить дом, тот невиновен; кто, обороняясь, убьет грабителя, тот невиновен; если кто-то пытается изнасиловать свободнорожденную женщину или отрока, того может невозбранно убить лицо, подвергнувшееся насилию, а также отец, братья или сыновья.

Если муж застанет кого-нибудь, пытавшегося изнасиловать его жену, то по закону он невиновен, коль скоро убьет насильника; если кто совершит убийство, защищая своего отца, не сделавшего ничего нечестивого, или свою мать, детей, братьев, супругу, то он совершенно невинен.

Мы уже установили законы о воспитании и образовании живой души, делающих для нее приемлемой жизнь (для души, лишенной их, жизнь невозможна), а также относительно смертной казни, являющейся карой за насилие; сказано нами также о телесном уходе и воспитании. Вслед за тем надо рассмотреть намеренные и невольные насильственные деяния, учиняемые друг другу людьми. Надо по мере сил определить, каковы они, сколько их [видов] и какие наказания были бы полезны в этих случаях. Вот о чем, видимо, правильно было бы установить дальше законы.

На втором месте после убийства всякий, даже самый неумный из законодателей, поставил бы ранения, а также увечья от ран. Как мы различили разные виды убийства, так нужно различать и виды ранений: одни из них причиняются невольно, другие — в состоянии ярости, третьи — под влиянием страха, четвертые — с сознательным умыслом. Относительно всего этого надо пред-

варительно сказать вот что: людям необходимо установить законы и жить до законам, иначе они ничем не будут отличаться от самых диких зверей. Причина здесь та, что природные свойства человека далеко не достаточны, чтобы распознать все полезное для человеческого общежития или, даже распознав это, всегда быть в состоянии осуществлять высшее благо и стремиться к нему. Прежде всего трудно распознать, что истинное искусство государственного правления печется не о частных, но об общих интересах — ведь эта общность связует, частные же интересы разрывают государство — и что как для того, так и для другого, то есть для общего и для частного, полезно, если общее устроено лучше, чем частное. Во-вторых, если даже кто и распознает, что от природы все это обстоит именно так, и усвоит это в достаточной мере на деле, то впоследствии, став неограниченным и самовластным главой государства, он ни в коем случае не сумеет остаться при этих взглядах и не сочтет нужным всю свою жизнь поддерживать в государстве общие нужды, предоставляя частным нуждам следовать за общими. Нет, его смертная природа всегда будет увлекать его к корысти и служению своим личным интересам. Безрассудно избегая страданий и

стремясь к удовольствиям, она поставит их выше того, что более справедливо и лучше. Себя самое она ввергнет в мрак и в конце концов преисполнит всяческим злом и себя, и все государство в целом. Ведь если бы по воле божественной судьбы появился когда-нибудь человек, достаточно способный по своей природе к усвоению этих взглядов, то он вовсе не нуждался бы в законах, которые бы им управляли. Ни закон, ни какой бы то ни было распорядок не стоят выше знания. Не может разум быть чьим-либо послушным рабом; нет, он должен править всем, если только по своей природе подлинно свободен. Но в наше время этого нигде не встретишь, разве что только в малых размерах. Поэтому надо принять то, что после разума находится на втором месте, — закон и порядок, которые охватывают своим взором многое, но не могут охватить всего. Все это было сказано с такой именно целью.

Теперь мы установим, чему должен подвергнуться или что должен уплатить человек, ранивший другого или нанесший ему какое-нибудь повреждение. У каждого вполне основательно возникнет здесь много вопросов: куда нанесена рана, кого ранили, как и когда — все надо им объяснить, ведь здесь есть несчетное количество

случаев, сильно отличающихся друг от друга. Поручить суждение обо всем этом судам невозможно, отнять у них это право тоже нельзя. Зато одно необходимо предоставить их решению, а именно, произошло ли действительно ранение, или его вовсе не было. Впрочем, ничего не предоставлять их усмотрению из вопросов о наказании и должной каре обидчику, но самому установить законы о всех существенных и незначительных видах ранений тоже едва ли возможно.

Клиний. Что же нам на это сказать?

Афинянин. А вот что: часть вопросов надо предоставить судам; другую же часть им предоставить нельзя, а надо самому установить здесь законы.

Клиний. О чем же надо установить законы и что можно передать на решение судей?

Афинянин. Правильнее всего было бы сказать вот что: в государстве, где негодные, безгласные суды скрывают свои мнения и втайне принимают решения или, что еще более ужасно, выносят их не спокойно, но среди страшного шума, точно в театре, криками поощряя или порицая каждого из выступающих ораторов, — в таком государстве обычно создается трудное положение. Необходимость давать законы таким судам не приносит

никакой радости. Однако, если кто все-таки вынужден устанавливать законы для подобного государства, нужно бóльшую часть их подробно оговорить самому, судьям же предоставить установление наказаний лишь по самым пустячным делам. Зато в государстве, где суды по мере сил устроены надлежащим образом, где те, кто собирается стать судьями, хорошо воспитаны и их прошлое подвергнуто тщательной проверке, там в большинстве случаев предоставление судьям решения, какому наказанию должны подвергаться виновные или какую пеню уплатить, будет делом правильным и прекрасным. Поэтому нам нельзя сейчас поставить в упрек, что мы не даем им самых важных и многочисленных предписаний, ведь даже получившие не очень хорошее воспитание судьи могут сообразить, какое нужно установить наказание за то или иное преступление, чтобы оно было достойно совершенного проступка и вызванного им страдания. А раз мы считаем судей, для которых мы устанавливаем законы, ничуть не хуже тех, о которых сейчас сказали, то им можно предоставить весьма многое. Впрочем, как мы нередко указывали и как мы поступали раньше, устанавливая законы, надо и здесь дать общий обзор и типы взысканий,

которые служили бы судьям образцами и препятствовали бы им выходить за пределы правосудия. Тогда это было правильно; и теперь надо, поступив точно так же, снова вернуться к законам.

Иск по делам о ранении будет у нас установлен так: если (за исключением тех случаев, когда это допускается законом) кто с заранее обдуманным намерением хотел убить мирного обитателя, но не смог этого сделать, а лишь ранил его, такого человека, злонамеренно нанесшего рану, не стоит жалеть, без всякого зазрения совести его надо привлечь к суду точно так же, как и убийцу. Однако из уважения к его не совсем злой судьбе и к божеству, которое смилостивилось над ним и над раненым, отвратив от одного из них смертельную рану, а от другого — проклятую участь и несчастье, в благодарность этому божеству, чтобы ему не противиться, надо избавить от смертной казни того, кто нанес рану, и заменить ее пожизненной высылкой в соседнее государство с сохранением права пользования всем принадлежащим ему имуществом. Если же он нанес раненому увечье, то обязан его возместить согласно оценке суда, которому подлежит это дело. Это тот самый суд, куда поступило бы дело об убийстве, если бы пострадавший скон-

чался от нанесенной раны. Если сын умышленно ранит своих родителей, а раб — своего господина, то наказанием назначается смертная казнь. Если точно так же брат ранит брата или сестру или сестра — брата или сестру и будет доказана умышленность нанесения раны, то наказанием назначается смертная казнь. Жена, ранившая своего мужа, или муж — свою жену — с заранее обдуманным намерением убить — должны отправиться в вечное изгнание. Об имуществе изгнанного, если его сыновья или дочери малолетние, позаботятся опекуны и возьмут под опеку детей как сирот. Если же дети уже взрослые, то они наследуют собственность родителей, причем без обязательства содержать изгнанника. Если такое несчастье постигнет человека бездетного, то родственники изгнанника, вплоть до двоюродной степени родства с обеих сторон как по мужской, так и по женской линии, должны собраться вместе и назначить наследника этого дома — одного из пяти тысяч сорока домов в государстве, — посоветовавшись со стражами закона и жрецами и приняв в соображение следующее правило: ни один дом из числа пяти тысяч сорока не является собственностью его обитателя или его семьи, но скорее частной собственностью все-

го государства. А государственные дома должны быть по мере сил как можно более благочестивыми и счастливыми. Если какой-нибудь из этих домов впадает в такое нечестие и несчастье, что владелец не оставит в нем детей, будучи холостым или бездетным в браке, и в то же время будет изобличен в умышленном убийстве или в ином преступлении против богов либо граждан, за которое законом ясно определена смертная казнь, или будет отправлен в вечное изгнание, то по закону надо прежде всего совершить очищение этого дома и принести искупительные жертвы Зевсу. Затем домочадцы, как было только что сказано, должны собраться вместе со стражами законов и рассмотреть, какая семья в государстве снискала себе наилучшую славу своей добродетелью и счастливой судьбой, притом что в ней есть несколько детей: одного из этих детей надо сделать приемным сыном отца покойника и всех предков этого рода и дать ему доброе имя, дабы он при более счастливых предзнаменованиях, чем его отец, стал отцом семейства, домохозяином и заботливым исполнителем благочестивых священнодействий. Помолившись таким образом, его назначают законным наследником, а преступник остается без имени, без детей, без

надела, коль скоро его постигло такое несчастье.

Конечно, не у всего, что существует, предел соприкасается с пределом, бывают промежутки, внедренные в пределы, предшествующие им и оказывающиеся между ними. То же самое можно сказать и о намеренных или невольных поступках, совершенных в состоянии ярости. Итак, если кто будет уличен в том, что именно в этом состоянии он нанес рану другому, то прежде всего он должен в двойном размере возместить ущерб, если рана излечима; если же неизлечима, он должен возместить ущерб в четверном размере. Если рана излечима, но раненый понес великий позор и поношение, виновный должен возместить ущерб в тройном размере. Если же ранение вредит не только пострадавшему, но и государству, так как раненый лишился возможности защищать родину от врагов, виновник сверх остальных наказаний возмещает ущерб, нанесенный им государству: кроме собственной воинской повинности он несет ее также и за увечного, заместив его в военном строю. Если он не исполнит этого, любой желающий может привлечь его по закону к суду за уклонение от воинской службы. Судьи, назначенные путем голосования, определяют двойное, тройное или

четверное возмещение за нанесенный ущерб. Если брат ранит брата указанным образом, родственники со стороны его отца и матери, вплоть до двоюродной степени родства по женской и мужской линии, собираются вместе — и мужчины, и женщины — на совет, а определение наказания поручают его родителям. Если степень наказания вызывает споры, берет верх решение родственников по мужской линии. Если же и они не в силах этого сделать, то в конце концов они поручают это стражам законов. Необходимо, чтобы судьи по делам о ранениях, нанесенных родителям детьми, уже переступили за шестьдесят лет и имели бы детей, не приемных, а своих собственных. Если кто будет уличен в преступлении, надо определить, должен ли такой человек быть просто казнен, подвергнут чему-то еще большему или же должен понести немного меньшее наказание. Из родственников преступника никто не имеет права участвовать в суде, даже если он достиг положенного законом возраста. Если раб в припадке ярости ранит свободнорожденного человека, его владелец передает этого раба раненому — пусть тот поступит с ним как угодно. Если же он не передаст раба, то сам должен искупить нанесенный ущерб. Если он обвиняет раба

и раненого в заговоре и какой-нибудь уловке, он может начать тяжбу. Если он не выиграет, он втройне оплачивает ущерб, а если выиграет, то тот, кто хитрил вместе с рабом, подпадает под обвинение в незаконном присвоении раба. Кто невольно ранит другого, тот просто возмещает ему ущерб, потому что никакой законодатель не волен над судьбой. Судьями пусть будут те же лица, которые указаны для случаев ранения детьми родителей, они определяют размер возмещения убытка за понесенный ущерб.

Все указанные нами сейчас действия являются насильственными. Всякий вид оскорбления действием есть также насилие. Каждый мужчина, женщина и ребенок должны всегда мыслить об этом так: престарелые люди гораздо больше заслуживают почтения, чем молодые, в глазах богов, а также людей, желающих быть счастливыми и невредимыми. Позорное для государства и ненавистное богам зрелище, когда младший бьет старшего. Если же старик ударит молодого человека, тот должен терпеливо подавить свой гнев, имея в виду, что и ему самому, когда он состарится, будет предоставлено такое же преимущество. Итак, пусть действует такое постановление: всякий и в делах, и в речах должен

у нас совеститься тех, кто старше его. Каждого мужчину и каждую женщину, на двадцать лет старших себя, надо считать отцом или матерью и бережно к ним относиться. Ради богов — покровителей рождения надо удерживаться от оскорбления всех тех, кто по своему возрасту мог бы тебя родить и произвести на свет. По этой причине не следует оскорблять даже чужеземца, все равно, давно ли тот поселился в стране или же прибыл недавно, ни по собственному почину, ни ради защиты не до́лжно вразумлять ударами человека такого возраста. Если же кто находит, что надо обуздать чужеземца, нагло и бесстыдно напавшего на него с ударами, то он может его задержать и отвести к правителям-астиномам, но сам пусть воздержится от побоев. Тем более он должен остерегаться дерзко ударить когда-нибудь своего земляка. Чужеземца, совершившего это, астиномы задерживают и производят разбор дела, бережно относясь к богу — покровителю чужеземцев. Если они решат, что чужеземец несправедливо бил местного жителя, они назначат ему столько же ударов бичом, сколько он нанес сам, — за его чужеземную дерзость, этим дело и ограничивается. Если же чужеземец поступил по справедливости, то астиномы, пригрозив

и вынеся порицание тому, кто его вызвал в суд, отпускают обоих.

Если сверстник побьет своего сверстника или человека старше себя, но не имеющего детей, или если старик побьет старика либо юноша — юношу, то разрешается естественная защита, но без оружия, лишь голыми руками. Если же человек, переступивший за сорок лет, осмелится с кем-нибудь драться, сам являясь зачинщиком или только обороняясь, его будут считать грубым, неблагородным и подобным рабу, и такое порицание будет подобающим ему наказанием. Если он повинуется такому увещанию, его легко обуздать. А неповинующийся, не обращающий никакого внимания на введение к этим законам, пусть будет готов к принятию следующего узаконения: если кто побьет человека старше на двадцать лет, чем он сам, и более, то прежде всего свидетель этого происшествия, если он не ровесник и не моложе дерущихся, должен их разнять, иначе он прослывет по закону дурным гражданином. Если же он ровесник тому, кого бьют, или еще моложе его, он должен прийти к нему на помощь как к своему брату, отцу или вообще обиженному старшему родственнику. Кроме того, как было указано, осмелившийся бить старшего подпадает

под обвинение в оскорблении действием. Если он будет уличен, его приговаривают к тюремному заключению не меньше чем на год. Если же судьи назначат больший срок, пусть этот назначенный ему срок войдет в силу. Если чужеземец или метек побьет человека, на двадцать или более лет старшего, чем он сам, тот же самый закон точно так же призывает всех вступиться за пострадавшего. Проигравший судебное дело, раз он чужеземец, а не местный житель, подвергается в наказание двухлетнему тюремному заключению; если же метек не послушался законов, то он заключается в тюрьму на три года, коль скоро суд не назначит ему большего срока. Свидетель такого происшествия, не пришедший, однако, на помощь, как это предписывает закон, подвергается пене в размере одной мины, если он принадлежит к высшему классу, в пятьдесят драхм — если он принадлежит ко второму классу, тридцати — если к третьему, двадцати — если к четвертому. Суд над такими людьми состоит из стратегов, таксиархов, филархов и гиппархов. По-видимому, одни из законов устанавливаются ради людей порядочных с целью научить их, каким образом надо общаться друг с другом, чтобы жить в мире; другие же законы даются для лю-

дей, не получивших воспитания и обладающих неподатливой природой, которую ничем нельзя смягчить, — даются с той целью, чтобы люди эти не предались окончательно пороку. Именно такие люди и заставляют нас высказать то, что будет сказано. Законодатель дает им законы только вынужденно и предпочел бы, чтобы законы эти никогда не применялись.

Если кто осмелится применить насилие и оскорбить отца, мать или их родителей, не убоявшись ни гнева вышних богов, ни возмездия, ожидающего, как считается, человека в Аиде; если такой человек, словно зная все то, чего он вовсе не знает, презирает древние, всеми рассказываемые предания и поступает вопреки законам, то, чтобы отвратить такого человека от преступления, нужны крайние меры. Смерть не будет еще такой крайней мерой; скорее уж муки, которые существуют, как говорят, в Аиде, и даже еще что-нибудь горшее. Однако даже учения, возвещающие высшую истину, не производят никакого впечатления на подобные души и не отвращают их от преступления. Ведь иначе не существовало бы ни матереубийц, ни дерзкого и нечестивого нанесения побоев другим своим старшим родичам. В этих случаях наказание,

еще при жизни постигающее подобных людей за такие поступки, ничем, насколько это возможно, не должно уступать наказанию в Аиде.

Теперь надо сказать так: если кто, не будучи охвачен безумием, осмелится бить своего отца или мать или их родителей, то прежде всего любой встречный должен прийти тем на помощь, как и в указанных раньше случаях. Метек или чужеземец, оказавший такую помощь, получает право занимать почетные места во время состязаний. Лица же, не оказавшие помощи, навсегда изгоняются из страны. Неметек, оказавший помощь, получает похвалу; не оказавший ее подвергается порицанию. Раб, оказавший помощь, становится свободным; не оказавшего такой помощи раба агораномы наказывают сотней ударов плетью, если преступление произошло на рыночной площади; если же оно совершилось вне площади, где-нибудь в городе, то дело астиномов наказать того, кто здесь живет. В случае если это происходит где-то в деревне, наказание осуществляют начальники агрономов. Каждый встречный местный житель — мужчина ли, мальчик или женщина — обязан давать отпор такому человеку, считая его нечестивым. Не давший отпора навлекает на себя по закону про-

клятие Зевса, покровителя родственных связей и отцовских прав. Кто будет уличен в жестоком обращении с родителями, тот прежде всего навсегда изгоняется из города в другие места страны и не допускается ни к каким святилищам. Когда он туда явится, агрономы наказывают его побоями и любым другим способом по своему усмотрению. Если же он вернется назад, наказанием ему будет смертная казнь. Кто из числа свободнорожденных людей станет пить или есть вместе с таким человеком или иным каким-нибудь образом вступит с ним в общение, или даже, встретив его наедине, добровольно к нему прикоснется, тот не должен входить в святилище, посещать рыночную площадь и вообще город, пока не очистится, так как он должен считать, что соприкоснулся с пагубной судьбой. Если он не послушается закона и вопреки ему осквернит святилище и город, должностное лицо, заметившее это и не привлекшее его к суду, берет на себя ответственность за нарушение своих обязанностей и, конечно, достойно наказания. Если раб побьет свободнорожденного человека, все равно гражданина или чужеземца, первый встречный должен прийти тому на помощь, иначе он заплатит указанную нами раньше пеню согласно

своему имущественному цензу. Случившиеся там люди вместе с потерпевшим должны связать его и передать этому потерпевшему. Тот же, получив своего обидчика, может, заковав его в колодки, бичевать его, сколько ему угодно, лишь бы только не причинить этим ущерба господину раба; затем он передает его господину, и пусть тот владеет им по закону. А закон таков: если кто, будучи рабом, побьет свободнорожденною человека без приказания на то должностных лиц, то хозяин, получив своего раба от пострадавшего, держит его в оковах и освобождает не раньше, чем раб убедит пострадавшего в том, что он достоин жить на свободе. Все эти законы равным образом касаются взаимоотношений женщин, отношений женщин с мужчинами и отношений мужчин с женщинами.

Книга X

Афинянин. После рассмотрения вопроса об оскорблениях действием дадим примерно такое узаконение, одинаковое для насилия любого рода: никто не должен ни похищать ничего из чужого имущества, ни пользоваться чем бы то ни было из того, что принадлежит соседям, без разрешения на то со стороны владельца. В самом деле, в зависимости от этого возникли, происходят и будут происходить все вышеуказанные бедствия. Из прочих зол величайшим является распущенность и дерзость молодежи, в особенности велико зло, если это проявляется по отношению к государственным святыням или святыням, общим для членов филы и других подобных объединений. Вторыми по степени важности являются оскорбления, наносимые частным святыням и могилам. На третьем месте стоит дерзость в отношении к родителям; когда такая дерзость проявляется, ее следует отличать от вышеупомянутых оскорблений действием. Четвертый род дерзости — когда человек, небрежно относясь к должностным лицам, похищает их вещи или пользуется чем-то им принадлежащим

без их на то разрешения. На пятом месте можно поставить нарушение гражданских прав любого гражданина, это влечет за собой вызов в суд. Для каждого из этих случаев должен быть издан во имя общего блага закон.

Мы уже разобрали вкратце вопрос о наказании за святотатство, если оно проявляется в насильственном и тайном похищении священных предметов. Но законам о каре, которую должен понести человек, словом или делом оскорбляющий богов, надо предпослать наставление. А наставление это будет таким: никто из тех, кто, согласно с законами, верит в существование богов, никогда намеренно не совершит нечестивого дела и не выскажет беззаконного слова. Человек может это сделать в одном из трех случаев: либо, повторяю, если он не верит в существование богов, либо (второй случай) хотя и верит в их бытие, но отрицает их вмешательство в людские дела, либо, наконец (третий случай), если человек полагает, будто богов легко склонить в свою пользу и умилостивить жертвами и молитвами.

Клиний. Как же нам поступить с такими людьми и что о них сказать?

Афинянин. Прежде выслушаем, дорогой мой, их самих. Я угадываю, что́ они станут шутливо

говорить в сознании своего превосходства над нами.

Клиний. Что же именно?

Афинянин. Поддразнивая нас, они, возможно, скажут следующее: «Афинский чужеземец, ты, лакедемонянин, и ты, кносец, вы говорите правду. В самом деле, некоторые из нас совершенно не признают богов, а другие признают их такими, как вы говорите. Мы считаем справедливым, чтобы вы, прежде чем грозить нам суровыми карами, попробовали сперва — как вы это сочли нужным сделать с законами — убедить и наставить нас в том, что боги существуют и что они слишком благи, чтобы их можно было вопреки справедливости преклонить и прельстить какими-нибудь дарами. Ведь ныне мы слышим именно такое мнение или подобное ему от лучших и самых признанных поэтов, ораторов, прорицателей, жрецов и бесчисленного множества других людей. Поэтому большинство из нас заботится не о том, чтобы не совершать несправедливости, но лишь старается изо всех сил загладить уже совершенные. Мы считаем справедливым, чтобы законодатели, объявившие себя кроткими, а не свирепыми, применили сначала по отношению к нам убеждение. Если вы будете говорить о

существовании богов даже немногим лучше, чем говорят остальные, все же это будет лучше в отношении к истине. И может статься, мы легко дадим себя убедить. Однако попытайтесь, если мы не говорим чего-то несообразного, ответить на наш призыв».

Клиний. Но, чужеземец, не кажется ли тебе, что довольно легко доказать правоту тех, кто утверждает, что боги существуют?

Афинянин. Каким образом?

Клиний. Да прежде всего доказывают это Земля, Солнце, звезды, вся вообще Вселенная, весь этот прекрасный распорядок времен, подразделение на годы и месяцы. Затем — все греки и варвары признают существование богов.

Афинянин. Боюсь я, мой милый, негодных людей (не скажу никогда, будто я их стыжусь), как бы они не отнеслись к нам с презрением. Ведь вы не знаете, чем они отличаются, вы полагаете, что души их преданы нечестивой жизни только из-за своей необузданности в удовольствиях и страстях.

Клиний. Что же еще, чужеземец, может служить причиной?

Афинянин. А то, чего вы, живущие в других условиях, пожалуй, не знаете: это остается от вас

скрытым.

Клиний. О чем это ты сейчас говоришь?

Афинянин. О некоем весьма тяжком невежестве, кажущемся величайшей разумностью.

Клиний. Как понять твои слова?

Афинянин. У нас, афинян, есть сказания о богах, закрепленные письменно — частью в стихах, частью в простом изложении. У вас их нет благодаря, насколько я могу судить, хорошему государственному строю. Древнейшие из сказаний повествуют о происхождении первой природы неба и всех остальных вещей. Вслед за тем сказания переходят к происхождению богов и повествуют о взаимоотношении богов после их возникновения. Впрочем, если в известном смысле эти сказания плохо влияют на слушателей, в этом трудно их укорять ввиду их глубокой древности. Я по крайней мере никогда не похвалил бы их, говоря, что они полезны и способствуют попечению о родителях и их почитанию или что в них рассказывается полностью правдивая быль. Однако довольно о древних сказаниях. Распростимся с ними, и пусть они повествуются лишь постольку, поскольку они любезны богам. Но зато пусть подвергнутся нашему порицанию сочинения нового поколения мудрецов, поскольку они

являются причиной зол. Вот что влекут за собой сочинения подобных людей: мы с тобой, приводя доказательства существования богов, говорим об одном и том же — о Солнце, Луне, звездах, Земле — как о богах, о чем-то божественном. Люди же, переубежденные этими мудрецами, станут возражать: все это — только земля или камни и, следовательно, лишено способности заботиться о делах человеческих. Приукрасив словами это мнение, они делают его весьма убедительным.

Клиний. Ты натолкнулся, чужеземец, на трудный довод, даже если бы он был только один. Но таких доводов множество, поэтому дело становится теперь еще труднее.

Афинянин. Что делать! Однако как же нам ответить и как поступить? Станем ли мы защищаться, точно нас кто-то обвиняет перед нечестивыми людьми, снующими вокруг законодательства и утверждающими, будто мы совершаем нечто необычайное, устанавливая законы в убеждении, что боги существуют? Или мы распростимся с этими людьми и обратимся снова к законам, чтобы наше вступление не получилось длиннее самих законов? Ведь изложение нашего учения вовсе не будет кратким, если мы людям, стремящимся к нечестию, станем, с одной стороны, спокойно

доказывать то, о чем, по их мнению, следует в этом случае говорить, а с другой стороны, станем наводить на них страх и возбуждать в них отвращение ко всему тому, что его заслуживает, и лишь после всего этого станем законодательствовать!

Клиний. Но, чужеземец, мы часто в течение короткого времени высказывали ту мысль, что в настоящей беседе вовсе не надо предпочитать краткость речи ее пространности. Ведь, как говорится, никто за нами не гонится. Было бы смешно, да и плохо, если бы оказалось, что мы выбрали вместо наилучшего то, что покороче. А ведь очень важно, чтобы наше утверждение того, что боги существуют, что они благи и несравненно больше, чем люди, почитают правосудие, приобрело во всяком случае некую убедительность. Это было бы у нас чуть ли не самым лучшим и прекрасным вступлением в защиту всех вообще законов. Итак, совсем не проявляя нетерпения и торопливости и ничего не упуская по мере сил, разберем как следует этот важный вопрос, применив всю силу убеждения, какой мы располагаем.

Афинянин. Произнесенное сейчас тобой слово побуждает, кажется мне, к молитве — столько живого участия ты проявил! Нечего медлить долее! Да и в самом деле: кто без волнения сможет

утверждать бытие богов? Не выносить и ненавидеть людей, которые были и поныне являются причиной этих наших речей, неизбежно. Люди эти не верят сказаниям, слышанным ими с детства, когда они питались еще молоком кормилиц и матерей, рассказывавших им эти предания и для забавы, и всерьез, как если бы они пели им зачаровывающие песни. Они слышали эти предания в молитвах при жертвоприношениях. Они видели соответствующие зрелища, весьма приятные как для глаз, так и для слуха молодых людей. Они видели, как их родители с величайшим тщанием относились к принесению жертв, обращаясь за самих себя и за своих детей с молитвами и просьбами к божествам и этим показывая свое глубокое убеждение в бытии богов. Они знают понаслышке, да и видят сами, что эллины и все варвары как при различных несчастьях, так и при полном благополучии преклоняют колени и повергаются ниц при восходе и закате Солнца и Луны, показывая этим не только полную свою уверенность в бытии богов, но и то, что у них на этот счет даже не возникает сомнения. Однако ко всему этому люди эти относятся с презрением без какого-либо основания, что признаёт всякий, у кого есть хоть немного разума, и вынуждают

нас сейчас говорить то, что мы говорим. Сможет ли тут кто-нибудь быть кротким в увещеваниях, если приходится, уча о богах, начинать с доказательства их бытия! Однако отважимся на это! Ибо не подобает, чтобы одни из нас неистовствовали из-за ненасытной страсти к удовольствиям, а другие — в негодовании на подобного рода людей. Итак, хладнокровно обратимся с наставлением к людям со столь испорченным образом мыслей. Станем говорить кротко, подавив свой гнев, словно мы действительно беседуем с одним из них. «Дитя, ты еще молод. С течением времени тебе придется изменить многие из твоих теперешних взглядов на противоположные. Поэтому отложи до того времени свое суждение о столь важных предметах. Самое же главное, о чем ты сейчас вовсе не думаешь, — это чтобы человек имел правильное представление о богах, от этого зависит, счастлив или несчастлив он в жизни. Не будет ложью, если я тебе сделаю сперва по этому поводу одно важное замечание: не ты один и не только твои друзья впервые возымели подобное мнение о богах; всегда встречается большее или меньшее число людей, одержимых этой болезнью. Я был знаком со многими из них, и вот что я сказал бы тебе: никто из тех, кто в юности держался

мнения, будто боги не существуют, никогда не сохранил до старости подобного образа мыслей. Две же остальные напасти остаются — правда, не у большинства людей, а лишь у некоторых: это, во-первых, мнение, будто боги, хотя и существуют, не пекутся о человеческих делах; во-вторых, будто боги хотя и пекутся о людях, однако их легко можно склонить в свою пользу жертвоприношениями и молитвами. Если ты мне поверишь, тебе станет ясным, насколько возможно, этот взгляд на богов; ты отложишь подробное рассмотрение вопроса, обстоит ли дело так или иначе, и станешь выспрашивать у других людей, особенно же у законодателя. А тем временем не отваживайся ни на какое нечестие в отношении богов. Тому же, кто издает для тебя законы, надо сейчас попытаться еще раз наставить тебя относительно истинного положения вещей».

Клиний. Все сказанное тобой до сих пор, чужеземец, превосходно.

Афинянин. Совершенно верно, Мегилл и Клиний, но незаметно для самих себя мы натолкнулись на странное учение.

Клиний. О каком учении ты говоришь?

Афинянин. О том, которое большинство людей считает самым мудрым из всех.

Клиний. Выразись яснее.

Афинянин. Некоторые учат, что все вещи, возникающие, возникшие и те, что должны возникнуть, обязаны своим возникновением частью природе, частью искусству, а частью случаю.

Клиний. Что ж, разве это неправильно?

Афинянин. Конечно, естественно, чтобы учение мудрых людей было правильным. Последуем же за ними и посмотрим, к какому образу мыслей приходят такие люди.

Клиний. Отлично.

Афинянин. Они говорят, что, по-видимому, величайшие и прекраснейшие из вещей произведены природой и случаем, а менее важные — искусством. Искусство получает из рук природы великие и первичные ее творения уже в готовом виде, оно обрабатывает и ваяет лишь то, что менее важно, — это все мы и называем его произведениями.

Клиний. Что ты разумеешь?

Афинянин. Выражусь еще яснее: огонь, вода, земля и воздух — все это, как утверждают, существует благодаря природе и случаю; искусство здесь ни при чем. В свою очередь из этих [первоначал], совершенно неодушевленных, возникают тела — Земля, Солнце, Луна и звезды.

Каждое из этих [первоначал] носилось по воле присущей ему случайной силы, и там, где они сталкивались, они прилаживались друг к другу благодаря некоему сродству: теплое к холодному, сухое к влажному, мягкое к твердому. Словом, все необходимо и согласно судьбе смешалось путем слияния противоположных [первоначал]: так-то вот, утверждают они, и произошло все небо в целом и все то. что на нем, а также все животные и растения. Отсюда будто бы пошла и смена времен года, а вовсе не благодаря уму или какому-нибудь божеству либо искусству: они учат, повторяю, будто все это произошло благодаря природе и случаю. Искусство же возникло из всего этого позднее; оно смертно само и возникло из смертного позднее, в качестве некой забавы, не слишком причастной истине, неких сродных всему этому смертному призраков, какие порождают обычно живопись, мусическое искусство и другие искусства, сотрудничающие с ними. Стало быть, из искусств только те порождают что-либо серьезное, которые применяют свою силу сообща с природой, таковы, например, врачевание, земледелие и гимнастика. Ну а в государственном управлении, утверждают эти люди, разве лишь незначительная какая-то часть причастна при-

роде, большая же часть — искусству. Стало быть, и всякое законодательство обусловлено будто бы не природой, но искусством, вот почему его положения и далеки от истины.

Клиний. Как ты говоришь?

Афинянин. О богах, мой милый, подобного рода люди утверждают прежде всего следующее: боги существуют не по природе, а в силу искусства и некоторых законов, причем в различных местах они различны сообразно с тем, какими каждый народ условился их считать при возникновении своего законодательства. Точно так же и прекрасно по природе — одно, а по закону — другое; справедливого же вовсе нет по природе. Законодатели пребывают относительно него в разногласии и постоянно вносят здесь все новые и новые изменения. Эти изменчивые постановления законодателей, каждое в свой черед, являются господствующими для своего времени, причем возникают они благодаря искусству и определенным законам, а не по природе. Вот все это-то, друзья мои, и говорят мудрые люди, поэты ли они или простые повествователи, молодым людям, утверждая, что высшая справедливость — это когда кто-то силой одержит верх. Отсюда у молодых людей возникают нечестивые взгля-

ды, будто нет таких богов, признавать которых предписывает закон. Из-за этого же происходят и смуты, так как каждый увлекает других к сообразному с природой образу жизни, а такая жизнь будто бы поистине заключается в том, чтобы жить, одерживая верх над другими людьми, а не находиться в подчинении у других, согласно законам.

Клиний. Какое учение изложил ты, чужеземец! Сколько здесь пагубного для молодых людей как в общегосударственной жизни, так и в частной, семейной!

Афинянин. Ты говоришь правду, Клиний. Что же, по твоему мнению, должен сделать законодатель? Ведь такое положение вещей сложилось уже давно. Должен ли он стать посреди города и только и делать, что грозить всем людям подряд: мол, если даже они не признают существования богов и не будут считать богов именно такими, какими их признает закон (то же самое и относительно прекрасного, справедливого и вообще всего самого важного, того, что направляет к добродетели или к пороку), все равно надо следовать письменным указаниям законодателя как в мыслях, так и в действиях. А кто выкажет себя непослушным законам, тех, мол, он присудит:

одного — к смертной казни, другого — к побоям и тюрьме, третьего — к лишению гражданских прав, прочих же накажет лишением имущества в пользу казны и изгнанием? Или же надо одновременно с установлением для людей законов по возможности смягчить свою речь с помощью убеждения?

Клиний. Разумеется, чужеземец, если представляется случай, хотя бы и незначительный, убедить людей в подобных вещах, то любой хоть чего-то стоящий законодатель вовсе не должен считать себе это в тягость, но, наоборот, как говорится, должен возвысить голос, чтобы словом своим послужить древнему закону и доказать существование богов, а также всего того, что ты только что разобрал. Он должен прийти на помощь самому закону и искусству и показать, что оба они — творения природы или не ниже природы хотя бы потому, что являются порождениями ума, согласно тому, как мне кажется, здравому положению, которое ты сейчас присел и с которым я согласен.

Афинянин. О, неутомимый Клиний! Как? Легко ли следовать за положениями, предназначенными для толпы, да к тому же еще бесконечно длинными!

Клиний. Что поделать, чужеземец! Если мы терпеливо выдержали наши собственные пространные рассуждения об опьянении и о мусичесчом искусстве, неужели же мы не выдержим их, когда речь пойдет о богах и других подобных предметах? Несомненно, это окажется величайшей помощью для законодательства, сопряженного с разумом. Дело в том, что записанные относительно законов наставления будут стоять непоколебимо и в любое время послужат доказательством. Поэтому не надо бояться, если усвоить их вначале будет затруднительно: кто непонятлив, тот сможет часто возвращаться к их рассмотрению. И не надо бояться их пространности — лишь бы они были полезны. Поэтому ни у кого нет основания не оказать по мере сил поддержки этим положениям. К тому же мне это представлялось бы просто нечестивым.

Мегилл. Чужеземец, мне кажется, Клиний говорит отлично.

Афинянин. Да, очень хорошо, Мегилл; и надо поступить именно так, как он говорит. Ведь если бы подобные учения не были распространены, так сказать, среди всех людей, то не было бы и нужды защищать учение о бытии богов. Но теперь это необходимо. И кому же более всего, как

не законодателю, подобает прийти на помощь высочайшим законам, извращаемым дурными людьми?

Мегилл. Некому.

Афинянин. Но повтори мне еще раз, Клиний, ведь ты должен быть участником этих рассуждений, приверженцы упомянутых учений, как кажется, смотрят на огонь, воду, землю и воздух как на первоначала всех вещей, и именно это-то они и называют природой. Душу же они выводят позднее из этих первоначал. Впрочем, вероятно, это не только так кажется, но и на самом деле подобный взгляд утверждается этим учением.

Клиний. Да, безусловно.

Афинянин. Так вот мы и нашли, клянусь Зевсом, как бы источник бессмысленного мнения людей, когда-либо бравшихся за исследования о природе. Рассмотри и внимательно разбери все это учение! Было бы очень важно, если бы оказалось, что зачинатели этих нечестивых учений совсем не безукоризненно, но, наоборот, ошибочно ведут рассуждение. А мне кажется, что это обстоит именно так.

Клиний. Хорошо сказано, но попытайся разъяснить, в чем их ошибка.

Афинянин. По-видимому, нам придется начать

с менее обычных рассуждений.

Клиний. Но это не причина для колебаний, чужеземец. Я понимаю, что ты думаешь, будто, коснувшись этого, мы выйдем за пределы законодательства. Но так как нет другого способа заставить людей согласиться с представлением о богах, даваемым ныне законом, то надо, друг мой, испробовать и этот путь.

Афинянин. В таком случае я скажу, вероятно, необычное слово, а именно: учения, под влиянием которых развивается душа нечестивого человека, объявляют то, что служит причиной возникновения и гибели всех вещей, не первичным, а возникшим позднее; то же, что на самом деле возникло позднее, они объявляют первичным. Отсюда и проистекают их заблуждения относительно истинной сущности богов.

Клиний. Я пока не понимаю.

Афинянин. Что такое душа, мой друг, это, кажется, неведомо почти никому — какова она, какое значение она имеет, каковы прочие ее свойства, в особенности же каково ее возникновение, ведь она — нечто первичное, возникшее прежде всех тел, и потому она более чего бы то ни было властна над всякого рода изменениями и переустройствами тел. Раз дело обстоит так,

не правда ли, необходимо, чтобы то, что сродно душе, возникло прежде того, что принадлежит телу, так как душа старше тела?

Клиний. Конечно, это необходимо.

Афинянин. Следовательно, мнение, забота, ум, искусство и закон существовали раньше жесткого, мягкого, тяжелого и легкого. Рано возникли и великие первые творения, и свершения искусства, так как они существуют среди первоначал; а то, что существует по природе, и сама природа — впрочем, это название неправильно применяют — возникло позднее из искусства и разума и им подвластно.

Клиний. А в чем состоит неправильность?

Афинянин. Людям этим угодно называть природой возникновение первоначал. Но если обнаружится, что первоначало и есть душа, а не огонь и не воздух, ибо душа первична, то, пожалуй, всего правильнее будет сказать, что именно душа по преимуществу существует от природы. Вот как обстоит дело — если только кто докажет, что душа старше тела, — и никак не иначе.

Клиний. Ты совершенно прав.

Афинянин. Итак, не приступить ли нам далее к самому доказательству?

Клиний. Конечно.

Афинянин. Нам надо всячески остеречься, как бы это лукавое учение, подобающее лишь молодым людям, не переубедило нас, стариков, и не поставило бы нас в смешное положение, ускользнув из наших рук; как бы не показалось, что мы промахнулись даже в малом, хотя метили в большое. Видите ли, если бы нам всем втроем надо было преодолеть стремительное течение реки, то я как самый младший и опытный в переправах через потоки сказал бы, что сперва следует попробовать переправиться мне одному, самому по себе, оставив вас в безопасном месте на берегу, и посмотреть, возможна ли здесь переправа также и для вас, людей более пожилых, или как вообще обстоит дело. Если переправа оказалась бы возможной, я позвал бы вас и помог бы вам своей опытностью при переправе; если же для вас она невозможна, опасности подвергся бы я один. Такая предосторожность показалась бы уместной. Так и теперь: предстоящее рассуждение еще более стремительно, и переправа через него, пожалуй, почти невозможна при ваших силах. Как бы у вас, людей непривычных к ответам, не закружилась голова и не потемнело в глазах при виде такого стремительного потока вопросов. Чтобы не случилось такой некрасивой,

неподобающей неприятности, мне кажется, я и теперь должен поступить именно так: вы будете в безопасности слушать, а я сначала буду сам себе задавать вопросы, а затем опять-таки сам на них отвечать. Таким образом проведем мы все это исследование, пока не наступит ясность относительно души и не будет доказано, что душа первичнее тела.

Клиний. Твое предложение, чужеземец, прекрасно, выполни же его.

Афинянин. Отлично. Но если когда нам и было необходимо призвать на помощь бога, то это в особенности сейчас. Итак, с всевозможным рвением призовем тех, бытие которых мы должны доказать! Словно обвязавшись этим надежным канатом, пустимся в открытое море нашего рассуждения! Если меня станут изобличать следующими вопросами, то всего надежнее, кажется мне, отвечать следующим образом. Когда кто-нибудь спросит:

— Чужеземец, разве все стоит на месте и ничего не движется? Или как раз наоборот? Или часть вещей движется, а часть пребывает в покое?

Я отвечу:

— Да, часть вещей движется, а часть пребывает в покое.

— Конечно, стоящие предметы стоят, а движущиеся движутся в каком-нибудь пространстве?

— Разумеется.

— При этом часть вещей движется в каком-нибудь одном месте, а другая часть — во многих местах?

— Говоря о движении на одном месте, — ответим мы, — ты разумеешь те вещи, у которых покоится центр, например, когда вращается окружность колеса, о самом колесе говорят, что оно стоит.

— Да.

— Мы понимаем, что при таком вращении одно и то же движение, вращая одновременно и самую большую, и самую малую окружность, распределяется соответственно величине этих кругов, так что оно то уменьшается, то увеличивается соразмерно им. Поэтому-то такое движение и служит источником всевозможных удивительных [явлений]: оно одновременно сообщает большим и малым кругам согласованные между собой медленность и скорость вращения, между тем как иной счел бы это невозможным.

— Ты совершенно прав.

— Под предметами же, движущимися во многих местах, ты, мне кажется, разумеешь такие,

которые путем перемещения постоянно меняют свое место на новое и то обретают одно основание, или средоточие, то благодаря тому, что перекатываются, — многие. Между всеми этими вещами происходят столкновения, при этом несущиеся предметы раскалываются о стоящие; если же встречаются между собой предметы, несущиеся с двух противоположных сторон навстречу друг другу, они сливаются воедино, образуя нечто среднее между прежними двумя.

— Я согласен, что это бывает так, как ты говоришь.

— При такого рода объединении предметы увеличиваются, а при раскалывании погибают, это бывает, когда устанавливается определенное состояние вещей; если же оно не устанавливается, вещи погибают в силу обеих этих причин. А при каком состоянии происходит возникновение всех вещей? Ясно, что это бывает тогда, когда первоначало, приняв приращение, переходит ко второй ступени, а от нее — к ближайшей следующей; дойдя до этой третьей, оно становится ощутимым для тех, кто способен ощущать. Так вот, путем таких переходов и перемещений и возникает все; это уже есть подлинное бытие, поскольку оно устойчиво; при переходе же в другое

состояние оно полностью погибает.

Не правда ли, друзья мои, мы назвали все виды движения, допускающие перечисление, за исключением двух?

Клиний. Каких же?

Афинянин. Чуть ли не тех, мой друг, ради которых мы и предприняли все это исследование.

Клиний. Скажи яснее.

Афинянин. Не ради ли души предприняли мы его?

Клиний. Разумеется.

Афинянин. Так вот, одним из этих видов движений пусть будет такое, которое может приводить в движение другие предметы, а само себя — никогда. Другим же, опять-таки отдельным среди всех видом движения, будет такое, которое всегда может приводить в движение и себя, и другие предметы — при слиянии и расщеплении, приращении и уменьшении, возникновении и уничтожении.

Клиний. Пусть будет так.

Афинянин. То движение, что постоянно движет другие предметы и само изменяется под влиянием их, не назовем ли мы девятым видом движения? А движение, которое движет и само себя, и другие предметы и согласуется с любыми

действиями и состояниями, подлинно именуют изменением и движением всего существующего; это движение мы обозначим, пожалуй, как десятый вид.

Клиний. Безусловно.

Афинянин. Из этих десяти видов движения какое всего правильнее было бы счесть самым могущественным и особенно действенным?

Клиний. Необходимо признать, что движение, способное двигать само себя, неизмеримо выше других; все остальные виды движения стоят на втором месте.

Афинянин. Хорошо. Следовательно, нам придется сделать одно или два изменения в том, что сейчас было не вполне правильно сказано.

Клиний. О каких изменениях ты говоришь?

Афинянин. Пожалуй, мы не вполне правильно назвали этот вид десятым.

Клиний. В каком смысле неправильно?

Афинянин. Согласно нашему рассуждению, этот вид движения является первым как по своему происхождению, так и по мощи; а тот вид, который только что нескладно был назван девятым, будет после него вторым.

Клиний. Что ты имеешь в виду?

Афинянин. Вот что: если один предмет у нас

производит изменение в другом, а тот, другой, в свою очередь всегда производит изменение в третьем, то найдется ли среди подобных предметов такой, который впервые произвел это изменение? И может ли предмет, движимый иным предметом, стать первым из предметов, вызывающих изменения? Ведь это невозможно. Зато когда предмет движет сам себя и изменяет другой предмет, а этот другой — третий и так далее, то есть когда движение сообщается бесчисленному количеству предметов, то найдется ли какое-нибудь иное начало движения всех этих предметов, кроме изменения этого движущего самого себя предмета?

Клиний. Ты совершенно прав. С этим надо согласиться.

Афинянин. Зададим себе еще такой вопрос и сами же на него ответим: если бы все вещи тотчас же после своего возникновения остались неподвижными, как это осмеливается утверждать большинство людей, какое движение из перечисленных выше должно было бы необходимо возникнуть среди них первым? Разумеется, то, что движет само себя. В самом деле: до того времени оно не могло подвергнуться изменению под влиянием другого [предмета], потому что в

вещах тогда вовсе не было перемен. Следовательно, первоначало всех видов движений, первым зародившееся среди стоящих вещей и движимых, есть, по нашему признанию, самодвижущееся, наиболее древнее и сильное из всех изменений; а ту вещь, что изменяется под влиянием другой и затем приводит в движение другие вещи, мы признаем вторичной.

Клиний. Сущая правда.

Афинянин. Раз мы в нашем рассуждении дошли до этого места, ответим вот на что…

Клиний. Да?

Афинянин. Если бы мы увидели зарождение этого первоначала в земляной, водной или огнеобразной среде — все равно, в чистом ли виде будет эта среда или в смешанном, — как бы мы назвали подобное состояние?

Клиний. Ты меня спрашиваешь, назовем ли мы это жизнью, раз оно само себя движет?

Афинянин. Да.

Клиний. Конечно, жизнью — чем же иным?

Афинянин. Что же, когда мы в чем-либо замечаем душу, не должно ли согласиться, что это — то же самое, то есть жизнь?

Клиний. Конечно.

Афинянин. Запомни же это, ради самого Зевса!

Не допустишь ли ты также, что о каждой вещи мы можем мыслить трояко?

Клиний. Что ты имеешь в виду?

Афинянин. Во-первых, сущность вещи, во-вторых, определение этой сущности, в-третьих, ее название. И относительно всего бытия могут быть заданы два вопроса.

Клиний. Какие?

Афинянин. Можно предложить название какой-либо вещи, а спросить относительно ее определения или же, наоборот, предложить ее определение, а спросить относительно имени. Не правда ли, о чем-то подобном хотим мы и теперь сказать?

Клиний. О чем же именно?

Афинянин. О двучленности всех вещей, а также и числа. Применительно к числу это получает название «четное». Определение же этого названия: «число, делящееся на две равные части».

Клиний. Да.

Афинянин. Вот на это-то я и хочу указать. Не правда ли, мы обозначаем одно и то же как в том случае, когда у нас спрашивают определение, а мы даем название, так и тогда, когда у нас спрашивают название, а мы даем определение? Ведь мы обозначаем одну и ту же вещь с помощью

названия «четный» и посредством определения «число, делящееся на две части».

Клиний. Без сомнения.

Афинянин. Каково же определение того, чему имя «душа»? Разве существует другое какое-либо определение, кроме только что данного: «душа — это движение, способное двигать само себя»?

Клиний. Как, ты утверждаешь, что «способное двигать само себя» есть определение той самой сущности, которую все мы называем душой?

Афинянин. Да, утверждаю. А если это так, станем ли мы считать, будто требуется еще что-нибудь для полного доказательства того, что душа есть то же самое, что первое возникновение и движение вещей существующих, бывших и будущих, а равным образом и всего того, что этому противоположно, — коль скоро выяснилось, что она — причина изменения и всяческого движения всех вещей?

Клиний. Нет. Вполне доказано, что душа старше всех вещей, коль скоро она возникла как начало движения.

Афинянин. Не правда ли, движение какого-либо предмета, вызванное другим предметом и никогда и ни в чем не проявляющееся как движение само по себе, вторично? И какими бы

незначительными числами ни измеряли мы продолжительность этого движения, все же оно останется изменением на самом деле неодушевленного тела.

Клиний. Верно.

Афинянин. Значит, мы выразились бы правильно, вполне основательно, всего более согласно с истиной и наиболее совершенно, если бы сказали, что душа возникла у нас раньше тела, тело же — позже и потому оно вторично, так что властвует душа, а тело по своей природе должно находиться у нее в подчинении.

Клиний. Да, это вполне соответствует истине.

Афинянин. Вспомним же то, о чем мы согласились раньше: если окажется, что душа старше тела, то и все относящееся к душе будет старше всего относящегося к телу.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Стало быть, нравственные свойства, желания, умозаключения, истинные мнения, заботы и память возникли раньше, чем длина тел, их ширина, толщина и сила, — коль скоро душа возникла раньше тела.

Клиний. Это необходимо так.

Афинянин. Но после этого не нужно ли будет согласиться, что душа — причина блага и зла,

прекрасного и постыдного, справедливого и несправедливого и всех других противоположностей, если только мы решим считать ее причиной всего?

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Не следует ли признать, что душа, правящая всем и во всем обитающая, что многообразно движется, управляет также и небом?

Клиний. Конечно.

Афинянин. Но одна ли [душа] или многие? Я отвечу за вас: многие. Ибо мы никак не можем предположить менее двух — одной благодетельной и другой, способной совершать противоположное тому, что совершает первая.

Клиний. Ты очень верно сказал.

Афинянин. Прекрасно. Итак, душа правит всем, что есть на небе, на земле и на море, с помощью своих собственных движений, названия которым следующие: желание, усмотрение, забота, совет, правильное и ложное мнение, радость и страдание, отвага и страх, любовь и ненависть. Правит она и с помощью всех родственных этим и первоначальных движений, которые в свою очередь вызывают вторичные движения тел и ведут все к росту либо к уничтожению, к слиянию либо к расщеплению и к сопровождающему все это

теплу и холоду, тяжести и легкости, жесткости и мягкости, белизне или черному цвету, к кислоте или сладости. Пользуясь всем этим, душа, восприняв к тому же поистине вечно божественный ум, пестует все и ведет к истине и блаженству. Встретившись же и сойдясь с неразумием, она ведет все в противоположном направлении.

Что же, постановим ли мы, что все это так, или будем пока пребывать в сомнении, не обстоит ли это как-то иначе?

Клиний. Никоим образом.

Афинянин. Итак, какой род души признаем мы господствующим над небом, землей и всем круговращением: разумный ли и исполненный добродетели или же не обладающий ни тем ни другим? Желаете ли вы, чтобы мы так ответили на этот вопрос…

Клиний. Как именно?

Афинянин. Чудак, скажем мы, ведь если путь перемещения неба, со всем на нем существующим, имеет природу, подобную движению, кругообращению и умозаключениям Ума, если то и другое протекает родственным образом, значит, очевидно, до́лжно признать, что о космосе в его целом печется лучший род души и ведет его по наилучшему пути.

Клиний. Правильно.

Афинянин. Если же [космос] движется неистово и нестройно, то надо признать, что это — дело злой души.

Клиний. И это верно.

Афинянин. Какую же природу имеет движение Ума? Вот на этот вопрос, друзья мои, уже трудно разумно ответить. Поэтому справедливо будет, если я помогу вам в этом.

Клиний. Ты прав.

Афинянин. Подобно тому как те, кто среди бела дня смотрит прямо на Солнце, чувствуют себя так, словно кругом ночь, и мы не скажем, будто можем когда-либо увидеть Ум смертными очами и достаточно его познать. Безопаснее мы усмотрим это, если станем взирать на образ того, о чем нас спрашивают.

Клиний. Что ты разумеешь?

Афинянин. В качестве такого образа возьмем из десяти перечисленных нами видов движений то, к которому всего более приближается Ум. Я напоминаю вам этот вид и затем вместе с вами отвечу.

Клиний. Так будет всего лучше.

Афинянин. Мы помним, между прочим, как мы установили раньше, что часть предметов

движется, другая же часть пребывает в покое.

Клиний. Да.

Афинянин. В свою очередь часть движущихся предметов движется на одном месте, другая же часть носится по многим местам.

Клиний. Так.

Афинянин. То из двух этих видов движений, которое совершается на одном месте, по необходимости всегда происходит вокруг какого-то центра, как некое подражание волчку. Оно-то, насколько это только возможно, во всех отношениях подобно и всего более близко к кругообращению Ума.

Клиний. Что ты имеешь в виду?

Афинянин. Надеюсь, мы не покажемся плохими творцами словесных образов, если скажем, что оба, и разум, и совершающееся на одном месте движение, движутся наподобие выточенного волчка тождественным образом, на одном и том же месте, вокруг одного и того же [центра], постоянно сохраняя по отношению к одному и тому же одинаковый порядок и строй?

Клиний. Ты сказал очень правильно.

Афинянин. Точно так же разве не было бы сродни всяческому неразумию движение, никогда не совершающееся тождественным образом,

в одном и том же месте, вокруг одного и того же, — движение без определенного отношения к одному и тому же [центру], происходящее в беспорядке, без всякой последовательности?

Клиний. Сущая правда, это было бы сродни неразумию.

Афинянин. Теперь уже очень легко с точностью сказать, что раз душа производит у нас круговращение всего, то по необходимости надо признать, что попечение о круговом вращении неба и упорядочивание его принадлежит благой душе. Или же злой?

Клиний. Чужеземец, из сказанного сейчас вытекает, что нечестиво даже было бы утверждать иное. Нет, такое круговращение — дело души, обладающей всяческой добродетелью, одна ли есть такая душа или, быть может, их несколько.

Афинянин. Ты прекрасно понял мою мысль.

Клиний. Обрати же еще внимание на следующее.

Клиний. А именно?

Афинянин. Если душа вращает все, то, очевидно, она же вращает и каждое в отдельности — Солнце, Луну и другие звезды.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Рассудим о чем-то одном из этого;

наше рассуждение окажется приложимым и ко всем остальным звездам.

Клиний. Что же мы возьмем?

Афинянин. Всякий человек видит тело Солнца, душу же его никто не видит. Равным образом никто вообще не видит души тел одушевленных существ — ни живых, ни мертвых. Существует полная возможность считать, что род этот по своей природе совершенно не может быть воспринят никакими нашими телесными ощущениями и что он лишь умопостигаем. Примем же, с помощью одного только ума и размышления, следующее положение…

Клиний. Какое?

Афинянин. Коль скоро душа вращает Солнце, то мы вряд ли ошибемся, если предположим, что она делает одно из трех…

Клиний. Что ты имеешь в виду?

Афинянин. Либо она, находясь внутри этого кажущегося круглым тела, вызывает любые его движения, подобно тому как и наша душа всячески нами движет. Либо, по учению некоторых, приобретя себе откуда-то извне огненное или какое-то воздушное тело, она насильно теснит тело телом, либо, наконец, она сама лишена ела, но обладает зато какими-то иными удивитель-

ными возможностями и таким образом правит Солнцем.

Клиний. Да, несомненно, душа руководит всем одним из этих трех способов.

Афинянин. Эту душу, все равно, провозит ли она Солнце в колеснице, давая всем свет, или же воздействует на него извне, либо действует каким-то другим образом, всякий человек должен почитать выше Солнца и признавать богом. Не правда ли?

Клиний. Да, по крайней мере всякий, кто не дошел до последних пределов неразумия.

Афинянин. Относительно же всех звезд, Луны, лет, месяцев, времен года какое иное рассуждение можем мы привести, как не подобное этому, а именно: ввиду того что душа или души оказались причиной всего этого и к тому же они обладают всеми нравственными совершенствами, мы признаём их божествами, все равно, пребывают ли они, как живые существа, в телах или еще где-то и другим способом управляют небом. Найдется ли человек, который, согласившись с этим, стал бы отрицать, что «все полно богов»?

Клиний. Не найдется никого, чужеземец, столь превратно мыслящего.

Афинянин. Закончим же, Мегилл и Клиний,

это наше рассуждение, указав границы тому, кто раньше отрицал богов.

Клиний. Какие именно?

Афинянин. Ему придется доказать нам, что мы неправильно сочли душу возникшей прежде всего, а также и опровергнуть все то, что мы высказали вслед за этим. Или же, если он не в силах сказать что-либо лучшее, чем то, что было сказано нами, пусть послушает нас и впредь живет, признавая богов. Итак, посмотрим, достаточно ли мы доказали бытие богов тем, кто их отрицает, или же нам чего-то недостает?

Клиний. Более чем достаточно, чужеземец.

Афинянин. Итак, закончим на этом наше рассуждение. Нам следует перейти к увещанию того, кто признает бытие богов, но отрицает их промысл над людскими делами.

«Дорогой мой, — скажем мы ему, — то, что ты признаешь богов, — это, быть может, благодаря некоему сродству между твоей и божественной природой ведет тебя к их почитанию и признанию их бытия. Однако тебя приводит к нечестию частная и общественная участь злых и несправедливых людей. Эта участь поистине далека от счастья; между тем она, хоть и неправильно, считается, по общепринятому мнению, в выс-

шей степени счастливой; ее вопреки должному прославляют в песнопениях и во всевозможных речах. Или, может быть, тебя приводит в смущение зрелище того, как нечестивые люди доживают до глубокой старости и достигают предела своей жизни, оставляя детей своих окруженными величайшими почестями? Может быть, ты видел все это, знал понаслышке или же, наконец, сам случайно был очевидцем многочисленных страшных и нечестивых поступков, с помощью которых многие люди низкого звания достигали величайших почестей и даже тирании? Ясно, что, не желая из-за своего сродства с богами бросать им упрек, будто они виновники всего этого, ты под влиянием какого-то недомыслия дошел до нынешнего своего состояния и не находишь в себе сил негодовать на богов; ты признаёшь их существование, но думаешь, что они свысока и с небрежением относятся к делам человеческим. И вот, чтобы в нынешнем твоем воззрении не перевесило нечестие и ты не дошел бы до еще более болезненного состояния, мы, если только можно найти в себе силы загладить с помощью речей — словно очистительной жертвы — растущее нечестие, попытаемся, соединив дальнейшее рассуждение с тем, которое

мы проделали от начала до конца, обращаясь к тому, кто совершенно не признает бытия богов, воспользоваться им сейчас».

Ты же, Клиний, и ты, Мегилл, отвечайте, как и раньше, за этого молодого человека. А если внезапно появится какое-то препятствие в рассуждении, то я замещу вас и переведу через реку.

Клиний. Ты прав. Поступай именно так, а мы тоже по мере сил будем делать, как ты говоришь.

Афинянин. Доказать, что боги пекутся о малом не меньше, а даже больше, чем о великом, — это, пожалуй, будет совсем нетрудно. Ведь наш противник присутствовал здесь и выслушал только что сказанное, а именно что боги всеблаги и, значит, им в высшей степени свойственно иметь попечение обо всем.

Клиний. Конечно, он слышал это.

Афинянин. Далее, исследуем все вместе, о какой добродетели говорили мы, когда согласились, что боги всеблаги. Не правда ли, мы признаем, что рассудительность и обладание умом относятся к добродетели, а все противоположное — к пороку?

Клиний. Признаем.

Афинянин. Что же еще? Мужество не принад-

лежит ли к добродетели, а трусость — к пороку?

Клиний. Конечно.

Афинянин. Не назовем ли мы первое прекрасным, а второе — безобразным?

Клиний. Несомненно.

Афинянин. И не скажем ли мы, что одному мы причастны — тому, что дурно; о богах же мы скажем, что они непричастны этому ни в малой, ни в большой степени?

Клиний. Всякий согласится, что это так.

Афинянин. В чем же дело? Небрежение, праздность и негу поместим ли мы в число добродетелей души? Или как, по-твоему?

Клиний. Возможно ли это?

Афинянин. Значит, ты отнесешь все это к тому, что добродетели противоположно?

Клиний. Да.

Афинянин. А то, что противоположно этому, — опять-таки к противоположному?

Клиний. Да, к противоположному.

Афинянин. Дальше. Не правда ли, всякий, кто празден, изнежен и нерадив, кто, по выражению поэта, в высшей степени похож на «трутней, лишенных жала», и в самом деле таков?

Клиний. Это сравнение очень верно.

Афинянин. Итак, не следует говорить, будто бог

обладает нравственными свойствами, которые ему самому ненавистны. Если кто-либо попытается высказывать что-то подобное, этого нельзя допускать.

Клиний. Конечно, нет. Как можно!

Афинянин. На каком основании стали бы мы хвалить, — не впадая притом в грубейшую ошибку, — того, кому более других подобает действовать и заботиться, а его разум печется о великом, малым же небрежет? Рассмотрим это следующим образом: не правда ли, тот, кто это делает, бог ли он или человек, должен так поступать по двум причинам?

Клиний. По каким же?

Афинянин. Либо он полагает, что для целого не будет никакой разницы, если малое находится в небрежении, либо, если он считает, что разница есть, он не заботится о малом по нерадивости и изнеженности. Или, может быть, есть какие-то другие причины небрежения? Ведь если действительно невозможно иметь попечение сразу обо всем, то это уже не будет небрежением со стороны того, кто не печется о малом или великом; я говорю о том случае, когда бог или какое-либо низшее существо по своим силам оказывается не в состоянии о чем-то заботиться.

Клиний. Но это невозможно.

Афинянин. Ныне пусть отвечают нам троим оба ваших противника: они согласны признать бытие богов, но один утверждает, что богов можно склонить в свою пользу, другой же, — что они небрегут малым. Прежде всего признайте оба, что боги знают, видят и слышат все и от них не может укрыться ничто из того, что доступно ощущению и познанию. Допускаете ли вы, что это так, или не допускаете?

Клиний. Да, это так.

Афинянин. Что же дальше? Признаёте ли вы, что боги могут делать все, что только доступно смертным или бессмертным?

Клиний. Как же не согласиться и с этим?

Афинянин. Итак, мы все пятеро согласились, что боги благи и даже всеблаги.

Клиний. Безусловно.

Афинянин. Но если они таковы, каковыми мы их признали, то уже невозможно, не правда ли, считать, что они делают что-либо нерадиво и неохотно? Ведь праздность в нас есть порождение трусости, а нерадивость — праздности и неги.

Клиний. Ты совершенно прав.

Афинянин. Никто из богов не бывает небрежен по нерадивости и праздности, ибо трусость им

совсем не присуща.

Клиний. Вполне правильно.

Афинянин. Значит, если боги небрегут малым и незначительным во Вселенной, остается считать, что они поступают так в сознании, что вообще не до́лжно иметь о таких вещах попечение. В противном случае им остается как раз обратное, то есть отсутствие [всякого] понимания?

Клиний. Да, не иначе.

Афинянин. Итак, не предположить ли нам, о достойнейший и превосходнейший наш противник, что ты утверждаешь одно из двух: либо что боги находятся в неведении и вследствие этого не заботятся об исполнении своего долга, либо же что они сознают свой долг, но не исполняют его наподобие самых презренных людей, которые, как говорится, знают, что действуют не лучшим образом, однако под влиянием удовольствий или страданий как надо не делают.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Не правда ли, человеческие дела причастны одушевленной природе и равным образом человек есть самое благочестивое из всех живых существ?

Клиний. Это очевидно.

Афинянин. Мы признаём, что все смертные

существа, равно как и все небо, — это достояние богов.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Пусть же теперь кто угодно утверждает, будто вещи эти слишком малы или слишком велики для богов. И в том и в другом случае нашим всеблагим и заботливым господам не следовало бы нами пренебрегать. Но рассмотрим к тому же еще вот что…

Клиний. А именно?

Афинянин. Ощущение и способность действовать. Не правда ли, они от природы противоположны друг другу в смысле легкости и трудности?

Клиний. Что ты разумеешь?

Афинянин. Видеть или слышать малое труднее, чем большое. Наоборот, для всякого нести малое и незначительное, управлять им, заботиться о нем легче, чем о большом и весомом.

Клиний. Гораздо легче.

Афинянин. Если врачу, желающему и умеющему лечить, будет поручен весь организм в целом, а он станет заботиться только о значительном, незначительными же частностями пренебрежет, то в хорошем ли состоянии окажется организм?

Клиний. Конечно, нет.

Афинянин. Точно так же ни у кормчих, ни у военачальников, ни у домохозяев, ни у каких бы то ни было государственных деятелей, вообще ни у кого из подобного рода людей не окажется ничего великого или многого, если они пренебрегут малым и незначительным. Ибо, как говорят каменщики, большие камни не ложатся хорошо без малых.

Клиний. Без сомнения.

Афинянин. Не будем же считать, будто бог стоит ниже смертных мастеров, которые, чем они лучше, тем более тщательно и совершенно, с помощью одного только искусства, выполняют и малые, и большие свойственные им работы. Неужели же бог, существо мудрейшее, желая и имея возможность заботиться о малом, вовсе о нем не печется наподобие человека праздного или труса, падающего духом при виде трудностей, — между тем как именно о малых вещах заботиться легче, — а печется лишь о вещах великих?

Клиний. Мы никоим образом не допустим такого мнения о богах, чужеземец. Ибо подобный образ мыслей был бы во всех отношениях нечестив и не соответствовал бы истине.

Афинянин. Мне кажется, что любителю упрекать богов в небрежении мы теперь вполне

доказали его неправоту.

Клиний. Да.

Афинянин. Мы принудили его нашими доказательствами признать, что он не прав. Однако мне кажется, что он нуждается еще кое в каких зачаровывающих сказаниях.

Клиний. В каких же, мой друг?

Афинянин. Мы станем убеждать юношу следующими доводами: «Тот, кто заботится обо всем, устроил все, имея в виду спасение и добродетель целого, причем по возможности каждая часть испытывает или совершает то, что ей надлежит. Над каждой из этих частей, вплоть до наименьших, поставлен правитель, ведающий мельчайшими проявлениями всех состояний и действий, все это направлено к определенной конечной цели. Одной из таких частиц являешься и ты, пусть чрезвычайно малой, жалкий человек, и ты влечешься, постоянно имея перед глазами целое. Ты и не замечаешь, что все, что возникло, возникает ради всего в целом, с тем чтобы осуществилось присущее жизни целого блаженное бытие, и бытие это возникает не ради тебя, а, наоборот, ты ради него. Ведь любой врач, любой искусный ремесленник все делает ради целого, направляя все к общему благу, а не создает целое ради части. Ты

же досадуешь, не зная, каким образом то, что для тебя, в силу всеобщего становления оказывается наилучшим, согласуется с целым и с тобой самим. Затем, так как душа соединяется то с одним телом, то с другим и испытывает всевозможные перемены как сама по себе, так и под влиянием других душ, то правителю этому, подобно игроку в шашки, не остается ничего другого, как перемещать характер, ставший лучшим, на лучшее место, а ставший худшим — на худшее, размещая их согласно тому, что им подобает, так, чтобы каждому достался соответствующий удел».

Клиний. Что ты имеешь в виду?

Афинянин. Мне кажется, я говорил так для того, чтобы ясна была легкость, с которой боги обо всем пекутся. Ведь если бы кто стал все преобразовывать и творить, постоянно взирая на целое, например сотворил бы из огня одушевленную воду, из одного многое или из многого одно, то путем первого, второго и третьего возникновения получилось бы бесконечное множество перемен и переустройств. В этом и состоит удивительная легкость этого дела для того, кто заботится обо всем.

Клиний. Что ты разумеешь?

Афинянин. Вот что: верховный правитель

видел, что все наши дела одухотворены и что в них много добродетели, но много и порока; видел он также, что то, что раз возникло, то есть душа и тело, уже не погибает, хотя они и не вечны, как боги, существующие согласно закону (ведь если бы душа или тело погибли, то не было бы возникновения живых существ), и что все, что есть в душе доброго, от природы всегда полезно, а злое всегда вредно. Обратив внимание на все это, он придумал такое место для каждой из частей, чтобы во Вселенной как можно вернее, легче и лучше побеждала бы добродетель, а порок бы был побежден. Для всего этого он придумал, какое место должно занимать все возникающее. Что касается качества возникающего, то он предоставил это воле каждого из нас, ибо каждый из нас большей частью становится таким, а не иным сообразно с предметом своих желаний и качеством своей души.

Клиний. Это естественно.

Афинянин. Итак, все, что причастно душе, изменяется, так как заключает в самом себе причину изменения; при этом все перемещается согласно закону и распорядку судьбы. То, что меньше изменяет свой нрав, движется по плоской поверхности; то же, что изменяется больше,

и притом в сторону несправедливости, падает в бездну и попадает в те места, о которых говорят, что они находятся внизу, и которые называют Аидом и тому подобными именами. Люди их сильно боятся, они им мерещатся и при жизни, и после отрешения души от тела. Если же душа, по своей ли собственной воле или под сильным чужим влиянием, изменяется больше в сторону добродетели, то, слившись с божественной добродетелью, она становится особенно добродетельной и переносится на новое, лучшее и совершенно святое место. В противном же случае — изменившись в сторону зла — она переносит свою жизнь туда, куда подобает.

Вот каково правосудье богов, на Олимпе живущих.

А тебе, молодой человек, кажется, что боги о тебе не пекутся. Если ты станешь хуже, то отправишься к дурным душам, если же лучше, то к лучшим. Вообще и при жизни, и после смерти каждый испытывает и делает то, что ему свойственно. Ни ты, ни кто-либо другой, если ему не повезет, не сможет похвалиться, будто стоит выше этого правосудия богов. Того правосудия, которое установили верховные учредители, до́лжно особенно остерегаться. Ибо оно нико-

гда не оставит тебя в покое: так ли ты мал, что можешь погрузиться в глубины земли, или так высок, что в состоянии подняться до неба, — все равно ты понесешь назначенное богами наказание — здесь ли, на земле, будучи ли перенесен в Аид или в еще более лютое место. То же самое относится и к тем, кто на твоих глазах путем нечестивых или вообще дурных поступков из людей незначительных стали великими или из людей несчастных — счастливыми. И ты еще думал, будто в их поступках, как в зеркале, можно усмотреть общую небрежность богов! Ты не знал, что и у этих людей есть доля в участи Вселенной. Как можешь ты, мужественнейший из людей, думать, что тебе не следует этого знать? Кто не понимает этой причастности, тот никогда не найдет образца для своей жизни и не будет в силах отдать себе отчет в том, от чего зависит счастливая или несчастная доля. Если вот Клиний и весь наш совет старейшин убедили тебя в том, чего ты сам не знал, когда говорил о богах, то это сам бог чудесным образом пришел тебе на помощь. Если же ты нуждаешься еще в каком-нибудь доказательстве, то выслушай, что мы станем говорить третьему нашему противнику, коль скоро у тебя есть хоть какой-то ум. Я сказал

бы, что мы не так уж плохо доказали бытие богов и их заботу о людях. Но мы не можем также ни с кем согласиться и всячески будем оспаривать мнение, будто боги принимают дары и что люди неправедные могут их умилостивить.

Клиний. Прекрасно сказано. Сделаем же так, как ты говоришь.

Афинянин. Ради самих богов давай рассмотрим, каким способом их можно умилостивить, если только это вообще вероятно.

Кто они и каковы они? Те, кто действительно управляет всем небом, неизбежно становятся ведь его правителями?

Клиний. Конечно, так.

Афинянин. Но кому из правителей они подобны или кто подобен им? Ведь мы можем сравнивать меньшее с большим. Не подобны ли им возничие, управляющие соревнующимися колесницами, или кормчие судов? Возможно, что они сходны с военачальниками. Их можно было бы также сравнить с врачами, которые оберегают тело, опасаясь сопротивления со стороны болезней; или с земледельцами, со страхом поджидающими обычно неблагоприятных для произрастания злаков времен года; или же с пастухами, пасущими стада. Так как мы согласились

сами с собой, что небо полно многих благ, но также — впрочем, не в большом количестве — и зол, то, утверждаем мы, между ними происходит нескончаемая борьба, требующая чрезвычайной бдительности. Наши союзники — это боги, а равным образом и даймоны, мы же в свою очередь — достояние тех и других. Нас губит несправедливость и дерзость, соединенная с неразумием, спасает же справедливость и рассудительность вместе с разумностью. Эти добродетели живут в душевных свойствах богов, а в нас живет лишь малая их часть, как это всякий с очевидностью может усмотреть вот из чего: ясно, что некоторые звероподобные души, которые живут на земле и которым присуща неправедная корысть, обращаются к душам стражей — сторожевые ли это псы, пастухи или даже самые высокие владыки — и убеждают их посредством льстивых слов или каких-либо обетов и заклинаний, как это широко утверждают дурные люди, позволить им быть корыстолюбивыми среди людей и не подвергаться в то же время ничему тяжкому. Мы же утверждаем, что только что упомянутое преступление — корыстолюбие, когда речь идет о телах из плоти, именуется болезнью, когда о временах года — мором, когда же о государствах

и гражданских делах, имя это меняет свой облик и звучит как «несправедливость».

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Тот, кто говорит, будто боги всегда готовы простить несправедливых людей и тех, кто творит несправедливые поступки, лишь бы кто-то из них уделил им часть своей неправедной добычи, необходимо должен утверждать следующее: если бы волки уделяли малую часть своих хищений собакам, те, будучи укрощены дарами, позволили бы расхитить все стадо. Разве не таково рассуждение тех, кто утверждает, что богов можно умилостивить?

Клиний. Да, именно таково.

Афинянин. Но кто из людей не вызвал бы смеха, сравнивая богов с кем-то из только что упомянутых стражей? Например, с кормчими, которые, будучи подкуплены «возлиянием вина и дымом курений», губят и корабль, и корабельщиков?

Клиний. Такое сравнение невозможно.

Афинянин. Или, например, с возничими на состязаниях, которые, будучи подкуплены дарами, предоставили бы победу другим упряжкам?

Клиний. Странное сравнение ты бы придумал для своего рассуждения!

Афинянин. Богов нельзя сравнить ни с воена-

чальниками, ни с врачами, ни с земледельцами, ни с пастухами, ни тем паче с собаками, которых заворожили волки…

Клиний. Прекрати злоречье — как это можно!

Афинянин. Но все боги — не суть ли они величайшие из стражей и не охраняют ли они самое великое?

Клиний. Бесспорно.

Афинянин. Поставим ли мы тех, кто охраняет прекраснейшие вещи и всех превосходит бдительностью в отношении добродетели, ниже собак или обычных людей, которые никогда не изменят справедливости ради даров, нечестиво предлагаемых неправедными людьми?

Клиний. Никоим образом. Подобная речь неприемлема, и того, кто держится такого мнения, можно по всей справедливости счесть чуть ли не самым скверным и нечестивым из всех нечестивых людей.

Афинянин. Можем ли мы сказать, что теперь полностью доказаны выдвинутые раньше три положения, а именно: бытие богов, их промысл и полнейшая их неумолимость в отношении несправедливого?

Клиний. Как же иначе? Мы согласны с этими доказательствами.

Афинянин. Возможно, они были высказаны слишком резко из-за склонности дурных людей к спорам. Этот спор, дорогой Клиний, был поднят ради того, чтобы дурные люди ни в коем случае не подумали, будто, победив в доказательствах, они могут делать все, что хотят, согласно тому, что́ они думают о богах. Поэтому в наших речах появилось почти юношеское рвение. Если мы хоть отчасти принесли пользу и убедили подобного рода людей возненавидеть самих себя и возлюбить противоположный образ мыслей, то наше вступление к законам о нечестии сделано удачно.

Клиний. По крайней мере можно на это надеяться. Если же и нет, то все равно подобный род рассуждения нельзя поставить в упрек законодателю.

Афинянин. Вслед за вступлением мы можем выставить требование, правильно истолковывающее законы и повелевающее нечестивым людям переменить свой образ жизни на благочестивый. Для ослушников же пусть будет следующий закон о нечестии: если кто-либо скажет или сделает что-либо нечестивое, любой присутствующий должен этому воспротивиться и донести об этом должностным лицам, а из

этих те, кто первый узнает об этом, должны, согласно с законами, привести виновных в суд, назначенный для разбора такого рода дел. Если же какое-нибудь должностное лицо, будучи извещено, не сделает этого, всякий желающий заступиться за законы может привлечь это лицо к суду. Если кто окажется виновным, суд должен назначить соответствующее наказание за каждый отдельный проступок нечестивых людей. Каждый виновный должен быть заключен в тюрьму, которых в государстве будет три: одна — на площади, общая для большинства задержанных, предназначенная для охраны личной безопасности большинства; другая тюрьма — невдалеке от места заседаний Ночного собрания — будет называться софронистерием; третья же — посреди страны, в каком-нибудь пустынном и совершенно диком месте — получит имя, которое будет выражать возмездие. Так как люди становятся нечестивыми по трем упомянутым нами причинам и каждая такая причина создает два рода нечестивцев, то всего получилось бы шесть различных родов людей, заблуждающихся по поводу богов. Все они должны подвергнуться различным и неравным наказаниям. Ибо те, кто совершенно отрицает бытие богов, но от природы

обладает справедливым характером, ненавидят дурных людей и из-за глубокого отвращения к несправедливости не склонны к совершению несправедливых поступков, избегают людей несправедливых, а справедливых любят. Другой же род — это те, у кого к мнению, будто Вселенная лишена богов, добавляется невоздержанность в удовольствиях и страданиях, хотя они и обладают сильной памятью и прекрасной восприимчивостью к наукам. Общая болезнь тех и других та, что они не признают богов; но первые творят меньше зла на пагубу остальных людей, чем вторые. Они в своих речах преисполнены дерзости в отношении богов, жертвоприношений, клятв и смеются также надо всем остальным; быть может, они и других людей сделали бы такими же, если бы их не настигало вовремя правосудие. Вторые держатся того же мнения, что и первые, слывут за людей одаренных, но исполненных коварства и злокозненных. Из этого рода людей выходят многие прорицатели, люди, занимающиеся всевозможной ворожбой, а иногда и тираны, демагоги, военачальники, основатели частных таинств, а также и изощренные так называемые софисты. Разновидностей подобного рода людей много, но особого законоположения достойны

две из них: те, кто принадлежит к одной из них, а именно лицемеры, заслуживают смертной казни, и не одной и даже не двух, а сразу многих; люди же второй разновидности нуждаются в увещании и тюремном заключении.

Точно так же и взгляд, отрицающий промысл богов, порождает два рода людей; людей, придерживающихся мнения, будто богов можно умолить, тоже два рода. Ввиду существующей между ними разницы судья, опираясь на закон, должен присудить тех, кто впал в нечестие по неразумию, а не по злому побуждению и нраву, к заключению в софронистерий не меньше чем на пять лет. В течение этого времени никто из граждан не должен иметь к ним доступа, кроме участников Ночного собрания, которые будут его увещевать и беседовать с ним ради спасения его души. Когда же истечет срок заключения, тот из них, кто покажет себя рассудительным, пусть получит свободу и живет вместе с другими рассудительными людьми. В противном же случае, то есть если он снова заслужит подобное наказание, его следует покарать смертью. Тем же, которые, кроме того что не признают богов и их промысла или считают их умолимыми, вдобавок еще уподобляются животным и, презирая

людей, обольщают некоторых из них при жизни, уверяя, будто могут вызывать души умерших, или, обещая склонить богов посредством жертвоприношений, молитв, заклинаний и колдовства, пытаются ради денег в корне развратить как отдельных лиц, так и целые семьи и государства, — им, оказавшимся виновными в чем-либо подобном, пусть суд назначит наказание в виде заключения в тюрьму, находящуюся посреди страны. Никто из свободных никогда не должен приходить к подобному человеку. Назначенную ему стражами законов пищу он должен получать от рабов. В случае смерти тело его выбрасывается непогребенным за пределы страны. Если же кто-нибудь из свободных людей погребет его, то любой желающий может привлечь его к суду за нечестие. Если он оставит после себя детей, полезных государству, то пусть попечители о сиротах позаботятся о них как о настоящих сиротах — и притом не хуже, чем об остальных, — начиная с того дня, как их отец был осужден.

Кроме всего этого надо учредить еще один общий закон, который, запрещая богослужения, не предусмотренные законом, заставил бы многих совершать на деле и на словах меньше проступков по отношению к богам и стать более

разумными. Попросту говоря, вот какой закон должен касаться всех: пусть никто не сооружает святилищ в частных домах. Если же у кого явится намерение принести жертву, пусть он идет в общественные храмы и там приносит ее, вручив свое приношение жрецам или жрицам, которые заботятся о чистоте жертв. К их молитвам пусть он присоединит свои, а также и всякий желающий пусть помолится вместе с ним. Так должно быть по следующим причинам. Учреждать святилища и богослужения нелегко; правильно это можно делать только по зрелом размышлении. Между тем повсюду у многих — особенно у женщин, у больных людей, у тех, кто подвергается опасности или каким-либо лишениям, а также и в противоположных случаях, когда на чью-либо долю выпадает какое-нибудь благополучие, — есть обычай посвящать то, что у них в это время есть под рукой, богам, даймонам и детям богов; при этом они дают обеты принести жертвы или соорудить святилища. Точно так же те, кто в страхе просыпался от явленных во сне знамений, вспоминая многочисленные видения, сооружает каждому из увиденных призраков алтари или святилища в качестве средства для своего спасения; они наполняют этими святи-

лищами все дома и поселки, сооружая их и на чистых местах и где придется. Ради всего этого и надо поступать сообразно только что указанному закону, а кроме того, и из-за людей нечестивых, чтобы они не совершали этого тайно, то есть не сооружали бы незаметно святилищ и алтарей в частных домах и, полагая, будто богов можно умилостивить жертвами и молитвами, не дошли бы до крайних пределов несправедливости, ведь таким образом они навлекут осуждение богов как на себя, так и на тех, кто лучше их, но допускает, чтобы они все это делали, да и все государство по справедливости подвергнется участи нечестивых людей. Законодателя же бог не станет порицать. Поэтому пусть будет такой закон: не следует иметь в частных домах святилищ богов. Если же обнаружится, что кто-либо их имеет или тайно почитает другие святилища, а не общественные, то в случае, если виновный — мужчина ли он или женщина — не совершил никаких серьезных и нечестивых проступков, пусть тот, кто это заметил, известит стражей законов, а те пусть распорядятся перенести частное святилище в общественное место, ослушника же пусть наказывают, пока он этого не сделает. Если же обнаружится, что кто-либо совершил

какой-нибудь нечестивый поступок не по-детски, но так, как свойственно взрослым людям, — все равно, воздвиг ли он святилище в частном доме или же приносил в общественном храме жертвы каким-то богам, — то, поскольку он не был чист при совершении жертвоприношения, его следует приговорить к смерти. Стражи законов, обсудив, детское ли это нечестие или нет, и препроводив виновного в суд, должны привести в исполнение установленное за это нечестие наказание.

Книга XI

Афинянин. После этого нам следовало бы внести надлежащий порядок в деловые взаимоотношения людей. Основное правило здесь простое: пусть никто по мере возможности не касается моего имущества и не нарушает моей собственности, даже самым незначительным образом, раз нет на то всякий раз моего особого разрешения. И я буду точно так же относиться к чужой собственности, пока я в здравом уме.

Поговорим прежде всего о сокровищах, которые кто-либо откладывает или припрятывает для себя или своих близких. Если этот человек не принадлежит к моим предкам, я никогда не стал бы молить богов о том, чтобы мне найти такой клад; а если бы нашел, я не тронул бы его. С другой стороны, я не стал бы сообщать об этом так называемым прорицателям, которые так или иначе посоветовали бы мне изъять из земли этот вверенный ей залог. Дело в том, что при таком изъятии я не так много выиграю в имущественном отношении: гораздо больше я выиграю в смысле душевной добродетели и справедливости, если воздержусь от такого изъятия. Я стяжаю

себе одно имущество вместо другого, лучшее в лучшей области — справедливость в душе, а не богатство в деньгах. Пусть то, что прекрасно сказано применительно ко многим случаям, — а именно что не следует касаться неприкосновенного, — будет применено и к данному случаю. К тому же надо верить и мифам, в которых говорится, что все это не приносит пользы потомству. Но если встретится человек, не заботящийся о потомстве, и он, не обратив внимания на законодателя, присвоит себе вещь, отложенную не им самим и не кем-то из его предков, притом без разрешения на то со стороны отложившего, то он нарушит не только самый прекрасный и простой из законов, но также и законоположение весьма достойного мужа, сказавшего: «Не бери себе то, что не ты положил». Если человек пренебрежет обоими законодателями и присвоит себе вещь, не им самим положенную, к тому же не какую-нибудь малость, но, как это бывает, очень большие ценности, что он должен претерпеть? Что касается кары богов, то это ведомо только богу. Но первый, кто заметит этого человека, должен донести об этом астиномам, если это произойдет в городе, агораномам — если это случится где-либо на городском рынке, наконец, агрономам и их

начальникам, если это произойдет где-либо в другом месте страны. Когда об этом будет заявлено, пусть государство обратится в Дельфы, и что решит бог относительно денег и лица, их присвоившего, то пусть и исполнит государство, помогая прорицаниям бога. В случае такого доноса свободнорожденный человек стяжает славу за свою добродетель, в обратном же случае прослывет порочным. Коль скоро донесет раб, государство имеет основание дать ему свободу, выплатив соответствующую сумму его хозяину; если же раб не донесет, он будет наказан смертью.

Вслед за этим установим следующее узаконение, одинаково касающееся как крупных, так и мелких вещей. Если кто нарочно или нечаянно потеряет что-то ему принадлежащее, пусть тот, кто найдет этот предмет, оставит его лежать, считая, что божество дорог охраняет вещи, которые закон ему посвятил. Если же вопреки этому какой-либо ослушник поднимет эту вещь и унесет к себе домой, то в случае, если это сделает раб и предмет малоценен, пусть первый встречный, не моложе тридцати лет, накажет его многочисленными ударами. Если же это сделает кто-нибудь из свободнорожденных людей, то, кроме того, что он прослывет человеком, недостойным этого зва-

ния и стоящим вне законов, пусть он выплатит владельцу сумму, в десять раз превышающую стоимость взятого предмета.

Если кто станет обвинять другого человека в том, что у него находится бóльшая или меньшая часть его имущества, и обвиненный признает, что у него действительно это имущество есть, но скажет, что оно вовсе не принадлежит обвинителю, пусть обвинитель, если только его законная собственность записана у правителей, вызовет обвиняемого пред лицо властей, а тот пусть явится. Когда дело будет оглашено и по рассмотрении записей выяснится, кому из них принадлежит спорная вещь, пусть владелец вступит в свои права и удалится. Если же окажется, что вещь принадлежит кому-то третьему, здесь не присутствующему, пусть тот из двух, кто представит надежного поручителя в том, что он отдаст спорную вещь по принадлежности, возьмет ее себе. Если же спорная вещь окажется не занесенной в списки правителей, пусть она находится у трех старших из правителей до судебного разбирательства. Если спорная вещь — домашнее животное, пусть сторона, выигравшая судебное дело, заплатит правителям за его содержание. Правители же произведут судебное

разбирательство в течение трех дней.

Любой человек, находящийся в здравом уме, может задержать своего беглого раба и делать с ним что угодно, лишь бы это не нарушало благочестия. Можно также задержать беглого раба своих родственников или друзей ради сохранности их имущества. Если же в тот момент, когда кого-то задерживают как раба, кто-то возвратит ему свободу, пусть тот, кто его задержал, его отпустит, человек же, возвративший рабу свободу, пусть представит трех достойных поручителей, только таким образом может он дать свободу рабу, никак не иначе. Если же кто-нибудь вопреки этому отпустит на волю раба, он будет повинен в насилии и, если будет уличен, должен выплатить пострадавшей стороне сумму вдвое бóльшую, чем обозначенный истцами убыток. Можно задерживать также и вольноотпущенников, если кто из них недостаточно или совсем не заботится об отпустивших их на свободу. Забота же эта заключается вот в чем: вольноотпущенник должен три раза в месяц навещать очаг человека, отпустившего его на волю, предлагая ему свои услуги для исполнения всего, что только справедливо и вместе с тем возможно. Точно так же и вступать в брак он должен лишь с согласия бывшего своего

господина. Равным образом вольноотпущеннику не разрешается стать богаче отпустившего его господина, излишек пусть будет собственностью господина. Вольноотпущенник не должен оставаться в государстве более двадцати лет; по прошествии этого времени пусть он, подобно остальным чужеземцам, удалится, захватив с собой все свое имущество, если только не получит разрешения на дальнейшее пребывание от правителей и от того, кто его отпустил. Если же имущество вольноотпущенника или кого-либо из остальных чужеземцев возрастет до такой степени, что превысит имущественный ценз граждан третьего класса, то в течение тридцати дней, начиная с того дня, как случилось превышение, он должен удалиться, взяв то, что ему принадлежит. Правители не должны соглашаться ни на какие его просьбы о разрешении ему дальнейшего пребывания в стране. Ослушники пусть подвергнутся суду и, в случае признания виновности, пусть будут наказаны смертью; имущество их будет отобрано в пользу государства. Подобные дела должны подлежать суду фил, если только обе стороны не освободятся еще до того от взаимных обвинений при посредстве суда соседей или выбранных для этого судей.

Если кто-либо заявит притязание на какое-нибудь домашнее животное или на другую какую-нибудь якобы принадлежащую ему вещь, пусть владелец приведет его к человеку, который ему эту вещь продал, подарил или передал каким-либо другим правомочным способом, — конечно, если человек этот достоин доверия и справедлив. Если человек этот гражданин или метек из числа живущих в государстве, пусть владелец сделает это в течение тридцати дней; если же речь идет о вещи, переданной чужеземцем, то дело надо закончить в течение пяти месяцев, из которых на средний приходится поворот солнца от лета к зиме.

Всякий взаимный обмен, производимый путем купли и продажи, должен происходить на месте, особо отведенном для каждого вида обмена на городской площади. Стоимость должна быть выплачена непременно тут же; всякая купля и продажа в кредит запрещается. Если какой-то обмен происходит другим способом или в другом месте и продавец предоставляет кредит покупателю, они могут это делать, но пусть знают, что по закону не принимаются никакие обращения в суд со стороны людей, не выполнивших только что указанного требования.

То же самое относится к товариществам, основанным на паях: желающие могут их устраивать среди друзей, но если возникнет какое-либо разногласие по поводу взносов, то надо знать, что никто и никоим образом не может начать судебного дела об этом.

Тот, кто продает на сумму не менее пятидесяти драхм, обязан переждать в городе десять дней; покупатель должен знать местожительство продавца ввиду бывающих в подобных случаях жалоб и на случай законного возвращения покупки. Возврат будет законным либо незаконным по следующим признакам. Если кто продает раба чахоточного, страдающего каменной болезнью, затрудненным мочеиспусканием или больного так называемой священной болезнью или каким-то другим, скрытым от большинства, тяжким и трудноизлечимым телесным либо душевным недугом, то, коль скоро покупатель — врач или учитель гимнастики, возврата быть не может; равным образом и в том случае, если продавец заранее предупредил об этом покупателя. Если же покупатель обычный человек, а продавец, наоборот, сведущ в болезнях, покупку можно возвратить в течение шести месяцев. Исключением является священная болезнь; в этом случае

возврат производится в течение одного года. Дело подлежит разбирательству выбранных сообща обеими сторонами врачей. Виновный должен уплатить двойную стоимость покупки. Если и покупатель, и продавец — обычные люди, возврат и судебное разбирательство должны совершаться так же, как в только что указанном случае, но виновный должен просто выплатить стоимость покупки. Если же проданный раб — убийца и покупатель и продавец оба знали это обстоятельство, то при такой продаже возврата не может быть. Если же об этом заранее не знал покупатель, то, лишь только он это узнает, он может вернуть раба. Дело должно подлежать суждению пяти младших стражей законов. Если будет признано, что продавец знал это обстоятельство, он должен произвести очищение дома покупателя согласно постановлению истолкователей и выплатить ему тройную стоимость раба.

При обмене денег на деньги или на что-либо другое — живность ли то или нет, — согласно закону, ни с той, ни с другой стороны нельзя ничего подделывать. Относительно возможного здесь зла желательно также дать вступление, как мы это делали для других законов. Всякий человек должен считать вещами одного порядка любую

подделку, ложь и обман; между тем большинство обычно высказывает совершенно превратный взгляд, ебудто иной раз — и даже нередко — все это вполне допустимо, если только совершается кстати; при этом остается неустановленным и неопределенным, когда же именно и где это бывает кстати. Большинство людей из-за такого взгляда и сами во многом терпят ущерб, и причиняют его другим. Законодателю непозволительно оставить это неустановленным: всегда следует ясно определять тут более или менее широкие границы. Поэтому и мы сейчас это определим.

Кто не желает стать в высшей степени ненавистным богам, пусть ни словом, ни делом не допускает никакой лжи, обмана или подделки, призывая в свидетели род богов, а ведь бывает, что кто-то клянется ложными клятвами, ничуть не заботясь о богах. Далее идет тот, кто лжет в присутствии людей, стоящих выше его самого. Лучшие люди выше худших, старики вообще выше юношей, поэтому и родители выше детей, мужчины выше женщин и детей, правители выше подвластных. Ко всем этим людям остальные должны относиться с почтением, — как тогда, когда они вообще отправляют какие-нибудь должности, так в особенности — должности госу-

дарственные, что и составляет исходный пункт нынешней нашей беседы. Всякий продающий на рынке что-либо поддельное лжет и обманывает; призывая в свидетели богов, он клятвами нарушает законы и предостережения агораномов, не стыдясь людей и не почитая богов. Прекрасен вообще обычай — не осквернять пустыми призывами имена богов, раз находишься в таком отношении к богам в смысле чистоты и непорочности, в каком нередко бывает большинство из нас. Кого все это не убеждает, вот закон: торгующий чем-либо на рынке никогда не должен назначать двух цен своему товару, а только одну-единственную. Если он по этой цене не найдет покупателя, он вправе унести свой товар с рынка, но в один и тот же день он не должен расценивать свой товар то дороже, то дешевле. И пусть не будет расхваливания и клятв по поводу любой продающейся вещи. Ослушника же первый встречный горожанин, достигший тридцати лет, имеет право бить безнаказанно, карая его за его клятвы. Кто пренебрежет этим своим правом, тот будет подвергнут хуле за измену законам. Если кто окажется не в силах послушаться наших нынешних слов и станет продавать что-либо поддельное, то первый узнавший об этом че-

ловек пусть изобличит его, если только может, пред правителями. Раб или метек в этом случае получает в свою собственность подделанный товар. Свободнорожденный человек, если он не изобличает подделку, объявляется дурным гражданином, ибо в этом случае он выходит из повиновения богам; если же он ее изобличает, он должен посвятить подделанный товар богам — покровителям рыночной площади.

Продавец, уличенный в подделке, кроме того, что лишается своего подделанного товара, будет еще наказан на рыночной площади столькими ударами бича, сколько драхм он требует за свой товар, причем глашатай огласит, за что он подвергается этому наказанию. Агораномы и стражи законов, справляясь относительно каждого отдельного случая подделки и злостного обмана у людей, сведущих в этом, должны письменно определить, что надлежит делать продавцу и чего не надлежит. Стелу, на которой начертаны эти законы, они должны поставить перед агораномием, так, чтобы все люди, имеющие дела на рынке, ясно их видели.

Относительно астиномов достаточно сказано выше. Если, однако, покажется, что нужны какие-то добавления, пусть астиномы, опять-таки

сообща со стражами законов, запишут то, что кажется пропущенным, на стеле, поставленной в астиномии и содержащей как основные, так и дополнительные узаконения, касающиеся их должности.

За подделкой непосредственно следует занятие мелкой торговлей. Мы сначала дадим совет относительно всего этого занятия в целом и приведем разумные доводы, а уже после этого установим закон.

Всякая мелкая торговля по своей природе вовсе не направлена ко вреду государства, — совсем напротив. Разве не благодетель любой человек, приводящий к соразмерности и единообразию любую разнообразную и несоразмерную собственность? Надо признать, что это происходит благодаря свойству денег; равным образом этому способствуют купцы, наемные работники, содержатели гостиниц и представители других занятий, из которых одни более, другие менее благовидны. Все это может помочь удовлетворению наших нужд и привести к единообразию нашу собственность. В чем же причина того, что занятие это не признано ни прекрасным, ни благовидным? Почему оно на дурном счету? Рассмотрим это, чтобы хоть отчасти, если уже не

в целом, исправить положение с помощью закона. Дело это, по-видимому, нелегкое и требует немалой добродетели.

Клиний. Что ты разумеешь?

Афинянин. Дорогой Клиний, лишь небольшая часть исключительных по своей природе людей, получивших превосходное воспитание, может держать себя в надлежащих границах, когда сталкивается с какими-нибудь нуждами и вожделениями. Люди эти могут остаться трезвыми, когда представляется возможность добыть много денег, могут предпочесть умеренное многому. Огромное большинство людей поступает как раз наоборот: их желания неумеренны, и, хотя возможно извлекать умеренную прибыль, они предпочитают быть ненасытными. Вот почему находятся на плохом счету и признаются чрезвычайно постыдными занятия мелкого торговца, крупного купца и содержателя гостиницы. Но если бы кто-нибудь (чего да не случится и никогда не будет!) принудил — это смешно сказать, однако все-таки пусть это будет сказано — людей, во всех отношениях наилучших, заняться некоторое время корчмарством, мелкой торговлей или вообще чем-либо подобным или если бы женщинам суждена была необходимость принять

участие в этих занятиях, мы узнали бы, как все эти занятия хороши и желательны. И если бы они не подвергались извращению, но совершались на разумных основаниях, то пользовались бы почетом, каким пользуются матери или кормилицы. Но в наши дни содержатели гостиниц ради мелкой торговли строят свои жилища в пустынных местах, где скрещивается много дальних дорог; здесь они дают желанный приют нуждающимся в нем путникам, доставляют им теплый и безмятежный кров, если те бывают гонимы сильными зимними бурями, или отдых в прохладе, если их гонит со двора зной. Но после содержатель гостиницы вовсе не считает, что он принял своих друзей и оделил их дружескими подарками; нет, он относится к ним как к попавшимся в плен врагам и отпускает их на волю лишь за огромный неправедный и грязный выкуп. Вот такие-то бесчинства во всех этих делах и являются причиной того, что подобные занятия правильно бывают на плохом счету, хотя они должны были бы помогать людям в затруднительных положениях. Так вот и для этого, как всегда, законодателю надо приготовить лекарство.

Впрочем, давно уже правильно сказано, что трудно сражаться сразу с двумя, да вдобавок еще

противоположными бедами, как это бывает при болезнях и во многих других случаях. И теперь нам предстоит сражаться с двумя противниками: бедностью и богатством. Богатство развратило душу людей роскошью, бедность их вскормила страданием и довела до бесстыдства. Как же помочь этой болезни в разумном государстве? Во-первых, по мере сил надо пользоваться как можно меньшим числом торговцев; во-вторых, это занятие надо предоставить тем людям, чья испорченность не причинила бы великого вреда государству; в-третьих, надо изобрести средство для тех, кто занимается этим делом, избавляющее их от легкого перехода к бесстыдству и низости. После этих предварительных соображений установим, в добрый час, следующий закон: среди магнетов, поселение которых во имя преуспеяния снова устраивает бог, пусть ни один землевладелец из тех, что входят в состав пяти тысяч сорока очагов, не становится по доброй воле или против воли ни мелким торговцем, ни крупным купцом; пусть никто не оказывает каких-либо услуг частным лицам, занимающим иное, чем он сам, общественное положение; исключение составляют отец, мать, их родственники по восходящей линии, все вообще старшие, если они свободно-

рожденные люди и живут действительно так, как это таким людям свойственно. Впрочем, нелегко точно разграничить законом то, что свойственно свободнорожденным людям, и то, что им несвойственно. Судить об этом будут люди, получившие почетные дары за свою добродетель, причем они будут основываться на своей склонности или на своем отвращении. Если же кто, прибегнув к какой-либо уловке, станет заниматься несвойственной свободнорожденным людям торговлей, пусть всякий желающий возбудит против него обвинение в своего рода бесстыдстве перед лицами, признанными выдающимися в смысле добродетели. Если окажется, что этот человек действительно запятнал отцовский очаг недостойным занятием, то путем годичного заключения его принуждают от этого занятия отказаться. В случае повторения проступка ему грозят два года заключения. Вообще при каждом его заключении время удваивается по сравнению с предшествующим.

А вот и второй закон: тому, кто собирается торговать, надо быть метеком или чужеземцем. Далее идет третий закон: в лице торговца мы должны в нашем государстве иметь возможно лучшего жителя или по крайней мере возможно

менее плохого. Поэтому стражам законов надо рассудить, что они охраняют не только тех людей, которых легко оберечь от нарушений законов и испорченности, ведь такие люди и без того хорошо подготовлены как своим происхождением, так и воспитанием. Нет, скорее надо охранять не их, а тех, кто занимается такими делами, которые имеют сильную склонность к тому, чтобы делать людей плохими. В этом отношении торговля очень разнообразна — она включает в себя много подобных занятий. Мы примем в расчет только те ее виды, которые будут признаны крайне необходимыми для государства. С этой целью придется опять-таки стражам законов собраться вместе с лицами, опытными в каждом отдельном виде торговли, — подобно тому как мы раньше предписали это относительно подделки товаров, сродной таким занятиям. На этом собрании надо будет рассмотреть, какого рода приход и расход обусловливают торговцу соразмерную прибыль; надо письменно закрепить соотношение расхода и прихода, а за соблюдением этих правил будут следить частью агораномы, частью астиномы, а частью агрономы. Примерно такая постановка торговли принесла бы пользу всем гражданам и по возможности меньше вредила бы тем, кто ею

занимается в государствах.

Если кто при заключении договора не выполнит его условий (договоры, запрещаемые законами или постановлением народного собрания, исключаются), или каким-нибудь несправедливым насилием будет принужден заключить договор, или если кто, несмотря на свою добрую волю выполнить условия договора, встретит к этому непредвиденные препятствия, судебное разбирательство этого и всех остальных случаев невыполнения договора будет происходить в судах фил, коль скоро дело не могло быть раньше разрешено судом посредников или соседей.

Сословие ремесленников находится под покровительством Гефеста и Афины, ведь ремесленники своим общим трудом дают нам возможность жить. Под покровительством Ареса и опять-таки Афины находятся люди, которые своим оборонительным искусством сохраняют изделия ремесленников стало быть, сословие воинов по справедливости посвящено этим богам. То и другое сословия постоянно пекутся о стране и о народе: одни заведуют военными состязаниями, другие за плату производят изделия и орудия. Последним не пристало допускать обман в своем труде, пусть они посовестятся богов, своих

прародителей. Если же кто из ремесленников злостно не выполнит в указанный срок своего заказа; если он ничуть не посовестится при этом дарующего ему жизнь бога, считая, что тот, в силу своей близости к нему, его простит; если он ничего не узрит своим умом, — то прежде всего его постигнет божий суд. Во-вторых, пусть будет установлен следующий закон: стоимость изделий он должен заплатить обманутому им заказчику и снова выполнить в указанный срок заказ, но даром. Принимающему заказ закон дает такой же совет, какой он давал продавцу: не пытаться повышать цену, но просто оценивать работу по ее действительной стоимости. Дело в том, что ремесленник знает действительную стоимость своей работы; следовательно, в государствах свободнорожденных людей ремесленнику никогда не следует хитростью уловлять несведущего человека; нет, его ремесло — дело ясное и чуждое по своей природе обмана. Если же кто обижен, он может начать судебное дело против обидчика. Если заказчик не выплатит ремесленнику суммы, правильно причитающейся ему по договору, заключенному согласно законам, то есть если он нанесет бесчестье градодержцу Зевсу и Афине, причастным устроению государств, — иными

словами, если он, возлюбив ничтожную выгоду, нарушит великую связь, то пусть вместе с богами на помощь единству, связующему государство, придет закон: пусть будет взыскана плата в двойном размере с заказчика, если он не уплатил в установленный срок платы ремесленнику, а между тем уже получил от него готовый заказ. В нашем государстве все остальное имущество не приносит процентов, если дано кем-то взаймы, но в данном случае заказчик, если истечет год со времени получения им выполненного заказа, должен уплатить и наросшие проценты, а именно с каждой драхмы ежемесячно шестую ее часть, то есть один обол. Судебное разбирательство по этим делам будет происходить в судах фил.

Раз уж мы вообще упомянули о мастерах, то справедливо будет коснуться мимоходом и тех из них, что заняты военным трудом, который доставляет спасение государству: это военачальники и все те, кто искусен в военном деле. Так вот и для них есть закон, словно и они своего рода ремесленники, как вышеупомянутые: кто из них, предприняв полезное для всего государства дело — все равно, по своей ли доброй воле или по предписанию, — исполнит его прекрасно, тому государство воздаст по справедливости почести,

которые служат наградой военным людям, да и закон неустанно будет его восхвалять. Если же этот человек заранее взял на себя исполнение какого-нибудь прекрасного деяния на войне, но его не осуществил, он подвергается порицанию. Итак, пусть будет установлен этот закон, смешанный у нас с похвалой за такого рода деяния. Закон этот не навязывает, но советует большинству граждан оказывать почет — правда, пока не самый высокий — тем добрым людям, которые оказываются спасителями всего государства благодаря ли своему мужеству или своей военной изобретательности. Однако величайший почетный дар надо уделить прежде всего тем людям, которые сумели с особенным почетом отнестись к предписаниям хороших законодателей.

Мы изложили почти все важнейшие деловые отношения, в которые вступают между собой люди. Остается вопрос относительно положения сирот и попечения о них со стороны опекунов. Это и придется так или иначе разобрать вслед за тем, что было изложено раньше. Здесь надо начать с завещаний, составлять которые склонны люди, близкие к смерти, и с тех случайностей, которые иногда совершенно не дают возможности такое завещание сделать. Я говорю, Клиний,

что здесь необходимо установить порядок, так как я вижу затруднительную и тяжкую сторону этого дела. Действительно, невозможно оставить это неупорядоченным. Если позволить, чтобы всякое завещание попросту считалось действительным независимо от того, в каком состоянии находился при его составлении человек, близкий к концу своей жизни, то все завещания имели бы различный вид, в них вкрались бы противоречия законам, обычаям тех, кто жив, да и выраженным ранее мыслям самого завещателя, которых он держался до тех пор, пока не собрался написать завещание. Дело в том, что большинство из нас, когда видит, что смерть близка, впадает в неразумие и расслабленность.

Клиний. Как ты это понимаешь, чужеземец?

Афинянин. Трудно, Клиний, иметь дело с человеком, близким к смерти: он полон мыслей ужасных и несносных для законодателя.

Клиний. А именно?

Афинянин. Он желает сам распорядиться всеми своими делами и потому обычно гневается.

Клиний. А что он говорит?

Афинянин. «О боги, какой ужас! — говорит он. — Свое собственное имущество я не вправе отказать или не отказать тому, кому хочу:

одному больше, другому меньше, сообразно с тем, насколько плохо или хорошо относились ко мне люди, ведь я достаточно все это испытал и обнаружил во время болезней, в старости и при разных других обстоятельствах».

Клиний. Разве тебе не кажется, чужеземец, что он прав?

Афинянин. Мне кажется, Клиний, что древние законодатели были слишком снисходительны, да и законодательствовали-то они, обращая внимание лишь на малую часть человеческих дел.

Клиний. Как так?

Афинянин. Да, друг мой, они побоялись этих слов, и установленный ими закон позволяет попросту распоряжаться своим имуществом, как каждый пожелает. Ну, а мы с тобой как-то иначе, более складно ответим тем из граждан твоего государства, которые готовятся к смерти.

«Друзья, — скажем мы им, — сегодня вы здесь, а завтра вас здесь не будет. Вам нелегко разобраться сейчас в вашем имущественном положении, да и в самих себе (как советует Пифийская надпись). И вот я как законодатель устанавливаю: вы не принадлежите самим себе и это имущество не принадлежит вам. Оно — собственность всего вашего рода, как его предшествовавших, так и по-

следующих поколений; более того, весь ваш род и имущество — это собственность государства. Раз это так, я по доброй воле не допущу, чтобы кто-нибудь подкрался к вам, когда вас обуревают болезни или старость, и убедил вас сделать завещание в противоречии с наилучшей целью. Нет, я установлю законы, приняв в расчет все то, что наиболее полезно всему государству и всему роду в целом. Этой цели я справедливо подчиню интересы каждого отдельного гражданина. А вы благосклонно и внимательно следуйте тем путем, который свойствен человеческой природе. Нашей же задачей будет позаботиться о прочих ваших делах, что мы и сделаем по мере возможности с величайшей тщательностью, ничего не упуская из виду».

Вот каковы, Клиний, предварительные наставления, обращенные к еще живым гражданам и к тем, кто уже близок к кончине. Закон же будет следующий.

Если у кого есть дети, то при составлении завещания и распределении своего имущества следует назначить, по своему усмотрению, первым наследником надела того из сыновей, кого завещатель сочтет достойным. Что касается остальных детей, то, если другой гражданин

согласен усыновить кого-нибудь из сыновей, пусть это также будет записано в завещании. Если же у завещателя останется еще один сын, не приписанный ни к какому наделу, и если есть надежда отправить его, согласно закону, в колонию, то отцу дозволяется наделить его, чем он хочет, из остального имущества, за исключением наследственного надела и всего относящегося к этому наделу инвентаря. Если сыновей несколько, пусть отец разделит между ними на какие ему угодно части все то, что не входит в состав надела. Однако нельзя отказывать своего имущества тому сыну, который обзавелся своим домом. Так же точно нельзя отказывать своего имущества и дочери, если она обручена со своим будущим супругом; если же она не обручена, то можно. Если после того, как завещание уже будет составлено, у кого-нибудь из сыновей или дочерей окажется в стране земельный надел, то пусть они откажутся от причитающейся им по завещанию части имущества в пользу главного наследника завещателя. Если у завещателя есть только дочери и нет потомства мужского пола, пусть он откажет свой надел одному из зятьев, по своему выбору, и обозначит его в завещании как своего сына и наследника. Если у кого умрет

сын, собственный или приемный, до достижения того возраста, когда его можно считать мужчиной, пусть завещатель упомянет в завещании об этом несчастье и обозначит, кого следует считать его вторым сыном с лучшими надеждами на судьбу. Если завещатель совершенно бездетен и хочет кого-то одарить, то пусть он изымет десятую часть из своего благоприобретенного имущества и раздаст ее в дар кому хочет; все остальное он должен передать тому, кто им усыновлен, чтобы, согласно с намерением закона, безупречно приобрести себе в нем благодарного сына. Если чьи-то дети нуждаются в опекунах, то по смерти завещателя, назначившего детям известное число определенных опекунов по своему желанию (причем эти намеченные им лица добровольно соглашаются быть опекунами его детей), его выбор должен быть признан, согласно завещанию, имеющим законную силу. Если кто умрет, совершенно не оставив завещания, или упустит указать избранных им опекунов, то опекунами становятся ближайшие родственники с отцовской и материнской стороны: двое со стороны отца и двое со стороны матери. К ним надо добавить еще одного опекуна из числа друзей покойного. Этих лиц стражи законов поставят

опекунами над нуждающимися в опеке сиротами. Всеми делами об опеке и о сиротах постоянно ведают пятнадцать самых престарелых стражей законов. Соответственно своему старшинству они подразделяются на группы, по три человека в каждой. Трое назначаются на первый год, на другой год — следующие трое и так далее, пока не будет пройден полный круг всех пяти групп; насколько возможно, эти последовательности не следует никогда прерывать.

Если кто умрет, вовсе не оставив завещания и оставив детей, еще нуждающихся в опеке, те же самые законы помогут разобраться в их затруднительном положении. Если кого постигнет неожиданный несчастный случай, причем останется потомство женского пола, пусть он извинит законодателя, если тот из трех обязанностей отца выполнит только две, а именно выдаст дочерей замуж за лиц, связанных свойством с данным родом, и позаботится о сохранении за ними надела. Что же касается третьей обязанности их отца, — ведь он стал бы подыскивать подходящего для себя сына, а для своей дочери — жениха, учитывая характер и свойства всех граждан, — это законодатель оставляет в стороне, так как ему невозможно произвести подобное рассмот-

рение. Поэтому пусть будет установлен по мере возможности следующий закон для подобных случаев. Если кто умрет без завещания, оставив по себе дочерей, то дочь и надел покойного пусть возьмет себе единокровный или единоутробный брат умершего, коль скоро он не имеет надела. Если нет брата, пусть точно так же возьмет дочь умершего сын его брата, если только он и дочь покойного подходят друг другу по возрасту. Если же нет никого, кроме сына сестры покойного, пусть и он поступит таким же образом. На четвертом месте стоит брат отца покойного, на пятом — сын этого брата, на шестом — сын сестры отца покойного. Иными словами, если останется женское потомство, всегда надо продолжать род, основываясь на кровной близости, то есть начинать надо с братьев и племянников по мужской линии этого рода и уж потом переходить к женской линии. Вопрос о сообразности или несообразности времени вступления в брак будет решать судья, осматривая лиц мужского пола в нагом виде, а лиц женского пола — обнаженными до пояса. Если у членов семьи так мало родственников, что нет даже ни внучатных племянников, ни сыновей деда, тогда дочь покойного пусть выберет, вместе с опекунами, кого-либо из остальных

граждан себе в женихи, по своей склонности, если и жених имеет к ней склонность: этот гражданин станет наследником покойного и супругом его дочери. В самом государстве нередко может встретиться много разных затруднений при выборе таких лиц. Так вот, если дочь, затрудняясь произвести выбор из местных граждан, обращает свои взоры на человека, отправленного в колонию, и ей по сердцу, чтобы именно этот человек стал наследником ее отца, то такой человек вступит во владение наделом согласно законному порядку, если он находится с ней в родстве: если же между ними такого родства нет, да и среди граждан, живущих в государстве, у нее тоже нет родных, то он вправе жениться на ней, согласно выбору опекунов и самой дочери покойного, вернуться на родину и получить надел ее отца, раз тот не оставил завещания.

Если же скончается, не оставив завещания, человек совершенно бездетный, то есть не имеющий ни дочерей, ни сыновей, то во всем остальном поступают согласно указанному раньше закону; в опустевший же его дом пусть войдут женщина и мужчина из его рода, на правах законных супругов, и надел пусть поступит к ним во владение. Здесь на первом месте стоит сестра по-

койного, на втором — дочь его брата, на третьем — дитя сестры, на четвертом — сестра отца покойного, на пятом — дитя брата отца покойного, на шестом — дитя сестры его отца. Они будут жить вместе с ближайшими родственниками согласно правилам, установленным ранее данными нами законами. Не скроем тягостной стороны таких законов: тяжело это предписание, чтобы члены рода покойного женились на своей родственнице. По-видимому, здесь упускается из виду, что среди людей подобные требования встретят тысячи препятствий; им не захотят повиноваться, скорее соглашаясь подвергнуться чему угодно, чем вступить в брак против воли, в особенности с лицами больными или увечными телесно или духовно. Возможно, некоторым покажется, будто законодатель совсем не взвесил этого. Но это предположение неверно. Итак, в защиту законодателя и тех людей, кому он дает законы, надо предпослать, пожалуй, некое общее вступление и обратиться к подвластным с просьбой извинить законодателя, если он в своих заботах об общем благе не всегда вместе с тем сможет устранить личные несчастья, случающиеся с каждым из граждан. С другой стороны, надо извинить и тех людей, которым законодатель дает законы, если

иной раз они не смогут выполнить его предписания, ведь он дает их, не зная наперед многих обстоятельств.

Клиний. Как же, чужеземец, было бы всего сообразнее поступить, раз встречаются такие трудности?

Афинянин. Необходимо, Клиний, избрать посредников между этими законами и теми людьми, для которых они даны.

Клиний. Что ты разумеешь?

Афинянин. Иногда бывает, что племянник, сын богатого отца, не хочет добровольно взять замуж дочь своего дяди: он изнежен и рассчитывает на лучший брак. Бывает также, что он вынужден ослушаться законодателя, коль скоро от него требуют смириться с большим несчастьем, заставляя жениться на сумасшедшей родственнице или на такой, которая обладает иными телесными либо душевными недостатками, так что с ней и жизнь становится не в жизнь. Пусть наши соображения по этому поводу будут выражены в виде такого закона: если кто жалуется на существующие законы о завещаниях по поводу брака или по какому-нибудь иному поводу, если кто утверждает, что сам законодатель, будь он здесь и будь он жив, никогда в этом случае не принудил бы к

такому деянию, то есть к женитьбе или выходу замуж, а между тем действующие законы к этому принуждают, то кто-нибудь из членов семьи или из опекунов может возразить на это, что законодатель назначил пятнадцать стражей законов посредниками и отцами для сирот обоего пола. К этим-то стражам законов и надо обращаться для разбора любого сомнительного вопроса, и их решение подлежит исполнению. Если кто найдет, что тем самым придается слишком большое значение стражам законов, пусть он передаст дело на суд отобранных для этой цели судей, дабы они разобрали сомнительные стороны вопроса. Кто проиграет дело, тот подвергается порицанию и поношению со стороны законодателя; для человека с умом это более тяжкое наказание, чем большая денежная пеня.

А теперь поговорим как бы о вторичном рождении сирот. Ведь о вскармливании и воспитании после первого их рождения была речь раньше. После вторичного их рождения, когда они лишились родителей, следует подумать, каким образом сделать для них сиротскую долю как можно менее жалкой и несчастной. Прежде всего, говорим мы, закон дает им вместо родителей стражей законов в качестве не худших отцов. К

тому же мы предпишем этим стражам постоянно заботиться о сиротах как о членах своей семьи. К ним и к опекунам мы обращаемся с подобающим случаю предупреждением относительно взращивания сирот. Мне кажется, мы кстати упомянули в предшествующей речи о том, что души покойных сохраняют и после кончины какую-то способность заботиться о делах человеческих. Все это верно, но требует длинного рассуждения. Здесь надо верить многочисленным и очень древним преданиям. С другой стороны, надо верить и законодателям, — коль скоро они не совсем выжили из ума, — что дело обстоит именно так. Если дело обстоит так по самой природе, то стражи законов и опекуны должны прежде всего страшиться вышних богов, которые видят одиночество сирот, затем надо страшиться душ почивших, природе которых свойственна особая заботливость о своих потомках. Души эти благосклонны к тем, кто их почитает, к тем же, кто их не чтит, неблагосклонны. К тому же надо страшиться душ живых людей, достигших старости и величайшего почета, ведь где процветает государство с благими законами, там потомки нежно относятся к этим людям, украшая этой нежностью свою жизнь. Люди эти чутко

прислушиваются к сиротам, зорко смотрят за ними и благосклонны к тем, кто справедливо к ним относится. Зато особенно негодуют они на тех, кто грубо обходится с сиротами, ведь их они считают самым священным и ценным залогом. Правителю-опекуну следует над всем этим поразмыслить, если только он не совсем лишен этой способности, и соблюдать осторожность в вопросах взращивания и воспитания сирот, оказывая по мере сил всевозможные благодеяния, этим он как бы делает взнос в свою пользу и в пользу своих детей. Кто будет послушен речи, предпосланной закону, и не совершит ничего грубого по отношению к сиротам, тому не придется быть свидетелем гнева законодателя. Зато ослушник, допустивший несправедливость по отношению к сироте, оставшемуся без отца и матери, возместит весь понесенный сиротой убыток в двойном размере по сравнению с тем, что он должен был бы возместить, если бы обидел ребенка, у которого живы отец и мать.

Что касается остальных законов об опекунах и сиротах и о присмотре должностных лиц за опекунами, то у них есть образец для взращивания свободнорожденных детей: это те приемы, которые они применяют, взращивая своих собствен-

ных детей и заботясь о своих имущественных делах. Здесь имеются соответствующим образом составленные законы. Если бы не это, то был бы некоторый смысл установить какие-то законы об опекунстве, имеющие много своеобразных особенностей, с тем чтобы они внесли разнообразие в уклад жизни сирот в сравнении с несиротами. Но ведь теперь у нас положение сирот во всех этих отношениях не очень отличается от положения детей, имеющих родителей, и лишь в смысле почета и бесчестия, а также заботы положение детей, имеющих родителей, совершенно несравнимо с положением сирот. Именно поэтому закон и отнесся особо ревностно к положениям, касающимся сирот, и прибег к увещаниям и угрозам. Очень уместно было бы еще и следующее указание: тот, кто поставлен опекуном над девочкой или мальчиком, и тот из стражей законов, кто присматривает за опекуном, должны любить ребенка, которому выпало на долю сиротство, не меньше, чем своих собственных детей. И об имуществе воспитанника они должны заботиться не хуже, чем об имуществе членов своей семьи. Желательно даже, чтобы они более ревностно заботились об имуществе воспитанника, чем о своем собственном. Всякий опекун должен дей-

ствовать, руководствуясь только этим законом о сиротах. Если же кто из упомянутых станет действовать здесь иначе, вопреки этому закону, то опекуна наказывает должностное лицо, а само должностное лицо может быть опекуном привлечено к суду отобранных для этой цели судей и наказано пеней, вдвое большей по сравнению с определенным судом ущербом. Если членам семьи либо кому-нибудь из граждан покажется, что опекун небрежен или причиняет вред опекаемому, его привлекают к этому же самому суду. Причиненный ущерб он возмещает вчетверо, причем половина этой суммы поступает в собственность ребенка, а другая — в пользу того, кто возбудил судебное дело. Достигнув зрелости, сирота может, если считает, что его плохо опекали, в течение пяти лет после истечения срока опеки привлечь своих опекунов к суду. Если кто-нибудь из опекунов будет в этом уличен, суд решает, какому наказанию его подвергнуть. Если же кто-либо из должностных лиц будет уличен в том, что своим небрежением повредил сироте, суд решает, что ему надлежит выплатить ребенку. Если же кроме этого это лицо изобличено в несправедливости, то сверх пени его отстраняют от должности стража законов. Общее собрание

граждан назначает взамен него другого стража законов для государства и всей страны.

Несогласия отцов со своими детьми и детей с родителями происходят в бóльших размерах, чем подобает. При этом отцы считают, что законодатель должен был бы установить такой закон: отцу разрешается, если он пожелает, оповестить всех с помощью глашатая, что он отрекается от сына, так что, согласно закону, он уже не будет считаться его сыном. Сыновья со своей стороны ожидают, что им будет позволено обвинить отца в безумии, когда он окажется разбит болезнью или старостью. Так действительно обычно бывает там, где нравы людей никуда не годны. Когда же беда бывает только наполовину, — например, когда отец не плох, а сын плох или наоборот, — тогда не случается таких несчастий и нет такой огромной вражды. В государствах с иным строем сын, от которого публично отрекся отец, не обязательно выбывает из страны. Но при нашем государственном строе, когда будут действовать эти законы, сыну, таким образом лишившемуся отца, неизбежно придется выселиться в другую страну. Дело в том, что у нас нельзя прибавить к пяти тысячам сорока семьям ни одной лишней семьи. Поэтому не только отец, но и весь род дол-

жен отречься от такого человека, раз он по праву заслужил эту участь. Здесь следует поступать согласно такому закону: кого охватила — все равно, справедливо ли или нет, — несчастная страсть освободиться от родственных уз с тем, кого он породил и взрастил, тому не разрешается осуществить это сразу и попросту; нет, сначала пусть он соберет свою родню, вплоть до двоюродных братьев и сестер, а равным образом и родню своего сына со стороны матери. Пусть он перед ними выскажет свои обвинения и покажет, что сын действительно заслуживает, чтобы от него публично отреклись все члены рода. И сыну пусть будет предоставлено слово, притом наравне с отцом, чтобы он мог показать, что вовсе не заслуживает подобного отношения. Если отцу удастся убедить родственников и он получит за себя более половины их голосов (причем не считаются голоса отца, матери и обвиняемого, из остальных же родственников могут голосовать лишь достигшие зрелости женщины и мужчины), то, при соблюдении этих правил, отцу разрешается публично отречься от своего сына, но никак не иначе.

Нет закона, который бы запрещал усыновить того, от кого отреклась родня, если кто из граждан

пожелает это сделать. Дело в том, что характер молодых людей обычно подвергается многим переменам в продолжение жизни. Если в течение десяти лет никто не пожелает усыновить того, от кого отреклись родные, то попечители о потомстве, предназначенном для выселения в колонию, должны позаботиться о таких людях, чтобы они должным образом приняли участие в этом выселении.

Если кто, под влиянием какой-нибудь болезни, старости, тяжелого нрава или всего, вместе взятого, станет сильно отличаться от большинства людей своим неразумием, причем для остальных это будет незаметно и лишь члены его семьи, живущие с ним вместе, сумеют это заметить, или если он владеет всеми своими способностями, но разоряет свою семью, а сын стесняется и медлит возбудить против него в суде обвинение в слабоумии, ето на этот случай устанавливается закон: прежде всего сын должен обратиться к самым престарелым из стражей законов и изложить им несчастье своего отца. Они же, достаточно рассмотрев это дело, дадут ему совет, надо ли возбуждать такое обвинение или нет; если они посоветуют это сделать, они одновременно становятся и свидетелями против обвиняемого, и

вместе с тем членами суда. Человек, признанный слабоумным, становится на все будущее время неправомочным распоряжаться своей собственностью, даже в мелочах, и остальную свою жизнь проводит на положении ребенка.

Если муж и жена совсем не подходят друг другу из-за несчастных особенностей своего характера, то такими делами всегда должны ведать десять стражей законов среднего возраста, а также десять женщин из числа тех, что ведают браками. Если супруги могут примириться, их примирение будет иметь законную силу. Если же душевные бури их захлестывают, надо по возможности отыскать для каждого из них более подходящих супругов. Конечно, такие супруги не отличаются кротким нравом. Вот и нужно попробовать соединить с каждым из них характер более глубокий и кроткий. Если супруги находятся в разногласии между собой и к тому же бездетны или у них мало детей, то к новому супружеству следует прибегнуть и ради детей. Если же количество детей достаточно, то развод и новое заключение брака следует произвести ради спокойной старости друг подле друга и взаимных забот.

Если жена скончается, оставив детей женского и мужского пола, то закон не принуждает, но

советует, чтобы отец растил оставшихся детей, не вводя в свой дом мачехи. Если детей нет, необходимо вступить в новый брак, пока не народится достаточное количество детей для семьи и для государства. Если же муж умрет, оставив достаточное количество детей, то мать пусть продолжает жить в доме умершего мужа и растить детей. Если же она окажется слишком молодой для того, чтобы без вреда для здоровья оставаться незамужней, то ее близкие должны переговорить с женщинами, заботящимися о брачных делах, и исполнить то, что будет решено ими и этими женщинами. Если у молодой жены нет детей, то она должна вступить в новый брак ради детей. Один мальчик и одна девочка считаются по закону уже достаточным количеством детей.

Если нет сомнений, от каких родителей ребенок появился на свет, но нужно еще решить, кому из них надо отдать ребенка, то при связи рабыни с рабом, свободнорожденным человеком или вольноотпущенником ребенок в любом из этих случаев признается принадлежащим хозяину рабыни. Если же свободнорожденная женщина сойдется с рабом, ребенок принадлежит хозяину раба. Если ребенок родится от собственной рабыни или от собственного раба, причем это

будет совершенно явным, то ребенка, прижитого свободнорожденной женщиной от раба, пусть женщины отошлют в другую страну вместе с его отцом; ребенка же свободнорожденного человека, прижитого от рабыни, пусть стражи законов отправят в другую страну с его матерью.

Пренебрегать родителями никому не посоветует ни бог, ни какой бы то ни было человек, обладающий разумом. Надо усвоить, что это предварительное слово относительно почитания богов направлено к верному пониманию вопроса о почитании или непочитании родителей. Древние законы относительно богов у всех народов двояки. Мы почитаем тех богов, которых видим воочию; других богов мы чтим в изображениях, воздвигая им статуи, причем считаем, что этим своим почитанием неодушевленных изображений мы снискиваем благорасположение и милость богов одушевленных. Так вот, у кого в доме есть драгоценный клад в виде отца, матери или их обремененных старостью родителей, тот не должен думать, будто у него может появиться более значительная святыня: нет, родители в его доме составляют святыню его очага, если хозяин дома должным образом оказывает им почтение.

Клиний. А в чем же состоит эта правильность?

Афинянин. Об этом я сейчас и скажу, потому что, друзья мои, подобные вещи стоит послушать.

Клиний. Только бы ты говорил!

Афинянин. Мы утверждаем, что Эдип, покрытый бесчестьем, взмолился о той участи для своих детей, которая их и постигла: значит, правильно говорят все, что он был услышан богами. Разгневанный Аминтор проклял своего сына Феникса, Тесей — Ипполита. Можно было бы привести бесчисленное множество таких примеров, из которых явствует, что боги внимают мольбам родителей, обращенным против детей. Действительно, проклятие родителя своим детям справедливо, как никакое иное. Раз бог внимает покрытому бесчестьем отцу или матери в их молитвах, направленных против детей, то неужели же не естественно, если отец, чрезвычайно обрадованный почтением со стороны своих детей, станет в своих молитвах неустанно желать им всякого добра и боги также внемлют этой молитве и уделят нам это благо? В противном случае боги не были бы справедливыми подателями всяческих благ, что, как мы утверждаем, всего менее подобает богам.

Клиний. Разумеется.

Афинянин. Так поразмыслим же над тем, что мы сказали немного ранее: у нас не может быть никакой святыни, более ценной пред лицом богов, чем отец или дед, согбенные старостью; такое же значение имеет и мать. Если человек их почитает, бог радуется; иначе он не внял бы их мольбам. Чудесная это у нас святыня — наши предки, в особенности по сравнению с неодушевленными статуями. Одушевленные святыни присоединяют свои молитвы к нашим, если мы оказываем им почтение, и не присоединяют свои молитвы к нашим, если их не почитают; статуи же не делают ни того ни другого. Стало быть, человеку действительно надо прибегать к отцу, к деду и другим подобным им лицам, раз у него есть такие самые значительные из всех святынь, для обретения участи, любезной богам.

Клиний. Прекрасно сказано!

Афинянин. Всякий человек, имеющий разум, страшится родительских молитв и чтит их, так как знает, что у многих они много раз исполнялись. Коль скоро это природой устроено именно так, то для хороших людей находка — престарелые предки, достигшие крайних пределов жизни, а их ранний уход из жизни — потеря; для людей же дурных такие предки очень и очень

страшны. Поэтому пусть теперь все, поверив нашим словам, оказывают всевозможный почет своим родителям. Если же кто будет глух к мыслям, выраженным в подобных вступлениях, то на этот случай правильно было бы установить следующий закон: если кто в нашем государстве пренебрежет своим долгом по отношению к родителям и не станет поощрять и исполнять все их желания скорее, чем желания своих сыновей, всех своих детей и даже чем свои собственные, пусть пострадавший известит, сам или через посланного, трех самых престарелых стражей законов, а также трех женщин — попечительниц браков. Они уж позаботятся и накажут обидчиков побоями и тюрьмой, если те молоды: это касается мужчин до тридцати лет, а женщин же можно подвергать тем же наказаниям, если они еще на десять лет старше. Коль скоро люди, перешедшие за этот возраст, не оставят небрежности в отношении к родителям, но станут причинять им зло, они привлекаются к суду самых престарелых граждан числом сто один человек. Суд этот решит, какому наказанию должен подвергнуться виновный; при этом не запрещаются никакие взыскания и пени из тех, которым только можно подвергнуть человека.

Если же терпящие зло родители не в силах известить стражей законов, пусть всякий узнавший об этом гражданин из числа свободнорожденных людей их уведомит. В противном случае он будет признан плохим гражданином, и всякий желающий может привлечь его к суду за вредный образ действия. Если донесет об этом раб, он получает свободу. Если раб этот принадлежит обидчику или обиженному, власти просто отпускают его на волю; если же он принадлежит кому-то другому из граждан, государственная казна выплачивает его стоимость владельцу. Пусть правители позаботятся, чтобы никто не обидел его, мстя за донос.

Что касается вреда, причиняемого друг другу людьми с помощью разных снадобий, то мы уже разобрали вопрос о смертоносных ядах. Но остался еще совсем не разобранным вопрос о разных других способах наносить вред при помощи напитков, яств, мазей, если человек добровольно и с заранее обдуманным намерением к ним прибегает. Дело в том, что есть два вида отрав, применяемых человеческим родом; это-то обстоятельство и мешает внести здесь ясность. Тот вид, о котором мы только что высказались с полной определенностью, заключается в нанесе-

нии естественного вреда одному телу с помощью другого. Второй вид — нанесение вреда с помощью ворожбы, заклинаний и так называемых магических узлов — убеждает людей, отваживающихся таким путем наносить вред, в том, что они действительно в состоянии это сделать, а других — в том, что они более всего понесли вреда именно от людей, умеющих пускать в ход чары. Трудно узнать, что именно происходит в подобных случаях; впрочем, даже если кто и узнает, трудно убедить в этом других. Не стоит и пытаться воздействовать на души людей, подозревающих друг друга в подобных вещах. Если они увидят где-нибудь у дверей, на перекрестках или у могильных памятников своих родителей вылепленные из воска изображения, не стоит советовать им не обращать на это внимания, ведь у них такие неясные представления обо всем этом!

Разделим на две части закон об отраве и ворожбе соответственно с тем, к какому виду ворожбы или отравы человек прибегает. Прежде всего надо просить, увещевать и советовать не делать этого и не устрашать большинство робких, словно дети, людей. С другой стороны, не следует заставлять законодателя и судью врачевать подобные

людские страхи, ведь пытающийся отравлять не знает, что́ именно он делает с телом, раз он несведущ в врачевании; то же самое касается и ворожбы, раз человек не является прорицателем и гадальщиком. Закон же об отравлении и ворожбе будет выражен так: если кто применяет отраву не с целью причинить смерть человеку или его домочадцам, но с целью нанести какой-то вред или даже смерть его стадам или роям пчел, то, если отравитель врач и будет уличен судом в отравлении, он будет наказан смертью. Если же это обычный человек, суд решит, какому наказанию или штрафу его подвергнуть. Если окажется, что человек из-за своих магических узлов, заговоров и заклинаний уподобился тому, кто наносит другому вред, пусть он умрет, если он прорицатель или гадальщик. Если же он чужд искусства прорицания и все-таки будет уличен в ворожбе, пусть его постигнет та же участь, что и отравителя из числа обычных людей; пусть суд решит, какому наказанию его следует подвергнуть.

Что касается вреда, наносимого друг другу воровством или насилием, то, чем больше вред, тем больше и возмещение убытков в пользу пострадавшего, а чем меньше вред, тем меньше и наказание. Говоря в целом, наказание долж-

но возместить причиненный ущерб. За каждое злодеяние надо расплачиваться последующим возмездием, ради вразумления. Возмездие будет легче, если злодеяние совершено по неразумию, когда преступник молод и поддался чьему-либо внушению, а также в других подобных случаях. Тяжелее оно будет, если преступление совершено по собственному неразумию, из-за невоздержанности в удовольствиях и страданиях, из страха и робости, из-за страстей, зависти и неисцелимого гнева. Такого человека правосудие постигнет не за совершенное деяние — ведь совершившееся никогда уже не сможет стать несовершившимся, — но ради того, чтобы в будущем он либо полностью возненавидел несправедливость, — а также чтобы возненавидели ее все те, кто видел суд над ним, — либо хотя бы частично избавился от подобного несчастья. Ради всего этого законы должны, имея в виду такие вещи, прицеливаться, как хороший стрелок, чтобы определить размер наказания за каждый проступок в отдельности и присудить преступника к тому, чего он заслуживает. Судья занимается тем же самым и должен помогать законодателю, когда закон предоставляет суду решить, чему подвергнуть подсудимого или что с него взыскать. А законодатель, точно

живописец, должен сделать набросок деяний, следующих за его записанным словом. Это и надо, Мегилл и Клиний, нам теперь сделать, причем как можно лучше и совершеннее. Нам надо наметить те наказания, которые должны следовать за воровством и всевозможным насилием, чтобы боги и дети богов разрешили нам издавать законы.

Сумасшедшие не должны показываться в городе. Их близкие пусть охраняют их в своем доме как умеют. В противном случае они должны будут уплатить пеню: принадлежащий к высшему классу — сто драхм, если он оставляет без присмотра раба или свободнорожденного; принадлежащий ко второму классу — четыре пятых мины; третий класс — три четверти мины; четвертый — две трети. С ума сходят многие и поразному: одни, о которых мы и говорим, — из-за болезней; бывает это из-за дурной природы духа и дурного воспитания; иные при возникновении незначительной неприязни сильно возвышают голос и начинают поносить и ругать других. Ничего подобного ни в коем случае не должно происходить в благоустроенном государстве.

Относительно злословия пусть будет один закон для всех, а именно следующий: пусть никто никого не злословит. Если же, беседуя,

люди расходятся во мнениях, то надо их понять и наставить — как противника, так и всех присутствующих, — всячески воздерживаясь от злословия. Дело в том, что из взаимных поношений вырастает женская привычка обзывать друг друга позорными именами; таким образом, из пустяка, из легковесных сначала слов вырастает действительная ненависть и самая тяжкая вражда. Спорщик с удовольствием отдается неприятному чувству гнева. Своей злобе он дает плохую пищу: снова становится дикой та часть его души, которая была некогда укрощена воспитанием. Озверев, он живет в раздражении, зато он пожал горькую радость гнева. Опять-таки при спорах все привыкают переступать границы и подымать на смех своего противника. А кто к этому привык, тот либо вовсе утрачивает серьезность характера, либо во многом теряет возвышенный склад ума. Поэтому в священных местах никто не должен никогда произносить ничего подобного; точно так же и при общенародных жертвоприношениях, на состязаниях, на торговой площади, в суде или общих собраниях. Правитель, ведающий этими делами, пусть невозбранно карает каждого провинившегося. Иначе он не может претендовать на отличия,

ибо он не заботится о законах и не исполняет предписаний законодателя. Если кто-нибудь станет браниться в других местах, хотя бы даже обороняясь, и не удержится от злых слов, пусть на защиту закона выступит любой, кто старше годами, и ударами — другим злом — изгонит тех, что так склонны к гневу. В противном случае он подвергнется установленному наказанию.

Мы сейчас сказали, что человек не может не искать повода поднять на смех своего противника, когда тот его поносит, но мы порицаем это тогда, когда насмешка сопровождается гневом. Но как же так? Ведь и сочинители комедий стремятся подымать людей на смех. Допустим ли мы их выступления в тех случаях, когда они без гнева высмеивают в комедиях граждан? Не разграничить ли нам здесь две стороны: забаву и ее противоположность? Например, в виде забавы всякому будет дозволено говорить о любом человеке смешные вещи, однако без гнева; тому же, кто высмеивает с неприязнью и гневом, это не будет разрешено, как мы только что и сказали. Вопрос этот никак нельзя оставить в стороне: надо определить законом, кому разрешается осмеяние, а кому нет. Комическому, ямбическому или мелическому поэту вовсе не разрешается ни

на словах, ни с помощью жестов, все равно, делается ли это с гневом или без гнева, высмеивать кого-либо из граждан. Ослушника устроители состязаний изгоняют из страны в тот же день. В противном случае они должны будут заплатить три мины, посвящаемые тому богу, в честь кого происходило состязание. Что же касается тех лиц, которые могут, как мы сказали раньше, делать это друг по отношению к другу, то им такое высмеивание разрешается, однако лишь в том случае, если оно совершается без гнева, как забава. Всерьез и с гневом это не разрешается. Различать это поручается попечителю всего в целом воспитания молодежи: что́ он одобрит, то человек, сочинивший шутку, может использовать публично; а что он отвергнет, того этот человек не должен никому показывать и не должен дать застигнуть себя на том, что он научил этому другого, раба ли или свободнорожденного. В противном случае он будет признан плохим гражданином и ослушником законов.

Сострадание вызывает не просто тот, кто голоден или испытывает другую подобную нужду, но тот, кто рассудителен, обладает какой-нибудь добродетелью или ее частью и при этом все же попал в беду. Поэтому было бы удивительно,

если бы человек с такими качествами оказался в полном пренебрежении и дошел бы до крайней нищеты (причем все равно, раб это или свободнорожденный) в стране с приличным государственным устройством. Законодателю надо установить примерно такой незыблемый закон: нищих совсем не будет в нашем государстве; если кто попытается нищенствовать, снискивая себе пропитание нескончаемыми просьбами, того агораномы прогонят с торговой площади, астиномы — из города, из остальной же части страны его вышлют за пределы государства агрономы, чтобы страна совершенно очистилась от подобных лиц.

Если раб или рабыня причинят какой-либо вред чужому имуществу — по своей неопытности или из-за какого-нибудь иного вида безрассудства, причем без всякой вины самого пострадавшего, — то хозяин нанесшего вред раба должен либо полностью возместить причиненный ущерб, либо передать пострадавшему самого раба, сделавшего это. Если же хозяин, которому предъявлено обвинение, станет утверждать, что оно предъявлено ему для того, чтобы отнять у него раба, и что это вообще уловка со стороны нанесшего вред раба и пострадавшего лица, пусть

он привлечет к суду того, кто заявил о злостно нанесенном ему вреде. Если он выиграет дело, то получит двойную стоимость раба по оценке суда; если проиграет, то должен возместить причиненный ущерб, а также передать пострадавшему и раба. Равным образом надо возместить ущерб, причиненный соседу чьим-то вьючным животным, лошадью, собакой или другими домашними животными.

Если кто не хочет добровольно явиться свидетелем в суд, его вызывает тот, кому нужен свидетель. После вызова он должен явиться в суд; если он знает что-нибудь по делу и может дать свидетельские показания, пусть будет свидетелем; если же он заявит, что ничего не знает, то должен поклясться тремя богами — Зевсом, Аполлоном и Фемидой, что он действительно ничего не знает; тогда он отпускается из суда. Если же кто вызван для дачи показаний, но не явился по вызову, то он ответствен по закону за причиненный ущерб. А если кто-нибудь выставляет в качестве свидетеля кого-то из судей, то судья после дачи показаний уже не имеет права голоса в этом деле. Свободнорожденной женщине разрешается быть свидетельницей, выступать в качестве защитницы (если ей уже минуло сорок лет) и вести

судебное дело, если у нее нет мужа. При жизни мужа ей разрешается выступать только как свидетельнице. Рабу, рабыне и ребенку разрешается быть свидетелями и выступать в качестве защитников лишь по делам об убийстве, если только они представят достойного поручителя в том, что не уклонятся от суда, коль скоро свидетельство их будет признано ложным. Каждая из тяжущихся сторон может, до окончательного решения суда, обвинить в ложных показаниях и всех свидетелей в целом, и их часть. Обвинения эти хранятся у должностных лиц за печатями той и другой стороны и доставляются, когда идет разбор ложности свидетельских показаний. Если кто будет дважды уличен в лжесвидетельстве, закон далее уже не привлекает его для дачи свидетельских показаний; если же трижды — он впредь вообще лишается права давать свидетельские показания. Если же пойманный трижды в лжесвидетельстве осмелится выступать со свидетельскими показаниями, пусть на него донесет правителям всякий желающий. Правители предадут его суду, и, если он окажется виновным, он будет наказан смертью. Если судом будет установлена ложность показаний тех свидетелей, которые обеспечили победу лицу, выигравшему судебное дело, при-

чем таких лжесвидетелей окажется бóльшая половина, судебное дело, выигранное при подобных условиях, признается недействительным и спорным и производится его пересмотр, все равно, будет ли выноситься решение при тех же условиях или нет, но в чью бы пользу оно ни было принято, пусть так и будет, и этим заканчивается предшествующее дело.

Хотя есть много прекрасного в жизни человеческой, но к очень многим вещам как бы пристали язвы, которые пятнают и марают их красоту. Да вот хотя бы правосудие — какое это прекрасное дело среди людей! Оно смягчило все человеческие отношения. Но раз оно так прекрасно, как не быть прекрасной также и защите? Однако, несмотря на это, некая злостная клевета затмевает прекрасное имя искусства, утверждая прежде всего, что существует некая уловка в судебных делах, состоящая в том, что судишься ли сам или защищаешь в суде другого, можно выиграть дело независимо от того, прав ли человек или нет: мол, если хорошо заплатишь, то и получишь в дар как это искусство, так и основанные на нем речи. Следовательно, нам в нашем государстве — и это будет самое лучшее — надо особенно следить за тем, чтобы не допускать такого рода

искусства или, вернее, уловки, приобретаемой долгим опытом. Либо надо, чтобы оно послушалось просьб законодателя и не высказывалось бы против правды; либо, что еще лучше, пусть отправляется в другую страну. Послушных закон обходит молчанием, для ослушников же он гласит так: если окажется, что человек пытается отвратить души судей в сторону, противоположную справедливости, и растягивает судебное дело либо неуместно выступает с защитой, всякий желающий может обвинить его в злоупотреблении судом или в злонамеренной защите. Тогда дело решается в суде отобранных для этой цели судей. Если обвиненный будет уличен, суд выясняет, что побудило его к такому поступку: корыстолюбие или честолюбие? Если окажется, что честолюбие, то суд определяет, на какой срок виновный лишается права предъявлять иск или выступать как защитник; если же его побудило корыстолюбие, то чужеземец должен покинуть страну и никогда больше не возвращаться, иначе он будет наказан смертью; гражданин же должен быть казнен за свое корыстолюбие, которое он ценил превыше всего. Смертная казнь назначается и в том случае, если кто-нибудь будет признан вторично действовавшим под влиянием честолюбия.

Книга XII

Если кто самозванно выступит в чужом государстве в качестве государственного посла либо глашатая или если какой-нибудь посол известит не о том, что ему было поручено, а также неверно передаст ответы, полученные от друзей или неприятелей, — иными словами, если человек явно злоупотребит своим званием посла или глашатая, против него надо возбудить судебное дело, так как он вопреки законам нечестиво нарушил поручения и наставления Гермеса и Зевса. В случае признания его виновным надо определить ему то или иное наказание либо пеню.

Кража чужой собственности — поступок неблагородный, а грабеж — бессовестное дело. Никто из сынов Зевса не прибегал, для собственного удовольствия, ни к тому, ни к другому ни путем обмана, ни путем насилия. Стало быть, никто не должен дать себя убедить и обмануть ни поэтам, ни другим сочинителям басен, утверждающим, будто можно пренебрегать этими вещами: нельзя, совершая кражу или насилие, считать, что в этих поступках нет ничего позорного, на том основании, что так поступают и сами боги. Это

далеко от истины и неправдоподобно. Нет, кто поступает так беззаконно, тот не бог и не сын бога. Здесь законодателю подобает иметь больше сведений, чем всем поэтам, вместе взятым. Итак, кто послушен нашему учению, тот благоденствует, и пусть благоденствует он всегда! Ослушнику же пусть противостоит примерно следующий закон: того, кто украдет что-нибудь из общегосударственного достояния, будет ли это большая вещь или маленькая, — того в обоих случаях постигнет одинаковое наказание. Дело в том, что при мелкой краже побуждение то же самое, только сил у вора меньше. Человек, похитивший что-то крупное, отложенное не им самим, совершает в высшей степени несправедливый поступок. Итак, закон требует в том и в другом случае одинакового наказания независимо от размеров кражи. При этом имеется в виду, что в одних случаях преступник еще может, пожалуй, исправиться, в других же он неисправим. Если, таким образом, при судебном разбирательстве уличат в краже общегосударственного достояния какого-нибудь чужеземца или раба, он, естественно, еще может исправиться: пусть суд решит, какому наказанию его надо подвергнуть или какую пеню он должен уплатить. Зато граж-

данина, воспитывавшегося должным образом, надо, пожалуй, как неисправимого покарать смертью, если он будет уличен в насильственном расхищении отечества; при этом безразлично, захватят ли его на месте преступления или нет.

Что касается военных походов, то здесь надо многое обсудить, да и законов придется дать немало. Самое главное здесь следующее: никто никогда не должен оставаться без начальника — ни мужчины, ни женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению: нет, всегда — и на войне и в мирное время — надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям. Даже в самых незначительных мелочах надо ими руководствоваться, например по первому его приказанию останавливаться на месте, идти вперед, приступать к упражнениям, умываться, питаться и пробуждаться ночью для несения охраны и для исполнения поручений. Даже в самых опасных обстоятельствах нельзя преследовать врага или отступать иначе как по разъяснению начальников. Словом, пусть человеческая душа приобретет навык совершенно не уметь делать что-либо отдельно от других людей и даже не понимать,

как это возможно. Пусть жизнь всех людей всегда будет возможно более сплоченной и общей. Ибо нет и никогда не будет ничего лучшего, более полезного и искусного в деле достижения удачи и победы на войне. Упражняться в этом надо с самых ранних лет, причем и в мирное время. Надо начальствовать над другими и самому быть у них под началом. А безначалие должно быть изъято из жизни всех людей и даже животных, подвластных людям. Надо заниматься всеми видами хоровых плясок, поскольку это приводит к военным отличиям. Ради той же цели надо развивать подвижность и ловкость, воздержанность в пище и в питье, выносливость в зимнюю стужу и во время летнего зноя, умение спать на жестком ложе. Самое же главное — не следует портить силу головы и ног, облекая их лишними покровами, ведь этим губят данные нам природой головные уборы и подметки. Поддержание этих крайних частей в здоровом состоянии имеет весьма важное значение для всего тела, плохое же их состояние очень вредно: ноги служат всякому телу главными исполнителями, голова же — самым главным начальником, так как природа именно в ней сосредоточила основные ощущения.

Для слуха молодого человека полезна такая

похвала воинской жизни, а также следующие законы: кто будет зачислен по спискам или назначен в какой-нибудь отряд, тот должен выступить в поход. Если же кто уклонится от этого по злостной небрежности, без разрешения на то военачальников, то, когда войско вернется из похода, его надо привлечь к суду военных должностных лиц за уклонение от воинской службы. Все участники похода принимают участие в суде по категориям: отдельно — суд гоплитов, отдельно — суд всадников и отдельно — суды представителей каждого другого рода войска, причем провинившихся гоплитов надо привлекать к суду гоплитов, провинившихся всадников — к суду всадников и так далее. Признанный виновным навсегда исключается из состязаний в доблести, не может привлекать к суду другого по обвинению в уклонении от военной службы, не может выступать обвинителем в подобных делах. Кроме того, суд назначит ему дополнительно какое-нибудь наказание или денежную пеню. После того как будет закончено судебное разбирательство по вопросу об уклонении от военной службы, начальники каждого рода войск снова созывают собрание, на котором всякий желающий принимает участие в присуждении знаков

отличия своим товарищам по оружию. При этом нельзя ссылаться на предшествовавшую войну, приводить ее в подтверждение своего права и подкреплять это свидетельскими показаниями: надо основываться только на походе, совершенном в последний раз. Победным отличием для каждого будет служить венок из листьев оливы. Его можно посвятить, по своему выбору, богам — покровителям войны с надписью, свидетельствующей, за какое отличие был на всю жизнь присужден этот венок. То же самое можно сделать и с наградой, полученной за второе и третье места.

Если кто отправится в поход и до истечения срока вернется домой, между тем как правители еще не дали распоряжения о возвращении, то против него возбуждается обвинение в дезертирстве и дело это решается теми же судьями, что ведают делами об уклонении от военной службы. Для признанных виновными назначаются те же наказания, что и в первом случае. При назначении любого наказания (δίκην) любому человеку каждый должен по возможности остерегаться назначить его незаслуженно — ни умышленно, ни невольно. Ибо Правда (Δίκη) справедливо слывет теперь, да и раньше слыла девственной

дочерью Совестливости, а ложь, естественно, ненавистна как Совестливости, так и Правде. Следовательно, и в остальных вопросах надо остерегаться нарушения правосудия, особенно же так следует поступать при разборе дел о потере оружия на войне, чтобы не ошибиться и не счесть достойным порицания позором настоятельную необходимость, ведь тогда наказание недостойно будет присуждено человеку, его не заслуживающему. Правда, здесь очень нелегко разграничить то и другое; однако закон так или иначе должен попытаться произвести это разграничение в отдельных случаях. Привлечем на помощь мифы и приведем примеры: если бы Патрокл, принесенный к шатру без оружия, пришел в себя, как это бывало с воинами бесчисленное множество раз, случившимся тогда подлым людям можно было бы упрекнуть сына Менетия в том, что он бросил оружие, поскольку то исконное вооружение Пелея, которое, как говорит поэт, боги даровали в приданое Фетиде, когда она вступила с ним в брак, оказалось у Гектора. Затем можно упомянуть всех тех, кто потерял свое оружие при падении с кручи, на море или в местах, подверженных бурям, когда на воинов вдруг изливаются обильные потоки воды. Сло-

вом, есть бесчисленное множество подобных случаев, приводя которые можно извинить себя, отговориться и прикрасить свою беду, которая так легко дает пищу клевете. Поэтому по мере сил надо отграничить случаи действительно тягостного несчастья от им противоположных. Впрочем, некоторое разграничение заключено уже чуть ли не в самом словоупотреблении при выражении порицания: дело в том, что во многих случаях правильно было бы говорить не о «бросившем свой щит», но лишь о «потерявшем свое оружие». Ведь не в одинаковом положении бывает «бросивший свой щит», когда щит у него был отнят насильно или когда он сам его кинул; здесь огромная разница по существу.

Поэтому закон пусть гласит так: если кого захватят враги, он же не обратит против них своего оружия, не даст отпора, а добровольно уступит или бросит свое оружие, то есть предпочтет сохранить свою позорную жизнь, а не снискать себе прекрасную и блаженную мужественную кончину, то при подобной «потере оружия» он подлежит обвинению как бросивший его; в указанном же раньше случае пусть судья прекратит разбирательство. Надо всегда карать человека дурного, чтобы его исправить, но не надо карать

несчастного: это ни к чему не ведет. Однако какое наказание может оказаться полезным для человека, который получил оружие для защиты, а вместо того, напротив, его кинул? Ведь невозможно придать человеку противоположные качества, как это, согласно мифу, некогда совершил бог, превративший фессалийскую женщину в мужчину — Кенея. Для человека, бросившего свой щит, всего более подобало бы обратное превращение, то есть из мужчины в женщину, это и было бы наказанием. Но поскольку он очень близок к этому из-за своего чрезмерного жизнелюбия, то для того, чтобы остальную свою жизнь он не подвергался опасностям, но жил как можно дольше, покрытый позором, пусть будет издан следующий закон: муж, уличенный в позорной утрате воинского оружия, не будет использован никаким стратегом и никаким иным военачальником как воин и не будет зачислен ни в какой военный отряд; в противном случае, то есть коль скоро такого негодного человека кто-нибудь зачислит в отряд, пусть евфин оштрафует виновного на тысячу драхм, если он принадлежит к самому высшему классу, на пять мин — если ко второму, на три мины — если к третьему и на одну мину — если к четвертому. Что же ка-

сается человека, изобличенного в трусости, то, кроме того что из-за своей природы он будет избавлен от опасностей, которым подвергаются мужественные люди, он должен уплатить пеню в размере тысячи драхм, если принадлежит к высшему классу, пяти мин — если ко второму, трех мин — если к третьему и одну мину — если к четвертому: одним словом, наказание такое же, как для виновного в зачислении.

Чем следовало бы нам руководствоваться при назначении евфинов? Ведь одни из должностных лиц у нас назначаются по жребию сроком на год, другие — на большее количество лет путем косвенных выборов. Можно ли быть удовлетворительным евфином для таких должностных лиц? Ведь не исключено, что кто-то из них, изнемогая под бременем своей должности, выскажет или сделает что-либо неправое или у него не хватит сил для достойного отправления своей должности. Вовсе не легко найти правителя над правителями, притом еще выделяющегося своей добродетелью. Однако надо все-таки попытаться найти таких божественных евфинов: этого требует дело. В государственном устройстве имеется немало приспособлений, оберегающих его от распада, все равно как канаты и скрепы на корабле

или сухожилия у какого-нибудь живого существа. Хотя называются они по-разному, суть у всех них едина. Одно из таких приспособлений, благодаря которому государство сохраняется, без которого же распадается и гибнет, состоит в следующем: всякая страна и государство благоденствуют и процветают, если евфины в них лучше, чем подотчетные им должностные лица, и если там господствует безупречная справедливость. Если же дело с подотчетностью должностных лиц обстоит иначе, если нарушена справедливость, связующая воедино все органы государственного управления, тогда власть разлагается, в отправлении должностей наступает разноголосица, не преследуется общая цель, а это ведет к уничтожению государственного единства, наполняет государство междоусобицами и ведет его к скорой гибели. Поэтому-то евфины и должны особенно отличаться всяческой добродетелью.

Учредим назначение евфинов следующим образом: ежегодно после поворота солнца от лета к зиме все государство собирается на священном участке, посвященном Гелиосу и Аполлону. Там пред лицом бога пусть каждый назовет того, кого он считает во всех отношениях наилучшим, за исключением самого себя, — причем

названный должен быть не моложе пятидесяти лет. Всего таких лиц надо избрать три. [Порядок избрания следующий]: из числа предложенных лиц, получивших наибольшее число голосов, следует отобрать не менее половины, если общее их число четное. Если же оно нечетное, то надо изъять одного, именно того, кто получил за себя всего менее голосов, а из оставшихся отвергнуть большинством голосов половину. Если же некоторые получат равное число голосов и общее количество таких лиц превысит половину, надо излишек отвергнуть, начиная с самых младших, а остальных поставить на голосование еще раз, пока трое из них не получат неравного числа голосов. Если же у всех троих или у двух из них получится равное число голосов, то надо обратиться к благой судьбе и жребию и с его помощью определить, кто одержал верх, кто стоит вторым и кто третьим, после чего увенчать их масличным венком, воздать им всем почести и провозгласить во всеуслышание: «Государству магнетов снова, с божьей помощью, удалось спастись: оно представило Гелиосу из своей среды троих наилучших мужей. Их оно, согласно древнему закону, и посвящает как лучшую свою часть Аполлону и Гелиосу на все то время, пока

не истечет срок их избрания».

Эти лица назначат на первый год двенадцать евфинов, которые и останутся в должности, пока им не исполнится семидесяти пяти лет. На будущее же время надо ежегодно назначать еще троих евфинов. Они поделят все государственные должности на двенадцать частей и подвергнут их всевозможным пригодным для свободнорожденных людей испытаниям. Пока евфины отправляют свою должность, они будут жить на священном участке Аполлона и Гелиоса, где они и были избраны. Отчасти каждый в отдельности, отчасти же сообща друг с другом они подвергнут рассмотрению деятельность всех должностных лиц и доложат об этом государству, поместив на площади свои записи относительно каждой государственной должности с указанием, чему до́лжно подвергнуть, по мнению евфинов, то или иное должностное лицо или какую на него следует наложить пеню. Если какое-нибудь должностное лицо усомнится в справедливости этого суждения, оно может привлечь евфинов к суду отобранных для этой цели судей и, если докажет неправильность отчетов, может обвинить самих евфинов. Если же вина должностного лица будет доказана и ему будет назначена евфинами смерт-

ная казнь, пусть это лицо будет попросту казнено, коль скоро невозможно умереть дважды; другие же наказания, которые можно удвоить, пусть назначаются в двойном размере.

Однако надо выслушать, какова будет подотчетность самих евфинов и каким образом она будет осуществляться. При жизни евфинов им будут оказываться знаки почета со стороны всего государства. Так, им будут предоставлены первые места на всех всенародных праздничных собраниях; затем при общеэллинских жертвоприношениях и театральных представлениях или при каких-либо других общих священнодействиях именно из их среды посылают лиц, возглавляющих феорию. Только они одни из граждан имеют право быть украшенными лавровым венком. Все они будут жрецами Аполлона и Гелиоса, а один из них ежегодно будет избираться верховным жрецом на год. Имя верховного жреца будет ежегодно отмечаться, так что это послужит мерой для исчисления времени до тех пор, пока существует государство. Для скончавшихся евфинов назначаются похороны — выставление тела, вынос его и погребение, — отличные от похорон прочих граждан: покойник будет облачен во все белое; не будет ни плача, ни рыданий; хоры

из пятнадцати девушек и другой, из юношей, стоя вокруг ложа, будут поочередно возносить песенную хвалу вроде гимна скончавшемуся жрецу, прославляя его таким образом целый день. На другое утро ложе с покойником отнесут к гробнице сто юношей из числа посещающих гимнасии, по выбору родственников покойника. Впереди пойдут неженатые молодые люди, все в воинском облачении, затем — всадники на конях, гоплиты во всеоружии и точно так же все остальные. Отроки, тесно обступая самый перед ложа, будут петь отечественный гимн. За ложем последуют девы, а также женщины, уже не могущие быть матерями. Далее последуют жрецы и жрицы, которые могут участвовать в этом не оскверняющем их погребении, тогда как при всех остальных погребениях они исключаются; впрочем, участие жрецов и здесь допускается только в том случае, если на это даст свое согласие Пифия. Склеп для евфинов будет устроен под землей, в виде вытянутого в длину свода, из камней пористых, но как можно более прочных; там, друг подле друга, будут стоять каменные ложа, куда и надо возложить того, кто стал причастен блаженству. Кругом следует насыпать холм, обсадив его со всех — кроме одной — сторон древесной

рощей. Одну сторону надо оставить, чтобы склеп с этой стороны мог быть расширен в будущем, когда понадобится больше места для почивших. В честь евфинов будут учреждены ежегодные музические, гимнастические и конные состязания.

Таковы почести, воздаваемые тем, чьи отчеты будут признаны безупречными. Если же кто из них, пользуясь тем, что он избран в евфины, начнет проявлять свою человеческую природу и после избрания окажется порочным, то, согласно закону, каждый желающий может возбудить против него дело. Само судопроизводство пусть происходит следующим образом: прежде всего в состав такого суда входят стражи законов, затем — все, кто ранее состоял евфинами, и, наконец, специально отобранные судьи. Обвинитель предъявляет следующее обвинение: такой-то недостоин знаков отличия и своей государственной должности. Если обвиняемый будет признан виновным, он лишается этой должности, погребения и остальных оказываемых ему почестей; если же истец не получит в свою пользу пятой части голосов, он должен заплатить двенадцать мин, коль скоро он принадлежит к высшему классу, восемь мин — если ко второму, шесть — если к третьему и две — если к четвертому.

Достоин восхищения так называемый Радамантов способ разрешения тяжб. Радамант заметил, что тогдашние люди твердо верили в существование богов; это было естественно, так как в то время большинство принадлежало к числу потомков богов, одним из которых был, по преданию, и сам Радамант. Вот он и решил, что суд нельзя поручать никому из людей, но только богам; поэтому судебные решения выносились у него просто и быстро. Судьям, сомневающимся в каком-нибудь деле, обвиняемый давал клятвенное заверение относительно вызывающего сомнение вопроса; этим дело и кончалось, быстро и нерушимо. Но в наше время, как мы говорили, часть людей вовсе не признает богов, другие полагают, что боги о нас не пекутся, а мнение огромного большинства, состоящего из наихудших людей, таково: боги, получив незначительные жертвы и выслушав льстивые моления, содействуют крупным хищениям и в большинстве случаев помогают освободиться от больших наказаний. Поэтому Радамантов способ правосудия уже не подходит для нынешних людей: раз у них изменились представления о богах, следует изменить и законы.

Разумно установленные законы должны устра-

нить из судопроизводства клятвенные заверения обеих тяжущихся сторон. При подаче любого обвинения надо лишь письменно изложить свою жалобу, не сопровождая ее клятвами. Точно так же и ответчик должен письменно изложить свои оправдания и, не подтверждая их клятвой, передать правителям. Ужасно сознавать, что при обилии судебных дел в государстве чуть ли не половина тех граждан, которые легко общаются друг с другом во время совместных трапез, в разных сообществах и частным образом, — клятвопреступники. Поэтому пусть будет установлен такой закон: судья, собирающийся судить, должен принести клятву. Должен это делать и тот, кто путем снятия с жертвенника табличек для голосования и клятвенного провозглашения имен назначает должностных лиц для всего государства. Кроме того, это входит в обязанности судьи хороводных и вообще всех мусических состязаний, а также руководителей и распорядителей гимнастических и конных состязаний. Одним словом, это разрешается делать во всех тех случаях, когда, по мнению людей, клятва не может принести выгоды. Зато в случаях, когда какое-нибудь отрицание, скрепленное клятвой, может явно принести большую выгоду, тяжущиеся

стороны должны разрешать свои дела судебным порядком, без клятв. Вообще председатели судов не должны никому позволять подтверждать клятвой убедительность своих слов, проклинать самих себя и свой род, прибегать к некрасивым мольбам и к женским воплям: нет, надо поучительно и внятно, сохраняя благопристойность речи, доказывать свою правоту и так вести дело до конца. В противном случае председательствующие должны все время возвращать оратора, как отклоняющегося от предмета своей речи, назад к ее существу. Впрочем, двум чужеземцам разрешается, если им угодно, как это принято и теперь, спокойно обмениваться друг с другом клятвами, ведь они не живут до старости в нашем государстве и большей частью не свивают себе здесь гнезда; следовательно, они не могут дурно повлиять на живущих рядом с ними хозяев страны. Что касается [их] взаимных исков, то здесь порядок будет один и тот же для всех.

Когда свободнорожденный человек оказывается ослушником распоряжений государства, однако проступок его не заслуживает ни побоев, ни тюремного заключения, ни смертной казни (это касается хороводов во время некоторых шествий, процессий и других общих праздников и

торжеств — одним словом, всего того, что совершается либо ради мирных жертвоприношений, либо для взносов на военные надобности), то здесь на первый раз наказание еще не является неотвратимым. С ослушников же возьмут залог те, кому государство и вместе с тем закон предпишут произвести взыскание. Если кто будет упорствовать, несмотря на то что имущество его взято в залог, то это заложенное имущество поступает в продажу, а вырученные деньги поступают в государственную казну. Если необходимо еще большее наказание, то каждое должностное лицо налагает на ослушников соответствующие наказания и направляет дело в суд, с тем чтобы упорствующие в конце концов выполнили то, что им предписано.

Государству, которое не ведет ни внутренней торговли (разве лишь земледельческими продуктами), ни внешней, необходимо взвесить, как поступать при отбытии граждан за пределы страны и при допущении в нее приезжих чужеземцев. Здесь прежде всего должен дать свой совет законодатель, пытаясь по мере сил действовать убеждением.

Сношения государств с другими государствами обычно ведут к смешению нравов, так как чуже-

земцы внушают местным жителям различные новшества. Это принесло бы величайший вред гражданам, обладающим благодаря правильным законам хорошим государственным устройством. Между тем для большинства государств, коль скоро там вовсе нет правильных законов, безразлично это смешение при приеме у себя чужеземцев и при отправлении ватаг своих граждан в другие государства — стоит лишь только человеку пожелать, и он может отправляться куда и когда угодно, все равно, молод ли он или стар. С другой стороны, не принимать у себя иноземцев и самим не ездить в чужие страны совершенно недопустимо. Вдобавок это показалось бы остальным людям грубой и суровой мерой: они сочли бы это за проявление тяжелого нрава и самоуправства и прозвали бы это суровым словом «изгнание чужеземцев» (ξενηλασίας).

Нельзя относиться безразлично к мнению о нас остальных: считают ли они нас хорошими или нет. Дело в том, что большинство людей не в такой же мере лишено способности разбираться в других людях — худы те или хороши, — в какой оно лишено добродетели. Даже плохие люди обладают некой чудесной сметливостью, имеющей божественное происхождение, так что

многие из них, даже самые худшие, прекрасно различают в своих отзывах и в своем мнении людей хороших и дурных. Поэтому хорошо было бы требовать от большинства государств, чтобы они дорожили своей доброй славой в глазах большинства. Впрочем, самое правильное и самое главное — это действительно быть хорошим и таким образом снискать своей жизнью добрую славу; иным путем этого нельзя добиться, коль скоро человек стремится к совершенству. В особенности следовало бы нашему основываемому на Крите государству снискать себе у остальных людей самую прекрасную и высокую славу добродетели. Можно, очевидно, надеяться, что спустя короткое время Солнце и остальные боги узрят среди благоустроенных государств и стран и наше государство, коль скоро оно будет иметь разумные законы.

Итак, относительно путешествий в чужие края и страны и допущения к себе чужеземцев надо поступать следующим образом. Прежде всего, кто не достиг сорока лет, тому вовсе не разрешается путешествовать куда бы то ни было. Затем вообще не разрешается никому путешествовать по частным надобностям, а только по общегосударственным: речь идет о глашатаях, послах и

феорах. При этом нельзя причислить к государственным выездам переходы границ во время войны или походов. В Пифийский храм Аполлона, в Олимпию к Зевсу, в Немею и на Истм надо для участия в жертвоприношениях и состязаниях в честь этих богов посылать людей по мере сил в самом большом количестве, самых прекрасных и достойных, то есть таких, которые могут стяжать добрую славу своему государству как в этих мирных и священных видах общения, так и в том, что соответствует его военной доблести. Вернувшись на родину, эти люди укажут молодым, что законы, определяющие государственный строй иных государств, уступают нашим. Других феоров посылают в чужие земли по своему усмотрению стражи законов. Если кто из граждан пожелает в течение большего срока наблюдать жизнь других людей, никакой закон им в этом не может препятствовать. Ведь государство, из-за своей необщительности не ознакомившееся на опыте с хорошими и дурными людьми, никогда не сможет быть достаточно кротким и совершенным. Да и законы невозможно соблюдать, если они будут восприняты не сознательно, а лишь в силу привычки. Среди прочих постоянно выделяются люди с божественным нравом, вполне достойные

общения. Правда, их немного, и в государствах с благими законами они встречаются не чаще, чем там, где законы плохи. Человек, живущий в государстве с благими законами, должен постоянно, странствуя по морю и по суше, разыскивать следы таких людей, кто не испорчен, сдабы с их помощью укрепить хорошие стороны узаконений, а упущения исправить. Без таких поисков государство не может быть вполне устойчивым, как и тогда, когда поиск выполняется плохо.

Клиний. Но как осуществить то и другое?

Афинянин. Вот как: прежде всего такой феор должен у нас уже переступить за пятьдесят лет и, кроме того, быть из числа людей, снискавших себе добрую славу, — как вообще, так и на войне, — чтобы предстать перед остальными государствами образцовым стражем законов. Кто уже переступил за шестьдесят лет, тот не может быть феором. В пределах этого десятилетия феор может производить наблюдения столько лет, сколько он хочет. По возвращении на родину он должен предстать пред собранием лиц, надзирающих за законами. Собрание это состоит из молодых и престарелых людей и собирается ежедневно, обязательно на заре, до восхода солнца. В него прежде всего входят жрецы, получившие

знаки отличия, затем десять стражей законов, всегда старейших; далее, в нем участвуют вновь назначенный попечитель всего в целом воспитания и лица, уже освобожденные от этой должности. При этом каждый член собрания участвует в нем не только сам по себе, но и вводит в него по своему выбору молодого человека между тридцатью и сорока годами. Эти люди постоянно собираются вместе и обсуждают законы как своего государства, так и чужие, если они узнают, что в чужих краях законы отличаются от местных и что в науках там достигнуто что-то такое, что принесет пользу и просветит тех, кто их изучает (ведь не изучившие их как бы бродят впотьмах, и все касающееся законов представляется им неясным). И все, что из этого будет старейшими членами собрания введено в нашем государстве, то младшие обязаны ревностно изучить. Если кто-нибудь из приглашенных младших членов окажется недостойным приглашения, то все собрание в целом выносит порицание лицу, его пригласившему. Зато молодых людей, снискавших себе добрую славу, охраняет весь остальной город; все граждане с почтением взирают на них и особенно их берегут. За хорошее поведение их чтят выше, чем остальных, но зато и сильнее бес-

честят, если они совершают поступки, худшие, чем поступки большинства людей.

Тот, кто наблюдал законы чужеземцев, сразу по возвращении должен отправиться в это собрание. Он сообщает всем его членам свои соображения или слышанные им от других лиц разъяснения относительно законодательства, образования и воспитания. Если окажется, что он возвратился ничуть не худшим, чем был ранее, хотя и не стал лучше, ему выражают одобрение по крайней мере за его большое усердие. Если же он стал значительно лучше, ему еще при жизни воздают хвалу, а по смерти собрание оказывает ему надлежащие почести. Однако если окажется, что он вернулся испорченным, вообразив себя мудрецом, его не допускают общаться ни с молодыми, ни со старыми. Коль скоро он будет послушен правителям, пусть себе живет как частное лицо; в противном случае он карается смертью, особенно если суд уличит его в том, что он вводит суетные новшества в дело воспитания и в законы. Если же никто из должностных лиц не заключит в тюрьму заслужившего это наказание человека, то при присуждении отличий должностным лицам будет вынесено порицание.

Вот каким условиям должен удовлетворять тот,

кому позволен выезд за пределы страны. Теперь надо подумать о прибывающих чужеземцах. Есть четыре рода чужеземцев, заслуживающих упоминания. Первый род совершает путешествия большей частью летом, точно это перелетные птицы. Большинство таких людей действительно словно перелетают море: они занимаются торговлей ради обогащения и слетаются в другие государства, пользуясь благоприятным временем года. Их должны принимать специально назначенные для этого должностные лица — на рынках, в гаванях и общественных зданиях, расположенных вне города, но близ него — из осторожности, как бы кто-нибудь из таких чужеземцев не ввел каких-нибудь новшеств. Они по справедливости воздадут им должное, но как можно реже будут к ним обращаться — только по необходимости.

Второй род чужеземцев состоит из охотников посмотреть и послушать что можно из произведений Муз. Для всех таких людей должны быть приготовлены пристанища у святилищ, где они и встретят полное гостеприимство. Жрецы и храмовые служители должны заботиться о таких гостях, ухаживать за ними, пока те, пробыв здесь соответствующее время, не уедут, чтобы они не

причинили никакого вреда и не потерпели его во время своего пребывания, но увидели и услышали все то, ради чего приехали. Если кем-то из них или кому-нибудь из них будет нанесена обида, судить здесь будут жрецы, — во всех делах, не превышающих пятидесяти драхм. Если у них возникает тяжба по большему делу, судебное разбирательство производят агораномы.

Третий род чужеземцев — приезжающих из другого государства по его поручениям — надо принимать от имени государства. Их должны принимать только стратеги, гиппархи и таксиархи; заботиться об их приеме надо совместно с пританами каждому, у кого остановится такой чужеземный гость.

Чужеземцы четвертого разряда могут приезжать разве лишь изредка. Это те, что прибывают к нам из чужих краев также для наблюдения. Прежде всего такой чужеземец должен иметь не менее пятидесяти лет. Кроме того, он должен стремиться увидеть у нас что-нибудь лучшее, нежели в остальных государствах, что-нибудь отличающееся своей красотой и указать на что-то подобное своему государству. Такой человек и без приглашения должен быть вхож в дома богатых мудрецов, раз он и сам таков. Пусть он

прямо направится в дом попечителя воспитания в уверенности встретить там полное гостеприимство, достойное подобного гостя, или же в дом человека, одержавшего победу на состязании в добродетели. Общаясь с ними, он и сам их наставит, и от них получит наставления, и отправится обратно, дружественно почтенный дарами и надлежащими почестями.

Вот руководствуясь какими законами надо принимать всех чужеземцев и чужеземок из иных стран и посылать в эти страны своих граждан. Мы почтим Зевса Гостеприимного тем, что не отлучим чужеземцев от нашего стола и жертвоприношений, как поступают теперь питомцы Нила, и не оскорбим их грубыми распоряжениями.

При поручительстве, если кто дает таковое, надо подробно перечислить все пункты, оговорив их письменно, в присутствии не менее трех свидетелей, если дело идет о сумме не выше тысячи драхм; если же сумма выше, то нужно не менее пяти свидетелей. При покупке какой-нибудь вещи посредник выступает в качестве поручителя. Если она неправильно поступает в продажу или вообще не подлежит продаже, то и посредник, и продавец подлежат суду.

Если кто хочет произвести у кого-нибудь обыск, он может это сделать, войдя в дом этого человека нагим или в коротком неподпоясанном хитоне и предварительно принеся установленную законом клятву, что он действительно надеется найти здесь свою вещь. Подозреваемый в утайке вещи должен предоставить для обыска свой дом и все в нем находящееся — как то, что запечатано, так и то, что лежит без печати. Если кто не даст произвести обыска желающему это сделать, пусть последний привлечет его к суду, оценив стоимость разыскиваемой вещи. Если подозреваемый будет уличен, он должен возместить ущерб в двойном размере. Если хозяин дома находится в отсутствии, обитатели дома имеют право предоставить с целью розыска все незапечатанные вещи; тот же, кто обыскивает, может приложить свою печать к запечатанным вещам и приставить кого хочет к ним на пять дней стражем. Если же хозяин будет отсутствовать большее время, обыск надо производить вместе с астиномами, вскрывая запечатанные вещи и снова точно так же их запечатывая при астиномах и обитателях этого дома.

Что касается вещей, принадлежность которых спорна, то законом будет установлен срок, после

которого у обладателя уже нельзя оспаривать эту вещь. Относительно земельных участков и жилищ не может возникнуть спора в нашем государстве. Зато если кто владеет чем-нибудь иным и явно обнаруживает, что он пользуется этой вещью — в городе, на рынке и в святилищах, причем никто этого не оспаривает, между тем как хозяин вещи заявляет, что он все это время ее разыскивал, хотя ее обладатель вовсе не скрывался, — иными словами, если целый год один человек обладал вещью, а другой ее разыскивал, то по прошествии года никто не вправе заявлять свои притязания на эту вещь. Если же обладатель не пользовался ею в городе и на рынке, но явно пользовался ею в деревне, причем не встретился с ее хозяином в течение пяти лет, то по прошествии пяти лет хозяину уже нельзя заявлять свои притязания. Если кто пользовался вещью в городе, но лишь у себя дома, то срок давности устанавливается трехлетний; если же кто пользовался такой вещью втайне в деревне, — десятилетний; для такого же случая, но в чужих краях срока давности нет, если хозяин где-нибудь эту вещь отыщет.

Если кто насильственно воспрепятствует своему противнику или его свидетелям явиться

в суд, то в случае, если подвергся насилию раб — все равно, собственный или чужой, — судебное решение совершенно теряет силу. Если насилию подвергся свободнорожденный человек, то, кроме того что решение теряет свою силу, виновник заключается в тюрьму на год, и любой желающий может возбудить против него обвинение в порабощении. Если кто насильно воспрепятствует своему сопернику явиться на состязание в гимнастическом или мусическом искусстве или в любом ином виде состязаний, пусть любой человек уведомит распорядителей состязаний, а те должны будут предоставить свободный доступ на состязания всякому желающему. Если они не смогут этого сделать и если победит на состязании тот, кто воспрепятствовал явиться своим противникам, то награду за победу надо вручить пострадавшему и записать его имя как победителя в тех святилищах, в каких он сам пожелает. Насильнику же запрещается делать какое-либо приношение в храм и помещать там надпись о таком состязании; его можно привлечь по обвинению в нанесенном ущербе, все равно, будет ли он побежден на состязании или же сам победит.

Если кто сознательно укрывает украденную вещь, он подлежит наказанию наравне с вором.

Укрывательство изгнанника карается смертью. Пусть каждый человек считает своим другом или врагом того же, кого таковым считает и государство. Если кто по частному почину заключит с кем-нибудь мир или пойдет на кого-то войной без общегосударственного решения, то и ему наказанием будет смерть. Если какая-нибудь часть государства заключит с кем-нибудь мир или пойдет на кого-либо войной, то виновных в этом стратеги привлекут к суду и в случае изобличения им грозит смертная казнь.

Тот, кто служит своей родине, не должен принимать за свою службу дары. Здесь не может быть никаких предлогов, никаких, даже всеми одобряемых, причин и разговоров, будто во имя хорошей цели можно принимать дары, а во имя плохой — нет. Ведь в этом трудно разобраться и, даже разобравшись, нелегко с собой совладать. Всего вернее слушаться закона, повиноваться ему и не оказывать никаких услуг за дары. Ослушник подвергается смертной казни, лишь только он будет изобличен на суде.

Что касается денежных взносов в общегосударственную казну, то есть многие причины, по которым каждый должен оценивать свое имущество. Члены фил должны в письменной форме

сообщать агрономам относительно ежегодного прироста их имущества, чтобы, поскольку существует два вида взносов, казна могла воспользоваться тем из них, который ей желателен в данном году, — либо частью всего подвергшегося оценке имущества, либо частью приносимого им ежегодного дохода. Расходы на совместные трапезы при этом исключаются.

Человек умеренный должен делать богам умеренные приношения. Земля и домашний очаг каждого посвящены всем богам. Итак, пусть никто не посвящает богам вторично того, что и так уже им посвящено. В других государствах возбуждают зависть золото и серебро в частных домах и в святилищах. Слоновая кость — этот остаток тела, лишившегося души, — неподходящее приношение; а железо и медь — это орудия войны. Поэтому пусть всякий желающий посвящает в общенародные храмы деревянные изделия из цельного дерева, по своему выбору, а также изделия из камня. Посвящаемые ткани по своему размеру должны быть не больше таких, над которыми работала одна женщина в течение месяца. Белый цвет подобает богам и вообще хорош, в том числе и для тканей. Окрашенных тканей нельзя посвящать; их надо применять только

для воинских украшений. Самые божественные дары — птицы и изображения, которые один художник может выполнить в течение дня. При остальных приношениях сообразуются с этими же правилами.

На сколько частей подразделяется государство, каковы должны быть эти части и какими будут законы по поводу главных видов деловых отношений людей, — обо всем этом уже было сказано. Но необходимо еще сказать о судопроизводстве.

Первый вид суда составляют судьи, сообща выбранные ответчиком и истцом; таким судьям больше подходит имя посредников. Второй вид судов состоит из членов поселков и фил соответственно двенадцатичастному делению страны. Если дело не получает разрешения в первом суде, то прибегают к этим судьям, коль скоро желают добиться большего наказания. Если ответчик вторично проиграет дело, он должен дополнительно уплатить пятую часть стоимости вчиненного ему иска. Если же кто-либо, будучи недоволен и этими судьями, желает в третий раз пересмотреть дело, то он может передать его в суд особо отобранных для этого судей. Если он снова проиграет дело, он оплачивает в полуторном размере предъявленный ему иск. Если истец, проиграв

свое дело в первом суде, не успокоится, но обратится ко второму суду, то в случае выигрыша дела он получает дополнительно пятую часть; в случае же проигрыша ответчик оплачивает такую же часть иска. Если тяжущиеся, не удовлетворенные предшествующими судами, обратятся к третьему суду, то в случае проигрыша ответчик, как было указано, оплачивает иск в полуторном размере, а истец — в половинном. Что касается избрания судей по жребию и пополнения состава суда, назначения помощников каждому из судей, сроков, в которые должны решаться дела, способа подачи голосов, отсрочек и других подобных вещей, свойственных судопроизводству, а также что касается первого и повторного вчинения иска, необходимых судебных прений и так далее, — обо всем этом мы говорили ранее. Впрочем, по пословице, не мешает и дважды, и трижды повторить прекрасное.

Если престарелый законодатель пропустит какие-то мелкие узаконения и это легко заметить, пусть это восполнит молодой законодатель.

Суды по делам частных лиц было бы целесообразно устроить таким образом, как было сказано. Что же касается судов по делам общественным и таких, к которым должны обращаться долж-

ностные лица, чтобы надлежащим образом выполнять свою службу, то относительно всего этого во многих государствах встречается немало хороших законоположений, составленных подходящими для этого дела людьми. Заимствовать оттуда то, что подходит к учреждаемому теперь государству, должны стражи законов, которые проверят эти законоположения на опыте, обсудят их и будут подвергать исправлениям до тех пор, пока каждое из них не станет вполне удовлетворительным. Тогда все считается законченным, незыблемость этих законоположений скрепляется печатью и ими пользуются в течение всей жизни.

Что касается молчания судей, их благоречия, то о том, что противоположно этому, — одним словом, обо всем, что отличается от обычаев, нередко слывущих в прочих государствах справедливыми, благими и прекрасными, кое-что уже было сказано, а кое-что придется еще сказать под конец нашей беседы. Кто намеревается быть справедливым судьей, тот должен считаться со всем этим, понимать в этом толк и иметь при себе письменное изложение всего этого. Ведь из всех наук более всего совершенствует человека, ими занимающегося, наука о законах; по крайней мере

так должно быть, если правильны ее положения, ведь не напрасно божественный и чудесный закон (νόμος) получил бы у нас название, близкое к слову «ум» (νόος). И все остальные сочинения, похвалы или порицания чему-либо, изложенные в стихах либо обычным образом, иной раз записанные, а иной раз просто возникающие при каждодневных общениях, когда из страсти к спорам одни что-либо подвергают сомнению, а другие из-за уступчивости, подчас суетной, с ними соглашаются, — для всего этого великолепным пробным камнем являются сочинения законодателя. Хороший судья должен впитать в себя эти сочинения как средство, предохраняющее от прочих учений, и совершенствовать как самого себя, так и свое государство с целью уготовить хорошим людям сохранение справедливости и ее развитие, а людям дурным — искоренение невежества, распущенности, трусости, короче говоря, всевозможной несправедливости, насколько это в его силах и насколько поддаются исцелению превратные мнения порочных людей. Для душ же тех людей, которым суждено иметь такие мнения, только смерть может быть исцелением. Потому-то мы вправе часто это повторять — судьи и их руководители, приводящие такой приговор

в исполнение, достойны похвалы со стороны всего государства.

После того как ежегодные судебные дела будут разрешены, исполнение судебных приговоров будет совершаться по следующим законам: власть, творящая суд, пусть отдаст все имущество приговоренного, за исключением самого необходимого, тому, кто выиграл дело, сразу после голосования; результат каждого из голосований провозглашает глашатай в присутствии судей. Если после месяцев, назначенных для судопроизводства, пройдет еще один месяц и проигравший дело не произведет полюбовного расчета с выигравшим его, творящая суд власть, защищая права выигравшего дело, передает ему имущество проигравшего. Если проигравшему дело неоткуда взять денег или их недостает — не менее одной драхмы, — то он может не ранее судиться с кем-нибудь другим, как уплатив тому, кто выиграл дело, весь свой долг. В то же время все остальные вправе судиться с ним. Если осужденный станет чинить препятствия осудившей его власти, то лица, несправедливо встретившие здесь препятствия, пусть привлекут его к суду стражей законов. Если кто будет уличен в таком преступлении, его карают смертью, так как он

губит законы и все государство.

Человек рождается, получает воспитание, порождает детей, воспитывает их, вступает должным образом в деловые отношения, подвергается наказаниям, если он кого-то обидел, налагает наказания на других людей — словом, живет согласно законам. Затем неизбежно, по воле судьбы, он стареет и, естественно, наступает его кончина. Относительно скончавшегося — мужчина ли то или женщина — правомочны дать указания истолкователи, толкующие обычаи, которые надлежит исполнять в честь подземных и здешних богов.

Нельзя устраивать гробниц на возделываемой земле; нельзя там воздвигать никаких — ни больших, ни малых — памятников. Хоронить тела покойных надо там, где почва по своим природным свойствам только для этого и годится; делать это надо, не причиняя никаких неудобств живым. Земля — наша мать, она охотно доставляет людям пропитание. Поэтому пусть никто — ни живой, ни покойный — не лишает этого нас, живых. Нельзя насыпать могильный холм выше, чем это могут сделать пять человек в течение пяти дней. Каменные могильные плиты надо делать такой величины, чтобы там уместилась похвала жизни

покойного, выраженная не более чем в четырех героических стихах.

Выставлять тело внутри дома надо не дольше того срока, в течение которого становится ясным, что покойный действительно умер, а это, по нашим человеческим расчетам, будет, пожалуй, трехдневный срок; по истечении его и надо устроить вынос тела к месту погребения. Надо верить законодателю как вообще, так и в том, что душа совершенно отлична от тела и что даже в этой жизни каждого из нас поддерживает не что иное, как душа, тело же следует за каждым из нас как ее видимое проявление. Поэтому прекрасно говорят о мертвых, что тело их есть лишь образ, сущность же каждого из нас бессмертна: она именуется душой, которая отходит к иным богам, чтобы отчитаться там перед ними; как гласит дедовский закон, для человека хорошего этот отчет не страшен, а для дурного очень страшен и никакой серьезной помощи после смерти он ожидать не может. При жизни человеку должны помогать все его близкие, чтобы он был как можно справедливее и жил благочестиво, а по смерти не оказался бы провинившимся в тяжких проступках и не подвергся бы наказанию в той жизни, которая наступит после этой. Коль скоро дело обстоит

таким образом, не следует особенно тратиться в ущерб своему хозяйству и считать, что в этой груде плоти погребаешь своего близкого; нет, надо считать, что твой сын, брат, вообще тот, о ком в особенности тоскуют при погребении, закончил, исполнил свою земную участь и отошел от нас; теперь будет хорошим поступком ограничиться умеренными издержками на этот бездушный жертвенник подземных богов. Надлежащую меру всего лучше угадает законодатель. Пусть будет такой закон: издержки на все погребение человека высшего класса не должны превышать пяти мин, для человека второго класса — трех мин, для человека третьего класса — двух и одной мины — для человека четвертого класса. Это были бы достаточно умеренные издержки. Стражам законов придется выполнять много иных задач, заботиться о многом: они должны думать прежде всего о детях, а также о взрослых — вообще заботиться о живых людях любого возраста; однако при кончине каждого гражданина должен присутствовать один из этих стражей — тот, кого выберут в попечители домочадцы скончавшегося. Ему поставят в заслугу, если все нужное для покойника будет исполнено хорошо и умеренно, если же нехорошо, это послужит ему

в порицание. Выставление тела и все остальное пусть совершается согласно закону. Однако государственный закон должен сделать следующую уступку: было бы неблаговидно предписывать или запрещать оплакивание покойников, зато надо запретить испускать вопли и стенания за пределами дома. Надо не дозволять нести мертвое тело открыто по улицам, и при этом уличном шествии не должно быть места стенаниям. Надо, чтобы еще до наступления дня шествие вышло за черту города. Пусть именно таковы будут обычаи. Повинующийся свободен от наказания; ослушавшийся же одного из стражей законов наказывается ими всеми: они сообща устанавливают ему наказание. Что касается особых видов погребения покойных или даже лишения их погребения, то все дела об отцеубийцах, святотатцах и им подобных были разобраны нами раньше и законы для них уже установлены. Таким образом, наше законодательство, пожалуй, окончено.

Впрочем, всякое дело заканчивается не тем, чтобы что-нибудь выполнить, приобрести, учредить: нет, вполне законченным надо считать то дело, которое выполняется лишь тогда, когда найдены средства, способствующие сохранению того, что появилось на свет, иначе целому чего-то

недостает.

Клиний. Ты прекрасно сказал, чужеземец, но разъясни, к чему именно из только что сказанного относятся твои слова?

Афинянин. Клиний, многое, что было у наших предков, прекрасно прославлено, и, пожалуй, не меньше другого имена Мойр.

Клиний. Какие именно?

Афинянин. Первое из них — Лахесис, второе — Клото, третье — Атропос, хранительница жребиев. Эти имена уподоблены закрепляемой пряже, которая уже не раскручивается. Такое свойство должно не только дать государству и его строю телесное здоровье и сохранность, но и поселить благозаконие в душах, а еще более — дать сохранность самим законам. Мне кажется, что нашим законам явно недостает именно этого. Каким образом законы приобретут, согласно с их природой, эту способность оставаться неколебимыми?

Клиний. Ты упомянул о чем-то очень существенном, если только вообще возможно найти средство придать чему бы то ни было это свойство.

Афинянин. Однако, как я сейчас ясно увидел, это действительно возможно.

Клиний. Так давайте неотступно отыскивать это средство, пока не найдем его для изложенных нами законов. Ведь было бы смешно понапрасну трудиться над чем-нибудь и не достичь ничего прочного.

Афинянин. Твой совет правилен, во мне ты найдешь человека таких же взглядов.

Клиний. Хорошо. В чем же, по-твоему, состояло бы спасение для государства и наших законов? Каким образом это могло бы осуществиться?

Афинянин. Разве мы не сказали, что в нашем государстве должно быть собрание, устроенное так: десятеро самых престарелых стражей законов и все те, кто имеет отличия, должны постоянно собираться вместе? Кроме того, люди, путешествовавшие с целью разыскать, нет ли где чего-нибудь подходящего для охраны законов, и вернувшиеся на родину, после того как они подвергнутся испытанию со стороны вышеуказанных лиц, могут быть достойными участниками этого собрания. Сверх того, каждый из них должен привести с собой одного молодого человека, однако достигшего уже тридцати лет: обсудив сначала, достоин ли он этого по своей природе и воспитанию, его вводят в среду остальных, и, если все согласны, он становит-

ся участником собрания. В противном случае для остальных граждан и особенно для самого́ отвергнутого должно остаться тайной состоявшееся решение. Это собрание будет собираться рано утром, пока каждый всего более свободен от своих личных и от государственных дел. Таковы были наши прежние указания.

Клиний. Да, именно таковы.

Афинянин. Возвращаясь опять к этому собранию, я сказал бы вот что: я утверждаю, что, если им воспользоваться как якорем для всего государства, оно спасло бы все то, что нам желательно, так как в нем сосредоточено все полезное.

Клиний. Как так?

Афинянин. Сейчас представляется удобный случай дать надлежащие разъяснения, я должен сделать это с особым усердием.

Клиний. Прекрасно сказано! Осуществи же свой замысел!

Афинянин. Надо принять во внимание, Клиний, что у всякой вещи есть то, что ее сохраняет; так, в живом существе самое главное — это душа и голова.

Клиний. Что ты разумеешь?

Афинянин. Хорошие голова и душа спасают все живое.

Клиний. Как?

Афинянин. Душе кроме всего прочего присущ ум, а голове — зрение и слух. Короче говоря, ум, слитый воедино с прекраснейшими ощущениями, с полным правом можно было бы назвать спасением всякого существа.

Клиний. Да, видимо, это так.

Афинянин. Очевидно. Но на что направлен ум, смешанный с ощущениями, когда он, например, спасает суда во время бури или при ясной погоде? Не правда ли, кормчий, ведущий корабль, и моряки — это все равно что единство ощущений с ведущим их умом, благодаря чему они спасаются сами и спасают корабль со всем, что на нем есть?

Клиний. Несомненно.

Афинянин. Вовсе нет нужды в многочисленных примерах. Обратим внимание хотя бы только на ратное дело и на ту цель, которую ставят себе военачальники, а также любые служители врачебного искусства, чтобы достичь спасения. Не правда ли, у военачальников целью будет победа и одоление врага, а у врачей и их служителей — доставление телу здоровья?

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Но если бы врач не знал того состояния тела, которое мы обозначили сейчас как

здоровье, или если бы военачальник не знал, что́ такое победа и так далее, разве возможно было бы им проявить здесь свой ум?

Клиний. Нет, невозможно.

Афинянин. А как же обстоит дело с государством? Если бы кто обнаружил незнание той цели, к которой должен стремиться государственный муж, разве можно было бы, во-первых, признать его по праву правителем, а затем — разве мог бы он спасти то, цель чего ему совсем неизвестна?

Клиний. Конечно, нет.

Афинянин. Вот и теперь, как видно, если только мы намерены завершить устройство поселения в нашей стране, у нас должно быть нечто такое, что само по себе ведало бы прежде всего цель этого поселения, как у нас это обычно ведомо государственному мужу. Далее, надо знать, каким образом следует приняться за дело, что именно в самих законах, а затем и в людях может пригодиться, а что́ не может. Если государство не будет всего этого иметь, не будет ничего удивительного, коль скоро, лишенное ума и ощущений, оно в каждом деле станет отдаваться на волю случая.

Клиний. Ты прав.

Афинянин. Так вот, в какой части или в каком

обиходе нашего государства существует такой достаточно способный к охране орган? На что можем мы указать?

Клиний. Это еще не совсем ясно, чужеземец. Насколько можно догадаться, кажется мне, твои слова клонятся к тому собранию, которое, как ты только что сказал, должно собираться ночью.

Афинянин. Твое замечание совершенно верно.

Клиний. Это собрание, как показывает наше нынешнее рассуждение, должно обладать всевозможной добродетелью. Самое же главное состоит в том, чтобы не блуждать, преследуя разные цели, но иметь в виду что-нибудь одно и все стрелы метать всегда в этом направлении.

Клиний. Разумеется.

Афинянин. Теперь мы поймем, что нет ничего удивительного в блуждании государственных узаконений, раз в каждом государстве цели законодательства разные. Неудивительно также, что большей частью определяют справедливое положение вещей следующим образом: в одних государствах считают справедливой власть нескольких лиц независимо от того, лучше или хуже они остальных людей; в других — возможность обогащаться независимо от того, становятся ли при этом люди рабами других

или нет; в третьих все стремление направлено к свободной жизни; законодательство четвертых имеет две цели: самим быть свободными и владычествовать над другими государствами. Наконец, есть государства, считающие себя самыми мудрыми, однако они сразу преследуют все эти цели и не могут указать той главной и единой цели, на которую должно быть направлено все остальное.

Клиний. Следовательно, чужеземец, правильно наше давнее утверждение: мы сказали, что все наши законы должны всегда иметь в виду единую цель. И мы совершенно правильно согласились, что цель эта — добродетель.

Афинянин. Да.

Клиний. Но мы различали четыре вида добродетели.

Афинянин. Конечно.

Клиний. Всеми ими руководит ум; ему должно подчиняться все остальное, в том числе и эти три вида добродетели.

Афинянин. Ты прекрасно следил за нашими рассуждениями, Клиний, поступай так и впредь. Мы указали ту единую цель, которую должен иметь в виду ум — ум кормчего, врача или военачальника. Сейчас мы исследуем ум государственного мужа. Хорошо было бы обратиться к

нему, как к человеку, с таким вопросом: «О удивительный, какова же твоя цель? Что такое это единственное, что ясно смог указать врачебный ум? И неужели же ты не можешь этого сделать, хотя ты с полным правом мог бы сказать, что выделяешься среди всего разумного?» Мегилл и Клиний, не можете ли вы, произведя должное различение, ответить мне вместо него, какова эта цель? Ведь я часто давал вам подобные определения в других случаях.

Клиний. Нет, чужеземец, это невозможно.

Афинянин. Но по крайней мере можете ли вы сказать, что надо ревностно стремиться к отысканию этой цели, и указать, в чем ее надо искать?

Клиний. Что ты имеешь в виду?

Афинянин. Например, если, согласно нашему утверждению, существует четыре вида добродетели, то ясно, что каждый из них необходимо признать единым, хотя всех и четыре.

Клиний. Разумеется.

Афинянин. Однако все это, вместе взятое, мы также считаем единым. Ведь и мужество мы признаём добродетелью, и разумность, и остальные два вида, причем считаем, что это все по существу не множественно, но составляет определенное единство, а именно добродетель.

Клиний. Безусловно.

Афинянин. Совсем нетрудно указать, чем различаются между собой эти две добродетели — мужество и разумность, почему они получили особые наименования и так далее. Но не так легко понять, почему то и другое, а также прочие добродетели нарекли едино.

Клиний. Что ты разумеешь?

Афинянин. Вовсе не трудно разъяснить то, о чем я говорю. Давайте разделимся с вами так: одни будут спрашивать, другие — отвечать.

Клиний. Опять-таки что ты хочешь этим сказать?

Афинянин. Спроси меня, почему, признав единство добродетели, мы снова отдельно обозначаем эти два ее вида — мужество и разумность. Я тебе укажу причину: первый вид касается страха, и ему причастны даже звери — это мужество; можно его заметить и в характере совсем маленьких детей. Ведь мужество сообщается душе и без участия разума, просто как природное свойство. С другой стороны, душа без разума не может быть разумной и обладать умом, этого не было, нет и никогда не будет, ибо это иное свойство.

Клиний. Ты прав.

Афинянин. Чем различаются эти два вида доб-

родетели и почему их именно два, ты понял из моих слов. В чем же состоит их единство и тождество, это уже твой черед мне указать. Представь, что ты должен ответить, почему эти четыре вида составляют единство; спроси же у меня, почему их четыре, раз ты показал, что это — одно? Затем рассмотрим, можно ли человеку, обладающему достаточными знаниями о чем-то имеющем имя, а также определение, знать только одно это имя, определения же не знать? Или же позорно для человека, хоть что-то собой представляющего, не знать всего этого о предметах, выдающихся своими размерами и красотой?

Клиний. По-видимому, позорно.

Афинянин. Для законодателя, для стража законов, для всякого, кто хочет отличиться добродетелью и за победу в ней получает почетные награды, нет ничего важнее того, о чем мы сейчас ведем речь, — мужества, рассудительности, справедливости и разумности.

Клиний. Несомненно.

Афинянин. Разве не должны наставлять в этом того, кто нуждается в знании и понимании, истолкователи, учители, законодатели и охранители всех людей? Разве не должны они наказывать и порицать того, кто ошибается? На-

конец, разве не должны они всячески разъяснять значение, которое имеют порок и добродетель, и этим выделяться из среды остальных людей? Неужели же лучше этих людей, победивших во всех видах добродетели, окажется любой явившийся в государство поэт или любой человек, выдающий себя за воспитателя юношества? Далее, не будет удивительным, если государство, где стражи недостаточно владеют словом и плохо умеют действовать, хотя и достаточно знают о добродетели, испытает, будучи лишено охраны, то, что терпит большинство нынешних государств.

Клиний. Конечно, это не будет удивительным.

Афинянин. Итак, следует ли нам осуществить то, о чем у нас сейчас идет речь? Каким образом надо подготовить стражей, чтобы они и в своих речах, и на деле тщательнее берегли добродетель, чем большинство граждан? Каким способом наше государство уподобится голове и ощущениям разумных людей, имея у себя такую охрану?

Клиний. Как это, чужеземец? Можем ли мы сравнивать наше государство с такими вещами?

Афинянин. Ясно, что само государство представляет собой некое вместилище: отборные и самые одаренные молодые люди из стражей занимают его вершину; обладая душевной зор-

костью, они озирают кругом все государство; эти молодые стражи передают свои ощущения памяти, когда сообщают старшим все то, что делается в государстве. Старцы, которых мы сравнили с разумом, так как они по преимуществу размышляют о многих значительных вещах, дают свои советы, пользуются услугами молодых людей и их советами, и таким образом те и другие сообща действительно спасают все государство в целом. Скажем ли мы, что это именно так должно быть устроено или как-то иначе? Неужели мы не будем делать различия между теми, кто имеет эти знания, кто на них воспитан и ими вскормлен, и теми, кто их не имеет?

Клиний. Нет, удивительный ты человек, это невозможно.

Афинянин. Следовательно, надо стремиться к более основательному образованию, чем раньше.

Клиний. Быть может.

Афинянин. Но то образование, которого мы сейчас слегка коснулись, не есть ли именно такое, в каком мы нуждаемся?

Клиний. Разумеется, да.

Афинянин. Разве мы не сказали, что в каждом деле выдающийся демиург и страж должен не

только быть в силах наблюдать за многим, но должен еще стремиться к какой-то единой цели, знать ее и сознательно направлять к ней все, что он охватывает своим взором?

Клиний. Это верно.

Афинянин. Разве есть более точный способ созерцания, чем когда человек в состоянии отнести к одной идее множество непохожих вещей?

Клиний. Возможно, ты прав.

Афинянин. Не возможно, а действительно прав, мой друг: никто из людей не располагает более ясным методом.

Клиний. Доверяю тебе, чужеземец, и уступаю. Продолжим же нашу беседу в этом направлении.

Афинянин. Итак, по-видимому, надо принудить стражей нашего божественного государства прежде всего научиться тщательно различать то, что состоит из четырех частей, на самом же деле составляет единство и тождество: оно включает в себя, как мы говорили, мужество, рассудительность, справедливость и разумность и заслуженно носит единое имя добродетели. Если угодно, друзья мои, будем теперь делать особый упор на это положение и не оставим его рассмотрение, пока не разъясним в достаточной мере, что же представляет собой цель, к которой

надо стремиться: одно ли это что-то, или совокупность [многого], или то и другое одновременно — одним словом, что это такое по своей природе. Если это от нас ускользнет, можно ли ожидать, что вопрос о добродетели будет решен у нас удовлетворительно? Ведь мы не в состоянии будем выяснить, множественна ли добродетель, существуют ли четыре ее вида или она едина? Если мы послушаемся своего собственного совета, мы любыми средствами постараемся внедрить эти знания в нашем государстве; если же вы решите, что это вообще нужно оставить, то так и следует поступить.

Клиний. Чужеземец, клянусь богом, покровителем чужеземцев, это нельзя оставить ни в коем случае! Нам кажется, ты был вполне прав. Но как придумать средство для осуществления этого?

Афинянин. Пока еще не будем говорить о средствах. Прежде всего нам надо самим прийти к согласию и прочно установить, следует ли нам вообще это делать или не следует.

Клиний. Конечно, следует, если только это возможно.

Афинянин. Что же дальше? Мыслим ли мы точно так же о прекрасном и о благом? Дóлжно ли учить наших стражей, что то и другое мно-

жественно, или они должны считать каждое из этого единым? Вообще каково это?

Клиний. Пожалуй, естественно и необходимо считать все это единым.

Афинянин. И что же? Достаточно ли только так мыслить или надо еще уметь доказать с помощью рассуждения?

Клиний. Конечно, следует это доказать. Иное подобало бы разве лишь рабу.

Афинянин. Дальше. Разве не то же самое скажем мы о любой заслуживающей внимания вещи? Кто хочет стать настоящим стражем законов, тот должен действительно знать об этом истину и быть в состоянии словесно ее излагать и подкреплять соответствующими делами, различая то, что прекрасно по своей природе и что нет.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Но разве не одна из самых прекрасных вещей — это [понятие] о богах, которое мы усердно разобрали, а именно о том, что они существуют, и явное обладание великой силой такого познания — насколько это возможно для человека. Большинство же граждан можно извинить, если они только следуют слову закона. Зато тем, кто собирается стать стражами, нельзя

доверять этой должности, пока они тщательно не укрепят своей веры в существование богов. Никогда не следует избирать в стражи законов и включать в число граждан, испытанных своею добродетелью, человека не божественного и не потрудившегося на этом поприще.

Клиний. Твое требование — отрешить людей, неспособных к познанию и бездеятельных, от прекрасного — справедливо.

Афинянин. Итак, мы знаем, что относительно богов есть два убедительных довода, которые мы уже разобрали.

Клиний. Какие это доводы?

Афинянин. Один касается, как мы указывали, души и гласит, что она самая старшая и божественная из всех вещей, движение которых, соединившись со становлением, создало вечную сущность. Другой довод касается всеобщего движения: в нем наблюдается стройный порядок, так как над светилами и прочими телами господствует все упорядочивающий ум. Не существует такого безбожного человека, который, рассмотрев все это основательно и без предубежденности, не вынес бы впечатления, прямо противоположного тому, какое выносит большинство людей. Ведь они думают, будто те, кто занимается наукой о

звездах и другими необходимыми примыкающими к ней науками, становятся безбожниками, так как замечают, что все происходящее, возможно, совершается по необходимости, а не в силу разумной воли, направленной к осуществлению блага.

Клиний. А как это обстоит на самом деле?

Афинянин. Я уже сказал, что в наше время понимание этих вещей прямо противоположно тому, которое существовало, когда мыслители считали все это неодушевленным. Впрочем, и тогда уже преисполнялись удивлением и подозревали здесь то, что теперь действительно установлено людьми, тщательно этим занимавшимися, ведь уже тогда предполагали, что при неодушевленности тел, не обладающих умом, не могли бы быть выполнены столь удивительно точно все расчеты. Некоторые даже отваживались уже тогда выставлять рискованное положение, что ум привел в стройный порядок все то, что находится на небе. Но те же самые люди снова допустили ошибку в понимании природы души и того, что она старше тел. Считая, напротив, ее моложе, они снова, так сказать, повернули все вспять, особенно же самих себя. Все то, что проносилось по небу у них на глазах, показалось им наполненными камнями, землей

и многими иными неодушевленными телами, на которые разделились первоначала космоса. Это-то и вызвало тогда появление безбожия и отвращение к такого рода занятиям. Сюда добавилось также поношение: поэты стали сравнивать философов с собаками-пустолайками и твердить другие бессмыслицы. А сейчас, как было сказано, все обстоит наоборот.

Клиний. Как именно?

Афинянин. Никто из смертных не может стать твердым в благочестии, если не усвоит двух только что указанных положений. Первое — что душа старше всего, что получило в удел рождение; она бессмертна и правит всеми телами; второе — что в звездных телах, как мы не раз говорили, пребывает ум всего существующего. Следует усвоить предваряющие эти положения необходимые знания, чтобы заметить их общность с мусическими искусствами и воспользоваться ими для нравственного усовершенствования в согласии с законами и чтобы быть в состоянии отдать себе разумный отчет во всем том, что разумно. А кто не в состоянии в дополнение к гражданским добродетелям приобрести эти знания, тот едва ли когда-нибудь будет удовлетворительным правителем всего государства: он будет только

слугою другим правителям. Теперь, Клиний и Мегилл, нам нужно посмотреть, следует ли ко всем указанным раньше и разобранным нами законам добавить еще такой: следует установить, согласно закону, охранный [орган] для спасения государства — Ночное собрание должностных лиц, приобщившихся к указанному образованию. Так ли мы поступим?

Клиний. Как же, мой друг, нам этого не добавить, если это хоть сколько-нибудь возможно.

Афинянин. Так вот, мы все и поведем упорную борьбу за это. Я тоже охотно буду вашим помощником в этом деле. Кроме себя я, может быть, найду и других помощников благодаря моей большой опытности в этом деле и настойчивому его исследованию.

Клиний. Да, чужеземец, надо всячески стараться идти по этому пути, раз чуть ли не сам бог ведет нас по нему. Теперь надо указать и исследовать, какой образ действий здесь был бы правильным.

Афинянин. Для этих вещей, Мегилл и Клиний, невозможно устанавливать законы, пока все это еще не устроено. Лишь потом надо будет установить законом полномочия членов собрания. Но и предварительное наставление сопряжено с необходимостью подробных бесед, если приняться за

дело как следует.

Клиний. Как это понимать?

Афинянин. Прежде всего надо составить перечень лиц, пригодных для такой охранительной службы по своему возрасту, по силе своих знаний, нравственным качествам и привычкам. После этого нелегкой задачей будет найти, что же именно надо изучать; нелегко также стать учеником того, кто это нашел. Вдобавок есть еще определенный срок, предназначенный для усвоения. Устанавливать все это письменно было бы напрасно. Ведь даже самим обучающимся неясно, какое требуется время для изучения, пока каждый в глубине души не приобрел знаний по данному предмету. Если сказать, что никакие сокровенные знания недоступны, то это будет неправильно, ибо они недоступны в том смысле, что им нельзя предпослать предварительных разъяснений.

Клиний. Но раз это так, чужеземец, как же нам поступить?

Афинянин. Согласно поговорке, друзья мои, истина лежит посередине. Если бы мы захотели рискнуть всем государственным строем, то нам надо было бы поступить так, как говорят игроки в кости: либо выбросить трижды шесть, либо три

единицы. Я хочу рискнуть вместе с вами в том отношении, что я поясню и растолкую мои взгляды на образование и воспитание, снова затронутые в этой беседе. Да, риск здесь большой, и кому-нибудь другому он был бы не по плечу. Но тебе, Клиний, я советую приняться за это дело. Ведь ты либо стяжаешь величайшую славу за правильное устройство государства магнетов (а быть может, оно по воле божьей получит другое имя), либо неизбежно покажешься чрезвычайно мужественным всем последующим людям. Если же, дорогие мои друзья, это божественное собрание будет у нас создано, то ему надо вручить государство. Об этом, так сказать, нет спора между нынешними законодателями. Действительно, только тогда вполне, можно сказать, наяву осуществится то, чего мы коснулись в нашей предшествующей беседе как бы во сне, слив воедино образ главы и ума. Пусть члены этого собрания будут у нас тщательно подобраны и надлежащим образом воспитаны. Получив такое воспитание, они поселятся на акрополе, возвышающемся над всей страной, и будут совершенными стражами по охране добродетели, каких мы не видывали в прежней жизни.

Мегилл. Друг мой Клиний, приняв во внимание

все только что сказанное, нам надо либо оставить мысль об устроении государства, либо не отпускать этого чужеземца, но всевозможными просьбами и средствами заставить его принять в этом устроении участие.

Клиний. Ты совершенно прав, Мегилл; я так и сделаю, а ты мне помоги.

Послезаконие

Рассуждение о высшей мудрости

Клиний. Ну вот, чужеземец, мы и сошлись, как было условлено, все втроем — я, ты и наш Мегилл, — чтобы рассмотреть, как нам исследовать вопрос о разумности. Если поразмыслить, то исследование этого вопроса всего лучше может направить человека по пути разума, поскольку обладание разумением вообще для него возможно. В самом деле, можно признать, что мы разобрались во всем остальном, касающемся установления законов: но вот что всего важнее отыскать и сказать, а именно, чему должен обучиться смертный человек, чтобы стать мудрым, этого мы и не нашли и не высказали. Давайте попробуем сейчас не упустить этого. Дело в том, что иначе мы, пожалуй, не закончим то, ради чего все мы двинулись в путь, надеясь выяснить все от начала до конца.

Афинянин. Хорошо ты говоришь, дорогой Клиний. Но думается мне, тебе предстоит услышать странную речь. Впрочем, с другой стороны, она и не так странна. Многие люди, даже с большим

жизненным опытом, держатся того взгляда, что человеческий род никогда не будет счастливым и блаженным. Проследи и посмотри, не покажется ли тебе, что и я, вместе с ними, окажусь здесь прав. Я также отрицаю возможность для людей, за исключением немногих, стать счастливыми и блаженными. Но я ограничиваю это пределами нашей жизни. У человека есть прекрасная надежда, что после смерти он достигнет всего того, ради чего он при жизни стремился жить по мере сил как можно лучше, дабы, окончив жизнь, достигнуть подобного конца. Говоря это, я не высказываю ничего мудреного; нет, так или иначе все мы — и эллины, и варвары — признаем это; каждому живому существу с самого начала тяжко появиться на свет. Прежде всего тяжело быть причастным утробному состоянию, затем идет само рождение, далее — взращивание и воспитание; все это, как мы признаём, сопряжено с тысячью тягот. Жизнь наша краткотечна, даже если не принимать в расчет каких-то особых бедствий, но лишь такие, что выпадают на долю каждого в скромных размерах. Краткотечность эта позволяет человеку свободно вздохнуть только, как кажется, в середине его жизни. А быстро подступающая старость заставляет каждого, кто

только не преисполнен детских чаяний, отказаться от желания вновь возвратиться к жизни: ведь человек принимает в расчет прожитую им жизнь. На что я здесь могу сослаться? На то, что такова уж сама природа обсуждаемого сейчас вопроса. Мы выясняем, каким образом мы можем стать мудрыми, словно каждый человек имеет эту возможность. Между тем мудрость убегает от нас, когда мы приближаемся к разумности так называемых искусств, ученых занятий и других тому подобных вещей, относимых нами к знаниям, тогда как ничто из этого не заслуживает такого обозначения, раз вся мудрость этих занятий обращена на человеческие дела. А ведь душа человека твердо уверена в этой мудрости и заявляет, что по своей природе она каким-то образом может ее обрести. Однако она не очень-то может найти, в чем состоит эта мудрость, когда она появляется и каким образом приходит. Не правда ли, именно на такое состояние человеческой души очень походит наше теперешнее затруднение в вопросе о мудрости и все это наше исследование. Возникающие здесь у каждого человека трудности превосходят все ожидания; по крайней мере так бывает у тех среди нас, кто оказывается в состоянии разумно и складно ис-

следовать как самих себя, так и других людей с помощью всевозможных способов рассуждения. Согласимся ли мы, что это действительно так? Или нет?

Клиний. Согласимся; однако все же мы надеемся, чужеземец, что со временем, с твоей помощью, составим себе наиболее истинное мнение об этом.

Афинянин. Итак, нам надо прежде всего разобрать все остальные так называемые знания, которые отнюдь не делают мудрым человека, занимающегося ими и их усвоившего. Покончив с ними, мы попробуем, для сравнения, изложить — а после изложения и усвоить — те знания, что нам необходимы.

Таким образом, прежде всего рассмотрим начатки знаний, в высшей степени необходимые смертному племени, так что, пожалуй, они поистине первые. Однако человек, овладевший ими, даже если он когда-то, вначале, и казался мудрым, теперь уже вовсе не покажется таковым, а эти его знания скорее навлекут на него упрек.

Давайте укажем, в чем эти начатки знаний состоят и почему чуть ли не всякий, кто стремится к тому, чтобы быть признанным человеком самых высоких достоинств, избегает этих знаний путем

достижения разумности и упражнения в ней. Первое из этих знаний — то, которое, как говорит предание, с одной стороны, совершенно отучило нас от свойственного всем живым существам взаимного пожирания, а с другой — приучило нас к обычной пище. Да не прогневаются на нас за это прежние поколения! Впрочем, они относятся к нам благосклонно, ибо мы приветствуем тех из них, кто впервые установил то, о чем мы говорим. Хотя производство ячменной крупы и пшеничной муки и питание ими великолепно, все же это никогда не сможет сделать человека вполне мудрым. Дело в том, что самое название «производство» указывает лишь на трудность получения самих предметов. Примерно то же самое относится и к любым видам земледелия. Ведь оказывается, что все мы беремся за обработку земли не благодаря искусству, но просто так, по самой природе, и в этом нам помогает бог. Кроме того, строительство домов и всякого рода зодчество, а также изготовление разной утвари, кузнечное дело, выделка орудий для плотничьего ремесла, для лепки, плетения и тому подобных занятий полезны народу, но нельзя сказать, чтобы все это имело отношение к добродетели. Точно так же любого рода охота, ставшая столь разнообразной

и искусной, все же не дает величия, соединенного с мудростью. Равным образом и искусство прорицания и все в целом искусство истолкователей. Дело в том, что эти искусства знают только то, чего они касаются, причем вовсе не задаются вопросом, истинно это или нет.

До сих пор мы рассматривали добычу предметов первой необходимости с помощью искусства; при этом выяснилось, что во всех без исключения случаях занятие это не делает человека мудрым. Нам остается рассмотреть теперь забаву, большей частью состоящую в подражании и во всех отношениях несерьезную. Люди пользуются подражанием как с помощью многих орудий, так и путем не совсем благовидных телесных движений. Далее, они создают повествовательные и разного рода стихотворные подражания с помощью тех приемов, матерью которых является живопись; а ведь ее произведения бывают чрезвычайно разнообразны, в зависимости от того, каким она пользуется материалом — сырым или сухим. И хотя бы человек занимался любым этим мастерством с величайшей тщательностью, все равно подражательное искусство никого не сделает мудрым.

Правда, все эти творения в конце концов могли

бы оказать огромную помощь неисчислимому количеству людей. В этом отношении величайшее и самое полезное искусство то, которое носит имя военного и военачальнического; его распространенность снискала ему наибольшую славу. Но зато оно всего более нуждается в счастливом стечении обстоятельств да и по своей природе большим обязано мужеству, нежели мудрости. Искусство, именуемое врачебным, приносит пользу всем живым существам, когда их природа страдает от смен времен года, от холода или от несвоевременно наступившей жары; однако и здесь ничто не служит приобретению наиболее истинной мудрости: дело в том, что врачебное искусство лишено надлежащей меры и полно смутных предположений. Правда, мы должны будем признать, что кормчие, а вместе с ними и моряки, в известном смысле оказывают нам помощь; но никто не уверит нас, будто хоть один из них — человек мудрый. Ведь никто из них не ведает причин гневного напора ветра или его ласкового дуновения; между тем такое знание было бы весьма любезно всему искусству кораблевождения. Точно так же обстоит дело с людьми, которые, по их утверждению, помогают нам силой своего красноречия вести судебные дела.

Путем развития памяти и постоянного упражнения они все свое внимание обращают на нравы, но они очень далеки от понимания подлинной справедливости.

Кроме мнимой мудрости остается еще одна странная способность, которую большинство назвало бы скорее природным свойством, чем мудростью. Она состоит в быстрой сообразительности, в легком усваивании, в обширной и твердой памяти, схватывающей то, что полезно человеку. Благодаря этому человек сразу поступает так, как подсказывают обстоятельства. Все эти способности одни люди считают природным свойством, другие — мудростью. Однако ни один разумный человек никогда не захочет признать действительно мудрым того, кто ими обладает.

Высшая мудрость – это наука о числе

Так вот, надо обнаружить такое какое-то знание, обладание которым делало бы человека действительно мудрым, а не только по видимости. Посмотрим, что это за знание. Мы беремся во всяком случае за трудное исследование, раз мы хотим найти помимо вышеуказанных знаний такое, которое в действительности и на достаточном основании следовало бы признать

мудростью, — знание, обладатель которого будет не глупым, ремесленным исполнителем, но мудрым и добрым гражданином; правитель ли он в своем государстве или подвластный — все равно он будет справедлив и благопристоен.

Сперва рассмотрим знание, с выходом которого из человеческого обихода и выключением его из ряда других ныне существующих знаний человек превратился бы в самое бессмысленное и безрассудное существо. Знание это не очень трудно заметить. В самом деле, сравнивая, так сказать, одно знание с другим, мы найдем, что сказанное может относиться только к тому из них, которое дало всему смертному роду [понятие о] числе. Я думаю, что его нам дал для нашего спасения скорее бог, чем какой-то случай. Надо сказать, какого бога я имею в виду. Хотя, с одной стороны, это представляется странным, зато, с другой стороны, это все же не так. В самом деле, как не считать виновником этого знания, давшим нам величайшее из благ — разумность, того, кто вообще виновник всех человеческих благ? И кого же из богов славлю я, Мегилл и Клиний? Пожалуй, это — Небо, и всего справедливее почитать его и преимущественно к нему обращаться с молитвами; так поступают и все прочие божественные

существа и боги. Все мы согласились бы, что Небо стало для нас виновником и всех других благ. Мы действительно утверждаем, что оно дало нам [понятие о] числе да и в будущем даст, если кто захочет последовать его указанию. В самом деле, кто обратится к правильному его созерцанию, — Космосом ли, Олимпом или Небом ему угодно будет его называть (и пусть называет!), — тот будет улавливать разнообразные перемены в себе самом, происходящие под влиянием обращения звезд, смены времен года и всевозможной пищи. Итак, мы будем утверждать, что Небо дает нам и всю другую разумность, вместе с общим [понятием о] числе, да и все остальные блага. Самым же главным будет, если человек, получив от него в дар числа, разберется в его круговращении в целом.

Однако вернемся немного назад в нашем рассуждении и вспомним, как правильно мы заметили, что никогда не стали бы разумными, если бы исключили число из человеческой природы. Дело в том, что душа живого существа, лишенного разума, вряд ли сможет овладеть всей добродетелью в совокупности. Ведь существу, не знакомому с тем, что такое «два», «три», «нечет» или «чет», совершенно неведомо [понятие] чис-

ла. Поэтому такое существо вряд ли сможет дать себе отчет в том, что приобретено только путем ощущений и памяти. Правда, это ничуть не препятствует тому, чтобы иметь прочие добродетели — мужество и рассудительность; но тот, кто не умеет правильно считать, никогда не станет мудрым. А у кого нет мудрости, этой самой значительной части добродетели, тот не может стать вполне благим, а значит, и блаженным. Поэтому необходимо класть в основу всего число. Для разъяснения этой необходимости потребовалось бы рассуждение более пространное. Впрочем, и теперь будет правильным сказать, что из всех остальных так называемых искусств, разобранных нами, — допустим, что все это действительно искусства, — не осталось бы ни единого, но все они совершенно исчезли бы, если бы было исключено искусство арифметики.

Бросив взгляд на искусства, кто-нибудь может, пожалуй, предположить, что род человеческий нуждается в числе ради незначительных целей. Правда, важно уже и это. Если же кто примет во внимание божественность рождения и смерти, в чем также можно распознать священное начало и действительно сущее число, то окажется, что далеко не всякий может познать все в совокупно-

сти число — настолько велико его значение для нас, вызываемое его соприсутствием с нами. Раз уж во всем мусическом искусстве надо исчислять движения и звуки, то ясно, что число — виновник всех благ, а это самое главное. Что число не вызывает ничего дурного, это легко распознать, как это вскоре и будет сделано. Ведь чуть ли не любое нечеткое, беспорядочное, безобразное, неритмичное и нескладное движение и вообще все, что причастно чему-нибудь дурному, лишено какого бы то ни было числа. Именно так должен мыслить об этом тот, кто собирается блаженно окончить свои дни. Точно так же никто, не познав [числа], никогда не сможет обрести истинного мнения о справедливом, прекрасном, благом и других подобных вещах и расчислить это для самого себя и для того, чтобы убедить другого.

Давайте рассмотрим, как мы выучились считать. Скажите: откуда у нас появилось понятие единицы, двойки? Почему только мы одни из всех живых существ по своей природе можем иметь такое понятие? Ведь у многих иных живых существ природа не приспособлена к этому, так что они не могут от своих отцов научиться считать. А нам впервые привил бог понимание того, что нам показывают; а затем он показал нам [число]

и показывает до сих пор. Если сравнивать одно с другим, то что можно созерцать более прекрасное, нежели род дня? Далее человек переходит к другой части — к ночи; здесь пред ним совсем иное. Происходит беспрестанная смена многих ночей и дней; Небо совершает это беспрестанно, научая людей [понятию о] единице и двойке, так что, наконец, и самый неспособный человек оказывается в состоянии усвоить счет. Созерцая это, каждый из нас может получить понятие о числах «три», «четыре» и о множественности. Одно [из небесных тел] — Луну бог сделал такой, что она кажется то большей, то меньшей, постоянно являя день иным, вплоть до пятнадцатого дня и ночи. Таково круговращение Луны, если кому угодно полный кругооборот считать единицей. Короче говоря, даже самое непонятливое существо усвоит это, если только оно принадлежит к тем, кому бог дал природу, способную к усвоению. До этих пределов любое живое существо в состоянии хорошо считать, наблюдая все единичное само по себе. Зато, думается мне, бог с более высокой целью сделал так, чтобы человек всякий раз отдавал себе отчет во взаимных соотношениях чисел. Здесь, как мы сказали, он заставил Луну то прибывать, то идти на убыль. Он установил

месяцы в отношении к году, и всякий человек начал, в добрый час, сравнивать путем наблюдения любое число с другим. Благодаря всему этому у нас наливаются плоды, тяжелеет земля и все живые существа получают пропитание, если ветры и дожди бывают умеренны, а не чрезмерны. Если же, напротив, дело идет к худшему, то здесь приходится винить не божественную природу, а человеческую, которая несправедливо распределяет свои жизненные блага.

Когда мы производили наше исследование законов, мы почти установили, что во всем остальном людям легко распознать самое для них наилучшее. Всякий человек достаточно способен понять и осуществить сказанное, если только он знает, что для него действительно полезно и что вредно. Мы решили и до сих пор держимся того мнения, что все прочие навыки не очень трудно приобрести, но зато чрезвычайно трудно решить, каким образом люди могут стать хорошими. Опять-таки, как мы указываем, приобретение всего остального хорошего возможно и нетрудно: всякий понимает, в каком размере следует — или не следует — обладать имуществом, какими телесными свойствами надо отличаться, какими благими душевными качествами. Любой чело-

век согласится с другим, что душа должна быть справедливой, рассудительной, мужественной, а также и мудрой; но какова эта мудрость — здесь, как мы только что разобрали, большинство людей совершенно расходится друг с другом во взглядах. А теперь кроме всех указанных ранее видов мудрости мы нашли еще одну, и притом не какую-нибудь ничтожную: человек кажется мудрым, когда усваивает то, что мы разобрали. Но действительно ли мудр и благ человек, знающий в этом деле толк, вот в чем надо дать себе отчет.

Клиний. Естественно, чужеземец, что о столь важных вещах ты попытаешься сказать что-то важное.

Афинянин. Да, Клиний, во всяком случае немаловажное. Но еще бóльшую трудность представляет то, что это во всех отношениях истинно.

Клиний. Разумеется, чужеземец. Однако не откажи изложить свой взгляд.

Афинянин. Хорошо, а вы оба не откажите выслушать.

Клиний. Очень охотно, я отвечаю тебе от лица нас обоих.

Афинянин. Прекрасно. Итак, по-видимому, прежде всего надо коснуться вопроса, можем ли мы обозначить одним именем то, что мы понимаем под мудростью. Если сделать это для нас очень трудно, то возникает другой вопрос: каковы виды мудрости и сколькими из них надо овладеть человеку, чтобы он был, согласно нашему мнению, мудрым.

Клиний. Говори же.

Афинянин. Далее, законодателю не зазорно будет дать более красивые и лучшие уподобления, касающиеся богов, нежели те, что были даны ранее. Можно указать, как ему в виде прекрасной забавы проводить свою жизнь, почитая богов и стареясь в песнопениях и блаженстве.

Клиний. Прекрасны твои слова, чужеземец! Пусть это будет венцом твоих законов! Да проведешь ты чистую жизнь, услаждая богов, и да получишь в удел наилучшую и наипрекраснейшую кончину!

Афинянин. Так как же мы скажем, Клиний? Решить ли нам, что песнопениями мы отлично почитаем богов, и потому с молитвой приступить к самым прекрасным о них высказываниям? Так

или нет?

Клиний. Да, именно так. Доверившись богам, мой друг, помолись и выскажи приходящие тебе на ум прекрасные мысли о богах и богинях!

Афинянин. Пусть будет так, лишь бы только нами руководил бог! Помолись и ты вместе со мной!

Клиний. А теперь говори!

Афинянин. Итак, поскольку мои предшественники, видимо, плохо изложили происхождение богов и живых существ, мне прежде всего придется изложить это лучше в соответствии с нашим прежним рассуждением. Мне придется повторить то доказательство, с которым я пытался обратиться к нечестивцам, утверждая, что боги существуют и пекутся обо всем — как о малом, так и о великом, а также, что они непреклонны во всех делах, касающихся справедливости. Помнишь ли ты это, Клиний? Ведь вы получили и записи для памяти. Да, высказанное тогда было вполне истинным. Самым главным из этого было то, что любая душа старше любого тела. Помните ли вы это? Действительно, так ли оно на самом деле? Разве не убедительно, что то, что лучше — древнее и более богоподобно, в противоположность худшему, которое моложе

и менее почтенно? Ведь повсюду тот, кто правит, старше подвластного и руководитель во всех отношениях старше руководимого. Итак, признаем, что душа старше тела. Раз это так, то, пожалуй, вполне убедительно, что первоначало у нас старше первого порождения. Установим же, что начало начал более благообразно и что мы вступили на правильный путь, ведущий к высочайшим вершинам мудрости, коснувшись происхождения богов.

Клиний. Пусть по мере сил это будет так.

Афинянин. Скажи, разве не будет согласным с природой и вполне истинным утверждение, что живое существо возникает тогда, когда сочетание души и тела порождает единую форму?

Клиний. Верно.

Афинянин. Такое существо можно по всей справедливости называть живым.

Клиний. Да.

Афинянин. Надо сказать, что, согласно весьма правдоподобному мнению, есть пять видов твердых тел, из которых можно всего прекраснее и лучше создавать формы; весь же остальной род тел имеет лишь одну форму. Нет ничего бестелесного и вовсе не имеющего окраски, из чего могло бы возникнуть нечто иное, за исключе-

нием действительно божественного рода души. Одному ему подобает создавать формы, телу же, как мы и говорим, подобает только поддаваться лепке, рождаться и становиться видимым. Роду души подобает (повторим снова — ведь это стоит сказать не раз) быть незримым и умопостигаемым, причастным памяти и уменью учитывать перемены в четном и нечетном.

Итак, есть пять тел. Здесь надо назвать, во-первых, огонь, во-вторых — воду, в-третьих — воздух, в-четвертых — землю, в-пятых — эфир. Смотря по главенству того или иного тела, получается много разных живых существ. Для каждого отдельного случая это надо понимать так: прежде всего установим единый земной род; это — все люди, все многоногие и безногие животные, все, что способно передвигаться и пребывать на месте, будучи прикреплено корнями. Единство здесь надо мыслить так: все эти существа состоят из разных родов, но большая часть каждого из них состоит из земли и из твердой природы. В качестве другого рода живых существ следует установить тот, что также рождается и может быть видим. В нем всего больше огня, хотя есть также земля, воздух и незначительные доли всех остальных [тел]; поэтому надо признать, что из

этого разряда возникают разнообразные и видимые живые существа. Надо опять-таки думать, что таков род живых существ на небе: весь божественный род звезд — им уделено прекраснейшее тело и блаженнейшая и наилучшая душа. Из двух возможных участей им надо приписать, пожалуй, вторую: каждое из них может быть либо неуничтожимым, бессмертным и в силу необходимости во всех отношениях божественным, либо может иметь долгую жизнь, достаточную для своего существования, так что оно вовсе не нуждается в ее продлении.

Прежде всего разберемся в только что сказанном. Мы утверждаем, что существует два рода живых существ. Затем мы опять-таки утверждаем, что оба этих рода видимы. Первый, как это может показаться, состоит из огня, весь целиком, второй — из земли. Земной род движется в беспорядке, а огненный — в полном порядке. Тот род, что движется в беспорядке, надо считать лишенным разума; таково большинство окружающих нас животных. Движение же, совершающееся на небе в строгом порядке, обнаруживает разумность. Достаточным доказательством разумного существования служит самотождественное движение, действие и состояние. В качестве высшей

необходимости здесь выступает предположение, что [эти тела] имеют душу, обладающую умом. Ведь она законодательствует как правительница, а не как подвластная. Неизменное же, — когда душа, по совету наивысшего ума, избирает себе наилучшее, — становится, согласно тому же уму, совершенством: даже адамант не крепче этого совершенства и не более неизменен. Три Мойры поддерживают этот порядок и наблюдают, чтобы то, что приобретено по наилучшему совету [ума], было совершенным у каждого из богов. Людям же доказательством того, что звезды и все их движение обладают умом, надо считать постоянную тождественность их действий, по принятому издревле совету, длящуюся непостижимо долго. Звезды не меняют своего направления, не движутся то вверх, то вниз, не делают то одного, то другого, не блуждают и не изменяют своих круговращений. Между тем именно это многих из нас привело к обратному заключению, — будто звезды не имеют души, раз их действия тождественны и единообразны. За этими безумцами последовала толпа и предположила, что человеческий род обладает разумом и живет, коль скоро он находится в движении, род же богов не обладает разумом, раз он всегда одинако-

во перемещается. Однако человеку было дано подняться до лучшего, более прекрасного и отрадного взгляда и понять, что признаком разума следует считать как раз то постоянное самотождественное действие, совершающееся вследствие одних и тех же причин. Именно такова природа звезд, столь прекрасных на вид: движение их и хороводы прекраснее и величественнее всех хороводов; они совершают то, что надлежит всем живым существам. Впрочем, в подкрепление справедливости наших слов об одушевленности звезд, подумаем прежде всего об их величине. Ведь в действительности они вовсе не так малы, как это кажется; напротив, размер каждой из них огромен. Этому стоит верить, так как это достаточно доказано. Безошибочно можно мыслить Солнце, все в целом, гораздо бóльшим, чем всю в целом Землю. Да и все движущиеся звезды обладают удивительной величиной. Так вот и рассудим, каким образом можно было бы заставить столь великую массу совершать круговое движение всегда в одно и то же время, как это совершается и посейчас? Какая природа могла бы это сделать? Я утверждаю, что виновником здесь может быть только бог: иначе это невозможно.

Ведь и одушевленными звезды стали лишь при посредстве бога, как мы это выяснили. Раз бог в состоянии это совершить, то для него совсем уж легко было создать сначала любое живое тело, любую массу, затем заставить это двигаться в том направлении, какое он признает наилучшим. Короче говоря, молвим теперь единое истинное слово обо всем этом: невозможно, чтобы земля, небо, все звезды и тяжелые небесные тела совершали ежегодно свой путь столь точно, согласно месяцам и дням, и чтобы все существующее существовало для всех нас столь благим, если всему этому не присуща душа, рожденная для каждого из этих тел.

Сколь бы ни был ничтожен человек, ему надлежит высказывать ясные воззрения, а не болтать вздор. Между тем он не скажет ничего ясного, если назовет причиной всего этого стремительное движение тел или их природу или что-нибудь другое подобное. Но надо вполне разобраться в том, что мы сказали. Имеет ли наше рассуждение смысл или вовсе лишено его, когда мы прежде всего утверждаем, что есть два рода сущностей: душа и тело? То и другое имеет много разновидностей, несходных между собой; нет ничего иного, третьего, что было бы свойственно одной из этих

двух сущностей. Душа отличается от тела: она обладает разумом, а тело — как мы установили — не обладает; она правит, тело подчиняется; она — причина всего, тело же не бывает причиной какого-либо состояния. Стало быть, какая нелепость, какое безрассудство утверждать, будто небесные явления имеют какую-нибудь другую причину, а не представляют собой порождения души и тела! Итак, если мы должны победить существующие воззрения на все это учение и убедительно показать божественность всех этих явлений, то из двух возможностей следует выбрать одну: либо надо с полным правом прославлять небесные тела как богов, либо допустить, что они стали образами богов, своего рода изваяниями, созданными самими богами: ведь это дело не каких-либо несмышленых и недалеких существ. Как сказано, нам надо установить одну какую-нибудь из этих возможностей: коль скоро это будет установлено, небесным телам следует оказывать больший почет, чем другого рода божественным изваяниям. Ведь никогда не найдется более прекрасных и более общих для всего человечества изваяний, воздвигнутых в столь великолепных местах и отличающихся чистотой, величавостью и вообще жизненностью:

именно таковы небесные тела.

Итак, мы приступаем теперь к вопросу о богах следующим образом. Мы заметили два рода видимых нами живых существ: один из них мы признали бессмертным, другой, то есть весь земной род, оказался смертным. Далее надо попытаться сказать о трех средних родах из пяти, находящихся между указанными двумя. Они всего более ясны на основании обычных представлений. После огня мы поместим эфир и установим, что душа образует из него живые существа, обладающие той же силой, что и остальные роды, причем они большей частью состоят из своей собственной природы и лишь в небольшой части образованы при помощи сопряжения со свойствами остальных родов. После эфира душа образует другой род живых существ из воздуха и третий род из воды. Произведя все это, душа, естественно, наполнила небо живыми существами. Она приспособила каждый род в соответствии с его возможностями, причем все они стали причастны жизни. Образовав второй, третий, четвертый и пятый род живых существ — причем начала она с рождения видимых богов, — душа закончила свое дело нами, людьми.

Что касается богов — например Зевса, Геры и

всех остальных, — то их можно распределить согласно тому же закону, лишь бы прочно было усвоено это учение. Но первыми — зримыми, величайшими и почтеннейшими из богов, зорко все обозревающими, — надо признать звезды и все то, что мы испытываем в связи с ними. Непосредственно после них, ступенью ниже надо поместить гениев — воздушное племя, занимающее третье, среднее место. Гении — виновники истолкований; их надо усердно почитать молитвами за их благие вещания. Из двух этих родов живых существ, тот что образован из эфира, а также тот, что образован из воздуха, незримы; даже их близкое присутствие для нас неявно. Оба этих рода причастны удивительной разумности, так как это племя понятливое и памятливое. Мы сказали бы, что они знают все наши мысли и чудесным образом приветствуют тех из нас, кто прекрасен и благ, а очень дурных людей ненавидят, так как те причастны страданию. Между тем бог, достигший совершенства в своей божественной участи, находится за пределами удовольствия и страдания и во всем причастен лишь разумности и познанию. Коль скоро небо наполнено живыми существами, эти гении служат им всем посредниками — вышним богам и

друг другу, — легко носясь по земле и по всему свету. Пятый род, рожденный из воды, правильно можно было бы уподобить полубогам. Они иногда зримы, иногда же скрываются, делаясь неразличимыми, что для слабого зрения представляется чудом.

Эти пять родов живых существ действительно существуют, в чем пришлось убедиться некоторым из нас либо во сне, в сновидении, либо слыша слова откровения и прорицания, когда бываешь здоров или болен, или когда приходишь к концу жизни. Представления эти разделяются как частными людьми, так и государством. Вот почему сооружено множество святилищ многим божествам да и впредь будут сооружаться. Законодатель, хоть чуть-чуть обладающий умом, никогда не отважится производить здесь нововведения и не допустит, чтобы его государство поддерживало новые, еще неясные культы. Он не станет препятствовать жертвоприношениям, установленным отеческими обычаями, так как он ровно ничего не понимает в этих делах: ведь смертной природе невозможно все это знать. Но что касается действительно видимых нами богов, то же самое учение заставляет признать чрезвычайно дурными тех людей, которые не

отваживаются признаться [в их отрицании] и обнаружить того, что они уклоняются от обрядового служения другим богам и не воздают им подобающих почестей.

Астрономия как опора и источник благочестия

А теперь случается так, как если бы кто из нас, заметив Солнце или Луну, взирающих на всех людей, ничего не сообщил бы об этом, хотя мог бы это сделать, и светила эти оказались бы лишенными почитания; если бы он не проявил никакого желания, насколько это от него зависит, учредить в честь этих божеств на почетном месте празднества и жертвоприношения и назначить сроки, а также выделить для этого времена больших и меньших годов. Разве он не заслужил бы по праву названия дурного человека, вредного и для самого себя, и для другого, кто это сознает?

Клиний. Конечно, заслужил бы, чужеземец. Это был бы в высшей степени дурной человек.

Афинянин. Так вот, дорогой Клиний, знай, что именно в таком положении нахожусь сейчас я.

Клиний. Что это ты говоришь?!

Афинянин. Узнайте, что на всем небе есть восемь сил, братски родственных между собой. Я их созерцал. Однако в этом нет ничего мудреного: это легко заметит и всякий другой. Из этих сил одна — это сила Солнца, другая — Луны, третья — неподвижных звезд, о которых мы упомянули немного ранее. Остается еще пять.

Обо всех звездах и о тех силах, что заложены в них, — все равно сами ли они движутся или совершают свой путь на колесницах, — всякий из нас будет мыслить только таким образом: одни из них — боги, другие — нет; одни связаны между собой родством, другие же таковы, что о них и молвить никому из нас не дозволено. Лучше скажем, что все они, по нашему утверждению, братья и участь их — братская. Воздадим им почет, однако не так, что одному посвятим целый год, другому — месяц, а третьему не отведем совсем никакой доли и времени, в которое они проходят свой кругооборот: ведь все они содействуют зримому мировому порядку, установленному разумом, наиболее божественным из всего. Человек блаженный сперва поражен этим порядком, затем начинает его любить и стремится усвоить его, насколько это возможно для смертной природы, полагая, что таким об-

разом он всего лучше и благополучнее проведет свою жизнь и по смерти придет в места, подобающие добродетели. Такой человек на самом деле примет истинное посвящение, овладеет единой разумностью, коль скоро и сам он един, и все остальное время станет созерцать прекраснейшие [явления], какие только доступны зрению.

А теперь нам остается указать, сколько этих [богов] и каковы они. Ведь мы ни в коем случае не окажемся *лжецами*; на этом-то по крайней мере я твердо настаиваю. Я опять-таки утверждаю, что таких [богов] восемь. О трех из них мы уже говорили; остаются еще пять. Четвертый вид перемещения и круговращения, а также пятый по своей скорости почти равны круговращению Солнца: во всяком случае они не медленнее и не быстрее его. Вообще всякий достаточно разумный человек должен признать, что существует три [кругооборота]. Мы считаем таковыми [кругооборот] Солнца, Утренней звезды и еще третьего [светила], назвать которое нельзя, так как имя его неведомо. Причина этого та, что первый заметивший его был варваром. Дело в том, что древний обычай воспитал первых людей, обративших на это внимание, под воздействием красоты летнего времени, которым так богаты Египет

и Сирия. Люди там постоянно видят все звезды, так сказать, ясно, потому что в этой части света никогда не бывает облачности и влажности. Отсюда сведения эти распространились по всему миру, в том числе они дошли и до нас, причем подкрепленные тысячелетним длительным наблюдением. Поэтому надо смело включить это в законы. В самом деле, не считать ценным то, что божественно, а иное, вовсе не божественное, считать ценным, это явное неразумие. Надо, однако, указать причину, по которой отсутствуют некоторые названия. Впрочем [светила] заимствовали свои имена у богов: так, Утренняя звезда, она же и Вечерняя, пожалуй, не без основания носит имя Афродиты, что вполне в духе сирийского законодателя. А то светило, что совершает свой путь вместе с Солнцем, почти наравне с ним, получило имя Гермеса. Есть еще три кругооборота, совершающихся слева направо вместе с [кругооборотами] Луны и Солнца. Надо указать еще на один [кругооборот], именно на восьмой; его скорее всего можно было бы признать космосом. Он совершается в направлении, противоположном пути перечисленных сейчас светил, и ведет за собой все остальные; по крайней мере так кажется нам, людям, столь мало сведущим во всем этом.

Однако необходимо высказать то, о чем у нас имеется достаточно сведений. Мы так и поступим. Ибо действительно сущая мудрость каким-то образом обнаруживается перед человеком, хотя бы немного причастным правильному, божественному пониманию. Остаются три звезды; из них одна отличается от прочих своею медлительностью, и некоторые дают ей имя Кроноса; следующую за ней в смысле медленности движения надо назвать именем Зевса; наконец, третью — именем Ареса: она одна из всех них имеет красноватый оттенок. Коль скоро кто-нибудь укажет на эти светила, нет уже никакого труда их заметить; но лишь только это будет усвоено, следует мыслить об этом именно так, как мы указали.

Всякий эллин должен поразмыслить над тем, что местность, занимаемая нами, эллинами, чуть ли не лучше всех остальных по своим прекрасным свойствам. Здесь надо отметить то ее преимущество, что она занимает среднее место между странами с суровой зимой и странами с жарким климатом. Раз природа тех мест, как мы сказали, превосходит нашу родину летней жарой, естественно, что нам позже были переданы сведения об этих богах мира. Однако мы должны признать, что эллины совершенствуют

все то, что они получают от варваров. С этим надо считаться также и при обсуждении того, что мы сейчас исследуем. Хотя и трудно отыскать здесь бесспорную истину, однако у нас есть большая прекрасная надежда, что эллины прекраснее и по существу справедливее позаботятся обо всех этих богах, почитание которых, по преданию, перешло к нам от варваров. Эллины могут применить здесь свою образованность, Дельфийские прорицания и весь культ богов, основанный на законах. И пусть никто из эллинов не пугается мысли, будто не следует заниматься божественными делами, раз мы смертны; нет, надо думать как раз обратное, а именно: божественное не лишено разума, оно знает человеческую природу и ведает, что под влиянием его наставлений она последует за ним и усвоит то, чему оно учит. А что божество обучает нас — например дает понятие о числе, умение считать, — это ему, конечно, ведомо. Всех неразумнее был бы тот, кто этого не знает. Ведь, как говорится, он действительно не знал бы в этом случае самого себя, сердился бы на того, кто в силах усвоить эти знания, не радовался бы, без зависти, успехам того, кто благодаря богу стал благим. Есть много прекрасных доводов в пользу того, что в ту пору, когда у людей

зародились первые представления о богах, — как они произошли, какими стали и какие деяния совершали, — все эти воззрения были бы не по вкусу и не по сердцу людям рассудительным. То же самое относится к воззрениям следующих поколений, утверждавших наибольшую древность огня, воды и всех прочих тел и относивших к позднейшему времени чудо души, а также считавших главным и самым почтенным то движение, которое тело получает само по себе путем нагревания, охлаждения и так далее, и отрицавших важность того движения, которое сообщает телу и самой себе душа. А теперь, коль скоро мы утверждаем, что душа, стоит ей оказаться в теле, движет (в этом нет ничего удивительного!) и перемещает как его, так и самое себя, уже не остается никаких доводов против того, что душа в состоянии перемещать любую тяжесть. Вот почему мы и теперь считаем душу причиной всего, в том числе и всех благ, а все дурное — иным по своим свойствам. Ничего удивительного нет в том, что душа — причина всякого рода перемещения и движения; перемещение и движение в сторону блага есть свойство совершенной души, а в противоположную сторону — свойство души противоположной. Впрочем, благо должно всегда

брать верх над тем, что ему противоположно.

Все это мы высказали согласно справедливости, мстящей за нечестие. Что же касается предмета нашего исследования, то мы должны верить в то, что следует считать мудрым человека благого. Что касается этой мудрости, которую мы давно уже отыскиваем, то давайте посмотрим, мыслима ли она в том обучении или искусстве, при недостатке которого мы были бы невеждами в вопросах справедливости, а значит, и невеждами вообще. Мне кажется, что мыслима, и сейчас я об этом скажу. Дело в том, что я повсюду искал причину, сделавшую для меня это ясным, и я попытаюсь вам ее изложить. Состоит она в том, что самое главное в добродетели осуществляется нами нехорошо, что, как я вполне уверен, вытекает из только что сказанного. В самом деле: никто никогда нас не уверит, что есть область добродетели, более важная для смертного племени, чем благочестие. Следует сказать, что оно не появилось даже у наилучших натур из-за величайшего невежества. А наилучшие натуры — это те, что встречаются чрезвычайно редко; зато, если они встретятся, они очень полезны. Дело в том, что душа, умеренно обладающая медлительностью и противоположной ей природой, была

бы обходительна, восхищалась бы мужеством, была бы послушна рассудку и, что самое главное, при этих своих природных свойствах была бы понятлива, памятлива и могла бы спокойно радоваться своей любознательности. Правда, подобные натуры не очень легко появляются на свет; но коль скоро они встречаются, то, получив должное образование, они могут удерживать в надлежащих пределах натуры худшие и более многочисленные с помощью разумности своего поведения и отдельных указаний насчет богов — как и когда надо совершать жертвоприношения и очищения пред богами и людьми. Они далеки от всякого рода наружной рисовки, но поистине чтят добродетель. А это самое главное для любого государства. Вот мы и утверждаем, что такие натуры по своей природе наиболее значительны и способны к наилучшему усвоению тех знаний, которые им преподают. Между тем преподавать невозможно без божественного руководства. Стало быть, если кто принимается за обучение не так, то лучше его и не усваивать. Впрочем, из этих слов для подобных натур вытекает необходимость все это усвоить; мне же необходимо указать, чтó это за наилучшие натуры. Давайте попробуем основательно разобраться в свойствах

указанного предмета и в способах его усвоения. Я по мере моих сил буду указывать, а тот, кто может, пусть выслушает, каким образом усваивается благочестие. Пожалуй, придется услышать нечто не совсем обычное. Ведь мы сказали бы, что наука, о которой идет речь, — чего никогда не предположил бы человек, не сведущий в этом деле, — называется астрономией. Вам неведомо, что величайшим мудрецом по необходимости должен быть именно истинный астроном, — не тот, кто занимается астрономией по Гесиоду и ему подобным, ограничивающимся наблюдением над заходом и восходом светил, но тот, истинный астроном, который из восьми кругооборотов наблюдает преимущественно семь, при которых каждое светило совершает свой круговой путь так, что это нелегко смог бы усмотреть любой человек, непричастный свойствам чудесной природы. Мы укажем, согласно нашему утверждению, надлежащий способ и путь усвоения. Прежде всего пусть будет сказано следующее.

Луна очень быстро совершает свой кругооборот и проходит свои фазы начиная с полнолуния. Затем надо поразмыслить о Солнце, которое совершает повороты в течение всего круговращения, и о его спутниках. Чтобы не повторять все

время одного и того же обо всех этих светилах, скажем, что путь остальных светил, указанных нами ранее, понять нелегко. Чтобы подготовить натуры, способные усвоить эти знания, следует предварительно многому их научить и с детского и отроческого возраста приучить к настойчивому труду. Следовательно, должны существовать науки. Главная и первая из них — это наука о самих числах, но не о тех, что имеют предметное выражение, а вообще о зарождении [понятий] «чет» и «нечет» и о том значении, которое они имеют по отношению к природе вещей. Кто это усвоил, тот может перейти к тому, что носит весьма смешное имя геометрии. На самом деле ясно, что это наука о том, как выразить на плоскости числа по природе своей неподобные. Кто умеет соображать, тому ясно, что речь идет здесь прямо-таки о божественном, а не человеческом чуде. Вслед за этой наукой идет еще одна, ей подобная: люди, ею занимающиеся, также назвали ее геометрией. Наука эта изучает тела, имеющие три измерения и либо подобные друг другу по своей кубической природе, либо неподобные, приводимые к подобию с помощью искусства.

Но что действительно удивительно и божественно для вдумчивого мыслителя, так это

присущее всей природе удвоение числовых значений и, наоборот, раздвоение — отношение, наблюдаемое во всех видах и родах [вещей]. Первый вид удвоения — это отношение единицы к двойке: в результате получается вдвое большее числовое значение. При переходе к трехмерным осязаемым телам происходит опять-таки удвоение, причем здесь от единицы восходят к восьми. Второй вид удвоения занимает среднее место между двумя крайними членами, будучи больше меньшего крайнего члена и меньше большего; второй средний член находится в таком же отношении к крайним членам, превосходя величиною один из них и уступая другому. Так, среди чисел, находящихся между шестью и двенадцатью, есть два числа: первое из них образовано прибавлением половины числа шесть, второе — прибавлением трети того же числа. Значение этих чисел, занимающих среднее место между двумя крайними членами, научило людей согласованности и соразмерности ради ритмических игр и гармонии и даровало это блаженному хороводу Муз.

Так вот, пусть именно в таком порядке совершается усвоение этих наук. Завершением их должно служить рассмотрение божественного

происхождения и прекраснейшей и божественной природы зримых вещей. Бог дал созерцать ее людям, но без только что разобранных наук никто этого не может, хотя бы кто и похвалялся тем, что он легко все схватывает. Вдобавок при любом общении надо путем вопросов сравнивать единичное с видовым, изобличая каждый раз того, кто плохо ответил. Это действительно во всех отношениях наилучший и самый первый у людей способ исследования; прочие же способы недостоверны, несмотря на свою привлекательность: это будет самый тщетный из всех трудов. Далее, нам надо познать точность времени, а именно, с какой точностью совершаются все небесные кругообращения, чтобы поверить, что истинно слово, утверждающее старшинство души над телом и вместе с тем ее более божественную сущность, а также чтобы считать прекрасным и достаточно обоснованным утверждение, что все полно богов и что мы никогда не испытываем небрежного отношения со стороны высших сил из-за их забывчивости и нерадивости.

Обо всем этом надо мыслить так: правильное понимание этих вещей в определенном смысле очень полезно для человека; в противном же случае лучше постоянно призывать бога. Вот в

каком отношении — это надо указать — все это полезно: всякая геометрическая фигура, любое сочетание чисел или гармоническое единство имеют сходство с кругообращением звезд; следовательно, единичное для того, кто надлежащим образом его усвоил, разъясняет и все остальные. Впрочем, как мы говорим, это будет лишь в том случае, если он правильно усваивает, производя свое наблюдение над единичным. Перед вдумчивыми людьми здесь обнаружится естественная связь всех этих вещей. Если же человек как-то иначе берется за это дело, ему надо, как мы сказали, призвать на помощь удачу. В самом деле: без этих знаний человек с любыми природными задатками не станет блаженным в государствах. Есть только один этот способ, только эти науки — легки ли они или трудны, их надо преодолеть. Не до́лжно пренебрегать богами, раз уж стало ясным касающееся их откровение, ведущее к блаженству. Я считаю поистине мудрейшим человека, охватившего таким путем все эти знания. И в шутку, и всерьез я стану настойчиво утверждать, что такой человек, даже восполнив смертью удел своей жизни, на смертном своем одре не будет, как теперь, иметь множества ощущений, но достигнет единого удела, из множественности

станет единством, будет счастлив, чрезвычайно мудр и вместе с тем блажен. Все равно на земле ли или на Островах блаженных он всегда получит в удел такую судьбу. Занимался ли он при жизни государственными делами или своими частными, боги также дадут ему эту участь. Впрочем, и сейчас остается в силе наше первоначальное правдивое утверждение, что людям, за редким исключением, невозможно стать совершенно блаженными и счастливыми: это было правильно нами указано. Но люди божественные, рассудительные и причастные по своей природе всей остальной добродетели, а вдобавок еще овладевшие всем, что имеет отношение к блаженной науке (мы уже указали, в чем это состоит), — такие люди, и только они одни, получают в удел обладание всеми божественными дарами. Итак, людям, именно таким образом потрудившимся (мы сейчас говорим об этом частным порядком, но одновременно устанавливаем это в качестве государственного закона), и следует предоставлять главные государственные должности, лишь только они достигнут преклонного возраста. Все же остальные вслед за ними должны благоговейно относиться ко всем богам и богиням.

Мы же, достаточно распознав и проверив чле-

нов Ночного собрания, призываем их всех к наилучшему пониманию этой мудрости,